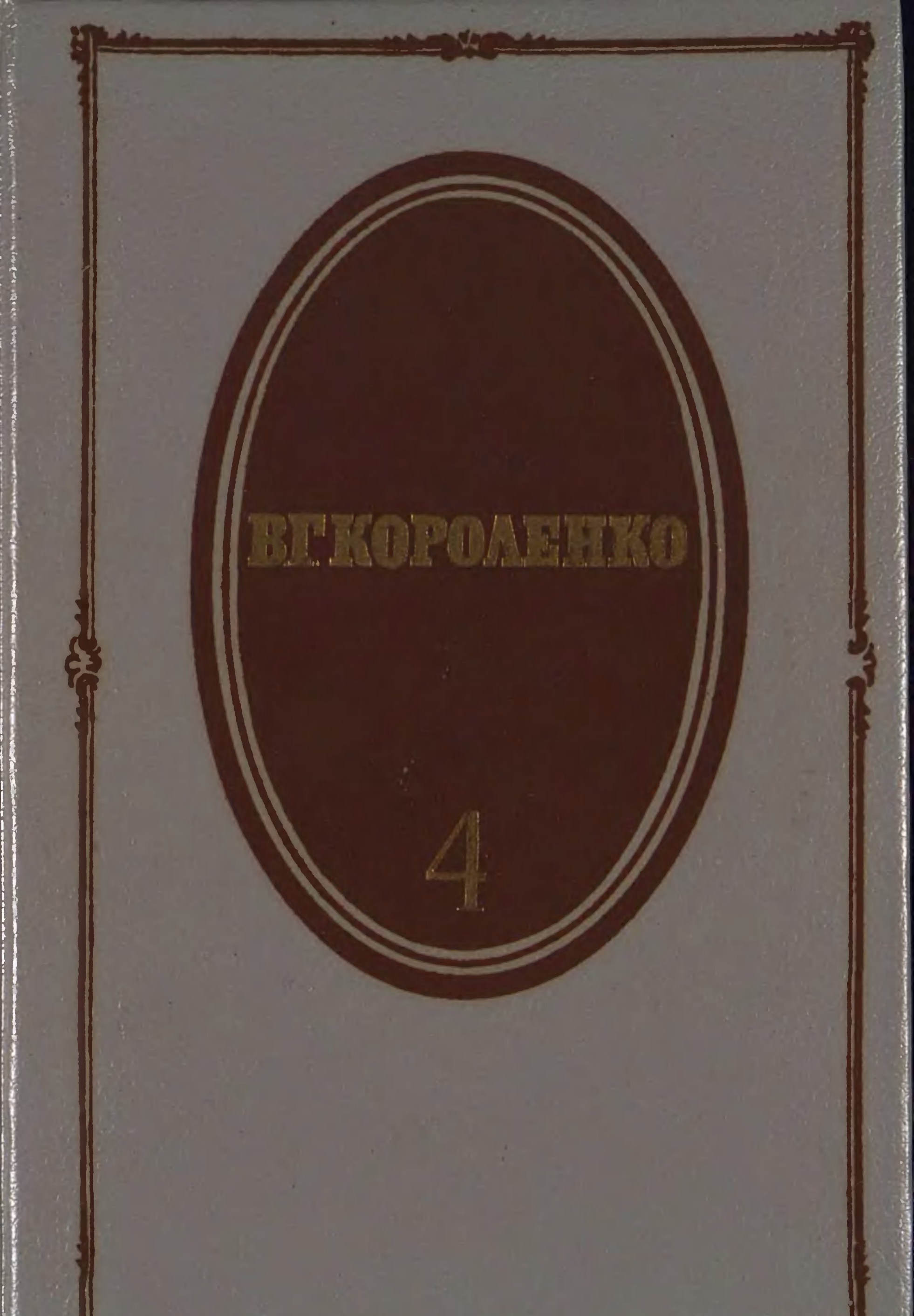


В.Г. КОРОЛЕНКО
4

В. Г. КОРОЛЕНКО

В. Г. КОРОЛЕНКО

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ

Редакционная коллегия:

Г. А. БЯЛЫЙ

Г. В. ИВАНОВ

В. А. ТУНИМАНОВ

Ленинград
«Художественная литература»
Ленинградское
отделение
1990

В.Г. КОРОЛЕНКО

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ
ЧЕТВЕРТЫЙ

ИСТОРИЯ МОЕГО СОВРЕМЕННИКА

КНИГИ
ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ

Ленинград
«Художественная литература»
Ленинградское
отделение
1990

ББК. 84.Р1
К 68

Составитель собрания сочинений

Б. Аверин

Подготовка текста и примечания

Б. Аверина

Редактор

Т. Шмакова

Оформление художника

И. Кулика

К $\frac{4702010101-071}{028(01)-90}$ подписное

ISBN 5-280-00947-4 (Т. 4)
ISBN 5-280-00850-8

ИСТОРИЯ МОЕГО СОВРЕМЕННИКА

КНИГА ПЕРВАЯ

ОТ АВТОРА

В этой книге я пытаюсь вызвать в памяти и оживить ряд картин прошлого полустолетия, как они отражались в душе сначала ребенка, потом юноши, потом взрослого человека. Раннее детство и первые годы моей юности совпали с временем освобождения. Середина жизни протекла в период темной, сначала правительственной, а потом и общественной реакции и среди первых движений борьбы. Теперь я вижу многое из того, о чем мечтало и за что боролось мое поколение, врывающимся на арену жизни тревожно и бурно. Думаю, что многие эпизоды из времен моих ссыльных скитаний, события, встречи, мысли и чувства людей того времени и той среды не потеряли и теперь интереса самой живой действительности. Мне хочется думать, что они сохранят еще свое значение и для будущего. Наша жизнь колеблется и вздрагивает от острых столкновений новых начал с отжившими, и я надеюсь хоть отчасти осветить некоторые элементы этой борьбы.

Но ранее мне хотелось привлечь внимание читателей к первым движениям зарождающегося и растущего сознания. Я понимал, что мне будет трудно сосредоточиться на этих далеких воспоминаниях под грохот настоящего, в котором слышатся раскаты надвигающейся грозы, но я не представлял себе, до какой степени это будет трудно.

Я пишу не историю моего времени, а только историю одной жизни в это время, и мне хочется, чтобы читатель ознакомился предварительно с той призмой, в которой оно отражалось... А это возможно лишь в последовательном рассказе. Детство и юность составляют содержание этой первой части.

Еще одно замечание. Эти записки не биография, потому что я не особенно заботился о полноте биографи-

ческих сведений; не исповедь, потому что я не верю ни в возможность, ни в полезность публичной исповеди; не портрет, потому что трудно рисовать собственный портрет с ручательством за сходство. Всякое отражение отличается от действительности уже тем, что оно отражение; отражение заведомо неполное — тем более. Оно всегда, если можно так выразиться, гуще отражает избранные мотивы, а потому часто, при всей правдивости, привлекательнее, интереснее и, пожалуй, чище действительности.

В своей работе я стремился к возможно полной исторической правде, часто жертвуя ей красивыми или яркими чертами правды художественной. Здесь не будет ничего, что мне не встречалось в действительности, чего я не испытал, не чувствовал, не видел. И все же повторяю: я не пытаюсь дать собственный портрет. Здесь читатель найдет только черты из «истории моего современника», человека, известного мне ближе всех остальных людей моего времени...

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Раннее детство

I
ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ БЫТИЯ

Я помню себя рано, но первые мои впечатления разрознены, точно ярко освещенные островки среди бесцветной пустоты и тумана.

Самое раннее из этих воспоминаний — сильное зрительное впечатление пожара. Мне мог идти тогда второй год, но я совершенно ясно вижу и теперь языки пламени над крышей сарая во дворе, странно освещенные среди ночи стены большого каменного дома и его отсвечивающие пламенем окна. Помню себя, тепло закутанного, на чьих-то руках, среди кучки людей, стоявших на крыльце. Из этой неопределенной толпы память выделяет присутствие матери, между тем как отец, хромой, опираясь на палку, подымается по лестнице каменного дома во дворе напротив, и мне кажется, что он идет в огонь. Но это меня не пугает. Меня очень занимают мелькающие, как головешки, по двору каски пожарных, потом одна пожарная бочка у ворот и входящий в ворота гимназист с укороченной ногой и высоким наставным каблуком. Ни страха, ни тревоги я, кажется, не испытывал, связи явлений не устанавливал. В мои глаза в первый еще раз в жизни попадало столько огня, пожарные каски и гимназист с короткой ногой, и я внимательно рассматривал все эти предметы на глубоком фоне ночной тьмы. Звуков я при этом не помню: вся картина только безмолвно переливает в памяти плавучими отсветами багрового пламени.

Вспоминаю, затем, несколько совершенно незначительных случаев, когда меня держат на руках, унимают мои слезы или забавляют. Мне кажется, что я вспоминаю, но очень смутно, свои первые шаги... Голова у меня в детстве была большая, и при падениях я часто стукался ею об пол. Один раз это было на лестнице. Мне было очень больно, и я громко плакал, пока отец не

утешил меня особым приемом. Он побил палкой ступеньку лестницы, и это доставило мне удовлетворение. Вероятно, я был тогда в периоде фетишизма и предполагал в деревянной доске злую и враждебную волю. И вот ее бьют за меня, а она даже не может уйти... Разумеется, эти слова очень грубо переводят тогдашние мои ощущения, но доску и как будто выражение ее покорности под ударами вспоминаю ясно.

Впоследствии то же ощущение повторилось в более сложном виде. Я был уже несколько больше. Был необыкновенно светлый и теплый лунный вечер. Это вообще первый вечер, который я запомнил в своей жизни. Родители куда-то уехали, братья, должно быть, спали, нянька ушла на кухню, и я остался с одним только лакеем, носившим неблагозвучное прозвище Гандыло. Дверь из передней на двор была открыта, и в нее откуда-то, из озаренной луною дали, неслось рокотание колес по мощеной улице. И рокотание колес я тоже в первый раз выделил в своем сознании как особое явление, и в первый же раз я не спал так долго... Мне было страшно — вероятно, днем рассказывали о ворах. Мне показалось, что наш двор при лунном свете очень странный и что в открытую дверь со двора непременно войдет «вор». Я как будто знал, что вор — человек, но вместе он представлялся мне и не совсем человеком, а каким-то человекообразным таинственным существом, которое сделает мне зло уже одним своим внезапным появлением. От этого я вдруг громко заплакал.

Не знаю уж по какой логике,— но лакей Гандыло опять принес отцовскую палку и вывел меня на крыльцо, где я — быть может, по связи с прежним эпизодом такого же рода — стал крепко бить ступеньку лестницы. И на этот раз это опять доставило удовлетворение; трусость моя прошла настолько, что еще раза два я бесстрашно выходил наружу уже один, без Гандылы, и опять колотил на лестнице воображаемого вора, упиваясь своеобразным ощущением своей храбрости. На следующее утро я с увлечением рассказывал матери, что вчера, когда ее не было, к нам приходил вор, которого мы с Гандылом крепко побили. Мать снисходительно поддакивала. Я знал, что никакого вора не было и что мать это знает. Но я очень любил мать в эту минуту за то, что она мне не противоречит. Мне было бы тяжело отказаться от того воображаемого существа, которого я сначала боялся, а потом положительно «чувст-

вовал» при странном лунном сиянии между моей палкой и ступенькой лестницы. Это не была зрительная галлюцинация, но было какое-то упоение от своей победы над страхом...

Еще стоит островком в моей памяти путешествие в Кишинев к деду с отцовской стороны... Из этого путешествия я помню переправу через реку (кажется, Прут), когда наша коляска была установлена на плоту и, плавно колыхаясь, отделилась от берега или берег отделился от нее — я этого еще не различал. В то же время переправлялся через реку отряд солдат, причем, мне помнится, солдаты плыли по двое и по трое на маленьких квадратных плотиках, чего, кажется, при переправах войск не бывает... Я с любопытством смотрел на них, а они смотрели в нашу коляску и говорили что-то мне непонятное... Кажется, эта переправа была в связи с севастопольской войной...

В тот же вечер, вскоре после переезда через реку, я испытал первое чувство резкого разочарования и обиды... Внутри просторной дорожной коляски было темно. Я сидел у кого-то на руках впереди, и вдруг мое внимание привлекла красноватая точка, то вспыхивавшая, то угасавшая в углу, в том месте, где сидел отец. Я стал смеяться и потянулся к ней. Мать говорила что-то предостерегающее, но мне так хотелось ближе ознакомиться с интересным предметом или существом, что я заплакал. Тогда отец подвинул ко мне маленькую красную звездочку, ласково притаившуюся под пеплом. Я потянулся к ней указательным пальцем правой руки; некоторое время она не давалась, но потом вдруг вспыхнула ярче, и меня внезапно обжег резкий укус. Думаю, что по силе впечатления теперь этому могло бы равняться разве крепкое и неожиданное укушение ядовитой змеи, притаившейся, например, в букете цветов. Огонек казался мне сознательно хитрым и злым. Через два-три года, когда мне вспомнился этот эпизод, я прибежал к матери, стал рассказывать и заплакал. Это были опять слезы обиды...

Подобное же разочарование вызвало во мне первое купание. Река произвела на меня чарующее впечатление: мне были новы, странны и прекрасны мелкие зеленоватые волны зыби, врывавшиеся под стенки купальни, и то, как они играли блестками, осколками небесной синевы и яркими кусочками как будто изломанной купальни. Все это казалось мне весело, живо, бодро, при-

влекательно и дружелюбно, и я упрашивал мать поскорее внести меня в воду. И вдруг — неожиданное и резкое впечатление не то холода, не то ожога... Я громко заплакал и так забился на руках у матери, что она чуть меня не выронила. Купание мое на этот раз так и не состоялось. Пока мать плескалась в воде с непонятным для меня наслаждением, я сидел на скамье, надувшись, глядел на лукавую зыбь, продолжавшую играть так же заманчиво осколками неба и купальни, и сердился... На кого? Кажется, на реку.

Это были первые разочарования: я кидался навстречу природе с доверием незнания, она отвечала стихийным бесстрастием, которое мне казалось сознательно враждебным...

Еще одно из тех первичных ощущений, когда явление природы впервые остается в сознании выделенным из остального мира как особое и резко законченное, с основными его свойствами. Это — воспоминание о первой прогулке в сосновом бору. Здесь меня положительно заворожил протяжный шум лесных верхушек, и я остановился как вкопанный на дорожке. Этого никто не заметил, и все наше общество пошло дальше. Дорожка в нескольких саженях впереди круто опускалась книзу, и я глядел, как на этом изломе исчезали сначала ноги, потом туловища, потом головы нашей компании... Я ждал с жутким чувством, когда исчезнет последней ярко-белая шляпа дяди Генриха, самого высокого из братьев моей матери, и наконец остался один... Я, кажется, чувствовал, что «один в лесу» — это, в сущности, страшно, но, как заколдованный, не мог ни двинуться, ни произнести звука и только слушал то тихий свист, то звон, то смутный говор и вздохи леса, сливавшиеся в протяжную, глубокую, нескончаемую и осмысленную гармонию, в которой улавливались одновременно и общий гул, и отдельные голоса живых гигантов, и колыхания, и тихие поскрипывания красных стволов... Все это как бы проникало в меня захватывающей могучей волной... Я переставал чувствовать себя отдельно от этого моря жизни, и это было так сильно, что когда меня хватились и брат матери вернулся за мной, то я стоял на том же месте и не откликался... Подходившего ко мне дядю, в светлом костюме и соломенной шляпе, я видел точно чужого, незнакомого человека во сне...

Впоследствии и эта минута часто вставала в моей душе, особенно в часы усталости, как первообраз глубо-

кого, но живого покоя... Природа ласково манила ребенка в начале его жизни своей нескончаемой, непонятной тайной, как будто обещая где-то в бесконечности глубину познания и блаженство разгадки...

Как, однако, грубо наши слова выражают наши ощущения... В душе есть тоже много непонятного говора, который не выразить грубыми словами, как и речи природы... И это именно то, где душа и природа составляют одно...

. . . .

Все это разрозненные, отдельные впечатления полусознательного существования, не связанные как будто ничем, кроме личного ощущения. Последним из них является переезд на новую квартиру... И даже не переезд (его я не помню, как не помню и прежней квартиры), а опять первое впечатление от нового дома, от нового двора и сада. Все это показалось мне новым миром, но странно: затем это воспоминание выпадает из моей памяти. Я вспомнил о нем только уже через несколько лет, и когда вспомнил, то даже удивился, так как мне представлялось в то время, что мы жили в этом доме вечно и что вообще в мире никаких крупных перемен не бывает. Основным фоном моих впечатлений за несколько детских лет является бессознательная уверенность в полной законченности и неизменяемости всего, что меня окружало. Если бы я имел ясное понятие о творении, то, вероятно, сказал бы тогда, что мой отец (которого я знал хромым) так и был создан с палкой в руке, что бабушку бог сотворил именно бабушкой, что мать моя всегда была такая же красивая голубоглазая женщина с русой косой, что даже сарай за домом так и явился на свет покосившимся и с зелеными лишаями на крыше. Это было тихое, устойчивое нарастание жизненных сил, плавно уносившее меня вместе с окружающим мирком, а берега стороннего необъятного мира, по которым можно было бы заметить движение, мне тогда не были видны... И сам я, казалось, всегда был таким же мальчиком с большой головой, причем старший брат был несколько выше меня, а младший ниже... И эти взаимные отношения должны были остаться навсегда... Мы говорили иной раз: «Когда мы будем большими», или: «Когда мы умрем», но это была глупая фраза, пустая, без живого содержания...

Однажды утром мой младший брат, который и засыпал, и вставал раньше меня, подошел к моей постели и сказал с особенным выражением в голосе:

— Вставай скорее... Что я тебе покажу!

— Что такое?

— Увидишь. Скорей, я ждать не стану.

И он опять ушел на двор с видом серьезного человека, не желающего терять время. Я торопливо оделся и вышел за ним. Оказалось, что какие-то незнакомые нам мужики совершенно разрушили наше парадное крыльцо. От него оставалась куча досок и разной деревянной гнили, а выходная дверь странным образом висела высоко над землей. А главное — под дверью зияла глубокая рана из облупленной штукатурки, темных бревен и свай... Впечатление было резко, отчасти болезненно, но еще более поразительно. Брат стоял неподвижно, глубоко заинтересованный, и провожал глазами каждое движение плотников. Я присоединился к его безмолвному созерцанию, а вскоре к нам обоим присоединилась и сестра. И так мы простояли долго, ничего не говоря и не двигаясь. Дня через три-четыре новое крыльцо было готово на месте старого, и мне положительно казалось, что физиономия нашего дома совершенно изменилась. Новое крыльцо было явно «приставлено», тогда как старое казалось органической частью нашего почтенного цельного дома, как нос или брови у человека.

А главное — в душе отложилось первое впечатление «изнанки» и того, что под этой гладко выстроганной и закрашенной поверхностью скрыты сырые, изъеденные гнилью сваи и зияющие пустоты...

II
МОЙ ОТЕЦ

По семейному преданию, род наш шел от какого-то миргородского казачьего полковника, получившего от польских королей гербовое дворянство. После смерти моего деда отец, ездивший на похороны, привез затейливую печать, на которой была изображена ладья с двумя собачьими головами на носу и корме и с зубчатой башней посредине. Когда однажды мы, дети, спросили, что это такое, то отец ответил, что это наш «герб» и что мы имеем право припечатывать им свои письма,

тогда как другие люди этого права не имеют. Называется эта штука по-польски довольно странно: «Korab i łodzia» (ковчег и ладья), но какой это имеет смысл, сам отец объяснить нам не может; пожалуй, и никакого смысла не имеет... А вот есть еще герб, так тот называется проще: «Pchła na bębenku hopki tnie» [1], и имеет более смысла, потому что казаков и шляхту в походах сильно кусали блохи... И, взяв карандаш, он живо набросал на бумаге блоху, отплясывающую на барабане, окружив ее щитом, мечом и всеми гербовыми атрибутами. Рисовал он порядочно, и мы смеялись. Таким образом, к первому же представлению о наших дворянских «клейнодах» отец присоединил оттенок насмешки, и мне кажется, что это у него было сознательно. Мой прадед, по словам отца, был полковым писарем, дед — русским чиновником, как и отец. Крепостными душами и землями они, кажется, никогда не владели... Восстановить свои потомственно-дворянские права отец никогда не стремился, и, когда он умер, мы оказались «сыновьями надворного советника», с правами беспоместного служилого дворянства, без всяких реальных связей с дворянской средой, да, кажется, и с какой бы то ни было другой.

Образ отца сохранился в моей памяти совершенно ясно: человек среднего роста, с легкой наклонностью к полноте. Как чиновник того времени, он тщательно брился; черты его лица были тонки и красивы. Орлиный нос, большие карие глаза и губы с сильно изогнутыми верхними линиями. Говорили, что в молодости он был похож на Наполеона Первого, особенно когда надевал по-наполеоновски чиновничью треуголку. Но мне трудно было представить Наполеона хромым, а отец всегда ходил с палкой и слегка волочил левую ногу...

На лице его постоянно было выражение какой-то затаенной печали и заботы. Лишь изредка оно прояснялось. Иной раз он собирал нас к себе в кабинет, позволял играть и ползать по себе, рисовал картинки, рассказывал смешные анекдоты и сказки. Вероятно, в душе этого человека был большой запас благодушия и смеха: даже своим поучениям он придавал полуюмористическую форму, и мы в эти минуты его очень любили. Но эти проблески становились с годами все реже, природная веселость все гуще задергивалась меланхолией

---

[1] Блоха отплясывает на барабане *(пол.)*.— *Ред.*

и заботой. Под конец его хватало уже лишь на то, чтобы дотягивать кое-как наше воспитание, и в более сознательные годы у нас уже не было с отцом никакой внутренней близости... Так он и сошел в могилу, мало знакомый нам, его детям. И только долго спустя, когда миновали годы юношеской беззаботности, я собрал черта за чертой, что мог, об его жизни, и образ этого глубоко несчастного человека ожил в моей душе — и более дорогой, и более знакомый, чем прежде.

Он был чиновник. Объективная история его жизни сохранилась поэтому в «послужных списках». Родился в 1810 году, в 1826-м поступил в писцы... Умер в 1868 году в чине надворного советника... Вот скудная канва, на которой, однако, вышиты были узоры всей человеческой жизни... Надежды, ожидания, проблески счастья, разочарование... Среди пожелтевших бумаг сохранилась одна, собственно ненужная впоследствии, но которую отец сберег как воспоминание. Это — полуофициальное письмо князя Васильчикова по поводу назначения отца уездным судьей в город Житомир. «Суд этот,— пишет князь Васильчиков,— по случаю присоединения к нему магистрата, принимая более обширный, а следственно, и более важный круг действий, требует председательствующего, который бы, вполне постигая свое назначение, дал судопроизводству удовлетворительное начало». В этих видах князь и выбирает отца. В конце письма «вельможа» с большим вниманием входит в положение скромного чиновника как человека семейного, для которого перевод сопряжен с неудобствами, но с тем вместе указывает, что новое назначение открывает ему широкие виды на будущее, и просит приехать как можно скорее... Последние строки вписаны автором письма собственноручно, и тон проникнут уважением. Это была скромная, теперь забытая, неудавшаяся, но все же реформа, и блестящий вельможа, самодур и сатрап, как все вельможи того времени, не лишенный, однако, некоторых «благих намерений и порывов», звал в сотрудники скромного чиновника, в котором признавал нового человека для нового дела...

Это было... в 1849 году, и отцу предлагалась должность уездного судьи в губернском городе. Через двадцать лет он умер в той же должности в глухом уездном городишке...

Итак, он был по службе очевидный неудачник...

Для меня несомненно, что это объясняется его донкихотскою честностью.

Среда не очень ценит исключения, которых не понимает, и потому беспокоится... Каждый раз на новом месте отцовской службы неизменно повторялись одни и те же сцены: к отцу являлись «по освященному веками обычаю» представители разных городских сословий с приношениями. Отец отказывался сначала довольно спокойно. На другой день депутации являлись с приношениями в усиленном размере, но отец встречал их уже грубо, а на третий бесцеремонно гнал «представителей» палкой, а те толпились в дверях с выражением изумления и испуга... Впоследствии, ознакомившись с деятельностью отца, все проникались к нему глубоким уважением. Все признавали, от мелкого торговца до губернского начальства, что нет такой силы, которая бы заставила судью покривить душою против совести и закона, но... и при этом находили, что если бы судья вдобавок принимал умеренные «благодарности», то было бы понятнее, проще и вообще «более по-людски».

Уже в период довольно сознательной моей жизни случился довольно яркий эпизод этого рода. В уездном суде шел процесс богатого помещика, графа Е-ского, с бедной родственницей, кажется вдовой его брата. Помещик был магнат с большими связями, средствами и влиянием, которые он деятельно пустил в ход. Вдова вела процесс «по праву бедности», не внося гербовых пошлин, и все предсказывали ей неудачу, так как дело все-таки было запутанное, а на суд было оказано давление. Перед окончанием дела появился у нас сам граф; его карета с гербами раза два-три останавливалась у нашего скромного домика, и долговязый гайдук в ливрее торчал у нашего покосившегося крыльца. Первые два раза граф держался величаво, но осторожно, и отец только холодно и формально отстранял его подходы. Но в третий раз он, вероятно, сделал прямое предложение. Отец, внезапно вспылив, обругал аристократа каким-то неприличным словом и застучал палкой. Граф, красный и взбешенный, вышел от отца с угрозами и быстро сел в свою карету...

Вдова тоже приходила к отцу, хотя он не особенно любил эти посещения. Бедная женщина, в трауре и с заплаканными глазами, угнетенная и робкая, приходила к матери, что-то рассказывала ей и плакала. Бедняге все казалось, что она еще что-то должна растолко-

вать судье; вероятно, это все были ненужные пустяки, на которые отец только отмахивался и произносил обычную у него в таких случаях фразу:

— А! Толкуй больной с подлекарем!.. Все будет сделано по закону...

Процесс был решен в пользу вдовы, причем все знали, что этим она обязана исключительно твердости отца... Сенат как-то неожиданно скоро утвердил решение, и скромная вдова стала сразу одной из богатейших помещиц не только в уезде, но, пожалуй, в губернии.

Когда она опять явилась в нашу квартиру, на этот раз в коляске,— все с трудом узнавали в ней прежнюю скромную просительницу. Ее траур кончился, она как будто даже помолодела и сияла радостью и счастьем. Отец принял ее очень радушно, с тою благосклонностью, которую мы обыкновенно чувствуем к людям, нам много обязанным. Но когда она попросила «разговора наедине», то вскоре тоже вышла из кабинета с покрасневшим лицом и слезами на глазах. Добрая женщина знала, что перемена ее положения всецело зависела от твердости, пожалуй, даже некоторого служебного героизма этого скромного хромого человека... Но сама она не в силах ничем существенным выразить ему свою благодарность...

Ее это огорчило, даже обидело. На следующий день она приехала к нам на квартиру, когда отец был на службе, а мать случайно отлучилась из дому, и навезла разных материй и товаров, которыми завалила в гостиной всю мебель. Между прочим, она подозвала сестру и поднесла ей огромную куклу, прекрасно одетую, с большими голубыми глазами, закрывавшимися, когда ее клали спать...

Мать была очень испугана, застав все эти подарки. Когда отец пришел из суда, то в нашей квартире разразилась одна из самых бурных вспышек, какие я только запомню. Он ругал вдову, швырял материи на пол, обвинял мать и успокоился лишь тогда, когда перед подъездом появилась тележка, на которую навалили все подарки и отослали обратно.

Но тут вышло неожиданное затруднение. Когда очередь дошла до куклы, то сестра решительно запротестовала, и протест ее принял такой драматический характер, что отец после нескольких попыток все-таки уступил, хотя и с большим неудовольствием.

— Через вас я стал-таки взяточником,— сказал он сердито, уходя в свою комнату.

На это все смотрели тогда как на бесцельное чудачество.

— Ну кому, скажи, пожалуйста, вред от благодарности,— говорил мне один добродетельный подсудок, «не бравший взяток»,— подумай: ведь дело кончено, человек чувствует, что всем тебе обязан, и идет с благодарной душой... А ты его чуть не собаками... За что?

Я почти уверен, что отец никогда и не обсуждал этого вопроса с точки зрения непосредственного вреда или пользы. Я догадываюсь, что он вступил в жизнь с большими и, вероятно, не совсем обычными для того времени ожиданиями. Но жизнь затерла его в серой и грязной среде. И он дорожил как последней святыней этой чертой, которая выделяла его не только из толпы заведомых «взяточников», но также и из среды добродетельных людей тогдашней золотой середины... И чем труднее приходилось ему с большой и все возраставшей семьей, тем с большей чуткостью и исключительностью он отгораживал свою душевную независимость и гордость...

При этом одна черта являлась для меня впоследствии некоторой психологической загадкой: кругом стояло (именно «стояло», как загнившее болото) повальное взяточничество и неправда. Чиновники того самого суда, где служил отец, несомненно, брали направо и налево, и притом не только благодарности, но и заведомые «хабары». Я помню, как один «уважаемый» господин, хороший знакомый нашей семьи, человек живой и остроумный, на одном вечере у нас довольно многочисленной компании чрезвычайно картинно рассказывал, как однажды он помог еврею-контрабандисту увернуться от ответственности и спасти огромную партию захваченного товара... Контрабандисты обещали обогатить начинавшего карьеру мелкого чиновника, но... он исполнил их просьбу раньше, чем они свое обещание... Для расчета ему назначили свидание ночью в каком-то уединенном месте, где он и ждал до зари... Я очень живо помню картинное описание этой ночи; чиновник ждал еврея, как «влюбленный свою возлюбленную». Он чутко вслушивался в ночные звуки, он лихорадочно поднимался навстречу каждому шороху... И все общество с захватывающим вниманием следило за переходами от надежды к разочарованию в этой взя-

точнической драме... Когда же оказалось, что чиновника надули, то драма разрешилась общим смехом, под которым, однако, угадывалось и негодование против евреев, и некоторое сочувствие к обманутому. Отец был тут же, и моя память ясно рисует картину: карточный стол, освещенный сальными свечами, за ним четыре партнера. Среди них — мой отец, а против него герой контрабандного анекдота, сопровождающий остротами каждую бросаемую карту. Отец весело смеется...

Вообще он относился к среде с большим благодушием, ограждая от неправды только небольшой круг, на который имел непосредственное влияние. Помню несколько случаев, когда он приходил из суда домой глубоко огорченный. Однажды, когда мать, с тревожным участием глядя в его расстроенное лицо, подала ему тарелку супу,— он попробовал есть, съел две-три ложки и — отодвинул тарелку.

— Не могу...— сказал он.

— Дело кончилось?— спросила мать тихо.

— Да... каторга...

— Боже мой!— испуганно сказала мать.— А ты что же?

— А! Толкуй больной с подлекарем,— ответил отец с раздражением.— Я! я!.. Что я могу сделать!

Но затем он прибавил мягче:

— Сделал что мог... Закон ясен.

Он не обедал в этот день и не лег, по обыкновению, спать после обеда, а долго ходил по кабинету, постукивая на ходу своей палкой. Когда часа через два мать послала меня в кабинет посмотреть, не заснул ли он, и, если не спит, позвать к чаю,— то я застал его перед кроватью на коленях. Он горячо молился на образ, и все несколько тучное тело его вздрагивало... Он горько плакал.

Но я уверен, что это были слезы сожаления к «жертве закона», а не разъедающее сознание своей вины, как его орудия. В этом отношении совесть его всегда была непоколебимо спокойна, и когда я теперь думаю об этом, то мне становится ясна основная разница в настроении честных людей того поколения с настроением наших дней. Он признавал себя ответственным лишь за свою личную деятельность. Едкое чувство вины за общественную неправду ему было совершенно незнакомо. Бог, царь и закон стояли для него на высоте, не доступной для критики. Бог всемогущ и справедлив, но на

земле много торжествующих негодяев и страдающей добродетели. Это входит в неведомые планы Высшей Справедливости — и только. Царь и закон — также не доступны человеческому суду, а если порой при некоторых применениях закона сердце поворачивается в груди от жалости и сострадания, это — стихийное несчастие, не подлежащее никаким обобщениям. Один гибнет от тифа, другой — от закона. Несчастная судьба! Дело судьи — смотреть, чтобы закон, раз пущенный в ход, прилагался правильно. Но если и этого нет, если подкупная чиновничья среда извращает закон в угоду сильному, он, судья, будет бороться с этим в пределах суда всеми доступными ему средствами. Если за это придется пострадать, он пострадает, но в деле номер такой-то всякая строка, внесенная его рукой, будет чиста от неправды. И в таком виде дело выйдет за пределы уездного суда в сенат, а может быть, и выше. Если сенат согласится с его соображениями — он будет искренно рад за правую сторону. Если и сенаторов подкупят сила и деньги, это — дело их совести, и когда-нибудь они ответят за это если не перед царем, то перед богом... Что законы могут быть плохи, это опять лежит на ответственности царя перед богом — он, судья, так же не ответствен за это, как и за то, что иной раз гром с высокого неба убивает неповинного ребенка...

Да, это было цельное настроение, род устойчивого равновесия совести. Внутренние их устои не колебались анализом, и честные люди того времени не знали глубокого душевного разлада, вытекающего из сознания личной ответственности за «весь порядок вещей»... Я не знаю, существует ли теперь эта цельность хоть в одной чиновничьей душе в такой неприкосновенности и полноте. Думаю, что нет. Время этого настроения ушло безвозвратно, и уже сознательная юность моего поколения была захвачена разъедающим, тяжелым, но творческим сознанием общей ответственности... Отец умер рано. Если бы он жил дольше, то, несомненно, мы, молодежь, охваченная критикой, не раз услышали бы от него обычную формулу:

— Та-алкуй больной с подлекарем!

Причем, конечно, величественным подлекарем являлось бы то высокое и определяющее, что, по его мнению, должно было оставаться вне критики.

Но чем в конце концов закончилось бы это столкновение — теперь осталось тайной, о которой я думаю часто с печальным сожалением...

III
ОТЕЦ И МАТЬ

У отца были свои причины для глубокой печали и раскаяния, которыми была окрашена вся, известная мне, его жизнь...

В молодых годах он был очень красив и пользовался огромным успехом у женщин. По-видимому, весь избыток молодых, может быть недюжинных, сил он отдавал разного рода предприятиям и приключениям в этой области, и это продолжалось за тридцать лет. Собственная практика внушила ему глубокое недоверие к женской добродетели, и, задумав жениться, он составил своеобразный план для ограждения своего домашнего спокойствия...

В Ровенском уезде Волынской губернии, где он в то время служил исправником, жил поляк-шляхтич средней руки, арендатор чужих имений. Относительно этого человека было известно, что он одно время был юридическим владельцем и фактическим распорядителем огромного имения, принадлежавшего графам В. Старый граф смертельно заболел, когда его сын, служивший в гвардии в Царстве Польском, был за что-то предан военному суду. Опасаясь лишения прав и перехода имения в другую линию, старик призвал известного ему шляхтича и, взяв с него соответствующее обещание, сделал завещание в его пользу. После этого старик умер, сын был сослан в Кавказ рядовым, а шляхтич стал законным владельцем огромных имений... Когда через несколько лет молодой граф, отличавшийся безумною храбростью в сражениях с горцами, был прощен и вернулся на родину, то шляхтич пригласил соседей, при них сдал, как простой управляющий, самый точный отчет по имениям и огромные суммы, накопленные за время управления. Молодой аристократ обнимал его, называл своим благодетелем и клялся в вечной дружбе. Но очень скоро забыл все клятвы и сделал какие-то нечестные и легкомысленные посягательства в семье своего благодетеля. Дед оскорбил барчука и ушел от него нищим, так как во все время уп-

равления имениями не позволял себе самовольно определить цифру своего жалованья. А магнат об этом после ссоры и не подумал...

Таково семейное предание об отце моей матери.

Семья у него была многочисленная (четыре дочери и два сына). Одна из дочерей была еще подросток, тринадцати лет, совсем девочка, ходившая в коротких платьях и игравшая в куклы. На ней именно остановился выбор отца. С безотчетным эгоизмом он, по-видимому, проводил таким образом план ограждения своего будущего очага: в семье, в которой мог предполагать традиции общепризнанной честности, он выбирал себе в жены девочку-полуребенка, которую хотел воспитать, избегая периода девичьего кокетства... Дед был против этого раннего брака, но уступил настояниям своей жены. Формальные препятствия, вытекающие из несовершеннолетия невесты, были устранены свидетельством «пятнадцати обывателей»; из комнаты моей будущей матери вынесли игрушки, короткие платьица сменили подвенечным, и брак состоялся.

Подвести жизненные итоги — дело очень трудное. Счастье и радость так перемешаны с несчастием и горем, что я теперь не знаю, был ли счастлив или несчастен брак моих родителей...

Начинался он, во всяком случае, очень тяжело для матери...

Ко времени своей свадьбы она была болезненная девочка, с худенькой, не вполне сложившейся фигуркой, с тяжелой светло-русой косой и прекрасными, лучистыми серо-голубыми глазами. Через два года после свадьбы у нее родилась девочка, которая через неделю умерла, оставив глубокий рубец в ее еще детском сердце. Отец оказался страшно ревнив. Ревность его сказывалась дико и грубо: каждый мужской взгляд, брошенный на его молоденькую жену, казался ему нечистым, а ее детский смех в ответ на какую-нибудь шутку в обществе представлялся непростительным кокетством. Дело доходило до того, что, уезжая, он запирал жену на замок, и молодая женщина, почти ребенок, сидя взаперти, горько плакала от детского огорчения и тяжкой женской обиды...

На третьем или четвертом году после свадьбы отец уехал по службе в уезд и ночевал в угарной избе. Наутро его вынесли без памяти в одном белье и положили на снег. Он очнулся, но половина его тела оказалась пара-

лизованной. К матери его доставили почти без движения, и, несмотря на все меры, он остался на всю жизнь калекой...

Таким образом, жизнь моей матери в самом начале оказалась связанной с человеком старше ее больше чем вдвое, которого она еще не могла полюбить, потому что была совершенно ребенком, который ее мучил и оскорблял с первых же дней, и наконец стал калекой...

И все-таки я не могу сказать — была ли она несчастна...

Уже на моей памяти, по чьему-то доносу возникло дело о расторжении этого брака, и отец был серьезно напуган этим делом. В нашем доме стали появляться какие-то дотоле невиданные фигуры в мундирах с медными пуговицами, которых отец принимал, угощал обедами, устраивал для них карточные вечера. Особенно из этой коллекции консисторских чиновников запомнился мне секретарь, человек низенького роста, в долгополом мундире, фалды которого чуть не волочились по полу, с нечистым лицом, производившим впечатление красной пропускной бумаги с чернильными кляксами. Глаза у него были маленькие, блестящие и быстрые. Прежде чем сесть за обеденный стол, он обыкновенно обходил гостиную, рассматривая и трогая руками находившиеся в ней предметы. И я замечал, что те предметы, на которых с особенным вниманием останавливались его остренькие глазки, вскоре исчезали из нашей квартиры. Так исчезла, между прочим, семейная драгоценность — большой телескоп, в который отец показывал нам луну... Мы очень жалели эту трубу, но отец с печальной шутливостью говорил, что этот долгополый чиновник может сделать так, что он и мама не будут женаты и что их сделают монахами. А так как у неженатых, и притом монахов, не должно быть детей, то, значит, прибавлял отец, и вас не будет. Мы, конечно, понимали, что это шутка, но не могли не чувствовать, что теперь вся наша семья непонятным образом зависит от этого человека с металлическими пуговицами и лицом, похожим на кляксу.

Однажды в это время я вбежал в спальную матери и увидел отца и мать с заплаканными лицами. Отец нагнулся и целовал ее руку, а она ласково гладила его по голове и как будто утешала в чем-то, как ребенка. Я никогда ранее не видел между отцом и матерью ничего

подобного, и мое маленькое сердчишко сжалось от предчувствия.

Оказалось, однако, что кризис миновал благополучно, и вскоре пугавшие нас консисторские фигуры исчезли.

Но я и теперь помню ту минуту, когда я застал отца и мать такими растроганными и исполненными друг к другу любви и жалости. Значит, к тому времени они уже сжились и любили друг друга тихо, но прочно.

Этот именно тон взаимного уважения и дружбы застает моя память во весь тот период, когда мир казался мне неизменным и неподвижным.

Отец был человек глубоко религиозный и, кажется, в своем несчастии видел праведное воздаяние за грехи молодости. Ему казалось, кроме того, что за его грехи должны поплатиться также и дети, которые будут непременно слабыми и которых он не успеет «вывести в люди». Поэтому одной из его главных забот было лечение себя и нас. А так как он был человек с фантазиями и верил в чудодейственные универсальные средства, то нам пришлось испытать на себе благодетельное действие аппретур на руках, фонтанелей за ушами, рыбьего жира с хлебом и солью, кровоочистительного сиропа Маттеи, пилюль Мориссона и даже накалывателя некоего Бонشайта, который должен был тысячью мелких уколов усиливать кровообращение. Потом появился в нашей квартире гомеопат, доктор Червинский, круглый человек с толстой палкой в виде кадуцея со змеей. В этот период мой старший брат, большой лакомка, добрался как-то в отсутствие родителей до гомеопатической аптечки и съел сразу весь запас мышьяка в пилюлях. Отец сначала очень испугался, но когда убедился, что брат остался в вожделенном здравии, то... усомнился в гомеопатии...

После этого глубокомысленные сочинения Ганемана исчезли с отцовского стола, а на их месте появилась новая книжка в скромном черном переплете. На первой же странице была виньетка со стихами (на польском языке):

Если хочешь стать крепким, жить долгие годы,
Купайся, обливайся, пей холодную воду...

Для вящей убедительности на виньетке были изображены три голых человека изрядного телосложения, из коих один стоял под душем, другой сидел в ванне,

а третий с видимым наслаждением опрокидывал себе в глотку огромную кружку воды...

Мы, дети, беспечно рассматривали эту виньетку, но истинное значение ее поняли только на следующее утро, когда отец велел поднять нас с постелей и привести в его комнату. В этой комнате стояла широкая бадья с холодной водой, и отец, предварительно проделав всю процедуру над собой, заставил нас по очереди входить в бадью и, черпая жестяной кружкой ледяную воду, стал поливать нас с головы до ног. Это было большое варварство, но вреда нам не принесло, и вскоре мы «закалились» до такой степени, что в одних рубашках и босые спасались по утрам с младшим братом в старую коляску, где, дрожа от холода (дело было осенью, в период утренних заморозков), ждали, пока отец уедет на службу. Мать всякий раз обещала отцу выполнить добросовестно по нашем возвращении акт обливания, но... бог ей, конечно, простит — иной раз в этом отношении обманывала отца... А так как при этом мы весь день проводили, невзирая ни на какую погоду, на воздухе, почти без всякого надзора, то вскоре даже мнительность отца уступила перед нашим неизменно цветущим видом и неуязвимостью...

Эта вера в «книгу и науку» была вообще заметной и трогательной чертой в характере отца, хотя иной раз вела к неожиданным результатам. Так, однажды он купил где-то брошюру, автор которой уверял, что при помощи буры, селитры и, кажется, серного цвета можно изумительно раскармливать лошадей при чрезвычайно скромных порциях обычного лошадиного корма. У нас была тогда пара рослых меринов, над которыми отец и стал производить опыты. Бедные лошади худели и слабели, но отец до такой степени верил в действительность научного средства, что совершенно не замечал этого, а на тревожные замечания матери, как бы лошади от этой науки не издохли, отвечал:

— Толкуй больной с подлекарем! Толстеют, а ты говоришь глупости. Правда, Филипп, толстеют?

— А таки потолстели,— отвечал хитрый кучер...

«Лошади судьи» прославились по всему городу необычайной худобой и жадностью, с которой они грызли коновязи и заборы, но отец замечал только «поправку», пока одна из них не издохла без всякой видимой причины... Я помню выражение горестного изумления и раскаяния, с которыми отец стоял над трупом бедной

страдалицы. Другую лошадь он тотчас же велел накормить овсом и сеном без научной приправы и затем, кажется, продал... Впрочем, впоследствии оказалось, что в этой неудаче виновна была не одна наука, но и кучер, который пропивал и то небольшое количество овса, какое полагалось, оставляя лошадей на одной только буре с селитрой... Как бы то ни было, опыт больше не возобновлялся...

По-видимому, у отца бродили еще долго какие-то прежние планы, и он стремился выбиться из крепких тисков серой чиновничьей рутины. То он приобретал телескоп и астрономические сочинения, то начинал изучать математику, то покупал итальянские книги и обзаводился словарями... Вечерние досуги, не занятые писанием бумаг и решений, он посвящал чтению и порой ходил по комнатам, глубоко обдумывая прочитанное. Иной раз он делился своими мыслями с матерью, а иногда даже, если матери не было поблизости, с трогательным, почти детским простодушием обращался к кому-нибудь из нас, детей...

Помню, однажды я был с ним один в его кабинете, когда он, отложив книгу, прошелся задумчиво по комнате и, остановившись против меня, сказал:

— Философы доказывают, что человек не может думать без слов... Как только человек начнет думать, так непременно... понимаешь? в голове есть слова... Гм... Что ты на это скажешь?

И, не дожидаясь ответа, он начал шагать из угла в угол, постукивая палкой, слегка волоча левую ногу и, видимо, весь отдаваясь проверке на себе психологического вопроса. Потом опять остановился против меня и сказал:

— Если так, то, значит, собака не думает, потому что не знает слов.

— Рябчик понимает слова,— ответил я с убеждением.

— Это что! Мало.

Я был тогда совсем маленький мальчик, еще даже не учившийся в пансионе, но простота, с которой отец предложил вопрос, и его глубокая вдумчивость заразили меня. И пока он ходил, я тоже сидел и проверял свои мысли... Из этого ничего не вышло, но и впоследствии я старался не раз уловить те бесформенные движения и смутные образы слов, которые проходят, как тени, на

заднем фоне сознания, не облекаясь окончательно в определенные формы.

— А вот англичане,— сказал отец в другой раз за обедом, когда мы все были в сборе,— предлагают большие деньги тому, кто выдумает новое слово.

— Великая штука!— самонадеянно сказал старший брат,— я сейчас выдумаю.

И он, не задумываясь, брякнул какое-то совершенно ни с чем не сообразное слово. Мы засмеялись.

— А! Дурак!— сказал отец, видимо раздосадованный таким легким отношением к задаче ученых англичан. Но мы все приняли сторону брата.

— Почему же дурак, когда он действительно выдумал?

— Выдумал, выдумал! А что же оно значит?

— Оно?..— Брат несколько затруднился, но тотчас же ответил:— Ничего не значит, но новое...

— То-то вот и есть, что ты дурак! Нужно, чтобы значило, и чтобы было с толком, и чтобы другого слова как раз с таким значением не было... А так — мало ли что ты выдумаешь!.. Ученые не глупее вас и говорят не на смех...

— Но все-таки,— прибавил он затем,— выдумать, кажется, можно...

— Некоторые философы думают,— сказал он в другой раз опять за столом,— что бога нет.

— А! Глупости,— сказала мать,— для чего ты повторяешь глупые слова...

— Толкуй больной с подлекарем!— ответил отец.— Это говорят не дураки, а ученые люди...

— Кто же тогда создал мир и человека?

— Один англичанин доказывает, что человек произошел от обезьяны.

— А обезьяна откуда?

Все мы, и отец в том числе засмеялись.

— Это, конечно, заблуждение разума,— сказал отец и прибавил убежденно и несколько торжественно:— Бог, дети, есть, и он все видит... все. И тяжко наказывает за грехи...

Не помню, в этот или другой раз, он сказал с особенным выражением:

— В Писании сказано, что родители наказываются в детях до семьдесят седьмого колена... Это уже может показаться несправедливым, но... может быть, мы не понимаем... Все-таки бог милосерд.

Только теперь я понимаю, какое значение имело для него это изречение... Он боялся, что мы будем нести наказание за его грехи. И его совесть восставала против несправедливой кары, а вера требовала покорности и давала надежду...

В послужном списке отца значится, что он получил образование в «непривилегированном пансионе» в городе Кишиневе... Очевидно, это образование равнялось «домашнему». Но почти до конца своей жизни он сохранил умственные запросы, и первые понятия, выходящие за пределы известного мне тогда мира, понятия о том, что есть бог и есть какая-то наука, исследующая природу души и начала мира,— мы, дети, получили от этого простодушного полуобразованного человека. Эти понятия были наивны и несложны, но, может быть, именно вследствие этой почти детской наивности они глубоко западали в душу и навсегда остались в ней как первые семена будущих мыслей...

IV

ДВОР И УЛИЦА

Тот дом, в котором, казалось мне, мы жили всегда, был расположен в узком переулке, выбегавшем на небольшую площадь. К ней сходилось несколько улиц; две из них вели на кладбища.

Одна из этих последних называлась шоссе. По ней пробегали почтовые пары с подвязанными колокольчиками, и так как, собственно, наиболее оживленная часть города здесь кончалась, то иной раз почтари останавливали лошадей и отвязывали колокольчики. Тогда дальше почта трогалась уже со звоном, который постепенно стихал, все удаляясь и замирая, пока повозка, тоже все уменьшаясь, не превращалась в маленькую точку. Эта улица была длинная и прямая. На ней дома чередовались с заборами, пустырями, вросшими в землю хибарками, и перспектива ее заканчивалась вдали купами зелени, свешивавшейся из-за заборов. С одной стороны это было «православное» кладбище, с другой — чей-то обывательский сад. Между этими пятнами зелени все, что удалялось по шоссе за город, мелькало в последний раз и скрывалось в безвестную и бесконечную даль... Мы с братом часто смотрели от угла нашего переулка или с высоты забора, как исчезали в этой перспективе

почтовые повозки, высокие еврейские балагулы, неуклюжие дилижансы, мужичьи телеги. И когда кого-нибудь хоронили, мы не могли уйти с угла до тех пор, пока похоронный кортеж не достигал этой предельной точки. Тогда бесформенное пятно людской толпы как будто еще раз развертывалось яснее. Хоругви мелькали и наклонялись под воротами и ветвями дерев, выравнивался перпендикулярно катафалк, и все это втягивалось в кладбищенскую ограду. Тогда мы знали, что «все кончено»... Первые, наиболее яркие и глубокие впечатления дали связаны у меня с этой длинной перспективой шоссе, и, быть может, их глубине и некоторой мечтательности, которая и вообще сродна представлениям о дали, содействовала эта связь с похоронами и смертью...

Улица эта немного подымалась по мере удаления, и потому все, приближавшееся по ней к центру города, как бы скатывалось вниз... И я еще теперь помню чувство изумления, охватившее меня в самом раннем детстве, когда небольшое квадратное пятно, выползшее в ее перспективе из-за горизонта, стало расти, приближаться, и через некоторое время колонны солдат заняли всю улицу, заполнив ее топотом тысячей ног и оглушительными звуками оркестра. Солдаты были в круглых шапочках без козырьков и в кургузых, сильно поношенных кафтанчиках, офицеры в жестких киверах с султанами или металлическими шишками. Все они шли мерно, в ногу, и было что-то суровое в этом размеренном движении...

Все кругом говорили, что они возвращаются с войны «из-под Севастополя»...

По шоссе проходили также арестанты, звеня кандалами, а один раз провезли какого-то мрачного человека для «торговой казни»... Впереди шел взвод солдат, и четыре барабанщика отбивали суровую, мерную дробь... На каждом шагу барабанщиков барабаны приподнимались на их левой ноге, но дробь лилась безостановочно, такая же мерная и зловещая... За ними ехала телега, на которой была воздвигнута высокая скамья, и к ее спинке были привязаны назад руки сидевшего на ней человека. Голова его, ничем не покрытая, была низко опущена и моталась при встрясках на мостовой, а на груди наклонно висела доска с надписью белыми буквами... И вся эта мрачная фигура плыла высоко над толпой, как бы господствуя над стремительным людским пото-

ком... За телегой шел взвод солдат и бежали густые толпы народа... На площадь, конечно, нас не пустили, но лакей Гандыло, который убежал туда за толпой, рассказывал потом в кухне с большим увлечением, как на эшафоте палач уложил «смертоубийцу» на «кобылу», как расправлял кнут и при этом будто бы приговаривал:

— Отец и мать тебя не учили, так я тебя научу.

Потом вскрикивал: «Берегись, ожгу», и затем по всей площади разносился свист плети и нечеловеческий крик наказываемого... Женщины из нашей прислуги тоже вскрикивали и крестились...

Это была, кажется, последняя «торговая казнь» в нашем городе...

Вообще — по длинному прямому шоссе двигалось и в город, и из города много интересного, нового, иногда страшного...

Другая кладбищенская улица круто сворачивала около нашего переулка влево. Она вела на кладбища — католическое и лютеранское, была широка, мало заселена, не вымощена и покрыта глубоким песком. Траурные колесницы здесь двигались тихо, увязая по ступицы в чистом желтом песке, а в другое время движения по ней было очень мало.

На остром углу этой улицы и нашего переулка стояла полицейская будка, где жил старый будочник (с алебардой, вскоре упраздненной); а за будкой, среди зелени чьего-то сада, высилась огромная «фигура» — старый польский крест с крышкой, прикрывавшей распятую фигуру Христа. Какой-то набожный человек воздвиг ее на этом узловом перекрестке, и она своими распростертыми раменами как бы провожала на вечный покой и тех, что удалялись по шоссе, и тех, которых траурные кони, утопая в песке, тихо увозили на польское кладбище. А напротив «фигуры» стоял старый-престарый кабак, дряхлое темное здание, сильно покосившееся и подпертое с улицы бревнами. Там почти беспрестанно пилила скрипица и ухал бубен. Иногда громкий пронзительный женский плач провожавших гробы смешивался с этим диким уханьем и пьяными криками.

Времена были простые.

Двор наш был уютный и тихий. От больших улиц он отделялся двумя каменными домами, по-местному «каменицами». В одной из этих камениц жили наши домо-

хозяева, квартира и обстановка которых казались мне верхом роскоши и богатства. Ворота выходили в переулок, и над ними низко свешивались густые ветки старого серебристого тополя. Кучер хозяйской коляски, казавшийся очень важным, в серой ливрее, въезжая в ворота, всякий раз должен был низко наклонять голову, чтобы ветки не сорвали его высокую шляпу с позументной лентой и с бантом...

Наш флигель стоял в глубине двора, примыкая с одной стороны к каменице, с другой — к густому саду. За ним был еще флигелек, где жил тоже с незапамятных времен военный доктор Дударев.

Хозяин нашего дома был поляк, которого величали «пан коморник» (землемер). Это был очень старый человек, высокий, статный (несмотря на некоторую полноту), с седыми усами и седыми же волосами, подстриженными в кружок. В будни он с самого утра в синем кафтане ходил по двору, хлопоча по хозяйству, как усердный управляющий. По воскресеньям надевал роскошный цветной кунтуш синего или малинового цвета с вылётами (откидные рукава), какой-нибудь светлый жупан, широкие бархатные шаровары и рогатую конфедератку, перепоясывался роскошным поясом, привешивал кривую саблю и шел с молитвенником в костел. Жена (гораздо моложе его) и женщины из ее штата ездили в коляске, запряженной прекрасными лошадьми, но он всегда ходил пешком. Когда он заболевал, то приказывал жарко истопить печь в кухне, постелить соломы и, раздевшись, лез туда. Затем он выходил из печи распаренный, пил липовый цвет и на следующее утро опять хлопотал по двору и в конюшне.

Все это я узнал уже по позднейшим рассказам, а самого Коляновского помню вполне ясно только уже в последние дни его жизни. Однажды он почувствовал себя плохо, прибег к обычному средству, но оно не помогло. Тогда он сказал жене:

— Теперь буду умирать...

Жена призвала докторов. На нашем дворе стали появляться то доктор-гомеопат Червинский с своей змеей, то необыкновенно толстый Войцеховский... Старый «коморник» глядел очень сомнительно на все эти хлопоты и уверенно твердил, что скоро умрет.

В это время я ясно припоминаю себя в комнате больного. Я сидел на полу, около кресла, играл какой-то кистью и не уходил по целым часам. Не могу теперь от-

дать себе отчет, какая идея овладела в то время моим умом, помню только, что на вопрос одного из посетителей, заметивших меня около стула: «А ты, малый, что тут делаешь?» — я ответил очень серьезно:

— Старого Коляновского караулю.

У больного зашевелился живот, и он, болезненно улыбаясь, сказал:

— Не укараулишь (nie dopilnujesz).

И действительно, я его не укараулил: через два-три дня после этого старый Коляновский лежал, важный и торжественный, на катафалке. Его одели, как в воскресенье, в палевый жупан и синий кунтуш, положили около кривую саблю, а рядом на стуле лежала рогатая конфедератка с пером. Его лицо, красное при жизни, было теперь так же бело, как усы... На следующий день наш двор наполнился множеством людей, принесли хоругви, и огромный катафалк не мог въехать с переулка. Тогда кто-то из дворни влез на ствол серебристого тополя и стал рубить большую нижнюю ветку. Когда она лежала на земле, я смотрел и на нее и на образовавшийся таким образом пролет над воротами с таким же чувством, как и на странную фигуру Коляновского. Я, может быть, и знал, что это смерть, но она не была мне тогда еще ни страшна, ни печальна... Просто ветка странным образом склонилась листьями к земле, чего с ней прежде никогда не бывало. А Коляновский оделся, чтобы идти в костел, но вместо этого лежит целый день на столе.

После похорон некоторое время во дворе толковали, что ночью видели старого «коморника», как при жизни хлопотавшим по хозяйству. Это опять была с его стороны странность, потому что прежде он всегда хлопотал по хозяйству днем... Но в то время, кажется, если бы я встретил старика где-нибудь на дворе, в саду или у конюшни, то, вероятно, не очень бы удивился, а только, пожалуй, спросил бы объяснения его странного и ни с чем не сообразного поведения, после того как я его «не укараулил»...

В те годы старопольский костюм вышел уже из употребления или даже был запрещен. Но богатый и своенравный «коморник» не уступал новым обычаям, жил и сошел в могилу, верный себе и своему времени. И когда я теперь вспоминаю эту характерную, не похожую на всех других людей, едва промелькнувшую передо мной фигуру, то впечатление у меня такое, как

будто это — само историческое прошлое Польши, родины моей матери, своеобразное, крепкое, по-своему красивое, уходит в какую-то таинственную дверь мира в то самое время, когда я открываю для себя другую дверь, провожая его ясным и зорким детским взглядом...

Жизнь нашего двора шла тихо, раз заведенным порядком. Мой старший брат был на два с половиной года старше меня, с младшим мы были погодки. От этого у нас с младшим братом установилась, естественно, бóльшая близость. Вставали мы очень рано, когда оба дома еще крепко спали. Только в конюшне конюхи чистили лошадей и выводили их к колодцу. Иногда нам давали вести их в поводу, и это доверие очень подымало нас в собственном мнении.

За конюхами просыпались кухарки и шли за дровами в сараи.

В $8^{1}/_{2}$ часов отцу подавали бричку, и он отправлялся в должность. Это повторялось ежедневно и казалось нам законом природы, как и то, что часов около трех мать уже хлопочет около стола. В три часа опять раздавался грохот колес, и отец входил в дом, а из кухни несли суповую миску...

В этот промежуток дня наш двор замирал. Конюхи от нечего делать ложились спать, а мы с братом слонялись по двору и саду, смотрели с заборов в переулок или на длинную перспективу шоссе, узнавали и делились новостями... А солнце, подымаясь все выше, раскаляло камни мощеного двора и заливало всю нашу усадьбу совершенно обломовским томлением и скукой...

У меня осталось одно странное воспоминание, связанное с часами этого знойного и томительного безделья... К нам во двор забрела кошка с подбитой ногой. Мы стали кормить ее, и она прижилась. Иногда, в жаркий полдень, я разыскивал эту кошку, брал ее с собой на задний двор, где у нас лежали кузова старых саней, и, улегшись в одном из этих кузовов, принимался ласкать ее. Кошка благодарно мурлыкала, лизала мне лицо, глядела в глаза и, казалось, совершенно сознательно отвечала взаимностью на мое расположение и жалость. И это чувство дружбы с животным заполняло минуты, порой даже часы...

Но по мере того как нога у нее заживала и сама она, раскормленная и сытая, становилась благополучнее, ее благодарность исчезала. Прежде она шла на всякий мой зов, появляясь невесть из каких углов и закоулков,

теперь случалось, что она ускользала от меня, явно прикидываясь, что не слышит.

Так она поступила и в один жаркий день, когда я, рассорившись с братом, почувствовал особенную потребность в ее дружбе. Она проходила мимо садового забора и, когда я ее позвал, попыталась лукаво проскользнуть в щель. Но я все-таки успел захватить ее...

На этот раз она очень холодно отвечала на мои ласки. В глазах ее не было прежней взаимности, и, улучив удобную минутку, она попыталась ускользнуть. Меня охватил гнев. Ее поведение казалось мне верхом неблагодарности, и, кроме того, мне страстно хотелось вернуть наши прежние дружеские отношения. Вдруг в уме мелькнула дикая мысль, что она любила меня, пока ей было больно, а мне ее жалко... Я схватил ее за хвост и перекинул себе через плечо.

Кошка взвизгнула и больно вцепилась когтями в мою спину. Я выпустил ее, и она умчалась, как стрела, а я остался с сознанием своей вины и жгучего стыда... После этого мне стоило много труда залучить ее опять, а когда удалось, то я употребил все меры, чтобы растолковать ей, что я сознаю свою вину и теперь взял ее только для того, чтобы помириться... Дальнейшие наши отношения были мирные, хотя и довольно холодные, но я до сих пор помню эту странную вспышку искусственной жалости под влиянием томительного безделья на раскаленном и до скуки знакомом дворе...

Что делать! Всякое чувство имеет цену, лишь пока свободно. Попытки вернуть его во что бы то ни стало и в людских отношениях кончаются по большей части царапинами...

V

«ТОТ СВЕТ».— МИСТИЧЕСКИЙ СТРАХ

Мне трудно вспомнить, когда я в первый раз услышал о «том свете». Вероятно, это потому, что слышал я это очень рано и слова явились гораздо ранее, чем их значение.

Я знал с незапамятных времен, что у нас была маленькая сестра Соня, которая умерла и теперь находится на «том свете», у бога. Это было представление немного печальное (у матери иной раз на глазах бывали слезы), но вместе светлое: она — ангел, значит, ей хо-

рошо. А так как я ее совсем не знал, то и она, и ее пребывание на «том свете» в роли ангела представлялось мне каким-то светящимся туманным пятнышком, лишенным всякого мистицизма и не производившим особенного впечатления...

Потом на «тот свет» отправился пан Коляновский, который, по рассказам, возвращался оттуда по ночам. Тут уже было что-то странное. Он мне сказал: «Не укараулишь», значит, как бы скрылся, а потом приходит тайком от домашних и от прислуги. Это было непонятно и отчасти коварно, а во всем непонятном, если оно вдобавок сознательно, есть уже элемент страха...

Еще года через два или три «тот свет» глянул на нас, как зарница из темной тучи, зловеще ощутительно и ясно...

У нас был знакомый мальчик и сверстник, Славек Лисовский. Я не знаю, что это за имя, но его так звали, и нам имя нравилось, как и он сам. Он ходил в коротенькой курточке и носил белые воротнички, был тонок и высок не по летам. Когда он пришел в первый раз, то сначала и он, и его походка, и его кургузая курточка, и белые воротнички с манжетами показались нам необыкновенно смешными. Но уже через полчаса после первого знакомства в этом долговязом мальчике вспыхнула такая масса непосредственного веселья и резвости, что мы были совершенно очарованы. И каждый раз, когда он приходил к нам, у нас начинался живой, веселый кавардак, часто переходивший далеко за обычные границы наших шалостей.

Однажды он был у нас почти весь день, и нам было особенно весело. Мы лазали по заборам и крышам, кидались камнями, забирались в чужие сады и ломали деревья. Он изорвал свою курточку на дикой груше, и вообще мы напроказили столько, что еще дня два после этого всё боялись последствий.

Совесть у всех была неспокойна...

И вот, на третий день, часа в три, вскоре после того как на дворе прогремели колеса отцовской брички, нас позвали не к обеду, а в кабинет отца.

Мы были уверены, что дело идет о наказании, и вошли в угнетенном настроении. В кабинете мы увидели мать с встревоженным лицом и слезами на глазах. Лицо отца было печально.

— Дети,— сказал он, увидев нас,— я должен вам объявить печальную и страшную новость: Славек вчера вечером умер.

Я помню, что никто из нас не сказал на это ни одного слова, и, я думаю, старшим могло показаться, что известие не произвело на детей никакого впечатления. Мы тихо вышли из комнаты и сели за стол. Но никто из нас не радовался, что отцовская гроза миновала. Мы чувствовали какую-то другую грозу, неведомую и мрачную...

На следующий день нас взяли на похороны Славка. Жили они на песчаной кладбищенской улице, почти у самого кладбища, и я первый раз почувствовал, что такое смерть... Славек, такой же тонкий, еще как будто выше ростом, в такой же темно-зеленой курточке с белыми воротничками лежал на столе, как и пан Коляновский,— совершенно белый и неподвижный. Кругом горели желтым пламенем траурные свечи, воздух был спертый, насыщенный чем-то особенным, в комнате слышались тихие разговоры и вздохи. А когда Славка, подняв вместе с гробом на плечи, понесли из комнаты на двор, то мать его громко кричала и билась на руках у людей, прося, чтобы и ее зарыли в землю вместе с сыном и что она сама виновата в его смерти.

Вечером у нас на кухне прислуга шепотом передавала, что Славка родители высекли за разорванную куртку и за шалости. Он целовал у них руки, обещал, что никогда больше не будет, просил хоть на этот раз простить его и лучше очень больно высечь когда-нибудь в другой раз, потому что теперь он непременно умрет. «Значит, душа его знала»,— прибавляли при этом многозначительно. Но родители не поверили и все-таки высекли. В ту же ночь с ним сделался сильный жар, позвали доктора... а к следующему вечеру он умер, кажется, «от горла»...

Весь день у нас только и было разговоров об этой смерти. У матери вид был испуганный: она боялась за нас (хотя тогда не так еще верили в «заразу») и плакала о чужом горе. Кажется, именно в этот день вечером пришел к нам пан Скальский, большой приятель отца и мой крестный. У него год назад умер сын в киевском корпусе. Горе его еще не совсем улеглось, а теперь ожило, и он рассказывал о том, как он узнал о смерти сына. По вызову начальника корпуса он приехал в Киев, но это было уж вечером, и идти в корпус было поздно. Он остановился невдалеке, в какой-то гостинице, и долго

сидел у открытого окна. Ночь была теплая, ясная, тихая... его не покидали мысли о больном сыне. Наконец он запер окно и потушил свечу...

— И вдруг,— так приблизительно рассказывал Скальский, печально-спокойным и убежденным голосом,— слышу: кто-то стучится в окно... вот так: раз, два и три... Я встал с постели, подошел к окну... Никого, да и окно во втором этаже... Лег опять и опять слышу: стук-стук, стук-стук... тихонько, будто кто просится в комнату... А луна светит ярко, так все и заливает... Встал я опять, подошел к окну, гляжу: в нижнее стекло бьется что-то... маленький комочек такой, бьется и стукает... Я опять отошел, и вдруг сердце у меня так и упало... Бросился к окну, открываю...

— И что же?— спросил отец.

— Жук...— ответил Скальский с печальной серьезностью.

— Жук?

— Да, жук... большой, темный... Отлетел от окна и полетел... по направлению, где корпус. А месяц! Все видно, как днем. Я смотрел вслед и некоторое время слышал... ж-ж-ж... будто стонет. И в это время на колокольне ударили часы. Считаю: одиннадцать.

— Что ж такое?— сказал опять отец спокойно.— Ну, прилетел жук, и больше ничего.

— Погоди,— ответил Скальский.— На следующее утро иду в корпус. Спрашиваю швейцара: как мне увидеть сына? «Ступайте, говорит, ваше благородие, в мертвецкую...» Потом... рассказали: умер ровно в одиннадцать ночи... И значит — это его я не пустил в комнату. Душа прилетала прощаться...

— А! Толкуй больной с подлекарем!— сказал отец.— Забобоны и бабьи сказки. Мальчик умер от болезни, а жук ни при чем. Мало ли летает жуков?

— Нет, не говори... Так он стучался... особенно. И потом летел и стонал... А я глядел, и сердце у меня рвалось за ним...

Отец был человек глубоко религиозный, но совершенно не суеверный, и его трезвые, иногда юмористические объяснения страшных рассказов в значительной степени рассеивали наши кошмары и страхи. Но на этот раз во время рассказа о сыне и жуке каждое слово Скальского, проникнутое глубоким убеждением, падало в мое сознание. И мне казалось, что кто-то бьется и стучит за стеклом нашего окна...

Спать мы легли в этот вечер несколько позже обыкновенного, и среди ночи я проснулся в слезах. Мне привиделся страшный сон, подробностей которого я не мог вспомнить совсем ясно, но в каком-то спутанном клубке смутных образов я все-таки видел Славка, слышал какие-то его просьбы, мольбы и слезы... Сердце мое сжималось от глубокой жалости, но вместе и от страха. В другой комнате на полу горела свеча, слышалось дыхание спавших братьев и сестры, а за окном вздыхал ветер... Я знал, что там, за окнами, наш двор, дорожки сада, старая беседка в конце аллеи... Но от одной мысли, что по этим знакомым местам, быть может, ходит теперь старый Коляновский и Славек,— страх и жалость охватывали меня до боли... Я заплакал.

Мать, которая часто клала меня с собой, услышала мой тихий плач, проснулась и стала ласкать меня. Я схватил ее руку, прижался к ней и стал целовать. Ощущение ее теплого, живого тела и ее любящая ласка меня успокоили, и я вскоре заснул. Но и засыпая, я чувствовал, что где-то тут близко, за запертыми ставнями, в темном саду, в затканных темнотою углах комнат, есть что-то особенное, печальное, жуткое, непонятное, насторожившееся, страшное и — живое таинственной жизнью «того света»... А жизнь «того света» почему-то враждебна нашей жизни...

Таким образом, мистический ужас уже был готов в наших детских душах, и, конечно, его только раздувала окружавшая нас среда. У моей сестренки, которая была моложе меня на два с половиной года, была старая нянька, которая должна была присматривать и за нами. Это было маленькое существо с морщинистым лицом и большой кичкой на голове, отчего голова казалась огромной. Она знала много страшных рассказов, больше, впрочем, из разбойничьего быта. Особенное впечатление производил на нас рассказ о матери и дочери. Разбойник ночью застал в доме только мать с дочерью и стал требовать денег. Мать сказала, что деньги в погребе, и повела туда разбойника. Дочь шла впереди с каганцом (светильня), разбойник за ней, а мать сзади. И вот, когда разбойник вошел в погреб, мать захлопнула дверь... Дочь осталась с разбойником.

Дальнейшее представляло короткую поэму мучительства и смерти. Дочь из погреба молит мать открыть дверь... «Ой, мамо, мамо! Відчиніть, бо він мене заріже...» — «Ой, доню, доню, нещасна наша доля... Як від-

чиню, то заріже обоїх...» — «Ой, мамо, мамо»,— молит опять дочь... И шаг за шагом в этом диалоге у запертой двери развертывается картина зверских мучений, которая кончается последним восклицанием: «Не відчиняйте, мамо, бо вже мені й кишки висотав...» И тогда в темном погребе все стихает...

Старуха сама оживала при этих рассказах. Весь день она сонно щипала перья, которых нащипывала целые горы... Но тут, в вечерний час в полутемной комнате, она входила в роли, говорила басом от лица разбойника и плачущим речитативом от лица матери. Когда же дочь в последний раз прощалась с матерью, то голос старухи жалобно дрожал и замирал, точно в самом деле слышался из-за глухо запертой двери...

Этим она пыталась нас усыпить, но, разумеется, сон улетал, как вспугнутая птица, и, закрываясь с головой от страшного впечатления, мы засыпали только глубокою ночью...

Настоящую поэзию мистического ужаса впитывали мы на кухне в длинные зимние вечера, когда родители уезжали в гости, а мы подолгу засиживались с дворней. На кухне было тепло, стоял какой-то особенный сытный запах, по стенам медленно ползали тараканы, звенели сверчки, жужжало веретено, и «пани Будзиньская», наша кухарка, рассказывала разные случаи из своего детства. Она была тоже стара, но выглядела очень бодрой и респектабельной. Отец ее в старые годы чумаковал, то есть ходил с обозами в Крым за рыбой и солью, а так как мать ее умерла рано, то отец брал ее с собою... Таким образом, ее детство прошло в чумацких валках, в странствованиях по степям на скрипучих возах, с ночлегами в степи. При этом она видела «своїми очима» много таинственного и чудесного.

Раз отец отстал от валки... Ночь была ясная, как день (большинство ее страшных рассказов происходило именно в ясные ночи). Месяц светил с высокого неба, и в степи видна была каждая травинка. Она заснула на возу, но вдруг проснулась. Отец шел рядом с возом и бормотал что-то, подгоняя волов. Девочка оглянулась по степи и увидела далеко, под небольшим лесочком, над балкой, белую фигуру. «Тату,— сказала она отцу,— от там кто-то белый идет под лесом».—«Молчи, доню,— ответил ей шепотом отец,— говори скорее отченашу». Она стала молиться, как умела, а белая фигура быстро неслась по кругу, сначала по самому краю сте-

пи, а потом все приближаясь и приближаясь к возу. И по мере того как она приближалась и было видно, что это — женщина, и что глаза у нее закрыты, и что она все растет, растет выше лесу, до самого неба. «Молись, доню, крепче,— просил отец,— твоя молитва сильнее». И оба они кричали в глухой степи все молитвы, какие только знали, все громче и громче... И тогда фигура с закрытыми глазами, будто ее кто отталкивал, стала удаляться опять по кругу, пока не сделалась маленьким белым пятном под лесом. А тут уже замигали и огни чумацкого табора...

В другой раз они опять отстали от табора и ночью должны были переезжать через болота по длинной гребле, в конце которой стояла мельница. Ночь, конечно, опять была ясная, как день, а на мельницах и в бучилах, как это всем известно, водится нечистая сила... Девочка опять не спала на возу и, взъехав на греблю, увидела, что стороной за возом бежит что-то маленькое, «як мыша». «Тату,— сказала она задремавшему отцу,— вот за возом мыша бежит». Отец оглянулся и тотчас же стал креститься: «Говори, доню, отче-нашу»... Оба опять стали молиться, а мыша выросла в крысу, потом стала как кошка, потом как лисица, как волк и, наконец, как медвежонок. Медвежонок вырос в медведя и все продолжал расти, так что когда они подошли к концу гребли и поравнялись с мельницей, то он был уже выше мельничной крыши. Но тут оказалось опять, на счастье путников, что чумацкая валка расположилась ночевать на лугу за мельницей, так что оттуда слышался уже говор, песни и крики. Нечистый, увидев огни и такую силу крещеного народу, вдруг поднялся на дыбы, что-то «загуло́», как ветер, и медведь кинулся в омут...

Отец присоединился к табору и попросил, чтобы его с возом пустили в середину. Чумаки, видя, что с человеком случилось такое происшествие, признали его требование справедливым, раздвинули возы и очистили ему место. Отец, кроме того, был человек «знающий» и потому, прежде чем лечь спать, обвел круг кнутовищем около своей телеги, закрестил его и заговорил заговорами. Ночью кто-то, очевидно, искал среди спящего табора именно его и его дочку. Наутро весь табор оказался в полном беспорядке, как будто невидимая сила перетрясла его и перешвыряла так, что возы оказались пе-

ремешаны, хозяева очутились на чужих возах, а иных побросало даже совсем вон из табора в степь...

Это были два самых ярких рассказа пани Будзиньской, но было еще много других — о русалках, о ведьмах и о мертвецах, выходивших из могил. Все это больше относилось к прошлому. Пани Будзиньская признавала, что в последнее время народ стал хитрее и поэтому нечисти меньше. Но все же бывает...

На один из таких рассказов вошла в кухню моя мать и, внимательно дослушав рассказ до конца, сказала:

— Вот ты, Будзиньская, старая женщина, а рассказываешь такие глупости... Как тебе не стыдно? Перепились твои чумаки пьяные, вот и все...

Будзиньская очень обиделась.

— Я еще вовек не лгала,— ответила она с большим достоинством,— а паны, дело известное, ничему не верят.

Я был в большом недоумении. Страшные рассказы положительно подавляли наши детские души, и, возвращаясь из кухни вечером, мы с великим страхом проходили мимо темного отверстия печки, находившегося в середине коридора и почему-то никогда не закрывавшегося заслонками. Нам казалось, что оттуда вдруг протянется чья-то рука, или мохнатая, черная, как у медведя, или, наоборот, белая, как у Коляновского или Славка... Иной раз, поравнявшись с этим отверстием, мы кидались бежать как сумасшедшие и прибегали в спальню запыхавшиеся и бледные... Уверенность матери, что все это пустяки, вносила успокоение. И когда я теперь вспоминаю мою молодую красавицу мать в этой полутемной кухне, освещенной чадным сальным каганчиком, в атмосфере, насыщенной подавляющими душу страхами, то она рисуется мне каким-то светлым ангелом, разгоняющим эти страхи уже одной своей улыбкой неверия и превосходства...

Но вместе с тем чувствовалось, что пани Будзиньская — не лгунья и что в ее рассказах нет намеренной лжи.

Поэтому мы все больше и больше попадали во власть «того света», который казался нам наполненным враждебной и чуткой силой... Однажды старший брат страшно закричал ночью и рассказал, что к нему из соседней темной комнаты вышел черт и, подойдя к его кровати, очень изящно и насмешливо поклонился.

После этого с нами нередко повторялись галлюцинации. Я, кажется, был самый нервный из моих братьев и потому испытывал наиболее мучений. Они засыпали раньше, а я долго ворочался в постели, вздрагивая от каждого шума... Особенно бывало страшно, когда уезжали родители, а это случалось довольно часто. Отец, после того как миновали припадки его ревности, как будто старался вознаградить мать и потому вывозил ее на вечера, где она танцевала, а он играл в шахматы... В такие вечера горничные уходили на кухню или даже к соседям, а с нами оставалась старая нянька, которая тоже засыпала. Я боялся оставаться один, боялся пройти по темному коридору в кухню, боялся лечь в постель. Иной раз я так и засыпал от напряжения, сидя где-нибудь в углу на сундуке и глядя в темную комнату. В темноте роились образы, неясные, спутанные, и порой они выступали вперед. Чаще всего это был высокий щеголеватый господин, в котором, в сущности, не было ничего страшного, кроме того, что он крадется в темноте. По-видимому, он вызывался усталостью глаз, потому что всегда проносился по дуговой линии, как это бывает с теми сеточками, какие иногда видишь в глазу и которые тотчас убегают, как бы закатываясь, когда хочешь разглядеть. Тот же господин появлялся и в кошмарах, но наибольший ужас я испытывал при появлении в кошмаре какого-то офицера. Он обыкновенно выходил из темноты и на несколько мгновений останавливался неподвижно. Лицо у него было обыкновенное, кажется, даже довольно красивое, но черты не запоминались, а оставалось только впечатление бледности... После остановки он наклонялся и начинал подходить ко мне, и это было самое страшное... Он все ускорял шаги, затем нас обоих подхватывал какой-то вихрь, и мы среди особенного шума неслись с ним опять по закатывающейся круговой линии куда-то в бездонную пропасть...

Я просыпался весь в поту, с бьющимся сердцем. В комнате слышалось дыхание, но привычные звуки как будто заслонялись чем-то вдвинувшимся с того света, чужим и странным. В соседней спальне стучит маятник, потрескивает нагоревшая свеча. Старая нянька вскрикивает и бормочет во сне. Она тоже чужая и страшная... Ветер шевелит ставню, точно кто-то живой дергает ее снаружи. Позвякивает стекло... Кто-то дышит и невидимо ходит и глядит невидящими глазами... Кто-

то, слепо страдающий и грозящий жутким слепым страданием.

О боге мы слышали чуть не со дня рождения, но, кажется, «верили» в нечистую силу раньше, чем в бога. В эту мучительную полосу моей детской жизни воспоминание о боге было очень бесформенно. При этом слове где-то в глубине сознания рождалось представление о чем-то очень обширном и сплошь светлом, но безличном. Ближе всего будет сказать, что он представлялся мне как бы отдаленным и огромным пятном солнечного света. Но свет не действовал ночью, и ночь была вся во власти враждебного, иного мира, который вместе с темнотой вдвигался в пределы обычной жизни.

Должен сказать при этом, что собственно черт играл в наших представлениях наименьшую роль. После своего появления старшему брату он нам уже почти не являлся, а если являлся, то не очень пугал. Может быть, отчасти это оттого, что в представлениях малорусского и польского народа он неизменно является кургузым немцем. Но еще более действовала тут старинная большая книга в кожаном переплете («Печерский патерик»), которую отец привез из Киева.

Это произведение, исполненное глубочайшего невежества и суеверия, но вместе и глубокой искренности, на всех своих страницах испещрено чертями и чертенятами, которые являлись пещерным подвижникам. Аляповатые лубки изображали их в виде маленьких смешных полуобезьян, с хвостами крючком и с птичьими ножками, и всюду они представлялись только проказниками, то прячущимися в рукомойники, где их монахи закрещивают и запирают, то принимающими вид девиц, то являющимися в виде свиней, больших ящериц, змей или собак. Они устраивают монахам всякие козни, но иногда и монахам удается изловить их: тогда они их наказывают, заставляют таскать бревна и, по странной снисходительности, опять отпускают на волю. Мне кажется, что эта почтенная книга, по которой впоследствии я выучился славянскому чтению, сильно уронила в наших глазах грозную репутацию черта, и мы, допуская его существование, потеряли к нему всякое уважение и страх.

Страшен был не он, с его хвостом, рогами и даже огнем изо рта. Страшно было ощущение какого-то другого мира, с его вмешательством, непонятным, таинственным и грозным... Всякий раз, когда кто-нибудь умирал

по соседству, особенно если умирал неожиданно, «наглою» смертью «без покаяния»,— нам становилась страшна тьма ночи, а в этой тьме — дыхание ночного ветра за окном, стук ставни, шум деревьев в саду, бессознательные вскрикивания старой няньки и даже простой жук, с смутным гудением ударяющийся в стекла...

Страшна была тайна жизни и смерти, и перед нею мы в то время были, кажется, настоящими язычниками.

VI

МОЛИТВА ЗВЕЗДНОЙ НОЧЬЮ

Из молитв нас рано научили двум: «Отче наш» и «Богородице». Память у меня была хорошая, и я быстро усвоил механически два текста: польский и славяно-малорусский, но знал их просто по слуху, как собрание звуков. «Отче наш» первоначально звучало для меня так: «Отче наш, иже *сына* небесы»... Впоследствии я как-то стал проверять, как понимают те же слова некоторые мои знакомые. Один из них, рослый парень, на несколько лет старше меня, произносил так: «Отче наш, иже сына *не дасы*». «Не дасы́» — по-малорусски значит: не дашь...

Однажды отец, выслушав нашу чисто попугайскую утреннюю молитву, собрал нас в своем кабинете и стал учить ее правильному произношению и смыслу. После этого мы уже не коверкали слов и понимали их значение. Но молитва была холодна и не затрагивала воображения.

Отец решил как-то, что мне и младшему брату пора исповедоваться, и взял нас с собой в церковь. Мы отстояли вечерню. В церкви было почти пусто, и по ней ходил тот осторожный, робкий, благоговейный шорох, который бывает среди немногих молящихся. Из темной кучки исповедников выделялась какая-нибудь фигура, становилась на колени, священник накрывал голову исповедующегося и сам внимательно наклонялся... Начинался тихий, важный, проникновенный шепот.

Мне стало страшно, и я инстинктивно посмотрел на отца... Как хромой, он не мог долго стоять и молился, сидя на стуле. Что-то особенное отражалось в его лице. Оно было печально, сосредоточенно, умиленно. Печали было больше, чем умиления, и еще было заметно какое-то внутреннее усилие. Он как будто искал чего-то гла-

зами в вышине под куполом, где ютился сизый дымок ладана, еще пронизанный последними лучами уходящего дня. Губы его шептали все одно слово:

— Отче... Отче... Отче...

Было похоже, как будто он не может одолеть это первое слово, чтобы продолжать молитву. Заметив, что я смотрю на него с невольным удивлением, он отвернулся с выражением легкой досады и, с трудом опустившись на колени, молился некоторое время, почти лежа на полу. Когда он опять поднялся, лицо его уже было спокойно, губы ровно шептали слова, а влажные глаза светились и точно вглядывались во что-то в озаренном сумраке под куполом.

Впоследствии я часто стал замечать то же и дома во время его молитвы. Порой он подносил ко лбу руку, сложенную для креста, отнимал ее, опять прикладывал ко лбу с усилием, как будто что-то вдавливая в голову, или как будто что-то мешает ему докончить начатое. Затем, перекрестившись, он опять шептал много раз: «Отче... Отче... Отче...», пока молитва не становилась ровной. Иной раз это не удавалось... Тогда, усталый, он подымался и долго ходил по комнатам, взволнованный и печальный. Потом опять принимался молиться.

Однажды, не помню по какому поводу, отец произнес одну из своих сентенций:

— Молиться, дети, нужно так, чтобы обращаться прямо к богу... Как будто он пред вами. Как вы просите о чем-нибудь у меня или у матери.

А еще через некоторое время прибавил:

— В Евангелии говорится: о чем ни попросите у отца небесного с верой, все дастся вам. И если скажете, чтобы гора сдвинулась с места,— гора сдвинется...

Он говорил с печальным раздумием. Он много и горячо молился, а жизнь его была испорчена. Но обе эти сентенции внезапно слились в моем уме, как пламя спички с пламенем зажигаемого фитиля. Я понял молитвенное настроение отца: он, значит, хочет чувствовать перед собой бога и чувствовать, что говорит именно ему и что бог его слышит. И если *так* просить у бога, то бог не может отказать, хотя бы человек требовал сдвинуть гору...

Гор у нас не было, и сдвигать их не было надобности. Скоро, однако, мне представился случай испытать силу своей молитвы по поводу другого предприятия...

Однажды старший брат задумал лететь. Идея у него была очень простая: стоит взобраться, например, на высокий забор, прыгнуть с него и затем все подпрыгивать выше и выше. Он был уверен, что если только успеть подпрыгнуть в первый раз, еще не достигнув земли, то дальше никакого уже труда не будет, и он так и понесется прыжками по воздуху...

С этой мыслью, вооружившись вдобавок двумя довольно безобразными лопастями из дранок и бумаги наподобие крыльев, он взобрался на забор, прыгнул, размахивая этими крыльями и, разумеется, растянулся на земле. Как многие изобретатели, он не отказался сразу от своей идеи: по его мнению, забор — это еще недостаточно высоко. Бросившись с него, он даже не успел еще согнуть ног для прыжка, как уже лежал врастяжку. Вот если бы, например, с крыши... Но у него несколько дней болела ушибленная нога, а потом не хватило решимости... Идея осталась неосуществленной.

Однако она глубоко запала в мое воображение, и вот однажды я доверился ей и... полетел. В присутствии братьев и сестры я бросился с крыши сарая, успел подпрыгнуть, не долетев до земли, и затем уже понесся по воздуху, сначала рядом прыжков, как по ступенькам невидимой лестницы, а потом ровно и плавно, почти как птица. Я поворачивался, ложился в воздухе, повертывался и кружился. Сначала я носился над двором, потом полетел дальше, над какими-то полями и над мельницей. Эта мельница была мне не знакома, но, вероятно, осталась в моей памяти от раннего детского путешествия... Колеса ее кружились, шумели, брызгали ослепительно белою пеной и сверкающими каплями, а я бесстрашно летал над нею, среди свежих брызгов и солнечного света.

Проснувшись, я долго не хотел верить, что это была не настоящая жизнь и что настоящая жизнь — вот эта комната с кроватями и дыханием спящих...

Полеты во сне повторялись, причем каждый раз мне вспоминались прежние полеты, и я говорил себе с наслаждением: тогда это было только во сне... А ведь вот теперь летаю же я и наяву... Ощущения были живы, ярки, многосторонни, как сама действительность...

Наибольший успех полета обозначался достижением мельницы, с ее яркими брызгами и шумом колес... Но если даже я летал только над двором или под потолком какого-то огромного зала, наполненного людьми, и тог-

да проснуться — значило испытать настоящее острое ощущение горя... Опять только сон!.. Опять я тяжелый и несчастный...

И я думал, как достигнуть, чтобы это было уже не во сне.

Объяснение отца относительно молитвы загорелось во мне неожиданной надеждой. Если это верно, то ведь дело устраивается просто: стоит только с верой, с настоящей верой попросить у бога пару крыльев... Не таких жалких, какие брат состряпал из бумаги и дранок. А настоящих, с перьями, какие бывают у птиц и ангелов. И я полечу!

Своею мыслью я не поделился ни с кем, даже с младшим братом. Почему-то я решил, что это будет тайна между мной и богом. И я понимал, что если это может случиться, то, конечно, не среди суетливого дня и даже не в томительный и сонный полдень, когда все-таки падение с неба крыльев привлечет праздное внимание. Это, очевидно, могло случиться только вечером. Крылья появятся где-то в вышине, в серебристом сумраке ночного неба, и тихо упадут к моим ногам... После, конечно, если они останутся, я буду давать их брату и сестре... Но останутся ли они навсегда, я этого не знал и даже мало думал об этом...

Вечера стояли теплые, и когда после чаю я вышел на двор, то отовсюду на меня глядели освещенные и раскрытые настежь окна. В тени стен, у порогов сидели люди, но мне все это не мешало. И открытые окна, в которых никого не было видно, и таинственный шорох разговоров в густой тени, и белые камни мощеного двора, и шепот листьев высокого тополя у каменицы — все это создавало особенное настроение. Я намеревался вступить в сношения с другим миром, но страха не было. Может быть, потому, что сношения были отчасти деловые.

Пройдя несколько раз по двору, я стал шептать молитвы: «Отче наш» и «Богородицу», чувствуя, однако, что это еще не то и что в них ничего не говорится, собственно, о крыльях. Я только старался, чтобы обращение «Отче наш» направлялось к кому-то живому и сознательному. Сначала это было трудно, и я просто говорил молитву за молитвой, как бы только подготовляясь к чему-то (я уже слышал, что в важных случаях нужно сказать десять «Отче наш» и десять «Богородиц»)... На-

конец, чувствуя, что душа настроилась, я остановился в углу двора и посмотрел на небо.

В первый раз меня поразило величие сияющего небесного свода... Луна стояла над крышей каменного дома, но ее свет не затмевал звезд. Они горели, мерцали, переливались разными цветами торжественно и тихо, и вся синяя бездна, казалось, жила и дышала. Впоследствии глаза у меня стали слабее, и эта необычайная красота теперь живет в моей душе лишь ярким воспоминанием этой ночи. Но тогда я отчетливо видел все эти звезды, различал их переменные цвета и, главное, ощутил взволнованной детской душой *глубину* этой бездны и бесконечное число ее живых огней, уходящих в неведомую, таинственную синюю даль...

И когда я опять произнес «Отче наш», то молитвенное настроение затопило душу приливом какого-то особенного чувства: передо мною как будто раскрылась трепетная жизнь этой огненной бесконечности, и вся она с бездонной синевой и бесчисленными огнями, с какой-то сознательной лаской смотрела с высоты на глупого мальчика, стоявшего с поднятыми глазами в затененном углу двора и просившего себе крыльев... В живом выражении трепетно мерцающего свода мне чудилось безмолвное обещание, ободрение, ласка...

Отбросив заученные молитвы, я изложил свое желание — иметь два крыла, хороших, настоящих, как у птиц или ангелов. Совсем или только на время, чтобы хоть раз наяву подняться в эту чудесную, манящую высь... А потом я могу, пожалуй, положить крылья на то же место. О дальнейшем не думалось; все мысли устремились к одному: взлететь над городом, видеть внизу огоньки в домах, где люди сидят за чайными столами и ведут обычные разговоры, не имея понятия о том, что я ношусь над ними в озаренной таинственной синеве и гляжу оттуда на их жалкие крыши.

Радостный, стал я глядеть в небо, ожидая, что оттуда, сначала как две легкие пушинки, появятся крылья. Небо по-прежнему горело, дышало и ласково глядело на меня. Но синева была пуста.

Тогда я подумал, что глядеть не надо: таинственное явление совершится проще — крылья будут лежать на том месте, где я молился. Поэтому я решил ходить по двору и опять прочитать десять «Отче наш» и десять «Богородиц». Так как главное было сделано, то молитвы я теперь опять читал механически, отсчитывая одну

за другой и загибая пальцы. При этом я сбился в счете и прибавил на всякий случай еще по две молитвы... Но крыльев на условленном месте не было...

Я опять ходил по двору и молился, назначая новые места в самых затененных уголках: под тополем, у садовой калитки, около колодца... Я проходил во все эти углы без малейшего страха, хотя там было темно и пусто.

Между тем двор совсем опустел, люди, разговаривавшие в тени домов, ушли, а через некоторое время поужинавшие конюхи прошли спать в свои конюшни. Гости, сидевшие у нас в тот вечер, тоже стали расходиться, причем последняя группа еще некоторое время стояла на крыльце, разговаривая и смеясь. Потом и они прошли по двору и исчезли в переулке. В наших освещенных окнах появилась фигура горничной, закрывавшей одно окно за другим. Потом вышел лакей Гандыло и стал запирать ставни. Он просовывал снаружи железные болты, кричал: «Ну!» — и сердился, что горничная изнутри не скоро задвигает их маленькими железными чеками... Потом он потянулся и зевнул продолжительно, вкусно, широко разинув пасть.

Мое настроение падало. Я чувствовал, что мать меня сейчас хватится и пошлет разыскивать, так как братья и сестры, наверное, уже спят. Нужно бы еще повторить молитву, но... усталость быстро разливалась по всему телу, ноги начали ныть от ходьбы, а главное, я чувствовал, что уже сомневаюсь. Значит, ничего не выйдет.

На крыльце появилась фигура горничной и действительно позвала меня спать.

— Сейчас,— ответил я и опять лихорадочно обошел двор. Вот там... Или нет — вот где, мелькало у меня в мозгу, и я лихорадочно метался от одного угла к другому.

Разочарованный, с разбитыми членами, я наконец прошел в свою комнату и угрюмо разделся. Но только дремота обвеяла разгоряченную голову — я вдруг сел на кровати, точно меня толкнули под бок. Я ушел... именно тогда, когда двор опустел и раскрылся для всякой тайны. И уже спустились крылья. Я даже знаю, куда именно. Как это ни странно, я как будто видел их в довольно-таки грязном углу между сараем и забором. Я вскочил и в одной рубашонке пробрался в коридор. Прислуга еще не спала. Горничные убирали после гостей. Гандыло на кухне ужинал, громко чавкая

и шлепая толстыми губами. Дверь была открыта, и я вышел на крыльцо.

Луна зашла за крышу каменного дома, и весь двор изменился. Он потемнел, похолодел, стал бесцветнее и как бы задремал. Выражение неба тоже было другое: звезды по-прежнему мерцали и переливались, но теперь уже не обращали внимания на меня, стоявшего в одной рубашонке на заднем крыльце, а как будто говорили друг с другом о чем-то, совсем до меня не относящемся. Впечатление было такое, как будто огромное собрание, на короткое время занявшееся моим делом, теперь перешло к обсуждению других дел, гораздо более важных, таинственных и непонятных... И теперь уже нет надежды вернуть его внимание. Звездная ночь стала холодна, важна, неприступна, сурова. И прохладный ветер недружелюбно обвеял мои голые ноги.

Усталый, с холодом в душе, я вернулся в комнату и стал на колени в своей кровати, чтобы сказать обычные молитвы. Говорил я их неохотно, машинально и наскоро... В середине одной из молитв в усталом мозгу отчетливо, ясно, точно кто шепнул в ухо, встала совершенно посторонняя фраза: «Бог...» Кончалась она обычным детским ругательством, каким обыкновенно мы обменивались с братом, когда бывали чем-нибудь недовольны. Я вздрогнул от страха. Очевидно, я теперь пропащий мальчишка. Обругал бога...

Среди этой душевной сумятицы я крепко заснул.

Не помню, какие выводы я сделал на следующий день из этой неудачи. Очень вероятно, что не сделал никаких, а просто, отдохнув за ночь, отдался новым впечатлениям нового дня. Но с этих пор и я, как отец, часто начинал молитву, мучительно повторяя: «Отче... Отче... Отче...» — пока воображение не попадало в горячую струю. Часто это не удавалось: ощущение живого личного бога ускользало, а иной раз усилия бывали так мучительны, что на лбу у меня появлялся пот, а на глазах — слезы. Я напрягал воображение, но перед ним продолжала стоять безличная, бесконечная пустота, не будившая никаких откликов в сердце. И опять в неясную и мутную молитву отчетливо, выпукло, звонко врывалась кощунственная фраза... Мне приходило в голову, что это — проделка дьявола. Впрочем, эта мысль меня не пугала. Пожалуй, наоборот,— так как в таком случае вина снималась с меня и переносилась на одного из проказников-чертенят, знакомых по Патерику. Внут-

реннее сознание, что это во мне самом, было мучительнее. Чтобы от него избавиться, я то старался начать молитву внезапно и кончить ее поскорее, то переставал молиться совсем.

И каждый раз эта томительная борьба в пустом пространстве повторялась в периоды религиозной экзальтации...

VII

УЛЯНИЦКИЙ И «КУПЛЕННЫЕ МАЛЬЧИКИ»

Каждое утро в «суторынах» [1], то есть в угловой комнате подвального этажа хозяйской «каменицы», в определенный час происходило неизменно одно и то же явление. Сначала вздрагивал железный засов ставни, и кто-то выдавливал изнутри болт, которым ставни запирались на ночь. Железная полоса, как живая, отодвигалась, потом падала со звоном, и тогда чья-то рука через форточку окончательно раздвигала ставни. После этого и самое окно, приходившееся вровень с землей, раскрывалось, и в нем появлялась голова человека в ночном колпаке.

Это был жилец, старый холостяк, пан Уляницкий. Он высовывал свой острый профиль, как бы передразнивавший портрет Наполеона III, с испанской бородкой и горбатым носом, и кидал тревожный взгляд на окна нашего флигеля. По большей части наши ставни еще были закрыты. Убедившись в этом, пан Уляницкий опять нырял в свою комнату, и вскоре на подоконнике появлялась уже вся его небольшая сухая фигурка в ночном колпаке, в пестром халате, из-под которого виднелось нижнее белье и туфли на босую ногу. Кинув еще быстрый взгляд кругом и прикрывая что-то полой халата, он шмыгал за угол, направляясь на задний двор, откуда вскоре возвращался тем же порядком.

Мы знали, что его тревожные взгляды относятся главным образом к нашему дому: он не хотел, чтобы его видела в утреннем неглиже одна из моих теток, которую он иной раз провожал в костел. Над теткой посмеивались, поздравляя ее с женихом. Над Уляницким тоже смеялись, называя его по-польски «мартовским

---

[1] «Souterrains» — подвальный этаж. (Здесь и далее, где это не оговорено особо, примеч. В. Г. Короленко.— *Ред.*)

кавалером», и передавали, будто он поднес тетке десяток гнилок-груш в бумажном тюричке и две грошовых конфеты. Фигура Уляницкого в этот утренний час бывала действительно очень непрезентабельна: халат был замызганный и рваный, туфли стоптаны, белье грязно, а усы растрепаны.

Нырнув опять в свою комнату, пан Уляницкий принимался приводить себя в порядок. Это была процедура продолжительная и сложная, особенно процесс бритья, положительно напоминавший священнодействие. Мы пользовались правом, освященным обычаем, стоять в это время снаружи, у открытого окна, причем иной раз из-за нас заглядывало еще личико сестры. Пан Уляницкий ничего не имел против этого и только, приступая к бритью, предупреждал нас, чтобы мы вели себя смирно, так как малейшее нарушение порядка в эту важную минуту угрожает опасностью его жизни.

Мы свято исполняли этот договор, и в критический момент, когда пан Уляницкий, взяв себя за кончик носа и выпятив языком щеку, осторожно обходил бритвой усы или подбривал бородку около горла,— мы старались даже затаить дыхание, пока он не вытирал в последний раз бритву и не убирал прибор. После этого он умывался, неистово тер шею и щеки полотенцем, пудрился, фиксатуарил и вытягивал кончики усов и затем скрывался за ширму. Через четверть часа он появлялся оттуда неузнаваемый, в сиреневых коротких брючках, в лакированных ботинках, в светлом жилете и синем сюртуке с закругленными фалдочками. Лицо у него тоже было как будто одето: измятость и морщины исчезали. Его появление в таком обновленном виде всегда производило на нас сильнейшее впечатление, и ему это было приятно. Иной раз, застегивая на последнюю пуговицу свой аккуратный сюртучок, он взглядывал на нас с заметным самодовольством и говорил:

— А? Ну? Что? Как?

Наши отношения с паном Уляницким в это время были наилучшие. Мы знали, что он — «старый холостяк» и «мартовский кавалер», что это смешно, особенно последнее, потому что напоминает котов, жалобно завывающих в марте на крышах. Пан Уляницкий будто бы ухаживал за каждой барышней, с которой знакомился, и отовсюду получал отказы. Сам он тоже казался смешным со своей козлиной бородкой и тонкими ножками в коротких узеньких брючках. Но все это было

безобидно, а процесс ежедневного обновления вызывал не только понятное любопытство, но и некоторое почтительное удивление. Каждый раз это казалось нам маленьким чудом, и впоследствии, когда я впервые прочитал о превращениях бога Озириса, в моем воображении внезапно ожило воспоминание об утренних перерождениях Уляницкого.

Однако со временем наши отношения с «мартовским кавалером» радикально испортились...

В один прекрасный день он нашел не совсем удобным для своей жениховской репутации, что у него нет прислуги, вследствие чего он должен сам подметать комнату и ежедневно путешествовать с таинственным предметом под полой халата.

Ввиду этого он нанял себе в услужение мальчика Петрика, сына хозяйской кухарки. Кухарка, «пани Рымашевская», по прозванию баба Люба, была женщина очень толстая и крикливая. Про нее говорили, вообще, что это не баба, а Ирод. А сын у нее был смирный мальчик с бледным лицом, изрытым оспой, страдавший притом же изнурительной лихорадкой. Скупой, как кащей, Уляницкий дешево уговорился с нею, и мальчик поступил в «суторыны» на службу.

Закончилось это большим скандалом: в один прекрасный день баба Люба, уперев руки в бока, ругала Уляницкого на весь двор и кричала, что она свою «дытыну» не даст в обиду, что учить, конечно, можно, но не так... Вот посмотрите, добрые люди: исполосовал у мальчика всю спину. При этом баба Люба так яростно задрала у Петрика рубашку, что он завизжал от боли, как будто у нее в руках был не ее сын, а сам Уляницкий.

Последний сидел в своей комнате, не показываясь на крики сердитой бабы, а на следующее утро опять появился на подоконнике с таинственным предметом под полой. Нам он объяснил во время одевания, что Петрик — скверный, скверный, скверный мальчишка. И мать у него подлая баба... И что она дура, а он, Уляницкий, «достанет себе другого мальчика, еще лучше». Он сердился, повторял слова, и его козлиная бородка вздрагивала очень выразительно.

Вскоре он уехал на время в деревню, где у него был жив старик отец, а когда вернулся, то за ним приехал целый воз разных деревенских продуктов, и на возу сидел мальчик лет десяти-одиннадцати, в коротенькой

курточке, с смуглым лицом и круглыми глазами, со страхом глядевшими на незнакомую обстановку... С этого дня мальчик поселился в комнате Уляницкого, убирал, приносил воду и ходил в ресторацию с судками за обедом. Звали его Мамертом, или, уменьшительно, Мамериком, и вскоре на дворе стало известно, что это сирота, и притом крепостной, которого не то подарил Уляницкому отец, не то он сам *купил* себе у какого-то помещика.

Я решительно не могу припомнить, чтобы самая мысль о возможности «купить мальчика» вызывала во мне какой-нибудь сознательный протест или негодование. Явления жизни я воспринимал тогда довольно безразлично. Я видел, что люди бывают старые и молодые, здоровые и больные, богатые и нищие, и все это, как я уже говорил, казалось мне «извечным». Это были просто первичные факты, готовые явления природы. Таким же фактом явилось и то, что есть на свете мальчики, которых можно купить. Но, во всяком случае, это обстоятельство делало нового пришельца предметом интересным, так как мы видели разных мальчиков, а купленных мальчиков еще не видели ни разу. И что-то неясное при этом все-таки шевелилось в душе...

Знакомство с купленным мальчиком завязать было трудно. Даже в то время, когда пан Уляницкий уходил в свою должность, его мальчик сидел взаперти, выходя лишь за самыми необходимыми делами: вынести сор, принести воды, сходить с судками за обедом. Когда мы при случае подходили к нему и заговаривали, он глядел волчком, пугливо потуплял свои черные круглые глаза и старался поскорее уйти, как будто разговор с нами представлял для него опасность.

Мало-помалу, однако, сближение начиналось. Мальчик перестал опускать глаза, останавливался, как будто соблазняясь заговорить, или улыбался, проходя мимо нас. Наконец однажды, встретившись с нами за углом дома, он поставил на землю грязное ведро, и мы вступили в разговор. Началось, разумеется, с вопросов об имени, «сколько тебе лет», «откуда приехал» и т. д. Мальчик спросил в свою очередь, как нас зовут, и... попросил кусок хлеба.

Скоро мы стали приятелями. Уляницкий возвращался всегда в определенное время, как заведенная машина, и мы могли поэтому даже заходить в его комнату, не опасаясь, что он нас застанет. Мы узнали при

этом, что наш ежедневно обновляющийся сосед, в сущности, очень злой скаред и мучитель. Он не кормит Мамерика, а только отдает ему вылизывать пустые судки и грызть корки хлеба и уже два раза успел его больно выдрать без всякой вины. Чтобы мальчик не сидел даром и не баловался с разными висельниками («урвисами» — мы догадались, что под этим лестным названием Уляницкий разумел нас), он задает ему урок: щипать перья для подушек, и нащипанные перья продает еврейкам. Мы приносили Мамерику хлеб, который он съедал с большой жадностью.

И пугливые взгляды печальных черных глаз, и грустное выражение его смуглого лица, и рассказы, и жадность, с какой он накидывался на приносимую нами пищу,— все это внушало нам какое-то захватывающее, острое сочувствие к купленному мальчику и злобу против его владыки, которая в одно утро и прорвалась наружу.

Бедняга Мамерик чем-то провинился, и уже накануне его томило предчувствие, что пан его непременно побьет. Наутро Уляницкий вышел из-за ширмы не с обычным самодовольным блеском, а с каким-то загадочным выражением в лице. Он был без сюртука, а руки держал назади. Остановившись у ширмы, он позвал Мамерика, приказал ему подать что-то. Но как только мальчик робко приблизился, Уляницкий с быстротою кошки схватил его, нагнул, зажал голову в свои колени, спустил штанишки, и в воздухе засвистел пучок розг. Мамерик отчаянно завизжал и забился.

В нашей семье нравы вообще были мягкие, и мы никогда еще не видели такой жестокой расправы. Я думаю, что по силе впечатления теперь для меня могло бы быть равно тогдашнему чувству разве внезапное на моих глазах убийство человека. Мы за окном тоже завизжали, затопали ногами и стали ругать Уляницкого, требуя, чтобы он перестал бить Мамерика. Но Уляницкий только больше входил в азарт, лицо у него стало скверное, глаза были выпучены, усы свирепо торчали, и розга то и дело свистела в воздухе.

Очень вероятно, что мы могли бы доплакаться до истерики, но тут случилось неожиданное для нас обстоятельство: у Уляницкого на окне были цветочные горшки, за которыми он ухаживал очень старательно. Ближе всех стояла любимая его резеда. По внезапному вдохновению наша маленькая сестренка схватила резеду

и кинула ее вместе с горшком на пол. Горшок разбился, земля с цветком выпала. Пан Уляницкий на мгновение остолбенел, потом оставил Мамерика, и не успели мы опомниться, как его бешеное лицо появилось на подоконнике. Мы подхватили сестренку под руки и пустились бежать к своему крыльцу, где и уселись, чувствуя себя безопасными в своих пределах. Пан Уляницкий действительно остановился невдалеке от своего окна и, спрятав розгу за спину, стал нас подзывать сладким голосом, обещая дать нам на мировую по конфетке... Но хитрость была слишком прозрачна, и мы оставались на месте, глядя весьма равнодушно на его лукавые подходы...

В этот самый день или вообще в ближайшее время после происшествия мы с матерью и с теткой шли по улице в праздничный день, и к нам подошел пан Уляницкий. Он был одет по-всегдашнему щеголевато, ботинки его сверкали ослепительным блеском, концы усов торчали, как две проволоки, и в петлице сюртучка был цветок. У меня при его появлении немного дрогнуло сердце, так как я был уверен, что он пожалуется матери на наш дебош. К нашему величайшему удивлению, он не только не пожаловался, но еще, взяв кого-то из нас за подбородок, стал фальшиво-сладким голосом расхваливать перед матерью «милых деток», с которыми он живет в большой дружбе.

Этот неудачный маневр, во-первых, внушил нам большое презрение, а во-вторых, вселил уверенность, что по каким-то причинам Уляницкий скрывает от матери происшедшее между нами столкновение. А скрывает — значит признает себя виновным. С этой стороны мы почувствовали себя вполне обеспеченными, и у нас началась с Уляницким формальная война.

Дети проявляют иной раз удивительную наблюдательность и удивительно ею пользуются. У пана Уляницкого было много странностей: он был феноменально скуп, не выносил всякой перестановки предметов в комнате и на столе и боялся режущих орудий.

Однажды, когда он весь погрузился в процесс бритья и, взяв себя за кончик носа, выпятил языком подбриваемую щеку,— старший брат отодвинул через форточку задвижку окна, осторожно спустился в комнату и открыл выходную дверь. Обеспечив себе таким образом отступление, он стал исполнять среди комнаты какой-то

дикий танец: прыгал, кривлялся, вскидывал ноги выше головы и кричал диким голосом: «Гоп, шлеп, танана...»

Стоя за окном, мы с ужасом ожидали, что будет. К нашему величайшему изумлению, злополучный кавалер оставался на месте. На его лице не дрогнул ни один мускул, он так же тщательно держал себя за кончик носа, подбривая усы, и так же выпячивал языком щеки. Тогда, видя, что процедура бритья находится только в начале, а прервать ее Уляницкий не намерен, мы с младшим братом тоже спустились в комнату и присоединились к неистовой пляске. Это было какое-то детское бешенство: летели на пол стулья, платье с вешалок, щетки и щеточки. Испуганный Мамерт смотрел на это светопреставление бессмысленно выпученными круглыми глазами... Один пан Уляницкий сохранял полнейшую невозмутимость, задернутый по шею салфеткой, с бритвой в руке и с глазами, скошенными на маленькое зеркальце... И, только со всегдашнею тщательностью докончив бритье и осторожно положив бритву в футляр, он внезапно сорвался с места и ринулся к розге. Старший брат шмыгнул в открытую дверь, а мы двое кинулись, как испуганные кошки, к окну. Я был уже на подоконнике, когда розга просвистела над самым моим ухом и не больно скользнула вдоль спины...

С этих пор пан Уляницкий, садясь бриться, тщательно закрывал окно. Но рамы были старые, а задвижки прилажены плохо. Увидев, что Уляницкий уже приступил к бритью, мы смело подходили к окну, дергали форточку и тонкими дранками, просунутыми в щель, сбрасывали крючки. Чем это объяснить, я не знаю,— вероятно, боязнью режущих орудий: раз принявшись за бритву, Уляницкий уже не мог прервать трудного дела до конца. При наших разбойничьих попытках проникнуть в его святилище он только косил один глаз, и на его застывшем лице проступало выражение тревожной тоски. Когда нам удавалось открыть задвижку, окно с шумом распахивалось, и в комнате старого кавалера начиналась пляска дикарей.

В одно утро пан Уляницкий опять появился на подоконнике с таинственным предметом под полой халата, а затем, подойдя к нашему крыльцу и как-то особенно всматриваясь в наши лица, он стал уверять, что, в сущности, он очень, очень любит и нас, и своего милого Мамерика, которому даже хочет сшить новую синюю

куртку с медными пуговицами, и просит, чтобы мы обрадовали его этим известием, если где-нибудь случайно встретим.

Оказалось, что купленный мальчик исчез.

В тот же день вечером младший брат таинственно вызвал меня из комнаты и повел в сарай. В сарае было темно, но брат смело пошел вперед и, остановившись на середине, свистнул. Сначала все было тихо, потом что-то зашевелилось в углу, среди дров, и к нам вышел Мамерик. Оказалось, что он устроил себе между кладью дров и стенкой что-то вроде норы и живет здесь уже двое суток. Он говорил, что жить «ничего, можно», только хочется есть, и по ночам сначала было страшно. Теперь привык. На наше сообщение о любви Уляницкого и курточке он ответил решительно:

— Не піду. Лучче утоплюся у криниці.

С этих пор у нас явилась своя тайна. По вечерам мы приносили Мамерику есть и вместе выходили гулять в укромных уголках двора... У нас установились условные сигналы и целая система конспирации. Это продолжалось еще несколько дней, пока мать не заметила наших многозначительных перешептываний. Она расспросила нас обо всем и рассказала отцу. В мальчике приняли участие старшие, и пан Уляницкий вызывался для каких-то объяснений даже «наверх», к хозяйке, пани Коляновской. Нравы на нашем дворе были довольно патриархальные, и всем казалось естественным, что хозяйка-домовладелица вызывает жильца для объяснений, а может быть, и для внушения. Мы тщательно хранили тайну убежища, так как крепко забожились, что не выдадим ее «никому на свете». Поэтому, когда «наверху» были выработаны с Уляницким условия капитуляции, то переговоры велись через нас. Мамерик наконец порешил сдаться, а власть Уляницкого была общественным мнением ограничена. Всему двору было известно, что пани Коляновская погрозила Уляницкому «выгнать его из суторын».

Через некоторое время, однако, он и сам куда-то внезапно уехал. Купленный мальчик исчез навсегда где-то в широком неведомом мире, и дальнейшая судьба его нам осталась неизвестна.

Раз только нам показалось, что мы встретили если не его, то его двойника.

Как-то летом появилась в узком переулочке новая личность. Это был мальчик в возрасте Мамерика, с та-

ким же смуглым лицом и круглыми глазами. Но при внимательном рассмотрении оказалось, что ни походка его, ни все поведение нимало не напоминают нашего скромного и робкого приятеля. Одет он был в новую короткую синюю курточку с двумя рядами круглых металлических шариков, в узкие синие брюки со штрипками внизу и в большие хорошо начищенные сапоги. На голове у него была круглая шапочка без козырька, надетая совершенно набекрень, по-казацки.

Заметив, что мы с величайшим любопытством смотрим на него, уткнувшись лицами между балясин палисадника, незнакомец внезапно стал на ходу проделывать какие-то удивительные штуки. Ноги он ставил так, как будто они у него вовсе не сгибались в коленях, руки скруглил, так что они казались двумя калачами, голову вздернул кверху и глядел на нас с величайшим презрением через плечо, очевидно гордясь недавно надетым новым костюмом и, может быть, подражая манерам кого-нибудь из старшей ливрейной дворни. Он весь сверкал и наслаждался и, кроме того, был уверен, что мы совершенно подавлены его великолепием и сгораем от зависти. Поэтому, исполнив какое-то поручение в конюшне, он опять прошел мимо нас, вывертывая ноги и играя поясницей, потом вернулся, как будто что забыл, и прошел еще раз. Все это показалось нам обидным, и один из нас сказал:

— Дурак!

Мальчик плюнул и ответил:

— Свинья!

Мой брат поднял тон диалога на ноту выше:

— Сволочь!

Но мальчик, видимо, знал все формы изысканного обращения и тотчас же возразил:

— Я сволочь, царю помочь, а ты сам каторжан.

Мы почувствовали, что незнакомец остается победителем. Но в это время к мальчику подошел быстрыми шагами взрослый человек в ливрейном фраке с широкими длинными фалдами. Походка его тоже была несколько развихлянная и странная, и я догадался, что незнакомый мальчик подражал именно его движениям: ноги его тоже плохо сгибались, а руки скруглялись в локтях. Он окликнул мальчика, и едва тот повернулся, как подошедший ожег его резкой, сильной и внезапной пощечиной. Мальчик завыл от боли и схватился рукой за щеку, а тот ударил по другой щеке и сказал:

— Пошел! Тебя зачем послали?..— и толкнул его сильно в шею.

Всякое неприятное чувство к незнакомому мальчишке в нас мгновенно испарилось, сменившись острой жалостью. Мы рассказали об этом происшествии матери и отцу, думая, что и на этот раз опять последует вмешательство, как и в деле Мамерта. Но отец объяснил нам, что мальчик-казачок принадлежит незнакомым людям, приехавшим погостить к нашим соседям, и что тут ничего сделать невозможно...

Мы поджидали после этого нового появления мальчика, готовые встретить его как приятеля. Но он не выходил, и вскоре мы увидели его в последний раз на высоких козлах коляски, в которую усаживалась семья каких-то важных господ... Тут были и дети, очень чистенькие и нарядные, но нас больше всего интересовал наш знакомец. Он был в той же курточке и в той же шапочке набекрень, но уже не было в нем заметно прежнего великолепия. Он как будто избегал смотреть на нас, но, когда огромный рыдван тронулся, он повернул к нам свои черные глаза, опять удивительно напомнившие нам Мамерика, и, как бы украдкой, дружелюбно кивнул головой.

Мы долго провожали взглядами уезжавшую карету, пока она не мелькнула последний раз на гребне шоссе. Ехавшие в карете нарядные дети казались мне какими-то неприятными и холодными, а за незнакомым казачком, с которым мы только и успели обменяться ругательствами, неслось в неведомую даль ощущение жгучего сочувствия и близости.

Еще одно воспоминание из крепостного строя.

Одно время служил у отца кучер Иохим, человек небольшого роста, с смуглым лицом и очень светлыми усами и бородкой. У него были глубокие и добрые синие глаза, и он прекрасно играл на дудке. Он был какой-то удачливый, и все во дворе его любили, а мы, дети, так и липли к нему, особенно в сумерки, когда он садился в конюшне на свою незатейливую постель и брал свою дудку.

У Коляновской была любимая горничная, дворовая девушка Марья. Я тогда был плохой ценитель женской красоты, помню только, что у Марьи были густые черные брови, точно нарисованные, и черные же жгучие глаза. Иохим полюбил эту девушку, и она полюбила его, но когда моя мать по просьбе Иохима пошла к Ко-

ляновской просить отдать ему Марью, то властная барыня очень рассердилась, чуть ли не заплакала сама, так как и она, и ее две дочери «очень любили Марью», взяли ее из деревни, осыпали всякими благодеяниями и теперь считали, что она неблагодарная. История эта затянулась что-то около двух-трех месяцев. Рассказывали у нас на кухне, что Иохим хотел сам «идти в крепаки», лишь бы ему позволили жениться на любимой девушке, а про Марью говорили, что она с каждым днем «марніэ и сохне» и, пожалуй, наложит на себя руки.

Однажды я забрался на высокую густую грушу. Под грушей, в затененной части сада, стояла скамья, и на эту скамью пришла Марья. Я с удивлением услышал, что она плачет и не то бормочет что-то, не то поет. Потом подошел Иохим и как-то робко и вместе ласково хотел обнять девушку за талию. Она резко оттолкнула его и заплакала сильнее. Он стал утешать ее, уверяя, что его «пани» (моя мать) упросит-таки Коляновскую и все будет хорошо. Но Марья продолжала плакать и то сама порывисто обнимала Иохима, то принималась упрекать и гнать его, уверяя, что она умрет, повесится, зарежется, утопится в кринице и вообще — покончит жизнь всевозможными способами. Я с простодушным детским любопытством слушал, притаившись в густых ветвях, проявления этих незнакомых мне еще бурных чувств.

Кончилось все это совершенно благополучно. Коляновская, в сущности, была женщина властная, но очень добрая и, согласившись наконец устроить свою любимицу, дала ей приданое и устроила на свой счет свадьбу. Осенью пришли во двор молодые с «музыками», а на посыпанной песком площадке двора Иохим со «свахами и дружинами» отплясывал такого казачка, какого я уже никогда не видывал впоследствии. После этого молодые поселились в собственной хатке над Тетеревом, и мы часто заходили к ним, отправляясь купаться. Хатка стояла на склоне, вся в зелени, усыпанной яркими цветами высокой мальвы, и воспоминание об этом уголке и об этой счастливой паре осталось в моей душе светлым пятнышком, обвеянным своеобразной поэзией.

И только впоследствии раскрылся передо мной внутренний смысл и жестокая неправда, служившие фоном и началом для этой крепостной идиллии, которая могла кончиться совсем иначе.

VIII

«ЩОСЬ БУДЕ»

Я пишу не историю своего времени. Я просто всматриваюсь в туманное прошлое и заношу вереницы образов и картин, которые сами выступают на свет, задевают, освещают и тянут за собой близкие и родственные воспоминания. Я стараюсь лишь об одном: чтобы ясно и отчетливо облечь в слово этот непосредственный материал памяти, строго ограничивая лукавую работу воображения...

В октябре 1858 года, то есть когда мне было пять лет, в Житомир приезжал молодой царь Александр II.

Город делал к этому приезду торжественные приготовления, и на площади, около костела отцов бернардинов, была выстроена огромная триумфальная арка. Мы смотрели ее накануне, причем это дощатое сооружение поразило меня своей громадностью и странностью, как будто ненужностью среди площади. Затем мне смутно вспоминаются толпы народа, страшный гул человеческих голосов и что-то невидимое, промчавшееся где-то в глубинах этого человеческого моря, после чего народ, точно вдруг обеспамятевший, ринулся к центру города. Все говорили, что это проехал *царь*.

Гораздо отчетливее сохранилось впечатление вечерней иллюминации. Я помню длинные вереницы огней, протянувшиеся к площади, где над всем высилась огромная арка, пылавшая, как костер. Толпы людей передвигались внизу, как черные потоки, а вверху было еще более черное небо. По временам где-то поднимались крики «ура», которые подхватывались, крепли, проносились по улицам вдаль, перекатываясь огромным сплошным гулом. Я крепко ухватился за чью-то юбку, меня толкали, и прислуга с трудом выводила нас из толпы. Мать встретила нас перепуганно и сердилась на прислугу. Потом отец в мундире и при шпаге, а мать в нарядном платье куда-то уехали...

Нам приказано было ложиться, но спать мы не могли. Жили мы в тихом, тупом переулке, но, несмотря на это, из города к нам проникал какой-то заглушенный гул, и возбуждение просачивалось в нашу спальню. Когда старая нянька убрала у нас свечку и поставила ее за стеной в соседней комнате, то нам показалось, что в щели ставней видно зарево. Мы перебрались на одну кровать, у самого окна, и лепились у стекол, заглядыв-

вая в эти щели, прислушиваясь к шуму и делясь своими впечатлениями, над которыми, как огненная арка над городом, властно стояло одно значительное слово: царь!

Старший брат был, конечно, наиболее из нас сведущий. Он знал, во-первых, относившуюся к случаю песню:

Ездил белый русский царь,
Православный государь,
От земли своей далеко
Славы добывать...

Песня нам нравилась, но объяснила мало. Брат прибавил еще, что царь ходит весь в золоте, ест золотыми ложками с золотых тарелок, и, главное, «все может». Может прийти к нам в комнату, взять что захочет, и никто ему ничего не скажет. И этого мало: он может любого человека сделать генералом и любому человеку отрубить саблей голову или приказать, чтобы отрубили, и сейчас отрубят... Потому что царь «имеет право»...

Царь уехал, но отголоски его посещения долго еще составляли значительное содержание нашей жизни.

У нас был далекий родственник, дядя Петр, человек уже пожилой, высокий, довольно полный, с необыкновенно живыми глазами, гладко выбритым лицом и остренькими усами. Когда он поводил кончиками усов, мы хохотали до слез, а когда он говорил, то хохотали часто и взрослые; вообще это был человек с установившейся репутацией остряка. После царского проезда он рассказал несколько анекдотов. Мне особенно запомнился один: перед самым царским проездом полиция заметила в боковой улице корову. Когда будочники кинулись на нее, она смертельно испугалась, когда же раздались крики «ура!», то корова пришла в совершенное исступление и бросилась в толпу, раскидывая людей рогами. Таким образом, она будто бы пробила себе путь до пустого пространства, оставленного для проезда царя, и попала туда как раз в то мгновение, когда промчалась царская карета. Корова ринулась прямо за каретой и торжественно прибыла к губернаторскому дому, а за нею два запыхавшиеся, насмерть запуганные подчаска.

На меня рассказ произвел странное впечатление... Царь, и вдруг — корова... Вечером мы разговаривали об этом происшествии в детской и гадали о судьбе бедных подчасков и владельца коровы. Предположение, что им

всем отрубили головы, казалось нам довольно правдоподобным. Хорошо ли это, не жестоко ли, справедливо ли — эти вопросы не приходили в голову. Было что-то огромное, промчавшееся, как буря, и в середине этого царь, который «все может»... Что значит перед этим судьба двух подчасков? Хотя, конечно, жалко...

Должно быть, в это время уже шли толки об освобождении крестьян. Дядя Петр и еще один знакомый высказывали однажды сомнение, может ли «сам царь» сделать все, что захочет, или не может.

— Николай — на что уж царь был... все перед ним дрожало... А чем кончил?

Отец отвечал обыкновенной своей поговоркой:

— Толкуй больной с подлекарем... Захочет и сделает...

Прошел год, другой. Толки шли все шире. В тихую жизнь как бы вонзилась какая-то заноза, порождавшая смутную тревогу и окрашивавшая особенным оттенком все события. А тут случилось знамение: гром ударил в «старую фигуру».

Я уже говорил о ней. Это был большой крест с распятием, стоявший в саду нашего соседа пана Добровольского, на перекрестке нашего переулка и двух других улиц, среди кустов акации, бузины и калины, буйно разросшихся у его подножия. Говорили, будто владельцу этой усадьбы не давали спать покойники, чуть не ежедневно провозимые на польское и лютеранское кладбища; в защиту от них он и воздвиг «фигуру». Было это давно; с тех пор и самого владельца провезли по той же песчаной дороге; «фигура» обветрела, почернела, потрескалась, покрылась вся разноцветными лишаями и вообще приобрела вид почтенной дремлющей старости... Кому случилось хоть раз хоронить близкого или знакомого человека, тот навсегда запоминал темное старое распятие, торжественно высившееся у самого поворота на кладбище, и вся окружающая местность получила от него свое название: о нас так и говорили, что мы живем в доме Коляновских, «около старой фигуры».

Одной ночью разразилась сильная гроза. Еще с вечера надвинулись со всех сторон тучи, которые зловеще толклись на месте, кружились и сверкали молниями. Когда стемнело, молнии, не переставая, следовали одна за другой, освещая, как днем, и дома, и побледневшую зелень сада, и «старую фигуру». Обманутые этим светом воробьи проснулись и своим недоумелым чири-

каньем усиливали нависшую в воздухе тревогу, а стены нашего дома то и дело вздрагивали от раскатов, причем оконные стекла после ударов тихо и жалобно звенели...

Нас уложили, но мы не спали, робко прислушиваясь к шумным крикам грозы и испуганному чириканью воробьев и глядя в щели ставен, вспыхивавшие синими отсветами огня. Уже глубокой ночью гроза как будто начала смиряться, раскаты уносились вдаль, и только ровный ливень один шумел по крышам... Как вдруг где-то совсем близко грянул одинокий удар, от которого заколыхалась земля... В доме началась тревога, мать поднялась с постели, сняли из-за иконы и зажгли большую восковую свечу «громницу». И долго в доме не ложились, с жутким чувством ожидая какого-то особенного божьего гнева... Наутро мы встали поздно, и первое известие, которое нам сообщили, состояло в том, что этот последний ночной гром разбил «старую фигуру»...

Весь наш двор и кухня были, конечно, полны рассказами об этом замечательном событии. Свидетелем и очевидцем его был один только будочник, живший у самой «фигуры». Он видел, как с неба слетела огненная змея и села прямо на «фигуру», которая вспыхнула вся до последней дощечки. Потом раздался страшный треск, змея перепорхнула на старый пень, а «фигура» медленно склонилась в зелень кустов...

Когда мы с братьями побежали в конец переулка, там уже была целая толпа народа. «Фигура» была сломана. Расщепленное основание все еще довольно высоко торчало в воздухе, а из густой примятой зелени кустов и деревьев виднелись опаленные плечи с распятием. Картина была полна какого-то особенного значения. По временам придавленная тяжестью зелень подавалась, трещала какая-нибудь ветка, и верхушка «фигуры», как живая, вздрагивала и опускалась книзу. Тогда не только мы, дети, но, кажется, и вся толпа смолкала в суеверном страхе...

В тот год у нас служил кучер Петро, человек уже старый, ходивший в бараньем кожухе лето и зиму. Лицо у него было морщинистое, а тонкие губы под небольшими усами сохраняли выражение какой-то необъяснимой горечи. Он был необыкновенно молчалив, никогда не принимал участия в толках и пересудах дворни и не выпускал изо рта глиняной «люльки», в которой помешивал иногда горящий табак прямо заскорузлым

мизинцем. Мне кажется, что именно он первый сказал, глядя на сломанную «фигуру»:

— Гм... Щось воно буде...

С этих пор эта фраза на некоторое время становится фоном моих тогдашних впечатлений, отчасти, может быть, потому, что за гибелью «фигуры» последовало и другое однородное происшествие.

В одной деревне стала являться мара́... Верстах в сорока от нашего города, за густым, почти непрерывным лесом, от которого, впрочем, теперь, быть может, остались жалкие следы, лежит местечко Чуднов. В лесу были рассеяны сторожки и хаты лесников, а кое-где над лесной речушкой были и целые поселки.

Не помню, у кого именно из нашей прислуги, чуть ли не у Петра, были в этих местах родные, приезжавшие порой в наш город. Должно быть, они-то и привезли известие о том, что в одном из лесных поселков около Чуднова стало с некоторого времени появляться привидение... Появлялось оно, разумеется, ночью, за речкой, против слободки — высокое, белое. В огромной голове светились два огненных глаза, изо рта пыхало пламя. Выступив внезапно на круче, мара стояла против слободки, наводя на всех ужас, и кричала замогильным голосом:

— Ой, щось буде, о-о-о-ой...

После этого глаза потухали, и мара исчезала.

Впоследствии отец, в то время, кажется, бывший судебным следователем и разъезжавший по уезду, вернувшись из одной поездки, рассказал конец этой истории. По его словам, через слободку проходил билетный или отставной солдат, который решился избавить народ от мары. Для этого, за сравнительно дешевое вознаграждение водкой он переправился в сумерках за речку и притаился под кручей. Когда в обычный час высокая фигура с огненными глазами стала на обычном месте, то все, конечно, считали отчаянного солдата погибшим. Но вот при первых же звуках зловещего воя вдруг произошла какая-то возня, из головы мары посыпался сноп искр, и сама она исчезла, а солдат как ни в чем не бывало через некоторое время закричал лодку... Впрочем, он ничего не рассказал испуганным жителям, а только уверил, что «більш нічого не буде»...

Отец дал нам свое объяснение таинственного события. По его словам, глупых людей пугал какой-то местный «гультяй» — поповский племянник, который ста-

новился на ходули, драпировался простынями, а на голову надевал горшок с углями, в котором были проделаны отверстия в виде глаз и рта. Солдат будто бы схватил его снизу за ходули, отчего горшок упал, и из него посыпались угли. Шалун заплатил солдату за молчание.

Нам очень нравилось это юмористическое объяснение, побеждавшее ужасное представление о воющем привидении, и мы впоследствии часто просили отца вновь рассказать нам это происшествие. Рассказ кончался веселым смехом... Но это трезвое объяснение на кухне не произвело ни малейшего впечатления. Кухарка Будзиньская, а за ней и другие объяснили дело еще проще: солдат и сам знался с нечистою силой; он по-приятельски столковался с марой, и нечистый ушел в другое место.

И потому мораль всего эпизода оставалась в прежней силе:

— Таки́ щось буде...

Потом стали толковать о каких-то «золотых грамотах», которые появлялись невесть откуда на дорогах, в полях, на заборах, будто «от самого царя», и которым верили мужики, а паны не верили, мужики осмеливались, а паны боялись... Затем грянула поразительная история о «рогатом попе»...

История эта состояла в следующем: мужик пахал поле и выпахал железный казанок (котел) с червонцами. Он тихонько принес деньги домой и зарыл в саду, не говоря никому ни слова. Но потом не утерпел и доверил тайну своей бабе, взяв с нее клятву, что она никому не расскажет. Баба, конечно, забожилась всеми внутренностями, но вынести тяжесть неразделенной тайны была не в силах. Поэтому она отправилась к попу и, когда тот разрешил ее от клятвы, выболтала все на духу.

Поп оказался жадный и хитрый. Он убил и ободрал молодого бычка, надел на себя шкуру с рогами, причем попадья кое-где зашила его нитками, пошел в полночь к хате мужика и постучал рогом в оконце. Мужик выглянул и обомлел. На другую ночь случилось то же, только на этот раз черт высказал категорическое требование: «Відай мї гроші...»

Мужик очень испугался и перед третьей ночью выкопал котелок и принес в хату. Когда черт опять явился со своим требованием, мужик по его приказу открыл

оконце и повесил котелок за железное ухо на рога своего страшного гостя...

Поп, радостно прибежав к своей попадье и наклонив рога, сказал: «Снимай гроші». Но когда попадья захотела снять котелок, то оказалось, что он точно прирос к рогам и не поддавался. «Ну, так разрежь шов и сними с кожей». Но и тут, как только попадья стала ножницами резать шов, поп закричал не своим голосом, что она режет ему жилы. Оказалось, что червонцы прикипели к котлу, котел прирос к рогам, а бычья кожа — к попу...

Разумеется, как все необычайное, дело «дошло до царя», он посоветовался со стариками, и решили, что попа надо водить по всей земле, по городам и селам, и ставить на площадях. И чтобы все люди подходили и пробовали снять — потому что клад, должно быть, разбойничий или заклятый. Разбойники, верно, убили человека и зарыли деньги в землю, или кто-нибудь «знающий» закопал с заговором. И если, может, найдутся наследники того, чьи это деньги по правде, то котелок такому человеку отдастся и снимется с рог, а с попа сойдет бычья шкура.

Отец сам рассказал нам, смеясь, эту историю и прибавил, что верят этому только дураки, так как это просто старая сказка; но простой, темный народ верил, и кое-где уже полиция разгоняла толпы, собиравшиеся по слухам, что к ним ведут «рогатого попа». На кухне у нас следили за поповским маршрутом: передавали совершенно точно, что поп побывал уже в Петербурге, в Москве, в Киеве, даже в Бердичеве и что теперь его ведут к нам...

Мы с младшим братом колебались между верой и сомнением, однако у нас теперь явилось новое занятие. Мы взбирались на высокие столбы забора на углу переулка и глядели вперед, в перспективу шоссе. Так мы просиживали целые часы неподвижно, иногда запасшись ломтями хлеба, и глядели в пыльную даль, следя за каждым появлявшимся пятнышком. Какая-то неотвязная инерция ожидания держала нас в этом неудобном положении на солнцепеке — до головной боли. Иной раз и хотелось уйти, но из-за горизонта в узком просвете шоссе, у кладбища, то и дело появлялись какие-то пятнышки, скатывались, росли, оказывались самыми прозаическими предметами, но на смену выкатывались другие, и опять казалось: а вдруг это и есть то, чего все ждут.

Раз кто-то крикнул во дворе: «Ведут!..» Поднялась кутерьма, прислуга выбегала из кухни, бежали горничные, конюха, бежали соседи из переулка, а на перекрестке гремели барабаны и слышался гул. Мы с братом тоже побежали... Но оказалось, что это везли для казни на высокой телеге арестанта...

Эта глупая сказка смешалась с падением «фигуры», с марой и вообще попала в настроение ожидания: «Щось буде!» Что именно будет — неизвестно... Золотые грамоты, бунты мужиков, убийства, рогатый поп... вообще что-то необычайное, тревожное, небывалое — бесформенное... Одни верили в одно, другие — в другое, но все чувствовали, что идет на застоявшуюся жизнь что-то новое, и всякая мелочь встречалась тревожно, боязливо, чутко... От детского впечатления неподвижности всего существующего мира не осталось к этому времени и следа. Наоборот, я чувствовал, что не только мой маленький мирок, но и вся даль за пределами двора, даже где-то в «Москве и Петербурге» — и ждет чего-то, и тревожится этим ожиданием...

Газета тогда в глухой провинции была редкость, гласность заменялась слухами, толками, догадками, вообще — «превратными толкованиями». Где-то в верхах готовилась реформа, грядущее кидало свою тень, проникавшую глубоко в толщу общества и народа; в этой тени вставали и двигались призраки, фоном жизни становилась неуверенность. Крупные черты будущего были неведомы, мелочи вырастали в крупные события.

Тогда же через наш город повели телеграфную линию. Сначала привезли ровные свежие столбы и уложили штабелями на известных расстояниях по улицам. Потом нарыли ямы, и одна из них пришлась как раз на углу нашего переулка и торговой Виленской улицы... Потом столбы уставили в ямы и затем на тележках привезли большие мотки проволоки. Чиновник в свеженьком телеграфном мундире распоряжался работами, а рабочие влезали по лесенкам на столбы и, держась ногами и одной рукой на вбитых в столбы крючьях, натягивали проволоки. Натянув их в одном месте, они перекатывали тележку и сами переходили дальше к следующему промежутку, и к вечеру в воздухе параллельными линиями протянулись уже три или четыре проволоки, и столбы уносили их вдаль по длинной перспективе шоссе. Работники очень торопились, не останавли-

вая работы и ночью. На следующее утро они были уже далеко за заставой, а через несколько дней говорили, что проволока доведена до Бродов и соединена с заграничной... В городе же остался труп: с столба сорвался рабочий, попал подбородком на крюк, и ему разрезало голову...

Я не помню, чтобы когда-нибудь впоследствии мне доводилось слышать такой сильный звон телеграфа, как в эти первые дни. В особенности вспоминается один ясный вечер. В нашем переулке было как-то особенно тихо, рокот экипажей по мощеным улицам города тоже стихал, и оттого яснее выступал непривычный звон... Становилось как-то жутко слушать этот несмолкающий, ровный, непонятный крик мертвого железа, протянувшегося в воздухе откуда-то из неведомой столицы, где «живет царь»... Солнце совсем зашло, только промеж дальних крыш, в стороне польского кладбища, еще тлела на небе огненно-багровая полоска. А проволока, холодея, кричала все громче, наполняя воздух своими стонущими воплями.

Потом, вероятно, проволоку подтянули, и гул стал не так громок: в обыкновенные неветреные дни телеграф только тихо позванивал, как будто крики сменились смутным говором.

В эти первые дни можно было часто видеть любопытных, приставлявших уши к столбам и сосредоточенно слушавших. Тогдашняя молва опередила задолго открытие телефонов: говорили, что по проволоке разговаривают, а так как ее вели до границы, то и явилось естественное предположение, что это наш царь будет разговаривать о делах с иностранными царями.

Мы с братом тоже подолгу простаивали под столбами. Когда я в первый раз прислонил ухо к дереву — меня поразило разнообразие этих текучих звуков. Это был уже не один ровный и неглубокий металлический звон; казалось, целая звуковая река переливалась по дереву, сложная, невнятная, завлекающая. И положительно иной раз воображение ловило что-то вроде отдаленного говора.

В один прекрасный день этот говор наконец был переведен на обыкновенную речь. Кто-то принес на нашу кухню известие, что отставной чиновник Попков уже разобрал «разговор по телеграфу». Чиновник Попков представлялся необыкновенно сведущим человеком: он был выгнан со службы неизвестно за что, но в знак

своего прежнего звания носил старый мундир с форменными пуговицами, а в ознаменование теперешних бедствий — ноги его были иной раз в лаптях. Он был очень низок ростом, с уродливо большой головой и необыкновенным лбом. Пробавлялся он писанием просьб и жалоб. В качестве «заведомого ябедника» ему это было воспрещено, но тем бо́льшим доверием его «бумаги» пользовались среди простого народа: думали, что запретили ему писать именно потому, что каждая его бумага обладала такой силой, с которой не могло справиться самое большое начальство. Жизнь он, однако, влачил бедственную, и в трудные минуты, когда другие источники иссякали, он брал шутовством и фокусами. Один из этих фокусов состоял в том, что он разбивал лбом волошские орехи.

И вот говорили, что именно этот человек, которого и со службы-то прогнали потому, что он слишком много знает, сумел подслушать секретные разговоры нашего царя с иностранными, преимущественно с французским Наполеоном. Иностранные цари требовали от нашего, чтобы он... отпустил всех людей на волю. При этом Наполеон говорил громко и гордо, а наш отвечал ему ласково и тихо [1].

Кажется, это была первая вполне уже ясная форма, в которой я услышал о предстоящем освобождении крестьян. Тревожное, неуловимое предсказание чудновской мары — «щось буде» — облекалось в определенную идею: царь хочет отнять у помещиков крестьян и отпустить на волю...

Хорошо это или плохо?

Если бы я писал беллетристический рассказ, то мне было бы очень соблазнительно связать этот вопрос с судьбой описанных выше двух «купленных мальчиков»... Выходило бы так, что я, еще ребенок, из сочувствия к моему приятелю, находящемуся в рабстве у пана Уляницкого, всей душою призываю реформу и молюсь за доброго царя, который хочет избавить всех купленных мальчиков от злых Уляницких... Это бы очень хорошо рекомендовало мое юное сердце и давало бы естественный повод для эффектных картин: в глухом городе неиспорченное детское чувство несется навстречу доброму царю и народной свободе...

---

[1] Легенду о вмешательстве иностранных держав в дело освобождения я слышал еще много лет спустя в Арзамасском уезде Нижегородской губернии.

Но, увы!— вглядываясь в живые картины, выступающие для меня теперь из тумана прошлого, я решительно вижу себя вынужденным отказаться от этого эффектного мотива. Не знаю, право, как это случилось... Может быть, просто потому, что дети слишком сильно живут непосредственными впечатлениями, чтобы устанавливать между ними те или другие широкие связи,— но только я как-то совсем не помню связи между намерениями царя относительно всех крестьян и всех помещиков — и ближайшей судьбой, например Мамерика и другого безыменного нашего знакомца. И потому я не мог тогда чувствовать, что надвигающееся освобождение хорошо...

Да и впечатления были сбивчивы и смутны. На кухне у нас, сколько могу припомнить, ничего хорошего не ждали — может быть, потому, что состав ее был до известной степени аристократический. Кухарка была *«пани»* Будзиньская, комнатная горничная *«пани»* Хумо́ва, женщина с тонкими, изящными чертами лица, всегда говорившая по-польски, лакей Гандыло, конечно, очень бы обиделся, если бы его назвали мужиком. Из всей нашей тогдашней прислуги старая нянька и Будзиньская сохраняли деревенскую одежду и головы повязывали кичками, но и у них вид уже был не деревенский. Только кучер Петро, в своем вечном кожухе и тяжелых чеботах с отвернутыми книзу голенищами, имел облик настоящего мужика. Но он был человек очень молчаливый, все только курил и сплевывал, не высказывая никаких общих суждений. Лицо его оставалось суровым, загадочным и мрачным...

Человек вообще меряет свое положение сравнением. Всему этому кругу жилось недурно под мягким режимом матери, и по вечерам в нашей кухне, жарко натопленной и густо насыщенной запахом жирного борща и теплого хлеба, собиралась компания людей, в общем довольных судьбой... Трещал сверчок, тускло горел сальный каганчик «на припічку», жужжало веретено, лились любопытные рассказы, пока кто-нибудь, сытый и разомлевший, не подымался с лавки и не говорил:

— А таки поздно... пора и спать...

Среди вечерних рассказов попадались и эпизоды панской жестокости, но обобщений не делалось. Есть на свете паны добрые и паны немилостивые. Бог таких наказывает, и иногда очень жестоко. Но и мужик обязан знать свое место, так как все это установлено богом. На

долю этих людей бог выделил сравнительно легкую работу, полную сытость и немало досуга в теплой кухне... То неизвестное, что надвигалось на жизнь, представлялось им поэтому отчасти тревожным. «Щось буде»,— но хорошо это или плохо — неизвестно. Вообще же — беспокойно...

Это, впрочем, было настроение и не одной нашей кухни.

В одно раннее утро на нашем дворе оказалась большая толпа мужиков в свитках и бараньих шапках. Они только что привалили из деревни, за плечами у многих были берестяные кошелки или через плечо — холщовые торбы. Толпа тихо гудела, сгрудившись около широкой лестницы большого дома, и даже на некотором расстоянии чувствовался тяжеловатый мужицкий запах — пота, дегтя и овчины. Вскоре сверху, из хозяйского дома, спустились два старика без шапок и сказали что-то тревожно двинувшейся к ним толпе. Среди мужиков раздался общий негромкий как будто довольный говор, а затем вся толпа опустилась на колени: на верху лестницы показалась, поддерживаемая паннами-камеристками, госпожа Коляновская. Это была полная, величавая дама, с очень живыми, черными глазами, орлиным носом и весьма заметными черными усиками. На верху лестницы, высоко над коленопреклоненной толпой, окруженная своим штатом, она казалась королевой среди своих подданных. Она сказала им несколько милостивых слов, на которые толпа ответила каким-то особенно преданно-радостным гулом.

В полдень на дворе составили несколько столов и угощали мужиков перед обратной дорогой.

Из разговора старших я узнал, что это приходили крепостные Коляновской из отдаленной деревни Сколубова просить, чтобы их оставили по-старому —«мы ваши, а вы наши». Коляновская была барыня добрая. У мужиков земли было довольно, а по зимам почти все работники расходились на разные работы. Жилось им, очевидно, тоже лучше соседей, и «щось буде» рождало в них тревогу — как бы это грядущее неизвестное их «не поравняло».

В это же лето Коляновские взяли меня к себе в имение. Поездка эта осталась у меня в памяти, точно картинка из волшебного сна: большой барский дом, и невдалеке ряд крестьянских хаток, выглядывавших из-за косогора соломенными крышами и белыми мазаными

стенами. По вечерам барский дом светился большими окнами, а хатки мерцали как-то ласково и смиренно разбросанными в темноте огоньками. И это казалось таким мирным, дружелюбным и согласным... В хатах жили мужики, те самые, которые однажды сломали наше крыльцо и построили новое,— умные и сильные. В доме — господа, добрые и ласковые. За столом у Коляновской собирались дальние родственники и служащие, народ смирный, услужливый и мягкий. На всем лежал какой-то особенный отпечаток прочно сладившегося быта, без противоречий и диссонансов. Помню, однажды за вечерним столом появился какой-то заезжий господин в щегольском сюртуке, крахмальной сорочке и золотых очках — фигура, резавшая глаз своей отчужденностью от этого деревенского общего тона. Между прочим, он стал доказывать, что мужики — быдло [1], лентяи, пьяницы и ничего не умеют. Коляновская спокойно возражала: вот этот дом, в котором мы сидим, и все в этом доме до последнего стула сделано ее мужиками. Дом в городе строили они же, и всем распоряжался умный старый мужик... Спрашивается: какой заграничный архитектор построит прочнее и лучше? И бедные родственники, и официалисты [2] убежденно поддакивали, а мнению чужого господина как будто некуда было втиснуться в это законченное и бесповоротное убеждение.

Я тоже чувствовал, что права Коляновская. Незнакомый деревенский мир, мир сильных, умелых и смиренных, казался мне добрым и прекрасным в своем смирении. По вечерам мимо барского сада возвращались с работы парубки и дивчата, в венках из васильков, с граблями и косами на плечах и с веселыми песнями... Когда сняли первый сноп в поле, то принесли его торжественно в барский двор. Сноп качался над головами парубков в бараньих шапках и девушек в венках из васильков. И казалось, что он сознательно принимает молчаливое участие в этой радости труда. Это называлось «зажинки». С еще большей торжественностью пронесли на «дожинки» последний сноп, и тогда во дворе стояли столы с угощением, и парубки с дивчатами плясали до поздней ночи перед крыльцом, на котором сидела вся барская семья, радостная, благожелательная, добрая. Потом толпа с песнями удалилась от

[1] Скот, скотина *(пол.).— Ред.*
[2] Служащие в имении *(пол.).— Ред.*

освещенного барского дома к смиренным огонькам за косогором, и, по мере того как певцы расходились по хатам, песня замирала и таяла, пока не угасала совсем где-то в невидном дальнем конце деревни. И все казалось так мирно, прекрасно, цельно и ненарушимо... И все вспоминается мне как уголок крепостной идиллии, освещенный мягкими лучами заката.

А между тем где-то далеко в столицах судьбы крепостного строя уже взвешивались и в городе носилось тревожное ожидание. «Щось буде»,— кричала чудновская мара. «Старая фигура», стоявшая с незапамятных времен, вдруг взяла да упала... Рогатый поп ходит по городам — должно быть, перед концом мира... «Щось буде»,— испуганно воет телеграфная проволока. На кухне вместо сказок о привидениях по вечерам повторяются рассказы о «золотых грамотах», о том, что мужики не хотят больше быть панскими, что Кармелюк вернулся из Сибири, вырежет всех панов по селам и пойдет с мужиками на город. Неведомая страна за пределами города представлялась после этих рассказов темной, угрожающей, освещенной красным заревом пожаров. В детскую душу, как зловещая зарница из-за тучи, порой заглядывала непонятная тревога, которая, впрочем, быстро исчезала с впечатлениями ближайшего яркого дня...

IX

«ФОМКА ИЗ САНДОМИРА» И ПОМЕЩИК ДЕШЕРТ

Около этого времени я прочитал первую толстую книгу и познакомился с одним ярким представителем крепостного строя.

Читать все мы выучивались как-то незаметно. Нам купили вырезанную польскую азбуку, и мы, играя, заучивали буквы. Постепенно перешли к чтению неизбежного «Степки-растрепки», а затем мне случайно попалась большая повесть польского писателя, кажется Корженизовского, «Фомка из Сандомира» («Tomek Sandomierzak»). Я начал разбирать ее почти еще по складам и постепенно так заинтересовался, что к концу книги читал уже довольно бегло. Результатом этого, может быть слишком раннего чтения, как мне кажется, яви-

лось некоторое ослабление зрения и значительное расширение представлений об обществе и деревне.

Книга мне попалась на первый раз очень хорошая: в ней рассказывалось о маленьком крестьянском мальчике, сироте, который сначала пас стадо. Случайно он встретился с племянницей приходского ксендза (proboszcza), своей сверстницей, которая начала учить его грамоте и пробудила умственные стремления. Добрый ксендз упросил пана отпустить подростка, и тот пошел в свет искать знания. В повести не было ни таинственных приключений, ни сложной интриги. Просто, реально и тепло автор рассказывал, как Фомка из Сандомира пробивал себе трудную дорогу в жизни, как он нанялся в услужение к учителю в монастырской школе, как потом получил позволение учиться с другими учениками, продолжая чистить сапоги и убирать комнату учителя, как сначала над ним смеялись гордые паничи и как он шаг за шагом обгонял их и первым кончил школу. Ему предстоит блестящая карьера, но ученый мужик возвращается в деревню, чтобы стать деревенским учителем. Здесь он опять встречает подругу своего детства. Конец повести, вероятно несколько сентиментальный, вспоминается мне озаренным радостью честного, хорошего счастья.

Я и теперь храню благодарное воспоминание и об этой книге, и о польской литературе того времени. В ней уже билась тогда струя раннего, пожалуй слишком наивного, народничества, которое, еще не затрагивая прямо острых вопросов тогдашнего строя, настойчиво проводило идею равенства людей...

За этой повестью я просиживал целые дни, а иной раз и вечера, разбирая при сальной свече (стеариновые тогда считались роскошью) страницу за страницей. Помню также, что старшие не раз с ласковым пренебрежением уверяли меня, что я ничего не понимаю, а я удивлялся: что же тут понимать? Я просто *видел* все, что описывал автор: и маленького пастуха в поле, и домик ксендза среди кустов сирени, и длинные коридоры в школьном здании, где Фомка из Сандомира торопливо несет вычищенные сапоги учителя, чтобы затем бежать в класс, и взрослую уже девушку, застенчиво встречающую тоже взрослого и «ученого» Фому, бывшего своего ученика.

Знакомство с деревней, которое я вынес из этого чтения, было, конечно, наивное и книжное. Даже воспоми-

нание о деревне Коляновских не делало его более реальным. Но, кто знает — было ли бы оно вернее, если бы я в то время только жил среди сутолоки крепостных отношений... Оно было бы только конкретнее, но едва ли разумнее и шире. Я думаю даже, что и сама деревня не узнает себя, пока не посмотрится в свои более или менее идеалистические (не всегда «идеальные») отражения.

Как бы то ни было, наряду с деревней, темной и враждебной, откуда ждали какой-то неведомой грозы, в моем воображении существовала уже и другая. А фигура вымышленного Фомки стала мне прямо дорогой и близкой.

Однажды, когда отец был на службе, а мать с тетками и знакомыми весело болтали за какой-то работой, на дворе послышалось тарахтение колес. Одна из теток выглянула в окно и сказала упавшим голосом:

— Дешерт!..

Мать поднялась со своего места и, торопливо убирая зачем-то работу со стола, говорила растерянно:

— Иисус, Мария, святой Иосиф... Вот беда... И мужа нет дома.

Дешерт был помещик и нам приходился как-то отдаленно сродни. В нашей семье о нем ходили целые легенды, окружавшие это имя грозой и мраком. Говорили о страшных истязаниях, которым он подвергал крестьян. Детей у него было много, и они разделялись на любимых и нелюбимых. Последние жили в людской, и, если попадались ему на глаза, он швырял их, как собачонок. Жена его, существо бесповоротно забитое, могла только плакать тайком. Одна дочь, красивая девушка с печальными глазами, сбежала из дому. Сын застрелился...

Все это, по-видимому, нимало не действовало на Дешерта. Это была цельная крепостническая натура, не признававшая ничего, кроме себя и своей воли... Города он не любил: здесь он чувствовал какие-то границы, которые вызывали в нем постоянное глухое кипение, готовое ежеминутно прорваться... И это-то было особенно неприятно и даже страшно хозяевам.

На этот раз, сойдя с брички, он категорически объявил матери с первых слов, что умирает. Он был страшно мнителен и при малейшем недомогании ставил всех на ноги. Без всякой церемонии он занял отцовский кабинет, и оттуда понеслись на весь дом его стоны, окрики, распоряжения, ругательства. Вернувшись со служ-

бы, отец застал свою комнату заваленною тазами, компрессами, примочками, пузырьками с лекарством. На его постели лежал «умирающий» и то глухо стонал, то ругался так громко, точно командир перед полком во время учения... Отец пожал плечами и подчинился...

Несколько дней, которые у нас провел этот оригинальный больной, вспоминаются мне каким-то кошмаром. Никто в доме ни на минуту не мог забыть о том, что в отцовском кабинете лежит Дешерт, огромный, страшный и «умирающий». При его грубых окриках мать вздрагивала и бежала сломя голову. Порой, когда крики и стоны смолкали, становилось еще страшнее: из-за запертой двери доносился богатырский храп. Все ходили на цыпочках, мать высылала нас во двор...

Кончилась эта болезнь довольно неожиданно. Однажды отец, вернувшись со службы, привез с собой остряка дядю Петра. Глаза у Петра, когда он здоровался с матерью, смеялись, усики шевелились.

Свободным голосом, какого уже несколько дней не слышно было в нашей квартире, он спросил:

— Ну, где же ваш больной?

Мать испуганно посмотрела на Петра и сказала умоляющим голосом:

— Ради бога... Что вы хотите делать?.. Нет, нет, пожалуйста, не ходите туда.

Но отец, которому все это и надоело и мешало, открыл свою дверь, и оба вошли в кабинет. Петр без всяких предосторожностей подошел к постели и громко сказал по-польски:

— Слышал, что умираешь! Пришел с тобой проститься...

Больной застонал и стал жаловаться, что у него колет в боку, что он «не имеет желудка» и вообще чувствует себя совсем плохо.

— Ну, что делать,— сказал Петр,— я и сам вижу: умираешь... Все когда-нибудь умрем. Ты сегодня, а я завтра... Позовите священника, пусть приготовится, как следует доброму христианину.

Дешерт застонал. Петр отступил шага на два и стал мерить больного глазами от головы до ног...

— Что ты так на меня смотришь?— спросил Дешерт жалобно и ворчливо.

— Ничего, ничего...— успокоил его Петр и, не обращая на него внимания, деловито сказал отцу:— Гроб, я тебе скажу, понадобится... ой-ой-ой!..

От этих слов Дешерта подкинуло на постели.

— Лошадей!— крикнул он так громко, что его кучер тотчас же кинулся из кухни исполнять приказание.

Дешерт стал одеваться, крича, что он умрет в дороге, но не останется ни минуты в доме, где смеются над умирающим родственником. Вскоре лошади Дешерта были поданы к крыльцу, и он, обвязанный и закутанный, ни с кем не прощаясь, уселся в бричку и уехал. Весь дом точно посветлел. На кухне говорили вечером, каково-то у такого пана «людям», приводили примеры панского бесчеловечья...

Дешерт долго не появлялся в нашем доме, и только от времени до времени доносились слухи о новых его жестокостях в семье и на деревне.

Прошло, вероятно, около года. «Щось буде» нарастало, развертывалось, определялось. Отец уже работал в каких-то «новых комитетах», но о сущности этих работ все-таки говорилось мало и осторожно.

Однажды я сидел в гостиной с какой-то книжкой, а отец в мягком кресле читал «Сын отечества». Дело, вероятно, было после обеда, потому что отец был в халате и в туфлях. Он прочел в какой-то новой книжке, что после обеда спать вредно, и насиловал себя, стараясь отвыкнуть; но порой преступный сон все-таки захватывал его внезапно в кресле. Так было и теперь: в нашей гостиной было тихо, и только по временам слышался то шелест газеты, то тихое всхрапывание отца.

Вдруг в соседней комнате послышались тяжелые, торопливые шаги, кто-то не просто открыл, а рванул дверь, и на пороге появилась худая высокая фигура Дешерта.

Явился он, как привидение. Лицо было бледное, усы растрепаны, волосы ежом, глаза мрачно горели. Шагнув в комнату, он остановился, потом стал ходить из угла в угол, как будто стараясь подавить клокотавшее в его груди бешенство.

Я прижался в своем уголке, стараясь, чтобы он меня не заметил, но вместе что-то мешало мне выскользнуть из комнаты. Это был страх за отца: Дешерт был огромный и злой, а хромой отец казался слабым и беззащитным...

Сделав несколько быстрых оборотов, Дешерт вдруг остановился посредине комнаты и сказал:

— Слушай! Это, значит, все-таки правда?

— Что?— спросил отец. Глаза его наблюдали и смеялись.

Дешерт нетерпеливо рванулся и ответил:

— А, пусть вас возьмут все черти! Ну, понимаешь, то, о чем теперь трубят во все трубы. Даже хамы уже громко разговаривают об этом...

Отец, все так же с любопытством вглядываясь в него своими повеселевшими глазами, молча кивнул головой.

Дешерт не то застонал, не то зарычал, опять метнулся по комнате и потом, круто остановившись, сказал:

— А... вот как!.. Ну, так вот я вам говорю... Пока они еще мои... Пока вы там сочиняете свои подлые проекты... Я... я...

Он остановился, как будто злоба мешала ему говорить. В комнате стало жутко и тихо. Потом он повернулся к дверям, но в это время от кресла отца раздался сухой стук палки о крашеный пол. Дешерт оглянулся; я тоже невольно посмотрел на отца. Лицо его было как будто спокойно, но я знал этот блеск его больших выразительных глаз. Он сделал было усилие, чтобы подняться, потом опустился в кресло и, глядя прямо в лицо Дешерту, сказал по-польски, видимо сдерживая порыв вспыльчивости:

— Слушай ты... как тебя?.. Если ты... теперь... тронешь хоть одного человека в твоей деревне, то богом клянусь: тебя под конвоем привезут в город.

Глаза у Дешерта стали круглы, как у раненой хищной птицы. В них виднелось глубокое изумление.

— Кто?.. Кто посмеет?— прохрипел он, почти задыхаясь.

— А вот увидишь,— сказал отец, уже спокойно вынимая табакерку. Дешерт еще немного посмотрел на него остолбенелым взглядом, потом повернулся и пошел через комнату. Платье на его худощавом теле как будто обвисло. Он даже не стукнул выходной дверью и как-то необычно тихо исчез...

А отец остался в своем кресле. Под расстегнутым халатом засыпанная табаком рубашка слегка колебалась. Отец смеялся своим обычным нутряным смехом несколько тучного человека, а я смотрел на него восхищенными глазами, и чувство особенной радостной гордости трепетало в моем юном сердце...

В комнату вбежала мать и спросила с тревогой:

— Что он? Ушел? Ради бога: что у вас вышло?

Когда отец в коротких словах передал, что именно вышло, она всплеснула руками:

— Езус, Мария!.. Что теперь будет!.. Бедные люди!..

— Не посмеет,— сказал отец уверенно.— Не те времена...

В связи с описанной сценой мне вспоминается вечер, когда я сидел на нашем крыльце, глядел на небо и «думал без слов» обо всем происходящем... Мыслей словами, обобщений, ясных выводов не было... «Щось буде» развертывалось в душе вереницей образов. Разбитая «фигура»... мужики Коляновской, мужики Дешерта... его бессильное бешенство... спокойная уверенность отца. Все это в конце концов по странной логике образов слилось в одно сильное ощущение, до того определенное и ясное, что и до сих пор еще оно стоит в моей памяти.

Незадолго перед этим Коляновской привезли в ящике огромное фортепиано. Человек шесть рабочих снимали его с телеги, и когда снимали, то внутри ящика что-то глухо погромыхивало и звенело. Одну минуту, когда его поставили на край и взваливали на плечи, случилась какая-то заминка. Тяжесть, нависшая над людьми, дрогнула и, казалось, готова была обрушиться на их головы... Мгновение... Сильные руки сделали еще поворот, и мертвый груз покорно и пассивно стал подыматься на лестницу...

И вот, в этот тихий вечер мне вдруг почуялось, что где-то высоко, в ночном сумраке, над нашим двором, над городом и дальше, над деревнями и над всем доступным воображению миром — нависла невидимо какая-то огромная ноша и глухо гремит, и вздрагивает, и поворачивается, грозя обрушиться... Кто-то сильный держит ее и управляет ею и хочет поставить на место. Удастся ли? Сдержит ли? Подымет ли, поставит?.. Или неведомое «щось буде» с громом обрушится на весь этот известный мне мир?..

Так или иначе — то время справилось со своей задачей. Ноша поставлена на место, и жизнь твердою волею людей двинута в новом направлении... Прошло почти полвека... И теперь, когда я пишу эти воспоминания, над нашей страной вновь висят тяжкие задачи нового времени, и опять что-то гремит и вздрагивает, поднятое, но еще не поставленное на место. И в душе встают невольно тревожные вопросы: хватит ли силы?.. Поднимут ли?.. Повернут ли?.. Поставят ли?.. Где добрая

воля? Где ясное сознание? Где дружные усилия и сильные руки? . . . .

. . . .

Обыкновенно беллетристы, пишущие о том времени, заканчивают апофеозом освобождения. Толпы радостно умиленного народа, кадильный дым, благодарная молитва, надежды... Я лично ничего подобного не видел, может быть, потому, что жил в городе... Мне, положим, вспоминается какое-то официальное торжество — не то по поводу освобождения, не то объявление о завоевании Кавказа. Для выслушания «манифеста» в город были «согнаны» представители от крестьян, и уже накануне улицы переполнились сермяжными свитами. Было много мужиков с медалями, а также много баб и детей.

Это последнее обстоятельство объяснялось тем, что в народе прошел зловещий слух: паны взяли верх у царя, и никакой опять свободы не будет. Мужиков сгоняют в город и будут расстреливать из пушек... В панских кругах, наоборот, говорили, что неосторожно в такое время собирать в город такую массу народа. Толковали об этом накануне торжества и у нас. Отец, по обыкновению, махал рукой: «Толкуй больной с подлекарем!»

В день торжества в центре города на площади квадратом были расставлены войска. В одной стороне блестел ряд медных пушек, а напротив — выстроились «свободные» мужики. Они производили впечатление угрюмой покорности судьбе, а бабы, которых полиция оттирала за шпалеры солдат, по временам то тяжко вздыхали, то принимались голосить. Когда после чтения какой-то бумаги грянули холостые выстрелы из пушек, в толпе послышались истерические крики и произошло большое замешательство... Бабы подумали, что это начинают расстреливать мужиков...

Старое время завещало новому часть своего печального наследства...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Начало учения.— Восстание

X
ПАНСИОН

Мне было, кажется, лет шесть, когда меня отдали в маленький польский пансион пани Окрашевской.

Это была добрая женщина, которая вынуждена была заняться педагогией, собственно, потому, что ее бросил муж, оставив с двумя дочерьми на произвол судьбы. Она делала что могла: у нее я выучился французскому чтению и «вокабулам», а затем она заставила меня вытверживать на польском языке «исторические песни Немцевича». Мне они нравились, и мой ум обогатился стихотворными сведениями из польского гербовника. Но когда добрая женщина, желая сразу убить двух зайцев, заставила меня изучать географию по французскому учебнику, то мой детский мозг решительно запротестовал. Напрасно она стала уменьшать порции этих полезных знаний — до полустраницы, одной четверти, пяти строк, одной строки... Я сидел над книгой, на глазах моих стояли слезы, и опыт кончился тем, что я не мог уже заучить даже двух рядом стоящих слов...

Вскоре после этого я заболел перемежающейся лихорадкой, а после болезни меня отдали в большой пансион пана Рыхлинского, где уже учился мой старший брат.

Это был один из значительных переломов в моей жизни...

В пансионе Окрашевской учились одни дети, и я чувствовал себя там ребенком. Меня привозили туда по утрам, и по окончании урока я сидел и ждал, пока за мной заедет кучер или зайдет горничная. У Рыхлинского учились не только маленькие мальчики, но и великовозрастные молодые люди, умевшие уже иной раз закрутить порядочные усики. Часть из них училась в самом пансионе, другие ходили в гимназию. Таким

образом, я с гордостью сознавал, что впервые становлюсь членом некоторой корпорации.

После двух-трех раз, когда я хорошо узнал дорогу, мать позволила мне идти в пансион одному...

Я отлично помню это первое самостоятельное путешествие. В левой руке у меня была связка книг и тетрадей, в правой — небольшой хлыст для защиты от собак. В это время мы переехали уже из центра города на окраину, и дом наш окнами глядел на пустырь, по которому бегали стаями полуодичавшие собаки... Я шел, чувствуя себя так, как, вероятно, чувствуют себя в девственных лесах охотники. Сжимая хлыст, я зорко смотрел по сторонам, ожидая опасности. Еврейский мальчик, бежавший в ремесленное училище; сапожный ученик с выпачканным лицом и босой, но с большим сапогом в руке; длинный верзила, шедший с кнутом около воза с глиной; наконец, бродячая собака, пробежавшая мимо меня с опущенной головой,— все они, казалось мне, знают, что я — маленький мальчик, в первый раз отпущенный матерью без провожатых, у которого вдобавок в кармане лежит огромная сумма в три гроша (полторы копейки). И я был готов отразить нападение и еврейского мальчика, и мальчика с сапогом. Только верзила — я сознавал это — может меня легко ограбить, а собака могла быть бешеная... Но и тот и другая не обратили на меня внимания.

Наконец я подошел к воротам пансиона и остановился... Остановился лишь затем, чтобы продлить ощущение особого наслаждения и гордости, переполнявшей все мое существо. Подобно Фаусту, я мог сказать этой минуте: «Остановись, ты прекрасна!» Я оглядывался на свою короткую еще жизнь и чувствовал, что вот я уже как вырос и какое, можно сказать, занимаю в этом свете положение: прошел один через две улицы и площадь, и весь мир признает мое право на эту самостоятельность...

Должно быть, было что-то особенное в этой минуте, потому что она запечатлелась навеки в моей памяти и с внутренним ощущением, и с внешними подробностями. Кто-то во мне как бы смотрел со стороны на стоявшего у ворот мальчика, и если перевести словами результаты этого осмотра, то вышло бы приблизительно так:

— Вот — я! Я тот, который когда-то смотрел на ночной пожар, сидя на руках у кормилицы, тот, кото-

рый колотил палкой в лунный вечер воображаемого вора, тот, который обжег палец и плакал от одного воспоминания об этом, тот, который замер в лесу от первого впечатления лесного шума, тот, которого еще недавно водили за руку к Окрашевской... И вот теперь я тот, что бесстрашно прошел мимо стольких опасностей, подошел к самым воротам пансиона, где я уже имею высокое звание «учня»; и я смотрю кругом и кверху. Кругом — улица и дома, вверху — старая перекладина ворот, и на ней два голубя. Один сидит смирно, другой ходит взад и вперед по перекладине и воркует как-то особенно приятно и чисто. И все кругом чисто и приятно: дома, улица, ворота и особенно высокое синее небо, по которому тихо, как будто легкими толчками, передвигается белое облако.

И все это — мое, все это как-то особенно проникает в меня и становится моим достоянием.

От восторга я чуть не вскрикнул и, сильно взмахнув книгами, зашагал через двор огромными для моего возраста шагами... И мне казалось, что со мною в пансион Рыхлинского вступил кто-то необыкновенно значительный и важный... Это, впрочем, не мешало мне относиться с величайшим благоговением ко всем пансионерам, поступившим ранее меня, не говоря, конечно, об учителях...

Нельзя сказать, чтобы в этом пансионе господствовало последнее слово педагогической науки. Сам Рыхлинский был человек уже пожилой, на костылях. У него была коротко остриженная квадратная голова, с мясистыми чертами широкого лица; плечи от постоянного упора на костыли были необыкновенно широки и приподняты, отчего весь он казался квадратным и грузным. Когда же иной раз, сидя в кресле, он протягивал вперед свои жилистые руки и, вытаращив глаза, вскрикивал сильным голосом:

— Кос-ти пере-ломаю!.. все кости...— то наши детские души уходили в пятки... Но это бывало не часто. Старый добряк экономил этот эффект и прибегал к нему лишь в крайних случаях.

Языкам обучали очень оригинальным способом: с первого же дня поступления я узнал, что я должен говорить один день по-французски, другой — по-немецки. Я не знал ни того ни другого языка, и как только заговорил по-польски — на моей шее очутилась веревочка с привешенной к ней изрядной толщины дубовой ли-

нейкой. Линейка имела форму узкой лопатки, на которой было написано по-французски «la règle» [1], а на другой стороне по-польски «dla bicia» (для битья). К завтраку, когда все воспитанники уселись за пять или шесть столов, причем за средним сидел сам Рыхлинский, а за другими — его жена, дочь и воспитатели, Рыхлинский спросил по-французски:

— У кого линейка?

— Иди! Иди!— стали толкать меня товарищи.

Я робко подошел к среднему столу и подал линейку.

Рыхлинский был дальний родственник моей матери, бывал у нас, играл с отцом в шахматы и всегда очень ласково обходился со мною. Но тут он молчаливо взял линейку, велел мне протянуть руку ладонью кверху, и... через секунду на моей ладони остался красный след от удара... В детстве я был нервен и слезлив, но от физической боли плакал редко; не заплакал и этот раз и даже не без гордости подумал: вот уже меня, как настоящих пансионеров, ударили и «в лапу»...

— Хорошо,— сказал Рыхлинский.— Линейку возьми опять и отдай кому-нибудь другому. А вы, гультàи, научите малого, что надо делать с линейкой. А то он носится с нею, как дурень с писаной торбой.

Действительно, я носил линейку на виду, тогда как надо было спрятать ее и накинуть на шею тому, кто проговаривался польским или русским словом... Это походило немного на поощрение шпионства, но при общем тоне пансиона превратилось в своего рода шутливый спорт. Ученики весело перекидывались линейкой, и тот, кто приходил с нею к столу, мужественно принимал крепкий удар.

Зато во всех остальных отношениях всякое шпионство и взаимные жалобы совершенно не терпелись. В тех случаях, когда какой-нибудь новичок приходил с жалобой или доносом, Рыхлинский немедленно вызывал виновного и производил строгое расследование. Если донос оказывался верным — следовало наказание: шла в ход та же линейка или виновный ставился на колени. Но при наказании непременно должен был присутствовать и доносчик. Иной раз Рыхлинский спрашивал его:

— Ну что? Тебе теперь приятно?

---

[1] Линейка *(фр.).— Ред.*

Все чувствовали, что жалоба на товарища осуждается более, чем самый проступок. Вся масса учеников смотрела сочувственно на наказываемого и с презрением на доносчика. Некоторое время после этого его дразнили звуками, похожими на блеяние козы, и звали «козою»...

Вообще в пансионе был свой особенный тон, и все в нем мне очень нравилось, кроме учителя математики пана Пашковского.

Это был человек лет за тридцать, большого роста, худощавый, но сильный и довольно красивый. Я, впрочем, тогда плохо ценил его всеми признаваемую красоту. Мне казались крайне неприятными его большие, круглые, как у птицы, глаза и острый нос с сильной горбинкой, напоминавший клюв ястреба. Усы у него были длинные, нафабренные, с концами, вытянутыми в ниточку, а ногти на руках он отпускал и холил... Они у него были очень длинные и заостренные на концах... Вообще весь он был какой-то выхоленный, щеголеватый и чистый, носил цветные жилетки, кольца на руках и цепочки с брелоками и распространял вокруг себя запах помады, крепкого табаку и крахмала. Во время уроков он или подчищал ногти какой-то костяшкой, или старательно поправлял усы концами длинных, костлявых и закуренных до желтизны пальцев... Говорили, что он ищет себе богатую невесту и уже потерпел несколько неудач, а пока что мне суждено было воспринять от этого «красавца» первые основы математических познаний...

Дело это сразу пошло не настоящей дорогой. Мне казалось, что этот рослый человек питает неодолимое презрение к очень маленьким мальчикам, а я и еще один товарищ, Сурин, были самые малые ростом во всем пансионе. И оба не могли почему-то воспринять от Пашковского ни одного «правила» и особенно ни одной «поверки»...

Педагогические приемы у пана Пашковского были особенные: он брал малыша за талью, ставил его рядом с собою и ласково клал на голову левую руку. Малыш сразу чувствовал, что к поверхности коротко остриженной головы прикоснулись пять заостренных, как иголки, ногтей, через которые, очевидно, математическая мудрость должна проникнуть в голову.

— Ну, милый мальчик, понял?

В больших, навыкате, глазах (и кто только мог находить их красивыми!) начинала бегать какая-то зеленоватая искорка. Все мое внимание отливало к пяти уколам на верхушке головы, и я отвечал тихо:

— Понял.

— Объясняй.

Я начинал что-то путать. Острия ногтей все с большим нажимом входили в мою кожу, и последние проблески понимания исчезали... Была только зеленая искорка в противных глазах и пять горячих точек на голове. Ничего больше не было...

— Сурин, объясни ему!— Та же история начиналась с Суриным.

К доске он тоже вызывал нас вместе. Мы выходили, покорные судьбе, что-то писали, подымаясь на цыпочки, и что-то объясняли друг другу. Круглое лицо Сурина с добрыми глазами глядело прямо на меня с неосновательной надеждой, что я что-то пойму, а я с такой же надеждой глядел на него. Товарищи угрюмо молчали. Пашковский наслаждался, но искорки в его глазах становились все злее. Внезапно он взвивался во весь свой рост, и тогда над нами разражалась какая-нибудь неожиданность. Чаще всего он схватывал с чьей-нибудь постели большую подушку и метким ударом сбивал нас обоих с ног. Потом он обходил весь дортуар, и гора подушек вырастала у доски над нашими злополучными телами.

— Ты дышишь?— спрашивал меня добряк Сурин.

— Дышу. А ты?

— Ничего, можно...

Окрики Пашковского долетали до нас все глуше, и мы не прочь были бы пролежать так до конца урока. Скоро, однако, подушки одна за другой летели опять по кроватям, наше благополучное погребение кончалось, и мы воскресали для новых бедствий.

Однажды мучитель подошел ко мне и, схватив за шиворот, поднял сильной рукой на воздух.

— Где?.. где тут гвоздь?— говорил он сдавленным голосом, и его выпуклые глаза бегали по стенам.

— Повешу негодяя!

Гвоздя не оказалось. Тогда он крикнул:

— Открыть окно!

Окно распахнулось. Пашковский стал напротив и принялся раскачивать меня, точно маятник, скандируя в такт этим движениям:

Вот бро-шу́
Гуль-та-я
В Те-те-рёв...

Это была одна из ярких минут моей жизни. Реки, которою грозил мне Пашковский, в окно не было видно, но за обрезом горы чувствовался спуск, а дальше — крутой подъем противоположного берега... Окно с этим пейзажем мелькало, качаясь, перед моим печальным взглядом, а в это время Пашковский с каким-то особенным мучительным сладострастием развивал дальнейшие перспективы: мать ожидает сынка... Сынок не идет. Посылает кучера Филиппа. Филипп приходит за паничем. Панич лежит в реке, ногами к берегу. Голова в воде, и в обеих ноздрях... по раку!.. Я слушал, качаясь в воздухе, и мне было жаль какого-то бедного мальчика... Особенный ужас вызывала реалистическая подробность о раках...

Эти сильные и довольно разнообразные ощущения стали между мной и арифметикой неодолимой преградой. Даже когда Пашковскому через некоторое время отказали (или он нашел невесту), я все-таки остался при убеждении, что поверку деления можно понять лишь по особой милости господа, в которой мне отказано с рождения...

По остальным предметам я шел прекрасно, все мне давалось без особенных усилий, и основной фон моих воспоминаний этого периода — радость развертывающейся жизни, шумное хорошее товарищество, нетрудная, хотя и строгая, дисциплина, беготня на свежем воздухе и мячи, летающие в вышине.

Самое лучшее, что было в приемах этого воспитательного режима,— это чувство какой-то особенной близости, почти товарищества с воспитателями. На уроках всегда бывало так тихо, что одни голоса учителей, занимавшихся в разных комнатах, раздавались по всему пансиону. Зато те же молодые учителя принимали участие в игре в мяч на обширном пустыре или зимою в городки и снежки. И тогда не полагалось для них никаких уступок или поблажек. Их так же крепко били мячами, и расплющить мокрую снежку об лицо мосье Гюгенета, воспитателя и учителя французского языка, считалось совершенно дозволенным удовольствием...

Гюгенет был молодой француз, живой, полнокровный, подвижный, очень веселый и необыкновенно вспыльчивый. Мы слушались его беспрекословно там,

где ему приходилось приказывать, и очень любили его дежурства, которые проходили необыкновенно весело и живо. Ему наше общество тоже доставляло удовольствие, а купаться он ходил с нами даже не в очередь...

Для купанья нам приходилось пройти большие пустыри Девичьей площади (Plac panienski), которая приводила к старому девичьему монастырю (кляштор). В этом монастыре был приют для девочек. И каждый раз в те часы, когда мы веселой ватагой проходили к Тетереву и обратно, приютянки в длинных белых накрахмаленных капорах, совершенно скрывавших их лица, чинно и тихо кружились вереницами по площадке... Впереди и позади шли монахини-надзирательницы, а одна старуха, кажется игуменья, сидела на скамье, вязала чулок или перебирала четки, то и дело поглядывая на гуляющих, точно старая наседка на стаю своих цыплят.

Пройдя через эту площадку, мы весело сбегали по откосу, густо поросшему молодым грабником, и затем берег Тетерева оглашался нашими криками и плеском, а река кишела барахтающимися детскими телами.

При этом мосье Гюгенет, раздетый, садился на откосе песчаного берега и зорко следил за всеми, поощряя малышей, учившихся плавать, и сдерживая излишние проказы старших. Затем он командовал всем выходить и лишь тогда кидался сам в воду. При этом он делал с берега изумительные сальто-мортале, фыркал, плескался и уплывал далеко вдоль реки.

Однажды, сидя еще на берегу, он стал дразнить моего старшего брата и младшего Рыхлинского, выходивших последними из воды. Скамеек на берегу не было, и, чтобы надеть сапоги, приходилось скакать на одной ноге, обмыв другую в реке. Мосье Гюгенет в этот день расшалился и, едва они выходили из воды, он кидал в них песком. Мальчикам приходилось опять лезть в воду и обмываться. Он повторил это много раз, хохоча и дурачась, пока они не догадались разойтись далеко в стороны, захватив сапоги и белье.

Когда это кончилось, мосье Гюгенет сам беспечно бросился в воду и принялся нырять и плавать, как утка. Затем, порядочно задышавшийся и усталый, он вышел на берег и только было стал залезать в рубаху, как оба мальчика обсыпали его, в свою очередь, песком.

Гюгенет захохотал и полез опять в воду, но едва подошел к одежде, как повторилось то же.

Он сделал la bonne mine [1], но лицо его покраснело. Он остановился и сказал коротко:

— Assez!.. [2]

После этого он стал вновь натягивать рубашку, но один из шалунов не удержался и опять сыпнул песком.

Француз внезапно рассвирепел. Крахмальная рубашка полетела на песок; лицо Гюгенета стало багровым, глаза — совершенно дикими. Оба шалуна поняли, что зашли слишком далеко, и испуганно бросились по горной тропинке наверх; Гюгенет, голый, пустился вдогонку, и вскоре все трое исчезли из пределов нашего зрения.

То, что произошло затем, наверное, долго обсуждалось в угрюмых стенах монастыря как случай бесовского наваждения. Прежде всего над обрезом горы мелькнули фигуры двух испуганных школьников и, пробившись через ряды гуляющих приютянок, помчались вдоль по широкой дороге между монастырскими огородами. Едва стихло замешательство, произведенное этим бегством, как на гору взлетел запыхавшийся и совершенно голый Гюгенет. Впереди были еще видны фигуры убегавших, и бешеный француз, в свою очередь, ринулся через площадку... Испуганные монахини, крестясь и читая молитвы, быстро согнали в кучу свою паству и погнали ее, как стаю цыплят, в стены монастыря, а Гюгенет мчался далее.

Мальчики скрылись в большом монастырском огороде, между густыми порослями гороха и фасоли. Гюгенет подбежал к городьбе и только тут убедился, что дальнейшее преследование бесполезно. Вместе с тем, как Адам после грехопадения, он сознал, что наг, и устыдился. Как раз на середине широкой полосы между огородами, по которой шла дорога к городу, стояла живописная кучка деревьев, густо обросшая у пней молодой порослью. Бедный француз забился туда и, выставив голову, стал ожидать, что его питомцы догадаются принести ему платье.

Но мы не догадались. Внезапное исчезновение голого воспитателя нас озадачило. Мы не думали, что он убежит так далеко, и, поджидая его, стали кидать камнями по реке и бегать по берегу...

---

[1] Веселый вид *(фр.).— Ред.*

[2] Довольно!.. *(фр.) — Ред.*

На монастырской площадке тоже все успокоилось, и жизнь стала входить в обычную колею. На широкое крыльцо кляштора выглянули старые монахини и, видя, что все следы наваждения исчезли, решили докончить прогулку. Через несколько минут опять степенно закружились вереницы приютянок в белых капорах, сопровождаемые степенными сестрами-бригитками. Старуха с четками водворилась на своей скамье.

Между тем солнце склонялось. Бедный француз, соскучившись напрасным ожиданием в своих зарослях и видя, что никто не идет ему на выручку, решился вдруг на отчаянное предприятие и, выскочив из своего убежища, опять ринулся напролом к реке... Мы подымались как раз на гору на разведки, когда среди истерических женских воплей и общего смятения француз промелькнул мимо нас, как буря, и, не разбирая тропинок, помчался через рощу вниз.

Когда мы вернулись в пансион, оба провинившиеся были уже тут и с тревогой спрашивали, где Гюгенет и в каком мы его оставили настроении. Француз вернулся к вечернему чаю; глаза у него были веселые, но лицо серьезно. Вечером мы, по обыкновению, сидели в ряд за длинными столами и, закрыв уши, громко заучивали уроки. Шум при этом стоял невообразимый, а мосье Гюгенет, строгий и деловитый, ходил между столами и наблюдал, чтобы не было шалостей.

Только уже совсем вечером, когда все улеглись и в лампе притушили огонь, с «дежурной кровати», где спал Гюгенет, внезапно раздался хохот. Он сидел на кровати и хохотал, держась за живот и чуть не катаясь по постели...

Под конец моего пребывания в пансионе добродушный француз как-то исчез с нашего горизонта. Говорили, что он уезжал куда-то держать экзамен. Я был в третьем классе гимназии, когда однажды, в начале учебного года, в узком коридоре я наткнулся вдруг на фигуру, изумительно похожую на Гюгенета, только уже в синем учительском мундире. Я шел с другим мальчиком, поступившим в гимназию тоже от Рыхлинского, и оба мы радостно кинулись к старому знакомому.

— Мосье Гюгенет!.. Мосье Гюгенет!..

Фигура остановилась и смерила нас официальным взглядом. Оба мы сконфузились и оробели.

— Hein?.. Что такой-è? Что надо? — спросил он, и, опять окатив нас холодным взглядом, новый учитель

проследовал дальше по коридору, не оборачиваясь и размахивая классным журналом.

— Не он?— спросил мой товарищ. Оказалось, однако, что фамилия нового учителя была все-таки Гюгенет, но это была уже гимназия, казенное учреждение, в котором веселый Гюгенет тоже стал казенным.

В другой раз мы встретились на улице. Мое сердце сильно забилось. Я подумал, что Гюгенет строг и чопорен только в гимназии, а здесь, на улице, он заговорит опять по-прежнему со смехом и прибаутками, как веселый старший товарищ. Поравнявшись с ним, я снял свою форменную фуражку и взглянул на него с ожиданием и надеждой. Я был уверен, что он узнал меня. Но его взгляд скользнул по моему лицу, он сощурился и отвернулся, холодно кивнув на поклон. Сердце мое сжалось так сильно, как будто я потерял дорогого и близкого человека...

Один год пребывания в пансионе Рыхлинского очень изменил и развил меня. Мне уже странно было вспоминать себя во время первого самостоятельного путешествия. Теперь я отлично изучил весь пустырь, все бурьяны, ближайшие улицы и переулки, дорогу к реке...

В один вечер мать захлопоталась и забыла прислать за мною. Остаться ночевать в пансионе мне не хотелось. Было страшно уходить одному, но вместе что-то манило. Я решился и, связав книги, пошел из дортуара, где ученики уже ложились.

— За тобой пришли?— спросил меня воспитатель.

— Пришли,— ответил я и торопливо, точно от искушения, выбежал на крыльцо, а оттуда на двор.

Дело было осенью, выпал снег и почти весь днем растаял; остались только пятна, кое-где неясно белевшие в темноте. По небу ползли тучи, и на дворе не было видно ни зги.

Я вышел за ворота и с бьющимся сердцем пустился в темный пустырь, точно в море. Отходя, я оглядывался на освещенные окна пансиона, которые все удалялись и становились меньше. Мне казалось, что, пока они видны ясно, я еще в безопасности... Но вот я дошел до середины, где пролегала глубокая борозда — не то канава, указывавшая старую городскую границу, не то овраг.

Я чувствовал, что здесь я буду одинаково далек от пансиона и от дома, огоньки которого уже мелькали где-то впереди в сырой темноте.

И вдруг сзади меня, немного вправо, раздался резкий пронзительный свист, от которого я инстинктивно присел к земле. Впереди и влево раздался ответный свист, и я сразу сообразил, что это два человека идут навстречу друг другу приблизительно к тому месту, где должен был проходить и я. В темноте уже как будто мелькала неясная фигура и слышались тяжелые шаги. Я быстро наклонился к земле и заполз в овражек...

Между тем раздался третий свисток, и вскоре три человека сошлись на пустыре, в нескольких саженях от того места, где я притаился. Сердце у меня стучало, и я боялся, как бы незнакомцы не открыли по этому стуку моего присутствия... Они были так близко, что, глядя из своего овражка, я видел их неясные силуэты на мглистом небе. Они разговаривали о чем-то подозрительно тихо... Затем они двинулись в глубь пустыря, а я, почти не переводя дыхания, побежал к своему дому... И опять моя детская душонка была переполнена радостным сознанием, что это уже «почти наверное» были настоящие воры и что я, значит, пережил, и притом довольно храбро, настоящую опасность.

Пожалуй, это была правда: почти не проходило ночи, чтобы в наших пустынных местах не случалось грабежей или краж. Наши ставни всегда накрепко запирались с вечера. По ночам, особенно когда отец уезжал по службе, у нас бывали тревоги. Все подымались на ноги, женщины вооружались кочергами и рогачами и становились у окон. И когда водворялась тишина, то ясно слышно было, как кто-то снаружи осторожно пробует, не забыли ли вставить задвижки в засовах и нельзя ли где-нибудь открыть ставню. Женщины принимались стучать в рамы и кричать. В голосах их слышался смертельный испуг.

XI

ПЕРВЫЙ СПЕКТАКЛЬ

Первая театральная пьеса, которую я увидел в своей жизни, была польская, и притом насквозь проникнутая национально-историческим романтизмом.

Читатель уже заметил из предыдущих очерков, что нашу семью нельзя было назвать чисто русской. Жили мы на Волыни, то есть в той части правобережной Малороссии, которая дольше, чем другие, оставалась во

владении Польши. К ней всего ближе была железная рука князя Еремы Вишневецкого... Вишневец, Полонное, Корец, Острог, Дубно, вообще волынские городки и даже иные местечки усеяны и теперь развалинами польских магнатских замков или монастырей... Стены их обрушились, на проломах густо поросли плющи, продолжающие разъедать старые камни... В селах помещики, в городах — среднее сословие были поляки или, во всяком случае, люди, говорившие по-польски. В деревнях звучал своеобразный малорусский говор, подвергшийся влиянию и русского, и польского. Чиновники (меньшинство) и военные говорили по-русски...

Наряду с этим были также и три веры (не считая евреев): католическая, православная и между ними — униатская, наиболее бедная и утесненная. Поляки в свое время считали ее верой низшей; резали униатов набегавшие из Украйны казаки и гайдамаки, потом их стали теснить и преследовать русские. Таким образом, религия, явившаяся результатом малодушного компромисса, пустив корни в сердцах нескольких поколений, стала гонимой и потребовала от своих последователей преданности и самоотвержения. Я вспоминаю одного из этих униатских священников, высокого старика с огромною седой бородой, с дрожащею головой и большим священническим жезлом в руках. Он очень низко кланялся отцу, прикасаясь рукой к полу, и жаловался на что-то, причем длинная седая борода тряслась, а по старческому лицу бежали крупные слезы. Он говорил что-то мне непонятное о боге, которого не хочет продать, и о вере предков. Мой отец с видимым уважением подымал старика, когда он пытался земно поклониться, и обещал сделать все, что возможно. По уходе старика отец долго задумчиво ходил по комнатам, а затем, остановившись, произнес сентенцию:

— Есть одна правая вера... Но никто не может знать, которая именно. Надо держаться веры отцов, хотя бы пришлось терпеть за это...

А что по этому поводу говорили «царь и закон» — он на этот раз не прибавил, да, вероятно, и не считал этого относящимся к данному вопросу.

Мать моя была католичка. В первые годы моего детства в нашей семье польский язык господствовал, но наряду с ним я слышал еще два: русский и малорусский. Первую молитву я знал по-польски и по-славянски, с сильными искажениями на малорусский лад.

Чистый русский язык я слышал от сестер отца, но они приезжали к нам редко.

Мне было, вероятно, лет семь, когда однажды родители взяли ложу в театре и мать велела одеть меня получше. Я не знал, в чем дело, и видел только, что старший брат очень сердит за то, что берут не его, а меня.

— Да он заснет там!.. Что он понимает? Дурак!— говорил он матери.

— Пожалуй, это правда,— подтвердил кто-то из старших, но я обещал, что не засну, и был очень счастлив, когда наконец все уселись в коляску и она тронулась.

И я действительно не заснул. В городе был каменный театр, и на этот раз его снимала польская труппа. Давали историческую пьесу неизвестного мне автора, озаглавленную «Урсула, или Сигизмунд III»...

Когда мы вошли в ложу, уже началось первое действие, и я сразу жадно впился глазами в сцену...

Содержание пьесы я понял плохо. Речь шла о каких-то придворных интригах во время Сигизмунда Третьего, в центре которых стояла куртизанка Урсула. Помню, что она была не особенно красива, под ее глазами я ясно различал нарисованные синие круги, лицо было неприятно присыпано пудрой, шея у нее была сухая и жилистая. Но все это не представлялось мне нисколько несообразным! Урсула была скверная женщина, от которой страдала хорошенькая молодая девушка и прекрасный молодой человек. То обстоятельство, что она была противна лицом, только усиливало мое нерасположение к низкой интриганке...

Вся обстановка, полная блеска, бряцания шпор, лязганья сабель, дуэлей, криков «виват», бурных столкновений, опасностей, произвела на меня сильное впечатление. Хороша ли или плоха была эта пьеса — я теперь судить не могу. Знаю только, что вся она была проникнута особым колоритом, и на меня сразу пахнуло историей, чем-то романтическим, когда-то живым, блестящим, но отошедшим уже туда, куда на моих глазах ушел и последний «старополяк», пан коморник Коляновский. Один старый шляхтич на сцене — высокий, с белыми как снег усами — напоминал Коляновского до такой степени, что казался мне почти близким и знакомым. И роль у него была подходящая: он говорил об ушедших в вечность временах старинной доблести...

В его голосе звучала глубокая печаль, и я проникся к нему живейшей симпатией...

Особенно ярко запомнились мне два-три отдельных эпизода. Высокий мрачный злодей, орудие Урсулы, чуть не убивает прекрасного молодого человека, но старик, похожий на Коляновского (или другой, точно не помню), ударом кулака вышибает из рук его саблю... Сабля, сверкая и звеня, падает на пол. Я тяжело перевожу дыхание, а мать наклоняется ко мне и говорит:

— Не бойся... Это не в самом деле... Это они только представляют.

В другом действии два брата Зборовские, предводители казаков, воевавшие во славу короля и Польши в татарских степях, оскорбленные каким-то недостойным действием бесхарактерного Сигизмунда, произносят перед его троном пылкие речи, а в заключение каждый из них снимает кривую саблю, прощается с нею и гордо кидает ее к ногам короля... И опять гремит железо, среди придворной толпы движение ужаса и негодования, а в центре — гордые фигуры суровых казацких вождей. И мое детское сердце горит непонятным еще, но заразительным чувством рыцарской доблести и бесстрашия...

Кончается пьеса смертью короля. У его роскошной постели собираются послы от войска, чтобы добиться назначения коронного гетмана... Загорелые, суровые, они пробиваются к королю и во имя отчизны требуют решения. Грудь умирающего вздымается, и, судорожно задыхаясь, он произносит:

— Дать им... Конецпольского...

Придворные говорят: «Король умер», а зал оглашается бурными криками: «Виват Конецпольский!..»

Не знаю, имел ли автор в виду каламбур, которым звучало последнее восклицание, но только оно накинуло на всю пьесу дымку какой-то особой печали, сквозь которую я вижу ее и теперь... Прошлое родины моей матери, когда-то блестящее, шумное, обаятельное, уходит навсегда, гремя и сверкая последними отблесками славы.

Эта драма ударила в мою голову, как крепкое вино, опьянением романтизма. Я рассказал о ней братьям и сестре и заразил их своим увлечением. Мы сделали себе деревянные сабли, а из простынь состряпали фантастические мантии. Старший брат в виде короля восседал на высоком стуле, задрапированный пестрым одея-

лом, или лежал на одре смерти; сестренку, которая во всем этом решительно ничего не понимала, мы сажали у его ног, в виде злодейки Урсулы, а сами, потрясая деревянными саблями, кидали их с презрением на пол или кричали дикими голосами:

— Виват Конецпольский!..

Если бы в это время кто-нибудь вскрыл мою детскую душу, чтобы определить по ней признаки национальности, то, вероятно, он решил бы, что я — зародыш польского шляхтича восемнадцатого века, гражданин романтической старой Польши, с ее беззаветным своеволием, храбростью, приключениями, блеском, звоном чаш и сабель.

И, пожалуй, он был бы прав...

Вскоре после этого пьесы, требовавшие польских костюмов, были воспрещены, а еще через некоторое время польский театр вообще надолго смолк в нашем крае. Но романтическое чувство прошлого уже загнездилось в моей душе, нарядившись в костюмы старой Польши.

XII

ВРЕМЯ ПОЛЬСКОГО ВОССТАНИЯ

Вспыхнуло оно, как известно, в начале 1863 года. Но глухое волнение и демонстрации происходили уже ранее.

Приблизительно в 1860 году отец однажды вернулся со службы серьезный и озабоченный. Переговорив о чем-то с матерью, он затем собрал нас и сказал:

— Слушайте, дети. Вы — русские и с этого дня должны говорить по-русски.

После этого впервые в нашей «ополяченной» семье зазвучала обиходная русская речь. Мы приняли эту реформу довольно беззаботно, пожалуй, даже с удовольствием — это вводило к нам нечто новое,— но причины, вызвавшие ее, оставались нам чужды. Доносились уже слухи о каких-то событиях в Варшаве, потом в Вильне (где уже в 1861 году происходили довольно серьезные демонстрации). Но все это было где-то далеко, в неведомом, почти отвлеченном мире, и нас не интересовало. В нашем мирке царило еще безмятежное спокойствие...

Господствующим языком в пансионе Рыхлинского был польский, но ни малейшей национальной розни

между нами, собственно, в пансионе не было. Рыхлинскому удалось долго поддерживать тон взаимной терпимости. Было у нас несколько чистых великороссов, в том числе два брата Сухановы, из которых старший шел всегда первым... Однажды с ним или с другим русским воспитанником вышел следующий эпизод: какой-то юный поляк, узнав, что русский товарищ вчера причащался, стал смеяться над православным обрядом. Для этого он сделал из бумаги подобие чаши и кривлялся над нею, а под конец плюнул в нее. Русский некоторое время сдерживался, но затем размахнулся и ударил обидчика по щеке так звонко, что звук разнесся по всей зале и его услышал Рыхлинский. Узнав, в чем дело, он призвал обоих и при всех учениках спросил у поляка:

— Что бы ты сделал, если бы он стал так же смеяться над «гостией» (католическое причастие)?

Поляк замялся, но затем сказал, потупясь:

— Я бы его ударил.

— Ну, вот и он тебя ударил. Поди вдобавок стань на колени.

Мальчик встал, весь красный, на колени в углу и стоял очень долго. Мы догадывались, чего ждет от нас старик Рыхлинский. Посоветовавшись, мы выбрали депутацию, во главе которой стал Суханов, и пошли просить прощения наказанному. Рыхлинский принял депутацию с серьезным видом и вышел на своих костылях в зал. Усевшись на своем обычном месте, он приказал наказанному встать и предложил обоим противникам протянуть друг другу руки.

— Ну, теперь кончено,— сказал он,— и забыто. А если,— прибавил он, вдруг свирепо вытаращив глаза и протягивая вперед свои жилистые руки с короткими растопыренными пальцами,— если я еще услышу, что кто-нибудь позволит себе смеяться над чужой верой... к-кос-сти пер-реломаю... все кости...

И мы опять жили дружно, не придавая никакого значения разнице национальностей...

Между тем далекие события разгорались, и к нам, точно порывами ветра, стало заносить их знойное дыхание. Чаще и чаще приходилось слышать о происшествиях в Варшаве и Вильне, о каких-то «жертвах», но старшие все еще старались «не говорить об этом при детях»...

Однажды отец с матерью долго ночью засиделись у Рыхлинских. Наконец сквозь дремоту я услышал грохот нашей брички во дворе, а через некоторое время совсем проснулся от необычайного ощущения: отец и мать, оба одетые, стояли в спальне и о чем-то горячо спорили, забыв, очевидно, и о позднем часе, и о спящих детях. Разговор шел приблизительно такой:

— Все-таки...— говорила мать,— ты должен согласиться: ведь было прежде, даже еще при Николае... Еще живы люди, которые помнят...

— Ну так что же,— возражал отец,— было, да нет. При Александре было. Николай отнял... Не нужно было бунтоваться...

— Но... Согласись сам... разве это справедливо?

— Толкуй больной с подлекарем! Что справедливо, что несправедливо... Тебя не спросили. Вы присягли, и баста!

— Нет, постой...

— Нет, ты постой.

— Да дай мне сказать...

Я никогда не слышал между ними таких горячих споров, да еще в такой час, и, удивленный, я сел в своей постели. Заметив неожиданного слушателя, они оба обратились ко мне.

— Ну вот. Пусть ребенок скажет,— говорила мать.

— Хорошо, пусть скажет. Вот послушай, малый: вот ты, положим, обещал маме всегда ее слушаться... Должен исполнить обещание?..

— Должен,— ответил я довольно уверенно.

— Постой!— перебила мать,— теперь послушай меня. Вот около тебя новое платье (около меня действительно лежало новое платье, которое я с вечера бережно разложил на стуле). Если придет кто-нибудь чужой со двора и захватит... Ты захочешь отнять?..

— Отниму,— ответил я еще увереннее.

— Толкуй больной с подлекарем!— сказал отец с раздражением, чувствуя, что судья склоняется к противной стороне,— так он тебе и отдал! Если он сильнее...

— Ну вот, вот...— горячо подхватила мать.— Сильнее, так и отнимать. Вот ты слышишь! Слышишь?

— А, пустяки!— рассердился отец, видя, что его шансы становятся еще слабее.— Ну а если ты сам отдал?.. И обещал никогда не требовать назад? А потом кричишь: отдавай?..

— Отдал, отдал!— перебила мать с горечью.— Ну скажи: разве ты сам отдашь?.. А вот если приставят нож к горлу...

В это время заплакала во сне сестренка. Они спохватились и прекратили спор, недовольные друг другом. Отец, опираясь на палку, красный и возбужденный, пошел на свою половину, а мать взяла сестру на колени и стала успокаивать. По лицу ее текли слезы...

Я долго не спал, удивленный этой небывалой сценой... Я сознавал, что ссора не имела личного характера. Они спорили, и мать плакала не от личной обиды, а о том, что было прежде и чего теперь нет: о своей отчизне, где были короли в коронах, гетманы, красивая одежда, какая-то непонятная, но обаятельная «воля», о которой говорили Зборовские, школы, в которых учился Фома из Сандомира... Теперь ничего этого нет. Отняли родичи отца... Они сильнее. Мать плачет, потому что это несправедливо... их обидели...

Наутро первая моя мысль была о чем-то важном. О новой одежде?.. Она лежала на своем месте, как вчера. Но многое другое было не на своем месте. В душе, как заноза, лежали зародыши новых вопросов и настроений.

«Щось буде» принимало новые формы... Атмосфера продолжала накаляться. Знакомые дамы и барышни появлялись теперь в черных траурных одеждах. Полиция стала за это преследовать: демонстранток в черных платьях, и особенно с эмблемами (сердце, якорь и крест), хватали в участки, составляли протоколы. С другой стороны — светлые платья обливались кислотой, их в костелах резали ножиками... Ксендзы говорили страстные проповеди.

В сентябре 1861 года город был поражен неожиданным событием. Утром на главной городской площади, у костела бернардинов, в пространстве, огражденном небольшим палисадником, публика, собравшаяся на базар, с удивлением увидела огромный черный крест с траурно-белой каймой по углам, с гирляндой живых цветов и надписью: «В память поляков, замученных в Варшаве». Крест был высотою около пяти аршин и стоял у самой полицейской будки.

Известие с быстротою молнии облетело весь город. К месту появления креста стал стекаться народ. Начальство не нашло ничего лучше, как вырыть крест и отвезти его в полицию.

По городу грянула весть, что крест посадили в кутузку. У полиции весь день собирались толпы народа. В костеле женщины составили совет, не допустили туда полицеймейстера, и после полудня женская толпа, все в глубоком трауре, двинулась к губернатору. Небольшой одноэтажный губернаторский дом на Киевской улице оказался в осаде. Отец, проезжая мимо, видел эту толпу и седого старого полицеймейстера, стоявшего на ступенях крыльца и уговаривавшего дам разойтись.

Были вызваны войска. К вечеру толпа все еще не расходилась, и в сумерках ее разогнали... В городе это произвело впечатление взрыва. Рассказывали, как грубо преследуемые женщины кидались во дворы и подъезды, спасались в магазинах. А «арест креста при полиции» вызывал смущение даже в православном населении, привыкшем к общим с католиками святыням...

С этих пор патриотическое возбуждение и демонстрации разлились широким потоком. В городе с барабанным боем было объявлено военное положение. В один день наш переулок был занят отрядом солдат. Ходили из дома в дом и отбирали оружие. Не обошли и нашу квартиру: у отца над кроватью, на ковре, висел старый турецкий пистолет и кривая сабля. Их тоже отобрали... Это был первый обыск, при котором я присутствовал. Процедура показалась мне тяжелой и страшной.

Все это усиливало общее возбуждение и, конечно, отражалось даже на детских душах... А так как я тогда не был ни русским, ни поляком, или, вернее, был и тем и другим, то отражения этих волнений неслись над моей душой, как тени бесформенных облаков, гонимых бурным ветром.

Однажды мать взяла меня с собою в костел. Мы бывали в церкви с отцом и иногда в костеле с матерью. На этот раз я стоял с нею в боковом приделе, около «сакристии». Было очень тихо, все будто чего-то ждали... Священник, молодой, бледный, с горящими глазами, громко и возбужденно произносил латинские возгласы... Потом жуткая глубокая тишина охватила готические своды костела бернардинов, и среди молчания раздались звуки патриотического гимна: «Boże, coś Polskę przez tak długie wieki...» [1]

[1] «Боже, что Польшу столь долгие годы...» *(пол.) — Ред.*

Тихо, разрозненно, в разных местах набитого народом храма зародилось сначала несколько отдельных голосов, сливавшихся постепенно, как ручьи... Ближе, крепче, громче, стройнее, и, наконец, под сводами костела загремел и покатился волнами согласный тысячеголосый хор, а где-то в вышине над ним гудел глубокий рев органа... Мать стояла на коленях и плакала, закрыв лицо платком.

На меня этот вопль, соединивший всю толпу в одном порыве, широком, как море, произвел прямо потрясающее впечатление. Мне казалось, что меня подхватило что-то и несет в вышине, баюкая и навевая странные видения...

— Казаки,— сказал кто-то поблизости. Слово ясным шепотом понеслось дальше, толкнулось во что-то и утонуло в море звуков. Но оно дало определенное содержание неясным грезам, овладевшим моим разгоревшимся воображением.

...Казаки! Они врываются в костел. У алтаря на возвышении стоит священник, у его ног женщины, и среди них моя мать. Казаки выстраиваются в ряд и целятся. Но в это время маленький мальчик вскакивает на ступеньки и, расстегивая на груди свой казакин, говорит громким голосом:

— Стреляйте в меня... Я — православный, но я не хочу, чтобы оскорбляли веру моей матери...

Казаки стреляют... Дым, огонь, грохот... Я падаю... Я убит, но... как-то так счастливо, что потом все жмут мне руки, поляки и польки говорят: «Это сын судьи, и его мать полька. Благородный молодой человек...»

— Этот мальчик прав...— говорят также и русские господа.— Нельзя стрелять в костелах и оскорблять чужую веру... . . . .

. . . .

Очевидно, раннее чтение, польский спектакль, события, проносившиеся одно за другим в раскаленной атмосфере патриотического возбуждения,— все это сделало из меня маленького романтика. И очень вероятно, что если бы все разыгралось так, как в театре, то есть казаки выстроились бы предварительно в ряд против священника, величаво стоящего с чашей в руках и с группой женщин у ног, и стали бы дожидаться, что я сделаю,— то я мог бы выполнить свою программу. Но жизнь груба и нестройна, и еще более вероятно, что

в прозаически беспорядочной свалке я бы струсил, как самый трусливый из городских мальчишек...

Узнав о «демонстрации», отец был очень недоволен. Через несколько дней он сказал матери:

— Полицеймейстер мне говорил, что тебя тоже уже записали...

— Что же мне делать?— сказала мать.— Я не пела сама и не знала, что будет это пение...

— А если бы знала?— спросил отец.

— То... не взяла бы ребенка,— ответила она.— Не могу же я не ходить в костел.

Впоследствии она все время и держалась таким образом: она не примкнула к суетне экзальтированных патриоток и «девоток» [1], но в костел ходила, как прежде, не считаясь с тем, попадет ли она на замечание или нет. Отец нервничал и тревожился и за нее, и за свое положение, но как истинно религиозный человек признавал право чужой веры...

Через город проходили войска. Однажды разнесся слух, что к нам идут башкиры... Дикие, ни слова не понимают ни по-польски, ни по-русски, только лопочут по-своему и бьют... Это вызывало почти суеверный ужас. Через несколько дней действительно по улицам прошел отряд странных всадников на маленьких лошадках, в остроконечных шапках с бараньей мохнатой оторочкой. Скуластые лица, маленькие глазки, какая-то особенная дикая посадка. Увидев кучку любопытных, в том числе женщин, один внезапно спятил лошадь и взмахнул нагайкой. Послышался истерический визг, но башкир проехал, скаля на смуглом лице белые зубы, а мимо ехали другие, взбивая пыль конскими копытами, и тоже смеялись. Мне было странно, что они смеются, как и обыкновенные люди, и я с ужасом представлял себе атаку этих смуглых дикарей.

Они прошли и исчезли за западной заставой, по направлению к Польше, где, как говорили, «уже лилась кровь», а в город вступали другие отряды...

В нашей конюшне тоже стояли три или четыре казацкие лошади. Сами казаки устраивались тут же, около лошадей, а на кухне и в сарае расположились пехотинцы... Этих постояльцев встречали не очень приветливо; домохозяева и квартиранты долго спорили с «квартирьерами», не желали отводить помещения,

---

[1] Ханжа, святоша *(пол.)*.— *Ред.*

ходили куда-то жаловаться. Но мы, дети, вскоре с ними освоились. Казаки иной раз сажали нас на лошадей и брали с собой на речку к водопою. Солдаты снисходительно позволяли чистить суконкой и мелом пуговицы своих мундиров, а жидкие щи, которые они приносили в котелках из ротной кухни, казались нам необыкновенно вкусными.

Особенно ярко вспоминается мне одна солдатская фигура. Это был уже старик, с морщинистым лицом, щетинистыми седыми усами и сережкой в левом ухе. Вид у него был неприветливый и суровый. Устроившись в сарае, где он развесил на гвоздях «амуницию», а ружье заботливо уставил в угол, он оперся плечом в косяк двери и долго, молча, с серьезным вниманием смотрел, как мы с мальчишками соседей проделывали на дворе «учение» с деревянными ружьями. Через некоторое время он не выдержал роли стороннего зрителя, подошел к нашему фронту, взял «ружье» и стал показывать настоящие приемы, поражая нас отчетливостью и упругостью своих движений. Казалось, при каждом таком движении внутри солдата лязгали и стучали какие-то пружины.

— Вот научу вас, ляшков, а вы пойдете бунтовать да меня же и убьете,— сказал он в заключение полушутя, полусердито.

Через некоторое время у нас установились с ним отличные отношения. Много часов мы провели вместе в летние сумерки, на солдатской койке Афанасия, пропахшей потом, кожаной амуницией и кислыми солдатскими щами,— пока его рота не ушла куда-то в уезд преследовать повстанческие отряды. Для нас расставание с ним было большой неприятностью, да и старому солдату, видимо, было не по себе. Долгая «николаевская» служба уже взяла всю его жизнь, порвала все семейные связи, и старое солдатское сердце пробавлялось хоть временными привязанностями на стоянках...

Из казаков особенно выделяется в памяти кудрявый брюнет, урядник. Лицо его было изрыто оспой, но это не мешало ему слыть настоящим красавцем. Для нас было истинным наслаждением смотреть, как он почти волшебством, без приготовлений, взлетал на лошадь. По временам он напивался и тогда, сверкая глазами, кричал на весь двор:

— Эх вы, ляшки! Куда вам бунтоваться! Вот поглядите: когда-нибудь Дон тряхнет матушкой Москвой... Так уж тря-я-хнет... Не по-вашему.

Он сжимал кулак и тряс им над головой, как будто в нем зажата уже матушка Москва. Наш приятель, старый солдат Афанасий, укоризненно мотал головой и говорил:

— Отчаянный народ казаки. Вор народ: где плохо лежит, у него живот заболит. И служба у них другая... Легкая служба... За что нашего брата сквозь строй гоняли — им ничего. Отхлещет урядник нагайкой, и все тут. И то не за воровство. А значит: не попадайся!

Казаки на эти сурьезные речи Афанасия только смеялись.

Однажды черноволосый красавец что-то набуянил, и его пришли арестовать. Он, совершенно пьяный, вырвался из рук товарищей, вскочил на свою нерасседланную лошадь и умчался со двора. Его качало в седле так, что казалось, он вот-вот свалится на мостовую и расшибется вдребезги. Но, выбежав за ворота, мы увидели его уже далеко в перспективе улицы. Он летел, как птица, к Киевской заставе, а сзади, отставая, скакала погоня. Наутро, как ни в чем не бывало, он заботливо чистил своего скакуна, пересмеиваясь с недогнавшими его товарищами.

Банды появились уже и в нашем крае. Над жизнью города нависала зловещая тень. То и дело было слышно, что тот или другой из знакомых молодых людей исчезал. Ушел «до лясу». Остававшихся паненки иронически спрашивали: «Вы еще здесь?» Ушло до лясу несколько юношей и из пансиона Рыхлинского...

Однажды за обедом мать сказала отцу:

— Стасик приехал. Зовут сегодня вечером.

Отец посмотрел на нее с удивлением и потом спросил:

— Все трое?

— Да, все трое,— ответила мать с тихой печалью.

— С ума вы все посходили!— сказал отец, сердито откладывая ложку.— Все посходили с ума — и старые туда же!..

Оказалось, что это три сына Рыхлинских, студенты Киевского университета, приезжали прощаться и просить благословения перед отправлением в банду. Один был на последнем курсе медицинского факультета, другой, кажется, на третьем. Самый младший, Стасик,

лет восемнадцати, только в прошлом году окончил гимназию. Это был общий любимец, румяный, веселый мальчик с блестящими черными глазами.

После вечера, проведенного среди родных и близких знакомых, все три стали на колени, старики благословили их, и ночью они уехали...

— Я бы этого Стасика высек и запер на ключ,— сердито говорил отец на другой день.

— Даже дети идут биться за отчизну,— сказала мать задумчиво, и на глазах у нее были слезы.— Что-то будет?

— Что будет? Переловят всех, как цыплят,— ответил отец с горечью.— Все вы посходили с ума...

Первое время настроение польского общества было приподнятое и бодрое. Говорили о победах, о каком-то Ружицком, который становится во главе волынских отрядов, о том, что Наполеон пришлет помощь. В пансионе ученики-поляки делились этими новостями, которые приносила Марыня, единственная дочь Рыхлинских. Ее большие, как у Стасика, глаза сверкали радостным одушевлением. Я тоже верил во все эти успехи поляков, но чувство, которое они во мне вызывали, было очень сложно.

Однажды ночью мне приснился яркий и тяжелый сон. Дело как будто началось с игры «в поляков и русских», которая в то время заменила для нас все другие. Разделялись обыкновенно не по национальностям, а по жребию, так что русские попадали на польскую сторону и поляки на русскую. Не помню теперь, на чьей стороне я был на этот раз во сне, помню только, что игра вскоре перешла в действительную войну. Было широкое поле, по которому вилась речка, поросшая камышами. Где-то горело, где-то проносились в пыли и дыму всадники в остроконечных шапках, где-то трещали выстрелы, и ветер уносил белые дымки, как на солдатском стрельбище. Я от кого-то убегал и скрывался под обрывом речного берега...

И вдруг оказалось, что скрываюсь, собственно, не я, а взвод русских солдат. Испуганные и жалкие, они притаились под обрывом за камышами по колени в воде. Впереди всех, ближе ко мне, стоял старик Афанасий в своей круглой шапочке без козырька, с серьгой в левом ухе. Он смотрел на меня серьезным, немного суровым и укоризненным взглядом, и сердце у меня сжалось тоской и страхом. Там, в широком поле, носились

в дыму торжествующие поляки... Вдруг над обрывом появился верхом Стасик Рыхлинский... Он сверкал веселыми черными глазами и улыбался своей детски задорной улыбкой. Я замер от ожидания, и мне казалось, что на свете нет ничего страшнее этого милого юноши, который сейчас откроет притаившегося в камышах Афанасия и солдат... Между тем эти люди были мне теперь близки и дороги, и мне было их жаль, как родных. «Это оттого,— подумал я, проснувшись весь в поту и с сильно стучавшим сердцем,— что они русские и я русский». Но я ошибался. Это было только оттого, что они люди... И вскоре мои сожаления переместились.

Недели через две или три прошли слухи о стычках под Киевом. Это были жалкие попытки, быстро рассеянные казаками и крестьянами. В семье Рыхлинских водворилась тяжелая тревога. Однажды мы сидели за уроком в комнате Марыни, которая занималась с малышами французским языком, когда ее позвали в кабинет отца. Вернулась она оттуда вся красная, с заплаканными глазами, и попыталась продолжать урок. Но вдруг вскочила, кинулась на свою постель и разрыдалась... Я бросился за водой, но она отстранила рукой стакан и говорила сквозь рыдания:

— Уйдите, уйдите все... Ничего не надо.

Вскоре в пансионе стало известно, что все три брата участвовали в стычке и взяты в плен. Старший ранен казацкой пикой в шею...

Старик Рыхлинский по-прежнему выходил к завтраку и обеду, по-прежнему спрашивал: «Qui a la règle?» [1], по-прежнему чинил суд и расправу. Его жена так же степенно вела обширное хозяйство, Марыня занималась с нами, не давая больше воли своим чувствам, и вся семья гордо несла свое горе, ожидая новых ударов судьбы.

Восстание нигде не удавалось, Наполеон не приходил, мужики даже в Польше неохотно приставали к «рухавке» [2], а в других местах жестоко расправлялись с восставшими панами.

Однажды мне пришлось увидеть поезд с захваченными пленными. На длинных возах с «драбинами», в каких возят снопы, сидели кучей повстанцы, некоторые с повязанными головами и руками на перевязах.

---

[1] У кого линейка? *(фр.)* — *Ред.*

[2] Брожению, волнению *(пол.)*.— *Ред.*

Лица у раненых были бледны. У одного на повязке виднелись пятна крови. Впереди сидели мужики, погонявшие лошадей, а по бокам верхами скакали такие же мужики-конвоиры. Сочувствие городского большинства было на стороне пленников. Молодые горничные плевали в гарцевавших на своих клячах победителей, а те насмешливо потряхивали чупринами и заламывали бараньи шапки.

Тюрьма, помещавшаяся на тесной узенькой Чудновской улице, скоро была переполнена этими пленниками, и для содержания просто «подозрительных» и «неблагонадежных» нанимали помещения у частных лиц.

Начиналось «торжество победителей» и расплата.

Однажды к нашей квартире подъехала извозчичья парная коляска, из которой вышел молодой офицер и спросил отца. Он был в новеньком свежем синем мундире, на котором эффектно выделялись белые аксельбанты. Шпоры его звенели на каждом шагу приятным тихим звоном.

— Ка-кой красивый,— сказала моя сестренка. И нам с братом он тоже очень понравился. Но мать, увидев его, отчего-то вдруг испугалась и торопливо пошла в кабинет... Когда отец вышел в гостиную, красивый офицер стоял у картины, на которой довольно грубо масляными красками была изображена фигура бородатого поляка, в красном кунтуше, с саблей на боку и гетманской булавой в руке.

Офицер поклонился, звякнул шпорами и, указывая на картину, спросил:

— Мазепа?

— Нет, это Жолкевский,— ответил отец.

— А-а,— протянул офицер с таким видом, как будто он одинаково не одобряет и Мазепу, и Жолкевского, а затем удалился с отцом в кабинет. Через четверть часа оба вышли оттуда и уселись в коляску. Мать и тетки осторожно, но с тревогой следили из окон за уезжавшими. Кажется, они боялись, что отца арестовали... А нам казалось странным, что такая красивая, чистенькая и приятная фигура может возбуждать тревогу...

Вечером отец рассказывал, что когда они проезжали мимо тюрьмы, повстанцы, выглядывавшие в окна, тоже подумали, что «судью арестовали», и стали громко ругать жандарма...

Отец по должности принимал участие в комиссиях, в которых этот красивый офицер, с приятным, ласко-

вым звоном шпор, был одним из самых свирепых членов. Другие чиновники, с местными связями, были мягче.

Однажды, вернувшись из заседания, отец рассказал матери, что один из «подозрительных» пришел еще до начала заседания и, бросив на стол только что полученное письмо, сказал с отчаянием:

— Я не защищаюсь более... Делайте что хотите... Мой сын ушел в отряд и — убит...

Жандарма и прокурора еще не было... Отец, взглянув на остальных членов комиссии, отдал старику письмо и сказал официальным тоном:

— Заседание еще не открыто, а частные разговоры здесь неуместны.

Через несколько минут вошел жандарм, но старик уже овладел собою и спрятал письмо. Его личное дело окончилось благоприятно, и семья была спасена от конфискации имущества и разорения.

Казней в нашем городе, если не ошибаюсь, было три. Казнили так называемых жандармов-вешателей и примкнувших к восстанию офицеров русской службы.

Я помню только одну. Казнили бывшего офицера, кажется Стройновского. Он был молод, красив, недавно женился, и ему предстояла блестящая карьера. Он был взят на месте битвы, и —«закон был ясен»... Не знаю, стояла ли подпись отца в числе других под приговором или нет, но никто не питал к нему по этому поводу никакой горечи. Наоборот, уже приговоренный, Стройновский попросил, чтобы отец посетил его перед казнью. На этом свидании он передал отцу какие-то поручения и последний привет молодой жене. При этом он с большой горечью отзывался о своем бывшем отряде: когда он хотел отступить, они шумно требовали битвы, но когда перед завалами на лесной дороге появились мужики с косами и казаки — его отряд «накивал конскими хвостами», а его взяли... Умирал он с горечью и сожалением, но мужественно и гордо.

Романтизм, которым питалось настроение восставшей тогда панской молодежи,— плохая военная школа. Они вдохновлялись умершим прошлым, тенями жизни, а не самой жизнью... Грубое, прозаическое наступление толпы мужиков и казаков ничем не напоминало красивых батальных картин... И бедняга Стройновский поплатился за свое доверие к историческому романтизму...

Был яркий светлый день в июне или в июле. С утра было известно, что за Киевской заставой, на пустыре, около боен, уже поставлен черный столб и вырыта яма, поэтому все в этот день казалось особенным, печально-торжественным, томительно-важным. В середине дня в светлом воздухе тяжеловато, отчетливо, ясно прокатился глухой короткий удар, точно в уши толкнулся плотный круглый комок... И с ним как будто раскрылось что-то среди этого ясного дня, как раскрывается облако от зарницы... Облака не было, не было и зарницы; светило солнце. А между тем что-то все-таки раскрылось, и на одно мгновение из-за ясного дня выглянуло что-то таинственное, скрытое, невидимое в обычное время.

Это было мгновение, когда заведомо для всех нас не стало человеческой жизни... Рассказывали впоследствии, будто Стройновский просил не завязывать ему глаз и не связывать рук. И будто ему позволили. И будто он сам скомандовал солдатам стрелять... А на другом конце города у знакомых сидела его мать. И когда комок докатился до нее, она упала, точно скошенная...

Повторяю: я и теперь не знаю, стояла ли подпись отца на приговоре военно-судной комиссии, или это был полевой суд из одних военных. Никто не говорил об этом, и никто не считал этого важным. «Закон был ясен»...

XIII

КТО Я?

Восстание умирало. Говорили уже не о битвах, а о бойнях и об охоте на людей. Рассказывали, будто мужики зарывали пойманных панов живыми в землю и будто одну такую могилу с живыми покойниками казаки еще вовремя откопали где-то недалеко от Житомира...

В польском обществе место возбуждения заняло разочарование, и, кажется, демократизм сменил романтические мечты о блеске и пышности «исторической Польши». Вместо хвастливого «Jeszcze Polska nie zginełа» или «Grzmią pod Stoczkiem harmaty» («Еще Польша не погибла» и «Под Сточком гремят пушки») — молодежь пела мрачную и горькую демократическую песню:

О, честь вам, паны, и князья, и прелаты,
За край, братней кровью залитый...

В это время к отцу часто приходил писатель Александр Гроза, пользовавшийся некоторой известностью в польской литературе того времени. У него вместе с неким Пациорковским была типография, которая была конфискована. Время было простое, печатные материалы были свалены в квартире отца, и я жадно читал их. Тут была, помню, «Хроника Яна Хризостома Паска» и некоторые произведения Грозы. Несколько вечеров он читал у нас свою новую драму в стихах, озаглавленную, если не ошибаюсь, «Попель». Речь шла о борьбе простого народа с рыцарями и князем Попелем. Этого свирепого князя согласно легенде, съели мыши, а простой народ на его место поставил королем крестьянина Пяста. Не могу ничего сказать о достоинстве этой драмы, но в моей памяти осталось несколько сцен и общий тон — противопоставление простых добродетелей крестьянства заносчивости рыцарей-аристократов. Отец слушал чтение очень внимательно, и, когда Гроза окончил, он сказал печально:

— Как я вам завидую... Поэт живет особой жизнью... Он переносится в другие века, далекие от наших тяжелых дней...

Это было первое общее суждение о поэзии, которое я слышал, а Гроза (маленький, круглый человек, с крупными чертами ординарного лица) был первым виденным мною «живым поэтом»... Теперь о нем совершенно забыли, но его произведения были для того времени настоящей литературой, и я с захватывающим интересом следил за чтением. Читал он с большим одушевлением, и порой мне казалось, что этот кругленький человек преображается, становится другим — большим, красивым и интересным...

Случилось так, что русская литература впервые предстала передо мной в виде одного только «Вестника Юго-Западной и Западной России», издававшегося для целей обрусения неким Говорским. Выписка его была обязательна для чиновников, поэтому целые горы «Вестника» лежали у отца в кабинете, но кажется, что мой старший брат и я были его единственными и то не особенно усердными читателями. По содержанию это была грубо тенденциозная стряпня. Все русские изображались героями добродетели, а из поляков хорошими представлялись только те, кто изменял своим соте-

чественникам... Все это оставляло в душе осадок безвкусицы и сознательной лжи.

Понятно, что эта литература нисколько не захватывала и не убеждала. В жизни на одной стороне стояла возвышенно-печальная драма в семье Рыхлинских и казнь Стройновского, на другой — красивая фигура безжалостного, затянутого в мундир жандарма... Я думаю поэтому, что если бы кто-нибудь сумел вскрыть мою душу, то и в этот период моей жизни он бы наверное нашел, что наибольшим удельным весом обладали в ней те чувства, мысли, впечатления, какие она получала от языка, литературы и вообще культурных влияний родины моей матери.

Итак, кто же я на самом деле?.. Этот головоломный, пожалуй даже неразрешимый, вопрос стал центром маленькой драмы в моей неокрепшей душе...

В то время в пансионе учился вместе со мною поляк Кучальский. Это был высокий худощавый мальчик, несколько сутулый, с узкой грудью и лицом, попорченным оспой (вообще, как я теперь вспоминаю, в то время было гораздо больше людей со следами этой болезни, чем теперь). Несмотря на сутулость и оспенное лицо, в нем было какое-то особое прирожденное изящество, а маленькие, немного печальные, но очень живые черные глаза глядели из-под рябоватых век необыкновенно привлекательным и добрым взглядом. Мне нравилось в нем все: и чистенькое, хорошо лежавшее на его тонкой фигуре платье, и походка, как будто слегка неуклюжая и, несмотря на это, изящная, и тихая улыбка, и какая-то особенная сдержанность среди шумной ватаги пансионеров, и то, как он, ответив урок у доски, обтирал белым платком свои тонкие руки. Я сразу заметил его среди остальных учеников, и понемногу мы сблизились, как сближаются школьники: то есть оказывали друг другу мелкие услуги, делились перьями и карандашами, в свободные часы уединялись от товарищей, ходили вдвоем и говорили о многом, о чем не хотелось говорить с другими. Иной раз мне просто приятно было смотреть на него, ловить его тихую, задумчивую улыбку... То, что он был поляк, а я русский, не вносило ни малейшей тени в завязывавшуюся между нами детскую дружбу.

Когда началось восстание, наше сближение продолжалось. Он глубоко верил, что поляки должны победить и что старая Польша будет восстановлена в прежнем блеске. Раз кто-то из русских учеников сказал при нем,

что Россия — самое большое государство в Европе. Я тогда еще не знал этой особенности своего отечества, и мы с Кучальским тотчас же отправились к карте, чтобы проверить это сообщение. Я и теперь помню непреклонную уверенность, с которой Кучальский сказал после обозрения карты:

— Это русская карта. И это неправда.

Этому своему приятелю я, между прочим, рассказал о своем сне, в котором я так боялся за судьбу русских солдат и Афанасия.

— Ты не веришь в сны?— спросил он.

— Нет,— ответил я.— Отец говорит, что это пустяки и что сны не сбываются. И я думаю то же. Сны я вижу каждую ночь...

— А я верю,— ответил он.— И твой сон значит, что мы непременно победим.

Вскоре выяснилось, что мой сон этого не значил, и я стал замечать, что Кучальский начинает отстраняться от меня. Меня это очень огорчало, тем более что я не чувствовал за собой никакой вины перед ним... Напротив, теперь со своей задумчивой печалью он привлекал меня еще более. Однажды во время перемены, когда он ходил один в стороне от товарищей, я подошел к нему и сказал:

— Слушай, Кучальский... у тебя, верно, случилось какое-нибудь горе?

Он посмотрел на меня печальными глазами и, не останавливаясь, сказал:

— Да, большое горе...

— Почему ты мне не скажешь?.. И почему ты меня избегаешь?..

— Так...— ответил он,— тебе до этого не может быть дела... Ты — москаль.

Я обиделся и отошел с некоторой раной в душе. После этого каждый вечер я ложился в постель и каждое утро просыпался с щемящим сознанием непонятной для меня отчужденности Кучальского. Мое детское чувство было оскорблено и доставляло мне страдание.

Среди учеников пансиона был один, который питал ко мне такое же чувство, какое я питал к Кучальскому. Фамилию его я забыл и назову его Стоцким. Это был низенький мальчик, очень шустрый, шаловливый и добрый, который часто бывал третьим во время наших прогулок с Кучальским. Теперь он подметил наше отчуждение, и я рассказал ему об ответе Кучальского на

мои попытки узнать об его горе. Мальчик после этого несколько раз ходил с Кучальским, обуздывая свою живость и стараясь попасть в сдержанный тон моего бывшего друга. Наконец он выведал, что ему было нужно, и сказал мне во время одной из прогулок:

— Он говорит, что ты — москаль... Что ты во сне плакал о том, что поляки могли победить русских, и что ты... будто бы... теперь радуешься...

И он прибавил, что, по-видимому, кто-то из близких Кучальского убит, ранен или взят в плен...

Это сообщение меня поразило. Итак — я лишился друга только потому, что он поляк, а я — русский и что мне было жаль Афанасия и русских солдат, когда я думал, что их могут убить. Подозрение, будто я радуюсь тому, что теперь гибнут поляки, что Феликс Рыхлинский ранен, что Стасик сидит в тюрьме и пойдет в Сибирь, меня глубоко оскорбило... Я ожесточился и чуть не заплакал...

— Я не радуюсь,— сказал я Стоцкому,— но... когда так... Ну что ж. Я — русский, а он пускай думает что хочет...

И я не делал новых попыток сближения с Кучальским. Как ни было мне горько видеть, что Кучальский ходит один или в кучке новых приятелей, я крепился, хотя не мог изгнать из души ноющее и щемящее ощущение утраты чего-то дорогого, близкого, нужного моему детскому сердцу.

Но вдруг в положении этого вопроса произошла новая перемена: пришла третья национальность и, в свою очередь, предъявила на меня свое право.

Случилось это следующим образом. Один из наших молодых учителей, поляк пан Высоцкий, поступил в университет или уехал за границу. На его место был приглашен новый, по фамилии, если память мне не изменяет, Буткевич. Это был молодой человек небольшого роста, с очень живыми движениями и ласково-веселыми черными глазами. Вся его фигура отличалась многими, непривычными для нас особенностями.

Прежде всего обращали внимание длинные тонкие усы с подусниками, опущенные вниз, по-казацки. Волосы были острижены в кружок. На нем был синий казакин, расстегнутый на груди, где виднелась вышитая малороссийским узором рубашка, схваченная красной ленточкой. Широкие синие шаровары были под казакином опоясаны цветным поясом и вдеты в голенища ла-

кированных мягких сапог. Войдя в классную комнату, он кинул на ближайшую кровать сивую смушковую шапку. На одной из пуговиц его казакина болтался кисет из пузыря, стянутый тонким цветным шнурком...

В самом начале урока он взял в руки список и стал громко читать фамилии:

— Поляк?— спрашивал он при этом.— Русский? Поляк? Поляк?

Наконец он прочел и мою фамилию.

— Русский,— ответил я.

Он вскинул на меня свои живые глазки и сказал:

— Брешешь.

Я очень сконфузился и не знал, что ответить, а Буткевич после урока подошел ко мне, запустил руки в мои волосы, шутя откинул назад мою голову и сказал опять:

— Ты не москаль, а козацький внук и правнук, вольного козацького роду... Понимаешь?

— По-нимаю...— ответил я, хотя, признаться, в то время понимал мало и был озадачен. Впрочем, слова «вольного козацького роду» имели какое-то смутно-манящее значение.

— Вот погоди, я принесу тебе книжечку: из нее ты поймешь еще больше,— сказал он в заключение.

На следующий же урок Буткевич принес мне маленькую брошюрку киевского издания. На обложке было заглавие, если не ошибаюсь: «Про Чуприну та Чортовуса», а виньетка изображала мертвого казака, с «оселедцем» на макушке и огромнейшими усами, лежавшего, раскинув могучие руки, на большом поваленном пне...

Рассказ велся от лица дворского казака, который участвовал в преследовании гайдамацкой ватаги, состоявшей под начальством запорожцев-ватажков, Чупрыны и Чертоуса. Гайдамаки сделали набег, резали панов, жидов и ксендзов, жгли панские дворы и замки. Польский отряд с помощью реестровых казаков оттеснил их на какой-то остров, окруженный рекой и болотами. Гайдамаки сделали засеки и долго отстреливались, пока ночью реестровый казак не указал полякам какого-то перехода через болото... Наутро польское войско кинулось на засеки, гайдамаки отчаянно защищались, но наконец погибли все до одного; последними пали от рук своих же братьев ватажки «Чуприна та Чортовус»; один из них был изображен на виньетке. Кончался этот

рассказ соответствующей моралью: реестровый казак внушал своим товарищам, как нехорошо было с их стороны сражаться против своих братьев-гайдамаков, которые боролись за свободу с утеснителями-поляками...

Брошюрка эта не произвела на меня того впечатления, какого ожидал Буткевич. Рассказ велся от имени реестрового казака, но я не был реестровым казаком и даже не знал, что это такое. Мораль состояла в том, что гайдамаков не следовало истреблять, а нужно было помогать им. Но и гайдамаков нигде уже не было. Не было также и ярких картин и образов, захвативших мое воображение в польском театре. Был только довольно бледный рассказ о том, что гайдамаки пришли резать панов, а паны при помощи «лейстровых» вырезали гайдамаков... Рассказчик от себя прибавлял, что гайдамаки поступали хорошо, а лейстровые плохо, но для меня и те и другие были одинаково чужды.

Одно только последствие как будто вытекало из открытия, сделанного для меня Буткевичем: если я не москаль, то, значит, моему бывшему другу Кучальскому не было причины меня сторониться. Эта мысль пришла мне в голову, но оскорбленная гордость не позволила сделать первые шаги к примирению. Это сделал за меня мой маленький приятель Стоцкий. Однажды мы проходили с ним по двору, когда навстречу нам попался Кучальский, по обыкновению один. Стоцкий со своей обычной почти обезьяньей живостью схватил его за руку и сказал:

— Слушай, Кучальский. Поди с нами. Ведь он не москаль. Буткевич говорит, что он малоросс.

Кучальский на минуту остановился, как будто колеблясь, но затем взгляд его принял опять свое обычное упрямо-печальное выражение...

— Это еще хуже,— сказал он, тихо высвобождая свою руку,— они закапывают наших живьем в землю...

Эта простая фраза разрушила все старания украинца-учителя. Когда после этого Буткевич по-украински заговаривал со мною о «Чуприне та Чортовусе», то я потуплялся, краснел, замыкался и молчал.

Может быть, этому способствовало еще одно обстоятельство. В нашей семье тон был очень простой. У отца я никогда не замечал ни одной искусственной ноты. У матери тоже. Вероятно, поэтому мы были очень чутки ко всему искусственному. Между тем вся фигура нового учителя казалась мне, пожалуй, довольно привлека-

тельной, даже интересной, но... какой-то ненастоящей. Он одевался так, как никто не одевался ни в городе, ни в деревне. Тонкий казакин, кисет на шнурке, люлька в кармане широких шаровар, казацкие подусники — все это казалось не настоящим, не природным и непосредственным, а «нарочным» и деланным. И говорил он не просто, как все, а точно подчеркивал: вот видите, я говорю по-украински. И мне казалось, что если, по его требованию, я стану отвечать ему тоже на украинском языке (который я знал довольно плохо), то и это выйдет не настояще, а нарочно, и потому «стыдно».

В Буткевиче это вызывало, кажется, некоторую досаду. Он приписал мое упорство «ополячению» и однажды сказал что-то о моей матери-«ляшке»... Это было самое худшее, что он мог сказать. Я очень любил свою мать, а теперь это чувство доходило у меня до обожания. На этом маленьком эпизоде мои воспоминания о Буткевиче совсем прекращаются.

Счастливая особенность детства — непосредственность впечатлений и поток яркой жизни, уносящий все вперед и вперед,— не позволили и мне остановиться долго на этих национальных рефлексиях... Дни бежали своей чередой, украинский прозелитизм не удался; я перестрадал маленькую драму разорванной детской дружбы, и вопрос о моей «национальности» остался пока в том же неопределенном положении...

Но и неоформленный и нерешенный, он все-таки лежал где-то в глубине сознания, а по ночам, когда пестрые впечатления дня смолкали, он облекался в образы и управлял моими снами.

Из этих снов один запомнился мне особенно ярко.

Было раннее утро. Сквозь дремоту я слышал, как мать говорила из соседней комнаты, чтобы открыли ставни. Горничная вошла в спальню, отодвинула задвижку и вышла на двор, чтобы исполнить приказание. И когда она вышла, скрипнув дверью, меня опять захватил еще не рассеявшийся утренний сон. И в нем я увидел себя Наполеоном.

У меня было его лицо, я был в его сером сюртуке, в треугольной шляпе, со шпагой. Я приехал в Россию, чтобы сделать здесь какое-то важное дело и кого-то непременно защитить... Какое это дело и кто ждал моей защиты — это было неясно. В смутном облаке неопределенно болящих ощущений носились и фигуры Рыхлинских, и солдат Афанасий, и моя плачущая мать,

и мать Стройновского... Где-то слышались отдельные выстрелы, и крики, и стоны... Я очень долго скитаюсь среди смутной тревоги и опасностей, ища и не находя того, кто мне был нужен. Наконец кто-то берет меня в плен, и меня сажают в тот самый домик на Вильской улице, где, по рассказам, сидела в заключении знаменитая девица Пустовойтова — Иоанна д'Арк «повстанья». В нем еще темно, но в щели ставней проникают яркие лучи дня, а у дверей брякает оружие. И вдруг в комнату врываются солдаты. Они выстраиваются в ряд. Я становлюсь против них и расстегиваю свой мундир. Внезапный грохот залпа, в груди ощущение удара и теплоты, и ослепительный свет разливается от места этого удара...

Я проснулся. Ставни как раз открывались, комнату заливал свет солнца, а звук залпа объяснялся падением железного засова ставни. И я не мог поверить, что весь мой долгий сон, с поисками, неудачами, приключениями, улегся в те несколько секунд, которые были нужны горничной, чтобы открыть снаружи ставню...

Сердце у меня тревожно билось, в груди еще стояло ощущение теплоты и удара... Оно, конечно, скоро прошло, но еще и теперь я ясно помню ту смутную тревогу, с какой во сне я искал и не находил то, что мне было нужно, между тем как рядом, в спутанном клубке сновидений, кто-то плакал, стонал и бился... Теперь мне кажется, что этот клубок был завязан тремя «национализмами», из которых каждый заявлял право на владение моей беззащитной душой, с обязанностью кого-нибудь ненавидеть и преследовать...

XIV

ЖИТОМИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ

Это было время перелома в воспитательной системе. В обществе и литературе шли рассуждения о том, «пороть ли розгами ребенка, учить ли грамоте народ». В Киевском округе попечителем был знаменитый Пирогов. Незадолго перед тем (в 1858 году) он издал ряд блестящих статей о воспитании, в которых решительно высказывался против розог. Добролюбов горячо приветствовал эти статьи, тем более что они вышли из-под пера практического деятеля в области воспитания. Добролюбов сделал из них заключение, что, значит, в Ки-

евском округе розга отошла уже в область предания. Оказалось, однако, что надежды эти были преждевременны. В следующем, 1859 году Пироговым было созвано «совещание», в котором участвовали, кроме попечителя и его помощника, некоторые профессора, директоры, инспекторы гимназий и выдающиеся учителя. Совещание высказалось за «постепенность реформы» и, сохраняя розгу, решило только регламентировать ее применение. Пирогов не только не остался при особом мнении, но еще прибавил свою мотивировку к знаменитым в свое время «правилам», в которых все виды гимназических преступлений были тщательно взвешены, разнесены по рубрикам и таксированы такими-то степенями наказаний. Таблица с этими рубриками должна была висеть на стене, и ученику, совершившему проступок, предстояло самому найти его в соответствующей графе. Предполагалось, что это будет «способствовать развитию чувства законности». В числе провинностей, неизбежно навлекавших телесное наказание, значился, между прочим, «религиозный фанатизм».

Это был компромисс «теории с практикой», и притом очень неудачный. Правила не продержались и нескольких лет. «Дух времени» быстро изгонял розгу, но там, где педагогическая рутина еще держалась, принципиальное признание телесных наказаний было ей очень на руку. Добролюбов ответил на появление «правил» резкой статьей, полной горечи и сарказма по адресу Пирогова. Вся журналистика разделилась на два лагеря: за и против Добролюбова, причем «умеренный либерализм» того времени был за попечителя и за постепенность против журналиста с его радикальными требованиями. В этом споре на долю житомирской гимназии выпала своеобразная известность. Оказалось, что по количеству случаев порки — она далеко оставила за собой все остальные: в 1858 году из шестисот учеников было высечено двести девяносто. Это было в семь раз чаще, чем, например, в киевской второй гимназии, и в тридцать пять раз больше, чем в киевской первой. Простодушные старозаветные педагоги, с директором Киченком во главе, проставили в своем ответе на запрос Пирогова эту красноречивую цифру, очевидно не предвидя эффекта, который ей суждено было вызвать.

Я был тогда слишком мал и не помню, в какой мере отголоски этого журнального спора проникали в гимназическую среду. У нее была своя литература, заучи-

ваемая на память, ходившая в рукописях и по альбомам. Ученическая муза неизменно настраивалась при этом на сатирический лад. Я помню длинную поэму в стихах, написанную, кажется, очень недурно, в которой говорилось, между прочим, что в Житомире не могут ужиться «учителя-люди» среди «учителей-зверей». По какой-то роковой неизбежности «людей» похищает нечистая сила.

Взяли черти Трофимова,
Возьмут Добрашова...—

говорил, между прочим, неизвестный автор, не щадивший красок для изображения педагогов, остающихся в педагогическом зверинце.

Уже по тону этих произведений, проникнутых горечью и злобой, можно было бы судить, какие благодарные чувства возбуждала тогдашняя школа и с каким настроением выпускала она в жизнь своих питомцев.

Ярче запомнилось мне другое шуточное «подпольное» произведение, где выступала злоба дня современной педагогической литературы. Это было «сказание о Мине». «Бе некий человек,— говорилось в этом сказании,— именем дерзновенный Прометей, сиречь ученик Буйвид. И той похищаше огнь с небесе, сиречь книги из класса. И бог Зевес, сиречь директор Киченко, приковаше его к кавказской скале, сиречь скамье в карцере. И абие, свирепый коршун, сиречь сторож Мина, клеваше печень его, сиречь з — цу, железным клювом, сиречь розгою. И, услыша вопли его, Геракл, сиречь Буйвид-отец...»

Дальше в том же тоне описывалась баталия, действительно происшедшая между отцом наказываемого и гимназическим начальством, в лице любителя порки Киченка, надзирателя Журавского и Мины. С большим злорадством изображались подвиги и победы Геракла, который освобождает Прометея с великим уроном для самого Зевса.

В пансионе Рыхлинского было много гимназистов, и потому мы все заранее знакомились с этой рукописной литературой. В одном из альбомов я встретил и сразу запомнил безыменное стихотворение, начинавшееся словами: «Выхожу задумчиво из класса». Это было знаменитое добролюбовское *«Размышление гимназиста лютеранского вероисповедания и не Киевского*

округа». По вопросу, о том, «был ли Лютер гений или плут», бедняга говорил слишком вольно, и из «чувства законности» он сам желает, чтобы его высекли.

Но не тем сечением обычным,
Как секут повсюду дураков,
А таким, какое счел приличным
Николай Иваныч Пирогов.
Я б хотел, чтоб для меня собрался
Весь педагогический совет
И о том чтоб долго препирался,
Сечь меня за Лютера, иль нет...
...Чтоб узнал об этом попечитель,
И, лежа под свежею лозой,
Чтоб я знал, что наш руководитель
В этот миг скорбит о мне душой...

Каждый из нас, пансионеров, мечтал, конечно, о поступлении в гимназию, и потому мы заранее интересовались всем, что гимназисты приносили из классов. Мы знали о грозном Киченке, о старых учителях, о надзирателе Журавском, о Мине, жена которого угощала гимназистов в перемену отличными пирожками по полторы копейки, а сам он тех же гимназистов угощал в карцере розгами. И если тем не менее мы мечтали о гимназическом мундире, то это было нечто вроде честолюбия юного воина, отправляющегося на опасную войну с неприятелем...

Наконец в конце июня 1863 года и я в мундире с красным воротником и медными пуговицами отправился в первый раз на уроки в новое гимназическое здание.

Шел я далеко не таким победителем, как когда-то в пансион Рыхлинского. После вступительного экзамена я заболел лихорадкой и пропустил почти всю первую четверть. Жизнь этого огромного «казенного» учреждения шла без меня на всех парах, и я чувствовал себя ничтожным, жалким, вперед уже в чем-то виновным. Виновным в том, что болел, что ничего не знаю, что я, наконец, так мал и не похож на гимназиста... И иду теперь, беззащитный, навстречу Киченку, Мине, суровым нравам и наказаниям...

В большом шумном классе все было чуждо, но особенное смущение вызвала во мне знакомая фигура некоего старого гимназиста Шумовича. Это был малый лет восемнадцати, широкоплечий, приземистый, с походкой молодого медведя и серьезным, почти угрюмым взглядом. Два или три последних года он почти еже-

дневно проходил в гимназию мимо нашего двора. Если случайно я или младший брат попадались ему при этом на дороге — он сгребал попавшегося в свои медвежьи лапы, тискал, мял, сплющивал нос, хлопал по ушам и, наконец, повернув к себе спиной, пускал в пространство ловким ударом колена пониже спины. Затем неторопливо шел дальше. Завидев его еще издали, мы прятались за калитку, но, когда он проходил, что-то тянуло нас за ним. Мы бежали сзади и окликали: «Шумович! Шумович!» Он поворачивался и серьезным взглядом измерял расстояние...

Оказалось, что реформа, запретившая оставаться более двух лет в одном классе, застигла его продолжительную гимназическую карьеру только на второй ступени. Богатырь оказался моим товарищем, и я со страхом думал, что он сделает со мной в ближайшую перемену... Но он не показал и виду, что помнит о наших внегимназических отношениях. Вероятно, ему самому эти воспоминания доставляли мало удовольствия...

Я чувствовал себя как в лесу, и, когда на первом уроке молодой учитель естественной истории назвал вдруг мою фамилию, я замер. Сердце у меня забилось, и я беспомощно оглянулся. Сидевший рядом товарищ толкнул меня локтем и сказал: «Иди, иди к кафедре». И тотчас же громко прибавил:

— Он не готовил. Был болен.

— Был болен, был болен... Не готовил!— загудел весь класс. Я несколько ободрился, почувствовав, что за мной стоит какая-то дружественная и солидарная сила. Подойдя к кафедре, я остановился и потупился.

— Болен, болен, болен!.. бо-о-о... не го-то-о-о...— гудело за мной пятьдесят голосов.

Учитель Прелин оказался не страшным. Молодой красивый блондин с синими глазами спросил у меня, что я знаю, и, получив ответ, что я не знаю еще ничего, пригласил прийти к нему на дом... Я сел на место, ободренный и покоренный его ласковым и серьезным взглядом.

— Этот ничего... славный малый,— сказал мой сосед, по фамилии Крыштанович.

В это время дверь широко и быстро открылась. В класс решительной, почти военной походкой вошел большой полный человек. «Директор Герасименко»,— робко шепнул мне сосед. Едва поклонившись учителю,

директор развернул ведомость и сказал отрывистым, точно лающим голосом:

— Четвертные отметки. Слушать! Абрамович... Бaландович... Буяльский... Варшавер... Варшавский...

Точно из мешка, он сыпал фамилии, названия предметов и отметки... По временам из этого потока вырывались краткие сентенции: «похвально», «совет высказывает порицание»... «угроза розг», «вып-пороть мерзавца». Назвав мою фамилию, он прибавил: «много пропущено... стараться»... Пролаяв последнюю сентенцию, он быстро сложил журнал и так же быстро вышел.

В классе поднялся какой-то особенный шум. Сзади кто-то заплакал. Прелин, красный и как будто смущенный, наклонился над журналом. Мой сосед, голубоглазый, очень приятный мальчик в узком мундирчике, толкнул меня локтем и спросил просто, хотя с несколько озабоченным видом:

— Слушай... Что он сказал обо мне: «угроза розг» или «выпороть мерзавца»?

— Я не заметил.

— Свинья... тебе не жаль товарища?

— Но ведь ты и сам не заметил...

— Да, черт его знает... лает, как собака...

— Крыштановичу что?.. Кто заметил? — заговорили кругом.— Кажется, «угроза»...

— Нет, «выпороть мерзавца»... Я слышал,— сказал кто-то сзади.

— Ну? — повернулся Крыштанович.

— Верно, брат, верно...

Я с сочувствием взглянул на него, но он беспечно мотнул головой с буйным золотистым вихром и сказал:

— Черт с ними! Ты... будешь учиться?

— А то как же? — спросил я наивно.

— Много пропустил. Все равно не догонишь. Будут пороть... Я вот не учусь совсем... Хочу в телеграфисты...

Прелин постучал карандашом. Разговоры стихли...

В ближайшую перемену я не вышел, а меня вынесло на двор, точно бурным потоком. И тотчас же завертело, как щепку. Я был новичок. Это было заметно, и на меня посыпались щипки, толчки и удары по ушам. Ударить по уху так, чтобы щелкнуло, точно хлопушкой, называлось на гимназическом жаргоне «дать фаца», и некоторые старые гимназисты достигали в этом искусстве значительного совершенства. У меня вдобавок была коротко остриженная голова и несколько торчащие уши. По-

этому, пока я беспомощно оглядывался, вокруг моей головы стояла пальба, точно из пулемета, которую прекратило только бурное вмешательство моего знакомого гимназиста Ольшанского.

Это был толстый, необыкновенно жизнерадостный крепыш, ринувшийся в атаку с беззаветной храбростью и вскоре вырвавший меня из водоворота. Правда, он и сам вышел из битвы не без урона и даже раза два катался с противниками в траве. Потом схватился на ноги и крикнул:

— Беги за мной!

Мы побежали во второй двор. Убегая от какого-то настигнувшего меня верзилы, я схватился за молодое деревцо. Оно качнулось и затрещало. Преследователь остановился, а другой крикнул: «Сломал дерево, сломал дерево! Скажу Журавскому!»

Между тем с крыльца раздался звонок, и все гимназисты ринулись с той же стремительностью в здание. Ольшанский, вошедший в роль покровителя, тащил меня за руку. Добежав до крыльца, где низенький сторож потрясал большим звонком, он вдруг остановился и, ткнув в звонаря пальцем, сказал мне:

— Это Мина!

Знаменитый Мина оказался небольшим плотным человеком, с длинными, как у обезьяны, руками и загорелым лицом, на котором странно выделялась очень светлая заросль. Длинный прямой нос как будто утопал в толстых, как два полена, светлых усах. Перестав звонить, он взглянул на моего жизнерадостного покровителя и сказал:

— Чего смеешься?.. Смотри, Ольшанский, скоро суббота... Урки́ небось опять не вытвердил?

Ольшанский беспечно показал грозному Мине язык и скрылся в коридоре. Перед уроком, когда уже все сидели на местах, в класс вошел надзиратель Журавский и, поискав кого-то глазами, остановил их на мне:

— Ты, новичок, останься после класса.

Я был удивлен. Товарищи тоже были заинтересованы. Крыштанович хлопнул меня по плечу и сказал:

— Молодец, новичок! Сразу попадаешь под розги... Здорово!

Я чувствовал себя до такой степени невинным, что даже не испугался. Оказалось, однако, что я был уже виновен.

— Ты сломал дерево?— спросил меня какой-то незнакомый ученик, подошедший с задней парты.

— Нет, но... я его согнул.

— Ну вот. Я сам слышал, как Домбровский ябедничал Журавскому...

— За дерево... могут выпороть...— опять предположил Крыштанович.

Последовал обмен мнений. Хотя поломка деревьев едва ли была предусмотрена пироговской таблицей наказаний, но в новой гимназии только что были произведены посадки, и порча их считалась большим преступлением. Тем не менее большинство мнений было в мою пользу:

— Без согласия родителей пороть не станут.

Это была еще одна форма «постепенного» компромисса: родителям предлагали — выпороть или уволить. Относительно Ольшанского, Крыштановича и некоторых других была получена cart blanche [1], и дело шло как по маслу, без дальнейших формальностей.

— А Домбровского пора проучить,— сказал Крыштанович.— Это уже не первый раз.

— Гм-да...— многозначительно сказал еще кто-то.

По окончании уроков я с несколькими учениками прошел к Журавскому. Дело обошлось довольно благополучно. Новые товарищи мои дружно доказывали, что я еще новичок, недавно оправившийся от болезни, и дерева не ломал. К концу этой беседы незаметно подошла еще кучка учеников, которые как-то особенно демонстративно вступали в объяснения с надзирателем. Журавский сделал мне выговор и отпустил с миром. Когда мы проходили по коридору, из пустого класса выскочил Домбровский. Он был весь красный, на глазах у него были слезы.

Крыштанович рассказал мне, улыбаясь, что над ним только что произведена «экзекуция»... После уроков, когда он собирал свои книги, сзади к нему подкрался кто-то из «стариков», кажется Шумович, и накинул на голову его собственный башлык. Затем его повалили на парту, Крыштанович снял с себя ремень, и «козе» урезали десятка полтора ремней. Закончив эту операцию, исполнители кинулись из класса, и, пока Домбровский освобождался от башлыка, они старались обратить на себя внимание Журавского, чтобы установить alibi.

---

[1] Свобода действий *(фр.)*.— *Ред.*

Так сплоченное гимназическое «товарищество» казнило «изменника»... Впоследствии то же мне пришлось встретить в тюрьмах. Формы, конечно, были жесточе, но сущность та же.

Этот эпизод как-то сразу ввел меня, новичка, в новое общество на правах его члена. Домой я шел с гордым сознанием, что я уже настоящий ученик, что меня знает весь класс и из-за меня совершился даже некоторый важный акт общественного правосудия.

— Ты славный малый, начинаешь недурно! — с покровительственной важностью одобрил меня Крыштанович. В его глазах мне недоставало еще только карцера и порки...

В ближайшую субботу мой приятель и защитник Ольшанский показался мне несколько озабоченным. На мои вопросы, что с ним, он не ответил, но мимо Мины в перемену проскользнул как-то стыдливо и незаметно.

Крыштанович, с которым мы теперь каждый день уходили из гимназии вместе, тоже был настроен невесело и перед последним уроком сказал:

— А меня, знаешь... того... действительно сегодня будут драть... Ты меня подожди.

И затем, беспечно тряхнув завитком волос над крутым лбом, прибавил:

— Это недолго. Я попрошу, чтобы меня первым...

— Тебе это... ничего? — спросил я с сочувствием.

— Плевать... У нас, брат, в Белой Церкви, не так драли... Черви заводились. Отец тоже лупит, сволочь, здорово!

После уроков, когда масса учеников быстро схлынула, в опустевшем и жутко затихшем коридоре осталась только угрюмая кучка обреченных. Вышел Журавский с ведомостью в руках, Мина своей развалистой походкой следовал за ним. Увидев меня, Журавский остановился.

— А, новичок! — сказал он. — Тоже попался! Не говорил я тебе, а?

— Нет, я вот с ним...— ответил я.

— Ага, с Крыштановичем!.. Хорошая компания. Пойдешь далеко... Тебе, Крыштанович, сегодня пятнадцать...

— Я, господин надзиратель, хочу попросить...

— Не могу. Просил бы у совета...

— Нет, я не то... Я хочу, чтобы меня первым... Ко мне, господин надзиратель, тетушка приехала... из Киева.

— А! Так ты хочешь ее поскорее обрадовать... Ну хорошо, хорошо, это можно...— И, сделав по ведомости перекличку, он развел оставшихся по классам и потом сказал:— Ну что ж. Пойдем, господин Крыштанович. Тетушка дожидается.

И они втроем: Мина, Журавский и мой приятель — отправились к карцеру с видом людей, идущих на деловое свидание. Когда дверь карцера открылась, я увидел широкую скамью, два пучка розог и помощника Мины. Затем дверь опять захлопнулась, как будто проглотив красивую фигуру Крыштановича в мундирчике с короткой талией...

Тишина в коридоре стала еще жутче. Я с бьющимся сердцем ждал за дверью карцера возни, просьб, криков. Но ничего не было. Была только насторожившаяся тишина, среди которой тикало что-то с своеобразным свистом. Едва я успел сообразить, что это за тиканье, как оно прекратилось, и из-за плотной двери опять показался Мина. Своей медвежеватой походкой он подошел к одному из классов, щелкнул ключом, и в ту же минуту оттуда понесся по всему зданию отчаянный рев. Мина тащил за руку упиравшегося Ольшанского. Рот у моего жизнерадостного знакомца был открыт до ушей, толстые щеки измазаны слезами и мелом, он ревел во весь голос, хватался за косяки, потом даже старался схватиться за гладкие стены... Но Мина, равнодушный, как сама судьба, без всякого видимого усилия увлекал его к карцеру, откуда уже выходил Крыштанович, застегивая под мундиром свои подтяжки. Лицо его было немного краснее обыкновенного, и только. Он с любопытством посмотрел на барахтавшегося Ольшанского и сказал мне:

— Вот дурак... Что этим выиграет?

Его глаза засветились насмешливым огоньком.

— И урежет же ему теперь Мина... Постой,— прибавил он, удерживая меня и прислушиваясь.

Мина со своей жертвой скрылся за дверью... Через минуту раздался резкий звук удара — ж-жик — и отчаянный вопль...

Мы подходили уже к выходной калитке, когда из коридора, как бомба, вылетел Ольшанский; он уронял книги, оглядывался и на бегу доканчивал свой туалет.

Впрочем, в ближайший понедельник он опять был радостен и беспечен на всю неделю...

В назначенный день я пошел к Прелину. Робко, с замирающим сердцем нашел я маленький домик на Сенной площади, с балконом и клумбами цветов. Прелин, в светлом летнем костюме и белой соломенной шляпе, возился около цветника. Он встретил меня радушно и просто, задержал немного в саду, показывая цветы, потом ввел в комнату. Здесь он взял мою книгу, разметил ее, показал, что уже пройдено, разделил пройденное на части, разъяснил более трудные места и указал, как мне догнать товарищей.

Вышел я от него почти влюбленный в молодого учителя и, придя домой, стал жадно поглощать отмеченные места в книге. Скоро я догнал товарищей по всем предметам, и на следующую четверть Герасименко после моей фамилии пролаял сентенцию: «похвально». Таким образом, ожидания моего приятеля Крыштановича не оправдались: испробовать гимназических розог мне не пришлось.

Впрочем, розга была уже осуждена бесповоротно, и порка исчезла. На следующий год мне запомнился, впрочем, один случай ее применения: два гимназиста убежали из дому, направляясь в девственные степи Америки искать приключений... Школьный строй никогда не мог понять этих, во всяком случае незаурядных, порывов юной натуры к чему-то необычному, выходящему из будничных рамок, неведомому и заманчивому... Побег этот взволновал всю гимназию, и, сидя на уроках, мы шепотом делились предположениями о том, далеко ли успели уйти наши беглецы. Дня через три мы узнали, что они пойманы, привезены в город и сидят день и ночь в карцере в ожидании педагогического совета...

Был как раз урок арифметики, когда один из беглецов, уже наказанный, угрюмо вошел в класс. На кафедре сидел маленький круглый Сербинов, человек восточного типа, с чертами ожиревшей хищной птицы. Он был груб, глуп и строг, преподавал по своему предмету одни только «правила», а решение задач сводилось на переписку в тетрадках; весь класс списывал у одного или двух лучших учеников, и Сербинов ставил отметки за чистоту тетрадей и красоту почерка. Он дослуживал срок пенсии, был очень раздражен всякими новшествами и в классе иной раз принимался ругать разных «ду-

раков, которые пишут против розги»... Когда беглец вошел в класс, Сербинов с четверть часа продержал его у порога, злорадно издеваясь и цинично расспрашивая о разных подробностях порки. Затем, хорошо зная, что мальчик не мог приготовиться, он спросил урок и долго с наслаждением вычерчивал в журнале единицу.

Прелин, наоборот, не упоминая ни словом о побеге, вызвал мальчика к кафедре, с серьезным видом спросил, когда он может наверстать пропущенное, вызвал его в назначенный день и с подчеркнутой торжественностью поставил пять с плюсом...

В житомирской гимназии мне пришлось пробыть только два года, и потом завязавшиеся здесь школьные связи были оборваны. Только одна из них оставила во мне более глубокое воспоминание, сложное и несколько грустное, но и до сих пор еще живое в моей душе.

Это детская дружба с Крыштановичем.

С первого же дня, когда он ко мне обратился с своим простодушным вопросом — будут ли его пороть или пока только грозят,— он внушил мне глубокую симпатию. Мне нравился его крутой лоб, светлые глаза, то сверкавшие шаловливым весельем, то внезапно тускневшие и заволакивавшиеся непонятным мне и загадочным выражением, его широкоплечая фигура с тонким станом, в узком старом мундирчике, спокойная самоуверенность и чувство какого-то особого превосходства, сквозившее во всех его приемах. Он был года на полтора старше меня, но мне казалось почему-то, что он знает обо всех людях — учителях, учениках, своих родителях — что-то такое, чего я не знаю. Он упорно осуществлял свой план, не приготовляя уроков, глубоко презирал и наказания, и весь школьный режим, не любил говорить о своей семье, охотно упоминая лишь о сестре, которую иной раз обзывал ласково самыми грубыми площадными названиями. Если бы кто-нибудь подслушал иные рассказы его о своих якобы похождениях с женщинами, то, конечно, пришел бы в ужас от спокойного цинизма этого гимназиста второго класса. Я теперь тоже вспоминаю эти рассказы с удивлением. Но мне кажется, что я и тогда чувствовал в них выдумку и своего рода хвастовство.

Трудно было разобрать, говорит ли он серьезно или смеется над моим легковерием. В конце концов, в нем чувствовалась хорошая натура, поставленная в какие-то тяжелые условия. Порой он внезапно затуманивался,

уходил в себя, и в его тускневших глазах стояло выражение затаенной печали... Как будто чистая сторона детской души невольно грустила под наплывом затягивавшей ее грязи...

После описанной выше порки, которая, впрочем, больше до конца года не повторялась, я относился к нему как-то особенно: жалел, удивлялся, готов был для него что-то сделать... Создавалась какая-то особенная власть его надо мной, которую мы чувствовали оба. Он относился ко мне хорошо, но в этом было что-то невысказанное, может быть, не вполне сознанное: я разочаровал его. Товарищество у нас было не полное. Я, пожалуй, не прочь был стать таким же «отпетым», как он, чтобы пользоваться такой же фамильярной известностью у Журавского и вместе с приятелем попадать в карцер. Но это у меня как-то не выходило.

В карцер я, положим, попал скоро. Горячий француз, Бейвель, обыкновенно в течение урока оставлял по нескольку человек, но часто забывал записывать в журнал. Так же он оставил и меня. Когда после урока я вместе с Крыштановичем подошел в коридоре к Журавскому, то оказалось, что я в списке не числюсь.

— Но... меня оставил мосье Бейвель,— настаивал я.

— Верно,— покровительственно подтвердил Крыштанович.

— Ну, оставил, так оставайся!— согласился Журавский.— Там, кстати, встретишь своего братца.

В карцере действительно уже сидело несколько человек, в том числе мой старший брат. Я с гордостью вошел в первый раз в это избранное общество, но брат тотчас же охладил меня, сказав с презрением:

— Дурак! Сам напросился!

Я понял, что дал промах: «настоящий» гимназист гордился бы, если бы удалось обманом ускользнуть от Журавского, а я сам полез ему в лапы...

Когда мы все были выпущены, Крыштанович сказал мне:

— Ты все-таки славный малый, хотя еще глуп. Давай завтра уйдем из церкви.

— Куда?

— Куда я поведу... Пойдешь?

— Хорошо, только надо ведь попроситься у матери...

— Она не узнает... Можешь сказать, что заходил к товарищу учить уроки...

Я покраснел и замялся. Он внимательно посмотрел на меня и повел плечами.

— Ты боишься соврать своей матери? — сказал он с оттенком насмешливого удивления.— А я вру постоянно... Ну, однако, ты мне дал слово... Не сдержать слово товарищу — подлость.

Я сказал матери, что после церкви пойду к товарищу на весь день, мать отпустила. Служба только началась еще в старом соборе, когда Крыштанович дернул меня за рукав, и мы незаметно вышли. Во мне шевелилось легкое угрызение совести, но, сказать правду, было также что-то необыкновенно заманчивое в этой полупреступной прогулке в часы, когда товарищи еще стоят на хорах собора, считая ектении и с нетерпением ожидая херувимской. Казалось, даже самые улицы имели в эти часы особенный вид.

Крыштанович уверенным шагом повел меня мимо прежней нашей квартиры. Мы прошли мимо старой «фигуры» на шоссе и пошли прямо. В какой-то маленькой лавочке Крыштанович купил две булки и кусок колбасы. Уверенность, с какой он делал эту покупку и расплачивался за нее серебряными деньгами, тоже импонировала мне: у меня только раз в жизни было пятнадцать копеек, и когда я шел с ними по улице, то мне казалось, что все знают об этой огромной сумме и кто-нибудь непременно затевает меня ограбить...

— Откуда у тебя столько денег? — спросил я у моего бойкого товарища, когда мы вышли из лавочки.

— А тебе какое дело? — ответил он.— Ну, украл у отца...

Я покраснел и не знал, что сказать. Мне казалось, что Крыштанович говорит это «нарочно». Когда я высказал это предположение, он ничего не ответил и пошел вперед.

Мы миновали православное кладбище, поднявшись на то самое возвышение дороги, которое когда-то казалось мне чуть не краем света и откуда мы с братом ожидали «рогатого попа». Потом и улица, и дом Коляновских исчезли за косогором... По сторонам тянулись заборы, пустыри, лачуги, землянки, перед нами лежала белая лента шоссе, с звенящей телеграфной проволокой, а впереди, в дымке пыли и тумана, синела роща, та самая, где я когда-то в первый раз слушал шум соснового бора...

Мне было жутко и приятно. Мир, открывавшийся передо мною, был нов и неожидан, или, вернее: я смотрел на него с новой и неожиданной точки зрения. Белые облака лежали на самом горизонте, не закрытом домами и крышами. Навстречу попадались чумацкие возы с скрипучими осями, двигались высокие еврейские балагулы, какие-то странники оглядывались на нас с любопытством и удивлением; проехал обоз крымских татар, ежегодно привозивших в наш город виноград и арбузы. Обоз состоял из огромных фургонов, похожих на вагоны, разделенные горизонтальной переборкой на две половины. В одной лежали молодые татарчата, внизу были наложены арбузы и стояли ящики с виноградом. Фургоны были запряжены верблюдами, которых в городе татары показывали за деньги. Здесь, на просторе, мы смотрели бесплатно, как они шлепали по шоссе мягкими ступнями, покачивая змеиными шеями и презрительно вытягивая длинные отвислые губы...

Так мы прошли версты четыре и дошли до деревянного моста, перекинутого через речку в глубоком овраге. Здесь Крыштанович спустился вниз, и через минуту мы были на берегу тихой и ласковой речушки Каменки. Над нами высоко, высоко пролегал мост, по которому гулко ударяли копыта лошадей, прокатывались колеса возов, проехал обратный ямщик с тренькающим колокольчиком, передвигались у барьера силуэты пешеходов, рабочих, странников и богомолок, направлявшихся в Почаев.

Крыштанович подошел к мысу, образованному извилиной речки, и мы растянулись на прохладной зеленой траве; мы долго лежали, отдыхая, глядя на небо и прислушиваясь к гудению протекавшей вверху дорожной жизни.

Детство часто беспечно проходит мимо самых тяжелых драм, но это не значит, что оно не схватывает их чутким полусознанием. Я чувствовал, что в душе моего приятеля есть что-то, что он хранит про себя... Все время дорогой он молчал, и на лбу его лежала легкая складка, как тогда, когда он спрашивал о порке.

Наконец он сел в траве. Лицо его стало спокойнее. Он оглянулся кругом и сказал:

— Правда, хорошо?..

— Хорошо,— ответил я.— А ты уже здесь бывал?

— Да, бывал.

— Один?

— Один... Если захочешь, будем приходить вместе... Тебе не хочется иногда уйти куда-нибудь?.. Так, чтобы все идти, идти... и не возвращаться...

Мне этого не хотелось. Идти — это мне нравилось, но я все-таки знал, что надо вернуться домой, к матери, отцу, братьям и сестрам.

Я не ответил и спросил, в свою очередь:

— Слушай... Отчего ты... такой?

— Какой? — переспросил он и прибавил: — Брось... черт с ними, со всеми, со всеми... Давай лучше купаться.

Через минуту мы плескались, плавали и барахтались в речушке так весело, как будто сейчас я не предлагал своего вопроса, который Крыштанович оставил без ответа... Когда мы опять подходили к городу, то огоньки предместья светились навстречу в неопределенной синей мгле...

Эта маленькая прогулка ярко запала мне в память, быть может, потому, что рядом с нею легло смутное, но глубокое впечатление от личности моего приятеля. На следующий день он не пришел на уроки, и я сидел рядом с его пустым местом, а в моей голове роились воспоминания вчерашнего и смутные вопросы. Между прочим, я думал о том, кем я буду впоследствии. До тех пор я переменил уже в воображении несколько родов деятельности. Вид первой извозчичьей пролетки, запах кожи, краски и лошадиного пота, а также великое преимущество держать в руках вожжи и управлять движениями лошадей вызвал у меня желание стать извозчиком. Потом я воображал себя поляком XVII столетия, в шапке с орлиным пером и с кривой саблей на боку. Потом мне очень хотелось быть казаком и мчаться пьяному на коне по степи, как мчался знакомый мне удалой донской урядник. Теперь я был уже умнее. Мне захотелось быть учителем.

И именно таким, как Прелин. Я сижу на кафедре, и ко мне обращены все детские сердца, а я, в свою очередь, знаю каждое из них, вижу каждое их движение. В числе учеников сидит также и Крыштанович. И я знаю, что́ нужно сказать ему и что́ нужно сделать, чтобы глаза его не были так печальны, чтобы он не ругал отца сволочью и не смеялся над матерью...

Все это было так завлекательно, так ясно и просто, как только и бывает в мечтах или во сне. И видел я это все так живо, что... совершенно не заметил, как в классе стало необычайно тихо, как ученики с удивлением обо-

рачиваются на меня; как на меня же смотрит с кафедры старый учитель русского языка, лысый как колено Белоконский, уже третий раз окликающий меня по фамилии. Он заставил повторить что-то им сказанное, рассердился и выгнал меня из класса, приказав стать у классной двери снаружи.

Я вышел, все еще унося с собой продолжение моего сна наяву. Но едва я устроился в нише дверей и опять отдался течению своих мыслей, как в перспективе коридора показалась рослая фигура директора. Поравнявшись со мной, он остановился, кинул величавый взгляд с своей высоты и пролаял свою автоматическую фразу:

— Выгнан из класса?.. Вып-порю мерзавца!

И затем проследовал дальше. Очень вероятно, что через минуту он уже не узнал бы меня при новой встрече, но в моей памяти этот маленький эпизод остался на всю жизнь. Бессмысленный окрик автомата случайно упал в душу, в первый еще раз раскрывшуюся навстречу вопросам о несовершенствах жизни и разнеженную мечтой о чем-то лучшем... Впоследствии, в минуты невольных уединений, когда я оглядывался на прошлое и пытался уловить, что именно в этом прошлом определило мой жизненный путь,— в памяти среди многих важных эпизодов, влияний, размышлений и чувств неизменно вставала также и эта картина: длинный коридор, мальчик, прижавшийся в углублении дверей с первыми движениями разумной мечты о жизни, и огромная мундиро-автоматическая фигура с своею несложною формулой:

— Вып-порю мерзавца!..

. . . .

В 1866 году один эпизод «большой политики» долетел отголосками и до нас. 4 апреля 1866 года Каракозов в Петербурге стрелял в императора Александра II. В июне того же года, по окончании экзаменов, происходил годичный гимназический акт. Нас сначала собрали в здании гимназии, а потом попарно повели нас в зал Дворянского собрания. Особенная торжественность акта объяснялась, кажется, тем, что гимназия собиралась щегольнуть перед властями и обществом собственным поэтом. Сначала словесник Шавров произнес речь, которая совсем не сохранилась в моей памяти, а затем на эстраду выступил гимназист, небольшого роста, с боль-

шой курчавой головой. Каким-то напряженным тоном с выкрикиваниями и сильным акцентом он прочел стихотворение, в котором говорилось о «чудесном спасении». Стихотворение было напыщенно и высокопарно. Оно начиналось вопросом вроде: «Куда текут народа шумны волны?» — а затем сообщало, что

Ужасная весть обтекает Россию
Об умысле злом на царя...
Но чудо свершилось пред всеми вочию,
Венчанную жизнь сохраня...

По окончании чтения поэт поднес губернаторше свиток со своим произведением, а архиерей поцеловал гимназиста-еврея в голову.

Сколько могу припомнить, покушение Каракозова ни во мне, ни в моих сверстниках не будило в то время никаких вопросов. Царь — это было нечто огромное, отдаленное, стихия! Стихией же казались и люди, которые в него стреляют. Нечто отвлеченное, далекое от нашей повседневной жизни. А торжество по этому поводу было казенное торжество, показное, «ненастоящее» — это мы ощущали ясно. Перегибаясь через перила хор, мы с ироническим любопытством смотрели, как смешно поэт Варшавский подходил к руке архиерея и тот прикасается губами к его жесткой курчавой голове. На лицах учеников было или безразличное любопытство, или усмешка...

Стихотворение появилось в гимназическом журнале, который позволено было печатать в губернской типографии. Вышло, кажется, два или три номера. Губернская канцелярия и редакторство учителей убивали свободный полет гимназической поэзии, и она хирела... Былина о «Коршуне-Мине и Прометее-Буйвиде», конечно, не могла бы найти места в этом журнале, как и другие, порой, несомненно, остроумные сатиры безыменных поэтов-школьников... В этот разрешенный начальством журнал гимназическая муза отправлялась точно с визитом, затянутая, напряженная, несвободная, тогда как у себя дома она была гораздо интереснее.

Поэтическому таланту Варшавского, начавшему свое парение с торжественных од и поднесений высоким лицам, так и не суждено было расцвесть. В гимназическом журнальчике было еще помещено его стихотворение, уже не столь торжественного содержания, озаглавленное «Шапка». Дело шло о форменной гимнази-

ческой фуражке, которая, по словам поэта, украшая кудрявые юные головы, жаждущие науки, влечет к ним «взгляды красоток». Другой гимназист, Иорданский, написал злую критику, в которой опровергал все поэтические положения товарища-поэта по пунктам. «Поэт утверждает, якобы шапка красоток влечет,— писал он весьма энергическим стилем.— Я же говорю: напротив!»

Придя как-то к брату, критик читал свою статью и, произнося: «Я же говорю, напротив»,— сверкал глазами и энергически ударял кулаком по столу... От этого на некоторое время у меня составилось представление о «критиках» как о людях, за что-то сердитых на авторов и говорящих им «все напротив».

На этой полемике, кажется, литературное предприятие житомирской гимназии и закончилось, а с ним и имя поэта Варшавского кануло в Лету...

XV
ОТЪЕЗД

После восстания пошла тяжелая полоса «обрусения», с доносами, арестами, судами уже не над повстанцами, а над «подозрительными», с конфискациями имений. Сыновья Рыхлинского были высланы в Сибирь. Старики ездили в Киев и видели сыновей в последний раз перед отправлением.

Однажды, в именины старого Рыхлинского, его родственники и знакомые устроили торжество, во время которого хор из пансионеров спел под руководством одного из учителей сочиненную на этот случай кантату. Она кончалась словами:

Ведь есть на небе великий бог:
Сынов увидишь у своих ног...

Старик, глубоко растроганный, плакал, но в это время юморист дядя Петр печально покачал головой и ответил горькой шуткой:

— Да у него и ног-то нет.

Короткая фраза упала среди наступившей тишины с какой-то грубою резкостью. Все были возмущены цинизмом Петра, но — он оказался пророком. Вскоре пришло печальное известие: старший из сыновей умер от раны на одном из этапов, а еще через некоторое время

кто-то из соперников сделал донос на самый пансион. Началось расследование, и лучшее из училищ, какое я знал в своей жизни, было закрыто. Старики ликвидировали любимое дело и уехали из города.

Вскоре пришлось уехать и нам.

В городе Дубно нашей губернии был убит уездный судья. Это был поляк, принявший православие, человек от природы желчный и злой. Положение меж двух огней озлобило его еще больше, и его имя приобрело мрачную известность. Однажды, когда он возвращался из суда, поляк Бобрик окликнул его сзади. Судья оглянулся, и в то же мгновение Бобрик свалил его ударом палки с наконечником в виде топорика.

Этот случай произвел у нас впечатление гораздо более сильное, чем покушение на царя. То была какая-то далекая отвлеченность в столице, а здесь говорили и о жертве, и об убийце. Бобрик представлялся или героем, или сумасшедшим. На суде он держал себя шутливо, перед казнью попросил позволения выкурить папиросу.

Чтобы несколько успокоить вызванное этим убийством волнение, высшая администрация решила послать на место убитого судьи человека, пользующегося общим уважением и умеренного. Выбор пал на моего отца.

Он наскоро собрался и уехал. На каникулы мы ездили к нему, но затем вернулись опять в Житомир, так как в Дубно не было гимназии. Ввиду этого отец через несколько месяцев попросил перевода и был назначен в уездный город Ровно. Там он заболел, и мать с сестрой уехали к нему.

Мы остались и прожили около полугода под надзором бабушки и теток. Новой «власти» мы как-то сразу не подчинились, и жизнь пошла кое-как. У меня были превосходные способности, и, совсем перестав учиться, я схватывал предметы на лету, в классе, на переменах и получал отличные отметки. Свободное время мы с братьями отдавали бродяжничеству: уходя веселой компанией за реку, бродили по горам, покрытым орешником, купались под мельничными шлюзами, делали набеги на баштаны и огороды, а домой возвращались поздней ночью.

Вследствие этого, выдержав по всем предметам, я решительно срезался на математике и остался на второй год в том же классе. В это время был решен наш переезд к отцу, в Ровно.

В середине июня огромная семейная колымага, носившая у нас название «коч кареты», стояла перед нашим крыльцом, нагруженная доверху. Привели почтовых лошадей. Ямщик в низкой шляпе с медным орлом и с бляхой на левой руке взгромоздился на козлы... Замелькали знакомые улицы, лавочки, костелы, остов «старой фигуры», когда-то разбитой громом, дома Коляновских... Знакомый мир, который, сам не знаю почему, стал мне постылым и ненавистным. Душа рвалась навстречу новому, неизведанному... Въехав на косогор у русского кладбища, ямщик остановился и отвязал колокольчик. Я с страстным нетерпением ждал, чтобы он поскорее опять влез на свое место. Мне казалось, что оттуда, сзади, придет еще что-то и остановит нас. И действительно, кто-то бежал по старой Вильской улице и махал белым свертком. Сердце у меня замерло, но это оказалась только забытая картонка. Колымага тряхнулась и поплыла вниз с косогора...

Лачуги, заборы, землянки. Убогая лавочка, где когда-то Крыштанович на сомнительные деньги покупал булки... Шоссе с пешеходами, возами, балагулами, странниками... гулкий мост. Речка, где мы купались с моим приятелем. Врангелевская роща. Ощущение особенной приятной боли мелькнуло в душе. Как будто открывалась и уплывала назад в первый еще раз так резко отграниченная полоска жизни.

Мост исчез, исчезли позади и сосны Врангелевки, последние грани того мирка, в котором я жил до сих пор. Впереди развертывался простор, неведомый и заманчивый. Солнце было еще высоко, когда мы подъехали к первой станции, палевому зданию с красной крышей и готической архитектурой.

Перепрягли лошадей, прописали подорожную (с этим мать посылала меня, чем я очень гордился), и я опять полез на козлы...

Опять дорога, ленивое позванивание колокольчика, белая лента шоссе с шуршащим под колесами свежим щебнем, гулкие деревянные мосты, протяжный звон телеграфа... Опять станция, точь-в-точь похожая на первую, потом синие сумерки, потом звездная ночь и фосфорические облака, как будто налитые лунным светом... Мать стучит в оконце за козлами, ямщик сдерживает лошадей. Мать спрашивает, не холодно ли мне, не сплю ли я и как бы я не свалился с козел.

Мне кажется, что я не спал, но все-таки место, где мы стоим, для меня неожиданно ново: невдалеке впереди мостик из свежих бревен, под ним темная речка, по сторонам лес, и верхушки дерев сонно качаются в синеве ночного неба...

Я весь переполнен радостью новизны, ожиданий... И, однако, под гул телеграфной проволоки оттуда, сзади, где осталось это постылое прошлое, что-то как будто тянется ко мне по этой дороге, какая-то смутная быль дразнит, ласкает и манит своими воспоминаниями... Вспоминается вечер с красным закатом, «щось буде», толки о чем-то неведомом, такой же гул телеграфа, кучки людей у столбов... Пансион... Как давно это было, и какой я был тогда глупый... И насколько я теперь умнее того мальчишки, который припадал ухом к телеграфным столбам или гордился... чем же? Званием малыша пансионера... А вот теперь я уже «старый гимназист» и еду в новые места на какую-то новую жизнь...

В детской жизни бывают минуты, когда сознание как будто оглядывается на пройденный путь, ловит и отмечает собственный рост. Одну из таких минут я вновь пережил в эту ночь под веяние ветра и его звон в проволоках, смутный, но как будто осмысленный... Точно смешанные голоса переговариваются среди ночи о чем-то, в том числе обо мне с моим прошлым. И я с удивлением замечаю, что в этом прошлом вместе с определенными картинами, такими простыми, такими обыденными и прозаическими, когда они происходили, в душе встает неизвестно откуда сознание, что это было хорошо и прекрасно. Я удивляюсь: отчего же не было этого ощущения тогда, когда все это было настоящим? Было ли мне тогда так же хорошо? Может быть, было, но не так... Того, что я теперь чувствую рядом со всеми этими картинами, того особенного, того печально-приятного, того, что ушло, того, что уже не повторится, того, что делает те впечатления такими незаурядными, единственными, так странно и на свой лад прекрасными,— того тогда не было... Откуда же — если тогда его не было — оно берется теперь?..

На рассвете, не помню уже, где именно — в Новоград-Волынске или местечке Корце,— мы проехали на самой заре мимо развалин давно закрытого базилианского монастыря-школы... Предутренний туман застилал низы длинного здания, а вверху резко чернели ряды пустых окон... Мое воображение населяло их десят-

ками детских голов, и среди них знакомое, серьезное лицо Фомы из Сандомира, героя первой прочитанной мною повести...

И я опять чувствую, что Фома теперь кажется мне тоже другим... Он тот же, которого я полюбил тогда, вглядываясь в его образ сквозь трудные строки плохо еще разбираемой грамоты,— но теперь и он обвеян странным прибавочным ощущением...

А впереди все-таки — что-то новое, еще более прекрасное и еще более манящее...

— Скоро ли? Скоро ли?— то и дело спрашиваю я у ямщиков...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

В уездном городе.— Ученические годы

XVI

УЕЗДНЫЙ ГОРОД РОВНО

Еще день, и опять утро. Скоро ли?

Ямщик указывает кнутовищем вперед и говорит:

— Вон там за пригорком город. А это вот грабник. По праздникам сюда ходят гулять...

Впереди виднелась роща, а из-за нее выглядывала красная крыша казенного здания. Город залег в широкой котловине, и только туманное или дымное облачко подымалось снизу... Здание с красною крышей оказалось тюрьмой. Когда мы поравнялись с ней, из окон второго этажа на нас глядели зеленовато-бледные, угрюмые лица арестантов, державшихся руками за железные решетки... Мне часто вспоминалась эта картина из моего детства впоследствии, когда и сам я, уже взрослым, смотрел из-за таких же решеток на вольную дорогу... И один раз на козлах такой же семейной колымаги сидел такой же мальчик и смотрел на меня с таким же жутким чувством жалости, сострадания, невольного осуждения и страха...

Тюрьма стояла на самом перевале, и от нее уже был виден город, крыши домов, улицы, сады и широкие сверкающие пятна прудов... Грузная коляска покатилась быстрее и остановилась у полосатой заставы шлагбаума. Инвалидный солдат подошел к дверцам, взял у матери подорожную и унес ее в маленький домик, стоявший на левой стороне у самой дороги. Оттуда вышел тотчас же высокий господин, «команду на заставе имеющий», в путейском мундире и с длинными офицерскими усами. Вежливо поклонившись матери, он сказал:

— Господин судья ожидает!— И затем, повернувшись, скомандовал инвалиду:— Подвысь!

Полосатое бревно шлагбаума заскрипело в гнезде, и тонкий конец его ушел высоко кверху. Ямщик тронул лошадей, и мы въехали в черту уездного города Ровно.

Эти «заставы», теперь, кажется, исчезнувшие повсеместно, составляли в то время характерную особенность шоссейных дорог, а характерную особенность самых застав составляли шоссейные инвалиды николаевской службы, доживавшие здесь свои более или менее злополучные дни... Характерными чертами инвалидов являлись: вечно дремотное состояние и ленивая неповоротливость движений, отмеченная еще Пушкиным в известном стихотворении, в котором поэт гадает о том, какой конец пошлет ему судьба:

Иль чума меня подцепит,
Иль мороз окостенит,
    Иль шлагбаум в лоб мне влепит
Непроворный инвалид...

Команда этих путейских инвалидов представляла сословие, необыкновенно расположенное к философскому покою и созерцательной жизни. И теперь, когда в моей памяти оживает город Ровно, то неизменно, как бы в преддверии всех других впечатлений, вспоминается мне пестрое бревно шлагбаума и фигура инвалида в запыленном и выцветшем сюртуке николаевских времен. Инвалид непременно сидит на обрубке у шлагбаума, со спиной, точно прилипшей к полосатому столбу. На голове у него тоже порыжелый и выцветший картуз с толстым козырем, рот раскрыт, и в него лезут назойливые дорожные мухи... Впоследствии нам доставляло удовольствие из-за столба щекотать спящему соломинками шею, а более смелые шалуны совали соломинки даже в ноздри бедного севастопольского героя. Инвалид отмахивался, чихал, иной раз вскакивал и испуганно озирался к тюрьме, в ту сторону, откуда мог появиться, стоя в кибитке и размахивая казенным листом, какой-нибудь стремительный «курьер», перед которым надо подымать шлагбаум без задержки... Но, видя только пыльную ленту шоссе, страж заставы опять садился и мирно засыпал... И было в этой дремотной фигуре что-то символическое — точно прообраз мирного жития провинциального городишка...

Но в то время эта фигура не имела еще для меня символического значения, и я жадными глазами ловил то «новое», что открывалось за «подвышенным» полосатым бревном... «Новое», впрочем, было не особенно представительно. Лачуги, пустыри, заборы, устья двух-трех узеньких переулочков, потом двухэтажное камен-

ное здание казначейства... Перед ним на площади — каменная колонна со статуей богородицы. Кругом заезжие дворы с широкими воротами, откуда на нас устремились несколько факторов-мишуресов... Потом речка и деревянный мост. Речка и мост в самом центре города привели меня в восхищение...

Перед самым мостом ямщик круто повернул лошадей, наша «карета» качнулась, заскрипела, остановилась, как будто в раздумье, в покосившихся воротах и поплыла вниз по двору, поросшему зеленой муравкой. На этом дворе было в беспорядке разбросано несколько зданий. На одном была надпись: «Ровенский уездный суд». На другом, как-то нелепо выдвинувшемся из ряда, было написано: «Архив». На третьем, стоявшем в глубине двора, никакой надписи не было. Это и была наша новая квартира, расположенная на мысу, между прудом и речкой... В раскрытую калитку была видна вода, подходившая к самому огороду, и деревянная кладочка с привязанной у нее лодкой... С моста на наш приезд глазели кучки обывателей, которым была отлично видна внутренность низко расположенной усадьбы и для которых приезд семьи «господина судьи» составлял выдающееся событие.

Несколько больших прудов, соединенных тихими речушками, залегали в широкой ложбине, и городок расположен был по их берегам. Наша усадьба была на стороне городской. Напротив, на острове, по преданию насыпанном искусственно пленными турками, стоял полуразвалившийся дворец князей Любомирских, в старопольском полуготическом стиле. Он был окружен высокими пирамидальными тополями и имел чудесный вид живописной древности. На левой стороне пруда — беленькое, веселое, с портиком и колонками — стояло двухэтажное просторное здание гимназии. И угрюмый «замок», и светлая колоннада гимназии, точно в зеркале, отражались в воде. Вдали, под другим берегом, отчетливо рисуясь на синеве и зелени, плавали лебеди, которых я тогда видел в первый раз. Они оставляли за собой длинные светлые полоски, долго потом стоявшие на сонной неподвижности глади...

Каждая новая местность имеет как бы собственную физиономию и откладывает в душе какое-то общее, смутное, но свое собственное впечатление, на которое ложатся все подробности. Все, что я видел теперь, показалось мне чем-то волшебным... Да, это действительно

какая-то новая, неведомая страница жизни... И вместе... вероятно, от старого замка, странное ощущение истомы, дремоты, грезы о прошлом, минувшем, исчезнувшем навеки,— кидало свою тень на это молодое ожидание чудес. Пруд лежал как мертвый, и в нем отражался мертвый «замок» с пустыми впадинами окон, окруженный, точно заснувшей стражей, высокими рядами пирамидальных тополей. Вода зацветала, покрывалась у берегов зеленою ряской, зарастала татарником и камышами. Неподвижная поверхность сверкала зноем и дышала на городок плесенью и лихорадками... И все было так родственно с пустырями, с дремотною фигурой инвалида у шлагбаума, с пустыми окнами старого замка...

В один из первых вечеров, когда мы сидели в столовой за чаем, со стороны пруда послышался странный гул.

— Это шумят тополи около старого замка,— сказала мать.

Протяжный, глубокий, немного зловещий шум несся над городишком, точно важный голос, рассказывавший о бурном прошлом тихому и ничтожному настоящему, погруженному в серые будни...

Теперь я люблю воспоминание об этом городишке, как любят порой память старого врага. Но, боже мой, как я возненавидел к концу своего пребывания эту затягивающую, как прудовой ил, лишенную живых впечатлений будничную жизнь, высасывавшую энергию, гасившую порывы юного ума своей безответностью на все живые запросы, погружавшую воображение в бесплодно-романтическое ленивое созерцание мертвого прошлого.

XVII

«УЕЗДНЫЙ СУД», ЕГО НРАВЫ И ТИПЫ

Были каникулы. Гимназия еще стояла пустая, гимназисты не начинали съезжаться. У отца знакомых было немного, и потому наши знакомства на первое время ограничивались соседями-чиновниками помещавшегося тут же во дворе уездного суда...

Первым из этих знакомых был архивариус, пан Крыжановский.

Он встретил нас в самый день приезда и, сняв меня, как перышко, с козел, галантно помог матери выйти из коляски. При этом на меня пахнуло от этого огромного человека запахом перегара, и мать, которая уже знала его раньше, укоризненно покачала головой. Незнакомец стыдливо скосил глаза, и при этом я невольно заметил, что горбатый сизый нос его свернут совершенно «набекрень», а глаза как-то уныло тусклы...

Мы с ним быстро сошлись. В свободное время он ходил с нами гулять, показывал достопримечательности города, учил управлять лодкой. Мы узнали, частью от него самого, частью от других, что когда-то он был богатым помещиком и в город приезжал на отличной четверке. Говорили затем, будто у него жена убежала с офицером (тогда что-то многие жены убегали с офицерами), после чего он сильно закутил и пропил все имение; или наоборот: сначала он прокутил все имение, а потом жена убежала с офицером. Как бы то ни было, теперь он служил архивариусом, получал восемь рублей в месяц, ходил в засаленном костюме, вид имел не то высокомерный, не то унылый и в общем — сильно потертый. Зато он никогда не унижался до дешевой помады и томпаковых цепочек, которые другие «чиновники» носили на виду без всякой надобности, так как часов по большей части в карманах не было.

Жил он настоящим философом и даже особую квартиру считал излишней роскошью, помещаясь в тесном здании архива. Связки дел на полках этого учреждения приятно разнообразились принадлежностями незатейливого костюма, бутылями из-под водки и «вещественными доказательствами». Тут были изломанные замки, краденый самовар, топор с ржавыми пятнами крови на лезвии, узлы с носильным платьем, большие болотные сапоги и две охотничьи двустволки. Хотя на всех этих предметах болтались ярлыки с номерами и сургучными печатями, но пан Крыжановский обращался с ними довольно свободно: самовар сторож ставил для архивариуса, когда у него являлось желание напиться чаю (что, впрочем, случалось не ежедневно), а с двустволками пан Крыжановский нередко отправлялся на охоту, надевая при этом болотные сапоги и соединяя, таким образом, для одного употребления вещественные доказательства из различных дел.

Однажды кто-то из служебных врагов Крыжановского поднял было по этому поводу гнусную кляузу, но

Крыжановский заблаговременно предупредил ее последствия: самовар он за собственный счет вылудил, к одной двустволке приделал новый курок, а на сапоги судейский сторож накинул иждивением архивариуса подметки. «Хоть это и стоило денег», как с торжеством говорил сам Крыжановский, зато ядовитый донос потерял силу. Работал он неровно, порывами: то целыми днями слонялся где-то со своей тоской, то внезапно принимался за приведение дел в порядок. В таких случаях он брал с собой бутыль водки и запирался в архиве. В маленьком решетчатом оконце архива поздно ночью светился огонь. Крыжановский сшивал, подшивал, припечатывал, заносил в ведомости и пил, пока в одно прекрасное утро дела оказывались подшитыми, бутыль пуста, а архивариус лежал на полу и храпел, раскинув руки и ноги...

Вскоре после нашего приезда, двадцатого числа, Крыжановский попросил у матери позволения взять нас с собой на прогулку.

— Пане Крыжановский?..— сказала мать полувопросительно, полустрого.

— Ах, пани сендзина,— сказал он, целуя у нее руку.— Неужели и вы... считаете меня совсем пропащим?

Мать согласилась, и мы отправились. Крыжановский водил нас по городу, угощал конфетами и яблоками, и все шло превосходно, пока он не остановился в раздумье у какой-то невзрачной хибарки. Постояв так в нерешимости, он сказал: «Ничего — я сейчас» — и быстро нырнул в низкую дверь. Оттуда он вышел слегка изменившимся, весело подмигнул нам и сказал:

— Матери говорить не надо.— И, вздохнув, прибавил:— Святая женщина!

Увы! За первой остановкой последовала вторая, за ней — третья, и, пока мы дошли до центра города,— пан Крыжановский стал совершенно неузнаваем. Глаза его гордо сверкали, уныние исчезло, но — что уже было совсем плохо — он стал задирать прохожих, оскорблять женщин, гоняться за евреями... Около нас стала собираться толпа. К счастью, это было уже близко от дома, и мы поспешили ретироваться во двор.

После этого пан Крыжановский исчез, не являлся на службу, и об его существовании мы узнавали только из ежедневных донесений отцовского лакея Захара. Сведения были малоутешительные. В один день Крыжановский смешал на биллиарде шары у игравшей компании,

после чего «вышел большой шум». На другой день он подрался с будочниками. На третий — ворвался в компанию чиновников и нанес пощечину столоначальнику Венцелю.

Отец страшно рассердился, упрекал мать, что она покровительствует этому висельнику, и потребовал, чтобы Крыжановского доставили ему живого или мертвого. Но об архивариусе не было ни слуху ни духу.

На третий или на четвертый день мы с братом и сестрой были в саду, когда Крыжановский неожиданно перемахнул своими длинными ногами через забор со стороны пруда и, присев в высокой траве и бурьянах, поманил нас к себе. Вид у него был унылый и несчастный, лицо помятое, глаза совсем мутные, нос еще более покривился и даже как будто обвис.

— Тссс...— сказал он, косясь на терраску нашей квартиры, выходившую в сад.— Что, как пан судья? Очень сердит?..

— Сердит,— ответили мы.

— А пани сендзина (госпожа судейша)?..

Мы не могли скрывать, что даже мать не смеет ничего сказать в его защиту.

— Святая женщина!— сказал Крыжановский, смахивая слезу.— Подите, мои милые друзья, спросите у нее, можно ли мне явиться сегодня или еще обождать?

Мы принесли ответ, что ему лучше не являться, и архивариус опять тем же путем перемахнул через забор — как раз вовремя, так как вслед за тем отец появился на террасе.

Прошло еще два дня. Было воскресенье. Отец недавно вернулся из церкви в благодушном настроении и, надев халат, ходил взад и вперед по гостиной. Когда он, повернув к двери, пошел в противоположный угол, из сеней вдруг вынырнула длинная фигура архивариуса. Сделав нам многозначительный знак, он неслышно переступил через порог и застыл у косяка. Но едва отец, прихрамывая и опираясь на палку, дошел до конца комнаты,— архивариус так же неслышно исчез опять в сенях. Это повторилось несколько раз. Наконец, приняв окончательное решение, он перекрестился, опять выступил из-за стены, прислонился, точно прилип спиной к косяку, и застыл в этой позе.

Отец повернулся и увидел преступника. У него в Дубно был легкий удар, и мать очень боялась повто-

рений. Теперь, при неожиданном появлении виновного архивариуса, лицо, лоб, даже затылок у отца залило краской, палка у него в руке задрожала. Крыжановский, жалкий, как провинившаяся собака, подошел к судье и наклонился к его руке. Отец схватил нагнувшегося великана за волосы... Затем произошла странная сцена: судья своей слабой рукой таскал архивариуса за жесткий вихор, то наклоняя его голову, то подымая кверху. Крыжановский старался только облегчить ему эту работу, покорно водя голову за рукой. Когда голова наклонялась, архивариус целовал судью в живот, когда подымалась, он целовал в плечо и все время приговаривал голосом, в который старался вложить как можно больше убедительности:

— А! пан судья... А! ей-богу!.. Ну, стоит ли? Это может повредить вашему здоровью... Ну, будет уже, ну, довольно...

Из кухни прибежала мать и, успокаивая отца, постаралась освободить волосы Крыжановского из его руки. Когда это удалось, архивариус еще раз поцеловал отца в плечо и сказал:

— Ну, вот и все... И слава богу... пусть теперь пан судья успокоится. Стоит ли, ей-богу, принимать так близко к сердцу всякие там пустяки...

— Пошел вон!— сказал отец. Крыжановский поцеловал у матери руку, сказал «святая женщина» и радостно скрылся. Мы поняли как-то сразу, что все кончено и Крыжановский останется на службе. Действительно, на следующий день он опять как ни в чем не бывало работал в архиве. Огонек из решетчатого оконца светил на двор до поздней ночи.

Нравы в чиновничьей среде того времени были простые. Судейские с величайшим любопытством расспрашивали нас о подробностях этой сцены и хохотали. Не могу вспомнить, чтобы кто-нибудь считал при этом себя или Крыжановского профессионально оскорбленным. Мы тоже смеялись. Юность недостаточно чутка к скрытым драмам; однажды мы даже сочинили общими усилиями юмористическое стихотворение и подали его Крыжановскому в виде деловой бумаги. Начиналось оно словами:

Архивариус я, чиновник,
Видом, ростом молодец...

и заключало насмешливое изложение его служебных

неудач и горестей. Крыжановский начал читать, но затем нервно скомкал бумагу, сунул ее в карман и, посмотрев на нас своими тускло-унылыми глазами, сказал только:

— Учат вас... балбесы...

На следующий день Крыжановский исчез. Одни говорили, что видели его, оборванного и пьяного, где-то на ярмарке в Тульчине. Другие склонны были верить легенде о каком-то якобы полученном им наследстве, призвавшем его к новой жизни.

Вообще, ближайшее знакомство с «уездным судом» дало мне еще раз в усложненном виде то самое ощущение изнанки явлений, какое я испытал в раннем детстве при виде сломанного крыльца. В Житомире отец ежедневно уезжал «на службу», и эта «служба» представлялась нам всем чем-то важным, несколько таинственным, отчасти роковым (это было «царство закона») и возвышенным.

Здесь этот таинственный храм правосудия находился у нас во дворе... В его преддверии помещалась сторожка, где бравый николаевский унтер в неслужебное время чинил чиновничью обувь и, кажется, торговал водкой. Из сторожки так и садило особым жилым «духом».

Впрочем, этот жилой дух, острый, щекотавший в ноздрях и царапавший в горле, не выводился и в «канцеляриях». Некоторые писцы не имели квартир и неизменно проживали в суде. В черных шкапах, кроме бумаг, хранились засаленные манишки и жилеты, тарелки с обрезками колбасы и другие неофициальные предметы. Оклады чиновников, даже принимая во внимание дешевизну, были все-таки изумительные. Архивариус получал восемь рублей в месяц и считался счастливцем. Штатные писцы получали по три рубля, а вольнонаемные по «пяти злотых» (на польский счет злотый считался в пятнадцать копеек). Здесь, очевидно, коренилось то философское отношение, с каким отец глядел на мелкое взяточничество подчиненных: без «благодарности» обывателей они должны бы буквально умирать с голоду. Некоторые из судейской молодежи, кому не помогали родственники, ютились в подвалах старого замка или же устраивались «вечными дежурными» в суде. Таким вечным дежурным был, например, некий пан Ляцковский. Получал он всего-навсего три рубля, несколько зашибал и имел наклонность к ще-

гольству: носил грязные крахмальные манишки, а курчавые пепельные волосы густо смазывал помадой. За всеми этими потребностями денег на квартиру у него не оставалось. Таких бедняков было еще пять-шесть, и они за самую скромную плату дежурили за всех. По вечерам в опустевших канцеляриях уездного суда горел какой-нибудь сальный огарок, стояла посудинка водки, лежало на сахарной бумаге несколько огурцов и дежурные резались до глубокой ночи в карты... По утрам святилище правосудия имело вид далеко не официальный. На нескольких столах, без постелей, врастяжку храпели «дежурные», в брюках, грязных сорочках и желтых носках. Когда пан Ляцковский, кислый, невыспавшийся и похмельный, протирал глаза и поднимался со своего служебного ложа, то на обертке «дела», которое служило ему на эту ночь изголовьем, оставалось всегда явственное жирное пятно от помады. После «двадцатого числа» в суде по вечерам становилось несколько шумно. За картами у дежурных порой возникали даже драки. Если авторитет сторожа оказывался недостаточным, то на место являлся отец, в халате, туфлях и с палкой в руке. Чиновники разбегались, летом прыгая в окна: было известно, что, вспылив, судья легко пускал в ход палку...

Одну только комнату отец ограждал от вторжения всякой партикулярной распущенности. Это было присутствие с длинным столом, накрытым зеленым сукном с золотыми кистями и с зерцалом на столе. Никто из мелких канцеляристов туда не допускался, и ключ отец хранил у себя. Сам он всегда входил в это святилище с выражением торжественно-важным, как в церковь, и это давало тон остальным. За отцом, так же важно, в часы заседаний рассаживались подсудки, среди которых были и выборные представители сословий. Один из них был еврей Рабинович. В то время об «еврейском вопросе» еще не было слышно, но не было и нынешнего злого антисемитизма: закон считал справедливым, чтобы в суде, где разбираются и дела евреев, присутствовал также представитель еврейского населения. И когда Рабинович, типичный еврей, с необыкновенно черной бородой и курчавыми волосами, в мундире с шитьем и при шпаге, входил в «присутствие» — в нем нельзя было узнать Рабиновича-торговца, сидевшего в свободные часы в своей лавочке или за меняльным столиком.

Казалось, от «зерцала» на него в этой комнате падало тоже какое-то сияние.

«Зерцало» было как бы средоточием жизни всего этого промозглого здания, наполненного жалкими несчастливцами, вроде Крыжановского или Ляцковского. Когда нам в неприсутственные часы удавалось проникать в святилище уездного суда, то и мы с особой осторожностью проходили мимо зерцала. Оно казалось нам какой-то волшебной скинией. Слово, неосторожно сказанное «при зерцале», было уже не простое слово. Оно влекло за собой серьезные последствия.

Однажды, этой первой осенью после нашего приезда в город, пришло известие: едет губернатор с ревизией. В Житомире мы как-то мало слышали о губернаторе. Здесь он представлялся чем-то вроде кометы, двигающейся на трепетный мир. Забéгали квартальные, поднялась чистка улиц; на столбах водворяли давно побитые фонари, в суде мыли полы, подшивали и заканчивали наспех дела. Отец волновался. Дела у него были в образцовом порядке, но он чувствовал за собой две слабые стороны: жена у него была полька, и он был разбит параличом. Между тем губернию уже облетела фраза нового губернатора: «Я мастер здоровый, и мне нужны здоровые подмастерья...» В Дубно он уже уволил больного судью...

Приехал... Остановился у исправника... Был в полиции, в казначействе... Отец в новом мундире и с Владимиром в петлице уходит из дому в суд. Мать на дорогу крестит его крамольным польским крестом и посылает нас наблюдать, что будет. Наш наблюдательный пункт в бурьянах на огороде, против окон «присутствия». «Самого» еще нет, но два или три хлыщеватых чиновника уже роются в делах, которые им почтительно подает секретарь. Вечереет. В «присутствии» зажигают свечи — необыкновенно много свечей. Зерцало, начищенное мелом, изливает сияние. Торжественно и строго... У ворот слышно тарахтение коляски. Отец и подсудки поднимаются с мест. Помощник исправника сам отворяет настежь дверь присутствия, и в ней, точно осиянная и светящаяся, как само зерцало, является бравая генеральская фигура. За нею выхоленные лица «чиновников особых поручений», а за ними в пролет двери виднеется канцелярия, неузнаваемая, вся в свету и трепете. Мы стремглав бежим к матери.

— Ну что? — спрашивает она с тревогой.

— Вошел. Папе подал руку... Просил садиться.

Вздох облегчения.

— Ну, слава богу...— И мать набожно крестится...

— Слава богу,— повторяют за ней дамы, трепетной кучкой набившиеся в нашу квартиру.— Ох, что-то будет с нашими?..

Я не помню, чтобы после этой первой виденной мною «ревизии» в моем уме сколько-нибудь ясно шевелились критические вопросы: какова природа этой грозы? Почему молодые хлыщеватые щеголи из губернаторской свиты держатся так развязно, а мой отец, заслуженный и всеми уважаемый, стоит перед ними, точно ученик на экзамене? Почему этот важный генерал может беспричинно разрушить существование целой семьи и никто не спросит у него отчета, правильно ли это сделано? Таких вопросов не существовало для меня, как и для окружающих. Царь может все, генерал имеет силу у царя, хлыщи имеют силу у генерала. Значит, и они «могут все». Слава богу, что не все разрушили, не всех разогнали и кое-кого оставили в покое. Когда комета уносилась в пространство, а на месте подсчитывались результаты ее пролета, то оказывалось, по большей части, что удаления, переводы, смещения постигали неожиданно, бестолково и случайно, как вихрь случайно вырвет одно дерево и оставит другое. «Сила власти» иллюстрировалась каждый раз очень ярко, но сила чисто стихийная, от которой, по самой ее природе, никто и не ждал осмысленности и целесообразности. В одних семьях служили благодарственные молебны, в других плакали и строили догадки: кто донес, насплетничал, снаушничал. Сплетники и были виноваты. Они навлекли грозу...

Самая же гроза не была виновата. Ей так полагалось по законам природы. Бесправная и безответная среда только гнулась, как под налетом вихря...

XVIII

ЕЩЕ ОДНА ИЗНАНКА

Каникулы подходили к концу. Мне предстоял проверочный экзамен для поступления в «Ровенскую реальную гимназию».

Это было заведение особенного переходного типа, вскоре исчезнувшего. Реформа Д. А. Толстого, разделившая средние учебные заведения на классические

и реальные, еще не была закончена. В Житомире я начал изучать умеренную латынь только в третьем классе, но за мною она двигалась уже с первого. Ровенская гимназия, наоборот, превращалась в реальную. Латынь уходила класс за классом, и третий, в который мне предстояло поступить, шел уже по «реальной программе», без латыни, с преобладанием математики.

Только уже в Ровно из разговоров старших я понял, что доступ в университет мне закрыт и что отныне математика должна стать для меня основным предметом изучения.

Во время проверочного экзамена я блестяще выдержал по всем предметам, но измучил учителя алгебры поразительным невежеством. Инспектор, в недоумении качая головой, сказал отцу, ожидавшему в приемной:

— Мы его, пожалуй, примем. Но вам лучше бы пустить его «по классической».

Это, конечно, было совершенно верно, но не имело никакого практического смысла. Мой отец, как и другие чиновники, должен был учить детей там, где служил. Выходило, что выбор дальнейшего образования предопределялся не «умственными склонностями» детей, а случайностями служебных переводов наших отцов.

Уже вследствие этой наглядной несообразности реформа Д. А. Толстого была чрезвычайно непопулярна в средних кругах тогдашнего общества и, без всякого сомнения, сыграла значительную роль в оппозиционном настроении застигнутых ею молодых поколений...

Однажды, вскоре после моего экзамена, у отца собрались на карточный вечер сослуживцы и знакомые. Это было чуть ли не единственное удовольствие, которое отец позволял себе, и очень скоро у него подобралась компания партнеров. Тут был подсудок Кроль, серьезный немец с рыжеватыми баками, по странной случайности женатый на русской поповне; был толстый городничий Дембский, последний представитель этого звания, так как вскоре должность «городничих» была упразднена; доктор Погоновский, добродушный человек с пробритым подбородком и длинными баками (тогда это было распространенное украшение докторских лиц), пан Богацкий, «секретарь опеки», получавший восемнадцать рублей в месяц и державший дом на широкую ногу... Было еще несколько скромных обывательских фигур, серьезно предававшихся «преферансу» и нимало не склонных ни к политике, ни к оппозиции. Жены их

сидели с матерью в столовой и вели свои специально дамские беседы. Было сильно накурено и довольно скучно. За зелеными столами слышались обычные лаконические заявления:

— Пас...

— Покупаю...

— Семь треф...

— Надо было ходить с короля...

Во время перерыва, за чайным столом, уставленным закусками и водкой, зашел общий разговор, коснувшийся, между прочим, школьной реформы. Все единодушно осуждали ее с чисто практической точки зрения: чем виноваты дети, отцы которых волею начальства служат в Ровно? Путь в университет им закрыт, а университет тогда представлялся единственным настоящим высшим учебным заведением.

Кто-то задался вопросом: как могло «правительство» допустить такую явную несообразность?

Отец выписывал «Сын отечества» и теперь сообщил в кратких чертах историю реформы: большинством голосов в Государственном совете проект Толстого был отвергнут, но «царь согласился с меньшинством».

Последовало короткое молчание. Разговор как бы уткнулся в высокую преграду.

— И все это Катков,— сказал кто-то с легким вздохом.

— Конечно, он,— прибавил другой.

— Много этот человек сделал зла России...— вздохнул третий.

Отец не поддакивал осуждавшим реформу и не говорил своего обычного «толкуй больной с подлекарем». Он только сдержанно молчал.

Через некоторое время чаепитие кончилось, и партнеры перешли в гостиную, откуда опять послышалось:

— Пас!

— Покупаю.

— Семь треф!

— Надо было ходить в ренонс.

Я вышел из накуренных комнат на балкон. Ночь была ясная и светлая. Я смотрел на пруд, залитый лунным светом, и на старый дворец на острове. Потом сел в лодку и тихо отплыл от берега на середину пруда. Мне был виден наш дом, балкон, освещенные окна, за которыми играли в карты... Определенных мыслей не помню.

Из того, что я так запомнил именно этот «карточный вечер» среди многих других, я заключаю, что я вышел тогда из накуренной комнаты с чем-то новым, смутным, но способным к росту... На вопрос, когда-то поставленный, по словам отца, «философами», «можно ли думать без слов»,— я теперь ответил бы совершенно определенно: да, можно. Мысль, облеченная в точное понятие и слово, есть только надземная часть растения — стебель, листья, цветы... Но начало всего этого — под почвой: в невидимом зерне дремлют возможности стебля, цветка и листьев. Их еще нет, над ними еще колышутся другие листья и стебли, а между тем там уже все готово для нового растения.

Такие ростки я, должно быть, вынес в ту минуту из беззаботных, бесцельных и совершенно благонамеренных разговоров «старших» о непопулярной реформе. Перед моими глазами были лунный вечер, сонный пруд, старый замок и высокие тополи. В голове, может быть, копошились какие-нибудь пустые мыслишки насчет завтрашнего дня и начала уроков, но они не оставили никакого следа. А под ними прокладывали себе дорогу новые понятия о царе и верховной власти.

Есть на свете солнце, месяц, звезды, грозовые тучи, царь, закон... Все это есть, и все это действует так или иначе *не почему-нибудь,* а просто потому, что есть и что действует... Роптать на небесный гром — глупо и бесцельно. Так же глупо роптать на царя. Тут нет вопроса, «почему так, а не иначе»... Глупая козявка и уносящий ее водяной поток, «старая фигура» у дома Коляновских и разбившая ее громовая стрела, наконец неразумный больной и всезнающий, могущественный подлекарь... Все эти взаимные отношения есть не почему-нибудь, а просто *есть, были* и *будут* от века и до века...

Таково было устойчивое, цельное, простое мировоззрение моего отца, которое незаметно просочилось и в мою душу. По моему мнению, только такое мировоззрение есть истинная основа абсолютизма «волею божиею», и до тех пор, пока совсем еще неприкосновенно это воззрение, сильна абсолютная власть. До этого вечера я и был во власти такой цельности. Стихийность, незыблемость, недоступность для какой бы то ни было критики распространялась сверху, от царя, очень широко, вплоть до генерал-губернатора, даже, пожалуй, до

губернатора... Все это сияло, как фигура Черткова, на пороге объятого трепетом уездного присутствия, все это гремело, благодетельствовало или ввергало в отчаяние не почему-нибудь и не на каком-нибудь основании, а просто так... без причины, высшею, безотчетною волей, с которой *нельзя* спорить, о которой не приходится даже и рассуждать.

Теперь невинный разговор старших шевельнул что-то в этой цельности: моя личная судьба определена заранее — университет для меня и тысячей моих сверстников закрыт. Это я чувствую *как зло,* и все признают это злом. Это бы еще ничего. Но... этого *могло не быть.* Какое-то большинство в каком-то Государственном совете этот проект осудило. Царь *мог* согласиться с большинством... тогда было бы хорошо. Но он почему-то согласился с меньшинством... Вышла всеми признаваемая несообразность, которой *могло не быть...* И случилось это не просто потому, что гром есть гром, а царь есть царь... Нет — «все это наделал» в числе другого зла какой-то неведомый Катков. Предо мной вскрывалась изнанка крупного жизненного явления. Дом казался цельным и вечным. Пришли какие-то люди, сняли одно крыльцо, приставили другое и при этом обнажили старые столбы, заплесневелые и подгнившие. И вышло, что дом не вечен, а *сделан,* как многое другое. Теперь из-за цельного представления о власти «земного бога» выглянул простой Катков, которого уже можно судить и осуждать...

Должно быть, это смутное ощущение новой «изнанки» сделало для меня и этот разговор, и этот осенний вечер с луной над гладью пруда такими памятными и значительными, хотя «мыслей словами» я вспомнить не могу.

И даже более: довольно долго после этого самая идея власти, стихийной и не подлежащей критике, продолжала стоять в моем уме, чуть тронутая где-то в глубине сознания, как личинка трогает под землей корень еще живого растения. Но с этого вечера у меня уже были предметы первой «политической» антипатии. Это был министр Толстой и, главное, Катков, из-за которых мне стал недоступен университет и предстоит изучать ненавистную математику...

XIX

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ НОВОЙ ГИМНАЗИИ

Я был все-таки принят. Вскоре после экзаменов, в ясное утро воскресенья, я от нечего делать пошел на польское кладбище на «Волю». Это было предместье, где город незаметно уступал место деревне. Маленький уютный костел стоял в соседстве соломенных хат, посреди могил и крестов. Было что-то особенно приветливое в этом беленьком храме с его небольшими звонкими колоколами и звуками органа, вырывавшимися из-за цветных стекол и носившимися над могилами. Когда орган стихал, слышался тихий шелест березок и шепот молящихся, которые не умещались в «каплице» и стояли на коленях у входа.

Я долго бродил среди памятников, как вдруг в одном месте, густо заросшем травой и кустарником, мне бросилось в глаза странное синее пятно. Подойдя ближе, я увидел маленького человечка в синем мундире с медными пуговицами. Лежа на могильном камне, он что-то тщательно скоблил на нем ножиком и был так углублен в это занятие, что не заметил моего прихода. Однако, когда я сообразил, что мне лучше ретироваться, он быстро поднялся, отряхнул запачканный мундир и увидел меня.

— Кто такой?— спросил он несколько скрипучим высоким тенором.— А, новый? Как фамилия? Сма-а-атри ты у меня!

И, погрозив за что-то пальцем, он пошел прочь смешной ковыляющей походкой. Маленькая фигурка скоро исчезла за зеленью могил.

И как только он скрылся, из-за ближайшего склепа выбежали три гимназиста.

— Что он тебе говорил?— спросил один из них, Кроль, с которым я уже был знаком. Двое других тотчас же кинулись к плите и, в свою очередь, принялись что-то скоблить на камне. Когда они кончили и встали с довольным видом, я с любопытством посмотрел на их работу. На плите после традиционных трех букв D. O. M.[1] стояло уменьшительное имя с фамилией (вроде Ясь Янкевич), затем год рождения и смерти. Вверху, выцарапанные в глубокой борозде гвоздями и ножика-

[1] Deo Optimo Maximo — во славу величайшего и высшего бога (*лат.*).— *Ред.*

ми, виднелись два польских слова: ofiara srogości (жертва строгости).

Мои новые товарищи рассказали мне историю этой надписи.

Это было несколько лет назад. Ученика младших классов Янкевича «преследовало» гимназическое начальство, и однажды его оставили в карцере «за невнимание на уроке». Мальчик говорил, что он болен, отпрашивался домой, но ему не поверили.

Карцер помещался во втором этаже, в самом отдаленном углу здания. К нему вел отдельный небольшой коридорчик, дверь которого запиралась еще особо.

Впоследствии мне пришлось свести знакомство с этим помещением, и каждый раз, как сторож, побрякав ключами, удалялся и его шаги замирали в гулком длинном коридоре, я вспоминал Янкевича и представлял себе, как ему, вероятно, было страшно, больному, в этом одиночестве. Вот стукнула далеко внизу выходная дверь на блоке, по коридорам пробежали, толкаясь в углах, тревожные и чуткие отголоски. Все замерло. За маленьким высоким оконцем шумят каштаны густого сада, в сырых, холодных углах таится и густеет мгла ранних сумерек...

Когда сторож пришел вечером, чтобы освободить заключенного, он нашел его в беспамятстве, свернувшегося комочком у самой двери. Сторож поднял тревогу, привел гимназическое начальство, мальчика свезли на квартиру, вызвали мать... Но Янкевич никого не узнавал, метался в бреду, пугался, кричал, прятался от кого-то и умер, не приходя в сознание...

Теперь в гимназии не было уже ни виновников этой смерти, ни товарищей жертвы. Но гимназическая легенда переходила от поколения к поколению, и ученики считали своею обязанностью подновлять надпись на могильном камне. Это было тем интереснее, что надзиратель Дитяткевич, в просторечии называвшийся Дидонусом, считал своею обязанностью от времени до времени выскабливать крамольные слова. Таким образом, борозда утопала все глубже, но надпись все оживала, сохраняя память о чьей-то начальственной «строгости» и об ее «жертве»...

Таково было первое впечатление, каким встречала меня «Ровенская реальная гимназия»...

XX
ЖЕЛТО-КРАСНЫЙ ПОПУГАЙ

И теперь еще, хотя целые десятилетия отделяют меня от того времени,— я по временам вижу себя во сне гимназистом ровенской гимназии... Особенным звуком звенит в моих ушах частый колокол, и я знаю: это старик сторож из кантонистов подошел к углу гимназического здания, где на двух высоких столбах укреплен качающийся колокол, и дергает за длинную веревку. Звон, настойчивый, торопливый, как будто захлебывающийся, перелетает через гладь прудов, забирается в ученические квартиры. Частый топот ног по деревянным мосткам, визг и стук калитки на блоке с несколькими камнями... Топот усиливается, как прилив, потом становится реже, проходит огромный инспектор, Степан Яковлевич Рущевич, на дворе все стихает, только я все еще бегу по двору или вхожу в опустевшие коридоры с неприятным сознанием, что я уже опоздал и что Степан Яковлевич смотрит на меня тяжелым взглядом с высоты своего огромного роста.

Порой снится мне также, что я сижу на скамье и жду экзамена или вызова к доске для ответа. При этом меня томит привычное сознание какой-то неготовности и риска...

Так прочны эти впечатления. И не мудрено. В ровенской гимназии я пробыл пять лет и два года в житомирской. Считая в году по двести пятьдесят дней, проведенных в классах или церкви, и по четыре-пять учебных часов ежедневно,— это составит около восьми тысяч часов, в течение которых вместе со мною сотни молодых голов и юных душ находились в непосредственной власти десятков педагогов. Затихшее здание гимназии в эти часы представляется мне теперь чем-то вроде огромного резонатора, в котором педагогический хор настраивает на известный лад умы и души сотен будущих людей. И мне хочется, хотя бы в самых общих чертах, определить теперь основные ноты, преобладавшие в этом хоре.

Еще в Житомире, когда я был во втором классе, был у нас учитель рисования, старый поляк Собкевич. Говорил он всегда по-польски или по-украински, фанатически любил свой предмет и считал его первой основой образования. Однажды, рассердившись за что-то на весь класс, он схватил с кафедры свой портфель, поднял его

высоко над головой и изо всей силы швырнул на пол. С сверкающими глазами, с гривой седых волос над головой, весь охваченный гневом, он был похож на Моисея, разбивающего скрижали.

— Ио́лопы! Бараны! Ослы! — кричал он по-польски. — Что значат все ваши граматы́ки и арытметы́ки, если вы не понимаете красоты человеческого глаза!..

Может быть, это было грубо и смешно, но мы не смеялись. От могучей фигуры старого художника над толпой неосмысленных малышей пронеслось, как вихрь, одушевление фанатической веры в свой предмет, в высшее значение искусства... Когда он подходил к рисующему ученику и, водя большим пальцем над бумагой, говорил: «Ага! Вот так... Чувствуешь, малый? Оно вот тут округляется. Вот-вот... Теперь сильнее, гуще!.. Ага! Видишь: засветилось, глядит!..» — то казалось, что под этими его жестами на самой бумаге начинают роиться живые формы, которые стоит только схватить...

Другая фигура, тоже еще в Житомире. Это священник Овсянкин... Он весь белый, как молоко, с прекрасными синими глазами. В этих глазах постоянно светилось выражение какого-то доброго беспокойства. И когда порой, во время ответа, он так глядел в мои глаза, то мне казалось, что он чего-то ищет во мне с ласковой тревогой, чего-то нужного и важного для меня и для него самого.

Однажды он задумал устроить для своих учеников говение особо от остальных молящихся.

Для этого он наскоро сладил ученический хор под руководством двух учеников из поповичей и сам служил для нас после общей службы. Нам это нравилось. Церковь была в нашем нераздельном владении, в ней было как-то особенно уютно, хорошо и тихо. Ни надзирателей, ни надзора не было.

Но... попав в эту обстановку после годичной муштровки — ученики распустились. Всех охватила какая-то резвость, особенно во время спевок, на которых не бывало и священника. После одной такой спевки настроение перелилось через край, и за вечерней хор пропел «отцу и сыну и святому духу» с кощунственным изменением («брюху»). В сущности, настоящего, сознательного кощунства тут не было, а была только инерция резвости. Мальчишки шутили скорее над добрым священником, чем над представлением о боге. По окончании службы причетник сказал, что батюшка просит

всех остаться. Мы сгрудились около левого клироса. В слабо освещенной старой церкви стало как-то торжественно-тихо и печально. Через минуту Овсянкин вышел из алтаря серьезный и как бы виновный. Подойдя к нам, он начал говорить:

— Дети... дети мои...

Но продолжать не мог. Белое лицо его как-то жалко дрогнуло, глаза затуманились, и по щекам потекли крупные слезы.

Эта глубокая печаль потрясла нас гораздо сильнее, чем могла бы потрясти самая красноречивая проповедь. Певчие, пристыженные и растроганные, первые кинулись к нему, целовали его руки, ловили края широких рукавов. За ними старика обступили остальные, неповинные в кощунстве; все мы каялись в том, что и нам показалось это смешно и весело. Старик клал руки на наши коротко остриженные волосы, и лицо его постепенно светлело... Говение окончилось под впечатлением этой сцены, и никогда впоследствии покаянная молитва Ефрема Сирина не производила на меня такого действия, как в эти дни, когда ее произносил для нас Овсянкин в убогом старом храме, под низким потолком которого лилось пение растроганного, кающегося молодого хора...

Наконец в Ровно я застал уже только рассказы об одном учителе физики. Должно быть, фигура была тоже яркая в своем роде, так как рассказы о нем переходили из поколения в поколение. Он был «натурфилософ» и материалист. По его мнению, физические законы объясняли все или должны были все объяснить. Опыты он проделывал с таким увлечением, как будто каждый из них был откровением, подымающим завесу мировой тайны, а в учительской он вел страстную полемику с священником, противопоставляя геологические периоды шести дням творения...

Художника Собкевича у нас убрали в конце первого же года моего пребывания в житомирской гимназии: началось «обрусение», а он не мог приучиться говорить в классе только по-русски. Как ни старался бедный старик — на русском языке у него ничего «не скруглялось» и «не светилось». Да и вообще вся его оригинальная фигура плохо укладывалась в казенные рамки. Овсянкина тоже скоро сменил законоучитель Сольский, сухой и строгий... Наконец ровенского «натурфилософа» удалили по доносу его полемиста-священника, ко-

торый этим способом восстановил авторитет «Книги бытия».

Как ни различны эти фигуры — они встают в моей памяти, объединенные общей чертой: верой в свое дело. Догматы были различны: Собкевич, вероятно, отрицал и физику наравне с грамматикой перед красотой человеческого глаза. Овсянкин был одинаково равнодушен к красоте человеческих форм, как и к красоте точного познания, а физик готов был, наверное, поспорить и с Овсянкиным о шестодневии. Содержание веры было различно, психология одна.

Теперь — яркая фигура уже другого рода.

Это учитель немецкого языка, мой дальний родственник, Игнатий Францевич Лотоцкий. Я еще не поступал и в пансион, когда он приехал в Житомир из Галиции. У него был диплом одного из заграничных университетов, дававший тогда право преподавания в наших гимназиях. Кто-то у Рыхлинских посмеялся в его присутствии над заграничными дипломами. Лотоцкий встал, куда-то вышел из комнаты, вернулся с дипломом и изорвал его в клочки. Затем уехал в Киев и там выдержал новый экзамен при университете.

После этого он получил место преподавателя в житомирской гимназии и женился на одной из моих теток. Ее считали счастливицей. Но через некоторое время мы, дети, стали замечать, что наша жизнерадостная тетка часто приходит с заплаканными глазами, запирается с моей матерью в комнате, что-то ей рассказывает и плачет. Если иной раз, придя к ней в гости, нам случалось разыграться — дверь кабинета слегка приотворялась, и в щелке появлялось чисто выбритое лицо с выпуклыми блестящими глазами. Этого было достаточно: мы тотчас смолкали и рассаживались по углам, а тетка бледнела и тряслась... Если не ошибаюсь, тогда я впервые запомнил слово «тиран».

Все, однако, признавали его образцовым учителем и пророчили блестящую учебно-административную карьеру. Это был типичный «братушка», какие через несколько лет при Толстом заполонили наше просветительное ведомство с тем, однако, преимуществом, что Лотоцкий превосходно говорил по-русски.

Одетый всегда с иголочки, тщательно выбритый, без пылинки на блестящем мундире, он являлся на урок минута в минуту и размеренным шагом всходил на кафедру. Здесь он останавливался и окидывал класс

блестящими, выпуклыми, живыми глазами. Под этим взглядом все замирало. Казалось, большей власти учителя над классом трудно представить. Это был идеал «дисциплины» в общеупотребительном смысле этого слова. Его боялись, уроки ему готовили лучше, чем другим, в совете его голос обладал большим весом. Взгляд всякого «ревизора» с удовольствием останавливался на образцово-чиновничьей фигуре с определенно точными и авторитетными приемами...

Однако... ученики давно уже подметили слабые стороны образцового педагога и ни на кого не рисовали столько и притом таких удачных карикатур. Было известно, что за шесть или семь лет учительства он не пропустил ни одного урока. По коридорам шагал всегда одной и той же походкой, по-журавлиному, крупными шагами, держа туловище необыкновенно прямо. От двери класса до кафедры всегда делал определенное количество шагов. С некоторых пор стали замечать, что, если ему случалось стать на порог не той ногой, он делал движение назад и поправлялся, как солдат, «потерявший ногу». На кафедре останавливался всегда в одной позе.

Если в это время кто-нибудь делал резкое движение или заговаривал с соседом — Лотоцкий протягивал руку и, странно сводя два пальца, указательный и мизинец, показывал ими в угол, произнося фамилию виновного быстро, с выкриком на последнем слоге, и пропуская почти все гласные:

— Кр-ч-н-кó... Вршв...ский... Абрм-вич...

Это значило, что Абрамович, Кириченко, Варшавский должны отправиться в угол... В классе водворялась тишина, абсолютная, томительная, жуткая... В нее отчетливо, резко падали только отрывистые, быстрые вопросы учителя и торопливые ответы учеников...

Одним словом, это было нечто вроде каторги образцового педагогического порядка!..

Но и на каторге люди делают подкопы и бреши. Оказалось, что в этой идеальной, замкнутой и запечатанной власти моего строгого дядюшки над классом есть значительные прорехи. Так, вскоре после моего поступления, во время переклички оказалось, что ученик Кириченко не явился. Когда Лотоцкий произнес его фамилию, сосед Кириченко по парте поднялся, странно вытянулся, застыл и отрубил, явно передразнивая манеру учителя:

— Кр-чн-ко́о... не явил-ся-я́.

Обезьянничание было до такой степени явно и дерзко, что я со страхом и удивлением взглянул на Лотоцкого. Он ничего не заметил и продолжал отчеканивать фамилию за фамилией. Среди тишины звучал его металлический голос, и падали короткие ответы: «есть... есть... есть...» Только в глазах учеников искрилась усмешка.

В другой раз Лотоцкий принялся объяснять склонение прилагательных, и тотчас же по классу пробежала чуть заметно какая-то искра. Мой сосед толкнул меня локтем. «Сейчас будет „попугай"»,— прошептал он чуть слышно. Блестящие глаза Лотоцкого сверкнули по всему классу, но на скамьях опять ни звука, ни движения.

— Der gelb-rote Papa-gei,— сказал Лотоцкий врастяжку.— Итак! Имени-тельный! Der gelb-rote Papa-gei... Родительный... Des gelb-roten Pà-pa-ga-a-èis...

В голосе Лотоцкого появились какие-то особенные прыгающие нотки. Он начинал скандовать, видимо наслаждаясь певучестью ритма. При дательном падеже к голосу учителя тихо, вкрадчиво, одобрительно присоединилось певучее рокотание всего класса:

— Dem... gelb... ro... ten... Pà-pa-gà-a-èi...

В лице Лотоцкого появилось выражение, напоминающее кота, когда у него щекочут за ухом. Голова его закидывалась назад, большой нос нацелился в потолок, а тонкий широкий рот раскрывался, как у сладостно квакающей лягушки.

Множественное число проходило уже среди скандующего грома. Это была настоящая оргия скандовки. Несколько десятков голосов разрубали желто-красного попугая на части, кидали его в воздух, растягивали, качали, подымали на самые высокие ноты и опускали на самые низкие... Голоса Лотоцкого давно уже не было слышно, голова его запрокинулась на спинку учительского кресла, и только белая рука с ослепительной манжеткой отбивала в воздухе такт карандашом, который он держал в двух пальцах... Класс бесновался, ученики передразнивали учителя, как и он, запрокидывали головы, кривляясь, раскачиваясь, гримасничая. Два или три отчаянных шалуна вскочили даже на парты.

И вдруг...

Едва, как отрезанный, затих последний слог последнего падежа — в классе, точно по волшебству, новая

перемена. На кафедре опять сидит учитель, вытянутый, строгий, чуткий, и его блестящие глаза, как молнии, пробегают вдоль скамей. Ученики окаменели. И только я, застигнутый врасплох, смотрю на все с разинутым ртом... Крыштанович толкнул меня локтем, но было уже поздно: Лотоцкий с резкой отчетливостью назвал мою фамилию и жестом двух пальцев указал в угол.

И опять несколько уроков проходило среди остолбенелого «порядка», пока Лотоцкий не натыкался на желто-красного попугая или иное гипнотизирующее слово. Ученики по какому-то инстинкту выработали целую систему, незаметно загонявшую учителя к таким словам. Это была как бы борьба двух гипнозов, и победа в этой борьбе склонялась на сторону массы. Лотоцкий по временам, кажется, чувствовал что-то неладное, и его глаза перед скандовкой и после нее обегали скамьи с подозрительной тревогой. Но чуткая тишина усыпляла его подозрения, а затем хор и начинался и вырастал так вкрадчиво, так постепенно и незаметно...

За стеклянной дверью порой мелькали в коридоре изумленные лица надзирателей или инспектора, привлеченных странными выкрикиваниями желто-красного попугая... Но когда Лотоцкий проходил из класса в учительскую — сдержанный, холодный, неприступный и сознающий свою образцовость,— никто не решался заговорить с ним о том, что его класс напоминает порой дом сумасшедших.

Однажды жена его пришла к моей матери, экстренно испуганная, и сказала, что «у Игнатия вышли неприятности в гимназии». Это, вероятно, инспектор решился наконец «обратить внимание господина учителя»... Лотоцкий вспылил, как в том случае, когда посмеялись над его аттестатом, и вскоре перевелся в Чернигов... Оказалось, однако, что желто-красный попугай последовал за ним. Общим инстинктом молодежь и тут схватила черты рокового автоматизма. На гипноз дисциплины она отвечала встречными внушениями. Шаблон все сильнее захватывал моего дядюшку. Походка его становилась все деревяннее, объяснения отливались в застывшие формы, в которых ученики знали вперед не только фразы, слова, но и ударения. Его передразнивали с дерзко-почтительным видом, а попугай гремел все громче и чаще.

В конце концов роковая птица уничтожила блестяще начатую карьеру. Лотоцкий переводился из гимназии в гимназию и бросил службу года за четыре до пенсии...

Конечно, у Лотоцкого были, по-видимому, некоторые прирожденные странности, которые шли навстречу влиянию отупляющей рутины. На других это сказывалось не так полно и не так ярко, но все же когда теперь в моей памяти встает бесконечная вереница часов, проведенных в стенах гимназии, то мне кажется, что напряженная тишина этих часов то и дело оглашается маниаческими выкрикиваниями желто-красного попугая...

Вот класс француза Лемпи. Швейцарец родом, он как-то попал в Ровно и здесь учительствует лет сорок. Семьи у него нет. Весь его мир — класс, инспекторская комната и квартира в нескольких шагах от гимназии. Сорок лет в определенные часы он проходит автоматической походкой эти несколько саженей в гимназию и обратно. Увидеть мосье Лемпи вне этого пространства — большая редкость. По-русски он говорит плохо. Его объяснения — это несколько стереотипных формул, запоминаемых ради курьеза. Он сохранил еще достаточно внимания и настойчивости, и потому класс грамматики, которую он отделил от переводов,— истинное мучение...

Сквозь автоматическую оболочку порой, однако, прорывается что-то из другой жизни. Он любит рассказывать о прошлом. В каждом классе есть особый мастер, умеющий заводить Лемпи, как часовщик заводит часы. Стоит тронуть какую-то пружину — старик откладывает скучный журнал, маленькие глазки загораются маслянистым мерцанием, и начинаются бесконечные рассказы...

Это нечто смутно легендарное, фантастическое. Он родился в Швейцарии... Учился у великого Песталоцци. Песталоцци был гениальнейший педагог... Лемпи был пушкарем школьного отряда...

Рассказывает он все это детски умиленным голосом, сюсюкая, прижмурив глаза, поднимая кверху ладони с несгибающимися пальцами. Ученики, знающие всю эту историю (порой по рассказам своих отцов), предаются посторонним занятиям, зубрят следующие уроки, играют в пуговицы и перья. А бедный швейцарец говорит и говорит. Он знал великого Наполеона. В какую-то трудную минуту его жизни он оказал ему услугу в ка-

честве проводника через Альпы. Они подымались по отвесным скалам, смазав руки липкой смолой. Великий Наполеон потрепал его по плечу и сказал: «Mon brave petit Lumpi», что значит: «Ты, Лемпушка, есть молодец»... Если тема начинала истощаться, заводчик напоминал об африканской пустыне. Лемпи покорно отправлялся в африканскую пустыню, путешествовал по знойным пескам, видел, как боа-констриктор глотал молодого быка. Рога злополучного четвероногого торчали сквозь кожу «этого монстра», обтянутые, как пальцы в перчатках. И так они продвигались на глазах у наблюдателя от змеиной шеи к желудку.

Благодетельный звонок прерывал нескончаемое путешествие, и грамматика оставалась неспрошенной. Но иногда заводчик не успевал подать реплику... Фантазия Лемпи угасала... Он тяжело вздыхал, рука тянулась к журналу, и в оставшиеся пять или десять минут он успевал поставить несколько двоек. Первым страдал «заводчик».

Учитель русского и славянского языка, Егоров, был еще толще Лемпи. Только швейцарец напоминал цилиндр, Егоров — шар. Голова у него была не по росту мала, глаза — заплывшие щелочки, нос — незаметная пуговка, голос — тонкая фистула. Отвечать ему нужно было быстро, монотонно и без запинок. Раз начав таким тоном, можно было далее врать сколько угодно. Егоров сидел, закрыв глаза, точно убаюканный, с короткими ногами на весу, круглый, похожий на китайского божка. Но стоило ученику запнуться или изменить тон — глаза Егорова открывались, голова откидывалась назад, и он произносил обиженной скороговоркой:

— Балл дам! Балл дам! Балл дам!

За третьим выкриком следовало быстрое движение руки, и в журнал влетала характерная егоровская двойка в виде вопросительного знака.

— Балл уже дан! Садись!

Начиная объяснение задаваемого урока, Егоров подходил к первой парте и упирался в нее животом. На этот предмет ученики смазывали первую парту мелом. Дитяткевич в коридоре услужливо стирал белую полосу на животе Егорова, но тот запасался ею опять на ближайшем уроке.

Географ Самаревич больше всех походил на Лотоцкого, только в нем не было ни великолепия, ни уверенности. Тонкий, высокий, сухой, желтый, он говорил все-

гда врастяжку, звенящим, не то жалобным, не то угрожающим голосом. По коридорам, как и Лотоцкий, ходил журавлиным шагом, как будто переступая через лужи. За металлические дверные ручки брался не иначе как сдвинув рукав и покрыв сукном ладонь. Взойдя на кафедру, останавливался, как Лотоцкий, всегда в одной позе, держась рукой за клок волос, по странной игре природы торчавший у самого горла (борода и усы у него не росли). Класс стихал. Становилось жутко. Тонкая длинная шея Самаревича, с большим кадыком, змееобразно двигалась в широком воротнике, а сухие, желчные глаза обегали учеников справа налево. В выражении глаз и лица чувствовалась беспредметная злоба и страдание. В эту жуткую минуту по классу, следуя за колющим взглядом Самаревича, пробегала полоса мертвящего оцепенения... Стоило двинуться, повернуться, шевельнуть ногой — как тотчас же раздавался зловеще певучий голос:

— Дежурный! Отведи его в темный карцер.

«Темного» карцера не было, никто нас туда не отводил, и мы проводили время просто где-нибудь в пустом классе. Это было очень удобно, особенно для невыучивших уроки, но пользовались этим редко: так жутко было ощущение этой минуты... Того же результата, впрочем, можно было добиться иначе: стоило раскрыть ножик и начать чистить ногти. Самаревич принимался, как тощий ветряк на порывистом ветре, махать руками, называл ученика негодяем и высылал из класса.

Уроки у него выучивали. Не потому, что знать их было интересно, а потому, что не ответить было жутко. И значит, как учитель, он был на хорошем счету. Никому, разумеется, не приходило в голову, чем, в сущности, заменял он для нас познание божьего мира. Однажды, перед экзаменом по географии, мне приснился странный, теперь сказали бы «символический», сон. На каком-то огромном полу лежала бесконечная географическая карта с раскрашенными площадками, с извилистыми чертами рек, с черными кружками городов. Я глядел на нее и не мог вспомнить ни названий, ни того, какой из этих кружков знаменит лесной торговлей, а какой торгует шерстью и салом. А в середине карты — в каком-то туманном клубке, виднелась голова на тонкой извивающейся шее, и колющие глаза остро глядели на меня в ожидании ответа... Безграничные океаны с их грозами, простор и красота мира, кипучая

и разнообразная деятельность людей — все это подменилось представлением о листе бумаги с пятнами, чертами и кружками...

Было в этой сухой фигуре что-то зловещее и трагическое. Кончил он ужасно. Из нашей гимназии он был переведен в другой город, и здесь его жена — добродушная женщина, которую роковая судьба связала с маниаком,— взяла разрешение держать ученическую квартиру. Предполагалось, что это будет ее особое дело, но Самаревич скоро простер на него мертвящую власть кошмара. Рассказывали, что каждый вечер перед сном, во главе домочадцев, он обходил всю квартиру, заглядывал во все углы, под столы и под диваны. После этого квартира запиралась, и ключ Самаревич уносил к себе под подушку.

Однажды — это было уже в восьмидесятых годах — ночью в эту запертую крепость постучали. Вооружив домочадцев метлами и кочергами, Самаревич подошел к дверям. Снаружи продолжался стук, как оказалось... «именем закона». Когда дверь была отворена, в нее вошли жандармы и полиция. У одного из учеников произвели обыск, и ученика арестовали.

Это совершенно ошеломило Самаревича. Несколько дней он ходил с остолбенелым взглядом, а в одно утро его застали мертвым. Оказалось, что он перерезал себе горло. Жандармы показались ему страшнее бритвы...

Учитель немецкого языка, Кранц... Подвижной человек, небольшого роста, с голым лицом, лишенным растительности, сухой, точно сказочный лемур, состоящий из одних костей и сухожилий. Казалось, этот человек сознательно стремился сначала сделать свой предмет совершенно бессмысленным, а затем все-таки добиться, чтобы ученики его одолели. Всю грамматику он ухитрился превратить в изучение окончаний.

— Лео́нтович,— вызывает он, нарочно коверкая фамилию и переставляя ударение.— Склоняй: der Mensch [1].

Леонто́вич встает и склоняет, произнося не слова, а только окончания: именительный: *с, ц, аш,* родительный: *э, эс,* дательный: *э, м,* винительный: *э, н*... Множественное число: *э, н*... и так далее.

Если ученик ошибался, Кранц тотчас же принимался передразнивать его, долго кривляясь и коверкая сло-

[1] Человек *(нем.).— Ред.*

ва на все лады. Предлоги он спрашивал жестами: ткнет пальцем вниз и вытянет губы хоботом — надо отвечать: *unten;* подымет палец кверху и сделает гримасу, как будто его глаза с желтыми белками следят за полетом птицы,— *oben.* Быстро подбежит к стене и шлепнет по ней ладонью — *an*...

— Такой-то... Пусть там себе *ат* или *ят?* Пусть бы там себе *али* или *ели?*

Ученик, по возможности быстро, должен ответить такой же тарабарщиной.

Язык Шиллера и Гете он превращал в бестолковую смесь ничего не означающих звуков и кривляний... Шутовство это было вдобавок сухое и злобное. Ощущение было такое, как будто перед несколькими десятками детей кривляется подвижная, злая и опасная обезьяна. Может быть, для стороннего зрителя ее движения и прыжки могли бы показаться забавными. Но ученики чувствовали, что у этого прыгающего, взвизгивающего, жестикулирующего существа очень острые когти и власть... до звонка. Звонок являлся настоящим криком петуха, прогонявшим кошмарное видение...

В каждом классе у Кранца были избранники, которых он мучил особенно охотно... В первом классе таким мучеником был Колубовский, маленький карапуз, с большой головой и толстыми щеками... Входя в класс, Кранц обыкновенно корчил гримасу и начинал брезгливо водить носом. Все знали, что это значит, а Колубовский бледнел. В течение урока эти гримасы становились все чаще, и наконец Кранц обращался к классу:

— Чем это тут пахнет, а? Кто знает, как сказать по-немецки «пахнет»? Колубовский! Ты знаешь, как по-немецки «пахнет»? А как по-немецки: «портить воздух»? А как сказать: «ленивый ученик»? А как сказать: «ленивый ученик испортил воздух в классе»? А как по-немецки «пробка»? А как сказать: «мы заткнем ленивого ученика пробкой»?.. Колубовский, ты понял? Колубовский, иди сюда, komm her, mein lieber Kolubowski. Ну-у!..

С шутовскими жестами он вынимал из кармана пробку. Бедный карапуз бледнел, не зная, идти ли на вызов учителя или бежать от злого шута. В первый раз, когда Кранц проделал это представление, малыши невольно хохотали. Но когда это повторилось — в классе стояло угрюмое молчание. Наконец однажды Колубовский выскочил из класса почти в истерике и побежал в учи-

тельскую комнату... Но здесь вместо связного рассказа выкрикивал одни только ругательства: «Кранц подлец, дурак, сволочь, мерзавец...» Инспектор и учителя были очень удивлены этой вспышкой маленького клопа. Когда дело разъяснилось из рассказов старших учеников учителям — совет поставил Кранцу на вид неуместность его шутовских водевилей.

Первое время после этого Кранц приходил в первый класс, желтый от злости, и старался не смотреть на Колубовского, не заговаривал с ним и не спрашивал уроков. Однако выдержал недолго: шутовская мания брала свое, и, не смея возобновить представление в полном виде, Кранц все-таки водил носом по воздуху, гримасничал и, вызвав Колубовского, показывал ему из-за кафедры пробку.

Радомирецкий... Добродушный старик, плохо выбритый, с птичьим горбатым носом, вечно кричащий. Средними нотами своего голоса он, кажется, никогда не пользовался, и все же его совсем не боялись. Преподавал он в высших классах год от году упраздняемую латынь, а в низших — русскую и славянскую грамматику. Казалось, что у этого человека половина внимания утратилась, и он не замечал уже многого, происходящего на его глазах... Точно у него, как у щедринского прокурора, одно око было дреманое.

— Погоновский! — выкрикивает он сердито, приступая к уроку. Класс сговорился сегодня не отвечать. Погоновский встает и говорит деловитым тоном:

— Я, господин учитель, сегодня урока не готовил.

— Столб еси, и столб получаешь. И стой столбом до конца класса!..— грозно изрекает Радомирецкий. В журнал влетает единица. Ученик становится у стены, вытянув руки и по возможности уподобляясь столбу.

— Павловский.

— Я, господин учитель, сегодня не готовил.

— Стой столбом до конца класса. И тебе единица, азинус [1].

Азинус идет к той же стенке, плечом подвигает Погоновского дальше и вытягивается на его месте. Третий отодвигает обоих, и, таким образом, ряд «столбов» выстраивается вдоль всей стены до самых дверей. На опустевших скамьях остается десяток неспрошенных учеников, с которыми старик продолжает занятия, со-

---

[1] Осел *(лат.)*.— *Ред.*

вершенно забыв об остальных. Между тем первый «столб» тихонько открывает дверь и выскальзывает в коридор. За ним другой, третий... Через несколько минут все уже на воле и вместо скучного урока с увлечением играют в мяч в укромном уголке сада. Польская капличка скрывает их от окон гимназического здания. Впрочем, Дитяткевич, отлично знающий эту особенность уроков Радомирецкого, порой отправляется в экспедицию и берет в плен беглецов. Тогда дверь класса отворяется, и «столбы», подгоняемые колченогим надзирателем, сконфуженно устанавливаются опять вдоль стен. Радомирецкий, подняв на лоб большие роговые очки, с удивлением смотрит на непонятное явление...

К этой коллекции я не без колебания решаюсь присоединить еще одну фигуру. Это Митрофан Александрович Андриевский, словесник. По душевному содержанию он скорее подходил бы к типу, отмеченному в начале этого очерка. В его душе теплилось свое увлечение, я сказал бы — своя вера. Все свое свободное время, все мысли и чувства он отдавал нескончаемой диссертации на тему «Слово о полку Игореве». С вечной заботой о загадочных выражениях «Слова» он ходил по улицам сонного городка, не замечая ничего окружающего и забывая порой о цели своего выхода из дому. Если калоша увязла в грязи, он шел дальше без калоши. Однажды, на моих глазах, ветер, раздувая концы его башлыка, занес один из них в щель частокола. Бедный словесник, задержанный неожиданно в своем задумчивом шествии, остановился, постоял, попробовал двинуться дальше, но, видя, что препятствие не уступает,— спокойно размотал башлык с шеи, оставил его на заборе и с облегчением продолжал путь.

Ученики его любили с какой-то снисходительной нежностью, но предмета его совсем не учили. Объяснял он небрежно и спутанно, оживляясь лишь в случаях, когда можно было почерпнуть пример из «Слова». Диссертация его все росла, но печатать ее он не решался, пока для него оставались темными некоторые места, например: «Див кличет вьрху древа», «рыща в тропу трояню», или «трубы трубят до додутки»... Он нимало не сомневался, что читать надо «до додонтки» (с юсом). Но и «додонтки» мало поддавались объяснению... Порой он был прямо интересен, только это редко случалось на уроках. Мы очень любили беседовать с ним, застигнув его где-нибудь на улице. Плотно обступив Андриевского

тесным кольцом, мы задавали ему вопросы и высказывали порой самые изумительные гипотезы о «диве», о «тропе трояней» и «додонтках». Если это ему надоедало, а мы его не выпускали из плена, то он наконец вынимал из кармана классную записную книжечку с карандашом, вглядывался в лица стоящих перед ним и, усмехаясь своей задумчиво-юмористической улыбкой, говорил:

— А, это Мочальский... Вот я поставлю Мочальскому на понедельник единицу.

И совершенно серьезно ставил единицу. К отметкам он относился с насмешливым пренебрежением и часто по просьбе класса переправлял классные двойки на тройки или даже четверки... Но единицы, поставленные на улице, отстаивал упорнее.

— Митрофан Александрович,— кричал класс.— Да ведь эти единицы вы поставили на улице...

— А-а,— усмехался Андриевский.— На улице?.. Так что же, что на улице. Познания не всегда обнаруживаются даже в классе. А невежество проявляется на всяком месте... Что он тогда говорил о «диве». А?

— Он, Митрофан Александрович, Курской губернии.

— Ну так что же?

— Куряне, Митрофан Александрович, сведоми кмети.

— Шеломами повиты, концем копия вскормлены,— дружно подхватывает класс. Лицо Андриевского расцветает...

— А-а-а,— произносит он с выражением радостного довольства, и единица зачеркивается.

Из-за его рассеянной улыбки светилась детская душа и, может быть, незаурядный ум, от одиночества и окружающей пустоты ушедший в непроходимые дебри «Слова». Он прошел перед нами со своим невинным маниачеством, не оставив глубокого следа, но ни разу также не возбудив ни в ком ни одного дурного или враждебного движения души... В его задумчивой улыбке сквозил тихий юмор, на уроках иногда слетало меткое суждение или слово, но о «теории словесности» даже в лучших учениках он не успел поселить никакого представления...

Разумеется, кроме маниаков, вроде Лотоцкого или Самаревича, в педагогическом хоре, настраивавшем наши умы и души, были также голоса среднего регистра,

тянувшие свои партитуры более или менее прилично. И эти, конечно, делали главную работу: добросовестно и настойчиво перекачивали фактические сведения из учебников в наши головы. Не более, но и не менее... Своего рода живые педагогические фонографы...

Впереди всех из этой категории стоит в моей памяти характерная фигура Степана Ивановича Тысса. Это был человек с очень некрасивым, но умным лицом, которое портили большие зубы, а украшали глубокие карие глаза. Одевался он всегда безукоризненно, даже щегольски, держался с достоинством, преподавал ровно, без увлечения, но толково, спрашивал строго, отметки ставил справедливо. Его уважали, учились у него порядочно, и именно ему я обязан тем, что решение задач мне перестало казаться непостижимым волшебством. В его сдержанном достоинстве было что-то привлекательное, и в нас зарождалось, пожалуй, некоторое влечение к этому серьезному человеку, но оно отражалось его холодною замкнутостью. К нам и к своему предмету он относился с одинаковой корректностью. Предмет был предмет, один и тот же из году в год, а мы были разные степени его усвоения. Ни в нас, ни в предмете не было ничего, что осветило бы жизнь в глухом городишке, среди стоячих прудов. Говорили, будто главная доля его души была поглощена любовью некрасивого человека к красавице жене и муками сдержанной ревности. Быть может, поэтому он выделялся щегольством одежды и на разные лады отпускал красивую каштановую бороду. Эти наблюдения давали нам мало поучительного, а мы, в свою очередь, мало давали ему. Тыссу приписывали, между прочим, горький афоризм, в который он заключил свой учительский опыт.

— Мы,— говорил он,— три года мучимся, три года учимся, три года учим, три года мучим, а там — хоть к черту...

Я его знал еще в годы перелома. Он учил еще довольно серьезно и не мучил, но уже начинал опускаться и запивать...

За ним встают в памяти различные, менее характерные фигуры того же среднего регистра. Общими усилиями, с большим или меньшим успехом они гнали нас по программам, давая умам, что полагалось по штату. Дело, конечно, полезное. Только... это умственное питание производилось приблизительно так, как откармливают в клетках гусей, насильственно проталкивая по-

стылую пищу, которую бедная птица отказывается принимать в требуемом количестве по собственному побуждению.

А та нежная, тонкая, живая нить, которая связывает процесс учения с вечным стремлением к знанию, освещает его, подымает, живит,— молчала или затрагивалась редко, случайно... Оригинальные фигуры, со своим собственным содержанием, были не ко двору в казенном строе, требовавшем догматического единства. Сильные — уходили, слабые — уживались, и жизнь в сонном городке вокруг мертвого замка брала свое. Сначала мечты о диссертации, о переводе в другое место, потом женитьба, сладость сонной истомы, карты в клубе, прогулки за шлагбаумом, сплетни, посещения погребка Вайнтрауба, откуда учителя выходят обнявшись, не совсем твердыми шагами, или — маленького домика за грабником, где порой наставники встречаются с питомцами из старших классов...

Один из лучших учителей, каких я только знал, Авдиев (о котором я скажу дальше),— в начале своего второго учебного года на первом уроке обратился к классу с шутливым предложением:

— Нет ли, господа, у кого-нибудь записок моего прошлогоднего первого урока? Есть? Отлично. Проэкзаменуйте меня, пожалуйста: я буду говорить, а вы отмечайте фразы, которые я повторю по-прошлогоднему.

Он стал ходить по классу, импровизируя вступление к словесности, а мы следили по запискам. Нам пришлось то и дело останавливать его, так как он сбивался с конспекта и иначе строил свою речь. Только, кажется, раз кто-то поймал повторенное выражение.

— Ну, это еще ничего,— сказал он весело. И затем, вздохнув, прибавил:— Лет через десять буду жарить слово в слово. Ах, господа, господа! Вы вот смеетесь над нами и не понимаете, какая это, в сущности, трагедия. Сначала все так живо! Сам еще учишься, ищешь новой мысли, яркого выражения... А там год за годом — застываешь, отливаешься в форму...

Застывает учитель и превращается в лучшем случае в фонограф, средним голосом и с средним успехом перекачивающий сведения из учебников в головы... Но наиболее ярко выделяются в общем хоре скрипучие фальцеты и душевные диссонансы маниаков, уже вконец заклеванных желто-красным попугаем.

Кто учтет влияние этой роковой автоматической птицы на жизнь и судьбы поколений, проходящих строй за строем через наши средние школы. . . .

. . . .

Директора у нас сменялись довольно часто. Инспектором долго был Степан Яковлевич Рущевич, назначенный впоследствии директором.

Это была тоже характерная, почти символическая фигура. Огромный, грузный, в широком мундире и широчайших брюках — это был какой-то чиновничий массив, с лицом, точно вырубленным из дуба и обрамленным двумя седоватыми чиновничьими бакенбардами. Голос у него был тоже огромный, грузный, и на всех этих количественных преимуществах покоился его педагогический авторитет.

Провинившегося ученика он призывал обыкновенно в инспекторскую. Все пространство от порога до стола нужно было пройти под его тяжелым, гипнотизирующим взглядом, который как будто обволакивал жертву чем-то подавляющим, густым и тягучим. Ноги прилипают к полу. Кажется преступлением идти свободно, и еще бо́льшим преступлением — остановиться. Глаза невольно потупляются, и все же чувствуешь где-то близко над собой огромное лицо почти без выражения, большие тускло-серые глаза и два седоватых бакенбарда. Ощущение чего-то физически подавляющего, неосмысленного, но властного. Минута жуткого молчания... Вопрос густым басом... Робкий отрицательный ответ...

И вдруг гигант подымается во весь рост, а в высоте бурно проносится ураган крика. По большей части Рущевич выкрикивал при этом две-три незначащих фразы, весь эффект которых был в этом подавляющем росте и громовых раскатах. Всего страшнее было это первое мгновение: ощущение было такое, как будто стоишь под разваливающейся скалой. Хотелось невольно — поднять руки над головой, исчезнуть, стушеваться, провалиться сквозь землю. В карцер после этого мы устремлялись с радостью, как в приют избавления...

Впоследствии, в старших классах, когда физическая противоположность между учеником и директором сглаживалась,— терялось и устрашающее обаяние Рущевича. В сущности, как я убедился впоследствии, это был человек не злой, скорее добрый. Во всяком случае, лучше среднего директора последующего времени уже

потому, что тогда «внутренняя политика» с ее тайными аттестациями и подлым политическим сыском еще в такой степени не заполняла школу... Он только совсем не был педагогом, и подавляющая массивность была единственным его ресурсом в борьбе за порядок и дисциплину.

Мелкая беспрерывная партизанская война составляла основной тон школьной жизни.

Уже с раннего зимнего утра, когда в сыроватых сумерках сонно жмурились и расплывались огоньки, из длинного двухэтажного здания появлялась колченогая фигура и, оглянувшись по сторонам, ныряла в сумрак. Дитяткевич был неутомимый охотник...

К семи часам ученики, жившие на общих квартирах, должны были сидеть за столами и готовить уроки. Исполнялось это редко, и главная прелесть незаконного утреннего сна состояла именно в сознании, что где-то, в тумане, пробираясь по деревянным кладочкам и проваливаясь с калошами в грязь, крадется ищейка Дидонус и, быть может, в эту самую минуту уже заглядывает с улицы в окно... Грязь, слякоть, дождь, зимняя метель и вьюга — ничто не останавливало неутомимого сыщика. Наоборот, в ненастье преступный сон налегает на учеников с особенной силой, и в то же время их легче застигнуть... Если, заглянув в комнату снаружи, он видел квартиру в полном порядке, то уходил разочарованный, как охотник, давший промах. В противном случае — он внезапно появлялся в дверях, веселый, с сияющими глазами, и ласковым, довольным тоном требовал «квартирный журнал». Если где-нибудь неподалеку он замечал в темноте огромную фигуру Рущевича, то охотно делал для него стойку, наводя на неисправные квартиры... Степан Яковлевич входил с торжественной мрачностью и, подобно темному обелиску, становился над постелью сонливца... До сих пор еще живо помню минуты жуткого пробуждения под его упорно-тяжелым взглядом...

Когда ученики уходили в гимназию, Дитяткевич приходил в пустые квартиры, рылся в сундуках, конфисковал портсигары и обо всем найденном записывал в журнал. Курение, «неразрешенные книги» (Писарев, Добролюбов, Некрасов — о «нелегальщине» мы тогда и не слыхали), купанье в неразрешенном месте, катанье на лодках, гулянье после семи часов вечера — все это входило в кодекс гимназических проступков. В их

классификации чувствовался отчасти тот же маниакический автоматизм: вопрос сводился не к безнравственности поступка, а к трудности педагогической охоты. В городе и кругом города было много прудов и речек, но катанье на лодке было воспрещено, а для купанья была отведена лужа, где мочили лен. Разумеется, ученики катались в лодках и купались в речках или под мельничными шлюзами с их брызгами и шумом... Нередко в самый разгар купанья, когда мы беспечно ныряли в речушке, около «исправницкой купальни», над обрезом горы, из высокой ржи показывалась вдруг синяя фуражка, и ковыляющая фигурка Дидонуса быстро спускалась по тропинке. Мы хватали одежду и кидались в камыши, как беглецы во время татарских нашествий. Колченогий надзиратель бегал, как наседка, по берегу, называл наугад имена, уверял, что он всех знает, и требовал сдачи в плен. Мы стояли в камышах, посиневшие от холода, но сдавались редко... Если надзирателю удавалось захватить платье купальщиков, то приходилось одеваться и следовать за ним к инспектору, а оттуда — в карцер... И всегда наказание соответствовало не тяжести вины, в сущности явно небольшой, а количеству усилий, затраченных на поимку...

С семи часов вечера выходить из квартир тоже воспрещалось, и с закатом солнца маленький городишко с его улицами и переулками превращался для учеников в ряд засад, западней, внезапных нападений и более или менее искусных отступлений. Особенную опасность представлял узенький переулочек, соединявший две параллельных улицы: Гимназическую и Тополевую. Темными осенними вечерами очень легко было внезапно наткнуться на Дидонуса, а порой, что еще хуже,— «сам инспектор», заслышав крадущиеся шаги, прижимался спиной к забору и... внезапно наводил на близком расстоянии потайной фонарь... Это были потрясающие моменты, о которых наутро рассказывали в классах...

Впрочем, я с благодарностью вспоминаю об этих своеобразных состязаниях. Гимназия не умела сделать интересными преподавания, она не пыталась и не умела использовать тот избыток нервной силы и молодого темперамента, который не поглощался зубристикой и механическим посещением неинтересных классов... Можно было совершенно застыть от скуки или обратиться в автоматический зубрильный аппарат (что со

многими и случалось), если бы в монотонную жизнь не врывались эпизоды этого своеобразного спорта.

Но с особенной признательностью я вспоминаю широкие пруды с их зарастающей водяной гладью и тихо сочащимися от пруда к пруду речушками. Летом мы, точно пираты, плавали по ним в лодках, стараясь быстро пересечь открытые места, нырнуть в камыши, притаиться под мостами, по которым грузной походкой проходил инспектор или ковылял Дитяткевич... С осени, когда пруды начинали покрываться пленкой, мы с нетерпением следили за их замерзанием... До сих пор еще в моих ушах стоит переливчатый стеклянный звон от камней, бросаемых с берега по тонкому льду... Лед становится крепче, на нем уже стоят лебеди, которых скоро уберут на зиму, потом мы с братом привязываем коньки и, с опасностью провалиться или попасть в карцер, пробуем кататься. Через неделю после наших опытов с берега на пруд торжественно спускается Степан Яковлевич, сторож Савелий пробует лед пешней, и наконец официально разрешается катанье. Каждый день после обеда на пруду вьются сотни юрких мальчишек, сбегаясь, разбегаясь, падая среди веселой суетни, хохота, криков. Между мелюзгой, точно осетры в стае мелкой рыбешки, неуклюже качаются на коньках учителя. Вот огромный Петров, точно падающая башня, вот даже Лемпи, без коньков, весь красный от мороза, рассказывает, как они бегали на коньках в школе Песталоцци. Немец Глюк, заменивший Кранца, долго не мог выучиться даже стоять на коньках и заказал себе коньки с двойными полосками. Стоять на них удобно, но поворачиваться трудно. Крепкий ветер подхватывает его небольшую фигурку в широкой шубе и мчит по гладкому, как зеркало, льду прямо к речке. Мы кричим ему, что на речке опасно; бедный немец размахивает руками, шуба его распахивается, как парус... Через минуту он на черном непрочном льду, который трещит и проваливается. Глюк ухает в воде, к счастью не на глубоком месте. Малыши связывают башлыки, выстраиваются в ряд, самый легкий подбегает к речке и кидает башлык. Затем по команде вся вереница с пением и криками «ура» выволакивает мокрого Глюка на крепкое место.

В особенно погожие дни являются горожане и горожанки. Порой приходит с сестрой и матерью *она,* кумир многих сердец, усиленно бьющихся под серыми шине-

лями. В том числе — увы! — и моего бедного современника... Ей взапуски подают кресло. Счастливейший выхватывает кресло из толпы соперников... Усиленный бег, визг полозьев, морозный ветер с легким запахом духов, а впереди головка, уткнувшаяся в муфту от мороза и от страха... Огромный пруд кажется таким маленьким и тесным... Вот уже берег...

Темнеет... Два сторожа, надзиратель и инспектор обходят пруд кругом, сгоняя запоздавших с катка. Лед пустеет... Из-за широких камышей подымается луна, трогая холодным светом края старого дворца; белая гладь сверкает, порой трескается и стонет... На ней продолжают виться пять-шесть темных фигур... На берегу, на лестнице инспекторского дома, рядом с гимназией, появляется высокая черная тень. Это Степан Яковлевич следит за преступными катальщиками. От гимназии спускается несколько темных силуэтов: будет облава. Дитяткевич уже, быть может, заходит с другой стороны, от острова... Но лунный свет обманчив — узнать, кто катается, нельзя... Мы даем преследователям время подойти ближе, почти окружить себя. Но затем быстро бежим к опасным местам... Лед звенит все тоньше, под ногами переливчато плещет подгибающаяся ледяная пленка, близко чернеют полыньи... Ж-ж-жи... Один за другим, держась на расстоянии, беглецы пробегают по опасной речке на другой пруд... Преследователи останавливаются, совещаются и чаще всего отступают... Фигуры преследователей расплываются в морозной мгле... И опять на гладком пруду слышен легкий визг железа по льду, и продолжается молчаливое кружение на лунном свете.

Из первых учеников я давно спустился к середине и нахожу это наиболее для себя подходящим: честолюбие меня не мучит, тройки не огорчают... А зато на пруду в эти лунные ночи грудь дышит так полно, и под свободные движения так хорошо работает воображение... Луна подымается, заглядывает в пустые окна мертвого замка, выхватывает золотой карниз, приводит в таинственное осторожное движение какие-то неясные тени... Что-то шевелится, что-то дышит, что-то оживает...

И потом спится так крепко, несмотря на то что уроки совсем не готовы...

Теперь, когда я вспоминаю первые два-три года своего учения в ровенской гимназии и спрашиваю себя,

что там было в то время наиболее светлого и здорового,— то ответ у меня один: толпа товарищей, интересная война с начальством и — пруды, пруды...

XXI
РЕЛИГИЯ ДОМА И В ШКОЛЕ

Это было еще в Житомире. Я еще не поступил в гимназию, когда однажды в нашем доме появился старик с толстыми, совершенно белыми усами и бритым подбородком, в серой военной шинели. Он был женат на старшей сестре моей матери, фамилия его была Курцевич, а имя Казимир, но звали его обыкновенно просто капитаном. Он был поляк и католик, но служил сначала в русской военной службе, а затем по лесному ведомству, откуда и вышел в отставку «корпуса лесничих штабс-капитаном, с мундиром и пенсией». Мундир был военного образца с белыми эполетами, с короткой талией и короткими полами, так что капитан напоминал в нем долговязого гимназиста, выросшего из прошлогоднего мундира. А над тугим воротником с позументами, затянутое и налитое кровью, виднелось старое лицо с белыми, как молоко, усами.

В день его приезда, после обеда, когда отец с трубкой лег на свою постель, капитан в тужурке пришел к нему и стал рассказывать о своей поездке в Петербург. В то время поездка в столицу из глухой провинции была не шутка, а капитан был превосходный рассказчик. Собственный интерес к рассказу есть главный шанс успеха у слушателей; а капитан всегда был переполнен одушевлением. И теперь, пока отец лежал, попыхивая трубкой, капитан ходил по комнате, останавливался, жестикулировал, увлекался и увлекал. Он ехал через Вильно. Там на воротах до сих пор висит герб «литовская погоня». Всем это казалось удивительным, потому что у нас за эту «эмблему» сажали в кутузку. Затем он описывал железную дорогу (по которой отец мой не ездил ни разу в жизни). В столице он осмотрел все, что стоило осмотра. Был в Эрмитаже и видел там изображение божьей матери.

— Понимаешь,— слеза на щеке!.. живая!

Но самое большое впечатление произвело на него обозрение Пулковской обсерватории. Он купил и себе ручной телескоп, но это совсем не то. В пулковскую

трубу «как на ладони видно: горы, пропасти, овраги... Одним словом — целый мир, как наша земля. Так и ждешь, что вот-вот поедет мужик с телегой... А кажется маленькой потому, что, понимаешь, тысячи, десятки тысяч... Нет, что я говорю: миллионы миллионов миль отделяют от луны нашу землю».

Он останавливался посредине комнаты и подымал кверху руки, раскидывая ими, чтоб выразить необъятность пространств. В дверях кабинета стояли мать и тетки, привлеченные громким пафосом рассказчика. Мы с братьями забрались в уголок кабинета и слушали, затаив дыхание... Когда капитан взмахивал руками высоко к потолку, то казалось, что самый потолок раздвигается и руки капитана уходят в безграничные пространства.

Потом он круто оборвал жестикуляцию и сказал:

— И знаешь, что я тебе скажу: когда человек повидает все то, что я видел, и поговорит с умными людьми, то... Ну, одним словом, человек многому перестает верить так слепо, как прежде...

— Например? — спросил отец.

— Например? Ну хорошо: вот Иисус Навин сказал: стой, солнце, и не движись, луна... Но ведь мы теперь со всеми этими трубами и прочей, понимаешь, наукой хорошо знаем, что не солнце вертится вокруг земли, а земля вокруг солнца...

— Так что же?

— Как что? Значит, солнце не могло остановиться по слову Иисуса Навина... Оно стояло и прежде... А если земля все-таки продолжала вертеться, то, понимаешь, — никакого толку и не вышло бы...

Отец засмеялся и сказал:

— Толкуй больной с подлекарем! Иисус Навин не знал астрономии, вот и все.

— То-то, что не знал... Я что же говорю? Не знал, а распоряжался мирами...

— Распоряжался не он, а бог. А бог знал, что и как надо остановить...

Капитан скептически помотал головой...

— Остановить... такую махину! Никогда не поверю!

И опять, поднявшись во весь рост — седой, крупный, внушительный, — он стал словами, голосом, жестами изображать необъятность вселенной. Увлекаясь, он шаг за шагом подвигал свой скептицизм много дальше

Иисуса Навина и его маленьких столкновений с амалекитянами.

— Говорится в Писании: небеса подножие ног его... Посмотришь в эти трубы, на это небо... Тут тебе луна с горами, вулканами, пропастями... Сатурн, обтянутый огненными обручами. Венеры эти, Марсы, Юпитеры, понимаешь, звезды, планеты... все миры, больше нашей земли... Без конца, без краю. И все в постоянном круговращении естества. А! Толкуй ты мне о подножии. Где тут верх, где низ? Я вот стою, задравши голову кверху... А подо мною, в какой-нибудь там Америке, что ли, стоит антипод подошвами ко мне, а головой, значит, книзу? Так? И тоже думает, что смотрит кверху... Одним словом, когда все это узнаешь и представишь себе ясно, то прямо, скажу тебе, чувствуешь, как все это в тебе поворачивается, по-во-ра-чи-вается...

И опять, подняв руки кверху, капитан, казалось, поворачивал вселенную около какой-то оси, а мы с некоторым страхом следили снизу вверх за этой опасной операцией...

— Ах, Казимир, Казимир!— сказала укоризненным тоном мать.— Сколько людей ездят в столицы и даже живут там, а в бога все-таки верят. А вы раз только съездили и уже говорите такие глупости.

— А еще старый человек,— прибавила с негодованием тетка.

— Ха! В бога...— отозвался на это капитан.— Про бога я еще ничего не говорю... Я только говорю, что в Писании есть много такого... Да вот, не верите — спросите у него (капитан указал на отца, с легкой усмешкой слушавшего спор): правду я говорю про этого антипода?..

Я посмотрел на отца, ожидая, что он установит опрокидывающийся мир на прежнее место, но он кивнул головой и сказал:

— Правда...

И потом, пыхнув раза два трубкой, прибавил:

— И все это ничего не значит. У каждого верх над своей головой, а низ — в центре земли... А бог везде — вверху, и внизу, и по сторонам. Значит, всюду и можно к нему обращаться. Слушай, Казимир. Был ты этот раз у Яна?

— Был,— ответил Казимир.

— Ну что, как живет?

— Ничего, живет... Просился на место тюремного смотрителя.

— Ну и что же?

— Губернатор посмотрел и говорит: «Да, настоящий тюремщик!» А что будет, еще неизвестно.

— Ну а мертвецы его оставили в покое?

— А! Где там оставили! Еще хуже стало.

И капитан перевел свое одушевление на другие рельсы. Ян Курцевич был его родственник, военный, служивший на Кавказе. Там он участвовал в набегах, попадал в плен, был, кажется, контужен, вышел в отставку и, вернувшись на родину, привез массу самых удивительных рассказов. Одного из его товарищей черкесы якобы распяли на стенах сакли, и молодежь долго упражнялась над ним в стрельбе из пистолетов и луков. Сам Ян успевал всякий раз спастись, порой не без вмешательства таинственных сил. По возвращении на родину его тоже сопровождали злые духи: в его квартире все предметы — столы, стулья, подсвечники, горшки и бутылки — жили своей собственной жизнью, передвигались, стучали, летали из угла в угол. По ночам в темных комнатах раздавались стуки, шепоты, шорохи, вздохи и стоны. Невидимые руки тянулись из темноты и, точно бархатом, проводили по лицу; кто-то черный, лохматый и мягкий раз обнял его в коридоре за талию...

— И как же он видел в темноте, что этот кто-то черный?— спросил с улыбкой отец.

— Вот в том-то, понимаешь, и штука,— ответил капитан просто,— темно, хоть глаз выколи, а он видит, что лохматый и черный... А зажег спичку — нигде никого... все тихо. Раз насыпал на полу золы... Наутро остались следы, как от большой птицы... А вот недавно...

Последовал рассказ о какой-то белой «душе», которая являлась в новую квартиру Яна с соседнего кладбища. «Что тебе надо от меня, несчастная блуждающая душа?»— спросил Ян. Она застонала и тихо двинулась из комнаты. Ян наскоро натянул сапоги, накинул черкеску, взял пистолеты и, позвав слугу, тоже бывшего кавказца, пошел вслед за фигурой. Прошли пустырь, подошли к кладбищу. Денщик струсил и остался у ограды, Ян пошел. «Душа» туманным столбом подлетела к могиле, постояла над ней, колеблясь, как дым, потом свернулась спирально, как змея, и с глухим сто-

ном ушла в могилу. А под Яном заколыхалась земля, какой-то вихрь подхватил его, и он очутился сразу в своей постели и даже раздетый...

— А денщик? — спросил отец.

— Спит, понимаешь, как убитый. Едва добудился... И ничего не помнит.

— Почему же ты думаешь, что это все твоему Яну не приснилось?

— А! Приснилось! Сапоги оказались мокрые от росы!..

Отец засмеялся.

— Чудак ты, Казимир! — сказал он. — Я тебя нарочно спросил о Яне. Сомневаешься в боге, а бабьим сказкам веришь...

— Э! не говори! Есть что-то, понимаешь, в натуре такое... Я не говорю, что непременно там нечистая сила или что-нибудь такое сверхъестественное... Может быть, магнетизм... Когда-нибудь наука дойдет...

— Магнетизм тебе будет стонать? — иронически заметил отец.

Эта ночь у нас прошла тревожно: старший брат, проснувшись, увидел, что к нему тянутся черные бархатные руки, и закричал... Я тоже спал плохо и просыпался в поту от бессвязных сновидений...

На следующий вечер старший брат, проходя через темную гостиную, вдруг закричал и со всех ног кинулся в кабинет отца. В гостиной он увидел высокую белую фигуру, как та «душа», о которой рассказывал капитан. Отец велел нам идти за ним... Мы подошли к порогу и заглянули в гостиную. Слабый отблеск света падал на пол и терялся в темноте. У левой стены стояло что-то высокое, белое, действительно похожее на фигуру.

— Ступай посмотри, что это такое? — сказал отец старшему брату... Тот двинулся было в темноту, но вдруг со всех ног кинулся в дверь, растолкал нас и исчез.

— Дурак! — сказал отец с досадой. — Ну, идите вы вдвоем... Марш.

С замирающими сердцами мы двинулись, подгоняемые приказами отца. С содроганием, оба вместе, дотронулись мы до загадочной фигуры... Оказалась гладильная доска, забытая прислугой в необычном месте.

— Вот видите, — сказал отец, — так всегда кончаются эти страхи, если их не бояться.

Вообще, очень религиозный, отец совсем не был суеверен. Бог все видит, все знает, все устроил. На земле действуют его ясные и твердые законы. Глупо не верить в бога и глупо верить в сны, в нечистую силу, во всякие страхи.

От капитана и его рассказов осталось у нас после этого смешанное впечатление: рассказы были занимательны. Но он не верит в бога, а верит в нечистую силу, которая называется магнетизм и бегает на птичьих лапах. Это смешно.

Около этого же времени я узнал еще одного неверующего. Брат моей матери женился, был страстно влюблен в свою молоденькую жену и безумно счастлив. Он очень любил меня и взял к себе в свой медовый месяц. Я жил у них, плохо понимая значение того, что свершалось в жизни моего дяди, но впитывая бессознательно атмосферу счастья и какой-то светлой, озаренной ласки, которая струилась и на меня в маленькой квартире, точно из золотого тумана. Так было, пока на нашем горизонте не появилось новое лицо. Это был брат моей новой тетки, студент Киевского университета. У него было белое лицо, черные волосы и выхоленные маленькие баки. Он не любил детей и раз, не стесняясь моим присутствием, сказал, что уж лучше бы завести собачонку. Тетка укоризненно указала ему глазами на меня.

— Что он понимает, этот малыш,— сказал он с пренебрежением. Я в это время, сидя рядом с теткой, сосредоточенно пил из блюдечка чай и думал про себя, что я все понимаю не хуже его, что он вообще противный, а баки у него точно прилеплены к щекам. Вскоре я узнал, что этот неприятный мне «дядя» в Киеве резал лягушек и трупы, не нашел души и не верит «ни в бога, ни в черта».

Во всяком случае, обе фигуры «неверующих» подействовали на мое воображение. Фигура капитана была занимательна и красочна, фигура будущего медика — суха и неприятна. Оба не верят. Один потому, что смотрел в трубу, другой потому, что режет лягушек и трупы... Обе причины казались мне недостаточными.

И вот в связи с этим мне вспоминается очень определенное и яркое настроение. Я стою на дворе без дела и без цели. В руках у меня ничего нет. Я без шапки. Стоять на солнце несколько неприятно... Но я совершенно поглощен мыслью. Я думаю, что, когда стану

большим, сделаюсь ученым или доктором, побываю в столицах, то все же никогда, никогда не перестану верить в то, во что так хорошо верит мой отец, моя мать и я сам.

Это было что-то вроде обета. Я обозревал весь известный мне мирок. Он был невелик, и мне было нетрудно распределить в нем истину и заблуждение. Вера — это разумное, спокойное настроение отца. Неверие или смешно, как у капитана, или сухо и неприятно, как у молодого медика. О сомнении, которое остановить труднее, чем было Иисусу Навину остановить движение миров,— я не имел тогда ни малейшего понятия. В моем мирке оно не занимало никакого места.

Эта минута *полной уверенности* осталась навсегда ярко освещенным островком моей душевной жизни. Многое, что этому предшествовало и что следовало за этим, затянулось глубокими туманами. А островок стоит, далекий, но яркий...

В церковь я ходил охотно, только попросил позволения посещать не собор, где ученики стоят рядами под надзором начальства, а ближнюю церковь св. Пантелеймона. Тут, стоя невдалеке от отца, я старался уловить настоящее молитвенное настроение, и это удавалось чаще, чем где бы то ни было впоследствии. Я следил за литургией по маленькому требнику. Молитвенный шелест толпы подхватывал и меня, какое-то широкое общее настроение уносило, баюкая, как плавная река. И я не замечал времени...

В таком настроении я перешел и в ровенскую гимназию. Здесь, на первом же уроке закона божия, священник отец Крюковский вызвал меня к кафедре и заставил читать молитвы. Читая «Отче наш», я ошибся в ударении и, вместо «на небесѐх», сказал «на небѐсех».

Лицо у священника сделалось язвительное и злое.

— На-а не-беѐ-сех,— передразнил он неприятно дребезжащим голосом...— На небѐсех?.. Вот как тебя научили! Матка полѐчка? А?

Кровь бросилась мне в голову. Я потупился и перестал отвечать... В моей груди столпились и клокотали бесформенные чувства, но я не умел их выразить и, может быть, расплакался бы или выбежал из класса, но меня поддержало сознание, что за мной — сочувствие товарищей. Не добившись продолжения молитвы, священник отпустил меня на место. Когда я сел, мой сосед Кроль сказал:

— Всегда он так, проклятый попище. У меня тоже отец лютеранин.

Идя домой, я всю дорогу бормотал про себя разные гневные слова, которые *должен был* найти тогда же, и не мог себе простить, что не нашел их вовремя...

Фигура священника Крюковского была по-своему характерная и интересная. Однажды, уже в высших классах, один из моих товарищей, Володкевич, добрый малый, любивший иногда поговорить о высоких материях, сказал мне с глубокомысленным видом:

— Знаешь, что я слышал о Крюковском? Он был в академии, но не кончил... Исключили... Вольтерианец...

— Пустяки, наверное,— усомнился я.

— Нет, не пустяки. Он написал диссертацию: «Мыслит ли бог?..»

— Ну так что же?

— Ты не понимаешь... Это о-чень, о-чень...

Что очень — он так и не докончил, но это неопределенное сведение почему-то присоединилось тотчас же к моему представлению о личности законоучителя. Это был человек довольно некрасивый. Суховатое нездоровое лицо, жидкие прямые волосы, редкие усы и бородка, маленькие умные глаза... Когда ему иной раз ставили на кафедре чернильницу в виде женского башмачка, он делал гримасу отвращения и, отвернув лицо, обеими руками как бы отстранял от себя искушение. Он не был ни зол, ни придирчив, и впоследствии у меня не было с ним столкновений. Но вместе с тем ни разу за все время в его голосе не дрогнула ни одна нота, в которой бы послышалось внутреннее чувство, живая вера. Вместо этого была всегда наготове искусная, суховатая и глубоко безразличная эрудиция. Кроме того, он был ярый обруситель, воевавший с «римскими» крестами на раздорожьях, с «неправославными» иконами в убогих храмах, с крещением посредством обливания и с католическими именами, которые в простоте сердечной давало детям «ополяченное» волынское духовенство. Так, в нашем классе оказался православный ученик Шпановский, в метрике которого стояло имя Конрад. Законоучитель переменил это имя в списке и, отказав в наказание даже в Кондратии, велел именоваться Кондратом.

— Шпановский,— вызывал он его в классе.— Как твое имя?

И юноша, потупясь, коверкал привычное имя на имя Кондрата.

В здании гимназии была своя церковь, и за посещениями ее следили очень строго. Рано утром мы обязаны были собираться, все православные, в одном большом классе. Сюда являлся надзиратель или инспектор и делал перекличку. После переклички — перемена в пять минут, причем надзиратели строго следили, чтобы кто-нибудь не стрекнул домой. Затем нас вели в церковь. Самые маленькие выстраивались впереди. У каждого класса, точно взводный у взвода, становился «старший». В стороне, как ротные, стояли надзиратели, искоса следя за порядком. Сзади, как сторожевая башня, высилась фигура Степана Яковлевича. Сам он молился только урывками, и тогда массивное лицо его смягчалось. Но по большей части он внимательно обозревал наши ряды. Следили также надзиратели, и от этого порой я испытывал такое ощущение, как будто спереди, сзади, с боков я пронизан невидимыми нитями, а сзади прямо в спину упирается тяжелый взгляд Рущевича... И длинная служба превращалась в томительное путешествие по знойной пустыне, с оазами знакомых возгласов, подвигающих к концу...

...Резкий лязг металлических колец, сдвигаемых по проволоке. Царские двери закрыты, задернута завеса... По рядам шорох, легкое движение разбивает оцепенелое забытье. Слава богу, половина отошла. Хорошо слаженный хор затягивает херувимскую.

Опять забытье, с вереницей бессвязных мыслей и нытьем в ногах... И новый шорох. Регент ударяет камертоном о перила, подымает его, взмахивает, и хор точно пускается вплавь с знакомым мотивом:

— О-о́-от-че на-а-аш... Иже еси́ на небеси-и́й...— Опять неопределенный туман, звякание кадильницы, клубы дыма, возгласы, не отмечаемые памятью, вереница вялых мыслей в голове...

— До-стой-но есть яко во-истину...— Мотив оживленный, как будто радость: «две трети»,— пробегает в умах учеников...

Таково было «общение с богом» огромного большинства обязательных молельщиков.

Один только момент из этих служб до сих пор вспоминается мне, обвеянный какой-то особенной, трогательно-молитвенной поэзией. Это — пение «Свете тихий» за вечерней (которая служилась вместе с заутре-

ней), особенно поздней весной или ранней осенью. Солнце закатывается, бросая последние лучи на высокие тополи острова за прудом... В открытые окна из церкви синими струйками тянется ароматный дым, в углах и над алтарем ютятся мечтательные тени, огни свечей выступают ярче, фигура Христа из синеватой мглы простирает поднятые руки, и тихое пение хора несется, стройно колыхаясь в прощальных лучах затихающего дня... «Свете тихий святыя славы бессмертного отца небесного...»

День заметно уходит... Спускается тихая, свежая ночь... И кто-то добрый и ласковый говорит о том, что... через несколько минут конец долгого стояния...

После обедни нас не отпускали домой, а опять гнали в тот же класс. Предстояло объяснение Евангелия. Опять пятиминутная перемена, звонок. Успевший переодеться в церкви законоучитель входит на кафедру. Первый вопрос его будет:

— Какой сегодня читался апостол? Какое Евангелие?

И — замечательное явление, которое, наверное, помнят мои товарищи: сотни полторы человек, только что выйдя из церкви, зная, что этот вопрос им будет предложен одному за другим,— по большей части не могли вспомнить ни Евангелия, ни апостола. Точно за порогом церкви кто-то неслышным ударом выкидывал из головы все, что читалось и пелось в эти два часа. Спрошенный беспомощно оглядывается, толкает товарища локтями, пинается ногами под партой, по огромному классу бежит из конца в конец шепот, вопросы... И один за другим вызванные молчат или говорят несообразности. Священник сердится, язвит, грозит двойками.

Единственное спасение в этих случаях — предложить на разрешение отца протоиерея какой-нибудь «недоуменный вопрос», небольшое, приличное религиозное сомнение... Отец протоиерей начитан и любит разрешать внеочередные вопросы. Говорит он умно, гладко, красиво пользуется текстами. К ученику, доставившему ему случай для такой беседы, относится с благорасположением и ставит хорошую отметку в четверти...

Но это почва очень скользкая. Вопрос должен быть чисто формальный, поддающийся эрудиции. Храни бог от намека на действительное, живое и болящее сомнение. Опасно также задеть обрусительную или духовно-

чиновничью струнку... Лицо протоиерея делается неприятным, и он долго не забудет неосторожному вопрошателю...

Чаще всего выступал с вопросами Гаврило Жданов, мой приятель, красивый малоросс, с простодушными глазами навыкате и курчавыми, иссиня-черными кудрями. В церкви он читает апостола. У него приятная, небольшая, но свежая октава, которой он гордится и соперничает с диаконом. У диакона глубокий, когда-то сильный, но давно пропитой бас. Он знает о соперничестве Гаврилы и презирает его, ловя и подчеркивая всякий срыв на высоких конечных нотах. Гаврило, в свою очередь, постоянно передразнивает его в коридорах... Это вошло у него в привычку настолько, что однажды, выйдя к солее с апостолом и откашлявшись, он вместо очередного апостола затянул «диаконским басом»:

— О-о́т Лу-уки святаго Евангелия... Во время оно...

И вдруг остановился, оглядываясь кругом выпученными глазами. Лохматая голова диакона повернулась к нему с выражением дьявольского злорадства, а из алтаря послышался торопливый голос протоиерея:

— Гаврило... анафема!.. с ума, что ли, сошел?

Прямо из церкви Гаврило отправился в карцер.

Но все же Жданов был до известной степени «церковник», участвовал в хоре, и протоиерей относился к нему хорошо. Поэтому чаще всего задача предлагать «недоуменные вопросы» выпадала на его долю.

— Отец протоиерей,— начинал он.— Позвольте предложить вопрос. По встретившемуся некоторому сомнению.

— Ну, ну... Какое там сомнение? Говори.

— Вот, отец протоиерей,— начинал Гаврило при общем молчании,— существует, кажется, текст: «Блажен, иже и по смерти творяй ближнему добро».

— Ну, положим, что существует, хотя ты, по обыкновению, его и переврал. Из деяний апостольских известны многие случаи, что даже от предметов, коими при жизни пользовались святые люди, как-то: главотяжи, убрусцы и иные тому подобные... Так и от них происходили чудеса и исцеления.

И протоиерей пускался в рассказы о чудесах, произведенных благодатными главотяжами и убрусцами.

Время уходило. Гаврило терпеливо выслушивал до конца и потом говорил:

— Нет, отец протоиерей. Я не о том... то есть не о главотяжах...

— А о чем же?

— А о том, что, например... кости... то есть именно человеческие...

— Ну что ж? Кости тем паче. Известно чудо от костей пророка Елисея, когда мертвый, прикоснувшись к ним в пещере, воскрес и ожил.

Следовал рассказ о чуде от костей Елисея и комментарии.

— Нет, отец протоиерей, я еще и не о том,— упорствовал Гаврило.— А вот один англичанин предлагает через газеты...

— Что такое? Что еще за англичанин?— говорит священник.— Газеты дело мирское и к предмету не относятся. Вот скажи лучше, какой сегодня...

— Нет, отец протоиерей, относятся!— торопливо перебивает Гаврило.— Потому что: «Блажен, иже и по смерти»... Так этот англичанин... Он говорит: какая, говорит, масса человеческих костей пропадает, говорит, напрасно... Без всякой пользы для человечества...

Лицо священника делается сразу настороженным и неприятным. Гаврило замечает опасность... Его красивые глаза навыкате выкатываются еще больше и как бы застывают. Но останавливаться уже поздно.

— Ну, ну?— язвительно поощряет его священник.— Так что же твой англичанин? Послушаем, послушаем вместо святых отец газетного англичанина.

— Так он... то есть это англичанин, предлагает их...

— Ну?

— Отдавать... на фабрики. Для выделки, отец протоиерей, фосфору и тому подобное...

На лице священника — отвращение. Он отворачивает голову и закрывается от Гаврилы ладонями, совершенно так, как от чернильницы в виде дамского башмачка.

— Гробокопательство!.. Нарушение вечного покоя мертвых!— Он резко поворачивается к Гавриле.— И это ты считаешь недоумением?.. Газетки почитываешь? Сочувствуешь?.. Говори, анафема, сейчас: какой сегодня апостол?

Гаврило застывает в виде соляного столба.

— А-а... Не зна-аешь?.. Сам читал сегодня? А про англичанина когда вычитал?

— Давно, отец протоиерей... Это я, отец протоиерей, еще в Полтаве...— неосторожно защищается бедный Гаврило.

— А-а. Вот видишь! В Полтаве? И все-таки помнишь? А сегодняшнее Евангелие забыл. Вот ведь как ты поддался лукавому? Как он тебя осѐтил своими мрежами... Доложу, погоди, Степану Яковлевичу. Попадешь часика на три в карцер... Там одумаешься... Гробо-копатель!

Гаврило, недоумело и печально оглядываясь, грузно опускается на парту, точно погружается в омут... Бьет звонок, но... Долго еще протоиерей будет изводить его на уроках напоминаниями об англичанине...

Мне вспоминается одно только собеседование за уроком, где мы были искреннее. Речь зашла о церкви «единоспасающей». Кто-то предложил вопрос: правда ли, что спастись можно только в восточно-православной церкви, а все остальное человечество, ничего о ней не знающее или остающееся верным исповеданию отцов, обречено на вечные страдания... Православная церковь не признает чистилища, как римско-католическая, и поэтому решение бесповоротно — навсегда, навеки, в бесконечность! Протоиерей обстоятельно разработал вопрос с академической точки зрения, приводя соответствующие тексты, но... объяснение не привело к обычному молчанию класса, которое он привык считать за согласие. Мы знали, что тексты он привел и истолковал правильно, но непосредственное чувство решительно отказывалось подчиниться этому «верному истолкованию». Наши товарищи-католики, признававшие, что дух исходит от отца и сына, и крестившиеся всей ладонью; лютерании, отец Кроля, не признававший икон и святых и не крестившийся вовсе; миллионы людей, никогда и не знавших о существовании символа веры... Все это вставало в воображении живое, реальное, и мы защищали своих родных от вечных мучений только за одно слово в символе, за сложение перстов... А язычники, не слыхавшие о Христе и, однако, жертвовавшие жизнью за ближних?..

Вопрос за вопросом, возражение за возражением неслись со скамей к кафедре. Протоиерей исчерпал все

тексты и, чувствуя, что они не останавливают потока возражений, прибег к последнему аргументу. Он сделал суровое лицо, подвинул к себе журнал, давая понять, что считает беседу конченой, и сказал:

— Так учит святая церковь, и мы должны, как дети, подчинять ее материнскому голосу свои суемудрые толкования, хотя бы...

Он закрыл глаза, вздохнул, как бы сожалея, что ему приходится подтвердить суровый приговор, и прибавил с каким-то декоративным смирением:

— Хотя бы это противоречило нашему внутреннему чувству. Перейдем к уроку.

— Не верит и сам,— шепнул мне Кроль...

Я подумал то же...

Вскоре после этого я шел из церкви вместе с товарищем, Сучковым. Он был классом выше, но мы были близки и часто проводили время в разговорах о разных отвлеченных предметах. И теперь, вместо того чтобы пройти прямо домой, мы незаметно пошли в пустынную улицу, обставленную тополями, и вышли в поле. Был светлый осенний день. С тополей тихо валились желтые листья и, крутясь, падали на землю. О чем именно мы говорили до того, я не помню. Сучков был сын великоросса-чиновника и матери-англичанки. Он был рыжий, очень впечатлительный, то застенчивый, то резкий, но искренний и серьезный. Кроме того, мы с ним вместе учились в Житомире, и он только обогнал меня классом при переходе в Ровно. Это нас сближало еще больше.

Разговаривали мы о религии, и Сучков, остановившись вдруг у начала тропинки, которая через поле вела к реке, спросил:

— Ты веришь?

— Да,— ответил я с убеждением.— Верю, конечно...

— И я тоже. Но... во все ли?..

— Нет,— ответил я, запнувшись и оглядываясь в первый раз на состав своей веры...— Верю в бога... в Христа... Но не могу верить... в вечную казнь.

— И я тоже,— опять ответил он...

Обвал захватил с собой несколько больше того, чего коснулась данная волна: сомнение было вызвано вопросом о вечной казни только за иноверие... Теперь отпадала вера в самую вечную казнь...

XXII

НАШИ БУНТЫ...— ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР И ДИРЕКТОР

Жаркий день ранней осени. От стоячих прудов идет блеск и легкий запах тины... Мертвый замок, опрокинутый в воде, грезит об умершей старине. Скучно снуют лебеди, прокладывая следы по зеленой ряске, тихо и сонно квакают разомлевшие лягушки.

Кругом гимназии изнывающая зелень каштанов никнет под зноем. На дворе пусто, белое здание молчит, замкнувшись в себе. Идут уроки.

Я попросился из класса и стою в коридоре. Тихо. Вдали по обоим концам виднеются окна, одно затенено каштанами, так что в середине стоит полутьма; погруженный в нее, дремлет старик Савелий. Сложив на груди руки и прислонясь к учительским шубам, он ждет прямо против инспекторской сигнала звонить. Изза запертых дверей чуть просачивается неопределенное жужжание, точно кто читает по покойнику. Порой вырывается взвизгивание толстого Егорова, или тонкие певучие вскрикивания географа Самаревича, или порывистый лай Радомирецкого. И опять все тихо. Открывается дверь инспекторской, на Савелия падает белая полоса света. Он тревожно просыпается, но тотчас опять закрывает глаза. В светлой полосе появляется странная фигура Дидонуса. Ковыляя своей изломанной походкой, он, как лодка на волнах, плывет в полутьме коридора вдоль темных вешалок и вдруг исчезает в амбразуре классной двери. Виднеется только угол от Дитяткевича с смешно торчащими фалдочками фрака. Сам он впился глазом в замочную скважину и тихо, с наслаждением шпионит за классом, стараясь только, чтобы торчащий над его лбом хохолок волос не показался в дверном стекле. Тогда в классе поднялся бы шум, хохот, шабаш...

Но его не видят. Тишина кажется еще безжизненнее и мертвее от ровного, неуловимого жужжания и вскрикиваний. Становится жутко, томительно, почти страшно. Хочется как будто проснуться, громко вскрикнуть, застучать, опрокинуть что-нибудь, вообще сделать чтонибудь такое, что промчалось бы по коридорам, ринулось в классные двери, наполнило бы все это здание грохотом, шумом, тревогой...

В то время о «школьной политике» еще не было слышно; не было и «злоумышленных агитаторов», волнующих молодежь. Кругом гимназии залегла такая же дремотная тишь. Два-три номера газеты заносили слухи из далекого мира, но они были чужды маленькому городку и его интересам, группировавшимся вокруг старого замка и живого беленького здания гимназии.

У замка были свои легенды о прошлом. Гимназия имела свои. Из поколения в поколение передавались рассказы о героических временах, когда во втором классе сидели усачи, а из третьего прямо женились. Этот независимый и беззаботный народ нередко будил сонную тишину необыкновенными выходками: они ходили стеной на полицейских... Однажды выворотили фонарные столбы, которые, положим, никогда не светили, и покидали их с моста в речку. В другой раз, темным вечером, подстерегли гимназического надзирателя, подглядывавшего в окна. Схватили, завязали глаза, привязали к лестнице и повезли топить в пруд. Несколько раз опускали с мостика в воду по шею и опять поднимали. Потом с песнями и диким гиканьем проволокли на лестнице по засыпающим улицам и бросили против клуба...

Тех героев уже не было; все мы были меньше и, пожалуй, культурнее, но легенды о героических временах казались нам занимательными и даже как будто поэтичными... Хоть дико и нелепо, но они разрывали посвоему эту завороженную тишь однообразия и молчаливой рутины...

Порой и мы начинали шуметь так же стихийно, неожиданно и нелепо.

Звонок пробил. Перемена кончилась. Коридоры опустели, во всех классах идут занятия. У нас урок Егорова, но он не является. Придет или не придет? Тянутся минуты, рождается надежда: не придет. Беззаботные ученики, выучивающие уроки только в классах и на переменах (я давно уже принадлежу к их числу), торопятся доучить аористы: «Бы́х, бы, бы... бы́хове, бы́ста... бы́ста, бы́хом, бы́сте, бы́ша...» Но затем бросают: если Егоров не придет, на черта тогда аористы... Дитяткевич то и дело заглядывает в открытую классную дверь... Порой проходит мимо высокая фигура Рущевича. Они знают, что такое положение класса опасно, и стараются держать нас в полугипнозе: не урок, но

и не свобода... Ожидание неприятно, томительно, раздражает нервы...

Мой сосед Кроль, тоже бросивший грамматику Перевлесского, долго и сосредоточенно жевал во рту бумажную жвачку. Наконец это ему надоело. Он вынул изо рта нажеванный комок, посмотрел на него с некоторым недоумением и по внезапному вдохновению швырнул в противоположную стену. Комок влипает и расплющивается над самой кафедрой большим серым пятном. Смех.

В дверях появляется Дитяткевич. Он слышал смех и беспокойно оглядывает нас из-за дверей, но пятна ему не видно. Это интересно. Едва он отходит, как несколько комков летят вдогонку за первым, и скоро плеяда серых звезд располагается над креслом учителя.

— Господа, господа!.. Что вы делаете?— кричит дежурный, первое ответственное лицо в классе, но его не слушают. Дождь жвачек сыплется ливнем. Кто-то смочил жвачку в чернилах. Среди серых звезд являются сине-черные. Они липнут по стенам, на потолке, попадают в икону...

Какой-то малыш, отпросившийся с урока в соседнем классе, пробегает мимо нашей двери, заглядывает в нее, и глаза его вспыхивают восторгом. Он поделится новостью в своем классе... За ним выбежит другой... В несколько минут узнает уже вся гимназия...

Наконец в коридоре слышатся тяжелые шаги. «Егоров, Егоров...» В классе водворяется тишина, и мы с недоумением смотрим друг на друга... Что же теперь будет?.. Толстая фигура с журналом под мышкой появляется на пороге и в изумлении отшатывается... Через минуту является встревоженный надзиратель, окидывает взглядом стены и стремглав убегает... В класс вдвигается огромная фигура инспектора... А в перемену эпидемия перекидывается в младшие классы...

В жизни белого здания событие. Начальство озадачено. Приступают к расследованию и прежде всего, конечно, ищут зачинщиков... И тут-то в застоявшуюся атмосферу врывается нечто новое, интересное, пожалуй, серьезное. Зачинщиков не выдадут: перед начальством весь класс — единый, сплоченный, солидарный. Те, кто не кидал и даже пытался образумить товарищей, теперь — заодно с кидавшими. В инспекторскую вызывают дежурного, и он уже не возвращается. Его отправили в карцер... Первая жертва... Мы его любим, гордимся

им, готовы следовать его примеру. Вызывают первых учеников... Потом последних. Является Рущевич и произносит перед классом речь длинную, тягучую, поучительную. Преступление не может остаться без наказания... Уже наказаны, быть может, невинные, и будут наказаны еще более. Это нечестно. Зачинщики должны сознаться, или класс обязан их выдать...

Но у нас свои понятия о честности. Честность — это товарищество. В нем одном мы находим ощущения, которых не дает и не требует ни арифметика, ни география, ни аористы: самоотвержение, готовность пострадать за общее дело, мужество, верность. Мы знаем, что жевать бумагу и кидать в белые стены — глупо. Когда вошел Тысс и, не говоря ни слова, окинул класс своим серьезным и как будто скучающим взглядом, нам было стыдно. Но — постоять за товарищей не глупо, а хорошо и красиво... Каждый из нас ждет своей очереди присоединиться к пострадавшим, и в этом — оправдание перед ними... В воздухе напряжение, новое, необычное. Ожидание нарастающей грозы вносит новый душевный мотив, разряжает обычное классное томление.

Последний звонок в этот день звучит тоже необычными тонами. Он застает расследование неоконченным и как бы говорит: продолжение завтра. А пока, едва сбегав домой и захватив что-нибудь съестное, мы пробираемся на разведки к карцеру. Окно его высоко, в стене угловой двухэтажной пристройки на задах. Кто-нибудь осторожно кидает мелкий камешек в виде сигнала. Заключенные по очереди, становясь друг другу на спины, появляются в квадрате окна. Они кажутся нам такими дорогими, милыми, красивыми. Особенно дежурный: все мы ответим и за себя — он только за других. Каждому из нас хочется что-нибудь сделать для него, хочется быть на его месте.

Тут зарождалось чувство, из-за которого в семидесятых годах Стрельников послал на виселицу юношу Розовского, не пожелавшего выдать товарища...

Порой эти наши вспышки напоминали прямо массовое помешательство.

Дождливый осенний день. Большая перемена. За окнами каштаны взмахивают еще не опавшею, но уже поблекшей зеленью, косой дождь бьет по стеклам. На дворе играть в мяч нельзя, многие не ушли домой завтракать, коридоры кишат толпой, которая волнуется в тесноте живою зыбью.

Появляется Самаревич. Он только что вошел со двора, мокрый, в черной мерлушечьей шапке и широкой шубе из «бирок» (мелкий подобранный барашек). Его желтое лицо кажется особенно странным в черной остроконечной мурмолке, на фоне черного воротника, в сумеречном освещении коридора. Среди шумной толпы он проходит брезгливо, точно пробирается по грязной улице; глаза его бегают сердито и чутко: ищут Дитяткевича, чтобы тот проложил ему дорогу. Но Дитяткевича нет. Ученики сами робко сторонятся, когда замечают его, но замечают не сразу: сжатая толпа колышется порой совершенно непроизвольно.

Вдруг из классной двери выбегает малыш, преследуемый товарищем. Он ныряет прямо в толпу, чуть не сбивает с ног Самаревича, подымает голову и видит над собой высокую фигуру, сухое лицо и желчно-злые глаза. Несколько секунд он испуганно смотрит на неожиданное явление, и вдруг с его губ срывается кличка Самаревича:

— Бирка!

Слово, кинутое так звонко прямо в лицо грозному учителю, сразу поглощает все остальные звуки. Секунда молчания, потом неистовый визг, хохот, толкотня. Исступление охватывает весь коридор. К Самаревичу проталкиваются малыши, опережают его, становятся впереди, кричат: «Бирка, бирка!» — и опять ныряют в толпу. Изумленный, испуганный бедный маниак стоит среди этого живого водоворота, поворачивая голову и сверкая сухими, воспаленными глазами.

На шум выбегают из инспекторской надзиратели, потом инспектор. Но малыши увертываются от рук Дитяткевича, ныряют между ног у другого надзирателя, добродушного рыжего Бутовича, проскакивают мимо инспектора, дергают Самаревича за шубу, и крики: «Бирка, бирка!» — несутся среди хохота, топота и шума. Обычная власть потеряла силу. Только резкий звонок, который сторож догадался дать минуты на две раньше, позволяет наконец освободить Самаревича и увести его в инспекторскую.

На этот раз не пытаются даже искать зачинщиков.

Тут уже совершенно очевидно, что зачинщиков нет, что это просто стихийный взрыв, в котором прорвалась, так сказать, подпочва нашего обычного настроения. Подавлять можно, но овладеть никто не умеет...

Такая же неожиданная демонстрация была устроена и Кранцу. На этого мучителя пришел черный день. Он жил на квартире у немолодой вдовы, и по городу пошли сплетни, что наш сухой и жиловатый лемур воспылал нежной страстью к своей дебелой хозяйке. Городок вообще был полон сплетнями, и слух об этой связи тлел среди других более или менее пикантных слухов, пока однажды дело не разразилось неожиданным и громким скандалом: Кранц объявил о своем переезде на другую квартиру; тогда бойкая вдова ворвалась в заседание гимназического совета и принесла с собой невинного младенца, которого и предложила на попечение всего педагогического персонала.

Через несколько дней из округа пришла телеграмма: *немедленно* устранить Кранца от преподавания. В большую перемену немец вышел из гимназии, чтобы более туда не возвращаться. Зеленый и злой, он быстро шел по улице, не глядя по сторонам, весь поглощенный злобными мыслями, а за ним шла гурьба учеников, точно стая собачонок за затравленным, но все еще опасным волком.

Так он дошел до квартиры Колубовских. Это была многочисленная семья, из которой четверо или пятеро учились в гимназии. Все они были маленькие, толстощекие и очень похожи друг на друга. Самый маленький, жертва Кранца, был общий любимец. В этот день он был болен и оставался дома. Но когда братья прибежали к нему с радостной вестью, малыш вскочил с постели и, увидев в окно проходившего мучителя, выскочил на улицу. Братья кинулись за ним, и затравленный волк очутился в курьезной осаде. Младший Колубовский, с сверкающими глазами, заступил ему дорогу и крикнул:

— А! Что, проклятый немец? Прогнали? Прогнали? Будешь мучить? Проклятый, проклятый!..

Остальные братья тоже бежали с ругательствами. К ним присоединились бывшие поблизости ученики, и взбешенный Кранц, все прибавляя шагу, дошел до своей квартиры, сопровождаемый свистом, гиканьем и криками «ура». К счастью, квартира была недалеко. На крыльце немец оглянулся и погрозил кулаком, а в окно выглядывало злорадное лицо бедной жертвы его коварства.

К концу этой сцены с угрюмыми и сконфуженными лицами проходили мимо другие учителя. Ученикам

было совестно смотреть на них, но, кажется, и учителям было совестно смотреть на учеников. . . . .

. . . .

Один только раз на нашем горизонте встала возможность чего-то вроде беспорядков «с политической окраской».

Это было в 1867 или 1868 году. Ждали генерал-губернатора Безака [1]. Остановиться он должен был у исправника, на Гимназической улице, поэтому исправницкая квартира стала центром общего внимания. Кругом из-за заборов, из переулочка, вообще из-за разных прикрытий робко выглядывали любопытные обыватели. Прямо против дома исправника была расположена ученическая квартира вдовы Савицкой, и так как это было уже после уроков, то кучка учеников вышла в палисадник, чтобы полюбоваться встречей. Улица имела приличный случаю торжественно-испуганный вид. У крыльца, вытянувшись в струнку, застыли квартальные. Все было подметено, убрано, вычищено. Все превратилось в ожидание.

Часов, вероятно, около пяти прискакал от тюрьмы пожарный на взмыленной лошади, а за ним, в перспективе улицы, вскоре появился тарантас, запряженный тройкой по-русски. Ямщик ловко осадил лошадей, залился на месте колокольчик, помощник исправника и квартальные кинулись отстегивать фартук, но...

Тут случилось нечто неожиданное и страшное. Фартук сам распахнулся с другой стороны... Из тарантаса выкатилась плотная невысокая фигура в военной форме и среди общего испуга и недоумения его превосходительство, командующий войсками Киевского военного округа и генерал-губернатор Юго-Западного края, бежал, семеня короткими ногами, через улицу в сторону, противоположную от исправничьего крыльца...

Через несколько секунд дело объяснилось: зоркие глаза начальника края успели из-за фартука усмотреть, что ученики, стоявшие в палисаднике, не сняли шапок. Они, конечно, сейчас же исправили свою оплошность, и только один, брат хозяйки,— малыш, кажется, из второго класса,— глядел, выпучив глаза и разинув рот, на странного генерала, неизвестно зачем трусившего

---

[1] Был генерал-губернатором Юго-Западного края с 1865 по 1868 год. Ярый обруситель.

грузным аллюром через улицу... Безак вбежал в палисадник, схватил гимназиста за ухо и передал подбежавшим полицейским:

— Арестовать!..

Полицейское управление было рядом, и испуганного мальчика немедленно заперли в каталажку, где обыкновенно держали пьяных до вытрезвления... Только тогда грозное начальство проследовало к исправнику...

Весть об этом происшествии мгновенно облетела весь город.

В тот день я за что-то был оставлен после уроков и возвращался позже обыкновенного домой с кучей расползавшихся книг в руках. Улица была пуста, только впереди виднелось несколько синих мундиров, которых полицейский выпроваживал в конец, подальше от дома исправника. Кое-где мелькала какая-нибудь одинокая фигура, стрелой пересекавшая улицу и исчезавшая... Только когда я поравнялся с казначейством и повернул за угол, навстречу мне попалась кучка гимназистов, человек в десять. Среди них я заметил Перетяткевичей и Домарацких, представителей двух родственных польских семей. Это был по большей части народ великовозрастный, состоятельный и державшийся относительно гимназического режима довольно независимо. Один еще недавно был вынужден оставить гимназию. Увидев меня, они заступили мне дорогу и закидали вопросами:

— Вас пропустили? Ну что? Правда, что с Савицким припадок? Вы видели его сестру?..

— Что такое?— ответил я с недоумением, глядя на их возбужденные лица.

— Хороший товарищ!— насмешливо сказал старший Перетяткевич.— Да где же вы были это время?

— В карцере.

— А! Это другое дело. Значит, вы не знаете, что Безак схватил Савицкого за ухо и швырнул в каталажку... Идите домой и зовите товарищей на улицу.

Рассказ прошел по мне электрической искрой. В памяти, как живая, встала простодушная фигура Савицкого в фуражке с большим козырем и с наивными глазами. Это воспоминание вызвало острое чувство жалости и еще что-то темное, смутное, спутанное и грозное. Товарищ... не в карцере, а в каталажке, больной, без помощи, одинокий... И посажен не инспектором... Другая сила, огромная и стихийная, будила теперь

чувство товарищества, и сердце невольно замирало от этого вызова. Что делать?

Я побежал домой, бросил книги, не нашел братьев и опять опрометью кинулся на улицу. Перетяткевичей и Домарацких уже не было. Они, вероятно, ушли куда-нибудь совещаться. Но по площади бродили группы учеников, ошеломленных происшествием и не знавших, что делать. Полицейские не успевали их прогонять даже с Гимназической улицы... Разговаривали, расспрашивали, передавали в разных вариантах, что случилось. Сходились, расходились, не находя места. Несколько человек, особенно предприимчивых, пробрались к окну каталажки через забор соседнего двора и видели, что Савицкий лежит на лавке. Будочник покрыл его лицо темною тряпкой...

Трудно сказать, что могло бы из этого выйти, если бы Перетяткевичи успели выработать и предложить какой-нибудь определенный план: идти толпой к генерал-губернатору, пустить камнями в окна исправницкого дома... Может быть, и ничего бы не случилось, и мы разбрелись бы по домам, унося в молодых душах ядовитое сознание бессилия и ненависти. И только, быть может, ночью забренчали бы стекла в генерал-губернаторской комнате, давая повод к репрессиям против крамольной гимназии...

Но раньше, чем это успело определиться, произошло другое.

Из дома на той же улице, одетый по форме, важный, прямой, в треуголке и при шпаге, вышел директор Долгоногов. Он был недавно назначен, и мы его знали мало. Да, правду сказать, и впоследствии не узнали ближе. Он был великоросс, и потому в нем не было обрусительной злобы, справедлив — порой признавал неправым начальство в столкновениях с учениками — и строг. Но для нас это был все же чиновник педагогического ведомства, точный, добросовестный, формалист, требовательный к себе, к учителям и к ученикам... Как оказалось, кроме того — у него было сознание своего достоинства и достоинства того дела, которому он служит. Так представляется мне этот человек теперь, когда я вспоминаю его в этот знаменательный день.

В эту минуту во всей его фигуре было что-то твердое и сурово-спокойное. Он, очевидно, знал, что ему делать, и шел среди смятенных кучек гимназистов, как боль-

шой корабль среди маленьких лодок. Отвечая на поклоны, он говорил только:

— Расходитесь, дети, расходитесь.

И было в нем что-то, заставлявшее учеников чувствовать, что они действительно дети, и полагаться на этого спокойного, серьезного человека...

Так он вошел в дом, где остановился генерал-губернатор. Минуты через три он вышел оттуда в сопровождении помощника исправника, который почтительно забегал перед ним сбоку, держа в руке свою фуражку, и оба пошли к каталажке. Помощник исправника открыл дверь, и директор вошел к ученику. Вслед за тем прибежал гимназический врач в сопровождении Дитяткевича, и другой надзиратель провел заплаканную и испуганную сестру Савицкого...

Было что-то ободряющее и торжественное в этом занятии полицейского двора людьми в мундирах министерства просвещения, и даже колченогий Дидонус, суетливо вбегавший и выбегавший из полиции, казался в это время своим, близким и хорошим. А когда другой надзиратель, большой рыжий Бутович, человек очень добродушный, но всегда несколько «в подпитии», вышел к воротам и сказал:

— Директор просит всех гимназистов разойтись по домам!— то через минуту около полицейского двора и исправницкого дома не осталось ни одного синего мундира...

В чиновничьих кругах передавали подробности сцены между генерал-губернатором и директором. Когда директор вошел, Безак, весь раскаленный, как пушка, из которой долго палили по неприятелю, накинулся на него:

— Что тут у вас! Беспорядки! Непочтительность! Полячки не снимают перед начальством шапок!

— Ваше превосходительство,— сказал Долгоногов холодно и твердо,— в другое время я готов выслушать все, что вам будет угодно сказать. Теперь прежде всего я требую немедленного освобождения моего ученика, незаконно арестованного при полиции. О происшествии я уже послал телеграмму моему начальству...

Безак растерянно посмотрел на директора и... приказал тотчас же отпустить Савицкого.

В один из карточных вечеров у отца об этом случае заговорили чиновники. Все сочувствовали и немного удивлялись Долгоногову. Одни думали, что ему несдоб-

ровать, другие догадывались, что, должно быть, у этого Долгоногова есть «сильная рука» в Петербурге. Отец с обычной спокойной категоричностью сказал:

— А, толкуйте! Просто — действовал человек на законном основании, и баста!

— Но ведь — Безак!.. Назначен самим царем!

— Все мы назначены царем,— возразил отец.

Достоевский в одном из своих «Дневников писателя» рассказывал о впечатлении, какое в юности произвела на него встреча на почтовом тракте с фельдъегерем; фельдъегерь стоял в повозке и, не переставая, колотил ямщика по шее. Ямщик неистово хлестал кнутом лошадей, и тройка с смертельным ужасом в глазах мчалась по прямой дороге мимо полосатых столбов. Эта картина показалась юноше символом всей самодержавной России и, быть может, содействовала тому, что Достоевскому пришлось стоять у эшафота в ожидании казни... В моей памяти таким символическим пятном осталась фигура генерал-губернатора Безака. Цельное представление о «власти-стихии» дало сразу огромную трещину. На одной стороне оказался властный сатрап, хватающий за ухо испуганного мальчишку, на другой — закон, отделенный от власти, но вооружающий скромного директора на борьбу и победу.

Много ли русская школа знает таких выступлений за последние десятилетия, ознаменованные вторжением в нее «административного порядка» и бурными волнениями молодежи? Кто вместо нее проявлял гражданское мужество в защите законности, человечности и права?

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

В деревне

XXIII

ГАРНОЛУЖСКОЕ ПАНСТВО

Деревня для школьника-горожанина — это каникулы.

Когда мы переезжали из Житомира в Ровно, то оказалось, что Гарный Луг, деревня дяди-капитана, находится всего в пятидесяти или шестидесяти верстах от города. По семейному соглашению, сын капитана, Саня, жил у нас в Ровно весь учебный год, а мы всей семьей приезжали к ним на каникулы. Саня был мальчик длинный, худощавый, с деревенскими приемами, которые делали его жертвой насмешек, с детски чистым сердцем и головой, слабоватой на учение. Мы все любили его, но порой довольно жестоко шутили над его деревенской простотой, которую он сохранил на всю жизнь, и сохранил еще что-то особенное: как будто противоречия жизни отпечатлелись бессознательно на слишком чуткой совести.

Деревня была своеобразная, одна из тех, в которых крепостное право еще до формального упразднения уже дошло до явной нелепости. Покойный Данилевский в беглом эскизе набросал картину деревни, носившей характерное название Стопановки. Так окрестили ее потому, что в ней было около сотни «помещиков», почти столько же, сколько крепостных. Таких деревень к концу крепостного права было, надо думать, немало. Поместное сословие множилось, разорялось, теряло черты барства божией милостью, выделяя все более и более паразитов, приживальщиков, владельцев одной или двух душ...

Гарный Луг представлял настоящее гнездо такого выродившегося «панства»: уже ко времени эмансипации в нем было около шестидесяти крестьянских дворов и что-то около двух десятков шляхтичей-душевладельцев. Капитану одному принадлежало около трети.

Как возникла эта странная «социальная структура», я не знаю. Всего вероятнее, что Гарный Луг был когда-то так называемым «застенком», а его «панство» представляло «застенную шляхту», ярко описанную Мицкевичем в «Пане Тадеуше», тяготевшую к какому-нибудь патрону. В черте капитанской усадьбы, на небольшом холмике над прудиком, высилось старинное темное здание с остроконечною крышей загадочного вида и назначения. Кругом, точно почетная стража, стояли семь пирамидальных тополей с опаленными вершинами, и издали всю эту группу можно было принять за старинную сторожевую башню. Но в действительности это был только «магазин», то есть кладовая. В нижнем ее помещении стояли бочки с квасом, огурцами, капустой. В среднем ссыпали в засеки хлеб, а в мезонине была жилая комната с балкончиком. На балкон нам воспрещалось выходить под опасением провала, и порой все это почтенное здание кряхтело и как будто расседалось. Но капитан этого не признавал. Он очень гордился «магазином», который был виден далеко со своими тополями, занимая центральное господствующее положение... Кругом, точно под его покровительством, ютились соломенные крыши, сады, левады, колодцы с журавлями. Кое-где в одиночку, точно отбившиеся от центра, торчали отдельные тополи, обозначая «панские усадьбы». Лучшая из них — дом капитана, была тоже с соломенной крышей. Остальные почти уже ничем не отличались от мужицких.

По преданию — «магазин» был единственным остатком богатой панской усадьбы, служившей центром для гарнолужской шляхты. Капитан дорожил им как эмблемой. Самый крупный из «помещиков» Гарного Луга, хотя человек сравнительно новый,— он вместе с этой древней постройкой как бы наследовал первенствующее положение...

Прежний центр исчез навеки, а с ним исчез и смысл существования местной шляхты.

Капитан, как уже сказано, был отличный рассказчик и по временам, в длинные зимние вечера, любил изображать эпизоды гарнолужского прошлого с его удивительными нравами. Старая, отжившая шляхетская «воля», лишенная смысла и значения, выражалась в карикатурных формах. В деревне было две партии, продолжавшие из-за чего-то воевать, нападать друг на друга и тягаться в судах. Центром этой борьбы явля-

лось право пропинации, то есть сдача в аренду шинка. Каждая партия считала это право за собой, и каждая выдвигала своего кандидата, поддерживая его вооруженной рукой. Шинок превращался порой в настоящую крепость. Паны Лохмановичи ставили караулы, чтобы защитить водворенного в шинке Янкеля, Банькевичи чинили нападения, чтобы водворить на его место Мошка. Темными ночами порой закипал бой. Паны во главе челяди лезли к корчме на приступ: трещали головы, лаяли собаки, вопили женщины и дети...

Когда водка вся выходила и приходилось покупать в городе новый запас — наступали самые драматические моменты этой гарнолужской илиады. Янкеля с бочкой сопровождал вооруженный отряд. Вперед проезжали благополучно. Но на обратном пути, около мостика в овраге, устраивалась засада. В одной из таких экспедиций капитан, кажется, участвовал лично и с большим юмором рассказывал, как во время жаркого боя мужики вышибли у бочки дно. Обе стороны, забыв вражду, кинулись черпать водку шапками, ковшами, даже сапогами, у кого они были... Утро застало витязей вповалку на лесной мураве, друзей и врагов рядом.

Все это вело, конечно, к тяжбам, с наездами приказных, которые одни извлекали пользу из этих рыцарских столкновений...

В то время, когда мне пришлось познакомиться с Гарным Лугом, героические нравы отошли в область легенд. Панство еще до реформы окончательно опустилось и обнищало... Рассказывали, между прочим, что вследствие каких-то замысловатых семейно-наследственных комбинаций два шляхтича, женатые на родных сестрах, владели одной только крепостной хатой, и то спорной. Хуже всего при этом доставалось, конечно, злополучному предмету спора. Пока о «душе» Микиты в суде шла тяжба, оба пана отдавали ему приказания, и оба требовали покорности. Несчастный мужик вечно находился под воздействием двух сил, тянувших в разные стороны. Не удивительно, что равнодействующая повлекла его в направлении, одинаково удаленном от обеих: он облюбовал себе место в шинке Янкеля... Положение между двумя воюющими и одной нейтральной державой развило в Миките дипломатические способности: порой он заключал союз с одним паном и вместе с ним тузил другого. Потом переходил на сторону противника и для восстановления политического

равновесия добросовестно колотил недавнего союзника. Суда он не боялся, так как в обоих случаях исполнял панское приказание...

Бывало, конечно, и так, что оба пана приходили к сознанию своего, как теперь принято говорить, классового интереса и заключали временный союз против Микиты. Тогда Миките приходилось плохо, если только Янкель не успевал своевременно обеспечить ему убежище.

Вообще жизнь злополучного спорного мужика сложилась совсем не по-людски... Иметь одного, но «настоящего» пана было бы для него счастьем. Поэтому он не раз приходил к капитану, прося купить его в нераздельное владение и обещая работать за троих. Работник он был хороший, и Янкель не имел оснований на него жаловаться. Но купить его было нельзя, так как не было известно, кто же, собственно, мог его продать. А разделить покупную сумму пополам стороны не соглашались: они лучше согласились бы разрубить пополам самого Микиту.

— Хиба̀ ж я таки ничего не стою? — спрашивал бедняга в отчаянии.

— Я тебя, бедный человек, не хулю,— отвечал капитан.— Мужик ты стоящий, но с тобой приходится наживать тяжбу... Иди себе с богом...

Микита шел в корчму, напивался и становился страшен для обоих владельцев...

Самым старым из этой шляхты был пан Погорельский, живая летопись деревни, помнивший времена самостоятельной Польши. Он служил «панцирным товарищем» в хоругви какого-то пана Холевинского или Голембиовского и участвовал в конфедерации. Ему было что-то около сотни лет.

Мне приходит в голову странная мысль. Чуть не каждый год мы читаем в газетах, что в том или другом месте умер старик или старуха ста, ста десяти лет, а лет восемь или десять назад сибирские газеты сообщали о смерти поселенца 136 лет... Когда мы смотрим на горные склоны, покрытые лесом, то даже средняя гора кажется огромной по сравнению с деревьями: такая бесчисленная зеленая рать толпится по ее уступам. Но если бы выбрать столетние деревья и смерить гору по их росту, то оказалось бы, что десяток-другой таких деревьев уже измеряет всю высоту... Бесчисленные поколения людей, как мелколесье на горных склонах,

уместились на расстоянии двадцати столетий, протекших с той ночи, когда на небе сияла хвостатая звезда и в вифлеемской пещере нашла приют семья плотника Иосифа, пришедшего из Назарета для переписи по указу Августа.

С тех пор, как пала Иудея, Римская империя разделилась и потонула в бесчисленных ордах варваров, основались новые царства, водворилась готическая тьма средневековья с гимнами небу и стонами еретиков; опять засверкала из-под развалин античная жизнь, прошумела Реформация; целые поколения косила Тридцатилетняя война, ярким костром вспыхнула Великая революция и разлилась по Европе пламенем наполеоновских войн... И подумать только, что все это улеглось на расстоянии менее чем двадцати максимальных человеческих жизней. И все это время не было недостатка в 125-летних стариках, которые могли бы, «как очевидцы», передавать друг другу летопись веков.

Таких «очевидцев» до наших дней сменилось бы только... двадцать!..

Одного из таких старых дубов человеческого леса я видел в Гарном Луге в лице Погорельского. Он жил сознательною жизнью в семидесятых и восьмидесятых годах XVIII века. Если бы я сам тогда был умнее и любопытнее, то мог бы теперь людям двадцатого века рассказать *со слов очевидца* события времен упадка Польши за полтора столетия назад.

Но эти вопросы тогда интересовали меня мало.

Проходя за чем-то одним из закоулков Гарного Луга, я увидел за тыном, в огороде, высокую, прямую фигуру с обнаженной лысой головой и с белыми, как молоко, седыми буклями у висков. Эта голова странно напоминала головку высохшего мака, около которой сохранились как бы два белых засохших лепестка. Проходя мимо, я поклонился.

Старик посмотрел на меня выцветшими, но еще живыми глазами и сказал:

— А чей ты, хлопче? Я что-то таких не видал.

Я ответил, что я племянник капитана, и мы разговорились. Он стоял за тыном, высокий, худой, весь из одних костей и сухожилий. На нем была черная «чамарка», вытертая и в пятнах. Застегивалась она рядом мелких пуговиц, но половины их не было, и из-под чамарки виднелось голое тело: у бедняги была одна руба-

ха, и, когда какая-нибудь добрая душа брала ее в стирку, старик обходился без белья.

— Да... Капитан... Знаю... Он купил двадцать душ у такого-то. Homo novus...[1] Прежних уже нет. Все пошло прахом. Потому что, видишь ли... было, например, два пана: пан Банькевич, Иосиф, и пан Лохманович, Якуб. У пана Банькевича было три сына, и у пана Лохмановича, знаешь, тоже три сына. Это уже выходит шесть. А еще дочери... За одной Иосиф Банькевич дал пятнадцать дворов на вывод, до Подоля... А у тех опять пошли дети... У Банькевича: Стах, Франек, Фортунат, Юзеф...

Он сыпал генеалогическими разветвлениями, которые я, конечно, передаю здесь очень вольно, и потом заговорил о старых временах:

— Гей, гей!.. Скажу тебе, хлопче, правду: были люди — во времена «Речи Посполитой»... Когда, например, гусарский регимент [2] шел в атаку, то, понимаешь, как буря: потому что за плечами имели крылья... Кони летят, а в крыльях ветер, говорю тебе, как ураган в сосновом бору... Иисус, Мария, святой Иосиф...

Лицо старого панцирного товарища покраснело до лысой макушки, белые букли по сторонам поднялись, и в выцветших зрачках явилась колючая искорка.

Но вдруг он опять весь погас.

— А теперь... Га! Теперь — все покатилось кверху тормашками на белом свете. Недавно еще... лет тридцать назад, вот в этом самом Гарном Луге была еще настоящая шляхта... Хлопов держали в страхе... Чуть что... А! сохрани боже! Били, секли, мордовали!.. Правду тебе скажу — даже бывало жалко... потому что не по-христиански... А теперь...

Он вытянул через тын свою сухую шею и заговорил мне в ухо тихим шепотом:

— Теперь мужик, клянусь богом и пресвятой девой, бьет родовитого шляхтича по морде... И что же?.. Га! Ничего... Да что тут и говорить: последние времена!

Было знойно и тихо. В огороде качались желтые подсолнухи. К ним, жужжа, липли пчелы. На кольях старого тына чернели опрокинутые горшки, жесткие листья кукурузы шелестели брюзгливо и сухо. Старые глаза озирались с наивным удивлением: что это тут

---

[1] Новый человек *(лат.)*.— *Ред.*

[2] Полк *(пол.)*.— *Ред.*

кругом? Куда девались панцирные товарищи, пан Холевинский, его хоругвь, прежняя шляхта?..

В этом старце, давно пережившем свое время, было что-то детски тихое, трогательно-печальное. Нельзя сказать того же о других представителях nobilitatis harnolusiensis [1], хотя и среди них попадались фигуры в своем роде довольно яркие.

Однажды у капитана случилась пропажа: кто-то ночью взломал окно в нижнем помещении «магазина» и утащил оттуда кадку масла и кадку меду. Первым сообщил о пропаже пан Лохманович.

Это был человек с очень живописной наружностью: широкоплечий, с тонкой талией, с прямым польским носом и окладистой бородой, красиво расстилавшейся по всей груди,— он представлял, вероятно, точную копию какого-нибудь воинственного предка, водившего в бой отряды... Теперь это была форма без содержания. Из всех качеств старопольского воинства в нем сохранилась только величавая осанка, богатырский аппетит и благородное влечение к тонким блюдам. «Пан Лохманович,— говорил про него капитан,— знает, чем пахнет дым из каждой печной трубы в Гарном Луге». К мужичью он питал нескрываемое презрение.

— Их дело,— говорил он уверенно, когда на пропажу собрались соседи.— Шляхтич на это не пойдет. Имею немного, что имею — мое. А у хамов ни стыда, ни совести, ни страха божия...

Мужики угрюмо молчали и осматривали внимательно признаки взлома. Вдруг один из них разыскал следы под окном. Следы были сапожные, и правый давал ясный отпечаток сильно сбитого каблука... Мужики ходят в «постолах». Сапоги — обувь панская. И они недвусмысленно косились на правый каблук гордого пана... В этой щекотливой стадии расследования пан Лохманович незаметно стушевался...

Поднялся шум. «Разнузданное хлопство», не стесняясь, кричало, что капитанский магазин обокрали паны, и с этим известием хлынуло на улицу. Достоинство гарнолужского панства жестоко страдало. Шляхта собралась у старика Погорельского, человека сведущего в вопросах чести, и на общем совете было решено отправить к Лохмановичу депутацию. Бывший панцирный товарищ стал во главе ее и обратился к «брату

---

[1] Гарнолужского дворянства *(лат.)*.— *Ред.*

шляхтичу» с речью... Сам уважаемый собрат и благодетель видит, что обстоятельства исключительного рода: хлопство кидает злую «калюмнию» на все благородное сословие Гарного Луга... Единственно для того, чтобы вогнать клевету обратно в хлопские пасти, шляхетство просит своего уважаемого собрата дозволить осмотр кладовых.

Пан Лохманович, величавый, как всегда, спокойно согласился.

— Pro forma, благодетель, pro forma,— говорил обрадованный Погорельский.— Только чтобы зажать рты низкой черни.

Обыск подходил к концу без всякого результата. «Имею мало... что имею — мое!» — повторял Лохманович. Собирались уже уходить, когда один из мужиков, допущенный в качестве депутата, разгреб в углу погреба кучу мякины: под ней оказались рядом обе кадушки...

Подхватив их тотчас же на плечи, мужики торжественно понесли находку к капитану, с криками торжества, с песнями, с «гвалтом и тумультом»...

Это был жестокий удар всему панству. Пан Погорельский плакал, как бобр, по выражению капитана, оплакивая порчу нравов,— periculum in mores nobilitatis harnolusiensis [1]. Только сам Лохманович отнесся к неприятной случайности вполне философски. Дня через два, спокойный и величавый, как всегда, он явился к капитану.

— Не лучше ли, уважаемый собрат и сосед, бросить это грязное дело,— сказал он.— Ну случилось там... с кем не бывает... Стоит ли мешать судейских крючков в соседские дела?..

Капитан был человек вспыльчивый, но очень добродушный и умевший брать многое в жизни со стороны юмора. Кроме того, это было, кажется, незадолго до освобождения крестьян. Чувствовалась потребность единения... Капитан не только не начал дела, простив «маленькую случайность», но впоследствии ни одно семейное событие в его доме, когда из трубы неслись разные вкусные запахи, не обходилось без присутствия живописной фигуры Лохмановича...

Но едва ли не самыми замечательными представителями этого измельчавшего шляхетства были два брата

[1] Падение нравов гарнолужского дворянства *(лат.).— Ред.*

Банькевича. Один — «заведомый ябедник» (был в старину такой официальный термин), другой — увы! — конокрад.

Наружность у Антония (так звали ябедника) была необыкновенно сладостная. Круглая фигура, большой живот, маленькая лысая голова, сизый нос и добродушные глаза, светившиеся любовью к ближним. Когда он сидел в кресле, сложив пухлые руки на животе, вращая большими пальцами, и с тихой улыбкой глядел на собеседника,— его можно было бы принять за олицетворение спокойной совести. В действительности это был опасный хищник.

Ябедник, обладавший острым пером, знанием законов и судопроизводства, внушал среднему обывателю суеверный ужас. Это был злой волшебник, знающий магическое «слово», которое отдает в его руки чужую судьбу. Усадьба Антона Банькевича представляла нечто вроде заколдованного круга.

Если курица какого-нибудь пана Кунцевича попадала в огород Антония, она, во-первых, исчезала, а во-вторых, начинался иск о потраве. Если, наоборот, свинья Банькевича забиралась в соседский огород — это было еще хуже. Как бы почтительно ни выпроводил ее бедный Кунцевич — все-таки оказывалось, что у нее перебита нога, проколот бок или каким иным способом она потерпела урон в своем здоровье, что влекло опять уголовные и гражданские иски. Соседи дрожали и откупались.

— А! Прошу вас, мой благодетель,— говаривал с видом беспомощного отчаяния один из этих несчастных.— Ну как тут быть, когда человек не знает, какой статьей закона следует гнать из огорода гуся, а какой поросенка. А он загоняет себе чужих и ничего не боится.

Соседям казалось, что куры, индюки и телята Банькевича ограждены особым покровительством закона, а ябедник, стоя на крылечке, целые дни озирал свои владения, высматривая источники дохода...

Слава Банькевича распространилась далеко за пределы Гарного Луга, и к нему, как к профессору этого дела, приезжали за советом все окрестные сутяги.

Появление в Гарном Луге капитана и независимое отношение нового владельца к опасному ябеднику грозили пошатнуть прочно установившийся авторитет. Поэтому Банькевич, наружно сохраняя наилучшие отно-

шения к «уважаемому соседу и благодетелю», высматривал удобный случай для нападения... И вот на второй, кажется, год пребывания капитана в Гарном Луге Банькевич отправился на его ниву со своими людьми и сжал его хлеб.

Убыток был не очень большой, и запуганные обыватели советовали капитану плюнуть, не связываясь с опасным человеком. Но капитан был не из уступчивых. Он принял вызов и начал борьбу, о которой впоследствии рассказывал охотнее, чем о делах с неприятелем. Когда ему донесли о том, что его хлеб жнут работники Банькевича, хитрый капитан не показал и виду, что это его интересует... Жнецы связали хлеб в снопы, тотчас же убрали их, и на закате торжествующий ябедник шел впереди возов, нагруженных чужими снопами.

Дорога пролегала задами мимо капитанской усадьбы. Едва возы, скрипя, поравнялись с широкими воротами клуни, эти ворота внезапно открылись, капитан с людьми выскочил из засады и, подхватив лошадей и волов, завернул возы в клуню. Их вводили в одни ворота, быстро выгружали и выпускали порожнем в другие. Атака произведена была так ошеломляюще быстро, что сторона Банькевича не оказала никакого сопротивления. Когда все было кончено, капитан, сняв фуражку, любезно благодарил доброго соседа за его помощь и приглашал откушать после трудов хлеба-соли.

Удар ябеднику был нанесен на глазах у всего Гарного Луга... Все понимали, что дело завязалось не на шутку: Банькевич отправился на «отпуст» к чудотворной иконе, что делал всегда в особенно серьезных случаях.

Когда он вернулся, из его окна всю ночь светился огонь на кусты жасмина, на бурьян и подсолнухи, а в избе виднелась фигура ябедника, то падавшего на колени перед иконой, когда иссякало вдохновение, то усиленно строчившего... На деревне пели уже петухи, когда окно Банькевича стукнуло и в нем появилось красное лицо со следами неостывшего еще вдохновения. С выражением торжества он поднял руку с листом бумаги и помахал им в ту сторону, где высился темной крышей с флагштоком «магазин» капитана, окруженный тополями.

Все эти подробности один из соседей тотчас же конфиденциально сообщил капитану.

Впоследствии капитан ознакомил нас с драматическими перипетиями этой борьбы. Надев роговые очки,

подняв бумагу высоко кверху, он с чувством перечитывал ябеды Банькевича и свои ответы...

Писания Банькевича производили впечатление своеобразных, но, несомненно, талантливых произведений. Стиль был старинный русско-польский, кудреватый, запутанный, усеянный такими неожиданными оборотами, что порой чтение капитана прерывалось общим хохотом. Только сам чтец оставался серьезен. Было видно, что он отдавал дань искусству противника. Тут было действительно и знание законов, и выразительность, и своеобразный пафос, как будто рассчитанный на чувствительность судей. Себя автор называл не иначе, как «сиротой-дворянином», противника — «именующимся капитаном» (мой дядя был штабс-капитан в отставке), имение его называлось почему-то «незаконно приобретенным», а рабочие — «безбожными»... «И как будучи те возы на дороге, пролегающей мимо незаконно приобретенного им, самозванцем Курцевичем, двора, то оный самозваный капитан со своей безбожною и законопротивною бандою, выскочив из засады с великим шумом, криком и тумультом, яко настоящий тать, разбойник и публичный грабитель, похватав за оброти собственных его сироты-дворянина Банькевича лошадей, а волов за ярма,— сопроводили оных в его, Курцевича, клуню и с великим поспехом покидали в скирды. О каковом публичном рабунке и явном разбое он, нижайший сирота-дворянин Антоний Фортунатов Банькевич, омочая сию бумагу горькими сиротскими слезами, просит произвести строжайшее следствие и дать суд по форме». В заключение приводились статьи, угрожавшие капитану чуть не ссылкой в каторжные работы, и список убытков, грозивший разорением.

На этих произведениях Банькевича я впервые знакомился с особенностями ябеднического стиля, но, конечно, мое изложение дает лишь отдаленное понятие об его красотах. Особенно поражало обилие патетических мест. Старый ябедник, очевидно, не мог серьезно рассчитывать на судейскую чувствительность; это была бескорыстная дань эстетике, своего рода полет чистого творчества.

Пущенная по рукам жалоба читалась и перечитывалась. Газет в деревне не было. Книги почти отсутствовали, и с красотами писаного слова деревенские обыватели знакомились почти исключительно по таким произведениям. Все признавали, что ябеда написана пером

острым и красноречивым и капитану придется «разгрызть твердый орех»... Банькевич упивался литературным успехом.

Капитан вооружился, в свою очередь, и вскоре тоже прочитал знакомым «в такой-то уездный суд корпуса лесничих отставного штабс-капитана Курцевича отзыв. А о чем оный отзыв» — тому следовали пункты.

Прежде всего он, проситель, не самозванец, а истинный государя своего штабс-капитан, на что имеет законные доказательства. Ибо участвовал в делах с мятежниками, причем понес ядерную контузию, имеет ордена. Выйдя в отставку, определился на службу по корпусу лесничих, был производим в чины, по прошению уволен в отставку, в чине штабс-капитана с мундиром и пенсией. Из чего явствует, что именующий себя сиротой-дворянином Банькевич повинен не токмо в клеветническом оболгании его, Курцевича, но, сверх того, и в дерзостном пренебрежении высочайшего имени, на указах обозначенного.

Пафосу и чувствительности Банькевича капитан противопоставил язвительность и иронию. Он спрашивал: как сирота-дворянин очутился со снопами у его, Курцевича, клуни, когда всему свету известно, что собственное его, Банькевича, владение находится в другой стороне. «Слыхано и видано,— прибавлял капитан язвительно,— что сироты ходят с торбами, вымаливая куски хлеба у доброхотных дателей,— но чтобы сироты приезжали на чужое поле не с убогою торбиною, а с подводами, конно и людно, тому непохвальный пример являет собою лишь оный Антон Фортунатов Банькевич, что в благоустроенном государстве терпимо быть не может». А посему, за силою законов, капитан, в свою очередь, требовал для Банькевича разных немилостивых наказаний.

Отзыв он повез в город лично. Прислуга вытащила из сундуков и принялась выколачивать военный мундир с эполетами, брюки с выпушками, сапоги со шпорами и каску с султаном. Развешанное на тыну, все это производило сильное впечатление, и в глазах смиренной публики шансы капитана сильно поднялись.

Тяжба тянулась долго, со всякими подходами, жалобами, отзывами и доносами. Вся слава ябедника шла прахом. Одолеть капитана стало задачей его жизни, но капитан стоял, как скала, отвечая на патетические ябеды язвительными отзывами, все расширявшими его ли-

тературную известность. Когда капитан читал свои произведения, слушатели хлопали себя по коленкам и громко хохотали, завидуя такому необыкновенному «дару слова», а Банькевич изводился от зависти.

Едва ли самая злая газетная полемика так волнует теперь литературных противников, как волновала и самих участников, и местное общественное мнение эта борьба капитана с злым ябедником, слава которого колебалась, как иная литературная репутация под ударами новой критики.

В конце концов Банькевич потерял самообладание и стал писать доносы в высшие инстанции на самих судей, чинящих одному Курцевичу толеранцию и потакательство, а ему, сироте-дворянину,— импертыненцию и несправедливость. Кроме того, он засыпал разные учреждения доносами на родственников и знакомых капитана и на знакомых этих знакомых. Стоило становому, проезжая по стороннему делу, завернуть к капитану — Банькевич писал донос на станового. Это была игра уже не на выигрыш, а отчаянная, слепая защита ябеднического самолюбия...

Суд, которому это надоело, собрал все писания Банькевича и отослал в сенат. Сенат применил к Банькевичу статью о «заведомых ябедниках», от коих всем присутственным местам и лицам воспрещается принимать жалобы и доносы. Решение это настигло Банькевича, как гром среди ясного неба. По предписанию нижнего земского суда в Гарный Луг явился становой пристав с волостными и сельскими властями. Собрав гарнолужских понятых, он с злорадным торжеством явился к Антонию, отобрал у него всю бумагу, перья, чернила и потребовал у «заведомого ябедника» подписку о «неимении оных принадлежностей и на впредь будущие времена».

Банькевич был уничтожен. У злого волшебника отняли черную книгу, и он превратился сразу в обыкновенного смертного. Теперь самые смиренные из его соседей гоняли дрючками его свиней, нанося действительное членовредительство, а своих поросят, захваченных в заколдованных некогда пределах, отнимали силой. «Заведомый ябедник» был лишен покровительства законов.

Одной темной осенней ночью на дворе капитана завыла собака, за ней другая. Проснулся кто-то из работников, но сначала ничего особенного во дворе не заме-

тил... Потом за клуней что-то засветилось. Пока он будил других работников и капитана, та самая клуня, с которой началась ссора, уже была вся в огне.

Эту ночь долго помнили в Гарном Луге. Хлеб уже был свезен, но только небольшая часть обмолочена и зерно сложено в «магазине». Оставшиеся скирды и солома пылали так сильно, что невозможно было подступиться; вверху над пожаром в кровавом отсвете вместе с искрами кружились голуби и падали в пламя, а огромные тополи около «магазина» стояли, точно сейчас отлитые из расплавленной меди. Поджог был сделан с расчетом — ветер дул на «магазин». Но вскоре он переменился и подул в поле. Величавое дряхлое здание уцелело; только у некоторых тополей посохли верхушки и долго потом торчали сухими вениками над остальной буйной листвой, напоминая о страшной ночи.

Капитан в эту ночь поседел. Он хватался за пистолеты, и жене стоило много труда удерживать бешеные вспышки. А пан Антоний сидел утром на своем крылечке, по-прежнему сложив руки на круглом животе и крутя большими пальцами. Соседи видели, как он вышел из своей хаты в начале пожара, протирая глаза и неодетый. Улик, значит, не было. Но он не скрывал, что горячо молился пресвятой деве о своих обидах. И она дала ему понять, что его сиротские слезы не будут оставлены без отмщения... При этом масленые глазки «сироты-дворянина» сверкали радостным умилением, а на губах играла такая странная улыбка, что соседи опять начали низко кланяться Антонию...

Один раз успех как будто улыбнулся старому ябеднику и на любимом поприще. Подошло время восстания. Капитан был поляк, но патриот неважный, и опять брал события с юмористической стороны. Между прочим, он вздумал пошутить над Погорельским и стал уговаривать бывшего панцирного товарища поступить в банду. «Повстанцам недостает вождей, и человек, служивший в хоругви Холевинского, может стать во главе отряда». Бедный старик вздыхал, даже плакал, отбиваясь от соблазнителя: ни нога уже не годится для стремени, ни рука для сабли,— но капитан изо дня в день приходил к его хате, нашептывая одно и то же. В одном из этих разговоров он намекнул, что «до лясу» повезли целые возы окороков. Бедный оголодавший старик не выдержал и наутро после разговора — пришел записаться.

Судьба чуть не заставила капитана тяжело расплатиться за эту жестокость. Банькевич подхватил его рассказ и послал донос, изложив довольно точно самые факты, только, конечно, лишив их юмористической окраски. Время было особенное, и капитану пришлось пережить несколько тяжелых минут. Только вид бедного старика, расплакавшегося, как ребенок, в комиссии, убедил даже жандарма, что такого вояку можно было вербовать разве для жестокой шутки и над ним, и над самым делом.

У ябедника Антония был брат Фортунат. Образ жизни он вел загадочный, часто куда-то отлучался и пропадал надолго с гарнолужского горизонта. Водился он с цыганами, греками и вообще сомнительными людьми «по лошадиной части». Порой к гарнолужскому табуну невесть откуда присоединялись дорогие статные лошади, которые так же таинственно исчезали. Многие качали при этом головами, но... пан Фортунат был человек обходительный и любезный со всеми...

Однажды он исчез и более в Гарном Луге не появлялся. Говорили, будто он сложил свою дворянскую голову где-то темною ночью на промысле за чужими лошадьми. Но достоверно ничего не было известно.

XXIV
ДЕРЕВЕНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Экзамены кончены. Предстоит два месяца свободы и поездка в Гарный Луг. Мать с сестрами и старший брат поедут через несколько дней на наемных лошадях, а за нами тремя пришлют «тройку» из Гарного Луга. Мы нетерпеливо ждем.

Наконец «тройка» является. Прежде всего на улице по направлению от заставы слышен шум. Бежит насмешливое еврейское юношество, крича, кривляясь, кидаясь грязью. В середине этой толпы виднеются три малорослые лошади: сивая кобыла, старый мерин, именуемый по прежнему владельцу Банькевичем, и третий — молодой конек, почти жеребенок, припрягаемый «на случай несчастия». В передний конец он бежит рядом с другими на оброти. На козлах сидит молодой парубок в бараньей шапке, лаптях и штанах с мотней... К нему подбегают насмешливые мишуресы, предлагая ясновельможному пану заехать к ним. Когда овации стано-

вятся слишком шумны и назойливы —«кучер» приподымается и отмахивается кнутом, как от собак. Лицо его при этом совершенно деловито и серьезно. Почтенные рабочие лошади тоже относятся к шумной суетне совершенно серьезно: Банькевич только стрижет ухом, кобыла едва шевелит хвостом, и только юный жеребчик, к удовольствию толпы, становился поперек, высоко лягался и распускал хвост трубой.

Кучер Антось был парубок на удивление некрасивый: странной формы суженная кверху голова, несколько кривые, широко расставленные в бедрах ноги, точно ущипнутый нос и толстые губы. Все вместе производило впечатление, вызывавшее невольную улыбку. Впрочем, он и сам готов был посмеяться над собой. Даже выражение его смешных губ напоминало как будто не самое безобразие, а пародию на чье-то безобразие. И объяснялось это, кажется, глубокой иронией, с которою он относился к своей родной деревне, Гарному Лугу, и ко всему, что из него исходило,— значит, в том числе и к себе. Когда Саня выбегал навстречу и принимался с умилением целовать морды Банькевича и кобылы, Антось смотрел на эти излияния с насмешливым презрением и без всякого повода вытягивал Банькевича кнутом.

В первый приезд, завернув лошадей к сараю и увидя Саню, он сказал ему просто:

— От я и приехал.

— Гы! А мы и не видим,— насмешливо заметил лакей отца, Павел, молодой человек с глуповатым лицом и отвислой нижней губой, но в сюртуке и грязной манишке. Горничная и кухарка подозрительно фыркнули.

Антось нимало не смутился. Скорчив невероятную рожу, он вытянул губы хоботом и так щелкнул в сторону Павла, что обе женщины расхохотались уже над Павлом. К вечеру он стал на кухне своим человеком и пользовался видимым успехом.

В городе он был тогда в первый раз и отнесся к его чудесам с почтительным вниманием. Запасшись кнутом на случай новых еврейских оваций, он весь день осматривал достопримечательности и долго стоял, задравши голову, перед старым замком на острове. Я застал его там: нескладная фигура терялась у подножия гигантского каменного рыцаря, стоящего у подъезда. Глаза парубка с наивным изумлением бродили по стенам с фресками и проникали в зияющие впадины окон, от-

куда из таинственного полумрака поблескивала кое-где позолота карнизов и случайный луч света выхватывал уцелевшие на стенах фигуры нимф и амуров.

— Вот это видно, что паны когда-то жили,— сказал он, увидя меня. И, как-то особенно вздохнув, прибавил: — Паны были настоящие...

Мне показалось, что в этом вздохе, вместе с почтением к настоящим панам, слышалась укоризна по адресу каких-то других, «не настоящих»...

Утром он поднял нас еще до рассвета, и мы по холодку проехали мимо заставы с сонным инвалидом.

Эти поездки с Антосем в Гарный Луг были для нас настоящим праздником; нельзя сказать, чтобы нам было особенно удобно в ободранной и тесной гарнолужской таратайке. Зато целый день перед нами мелькали леса, поля, перелески, реки. Стороной, около шоссе, тянулись вереницы богомольцев в Почаев; ковылял старый еврей с мешком — разносчик своеобразной (впоследствии запрещенной) еврейской почты; тащилась, шурша по щебню, балагула, затянутая сверху пологом на обручах и набитая битком головами, плечами, ногами, перинами и подушками... На козлах еврей, живой и нервный, то и дело взмахивал кнутом, шевелил вожжами, головой, локтями, коленями и подбодрял лошадей отчаянным криком, не производившим на них ни малейшего впечатления.

Около двенадцати часов мы останавливались кормить в еврейском заезжем дворе, проехав только половину дороги, около тридцати верст. После этого мы оставляли шоссе и сворачивали на проселки.

Антось великодушно отдавал нам вожжи, а сам сидел боком и, свесив ноги, курил корешки в черешневой трубке, искусно сплевывая сквозь зубы.

— Вдарь Банькевича, вдарь!— командовал он и по временам брал кнут. Хлесткий удар влипал в спину злополучного мерина. Тройка встряхивала костистыми спинами, тележка катилась быстрее.

Порой в клубке пыли выкатывалась с проселка помещичья бричка. Антось окидывал ее внимательно критикующим взглядом и по большей части презрительно кривил губы, находя, вероятно, что упряжка не настоящая. Но вот на дорогу, как звери, выбежала из лесу пара серых, в краковских хомутах. На козлах сидел бравый кучер в шапочке с павлиньим пером и наборном поясе. В сиденье виднелся пан в полотняном

плаще от пыли, кинувший на нас мимолетный усталый взгляд. Антось торопливо свернул с дороги и долго провожал видение восхищенным взглядом.

— Зализныцький пан,— сказал он почтительно.— Вот это кони... и кучер... Го-го!..

И бедному Банькевичу опять досталось вдоль спины за то, что он не настоящий панский конь, Антось не настоящий кучер и везет не настоящих паничей. В наших взаимных отношениях пробегало облако: мы чувствовали, что, в сущности, Антось презирает нас... правда, вместе с собою...

Солнце склонялось к закату, а наша «тройка» все еще устало месила пыль по проселкам, окруженная зноем и оводами. Казалось, мы толчемся на одном месте. Некованые копыта мягко шлепали по земле; темнело; где-нибудь на дальнем болоте гудел «бугай», в придорожной ржи сонно ударял перепел, и нетопыри пролетали над головами, внезапно появляясь и исчезая в сумерках.

Становилось все тише, спокойнее и как будто печальнее. Мы приближались к цели; чувствовалась по знакомым признакам близость Гарного Луга, и вместе с радостью какой-то еще клубок странных ощущений катился за нами в пыльной сумеречной мгле. Головы отяжелели от жары, солнца и неудобного сиденья. Хотелось поскорей светлой комнаты, чаю, покоя. И из-за близости всего этого проглядывала смутная, неясная, неоформленная тревога, ожидание чего-то еще... чего-то неприятного, что въедет вместе с нами в деревню и останется на все время...

Мы долго молчим. Таратайка ныряет в лес. Антось, не говоря ни слова, берет вожжи и садится на козлы. Тройка бежит бодрее, стучат копыта, порой колесо звонко ударяет о корень, и треск отдается по темной чаще.

— Вот тут зимой за Антосем бежали два волка,— задумчиво говорит Саня и прибавляет:— Антось, правда?

Антось не отвечает. Лица его не видно, но мы чувствуем, что оно теперь недоброжелательно и угрюмо и что причина этого — близость Гарного Луга. Лес редеет. Песчаная дорога ведет к мостику, под которым сочится и журчит невидимая речка. Это здесь когда-то устраивались засады на Янкеля с бочкой... Тележка выкатывается на опушку.

Огромный звездный свод висит над широкой темной лощиной. На горизонте смутно рисуется группа тополей и темный массив «магазина». Кругом беспорядочно разбросаны огоньки.

Как хорошо... И как печально. Мне вспоминается детство и деревня Коляновских... Точно прекрасное облако на светлой заре лежит в глубине души это воспоминание... Тоже деревня, только совсем другая... И другие люди, и другие хаты, и как-то по-иному светились огни... Доброжелательно, ласково... А здесь...

Тележка останавливается и даже откатывается назад. Перед нами в темноте столбы скрипучего «коловорота» у въезда в деревню. Кто-то отодвигает его перед нами. Налево, на холмике, светит открытая дверь кабака. В глубине видна стойка и тощая фигура шинкаря. Снаружи, на призьбе [1], маячит группа мужиков...

— Ты это, Антось?— несется оттуда вопрос.

— А кто же?.. Я.

— Рано выехал?

— До схид сонця...

— Отàк... А приехал ночью...

— Добрые кони,— насмешливо отвечает Антось, и хлесткий удар звонко шлепает в мягкой тишине вечера.

— Что слышал?

— Ничего... Встретили зализныцького пана. Купил новую пару. Огонь! На кучере новая свита...

— Пан... настоящий...

Короткое молчание. Вспыхивают красные огоньки люлек. Один из мужиков подходит к тележке, заглядывает к нам и вежливо здоровается. Но от шинка опять несутся бесцеремонные замечания:

— Привез-таки?

— А привез,— отвечает Антось.

— Всех?

— А кто его знает: может, пару обронил по дороге. Пойдите, добрые люди, подберете — ваше.

— Своих довольно, свои осточертели до біса...

В голосе слышна угрюмая вражда.

— Геть-геть... вьо-о!

Антось щелкает кнутом и принимает позу «настоящего» панского кучера, собирающегося лихо подкатить к крыльцу... Он делает вид, что с трудом удерживает

---

[1] Завалинке *(укр.).— Ред.*

лихую тройку, и даже отваливается корпусом назад. У кабака смеются. Тройка дергает вперед и заворачивает в переулок, где за ней увязываются собаки. Под этот лай, под хлопанье бича и кривлянье Антося мы подъезжаем к скромному дому капитана... И вместе с радостью прибытия, с предчувствием долгой свободы в душе стоит смутное сознание, что на эти два месяца мы становимся «гарнолужскими паничами». И над нами, как тень от невидимой тучи, простирается общее отношение этих убогих хат к своему панству... То есть инстинктивная вражда, как к панству вообще, и презрение, как к панству «не настоящему»...

Я уверен, что многие мои сверстники, выраставшие в условиях ликвидации крепостного строя,— в той или другой форме, в той или другой степени, вспомнят это особое сложное «деревенское впечатление»...

Один из работников капитана, молодой парубок Иван, не стесняясь нашим присутствием, по-своему объяснял социальную историю Гарного Луга. Черт нес над землей кошницу с панами и сеял их по свету. Пролетая над Гарным Лугом, проклятый чертяка ошибся и сыпнул семена гуще. От этого здесь панство закустилось, как бурьян на том месте, где случайно «ляпнула» корова. А настоящей траве, то есть мужикам, совсем не стало ходу...

Другие рабочие смеялись, мы... слушали.

Этот Иван был парубок молодой, смуглый, с глазами, горящими как угли. Из них глядела мрачная вражда, от которой по временам становилось жутко. Мы не могли тогда понять источника этой вражды и считали Ивана просто отвратительным человеком с дурным характером... Но в мрачном пламени его глаз было что-то незабываемое, беспредметно гневное, стихийное. Казалось, он может без всякой причины кинуться на человека, зарубить топором, пропороть вилами. Однажды, когда мы вместе с рабочими возили с поля снопы, у Ивана вырвались лошади с порожней телегой, прибежали во двор с одним передком и в необъяснимом ужасе забились в тесный угол между плетнем и сараем. Иван прибежал за ними и, схватив большой дрюк, стал колотить напуганных животных по чем попало, бешено, исступленно, прямо безумно. Несколько человек едва справились с освирепевшим парубком, а лошади до самого вечера дрожали как в лихорадке неперестающею мелкою дрожью. К рабочим он не выказывал никакой

вражды, а только отмахивался и рвался опять к «проклятой панской скотине».

Капитан обыкновенно в случаях неисправностей ругал виновного на чем свет стоит так громко, что было слышно по всей деревне. Но на этот раз он не сказал ни слова. Только на следующее утро велел позвать Ивана.

Тот вошел, как всегда угрюмый, но смуглое лицо его было спокойно. Капитан пощелкал несколько минут на счетах и затем протянул Ивану заработанные деньги. Тот взял, не интересуясь подробностями расчета, и молча вышел. Очевидно, оба понимали друг друга... Матери после этого случая на некоторое время запретили нам участвовать в возке снопов. Предлог был — дикость капитанских лошадей. Но чувствовалось не одно это.

Может быть, этот Иван был сын какого-нибудь спорного Микиты...

Была еще во дворе капитана характерная фигура, работник Карл, или, как его называли на польский лад,— Кароль. Это был не совсем заурядный крестьянин, а по виду и совсем не мужик. Самое имя его было не православное (кажется, он был из униатов). Черты лица были тонки, суховаты, заострены. Сеть морщинок около глаз оттеняла их странное выражение: то задумчиво спокойное, то какое-то колючее и горькое. Он был мастер на все руки: слесарь, столяр, плотник и даже механик. А так как капитан сам тоже обладал жилкой изобретателя-самоучки, то их соединяла как будто симпатия родственных натур. Они сообща построили водяную мельницу, шумевшую колесами на заднем конце пруда, а потом, когда воды оказалось мало для крупного помола,— конный привод. Часто их можно было видеть вместе: Кароль сидел на бревне или на мельничном приводе, с вечной люлькой в зубах и маленьким топориком в руках. Он постукивает топориком, курит, сплевывает, не говорит ни слова и внимательно слушает. А капитан, увлекаясь и жестикулируя, развивает какой-нибудь новый план. Фантазер и изобретатель, он эти свои планы излагал с увлечением, картинно, восторженно. А Кароль, усвоив их сущность, приводил в исполнение, самостоятельно исправляя недочеты замысла.

В эти минуты их можно было принять за двух неразлучных друзей. Но иной раз капитан за глаза говорил с горечью:

— А! Мужик, так мужик и есть! Как волка ни корми — все в лес глядит.

А Кароль иногда запивал, и тогда они старались не встречаться.

Как-то раз, на второй или на третий год наших приездов, мы узнали, что когда-то, незадолго до освобождения, капитан приказал обливать Кароля холодной водой на морозе...

Капитан был человек добрый, но время было тревожное, предрассветное, когда мрак как будто еще сгущается и призраки ночи мечутся в предчувствии скорого петушиного крика... Ходили темные слухи о воле, и в крестьянскую массу они проникали еще более смутные, неправдоподобные, фантастические...

В окрестностях появился гайдамак, называвший себя новым Кармелюком. Это был мужик из ближнего села, ходивший по лесу вместе с обнищавшим шляхтичем из местечка Корца и грабивший одних панов. Через некоторое время шляхтича нашли утопленным в колодце, а гайдамака выдал знакомый мужик. На него сделали облаву, в которой участвовали также помещики (капитан в их числе),— и сослали в Сибирь... Несколько лет об нем не было ни слуху ни духу, и вдруг он объявился опять. Мужик-доносчик косил на лужайке в лесу, когда перед ним неожиданно встал гайдамак. Доносчик считал себя погибшим; но тот заставил его сесть на пень и... дочиста обрил бороду, усы и голову. В таком виде он отпустил его вестником к панам: новый Кармелюк собирается в гости...

Однажды, на рождестве, Кароль с другим рабочим, возвращаясь из церкви лесной тропинкой, наткнулись в чаще на огонек. У костра сидели двое вооруженных людей. Они спросили у испуганных рабочих — чьи они? — угостили водкой и сообщили, что панам скоро конец.

Вернувшись, ни Кароль, ни его спутник ничего не сказали капитану о встрече, и он узнал об ней стороной. Он был человек храбрый. Угрозы не пугали его, но умолчание Кароля он затаил глубоко в душе как измену. В обычное время он с мужиками обращался лучше других, и мужики отчасти выделяли его из рядов ненавидимого и презираемого панства. Теперь он теснее сошелся с шляхтой и даже простил поджигателя Банькевича.

Однажды в какое-то неподходящее время Кароль запил, и запой длился дольше обыкновенного. Капитан

вспылил и решил прибегнуть к экстренным мерам. На дворе у него был колодец с «журавлем» и желобом для поливки огорода. Он велел раздеть Кароля, положить под желоб на снег и пустить струю холодной воды... Приказание было исполнено, несмотря на слезы и мольбы жены капитана. Послушные рабы истязали раба непокорного...

Об этой истории никто впоследствии не смел напомнить капитану, и когда, узнав о ней, я спросил у двоюродной сестры: правда ли это? — она вдруг побледнела и с расширенными глазами упавшим голосом сказала:

— Правда, но... ради бога, тише.

Эпизод этот залег в моей памяти каким-то странным противоречием, и порой, глядя, как капитан развивает перед Каролем какой-нибудь новый план, а тот слушает внимательно и спокойно,— я спрашивал себя: помнит ли Кароль или забыл? И если помнит, то винит ли капитана? Или себя? Или никого не винит, а просто носит в душе беспредметную горечь и злобу? Ничего нельзя было сказать, глядя на суховатое морщинистое лицо с колючей искоркой в глазах и с тонкими губами, сжатыми, точно от ощущения укуса и желчи...

Впрочем, и я, конечно, не разбирался и не суммировал своих впечатлений. Капитан человек добродушный... И он обливал человека водой на морозе... Кароль с ним теперь как будто дружен... Но «как волка ни корми — он глядит в лес». И что-то неприятное примешивалось ко всем деревенским впечатлениям. Было хорошо иной раз отправиться в ночное с кучкой деревенских ребят, весело скакавших в сумерках на неоседланных лошадях. Приятно и жутко спать в саду под деревом, прислушиваясь к ночным шепотам и шорохам... Порой среди тихого бреда ночной природы срывалось отяжелевшее яблоко и, громко хлопая по листам, падало на землю... Кричит дальний петух... Тявкает на деревне собака... Близко пролетает с торопливым звонким криком какая-то неугомонная или напуганная птица... И вдруг в затихшем саду новые звуки: треснула ветка хвороста, шуршат кусты. Дерево дрожит слишком частой дрожью, яблоки стучат по земле, как град... Это *они* из деревни забрались в сад, и подходить к ним опасно. Мы втроем начинаем стучать по стволам и кричим в темноту чащи. Со двора бегут собаки. Неясные тени медленно исчезают в кустах...

Матери опять не хотят нас пускать ночевать в саду. Бог знает, что у них на уме... Но те, что приходят «на двор» с просьбами, кланяются, целуют руки... А те, что работают у себя на полях,— кажутся такими умелыми и серьезными, но замкнутыми и недоступными...

Усадьба капитана была ограждена непроницаемыми кустами сирени, и наша жизнь постепенно все более замыкалась в ее пределах... Между нами и деревней стояла стена, и мы чувствовали себя людьми без собственной среды.

Правда, капитан жил теперь в мире с соседями, и гарнолужские «паны» часто посещали его приветливый дом. Лохманович, по-прежнему «маестатозный» [1], хотя надевший вместо «чамары» простую «сукману» из верблюжьей шерсти, не пропускал ни одного торжественного случая. Приходил, покашливая в передней, кланялся капитану, целовал руки у женщин и ждал «стола». Из всех остальных претензий он особенно сохранил претензии гастронома и уверял, будто может различать тончайшие оттенки вин. Пользуясь его слабостью, мы приготовляли порой невероятные смеси, создавая для них торжественную обстановку. Бедный шляхтич смотрел на свет, смаковал, пил с удовольствием и хвалил. Только однажды, когда мы хватили через край и угостили смесью пива, вина и дрожжей,— он все-таки выпил всю бутылку, но на вопрос о качестве — ответил:

— Ну... скажу вам откровенно: обыкновенное столовое вино... не больше.

В особенно торжественных случаях являлся в капитанском доме даже «заведомый ябедник», сирота-дворянин Банькевич. Он сильно растолстел и ослаб. За ужином ел невероятно много, а затем садился поуютнее в кресле и, сложив на животе красные руки, глядел на танцующую или играющую молодежь благодушными глазками, пока не засыпал. Было известно, что в такие минуты с достойным шляхтичем бывают не совсем приличные случайности. Кавалеры хихикали, барышни краснели, а беспечный шляхтич просыпался, окидывал притихший зал светлым взором и спрашивал:

— А?.. Что такое?..

Порой приезжали более отдаленные соседи-помещики с семьями, но это бывало редко и мимолетно. Приез-

[1] «Величественный» *(пол.)*.— *Ред.*

жали, здоровались, говорили о погоде, молодежь слушала музыку, порой танцевала. Ужинали и разъезжались, чтобы не видаться опять месяцы. Никаких общих интересов не было, и мы опять оставались в черте точно заколдованной усадьбы.

Яркий солнечный день. Раскаленные лучи заливают круглую клумбу с цветами, темную зелень сирени, садовые аллеи. Где-то, как немазаное колесо, клекочет аист, в раскрытые окна из гостиной несутся звуки фортепиано. Это кузина играет пьесы из своего небогатого репертуара: «Песня без слов», «Молитва девы», «Полонез» Огинского, шумки и думки польско-украинских композиторов. Играет недурно... Звуки, полные то беспредметной страсти, то неоформленных исторических воспоминаний, то мечтательного томления, рвутся из комнаты, веют над цветами, вьются, носятся, гаснут над истомленным садом. Я слушаю их с наслаждением, странным, томительным, жутким. Они рождают в груди ощущение, которое ищет исхода, порывается куда-то далеко за этот круг цветов и сирени, куда-то вдаль... Порывается и не может взлететь и носится все в том же тесном и знойном кругу... Я ухожу в темные уголки сада, сажусь там и даю волю воображению... В певучем рокоте фортепиано, смягченном расстоянием и зарослями, мне слышится звон чаш, лязг сабель, крики борьбы... И опять романтические призраки прошлого обступают меня кругом, овладевают душой, колышут, баюкают, нежат, уносят в неведомые края и неведомое время... Рыцари, знамена, пыль на степных широких шляхах... Скачка, погоня, сеча... С кем? За что? С какой целью? Во имя какой идеи? Этого не говорит ни этот звенящий рокот, ни раскаленное зноем воображение... А где-то там, за пределами усадьбы, идет своя трудовая жизнь, неведомая и чуждая... От нее веет в наши заколдованные пределы отчужденностью, презрением, враждой... И нет ничего, что бы связало жизнь воображения, мечты, порыва с этой суровой, но действительной жизнью труда и терпения... . . . .

. . . .

На третий, кажется, год мы приехали в Гарный Луг зимой, на святки, и здесь узнали, что Антось умер.

На меня это известие произвело такое впечатление, как будто все то неопределенное, чем веяло на нас с му-

жичьей деревни, вдруг сгустилось в темное облако и оттуда пал громовой удар.

Судьба некрасивого парубка была не совсем обыкновенна.

— Антось, может быть, не простой человек,— говорил нам со своим простодушно-печальным и задумчивым видом Саня.

Происхождение Антося было для нас окутано тайной. Впоследствии я узнал, что тайна эта не особенно сложна. В усадьбе капитана жил некоторое время молодой землемер, и была «покоёвая панна» (нечто почетнее обыкновенной горничной) из обнищавшей шляхты. Он был бедняк, но... это не помешало увлечению, а только свадьбе. За околицей, под купой больших осокорей, стояла хата старушки вдовы Гапки, и в этой хате Антось увидел свет. После этого землемер уехал искать доли, а панна, пока он не найдет эту долю, тоже уехала куда-то на место... Антось остался у Гапки, а потом, в ожидании, пока его потребуют родители,— его взяли к капитану.

Но «доля» так и не далась молодому землемеру. Родители больше уже не встретились ни друг с другом, ни со своим ребенком...

Такова была простая история появления Антося на белом свете вообще и в частности в Гарном Луге. Но так как старшие неохотно раскрывали перед нами черты этого «неприличного» эпизода, то в наших умах из отдельных черточек сложилась более романтическая легенда. Мы почему-то думали, что мать Антося приехала в Гарный Луг в карете, что время родов застигло ее у Гапкиной хаты, что ее высадили какие-то таинственные господа, которые затем увезли ее дальше, оставив Гапке Антося, денег на его содержание и разные обещания. Потом таинственные господа исчезли в широком свете, Гапка умерла, и капитан по своей доброте взял покинутого сироту к себе на кухню.

Так оно, наверное, и было: когда капитан решил оставить у себя сиротку, то, без сомнения, слушался только своего доброго сердца, а не расчета. Остальное пришло как награда за доброе дело, и случилось естественно и просто: мальчик сначала бегал по всем комнатам; им, вероятно, забавлялись и ласкали; потом, естественным образом, местом его постоянного пребывания стала кухня, где его, походя, толкали и кормили. Говорил он, разумеется, «по-мужицки» и вообще вы-

растал маленьким «мужиком», некрасивым, вихрастым, глядевшим искоса, «зызом». А так как естественное состояние мужиков в то время было «кріпацтво», то никто и не заметил, как в лице приемыша Антося подрастал капитану крепостной работник.

В этом положении мы и застали Антося. Это не казалось нам в то время предосудительным или несправедливым, и мы приняли факт так же непосредственно, как и все факты жизни, естественно выраставшие из почвы... Антось был такой же работник из бывших крепостных, как и другие. Только работал за более дешевую плату, и капитан ругал его иной раз байстрюком и неблагодарным. Если можно за это осуждать кого-нибудь, то только таинственных родителей. Но они для нас просто романтические фантомы. Появились, исчезли, Антось остался... И все... Факт вырос в жизни, как в лесу вырастает или сохнет дерево...

Знал ли сам Антось «простую» историю своего рождения или нет?.. Вероятно, знал, но так же вероятно, что эта история не казалась ему простой... Мне вспоминается как будто особое выражение на лице Антося, когда во время возки снопов мы с ним проезжали мимо Гапкиной хаты. Хата пустовала, окна давно были забиты досками, стены облупились и покосились... И над нею шумели высокие деревья, еще гуще и буйнее разросшиеся с тех пор, как под ними явилась новая жизнь... Какие чувства рождал в душе Антося этот шум?

Нужно сказать, что некрасивая фигура парубка не возбуждала идеи о «благородном происхождении». Может быть, он был посеян розой, но по странной игре природы вырос чертополохом. Только немногие черты выделяли его из остальной дворни: между прочим, он был страстный музыкант.

Мои двоюродные сестры учились у гувернанток игре на фортепиано, и одна играла недурно. Когда в гостиной рокотали клавиши и звуки неслись в открытые окна, Антось останавливался над своей работой, а иногда пробирался в кусты и жадно слушал. Иной раз, когда не было капитана, добродушные кузины позволяли ему подходить к инструменту и наигрывали нравившиеся ему мотивы. Кроме того, по воскресеньям у шинка две скрипицы и контрабас наяривали плясовые мотивы, под которые на утоптанной площадке парубки и дивчата плясали казачка... Антось ловил звуки и присматривался к инструментам.

Однажды он смастерил простым ножом грубое подобие скрипки и стал пиликать в конюшне плясовые напевы, а порой передразнивал «Полонез» Огинского или «Молитву девы». Сначала к этому относились как к курьезу, но потом капитану показались оскорбительными эти конюшенные пародии на благородную музыку, или он нашел, что музыкальное баловство мешает работе,— только однажды он страшно вспылил и разбил скрипку вдребезги. Антось сделал другую, лучшую, и с этих пор между Антосем и капитаном началась своеобразная война: Антось прятал скрипки, капитан находил и ломал их. Мы все, молодежь, сочувствовали Антосю и вместе с ним придумывали новые тайники, но и это было только непосредственное чувство: мы готовы были укрыть Антося от капитанского гнева, как укрыли бы от грозы, не рассуждая о том, права эта гроза или нет...

И еще в одном заметно было влияние «непростого происхождения» Антося. Это — в необыкновенном почтении к «настоящим панам»... Эта черта была и в других гарнолужанах, и она понятна. Если уж нужны на свете «господа», то пусть будут «настоящие». Около них и кормиться легче, и подчиняться не так обидно. Но у Антося чувство это достигало размеров какого-то культа... Может быть, он представлял себе, что где-нибудь в неведомом свете стали настоящими господами и те двое людей, которые бросили его в жизни и забыли... А вдруг вспомнят... И он станет тоже «настоящим» и поднимется над презирающими его и презираемыми не настоящими гарнолужскими панами...

Смерть покончила и с этими мечтами, и с этой судьбой... И была она тоже стихийно проста и бессмысленна.

Несмотря на экстренно некрасивую наружность, годам к двадцати Антось выработался в настоящего деревенского ловеласа. Из самого своего безобразия он сделал орудие своеобразного грубоватого юмора. Кроме того, женское сердце чутко, и деревенские красавицы разгадали, вероятно, сердце артиста под грубой оболочкой. Как бы то ни было, со своими шутками и скрипицей Антось стал душой общества на вечерницах.

Однажды, захватив скрипку, он тайно ушел со двора и наутро вернулся, еле волоча ноги. На расспросы, что с ним, он не говорил ничего: «нездýжаю» — и только. Было еще довольно тепло, только по утрам становились заморозки, и Антось, с инстинктом дикого животного,

удалился из людской и устроил себе пристанище на чердаке брошенной водяной мельницы, в конце пруда, совершенно заросшего зеленой ряской. Туда редко кто ходил; там было тихо, пустынно. В полдень, разогретые солнцем, квакали засыпающие на зиму лягушки, и однотонно звенела вода, просачиваясь в старые шлюзы. Изредка наведывавшиеся товарищи слышали, как Антось временами стонет на своей вышке. Но когда подходили, он смолкал и говорил, что ему лучше.

О медицинской помощи, о вызове доктора к заболевшему работнику, тогда, конечно, никому не приходило в голову. Так Антось лежал и тихо стонал в своей норе несколько дней и ночей. Однажды старик сторож, пришедший проведать больного, не получил отклика. Старик сообщил об этом на кухне, и Антося сразу стали бояться. Подняли капитана, пошли к мельнице скопом. Антось лежал на соломе и уже не стонал. На бледном лице осел иней...

Приехал становой с уездным врачом, и Антося потрошили. По вскрытии оказалось, что Антось страшно избит и умер от перелома ребер... Говорили, что парубки, недовольные его успехами на вечерницах и его победами, застигли его ночью где-то под тыном и «били дрючками». Но ни сам Антось и никто в деревне ни единым словом не обмолвился о предполагаемых виновниках.

Как умершего без покаяния и «потрошенного», его схоронили за оградой кладбища, а мимо мельницы никто не решался проходить в сумерки. По ночам от «магазина», который был недалеко от мельницы, неслись отчаянные звуки трещотки. Старик сторож жаловался, что Антось продолжает стонать на своей вышке. Трещоткой он заглушал эти стоны. Вероятно, ночной ветер доносил с того угла тягучий звон воды в старых шлюзах...

К тому времени мы уже видели немало смертей. И, однако, редкая из них производила на нас такое огромное впечатление. В сущности... все было опять в порядке вещей. Капитан пророчил давно, что скрипка не доведет до добра. Из дому Антось ушел тайно... Если тут была вина, то, конечно, всего более и прямее были виновны неведомые парубки, то есть деревня... Но и они, наверное, не желали убить... Темная ночь, слишком тяжелый дрючок, неосторожный удар...

И тем не менее было что-то подавляюще-тревожное, мрачное, почти угрожающее в этой нелепой гибели... В зимние вечера от мельницы несло безотчетным ужасом. И вместе что-то тянуло туда. Дверка вышки была сорвана с одной петли, и перед нею намело снегу. На чердаке было темно, пусто, веяло жуткой тайной и холодом...

Однажды на этих святках старшие уехали куда-то, а мы остались дома одни. Зима была снежная, завалило крыши, клумбы, оголенные кусты сирени, узкие дорожки сада. К вечеру поднялась метель, закрывая белыми хлопьями черные стекла. Мы сидели, сгрудившись в одной комнате, у камина, и разговаривали об Антосе, об его полулегендарном для нас происхождении, об его скрипках. Над разговорами этими носилось невысказываемое, может быть, даже несознанное ощущение чьей-то вины, какой-то крупной неправды... А темная ночь глухо гудела за стенами, над садом, над усадьбой, над мельницей.

Вдруг за стеной в саду послышался лай. Собаки от метели скрылись у садового крыльца, где было тише, и теперь, сорвавшись разом, бешеным клубком понеслись в аллею. И так же внезапно лай стих... С минуту неслось только шипение и вой метели, потом совсем близко послышался пугливый визг, что-то кинулось к наружной двери... Дверь, неплотно запертая, соскочила с задвижки... В сени проникла возня, жалобный визг собак и громкий, торжествующий свист ветра. Казалось, кто-то ворвался в дом и слепо стучится к нам в двери, не находя входа...

Мы переглянулись. Лица были бледны.

— Волк,— сказал кто-то.— Надо выйти.

Выходить было жутко, но мы, мальчики, взяли фонарь, сняли со стены два ружья, старый заряженный пистолет и вышли. Дверь в сенях была открыта, и уже успело накидать снегу. Ободренные нашим присутствием, собаки опять яростно залаяли и понеслись в аллею. За ними ничего не было видно, только в свете фонаря неслись в неистовой пляске белые хлопья, а где-то в невидимом ночном просторе слышался непрерывный протяжный шум, свист, гудение. И еще выделялся глубокий, тревожный гул тополей, а на старой крыше «магазина» железные листы гремели, как будто кто трогал их или пробегал тяжелыми торопливыми шагами. Казалось, будто этой странной ночью все живет особенной

жизнью: кто-то огромный мечется среди метели, плачет, грозит и проклинает, а все остальное несется, налетает, отступает, шипит, гудит, грохочет, грозит или трясется от страха...

Собаки опять затихли, и нам было слышно, как они, спутанным клубком, перескакивая друг через друга, опять убегают от кого-то, жалко визжа от ужаса. Мы поспешно вбежали в сени и плотно закрыли дверь... Последнее ощущение, которое я уносил с собой снаружи, был кусок наружной стены, по которой скользнул луч фонаря... Стена осталась там под порывами вихря. И казалось, ей тоже страшно. Собаки жались к дверям и жалобно, трусливо скулили...

В комнате, освещенной огнем камина, некоторое время стояла тишина.

— Это — Антось...— сказала одна из сестер упавшим голосом.

Это было глупо, но в этот вечер все мы были не очень умны. Наша маленькая усадьба казалась такой ничтожной под налетами бурной ночи, и в бесновании метели слышалось столько сознательной угрозы... Мы не были суеверны и *знали*, что это только снег и ветер. Но в их разнообразных голосах слышалось что-то, чему навстречу подымалось в душе неясное, неоформленное, тяжелое ощущение... В этой усадьбе началась и погибла жизнь... И, как стоны погибшей жизни, плачет и жалуется вьюга...

Поздно ночью, занесенные снегом, вернулись старшие. Капитан молча выслушал наш рассказ. Он был «вольтерианец» и скептик, но только днем. По вечерам он молился, верил вообще в явления духов и с увлечением занимался спиритизмом... Одна из дочерей, веселая и плутоватая, легко «засыпала» под его «пассами» и поражала старика замечательными откровениями. При сеансах с стучащим столом он вызывал мертвецов... Сомнительно, однако, решился ли бы он вызвать для беседы тень Антося...

На следующий день метель стихла, над наметанными за ночь сугробами ярко светило солнце, с крыш и ветвей срывались белые комочки снега... Мы решили, что, наверное, собаки вчера испугались забежавшего из лесу волка. . . . .

. . . .

XXV

СМЕРТЬ ОТЦА

Мы были на летних каникулах в Гарном Луге, когда мать, остававшаяся это лето в городе, прислала известие, чтобы мы все приезжали. Отцу плохо.

Последние годы он все слабел. Уже давно он оставил все свои фантазии, изучение языков, философию, ветеринарию и тому подобные неожиданности, которыми прежде выражались не стихавшие порывы его молодости. Впрочем, уже в самые последние годы жизни он производил еще один опыт. Брился он всегда сам, и так как это становилось для него все труднее, то он задумал более радикальное средство: завел тонкие стальные щипчики и выщипывал волосок за волоском. «Облагодетельствую всех чиновников,— говорил он с трогательным отблеском прежнего тихого юмора,— брейся три раза в неделю,— ведь это мука. А так — выщипал раз — и кончено».

На щеках у него в это время можно было видеть выщипанные плешинки, которые, однако, скоро зарастали. Он выщипывал вторично, думая таким образом истощить рост волос, но результаты были те же... Пришлось признать, что проект облагодетельствования чиновного рода не удается...

Ему оставалось немного дослужить до пенсии. В период молодой неудовлетворенности он дважды бросал службу, и эти два-три года теперь недоставали до срока. Это заставляло его сильно страдать: дотянуть во что бы то ни стало, оставить пенсию семье — было теперь последней задачей его жизни.

Казалось, на этом сосредоточились все оставшиеся его силы. Он уже не глядел по сторонам жизненной дороги — не устраивал даже невинных карточных вечеров, не вмешивался в хозяйственные дела, не спрашивал нас об успехах в гимназии. Встав утром, он заставлял лакея обтирать себя холодной водой, пил молча чай, надевал мундир и отправлялся через наш дворик в суд. В суде держал себя все время так, чтобы никто не мог заметить его слабости. Когда однажды мать послала меня зачем-то экстренно к отцу в эти деловые часы, я был удивлен его видом. Он сидел на своем месте важный и бодрый, принимал доклады и отдавал ясные, точные приказы. Было видно, что все нити управления судом он держал твердо в своих слабевших руках.

Правда, в это время у него был хороший помощник: недавно присланный новый «подсудок» Попов, человек отцовских взглядов на службу, добрый, деловитый и честный. Отец относился к нему с уважением и доверием.

Возвращаясь домой, отец сразу слабел и, едва пообедав, ложился спать. По вечерам опять занимался, а затем ходил, по совету врача, полчаса по комнате, с трудом волоча ноги и постукивая палкой. Дослужить... дослужить во что бы то ни стало остающиеся несколько месяцев... На эту задачу свелась теперь вся жизненная энергия этого не совсем заурядного человека!

Когда еврей-посыльный принес к нам в деревню письмо матери, оно застало нас в разгаре молодого веселья, которое сразу упало. В тот же день мы выехали на гарнолужских лошадях до первой почтовой станции. Пока на станции запрягали перекладных, я с младшим братом вышел в переулок у шоссе. Был необыкновенно светлый осенний вечер, когда сумерки угасают незаметно, а сверху, почти с середины неба, уже светит полная луна. Это опять была минута, которая во всех мелочах запала на всю жизнь в мою память. Вся природа показалась мне проникнутой какой-то особенной, мягкой и печальной сознательностью. Тихо шептались листья орешника и ольхи, ветер обвевал лицо, с почтового двора доносилось потренькивание подвязываемого к дышлу колокольчика — и мне казалось, что все эти сдержанные шумы, говор леса, поля и почтового двора говорят по-своему об одном: о конце жизни, о торжественном значении смерти...

Двоюродный брат, только что выпущенный из училища офицер, тихо подошел к нам и дружески обнял обоих.

— Может быть, выздоровеет,— сказал он.

Но я сознавал, что надежды нет, что все кончено. Я чувствовал это по глубокой печали, разлитой кругом, и удивлялся, что еще вчера я мог этого не чувствовать, а еще сегодня веселился так беспечно... И в первый раз встал перед сознанием вопрос: что же теперь будет с матерью, болезненной и слабой, и с нами?..

Колокольчик забился сильнее, заворчали колеса, и через минуту мы ехали по белой ленте шоссе, уходившей в ночную мглу, к сумрачным пятнам дальних перелесков, таким же неясным и смутным, как наше будущее, но все-таки озаренным, как молодость...

Отца мы застали живым. Когда мы здоровались с ним, он не мог говорить и только смотрел глазами, в которых виднелись страдание и нежность. Мне хотелось чем-нибудь выразить ему, как глубоко я люблю его за всю его жизнь и как чувствую его горе. Поэтому, когда все вышли, я подошел к его постели, взял его руку и прильнул к ней губами, глядя в его лицо. Губы его зашевелились, он что-то хотел сказать. Я наклонился к нему и услышал два слова:

— Не мучь...

На следующий день судьи не стало. За его гробом шло очень много народа, в том числе много бедноты, мещан и евреев. Воинский начальник прислал оркестр, и под звуки похоронного марша, под плеск ветра в хоругвях, сдержанный шепот толпы гроб понесли на кладбище. Старый инвалид высоко поднял бревно шлагбаума, из окон тюрьмы глядели бледные лица арестантов, хорошо знавших этого человека, лежавшего в гробу с бледным лицом и в мундире... «Вечная память»... Стук земли о крышку гроба, заглушенные рыдания матери, на ровенском кладбище вырос новый холмик под стеной скромной деревянной церкви.

Матери пришлось сразу взять на себя бремя оставшейся семьи. Отец все-таки не дослужил несколько месяцев, и потому пришлось много хлопотать, чтобы добиться хоть маленькой пенсии. За тридцать с лишком лет службы вдова судьи, известного своей исключительной честностью в те темные времена, получила что-то около двенадцати рублей вдовьей пенсии. Вместе с детьми это составляло около семнадцати рублей в месяц, и это благодаря усиленным стараниям двух-трех добрых людей, которые чтили память отца и помогали матери советом... Чтобы кое-как довести до конца наше учение, мать тотчас после похорон стала хлопотать о разрешении держать ученическую квартиру, и с этих пор, больная, слабая и одинокая, она с истинно женским героизмом отстаивала наше будущее... Судья мог спать спокойно в своей скромной могиле под убогой кладбищенской церковью: жена, насколько могла и даже более, выполнила задачу, которая так мучила перед концом его страдающую душу...

Жизнь ее изменилась сразу и резко. Из «жены судьи», одного из первых людей в городишке, она превратилась в бедную вдову с кучей детей и без средств (пенсию удалось выхлопотать только через год). Ей

пришлось являться просительницей перед людьми, еще недавно считавшими за честь ее знакомство, а в качестве «содержательницы ученической квартиры» она зависела от гимназического начальства. Правда, за очень редкими исключениями, я не могу припомнить случаев, когда бы обыватели города резко дали ей почувствовать эту перемену, и, наоборот, были случаи трогательной доброты и помощи.

Могила отца была обнесена решеткой и заросла травой. Над ней стоял деревянный крест, и краткая надпись передавала кратчайшее содержание жизни: родился тогда-то, был судьей, умер тогда-то... На камень не было денег у осиротевшей семьи. Пока мы были в городе, мать и сестра каждую весну приносили на могилу венки из цветов. Потом нас всех разнесло по широкому свету. Могила стояла одинокая, и теперь, наверное, от нее не осталось следа...

Что осталось от жизни, от ее ошибок и ее страданий?..

Я тогда еще верил по-отцовски и думал, что счеты отца сведены благополучно: он был человек религиозный, всю жизнь молился, исполнял долг, посильно защищал слабых против сильных и честно служил «закону». Бог признает это — и, конечно, ему теперь хорошо.

Впоследствии «простая» вера разлетелась, и в моем воображении вставала скромная могила: жил, надеялся, стремился, страдал и умер с мукой в душе за участь семьи... Какое значение имеет теперь его жизнь, его стремления и его «преждевременная» честность?..

— Чудак был,— решали не раз благодушные обыватели.— А что вышло: умер, оставил нищих.

И говорили это тоже люди «простодушной веры» в бога и в его законы. Никогда ни у матери, ни у всей семьи нашей не возникало и тени таких сомнений.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Новые веяния

XXVI

«НОВЫЕ»

Кажется, я был в пятом классе, когда у нас появились сразу несколько новых молодых учителей, проходивших курс гимназии в попечительство Пирогова и только что вышедших из университета.

Одним из первых появился Владимир Васильевич Игнатович — учитель химии. Это был молодой человек, только что с университетской скамьи, с чуть заметными усиками, маленького роста, с пухлыми розовыми щеками, в золотых очках. У нас были ученики, выглядевшие старше своего учителя. Говорил он тонким голосом, в котором будто сохранились детские нотки. В классе несколько робел, и лицо его часто заливал застенчивый румянец. Обращался он с нами вежливо, преподавал старательно, заданное спрашивал редко, к отметкам выказывал пренебрежение, уроки объяснял, как профессор читает лекцию. Голос у него был тоже нетвердый, нежный... Хотелось, чтобы он взял хоть нотой ниже и крепче...

Первым результатом его системы было то, что класс почти перестал учиться. Вторым, что ему порой начали слегка грубить. Бедный юноша, приступавший к нам с идеальными ожиданиями, платился за общую систему, которая вносила грубость и цинизм. Впрочем, это было недолго. Однажды, когда класс шумел и Игнатович напрасно надрывал свой мягкий голосок, одному из нас показалось, будто он назвал нас стадом баранов. Другие учителя очень часто называли нас стадом баранов, а порой и хуже. Но то были другие. Они были привычно грубы, а мы привычно покорны. Игнатович сам приохотил нас к другому обращению... Один из учеников, Заруцкий, очень хороший, в сущности, малый, но легко поддававшийся настроениям, встал среди шумевшего класса.

— Господин учитель,— сказал он громко, весь красный и дерзкий.— Вы, кажется, сказали, что мы стадо баранов. Позвольте вам ответить, что... в таком случае...

Класс вдруг затих так, что можно было слышать пролетевшую муху.

— Что в таком случае... вы сами баран...

Стеклянная колбочка, которую держал в руках Игнатович, звякнула о реторту. Он весь покраснел, лицо его как-то беспомощно дрогнуло от обиды и гнева... В первую минуту он растерялся, но затем ответил окрепшим голосом:

— Я этого не говорил... Вы ошиблись...

Простой ответ озадачил. В классе поднялся ропот, значение которого сразу разобрать было трудно, и в ту же минуту прозвенел звонок. Учитель вышел; Заруцкого окружили. Он стоял среди товарищей, упрямо потупившись и чувствуя, что настроение класса не за него. Сказать дерзость учителю, вообще говоря, считалось подвигом, и если бы он так же прямо назвал бараном одного из «старых» — Кранца, Самаревича, Егорова, то совет бы его исключил, а ученики проводили бы его горячим сочувствием. Теперь настроение было недоумело-тяжелое, неприятное...

— Свинство, брат,— сказал кто-то.

— Пусть жалуется в совет,— угрюмо ответил Заруцкий.

Для него в этой жалобе был своего рода нравственный выход: это бы сразу поставило нового учителя в ряд со старыми и оправдало бы грубую выходку.

— И пожалуется...— сказал кто-то.

— Конечно. Думаешь — спустит?

— Нет, не пожалуется.

— Пожалуется.

Этот вопрос стал центром в разыгравшемся столкновении. Прошло два дня, о жалобе ничего не было слышно. Если бы она была — Заруцкого прежде всего вызвал бы инспектор Рущевич для обычного громового внушения, а может быть, даже прямо приказал бы уходить домой до решения совета. Мы ждали... Прошел день совета... Признаков жалобы не было.

Наступил урок химии. Игнатович явился несколько взволнованный; лицо его было серьезно, глаза чаще потуплялись, и голос срывался. Видно было, что он старается овладеть положением и не вполне уверен, что это

ему удастся. Сквозь серьезность учителя проглядывала обида юноши, урок шел среди тягостного напряжения.

Минут через десять Заруцкий, с потемневшим лицом, поднялся с места. Казалось, что при этом на своих плечах он поднимает тяжесть, давление которой чувствовалось всем классом.

— Господин учитель...— с усилием выговорил он среди общей тишины. Веки у молодого учителя дрогнули под очками, лицо все покраснело. Напряжение в классе достигло высшего предела.

— Я... прошлый раз...— начал Заруцкий глухо и затем, с внезапной резкостью, закончил:— Я извиняюсь.

И сел с таким видом, точно сказал новую дерзость. Лицо у Игнатовича посветлело, хотя краска залила его до самых ушей. Он сказал просто и свободно:

— Я говорил уже, господа, что баранами никого не называл.

Инцидент был исчерпан. В первый еще раз *такое* столкновение разрешилось *таким* образом. «Новый учитель» выдержал испытание. Мы были довольны и им и — почти бессознательно — собою, потому что также в первый раз не воспользовались слабостью этого юноши, как воспользовались бы слабостью кого-нибудь из «старых». Самый эпизод скоро изгладился из памяти, но какая-то ниточка своеобразной симпатии, завязавшейся между новым учителем и классом, осталась.

Вскоре Игнатович уехал в отпуск, из которого через две недели вернулся с молоденькой женой. Во втором дворе гимназии было одноэтажное здание, одну половину которого занимала химическая лаборатория. Другая половина стояла пустая; в ней жил только сторож, который называл себя «лабаторщиком» (от слова «лабаторня»). Теперь эту половину отделали и отвели под квартиру учителя химии. Тут и водворилась молодая чета.

Жена Игнатовича была выше его ростом, худенькая, смуглая, не особенно красивая. Но, на наш взгляд, в ней было что-то необыкновенно привлекательное, вернее — было что-то привлекательное в них обоих вместе и в том, что свое гнездышко они устроили в самом центре гимназической сутолоки и шума. Каждую перемену через двор неслись вереницы сорванцов, направляясь в помещение, где можно было тайком затянуться папиросой. По звонку все это неслось обратно, налетая друг

на друга, сшибаясь, крича, вступая на скорую руку в короткие драки. Порой в большую перемену во втором дворе устраивались игры в мяч, и ученики, подталкивая друг друга локтями, указывали на смуглое личико, мелькавшее в окнах. Некоторые из старших были даже почтительно влюблены, и из ученической квартиры, заглядывавшей вторым этажом из-за ограды в гимназический двор, порой глядели на лабораторию в бинокли. Иной раз живой и бурный поток, после уроков стремившийся к калитке, вдруг останавливался, пропуская худенькую фигурку, проходившую сквозь толпу с приветливой улыбкой, и тот, кому она кланялась как знакомому, считал себя польщенным и счастливым. Игнатович изредка приглашал того или другого ученика к себе. Жена его тоже выходила, знакомилась, разговаривала, расспрашивала. Было в этом что-то хорошее, теплое, действовавшее на толпу сорванцов уже тем, что юный учитель был для нас не только машиной, задающей уроки, но и человеком, в маленьком счастье которого мы принимали как бы некоторое участие. Я сначала запустил было химию, но в первые же каникулы вызубрил весь учебник Вюрца назубок; я иногда ходил к Игнатовичу с рисунками приборов, и мне не хотелось, чтобы Марья Степановна сказала как-нибудь при встрече:

— А вы почему же это не учите химию? Вам не нравится? Да?

Одновременно с Игнатовичем приехал Комаров, «украинофил-этнограф». Мы плохо понимали, что это за «труды по этнографии», но чувствовали, что это какой-то интерес высшего порядка, выходящий за пределы казенного преподавания.

Было и еще два-три молодых учителя, которых я не знал. Чувствовалось, что в гимназии появилась группа новых людей, и общий тон поднялся. Кое-кто из лучших, прежних, чувствовавших себя одинокими, теперь ожили, и до нас долетали отголоски споров и разногласий в совете. В том общем хоре, где до сих пор над голосами среднего тембра и регистра господствовали резкие фальцеты автоматов и маниаков,— стала заметна новая нотка...

А затем явился и еще один человек, на воспоминании о котором мне хочется остановиться подольше.

XXVII

ВЕНИАМИН ВАСИЛЬЕВИЧ АВДИЕВ

Наш прежний словесник, Митрофан Александрович Андриевский, успел как-то жениться и «по семейным обстоятельствам» перевелся в другую гимназию. Мы проводили его с сожалением, так как любили его добродушие, мягкую улыбку, порой меткие словечки и трогательную преданность «Слову о полку Игореве». На некоторое время «кафедра словесности» осталась незанятой. На уроки приходил Степан Яковлевич Рущевич, который вздумал учить нас выразительному чтению. Сам он читал как-то грузно, массивным голосом, с чувством, толком и расстановкой, но с совершенно неосновательными претензиями на выразительность. Он требовал, чтобы мы точно подражали его интонациям, а нам это было «совестно» и казалось кривлянием. Между тем словесность всегда по какой-то традиции считалась в гимназии самым интересным и самым «умным» предметом. С тем большим нетерпением ждали мы нового словесника.

Однажды пронесся слух, что он уже приехал. Зовут Авдиевым, молодой. Кто-то уже видел его в городе и рассказывал о своей встрече как раз перед началом урока, который, как мы думали, на этот раз проведет еще инспектор. Но почти вместе с звонком дверь класса отворилась, и на пороге появился незнакомый учитель. Он на мгновение остановился, спокойно глядя, как мы, застигнутые врасплох, быстро рассаживались по местам — потом прошел к кафедре, кивнув нам на ходу головой. Так как это был первый урок, то он молча стал ждать, пока дежурный прочтет обычную молитву; затем сел и раскрыл журнал. Лицо у него было слегка хмурое, перекличку он делал недовольным голосом, порой останавливаясь над какой-нибудь фамилией и вглядываясь в ее обладателя. Кончив это, он сошел с кафедры и неторопливо прошелся вдоль скамей по классу, думая о чем-то, как будто совсем не имеющем отношения к данной минуте и к тому, что на него устремлено полсотни глаз, внимательных, любопытных, изучающих каждое его движение.

Это был молодой человек, пожалуй, только года на три старше Игнатовича, но более возмужалый и солидный. Лицо у него было не совсем обыкновенное: правильные черты с греческим профилем, большие выра-

зительные глаза, полные губы, тонкие усы и небольшая русая бородка. Все это было довольно красиво, но почему-то на первый взгляд классу не понравилось. Кроме того, на нем были узкие брюки и сапоги с низкими каблуками, а мы считали верхом щегольства брюки по-казацки широкие и высокие каблуки. Узкие брюки носили у нас только заведомые модники и франты в шестом и седьмом классе.

Все это мы успели заметить и оценить до последней пуговицы и до слишком широких лацканов синего фрака — пока новый учитель ходил по классу. Нам казалось странным и немного дерзким то обстоятельство, что он ведет себя так бесцеремонно, точно нас, целого класса, здесь вовсе не существует.

Пройдя, таким образом, несколько раз взад и вперед, он остановился, точно прогоняя из головы занимавшие его сторонние мысли, и опять внимательно посмотрел на класс.

— Чем вы занимались в последнее время?— спросил он.

Мы переглянулись.

— В последнее время Степан Яковлевич читал нам...

— Что?

— Басни Крылова.

Брови нового учителя чуть приподнялись.

— Зачем?— спросил он.

Вопрос показался нам странным. Об этом нужно бы спросить у самого инспектора. Но кто-то догадался:

— Чтобы занять пустые уроки.

— А!.. И вас тоже заставлял читать?

— Да.

— Так. Кто у вас хорошо читает?

Класс молчал. Все мы умели читать громко, иные бегло, но хорошего чтения не слыхали никогда, а «выразительное чтение» Степана Яковлевича казалось нам искусственным.

— Ну, что же?— сказал он нетерпеливо, поведя плечом.— Что же вы молчите?

— Все мы читаем одинаково,— с досадой вырвалось у меня, но я сказал это слишком тихо. Учитель повернулся ко мне и спросил в упор:

— Вы читаете хорошо?

— Нет,— ответил я, покраснев.— Я этого не говорил.

— А я именно об этом спрашивал. Читайте вы! — сказал он ученику, перед которым лежала книжка басен.

Тот встал и, раскрыв наудачу, стал читать. Учитель недовольно морщился.

— Плохо,— сказал он.— И все так? И нет никого, кто бы умел читать?.. Ну, а что вы проходили раньше?

— Теорию словесности... По Минину,— ответило несколько голосов.

— А что такое словесность?

Молчание.

— Происходит от «слово»...— сказал кто-то.

— Положим, а что такое «слово»?

— Выражение мысли.

— Не всегда... Можно наговорить много слов, и все-таки выйдет бессмыслица... А что такое мысль?

Молчание.

Он посмотрел на нас с комической гримасой и сказал:

— Подумайте каждый про себя и скажите: вы когда-нибудь в своей жизни *мыслили*?

Это была обида. В классе поднялся легкий ропот.

— Все,— сказал кто-то.

— Что все?

— Все думаем, то есть мыслим,— ответило несколько голосов задорно. Учитель начинал раздражать.

— «Думаете»,— передразнил он, поведя плечом.— Вы вот думаете: скоро ли звонок?.. И тоже *думаете*, что это-то и значит мыслить. Но вы ошибаетесь. «Мыслить» — понимаете: не думать только, а мыслить — это значит совсем другое. Берите тетради. Записывайте.

И, медленно расхаживая по классу, он начал с простейших определений. Сначала в его глазах и в морщине между бровями виднелось то же хмурое недовольство. Но развитие темы, видимо, его захватывало. На смуглом лице пробился густой румянец. Говорил он медленно, вдумчиво и свободно. Урок, очевидно, не был заучен: слова рождались, выплавлялись тут же и летели к нам еще не остывшие. По временам он останавливался на ходу и делал паузу, подыскивая наиболее удачную форму, ловил нужное слово и опять шел дальше, все более и более довольный. Записывать за ним было трудновато. Он говорил медленно, но не ждал, пока мы за ним поспеем. А записать хотелось. Остальная

часть урока прошла в этом занятии. Когда ударил звонок, я удивился, что урок кончился так скоро.

Авдиев закончил, взял журнал и, кивнув головой, вышел. В классе поднялся оживленный говор. Впечатление было неблагоприятное.

— Вот так птица!— говорил один.

— У этого братцы, держись...

— И откуда выкопали такого черта?

— А ведь он нас, господа, оскорбил?..

За такими разговорами застал нас звонок ко второму уроку. Вошел, помнится, учитель истории Андрусский. Это был тоже «новый», поступивший за несколько месяцев до Авдиева, молодой человек невысокого роста с умным, энергичным лицом. В классе он держал себя по-учительски, суховато, но все-таки симпатично. Час урока был у него точно распределен на две неравные части. В первой он вызывал, спрашивал и ставил отметки. Когда он опускал перо в чернильницу, чтобы поставить балл, лицо его делалось задумчиво и серьезно. Было видно, что он тщательно взвешивает в уме все за и против, и, когда после этого твердым почерком вносил в журнал ту или иную цифру, чувствовалось, что она поставлена обдуманно и справедливо. За двадцать минут до конца урока он придвигал к себе учебник и, раскрыв его, начинал объяснение неизменной фразой:

— Ну-с, так вот... Мы остановились на том-то. Теперь будем продолжать.

И, поглядывая в книгу, он излагал содержание следующего урока добросовестно, обстоятельно и сухо. Мы знали, что в совете он так же обстоятельно излагал свое мнение. Оно было всегда снисходительно и непоколебимо. Мы его уважали как человека и добросовестно готовили ему уроки, но история представлялась нам предметом изрядно скучным. Через некоторое время так же честно и справедливо он взвесил свою педагогическую работу — поставил себе неодобрительный балл и переменил род занятий.

Теперь я с удовольствием, как всегда, смотрел на его энергичное квадратное лицо, но за монотонными звуками его речи мне слышался грудной голос нового словесника, и в ушах стояли его язвительные речи. «Думать» и «мыслить»... Да, это правда... Разница теперь понятна. А все-таки есть в нем что-то раздражающее. Что-то будет дальше?..

Вынув тихонько тетрадь, я стал читать под партой записанный урок словесности, рискуя вызвать замечание Андрусского. Урок был красив и интересен.

Дня через три в гимназию пришла из города весть: нового учителя видели пьяным... Меня что-то кольнуло в сердце. Следующий урок он пропустил. Одни говорили язвительно: «с похмелья», другие — что устраивается на квартире. Как бы то ни было, у всех шевельнулось чувство разочарования, когда на пороге, с журналом в руках, явился опять Степан Яковлевич для «выразительного» чтения.

Еще дня через два в класс упало, как петарда, новое сенсационное известие. Был у нас ученик Доманевич, великовозрастный молодой человек, засидевшийся в гимназии и казавшийся среди мелюзги совсем взрослым. Он был добрый малый и хороший товарищ, но держал себя высокомерно, как профессор, случайно усевшийся на одну парту с малышами.

В этот день он явился в класс с видом особенно величавым и надменным. С небрежностью, сквозь которую, однако, просвечивало самодовольство, он рассказал, что он с новым учителем уже «приятели». Знакомство произошло при особенных обстоятельствах. Вчера, лунным вечером, Доманевич возвращался от знакомых. На углу Тополевой улицы и шоссе он увидел какого-то господина, который сидел на штабеле бревен, покачивался из стороны в сторону, обменивался шутками с удивленными прохожими и запевал малорусские песни.

— Голос, я вам скажу, замечательный!— прибавил рассказчик с некоторой гордостью за нового приятеля.

Когда Доманевич, не узнав в веселом господине нового учителя, проходил мимо, тот его окликнул:

— Господин ученик! Подойдите сюда!

Тот подошел, узнал, поклонился.

— Как ваша фамилия?

Доманевич, «признаться, немного струсил». Было уже поздно, вечером выходить с квартир запрещено, а этот новый, кажется, строг. Сам пьян, а директору донесет. Тем не менее скрепя сердце фамилию назвал.

— Очень приятно,— вежливо сказал учитель, протягивая руку.— А я Авдиев, Вениамин Васильевич, учитель словесности. В настоящую минуту, как видите, несколько пьян.

При этом он захохотал («смех у него удивительно веселый и заразительный») и, крепко опершись на руку

ученика, поднялся на ноги и попросил проводить его до дому, так как еще не ознакомился с городом.

— Черт знает,— говорил он, смеясь,— улицы у вас какие-то несообразные, а вино у Вайнтрауба крепкое... Не успел оглянуться — уже за шлагбаумом... Пошел назад... тут бревна какие-то под ноги лезут... Ха-ха-ха... Голова у меня всегда свежа, а ноги, черт их возьми, пьянеют...

Доманевич проводил учителя на его квартиру над прудом, причем всю дорогу дружески поддерживал его под руку. Дома у себя Авдиев был очень мил, предложил папиросу и маленький стаканчик красного вина, но при этом, однако, уговаривал его никогда не напиваться и не влюбляться в женщин. Первое — вредно, второе... не стоит...

Рассказ вызвал в классе сенсацию. «Что же это такое?» — думал я с ощущением щемящей душевной боли, тем более странной, что Авдиев казался мне теперь еще менее симпатичным.

— Ну, брат,— сделал кто-то практический вывод,— теперь можешь круглый год не учить словесность...

— Что мне учить ее,— ответил Доманевич небрежно,— я с прошлого года знаю все, что он диктовал... Я, брат, «мыслю» еще с первого класса.— И, окинув нас обычным, несколько пренебрежительным взглядом, Доманевич медленно проследовал к своему месту. Теперь у него явилось новое преимущество: едва ли к кому-нибудь из мелюзги учитель мог обратиться за *такой* услугой...

Пробил звонок. Дверь открылась. Вошел Авдиев и легкой беззаботной походкой прошел к кафедре.

Все взгляды впились в учителя, о котором известно, что вчера он был пьян и что его Доманевич вел под руку до квартиры. Но на красивом лице не было видно ни малейшего смущения. Оно было свежо, глаза блестели, на губах играла тонкая улыбка. Вглядевшись теперь в это лицо, я вдруг почувствовал, что оно вовсе не антипатично, а наоборот — умно и красиво... Но... все-таки вчера он был пьян... Авдиев раскрыл журнал и стал делать перекличку.

— Варденский... Заботин... Доманевич...

— Здесь,— ответил Доманевич, лениво чуть-чуть подымаясь с места. Авдиев на мгновение остановился, посмотрел на него искрящимися глазами, как бы припоминая что-то, и продолжал перекличку. Затем, ото-

двинув журнал, он облокотился обеими руками на кафедру и спросил:

— Вы прошлый раз успели всё записать, что я рассказывал?

— Успели.

— И, конечно, выучили? Да? Ну-с... Господин Доманевич.

Фамилия Доманевича пробежала в классе электрической искрой. Головы повернулись к нему. Бедняга недоумело и беспомощно оглядывался, как бы не отдавая себе отчета в происходящем. В классе порхнул по скамьям невольный смешок. Лицо учителя было серьезно.

— Итак, господин Доманевич расскажет нам содержание первого урока... Как мы подошли к определению предмета? Слушаем.

Доманевич поднялся, постоял полминуты, потупясь, и потом сказал растерянно:

— Я, господин учитель...

— Что именно?

— Сегодня не успел приготовить.

— Сегодня? А вчера? А третьего дня?

— Я вообще...

— Вообще?.. Напрасно, господин Доманевич, напрасно. Уроки задаются затем, чтобы их готовить. На это было три дня. У вас была основательная причина?

Доманевич молчал.

— Жаль, но...— Он взял перо и раскрыл журнал.— С величайшим сожалением вынужден поставить вам... единицу...

Проведя в журнале черту, он взглянул на бедного Доманевича. Вид у нашего патриарха был такой растерянный и комично обиженный, что Авдиев внезапно засмеялся, слегка откинув голову. Смех у него был действительно какой-то особенный, переливчатый, заразительный и звонкий, причем красиво сверкали из-под тонких усов ровные белые зубы... У нас вообще не было принято смеяться над бедой товарища — но на этот раз засмеялся и сам Доманевич. Махнув рукой, он уселся на место.

Осложнение сразу разрешилось. Мы поняли, что из вчерашнего происшествия решительно никаких последствий собственно для учения не вытекает и что авторитет учителя установлен сразу и прочно. А к концу этого второго урока мы были уже целиком в его власти. Про-

диктовав, как и в первый раз, красиво и свободно дальнейшее объяснение, он затем взошел на кафедру и, раскрыв принесенную с собой толстую книгу в новом изящном переплете, сказал:

— Теперь, господа, отдохнем. Я вам говорил уже, что значит мыслить понятиями. А вот сейчас вы услышите, как иные люди мыслят и объясняют самые сложные явления образами. Вы знаете уже Тургенева?

К стыду нашему, Тургенева многие знали только по имени. Книгами мы пользовались или за умеренную плату у любителя-еврея, снабжавшего нас истрепанными романами Дюма, Монтепена и Габорио, или из гимназической библиотеки. Раз в неделю мы вваливались под вечер в темные гулкие коридоры, казавшиеся таинственными и незнакомыми при сомнительном свете сального огарка, который нес впереди Андриевский, и поднимались по лестницам, обмениваясь с добродушным словесником шутками и остротами. Каждый раз он долго подбирал ключ к замку библиотечной двери, потом звонко щелкал и открывал вход в большую комнату, уставленную по стенам огромными шкафами. Содержимое шкафов было чрезвычайно скудно: тут были преимущественно душеспасительные поучения, «Воскресный досуг», почему-то еще «Солдатское чтение» и «Всемирный путешественник». Мы роптали, а Андриевский отшучивался, порой очень остроумно, возбуждая общий хохот. В конце концов приходилось все-таки просить для чтения путешествие Ливингстона, за ним путешествие Кука, затем путешествие Араго, путешествие Беккера-паши. Раз я принес домой даже путешествие на Афон. Кажется, это были «Письма Святогорца», из которых, впрочем, несмотря на тогдашнее мое религиозное настроение, я запомнил только одно красивое описание бури и восхищение автора перед тем, как святитель Николай заушил на соборе еретика Ария. Святогорец стоит перед иконой, изображающей этот сильный аргумент богословской полемики, и ему чудится, что «отзвук святительского заушения еще носится под сводами безмолвного храма»...

Как бы то ни было, но даже я, читавший сравнительно много, хотя беспорядочно и случайно, знавший уже «Трех мушкетеров», «Графа Монте-Кристо» и даже «Вечного Жида» Евгения Сю,— Гоголя, Тургенева, Достоевского, Гончарова и Писемского знал лишь по некоторым, случайно попадавшимся рассказам. Мое чтение

того времени было просто развлечением и приучало смотреть на беллетристику как на занимательные описания того, чего, в сущности, не бывает. Порой я прикидывал поступки и разговоры книжных героев к условиям окружавшей меня жизни и находил, что никто и никогда так не говорит и не поступает. Светлым пятнышком выступало воспоминание о «Фоме из Сандомира» и еще двух-трех произведениях польских писателей, прочитанных ранее. Это было ближе к жизни. Где-то, может быть, недалеко и не очень давно, люди *могли* так говорить и поступать, но все-таки теперь не говорят и не поступают...

Помню, в один светлый осенний вечер я шел по тихой Тополевой улице и свернул через пустырь в узенький переулок. Улица была в тени, но за огородами, между двумя черными крышами, поднималась луна, и на ней резко обрисовывались черные ветки дерева, уже обнаженного от листьев. Я остановился, невольно пораженный красивой простотой этого несложного пейзажа. Я любил рисовать, ограничиваясь рабским копированием, но теперь мне страстно хотелось передать эту картину вот так же просто, с ровной темнотой этих крыш, кольями плетня, врезавшимися в посветлевшее от месяца небо, со всей глубиной влажных теней, в которых чувствуется так много утонувших во тьме предметов, чувствуется даже недавно выпавший дождь...

Потом мысль моя перешла к книгам, и мне пришла в голову идея: что, если бы описать просто мальчика, вроде меня, жившего сначала в Житомире, потом переехавшего вот сюда, в Ровно; описать все, что он чувствовал, описать людей, которые его окружали, и даже вот эту минуту, когда он стоит на пустой улице и меряет свой теперешний духовный рост со своим прошлым и настоящим. Вот в этой слитой влажной тьме, беспорядочно усеянной огоньками, за этими светящимися окошками живут люди. Теперь они пьют чай или ужинают, разговаривают, ссорятся, смеются. И никогда они не оглядываются на себя и на природу, никогда не примеривают своего *я* ко всему, что их окружает. Быть может, во всем городе я один стою вот здесь, вглядываясь в эти огни и тени, один думаю о них, один желал бы изобразить и эту природу, и этих людей так, чтобы все было правда и чтобы каждый нашел здесь свое место.

Не этими словами, но думал я именно это. И во мне было немного гордости и много неудовлетворения.

Я только думал, что можно бы изобразить все в той простоте и правде, как я теперь это вижу, и что история мальчика, подобного мне, и людей, его окружающих, могла бы быть интереснее и умнее графа Монте-Кристо. Но, в сущности, я ничего не умел: учитель Стахорский считал меня даровитым рисовальщиком, но требовал тщательной «штриховки». В штриховке я достиг больших успехов, но с ней не мог нарисовать самого простого пейзажа с натуры. Порой, отвязав нашу лодку, я подплывал к острову, ставил ее среди кувшинок и ряски и принимался с залива рисовать старый замок с пустыми окнами, с высокими тополями и обомшелыми каменными рыцарями. Рисунки мои производили фурор, но я чувствовал, что это только черты, контуры, штриховка... Нет ни задумчивой массивности старой руины, ни глубины в зияющих окнах, ни высоты в тополях с шумящими вершинами, ни воздуха в высоком небе, ни прозрачности в воде. С ощущением бессилия и душевной безвкуеицы я клал карандаши и альбом на скамейку лодки и подолгу сидел без движения, глядя, как вокруг, шевеля застоявшуюся сверкающую воду, бегали долгоногие водяные комары с светлыми чашечками на концах лапок, как в тине тихо и томно проплывали разомлевшие лягушки или раки вспахивали хвостами мутное дно. Через некоторое время душевная пустота, веявшая от мертвой жизни мертвого городка, начинала наполняться: из-за нее выходили тени прошлого. Пустой остров заселялся, замок оживал. На широком балконе появлялись группы красавиц, и одна из них держала кубок, а молодой рыцарь (может быть, это даже был я) въезжал на коне по лестницам и переходам и брал этот кубок из руки дамы... Кругом гремели крики, выстрелы, звон шпор и ржание коней.

Или иначе: на замок нападают казаки и гайдамаки, весь остров в белом дыму... Вообще в это время под влиянием легенд старого замка и отрывочного чтения (в списках) «Гайдамаков» Шевченка романтизм старой Украины опять врывался в мою душу, заполняя ее призраками отошедшей казацкой жизни, такими же мертвыми, как и польские рыцари и их прекрасные дамы... Что может быть интересного в жизни обыкновенного мальчика и его соседей? Интересны только дикие степи, бешеная погоня, нападения, приключения, подвиги, разумеется, с благополучным окончанием... Одно время я даже заинтересовался географией с той точки зрения,

где можно бы в наше прозаическое время найти уголок для восстановления Запорожской Сечи, и очень обрадовался, услыхав, что Садык-паша Чайковский ищет того же романтического прошлого на Дунае, в Анатолии и в Сирии... Мечты бесплодно распаляли воображение, обессиливали волю. Когда приходило время возвращаться с этих неудачных художественных сеансов, я лениво брал весла, и моя лодка протягивала за собой медлительный след, тихо заплывавший ряской, водорослями и тиной.

Растущая душа стремилась пристроить куда-то избыток силы, не уходящей на «арифметики и грамматики», и вслед за жгучими историческими фантазиями в нее порой опять врывался религиозный экстаз. Он был такой же беспочвенный и еще более мучительный. В глубине души, еще не сознанные, начинали роиться сомнения, а навстречу им поднималась жажда религиозного подвига, полетов души ввысь, молитвенных экстазов.

Однажды в таком настроении я шел в гимназию.

Путь лежал через базарную площадь, центр местной торговой жизни. Кругом нее зияли ворота заезжих домов; вся она была заставлена возами, заполнена шумом, гоготанием продаваемой птицы, ржанием лошадей, звонкими криками торговок.

И вдруг мой взгляд упал на фигуру мадонны, стоявшей на своей колонне высоко в воздухе. Это была местная святыня, одинаково для католиков и православных. По вечерам будочник, лицо официальное, вставлял в фонарь огарок свечи и поднимал его на блок. Огонек звездочкой висел в темном небе, и над ним красиво, таинственно, неясно рисовалась раскрашенная фигура.

Говорили, что протоиерей-обруситель возбудил уже вопрос о снятии богородицы-католички... Теперь опальная статуя, освещенная утренними лучами, реяла над шумной и пестрой бестолочью базара. Было в ней что-то такое, отчего я сразу остановился, а через минуту стоял на коленях, без шапки, и крестился, подняв глаза на мадонну.

Потом я поднялся и пошел в классы, не обращая внимания на удивленные взгляды.

В следующий раз, проходя опять тем же местом, я вспомнил вчерашнюю молитву. Настроение было другое, но... кто-то как будто упрекнул меня: «Ты стыдишься молиться, стыдишься признать свою веру толь-

ко потому, что это не принято...» Я опять положил книги на панель и стал на колени...

Теперь толпы не было, и фигура гимназиста на коленях выделялась яснее. На меня обратили внимание евреи-факторы, прохожие, чиновники, шедшие в казначейство... Вдали на деревянных тротуарах мелькали синие гимназические мундиры. Мне хотелось, чтобы меня не заметили...

С этих пор на некоторое время у меня явилась навязчивая идея: молиться как следует я не мог — не было непосредственно молитвенного настроения, но мысль, что я «стыжусь», звучала упреком. Я все-таки становился на колени, недовольный собой, и, недовольный, подымался. Товарищи заговорили об этом как о странном чудачестве. На вопросы я молчал... Душевная борьба в пустоте была мучительна и бесплодна...

. . . .

В таком настроении застало меня появление нового учителя...

Закончив объяснение урока, Авдиев раскрыл книгу в новеньком изящном переплете и начал читать таким простым голосом, точно продолжает самую обыденную беседу:

«Мардарий Аполлонович Стегунов — старичок низенький, пухленький, лысый, с двойным подбородком, мягкими ручками и порядочным брюшком. Он большой хлебосол и балагур... Зиму и лето ходит в полосатом шлафроке на вате... Дом у него старинной постройки: в передней, как следует, пахнет квасом, сальными свечами и кожей...»

Это — «Два помещика» из «Записок охотника». Рассказчик — еще молодой человек, тронутый «новыми взглядами», гостит у Мардария Аполлоновича. Они пообедали и пьют на балконе чай. Вечерний воздух затих. «Лишь изредка ветер набегал струями и, в последний раз замирая около дома, донес до слуха звук мерных и частых ударов, раздававшихся в направлении конюшни». Мардарий Аполлонович, только что поднесший ко рту блюдечко с чаем, останавливается, кивает головой и с доброй улыбкой начинает вторить ударам:

— Чюки-чюки-чюк! Чюки-чюк! Чюки-чюк!

Оказывается, на конюшне секут «шалунишку» буфетчика, человека с большими бакенбардами, недавно еще в долгополом сюртуке прислуживавшего за столом... Лицо у Мардария Аполлоновича доброе. «Самое

лютое негодование не устояло бы против его ясного и кроткого взора...» А на выезде из деревни рассказчик встречает и самого «шалунишку»: он идет по улице, лущит семечки и на вопрос, за что его наказали, отвечает просто:

— А поделом, батюшка, поделом! У нас по пустякам не наказывают... У нас барин... такого барина во всей губернии не сыщешь...

Среди глубочайшей тишины Авдиев дочитал последнюю фразу: «Вот она — старая-то Русь!..» Затем он сказал несколько опять очень простых слов о крепостном праве и об ужасе «порядка», при котором возможно это двустороннее равнодушие. Звонок Савелия в первый раз прозвучал для нас неожиданно и неприятно.

В этот день я уносил из гимназии огромное и новое впечатление. Меня точно осияло. Вот они, те «простые» слова, которые дают настоящую, неприкрашенную «правду» и все-таки сразу подымают над серенькой жизнью, открывая ее шири и дали. И в этих ширях и далях вдруг встают, и толпятся, и движутся знакомые фигуры, обыденные эпизоды, будничные сцены, озаренные особенным светом.

Когда после урока я шел домой, мне вспомнился дядя-капитан, Гарный Луг, «помещики», Кароль, Антось... И прежнего противоречия, бессмысленной несвязанности этих явлений как не бывало... «Чюки-чюки-чюк... Что вы, молодой человек, что вы? Да разве я злодей, что вы на меня так уставились?..» Я понял стихийную непосредственность этого восклицания... Капитан тоже не злодей. Он гораздо умнее, симпатичнее Мардария. И, однако... он, несомненно, обливал Кароля водой на морозе. И Кароль с этим примирился, а во мне кипело негодование. Оно относилось к «крепостному праву», которое уже отошло. Но... все-таки представление о нравственности лиц и о нравственности учреждений, строя жизни уже отделялись друг от друга как различные категории.

С этого дня художественная литература перестала быть в моих глазах только развлечением, а стала увлекательным и серьезным делом. Авдиев сумел зажечь и раздуть эти душевные эмоции в яркое пламя. У него было инстинктивное чутье юности и — талант. Все, что он читал, говорил и делал, приобретало в наших глазах особенное значение. История литературы, с поучениями Мономаха и письмами Заточника, выступала из своего

туманного отдаления как предмет значительный и важный, органически подготовлявший грядущие откровения. Коротенькие дивертисменты в конце уроков, когда Авдиев раскрывал принесенную с собой книгу и прочитывал отрывок, сцену, стихотворение,— стали для нас потребностью. В его чтении никогда не чувствовалось искусственности. Начиналось оно всегда просто, и мы не замечали, как, где, в каком месте Авдиев переходил к пафосу, потрясавшему нас как ряд электрических ударов, или к комизму, веявшему на класс вихрем хохота. Он прочитал сцену из «Мертвых душ», и мы кинулись на Гоголя. Особенно любил он Некрасова, и впоследствии я уже никогда не слыхал такого чтения.

Вскоре между Авдиевым и нами завязались простые и близкие отношения. Он приглашал нас к себе, угощал чаем за своим холостым столом и всегда держал себя просто, дружески и весело. Никогда не чувствовалось преднамеренности и дидактизма; легкая шутка и вопрос о только что прочитанной кем-нибудь из нас повести Тургенева, Писемского, Гончарова, Помяловского, стихотворении Некрасова, Никитина или Шевченка сплетались незаметно, непринужденно... До сих пор в душе моей, как аромат цветка, сохранилось особое ощущение, которое я уносил с собой из квартиры Авдиева, ощущение любви, уважения, молодой радости раскрывающего ума и благодарности за эту радость...

Однажды, возвращаясь под такими впечатлениями к себе, часов около девяти вечера, я вдруг наткнулся на инспектора, который в переулке резко осветил мое лицо потайным фонариком. На мгновение меня обдало точно кипятком. Но я не испугался, не пытался увернуться и убежать, хотя мог бы, так как передо мной заранее рисовалась в темноте высокая, точно длинный столб, фигура приближавшегося Степана Яковлевича... Помню, что мне было странно и досадно, точно я до этого мгновения все еще оставался в светлой комнате, а теперь неожиданно очутился в грязном и темном переулке перед назойливым выходцем из другого мира. По-видимому, в выражении моего лица было что-то удивившее инспектора. Он ближе придвинул фонарик, внимательно всмотрелся в меня и спросил:

— Что вы?

— Ничего, Степан Яковлевич.

— Откуда?

— От Вениамина Васильевича. Относил книгу.

— А!

И он ушел, оставляя во мне впечатление мимолетного сонного призрака.

Никогда от Авдиева мы не слышали ни одного намека на нашу «систему» или на ненормальности гимназического строя. Но он вызывал совершенно особый душевный строй, который непреднамеренным контрастом оттенял и подчеркивал обычный строй гимназической жизни. И это было сильнее прямой критики.

По временам он продолжал пить. Однажды его вывели из клуба, где он начал говорить посетителям — очень веселые, правда — дерзости. Это вызвало негодование, и Авдиева выпроводили; но и при этом он вел себя так забавно, что и старшины, и публика хохотали, а на следующий день, как стая птиц, разлетелись по городу его характеристики и каламбуры... А еще через несколько дней, в ближайший клубный вечер, он опять явился как ни в чем не бывало, изящный, умный, серьезный, и никто не посмел напомнить о недавнем скандале... На гуляньях в ясные дни, когда «весь город» выходил на шоссе, чинно прогуливаясь «за шлагбаумом», Авдиев переходил от одной группы к другой, и всюду его встречали приветливо, как общего фаворита. Дамы все были от него в восторге: в отношении к ним он никогда не забывался, даже пьяный,— а мужчины старались забыть его выходки.

— Что делать! Человек с сатирическим направлением ума,— сказал про него воинский начальник, и провинциальный город принял эту сентенцию как своего рода патент, узаконивший поведение интересного учителя. Другим, конечно, спустить того, что спускалось Авдиеву, было бы невозможно. Человеку с «сатирическим направлением ума» это как бы полагалось по штату...

Все это, разумеется, доходило до гимназистов. Ученики передавали о скандалах по рассказам клубных очевидцев и с удовольствием повторяли остроты и каламбуры своего любимца. Мне тоже порой казалось, что это занимательно и красиво, и иной раз я даже мечтал о том, что когда-нибудь и я буду таким же уездным сатириком, которого одни боятся, другие любят, и все, в сущности, уважают за то, что он никого сам не боится и своими выходками шевелит дремлющее болото. Но я все-таки не мог примириться с мыслью, что Авдиева

«выводили из клуба» и многие считают себя вправе называть его пьяницей.

Однажды он дал мне читать Писемского. Есть у этого писателя одна повесть, менее других упоминаемая критикой и забытая читающей публикой. Называется она «Monsieur Батманов» и изображает человека с «широкой натурой», красивого, эксцентричного, остроумного, не признающего условностей. Он попадает из столицы в небольшой губернский город, очаровывает все общество, которое сам открыто презирает, говорит дерзости губернским магнатам и производит более или менее забавные дебоши. Его любит умная и красивая женщина. Он как будто любит ее также, но все-таки они расходятся навсегда: мосье Батманов не может подумать без отвращения о законном браке и любви по обязанности...

У меня замирало сердце, когда я читал последнее объяснение Батманова с любимой женщиной где-то, кажется в театральной ложе. За обликом Батманова я подставил в воображении оригинальное лицо Авдиева, с его тонкой улыбкой, заразительным смехом и порой едким, но чаще благодушно-красивым остроумием. Как и Батманов, он выделялся резким пятном на тусклом провинциальном фоне, головой выше всех окружающих. Как и Батманов, не боялся общего мнения; наконец, как и у Батманова, мне чудилась за всем этим какая-то драма, душевная боль, непонятный отказ от счастья из-за неясных, но, конечно, возвышенных побуждений...

Кончается повесть Писемского неожиданной сценкой. В каком-то сибирском городке местные купцы-золотопромышленники встречают приезжего сановника. Впереди депутации с хлебом-солью стоит дородный красивый человек, с широкой бородой, в сибирке из тонкого сукна и в высоких сапогах бураками. Сановник с некоторым удивлением узнает в нем старого знакомого — мосье Батманова. «Да, чем только не кончалось русское разочарование!» — замечает в заключение Писемский. Обаяние фигуры Батманова было так велико, что я как-то совершенно не обратил внимания на это сатирическое заключение.

Однажды, когда я принес Авдиеву прочитанную книгу, он остановил меня, и мы разговорились как-то особенно задушевно. Вообще, я уже стал тогда одним из любимых его учеников, и порой наши беседы принима-

ли оттенок своеобразной дружбы взрослого человека и юноши, почти мальчика. Он спросил, не случается ли мне встречать в литературе знакомых лиц. Я сказал о том, как Мардарий Аполлонович Стегунов заставил меня вспомнить о моем дяде-капитане, хотя, в сущности, они друг на друга не похожи. Он выслушал эту параллель с интересом и вдруг предложил вопрос:

— Ну, а я похож на кого-нибудь из этих господ?

— Вы...— ответил я несколько застенчиво,— у Писемского: мосье Батманов.

Авдиев удивленно повернулся на кресле и сказал с недоумением:

— Бат-ма-нов? Странно. В чем же сходство?

Я был в затруднении. Что сказать, в самом деле, на этот вопрос: в скандалах и остроумных каламбурах? Заметив мое затруднение и сконфуженность, он засмеялся и спросил:

— А Батманов этот вам нравится?

— Да.

Он протянул руку, взял со стола книгу и, развертывая ее, спросил:

— Да вы дочитали до конца?

— Дочитал. Что ж, конец... По-моему, можно бы закончить иначе...

— Вы думаете? Ну нет. Здесь художественная правда. *Иначе* было бы опять в том же роде.

Он прочел заключительную сценку вплоть до иронического восклицания о русском разочаровании и сказал:

— И что только вам понравилось? Печоринствующий бездельник из дворян... Но с Печориными, батюшка, дело давно покончено. Из литературной гвардии они уже разжалованы в инвалидную команду — и теперь разве гарнизонные офицеры прельщают уездных барышень печоринским «разочарованием». Вам вот конец не понравился... Это значит, что и у вас, господа гимназисты, вкусы еще немного... гарнизонные...

Я сильно покраснел. Авдиев заметил это и вдруг, откинув голову, залился своим звенящим смехом.

— А! Вот оно что! Кажется, понимаю,— сказал он.— Ну ничего, ничего, не краснейте! Но ведь это сходство только поверхностное. Батманов прежде всего барин, скучающий от безделья. Ну, а я разночинец и работник. И, кажется...

Он опять взглянул на меня и прибавил серьезным тоном:

— И, кажется, работник в своем деле недурной.

Он несколько времени молча покачивался в кресле-качалке, глядя перед собой. Затем опять протянул руку к полке с книгами.

— «Затишье» вы читали? — спросил он.

— Читал.

Он раскрыл Тургенева и, перекинув несколько листков, прочел громко:

«Марья Павловна опять взглянула на него.

— Вы уверяете, что слушаетесь меня?

— Конечно, слушаюсь.

— Слушаетесь? А вот сколько раз я вас просила... не пить вина.

Он засмеялся.

— Эх, Маша, Маша! И вы туда же... Да, во-первых, я вовсе не пьяница, а во-вторых, знаете ли, для чего я пью? Посмотрите-ка вот на эту ласточку... Видите, как она смело распоряжается своим маленьким телом, куда хочет, туда его и бросит... Вот взвилась, вон ударилась книзу, даже взвизгнула от радости, слышите? Так вот я для чего пью, Маша, чтобы испытать те самые ощущения, которые испытывает эта ласточка... Швыряй себя, куда хочешь, лети, куда вздумается...»

— Веретьев! — сказал я радостно. Веретьев мне тоже очень нравился и тоже отчасти напоминал Авдиева: превосходно читал стихи, говорил пошляку Астахову неприятную правду в глаза и так красиво «швырял себя, подобно ласточке». Но на этот раз я тотчас же вспомнил конец и сказал довольно уныло:

— А кончается тоже плохо.

— Очень плохо, — сказал Авдиев. — Ласточка, ласточка, а затем... господин в поношенном испанском плаще, со слегка оплывшими глазами и крашеными усами. Знаете что — никогда не пейте, и главное — не начинайте. Ни из удальства, ни для того, чтобы быть ласточкой. Запомните вы этот мой совет, когда станете студентом?

— Запомню, Вениамин Васильевич, — ответил я с волнением и затем, по внезапному побуждению, поднял на него глаза, но не решился высказать вставший в уме вопрос. Он, вероятно, понял, потянулся в кресле и быстро встал на ноги.

— Да,— сказал он,— «ласточка» — это у Тургенева замечательно верно; но крашеные усы... бррр. И вообще скверность. Эти полеты нужно уметь остановить вовремя...

Он прошелся по комнате, потом опять сел и закачался, смеясь, а я, ободренный этим, решился еще на один вопрос:

— Правда... вы женитесь?

Он с улыбкою искоса взглянул на меня и спросил в свою очередь:

— На ком?

— На Л.

— А вы бы мне этого желали?

— Да, очень...

— Искренно?

— Искренно,— ответил я с убеждением.

Он захохотал как-то совсем по-детски и потом сказал:

— Очень тронут... но... Да будет вам краснеть-то! Нет, не женюсь...

Я действительно покраснел, должно быть, до корня волос. В городе начали поговаривать как о предполагаемой невесте Авдиева о той самой девушке, в которую, в числе других, был влюблен и я. Слух этот сначала больно поразил мое сердце, но затем я примирился с мыслью, что она будет женой Авдиева и что тогда он бросит пить. Мое довольно подвижное воображение рисовало мне на этом фоне разные более или менее красивые картины. Через много лет я, пожилой и одинокий, так как остался верен своему чувству, посещаю после разных бурных скитаний по свету их счастливую семью. И только тогда он узнает тайну моей любви и моего самоотвержения и то, какую огромную жертву принес ему горячо любивший его ученик...

Переливчатый смех Авдиева спугнул эти фантазии. На этот раз я покраснел от того, что почувствовал их ребячество, и... вспомнил сразу, что, в сущности, великодушие мое было довольно дешевого свойства, так как и без Авдиева мои шансы были довольно плохи... Реализм отвоевывал место у сентиментально-фантастической драмы...

Русских писателей я брал у Авдиева одного за другим и читал запоем. Часто мне казалось, что все это, в сущности, только вскрывает и освещает мысли и образы, которые давно уже толпились в глубине моего

собственного мозга. Каждый урок словесности являлся светлым промежутком на тусклом фоне обязательной гимназической рутины, часом отдыха, наслаждения, неожиданных и ярких впечатлений. Часто я даже по утрам просыпался с ощущением какой-то радости. А, это — сегодня урок словесности! Весь педагогический хор с голосами среднего регистра и выкрикиваниями маниаков покрывался теперь звучными и яркими молодыми голосами. И ярче всех звучал баритон Авдиева: хор в целом приобретал как будто новое значительное выражение.

Однажды на улице, вечером, я встретил Авдиева. Он шел под руку с каким-то молодым человеком, несколько старше меня, с южным профилем и черными кудрявыми волосами. Я уже видел его раньше. Это был Гаврило Жданов, впоследствии мой приятель, недавно приехавший в наш город, чтобы поступить в один из старших классов гимназии. Он приходился родственником учителю Тыссу и держался запросто в учительской компании. Это делало его в моих глазах чем-то высшим, чем мы, бедняги ученики в застегнутых мундирах, с вечной опаской перед начальством. Встретив меня у одинокого фонаря на углу, Авдиев остановился и сказал:

— А! Это вы. Хотите ко мне пить чай? Вот, кстати, познакомьтесь: Жданов, ваш будущий товарищ, если только не срежется на экзамене,— что, однако, весьма вероятно. Мы вам споем малорусскую песню. Чи може ви наших пісень цураэтесь? — спросил он по-малорусски.— А коли не цураэтесь — идем.

Вечер весь прошел в пении. У Авдиева был глубокий и свободный баритон. Жданов подтягивал небольшой, но приятной октавой. Я сидел у открытого окна и слушал. В окно виднелся пруд, остров, тополи и замок. Над дальними камышами, почти еще не светя, подымалась во мгле задумчивая красная луна, а небольшая комната, освещенная мягким светом лампы, вся звенела мечтательной, красивой тоской украинской песни. Никогда впоследствии я не испытывал таких сильных ощущений от пения, как в подобные вечера у Авдиева. После двух-трех знакомых песен Авдиев сказал:

— Ну, Жданов,— теперь давайте ту, новую...

И взяв тон, он запел песню «про бурлаку».

Бурлак робить заробляэ,
А хозяін пьэ, гуляэ,
Гей-гей! Яром за товаром,

Та горами за волами...
Тяжко жити з ворогами.

Несомненно, в песне есть свои краски и формы. Нужно только, чтобы в центре стал ясный образ, а уже за ним в туманные глубины воображения, в бесконечную даль непознанного, неведомого в природе и жизни, потянутся свои живые отголоски и будут уходить, дрожа, вспыхивая, плача, угасая. Я живо помню, как в этот вечер в замирающих тонах глубокого голоса Авдиева, когда я закрывал глаза или глядел на смутную гладь камышей, мне *виделась* степь, залитая мечтательным сиянием, колышущаяся буйной травой, изрезанная молчаливыми ярами. А басовая октава Жданова расстилалась под изгибами высокого и светлого баритона, как ночные тени в этих ярах и долинах... И среди этой озаренной степи стоял и оглядывался сиротина-бурлак и кричал: гей-гей! на затерявшихся волов и на свою одинокую долю...

Эта песня безотчетно понравилась мне тогда больше всех остальных. Авдиев своим чтением и пением вновь разбудил во мне украинский романтизм, и я опять чувствовал себя во власти этой поэтической дали степей и дали времен...

Гетьмани, гетьмани! Якби то ви встали,
Встали, подивились на свий Чигирин,
Що ви будували, де ви панували!..
. . . .
У труби затрубили,
У дзвони задзвонили,
Вдарили з гармати...
Знаменами, бунчуками
Гетьмана укрили...

И я грустил, что это ушло, что этого уже нельзя встретить на этом скучном свете, что уже

Не вернеться козаччина,
Не встануть гетьмани,
Не покриют Україну
Червоні жупани.

Теперь под влиянием Авдиева это настроение, казалось, должно вспыхнуть еще сильнее... Но... в сущности этого не было, и не было потому, что та самая рука, которая открывала для меня этот призрачный мир,— еще шире распахнула окно родственной русской литературы, в которое хлынули потоками простые, ясные образы

и мысли. Без моего сознания и ведома в душе происходила чисто стихийная борьба настроений. И теперь на вопрос Авдиева, понравилась ли мне песня «про бурлаку», я ответил, что понравилась больше всех. На вопрос — почему больше всех, я несколько замялся.

— Потому что... напоминает Некрасова.— И я опять покраснел, чувствуя, что, в сущности, сходства нет, а между тем мой отзыв все-таки выражал что-то действительное.

— Вы хотите, вероятно, сказать, что тут речь идет не о прошлом, а о настоящем?— сказал Авдиев.— Что за современный бурлак и современный хозяин? У Шевченка тоже есть такие мотивы. Он часто осуждал прошлое...

И он прочел несколько отрывков. Я тогда согласился, но в глубине сознания все-таки стояло какое-то различие; такие мотивы были:

Варшавське сміття ваші пани,
Ясновольможнії гетьмани!

Но основной, господствующей нотой все-таки была глубокая тоска об этом прошлом, разрешавшаяся беспредметной мечтой о чем-то смутном, как говор степного ветра на казацкой могиле...

Это я теперь раскрываю скобки, а тогда в душе уживались оба настроения, только одно становилось все живее и громче. В это время я стал бредить литературой и порой, собрав двух-трех охочих слушателей, иногда даже довольствуясь одним,— готов был целыми часами громко читать Некрасова, Никитина, Тургенева, комедии Островского... Однажды, в воскресенье, я залучил таким образом товарища-еврея Симху. У него были художественные наклонности, и я охотно слушал его игру на скрипке. В свою очередь, я угостил его чтением «Гайдамаков». Читал я на этот раз недурно, голос мой стал гибким, выразительным, глубоким. Однако вскоре почувствовал, что живая связь между мной и слушателем оборвалась и не восстановляется. Я взглянул в симпатичное лицо моего приятеля и понял: я читал *еврею* о том, как герой шевченковской поэмы, Галайда, кричит в Лисянке: «Дайте ляха, дайте жида, мало мені, мало!..» Как гайдамаки точат кровь «жидівочек» в воду и так далее... Это, конечно, была «история», но от этой поэтической истории моему приятелю стало больно. А затем кое-где из красивого тумана, в котором гени-

альною кистью украинского поэта были разбросаны полные жизни и движения картины бесчеловечной борьбы, стало проглядывать кое-что затронувшее уже и меня лично. Гонта, служа в уманьском замке начальником реестровых казаков, женился на польке, и у него было двое детей. Когда гайдамаки под предводительством того же Гонты взяли замок, иезуит приводит к ватажку его детей-католиков. Гонта уносит и режет обоих «свяченым ножом», а гайдамаки зарывают живьем в колодце школяров из семинарии, где учились дети Гонты.

У Добролюбова я прочел восторженный отзыв об этом произведении малороссийского поэта: Шевченко, сам украинец, потомок тех самых гайдамаков, «с полной объективностью и глубоким проникновением» рисует настроение своего народа. Я тогда принял это объяснение, но под этим согласием просачивалась струйка глухого протеста... В поэме ничего не говорится о судьбе матери зарезанных детей. Гонта ее проклинает:

Будь проклята мати,
Та проклята католичка,
Що вас породила!
Чом вона вас до схід сонця
Була не втопила?..

Думалось невольно: ведь он на ней женился, зная, что она католичка, как мой отец женился на моей матери... Я не мог разделять жгучей тоски о том, что теперь...

Не заріже батько сина,
Своэї дитини
За честь, славу, за братерство,
За волю Вкраїни...

Это четырехстишие глубоко застряло у меня в мозгу. Вероятно, именно потому, что очарование националистского романтизма уже встречалось с другим течением, более родственным моей душе.

Однажды Авдиев, чтобы заинтересовать нас Добролюбовым, прочитал у себя в квартире отрывки из его статей и, между прочим, «Размышления гимназиста». Я вдруг с удивлением услышал давно знакомое стихотворение, которое мы когда-то списывали в свои альбомы... Так вот кто писал это? Вот кто говорил обо мне, об Янкевиче, о Крыштановиче, об Ольшанском? На наше положение прямо и ясно указывала литература и затем

уже сопровождала каждый наш жизненный шаг... Это сразу роднило с нею. Статьи Добролюбова, поэзия Некрасова и повести Тургенева несли с собой что-то прямо бравшее нас на том месте, где заставало. Казак Шевченка, его гайдамак, его мужик и дивчина представлялись для меня, например, красивой отвлеченностью. Мужика Некрасова я никогда не видел, но чувствовал его больше. Всегда за непосредственным образом некрасовского «народа» стоял интеллигентный человек, с своей совестью и своими запросами... вернее — с *моей* совестью и *моими* запросами...

Эта струя литературы того времени, этот особенный двусторонний тон ее — взяли к себе мою разноплеменную душу... Я нашел тогда свою родину, и этой родиной стала прежде всего русская литература[1] . . . . . .

. . . .

Однажды Авдиев явился в класс серьезный и недовольный.

— У нас требуют присылки четвертных сочинений для просмотра в округ,— сказал он с особенной значительностью.— По ним будут судить не только о вашем изложении, но и об образе ваших мыслей. Я хочу вам напомнить, что наша программа кончается Пушкиным. Все, что я вам читал из Лермонтова, Тургенева, особенно Некрасова, не говоря о Шевченке, в программу не входит.

Ничего больше он нам не сказал, и мы не спрашивали... Чтение новых писателей продолжалось, но мы понимали, что все то, что будило в нас столько новых чувств и мыслей, кто-то хочет отнять от нас; кому-то нужно закрыть окно, в которое лилось столько света

---

[1] Эта часть истории моего современника вызвала оживленные возражения в некоторых органах украинской печати. Позволю себе напомнить, что я пишу не критическую статью и не литературное исследование, а только пытаюсь восстановить *впечатление,* которое молодежь моего поколения получала из своего тогдашнего (правда, неполного) знакомства с самыми распространенными произведениями Шевченка. Верно ли передаю его? Думаю, верно. Это была любовь и восхищение. Но... стоит вспомнить сотни имен из украинской молодежи, которая участвовала в движении 70-х годов, лишенном всякой националистической окраски, чтобы понять, где была бо́льшая двигательная сила... Движение «в сторону наименьшего (национального) сопротивления», как его называет один из критиков-украинцев, вело сотни молодых людей в тюрьмы, в Сибирь и даже (как, например, Лизогуба) на плаху... Странное «наименьшее сопротивление»...

и воздуха, освежавшего застоявшуюся гимназическую атмосферу...

— А я от вас, кажется, скоро уеду,— сказал вскоре после этого Авдиев с мягкой грустью, когда я зашел к нему.

— Отчего?— спросил я упавшим голосом.

— Долго рассказывать, да, может быть, и не к чему,— ответил он.— Просто пришелся не ко двору...

К нам приехал новый директор, Долгоногов, о котором я уже говорил выше. Все, начиная с огромного инспектора и кончая Дитяткевичем, сразу почувствовали над собой авторитетную руку. Долгоногова боялись, уважали, особенно после случая с Безаком, но... не знали. Он был от нас как-то далек по своему положению.

Можно было легко угадать, что Авдиеву будет трудно ужиться с этим неуклонным человеком. А Авдиев вдобавок ни в чем не менял своего поведения. По-прежнему читал нам в классах новейших писателей; попрежнему мы собирались у него группами на дому; попрежнему порой в городе рассказывали об его выходках...

Я почувствовал, без объяснений Авдиева, в чем дело... и прямая фигура Долгоногова стала мне теперь неприятной. Однажды при встрече с ним на деревянных мостках я уступил ему дорогу, но поклонился запоздало и небрежно. Он повернулся, но, увидя, что я все-таки поклонился, тотчас же проследовал дальше своей твердой размеренной походкой. Он не был мелочен и не обращал внимания на оттенки.

Вскоре в город приехал киевский попечитель Антонович. Это был скромный старик, в мундире отставного военного, с очень простыми и симпатичными повадками. Приехал он как-то тихо, без всякой помпы и в гимназию пришел пешком, по звонку, вместе с учителями. На уроки он тоже приходил в самом начале, сидел до конца, и об его присутствии почти забывали. Говорили, что он был когда-то разжалован в солдаты по одному делу с Костомаровым и Шевченком и опять возвысился при Александре II. Он остался очень доволен уроками Авдиева. Пробыл он в нашем городе несколько дней, и в течение этого времени распространилось известие, что его переводят попечителем учебного округа на Кавказ.

Однажды на Гимназической улице, когда я с охапкой книг шел с последнего урока, меня обогнал Авдиев.

— Что это у вас за походка?..— сказал он, весело смеясь,— с развальцем... Подтянулись бы немного. А вот еще хуже: отчего вы не занимаетесь математикой?

— Я, Вениамин Васильевич, неспособен...

— Пустяки. Никто не требует от вас математических откровений, а в гимназических пределах — способен всякий. Нельзя быть образованным человеком без математической дисциплины...

В это время на противоположной стороне из директорского дома показалась фигура Антоновича. Поклонившись провожавшему его до выхода директору, он перешел через улицу и пошел несколько впереди нас.

— Ну вот,— сказал тихо Авдиев,— сейчас дело мое и решится.— Кивнув мне приветливо головой, он быстро догнал попечителя и, приподняв шляпу, сказал своим открытым приятным голосом: — У меня к вам, ваше превосходительство, большая просьба. Учитель Авдиев, преподаю словесность.

— Знаю,— сказал старый генерал с неопределенным выражением в голосе.— Какая просьба?

— Говорят, вы переводитесь на Кавказ. Если это правда... возьмите меня с собой.

— Это почему?

Авдиев улыбнулся и сказал:

— Раз вы меня запомнили, то позвольте думать, что вам известны также причины, почему мне здесь оставаться... не рука.

Старый кирилло-мефодиевец остановился на мгновение и взглянул в лицо так свободно обратившемуся к нему молодому учителю. Потом зашагал опять, и я услышал, как он сказал негромко и спокойно:

— Ну что ж. Пожалуй.

Мне было неловко подслушивать, и я отстал. В конце улицы Антонович попрощался и пошел направо, а я опять догнал Авдиева, насвистывавшего какой-то веселый мотив.

— Ну вот, дело сделано,— сказал он.— Я знал, что с ним можно говорить по-человечески. В Тифлисе, говорят, ученики приходят в гимназию с кинжалами, тем менее оснований придираться к мелочам. Ну, не поминайте лихом!

— Разве уже... так скоро?— спросил я.

— Да, недели через три...

Через три недели он уехал... Первое время мне показалось, что в гимназии точно сразу потемнело... Помня наш разговор на улице, я подправил, как мог, свои математические познания и... старался подтянуть свою походку...

XXVIII
БАЛМАШЕВСКИЙ

На место Авдиева был назначен Сергей Тимофеевич Балмашевский. Это был высокий, худощавый молодой человек, с несколько впалой грудью и слегка сутулый. Лицо у него было приятное, с доброй улыбкой на тонких губах, но его портили глаза, близорукие, с красными, припухшими веками. Говорили, что он страшно много работал, отчего спина у него согнулась, грудь впала, а на веках образовались ячмени, да так и не сходят...

На одном из первых уроков он заставил меня читать «Песнь о вещем Олеге».

Ковши круговые, запенясь, кипят
На тризне печальной Олега.
Князь Игорь и Ольга на хо́лме сидят,
Дружина пирует у брега...

Когда я прочел предпоследний стих, новый учитель перебил меня:

— На холмѐ сидят... Нужно читать на холмѐ!

Я с недоумением взглянул на него.

— Размер не выйдет,— сказал я.

— Нужно читать на холмѐ,— упрямо повторил он.

Из-за кафедры на меня глядело добродушное лицо, с несколько деревянным выражением и припухшими веками. «Вечный труженик, а мастер никогда!» — быстро, точно кем-то подсказанный, промелькнул у меня в голове отзыв Петра Великого о Тредьяковском.

Блеска у него не было, новые для нас мысли, неожиданные, яркие, то и дело вспыхивавшие на уроках Авдиева,— погасли. Балмашевский добросовестно объяснял: такое-то произведение разделяется на столько-то частей. В части первой, или вступлении, говорится о таком-то предмете... При этом автор прибегает к такому-то удачному сравнению... «Словесность» стала опять только отдельным предметом. Лучи, которые она еще так

недавно кидала во все стороны, исчезли... Центра для наших чувств и мыслей в ровенской реальной гимназии опять не было... И опять над голосами среднего регистра резко выделялись выкрикивания желто-красного попугая.

Вскоре, однако, случился эпизод, поднявший в наших глазах нового словесника...

Гаврило Жданов, после отъезда Авдиева поступивший таки в гимназию, часто приходил ко мне, и, лежа долгими зимними сумерками на постели в темной комнате, мы вели с ним тихие беседы. Порой он заводил вполголоса те самые песни, которые пел с Авдиевым. В темноте звучал один только басок, но в моем воображении над ним вился и звенел бархатный баритон, так свободно взлетавший на высокие ноты... И сумерки наполнялись ощутительными видениями...

Однажды у нас исключили двух или трех бедняков за невзнос платы. Мы с Гаврилой беспечно шли в гимназию, когда навстречу нам попался один из исключенных, отосланный домой. На наш вопрос, почему он идет из гимназии не в урочное время, он угрюмо отвернулся. На глазах у него были слезы...

В тот же день после уроков Гаврило явился ко мне, и по общем обсуждении мы выработали некий план: решили обложить данью ежедневное потребление пирожков в большую перемену. Сделав приблизительный подсчет, мы нашли, что при известной фискальной энергии нужную сумму можно собрать довольно быстро. Я составил нечто вроде краткого воззвания, которое мы с Гаврилой переписали в нескольких экземплярах и пустили по классам. Воззвание имело успех, и на следующий же день Гаврило во время большой перемены самым серьезным образом расположился на крыльце гимназии, рядом с еврейкой Сурой и другими продавцами пирожков, колбас и яблок, и при каждой покупке предъявлял требования:

— Два пирожка... Давай копейку... У тебя что? Колбаса на три копейки? Тоже копейку.

Дело пошло. Некоторые откупались за несколько дней, и мы подумывали уже о том, чтобы завести записи и бухгалтерию, как наши финансовые операции были замечены надзирателем Дитяткевичем...

— Это что такое? Что вы делаете?

Чувствуя свою правоту, мы откровенно изложили свой план и его цели. Дидонус, несколько озадаченный, тотчас же поковылял к директору.

Долгоногова в то время уже не было. Его перевели вскоре после Авдиева, и директором был назначен Степан Яковлевич. Через несколько минут Дидонус вернулся оживленный, торжествующий и злорадный. Узнав от директора, что мы совершили нечто в высокой степени предосудительное, он радостно повлек нас в учительскую, расталкивая шумную толпу гимназистов.

Степан Яковлевич, откинувшись на стуле, измерил нас обоих взглядом и, подержав с полминуты под угрозой вспышки, заговорил низким, хрипловатым голосом:

— Вы что это затеяли? Прокламации какие-то?.. Тайные, незаконные сборы?..

— Мы... Степан Яковлевич...— начал было изумленный Гаврило, но директор кинул на него суровый взгляд и сказал:

— Молчать... Я говорю: тай-ные сборы, потому что вы о них ничего не сказали мне, вашему директору... Я говорю: незаконные, потому...— он выпрямился на стуле и продолжал торжественно: — что на-ло-ги устанавливаются только Государственным советом... Знаете ли вы, что если бы я дал официальный ход этому делу, то вы не только были бы исключены из гимназии, но... и отданы под суд...

Красивые глаза Гаврилы застыли в выражении величайшего, почти сверхъестественного изумления. Я тоже был удивлен таким неожиданным освещением нашей затеи, хотя чувствовал, что законодательные права Государственного совета тут ни при чем.

В это время взгляд мой случайно упал на фигуру Балмашевского. Он подошел в самом начале разговора и теперь, стоя у стола, перелистывал журнал. На его тонких губах играла легкая улыбка. Глаза были, как всегда, занавешены тяжелыми припухшими веками — но я ясно прочел в выражении его лица сочувственную поддержку и одобрение. Степан Яковлевич спустил тон и сказал:

— Пока — ступайте в класс.

В тот же день при выходе из гимназии меня окликнул Балмашевский и сказал, улыбаясь:

— Что? Досталось? Ну ничего! Никаких последствий из этого, разумеется, не будет. Но вы, господа, дей-

ствительно принялись не так. Зайдите сегодня ко мне с Ждановым...

В тот же вечер мы зашли с Гаврилой в холостую квартиру учителя. Он принял нас приветливо и просто изложил свой план: мы соберем факты и случаи крайней нужды в среде наших товарищей и изложим их в форме записки в совет. Он подаст ее от себя, а учителя выработают устав «Общества вспомоществования учащимся города Ровно».

Вышли мы от него тронутые и с чувством благодарности.

— Не Авдиев, а малый все-таки славный,— сказал на улице мой приятель.— И, знаешь, он тоже не дурно поет. Я слышал на именинах у Тысса.

Записку мы составили. Мне далось очень трудно это первое произведение в деловом стиле, и Балмашевскому пришлось исправлять его. Молодые учителя поддержали доклад, и проект устава был отослан в министерство, а пока сделали единовременный сбор и уплатили за исключенных. Вследствие обычной волокиты устав был утвержден только года через три, когда ни нас с Гаврилой, ни Балмашевского в Ровно уже не было. Но все же у меня осталось по окончании гимназии хорошее, теплое воспоминание об этом неблестящем молодом учителе, с впалой грудью и припухшими от усиленных занятий веками...

Прошло еще лет десять. «Система» в гимназиях определилась окончательно. В 1888 или 1889 году появился памятный циркуляр «о кухаркиных детях», которые напрасно учатся в гимназиях. У директоров потребовали особую статистику, в которой было бы точно отмечено состояние родителей учащихся, число занимаемых ими комнат, количество прислуги. Даже в то глухое и смирное время этот циркуляр выжившего из ума старика Делянова̀, слишком наивно подслуживавшегося кому-то и поставившего точки над i, вызвал общее возмущение: не все директора даже исполнили требование о статистике, а публика просто накидывалась на людей в синих мундирах «народного просвещения», выражая даже на улицах чувство общего негодования...

В это время мне довелось быть в одном из городов нашего юга, и здесь я услышал знакомую фамилию. Балмашевский был в этом городе директором гимназии. У меня сразу ожили воспоминания о нашем с Гаврилой

посягательстве на права Государственного совета, о симпатичном вмешательстве Балмашевского, и мне захотелось повидать его. Но мои знакомые, которым я рассказал об этом эпизоде, выражали сомнение: «Нет, не может быть! Это, наверное, другой!»

Оказалось, что это был тот же самый Балмашевский, но... возмутивший всех циркуляр он принялся применять не токмо за страх, но и за совесть: призывал детей, опрашивал, записывал «число комнат и прислуги»... Дети уходили испуганные, со слезами и недобрыми предчувствиями, а за ними исполнительный директор стал призывать беднейших родителей и на точном основании циркуляра убеждал их, что воспитывать детей в гимназиях им трудно и нецелесообразно. По городу ходила его выразительная фраза:

— Да что вы ко мне пристаете? Я чиновник. Прикажут вешать десятого... Приходите в гимназию: так и будут висеть рядышком, как галки на огороде... Адресуйтесь к высшему начальству...

Мне опять вспомнился тургеневский Мардарий.

Балмашевские, конечно, тоже не злодеи. Они выступали на свою дорогу с добрыми чувствами, и, если бы эти чувства требовались по штату, поощрялись или хоть терпелись — они бы их старательно развивали. Но жестокий, тусклый режим школы требовал другого и производил в течение десятилетий систематический отбор...

Старательный Балмашевский сделал карьеру, а Авдиев умер незаметным провинциальным преподавателем словесности на окраине.

XXIX

МОЙ СТАРШИЙ БРАТ ДЕЛАЕТСЯ ПИСАТЕЛЕМ

Старший брат был года на два старше меня. Казалось, он унаследовал некоторые черты отцовского характера. Был, как отец, вспыльчив, но быстро остывал, и, как у отца, у него сменялись разные увлечения. Одно время он стал клеить из бумаги сначала дома, потом корабли и достиг в этом бесполезном строительстве значительного совершенства: миниатюрные фрегаты были оснащены по всем правилам искусства, с мачтами, реями и даже маленькими пушками, глядевшими из лю-

ков. Потом он внезапно бросал и принимался за что-нибудь новое.

Особенно он увлекался чтением. Часто его можно было видеть где-нибудь на диване или на кровати в самой неизящной позе: на четвереньках, упершись на локтях, с глазами, устремленными в книгу. Рядом на стуле стоял стакан воды и кусок хлеба, густо посыпанный солью. Так он проводил целые дни, забывая об обеде и чае, а о гимназических уроках и подавно.

Сначала это чтение было чрезвычайно беспорядочно: «Вечный Жид», «Три мушкетера», «Двадцать пять лет спустя», «Королева Марго», «Граф Монте-Кристо», «Тайны мадридского двора», «Рокамболь» и т. д. Книги он брал в маленьких еврейских книжных лавчонках и иной раз посылал меня менять их. На ходу я развертывал книгу и жадно поглощал страницу за страницей. Но брат никогда не давал мне дочитывать, находя, что я «еще мал для романов». Так многое из этой литературы и доныне осталось в моей памяти в виде ярких, но бессвязных обрывков...

Однажды — брат был в это время в пятом классе ровенской гимназии — старый фантазер Лемпи предложил желающим перевести русскими стихами французское стихотворение:

De ta tige détachée,
Pauvre feuille desséchée,
Où vas-tu? — Je ne sais rien...[1]

Весь класс отказался, согласились двое. Это был некто Пачковский и мой брат. Последний кинулся на стихи так же страстно, как недавно на выклейку фрегатов, и ему удалось в конце концов передать изрядным стихом меланхолические размышления о листочке, уносимом потоком в неведомые пределы. О стихах заговорили и товарищи и учителя. Брат прослыл «поэтом» и с этих пор целые дни проводил, подбирая рифмы. Мы смеялись, глядя, как он левой рукой выстукивал по столу число стоп и слогов, а правой строчил, перемарывал и опять строчил. Когда наш смех достигал до его слуха, он на время отрывался от вдохновенного творчества, грозил нам кулаком и опять погружался в свое занятие.

---

[1] Оторвавшийся от своего стебля,
Бедный засохший листок,
Куда ты несешься? — Не знаю... *(фр.)* — *Ред.*

Так как французские стихи перевел также и Пачковский, то сначала в классе говорили: «У нас два поэта». Пачковский, сын бедной вдовы, содержавшей ученическую квартиру, был юноша довольно великовозрастный, с угреватым лицом, широкий в кости, медвежеватый и неуклюжий. Перевод его был плох, но все же заслужил некоторое поощрение. После этого Пачковский стал как-то иначе ходить, иначе носил голову, втягивая ее между поднятых плеч и слегка откидывая назад, и говорил, цедя сквозь зубы. Успех брата не давал ему покоя. Он решился затмить соперника, для чего выступил одновременно с «оригинальной поэмой» и сатирой. Сатира имела форму «послания к товарищу-поэту», и в ней под видом лукавого признания чужого первенства скрывался яд. Поэма изображала страдания юной гречанки, которая собирается кинуться с утеса в море по причине безнадежной любви к младому итальянцу. Поэт напрасно взывает к ее благоразумию, убеждая не губить молодой жизни. Гречанка приводит в исполнение пагубное свое намерение и кидается в пучину. Но и жестокосердый итальянец не избег своей участи: «волны выкинули гречанкино тело на берег крутой» именно в том месте, где жил итальянец младой. Поэма кончалась убедительным двустишием:

И он не смог того пережить
И должен был себя жизни лишить.

Брат пустил по рукам стихотворную басенку о «Пачкуне, поэте народном». Эта кличка так и осталась за Пачковским.

Этот маленький полемический эпизод всколыхнул литературные интересы в гимназической среде, и из него могло бы, пожалуй, возникнуть серьезное течение, вроде того, какое было некогда в Царскосельском лицее или Нежинской гимназии времен Гоголя. Но словесник Андриевский был весь поглощен «Словом о полку Игореве», а затем вскоре появились циркуляры, запрещавшие всякие внеклассные собрания и рефераты. Д. А. Толстой заботился, чтобы умственные интересы в гимназической среде не били ключом, а смиренно и анемично журчали в русле казенных программ.

Пачковский принял тон непризнанного гения: с печатью отвержения на челе он продолжал кропать длинные и вялые творения. Когда однажды Андриевский спросил его на уроке что-то по теории словесности, он

полунасмешливо, полувеличаво поднялся с места и сказал:

— Для человека с кастальским источником в душе мертвящие теории излишни.

Андриевский ответил обычным удивленно-протяжным «а-а-а!» — и поставил поэту единицу.

К концу года Пачковский бросил гимназию и поступил в телеграф. Брат продолжал одиноко взбираться на Парнас, без руководителя, темными и запутанными тропами: целые часы он барабанил пальцами стопы, переводил, сочинял, подыскивал рифмы, затеял даже словарь рифм... Классные занятия шли все хуже и хуже. Уроки, к огорчению матери, он пропускал постоянно.

Однажды, прочитав проспект какого-то эфемерного журнальчика, он послал туда стихотворение. Оно было принято и даже, кажется, напечатано, но журнальчик исчез, не выслав поэту ни гонорара, ни даже печатного экземпляра стихов. Ободренный все-таки этим сомнительным «успехом», брат выбрал несколько своих творений, заставил меня тщательно переписать их и отослал... самому Некрасову в «Отечественные записки».

Недели через две или три в глухой городишко пришел ответ от «самого» Некрасова. Правда, ответ не особенно утешительный: Некрасов нашел, что стихи у брата гладки, приличны, литературны; вероятно, от времени до времени их будут печатать, но... это все-таки только версификация, а не поэзия. Автору следует учиться, много читать и потом, быть может, попытаться использовать свои литературные способности в других отраслях литературы.

Брат сначала огорчился, но затем перестал выстукивать стопы и принялся за серьезное чтение: Сеченов, Молешотт, Шлоссер, Льюис, Добролюбов, Бокль и Дарвин. Читал он опять с увлечением, делал большие выписки и порой, как когда-то отец, кидал мне мимоходом какую-нибудь поразившую его мысль, характерный афоризм, меткое двустишие, еще, так сказать, теплые, только что выхваченные из новой книги. Материал для этого чтения он получал теперь из баталионной библиотеки, в которой была вся передовая литература.

— Га! Помяните мое слово: из этого хлопца выйдет ученый или писатель,— глубокомысленно предсказал дядя-капитан.

Репутация будущего «писателя» устанавливалась за братом, так сказать, в кредит и в городе. Письмо Некрасова стало известно какими-то неведомыми путями и придавало брату особое значение.

Из гимназии ему пришлось уйти. Предполагалось, что он будет держать экстерном, но вместо подготовки к экзамену он поглощал книги, делал выписки, обдумывал планы каких-то работ. Иногда, за неимением лучшего слушателя, брат прочитывал мне отрывки изложения. Но тут подвернулось новое увлечение.

На этот раз причиной его явился известный тогда издатель господин Трубников. В то время он только что поставил газету «Биржевые ведомости», которую обещал сделать органом провинции, и его рекламы, заманчивые, яркие и вкусные, производили на провинциального читателя сильное впечатление. «Выписал я, знаете, газету Трубникова...» Или «Об этом надо бы написать Трубникову...» — говорили друг другу обыватели, и «Биржевые ведомости» замелькали в городе, вытесняя традиционный «Сын отечества» и успешно соперничая с «Голосом».

Однажды брату принесли конверт со штемпелем редакции. Он вскрыл его, и на лице его выразилось радостное изумление. В конверте было письмо от самого Трубникова. Правда, текст письма был печатный, но вначале стояло имя и отчество брата... Откуда юркий издатель узнал об его существовании и литературных склонностях, сказать трудно. В письме говорилось о важных «в наше время» задачах печати, и брат приглашался содействовать пробуждению общественной мысли в провинции присылкой корреспонденций, заметок и статей, касающихся вопросов местной жизни.

Брат на время забросил даже чтение. Он достал у кого-то несколько номеров трубниковской газеты, перечитал их от доски до доски, затем запасся почтовой бумагой, обдумывал, строчил, перемарывал, считал буквы и строчки, чтобы втиснуть написанное в рамки газетной корреспонденции, и через несколько дней упорной работы мне пришлось переписывать новое произведение брата. Начиналось оно словами:

Гор. Р О В Н О (от нашего корреспондента).

За этим следовала бойко набросанная характеристика маленького городка с его спячкой, пересудами, сплетнями и низменными интересами. Общими беглыми

чертами были зарисованы провинциальные типы, кое-где красиво выделялись литературные обороты и цитаты, обнаруживавшие начитанность автора. Мне казалось только, что речь идет как будто о каком-то городке вообще, а не о нашем именно, типы же взяты были скорее из книг, чем из нашей жизни. Это мое замечание нимало не смутило автора. Так и нужно. Это ведь «литература»... Всегда немного иначе, чем в жизни.

Корреспонденция была отослана. Дней через десять старик почталион, сопровождаемый лаем собак, от которых он отбивался коротенькой сабелькой, принес брату номер газеты и новое письмо со штемпелем редакции. Брат тотчас схватился за газету и просиял. На третьей странице, выведенная жирным шрифтом и курсивом, стояла знакомая фраза:

Гор. Р О В Н О (от нашего корреспондента).

Мне показалось это почти чудом. Так еще недавно я выводил эти самые слова неинтересным почерком на неинтересной почтовой бумаге, и вот они вернулись из неведомой, таинственной «редакции» отпечатанными на газетном листе и вошли сразу в несколько домов, и их теперь читают, перечитывают, обсуждают, выхватывают лист друг у друга... Я перечитал корреспонденцию, и мне показалось, что на огромном сером листе она выделяется чуть не огненными буквами. Критика моя перед печатным текстом почтительно смолкла. Это — «литература», то есть нечто гораздо интереснее нашего тусклого городишка, с его заросшими прудами и сонными лачугами... Листок с столбцом бойких строчек, набросанных рукою брата, упал сюда как камень в застоявшуюся воду... Точно вдруг над сонным городом склонился таинственный и величавый фантом: сам господин Трубников из своего прекрасного далека заглядывает в него умным и насмешливым взглядом... И городок начинает копошиться, точно внезапно раскрытый муравейник.

Городок действительно закопошился. Номер ходил по рукам, о таинственном корреспонденте строились догадки, в общих характеристиках узнавали живых лиц, ловили намеки. А так как корреспондент в заключение обещал вскрыть на этом фоне «разные эпизоды повседневного обывательского прозябания», то у Трубникова опять прибыло в нашем городе несколько подписчиков.

Этот эпизод в значительной степени ослабил благотворное действие некрасовского письма. Брат почувствовал себя чем-то вроде Атласа, державшего на плечах ровенское небо. В то время, когда в городе старались угадать автора,— автор сидел за столом, покачивался на стуле с опасностью опрокинуться, глядел в потолок и придумывал новые темы. Он был весь поглощен этим занятием. Корреспонденция летела за корреспонденцией, и хотя печатались не все, но некоторые все же печатались, а однажды почталион принес повестку на 18 рублей 70 копеек. Эта сумма в то время, когда штатные чиновники суда получали по три и по пяти рублей в месяц, казалась целым богатством. Правда, вялый городок доставлял мало тем, но брат был на этот счет изобретателен. Наибольшее волнение в городе было вызвано его письмом о вечере в местном клубе, куда были допущены гимназисты. Корреспондент изобразил их успех несколько преувеличенными красками. «Питомцы Минервы (гимназисты) решительно оттеснили сынов Марса (гарнизонные и стрелковые офицеры), и прелестная богиня любви, до тех пор благосклонная к усам и эполетам, с стыдливой улыбкой поощрения протянула ручку безусым юношам в синих мундирах». Офицеры обиделись и заговорили об «оскорблении военной чести». Полковник ездил объясняться с директором... Городок долго не мог успокоиться... В качестве практического результата — гимназистам посещение танцевальных вечеров было воспрещено...

К экзаменам брат так и не приступал. Он отпустил усики и бородку, стал носить пенсне, и в нем вдруг проснулись инстинкты щеголя. Вместо прежнего увальня, сидевшего целые дни над книгами, он представлял теперь что-то вроде щеголеватого денди, в плоеных манишках и лакированных сапогах. «Мне нужно бывать в обществе,— говаривал он,— это необходимо для моей работы». Он посещал клубы, стал отличным танцором и имел «светский» успех... Всем давно уже было известно, что он «сотрудник Трубникова», «литератор».

Однажды он коснулся темы более «серьезной». В городе обокрали какого-то обывателя, и брат очень картинно изобразил беспомощный городишко в темные осенние ночи, без освещения, со стражами, благополучно спящими по своим углам... Помощник исправника, представлявший из себя, за окончательной дряхлостью исправника Гоца, высшую фактическую полицейскую

власть в городе, пригласил брата «для некоторого секретного разговора». Любезно предложив папиросу, высший представитель полицейской власти приступил к дипломатическому объяснению: он хорошо знал и глубоко уважал отца. Кроме того, он питает уважение к литературе. Он находит, что описание вечера было очень остроумно и мило. Но в последнее время газета Трубникова стала уже касаться некоторым образом «деятельности правительства».

Брат выразил удивление: о правительстве, кажется, ничего не было. «Да, не прямо. Но было о ночной страже и бездействии, так сказать, власти. Участились грабежи... А кто, позвольте спросить, обязан за этим наблюдать?» Полиция! Полиция есть орган правительства. И если впредь корреспонденции будут касаться деятельности правительственной власти, то он, помощник исправника, при всем уважении к отцу, а также к литературе, будет вынужден произвести секретное дознание о вредной деятельности корреспондента и даже... ему неприятно говорить об этом... ходатайствовать перед губернатором о высылке господина литератора из города...

Затем он вежливо попрощался, уверяя, что очень уважает печать, восхищается острым пером неизвестного ему, в сущности, корреспондента и ничего не имеет против обличения нравов. Лишь бы не подрывали власть.

Брат вернулся домой несколько озабоченный, но вместе польщенный. Он — сила, с которою приходится считаться правительству. Вечером, расхаживая при лунном свете по нашему небольшому саду, он рассказал мне в подробностях разговор с помощником исправника и прибавил:

— Да, вот неприятная сторона известности... А скажи: думал ли ты, что твой брат так скоро станет руководителем общественного мнения?

— Ну-у...— протянул я скептически.— Это уж слишком громко.

Он остановился в аллейке, пронизанной пятнами лунного света, и сказал с некоторым раздражением (мое сомнение врывалось диссонансом в его настроение):

— Ты еще глуп. А я тебе по всем правилам логики докажу, что это так. Посылка: печать руководит общественным мнением! Отвечай: да или нет?

— Ну, положим, да!

— А я теперь писатель?..

— Д-да,— протянул я менее решительно.

— Несомненно, так как человек, печатающий свои статьи, есть писатель. Отсюда вывод: я тоже руководитель общественного мнения. Советую: почитай логику Милля, тогда не будешь делать глупых возражений.

Я не возражал более, а он смягчился и, продолжая ходить по аллейке, развивал свои планы.

Читатель отнесется снисходительно к маленьким преувеличениям брата, если примет в соображение, что ему было тогда лет семнадцать или восемнадцать, что он только что избавился от скучной школьной ферулы и что, в сущности, у него были налицо все признаки так называемой литературной известности.

Что такое, в самом деле, литературная известность? Золя в своих воспоминаниях, рассуждая об этом предмете, рисует юмористическую картинку: однажды его, уже «всемирно известного писателя», один из почитателей просил сделать ему честь быть свидетелем со стороны невесты на бракосочетании его дочери. Дело происходило в небольшой деревенской коммуне близ Парижа. Записывая свидетелей, мэр, местный торговец, услышав фамилию Золя, поднял голову от своей книги и с большим интересом спросил:

— Мосье Золя? Шляпный магазин на такой-то улице?

— Нет, писатель.

— А! — произнес мэр равнодушно и записал фамилию.

За писателем последовал какой-то мосье Мишель. Мэр опять поднял голову:

— Мосье Мишель... Магазин белья на такой-то улице?

— Да.

Мэр засуетился:

— Стул господину Мишелю... Покорно прошу садиться. Очень польщен...

Этот маленький эпизод, который я передаю по памяти, довольно верно рисует пределы самой громкой «всемирной известности». Известность — это значит, что имя человека распространяется по свету известными тропками. Знают там, где читают,— это в лучшем случае. А читают вообще на этом свете мало. Читающее человечество — это приблизительно поверхность рек по отношению ко всему пространству материков. Капитан,

плавающий по данной части реки, весьма известен в этой части. Но стоит ему отъехать на несколько верст в сторону от берега... Там другой мир: широкие долины, леса, разбросанные по ним деревни... Над всем этим проносятся с шумом ветры и грозы, идет своя жизнь, и ни разу еще к обычным звукам этой жизни не примешалась фамилия нашего капитана или «всемирно известного» писателя.

Зато в своей среде, на своей линии — брат стал действительно известен.

С ним считалось «правительство», его знало «образованное общество», чиновники, торговцы-евреи — народ, питающий большое уважение к интеллекту.

В погожие сумерки «весь город» выходил на улицу, и вся его жизнь в эти часы переливалась пестрыми волнами между тюрьмой на одной стороне и почтовой станцией — на другой. Обыватели степенно прохаживались, меся ногами пыль, встречались, здоровались, делились редкими новостями. Порой среди примелькавшихся лиц появлялся заезжий магнат, граф Плятер, князь Вишневецкий или «столичный чиновник», едущий на таинственную «ревизию». И все взгляды обращались за ними, а толпа около них густела... Порой показывался директор гимназии, судья, помощник исправника, казначей... Все это составляло своего рода аристократию... Но были известности неофициальные. Чиновник Михаловский, недавно приехавший из столицы, носил пестрые пиджаки и галстуки и необыкновенно узкие брюки. О нем говорили, что по утрам он вскакивает в них со стола, как принц д'Артуа по рассказу Карлейля, а по вечерам дюжий лакей вытряхивает его прямо на кровать... Все это было смешно, но... инициалы его совпадали с именем и отчеством известного в то время поэта-переводчика, и потому, когда в дымке золотистой пыли, подымаемой ногами гуляющих, появлялась пестрая вертлявая фигурка — то за ней оглядывались и шептали друг другу:

— Господин Михаловский... Поэт. Знаете?.. В «Деле»...

— Как же, как же... читал.

И только когда недоразумение разъяснилось — престиж приезжего упал. Остались лишь пестрые брюки и смешные анекдоты.

Однажды на таком гулянии появился молодой человек, одетый щеголем, худощавый, подвижной и весе-

лый. Он пожимал руки направо и налево, перекидываясь шутками. И за ним говорили:

— Арепа, Арепа... Сотрудник «Искры». Свалил губернатора Бессе...

Арепа окончил нашу гимназию и служил в Житомире, кажется письмоводителем стряпчего. Однажды в «Искре» появился фельетон, озаглавленный: «Разговор Чемодана Ивановича с Самоваром Никифоровичем». В Чемодане Ивановиче узнавали губернатора, а в Самоваре Никифоровиче — купца Журавлева. Разговор касался взятки при сдаче почтовой гоньбы. Пошли толки. Положение губернатора пошатнулось. Однажды в клубе он увидел в биллиардной Арепу и, вероятно, желая вырвать у него покаянное отречение, сразу подошел к нему и сказал:

— Вы, молодой человек... Я слышал... Распустили грязную сплетню.

Арепа вытянулся и, прикидываясь испуганным, дрожа и заикаясь, сказал:

— Смею спросить, ваше-ство... что́ именно?

Генерал ободрился. При разговоре присутствовали посетители, чиновники, виднелся даже синий жандармский мундир...

— Ну, там...— продолжал губернатор с величавым пренебрежением,— будто с Журавлева... каких-то там пять тысяч...

— Клевета-с, ваше-ство,— говорил Арепа, и его фигура изображала самое жалкое раболепие...— Враги, ваше-ство... хотят меня погубить в ваших глазах...

И вдруг, выпрямившись, он прибавил:

— Десять тысяч, ваше-ство... Я говорил: десять тысяч...

Губернатора чуть не хватил удар, и вскоре он «по домашним обстоятельствам» подал в отставку...

Так рассказывали эту историю обыватели. Факт состоял в том, что губернатор после корреспонденции ушел, а обличитель остался жив и теперь, приехав на время к отцу, наслаждался в родном городе своей славой...

Он промелькнул метеором и исчез, оставив по себе великое почтение к званию корреспондента. Свалить губернатора — это не шутка. Брат мой был тоже корреспондент. И хотя ни одного губернатора еще не свалил, но все знали, что это именно его перо сотрясает время от времени наш мирок, волнуя то чиновников, то

ночную стражу, то офицерство. На него обращали внимание. Его приглашали на вечера, солидные обыватели брали его под руку и, уведя в сторонку, рассыпались в похвалах его «таланту» и просили продернуть того или другого...

Мудрено ли, что некоторое время брат мой плавал в атмосфере этой «известности», не замечая, что вращается в пустом пространстве и что его потрясающие корреспонденции производят бесплодное волнение, ничего никуда не подвигающее...

Во мне эти «литературные успехи» брата оставили особый след. Они как будто перекинули живой мостик между литературой и будничной жизнью: при мне слова были брошены на бумагу и вернулись из столицы напечатанными.

Уже раньше, прочитав книгу, я сравнивал порой прочитанную книгу с впечатлениями самой жизни, и меня занимал вопрос: почему в книге всегда как будто «иначе». У брата было тоже иначе. Когда первое преклонение перед печатной строкой прошло, я опять чувствовал это как недостаток, и мне стало интересно искать таких слов, которые бы всего ближе подходили к явлениям жизни. Все, что меня поражало, я старался перелить в слова, которые бы схватывали внутренний характер явления. На главной нашей улице стояла маленькая избушка, нижние венцы которой подгнили и осели. Стены ее стали ниже человеского роста... Проходя мимо нее, я говорил себе: она нахмуренная... нахлобученная... прижмурившаяся... обиженная... печальная... И когда из нее, нагнувшись, выходил пьяненький чиновник Красуский, я искал слов для чиновника...

Это входило у меня в привычку. Когда же, после Тургенева и других русских писателей, я прочел Диккенса и «Историю одного города» Щедрина — мне показалось, что юмористическая манера должна как раз охватить и внешние явления окружающей жизни, и их внутренний характер. Чиновников, учителей, Степана Яковлевича, Дидонуса я стал переживать то в диккенсовских, то в щедринских персонажах.

Выходило все-таки «не то»... И странно: порой, когда я не делал намеренных усилий, в уме пробегали стихи и рифмы, мелькали какие-то периоды, плавные и красивые... Но они пробегали непроизвольно и не захватывали ничего из жизни... Форма как будто рожда-

лась особо от содержания и упархивала, когда я старался охватить ею что-нибудь определенное.

Только во сне я читал иной раз собственные стихи или рассказы. Они были уже напечатаны, и в них было все, что мне было нужно: наш городок, застава, улицы, лавки, чиновники, учителя, торговцы, вечерние гуляния. Все было живое, и над всем было что-то еще, уже не от этой действительности, что освещало будничные картины не будничным светом. Я с восхищением перечитывал страницу за страницей.

Но... когда просыпался — все улетало, как стая птиц, испуганных приближением охотника. А те концы, которые мне удавалось порой задержать в памяти, оказывались совершенно плохи: в стихах не было размера, в прозе часто недоставало даже грамматического смысла, а слова стояли с не своим, чуждым значением...

Это опять было брожение в пустоте без откликов... Толчок ему дал Авдиев и отчасти корреспонденции брата. Авдиев уехал. Вкус корреспонденций притуплялся.

Запрещение гимназистам посещать клуб было, кажется, их единственным практическим результатом. Впрочем, однажды, в самом центре города, у моста, починили фонарь. Несколько раз в темные вечера в честь гласности горел огонек... Это было все-таки торжество. Каждый, кто проходил мимо этого фонаря глухою ночью, думал: «А! пробрал их трубниковский корреспондент».

Но скоро и этот одинокий огонек погас...

XXX
ДУХ ВРЕМЕНИ В ГАРНОМ ЛУГЕ

Изолированные факты отдельной жизни сами по себе далеко не определяют и не уясняют душевного роста. То, что разлито кругом, что проникает одним общим тоном многоголосый хор жизни — невольно, незаметно просачивается в каждую душу и заливает ее, подхватывает, уносит своим потоком. Оглядываясь назад, можно отметить вехами только начало наводнения... Потом это уже сплошное, ровное течение, в котором давно исчезли первые отдельные ручьи.

Настроение, или как тогда говорили, «дух времени», просачиваясь во все уголки жизни, заглянул и в Гарный Луг.

В одно время здесь собралась группа молодежи. Тут был, во-первых, сын капитана, молодой артиллерийский офицер. Мы помнили его еще кадетом, потом юнкером артиллерийского училища. Года два он не приезжал, а потом явился новоиспеченным поручиком, в свежем с иголочки мундире, в блестящих эполетах и сам весь свежий, радостно сияющий новизной своего положения, какими-то обещаниями и ожиданиями на пороге новой жизни.

Затем мой брат, еще недавно плохо учившийся гимназист, теперь явился в качестве «писателя». Капитан не то в шутку, не то по незнанию литературных отношений называл его «редактором» и так, не без гордости, рекомендовал соседям.

Но еще большее почтение питал он к киевскому студенту Брониславу Янковскому. Отец его недавно поселился в Гарном Луге, арендуя соседние земли. Это был человек старого закала, отличный хозяин, очень авторитетный в семье. Студент с ним не особенно ладил и больше тяготел к семье капитана. Каждый день чуть не с утра, в очках, с книгой и зонтиком под мышкой, он приходил к нам и оставался до вечера, серьезный, сосредоточенный, молчаливый. Оживлялся он только во время споров.

Эта маленькая группа молодежи сразу заняла в усадьбе центральное положение. Когда теперь я оглядываюсь на тогдашние впечатления, то мне кажется, будто эти молодые люди, еще недавно казавшиеся совершенно заурядными, теперь вдруг засияли и заблистали, точно эти года два покрыли их блестящим лаком.

Двоюродный брат был еще недавно веселым мальчиком в кургузом и некрасивом юнкерском мундире. Теперь он артиллерийский офицер, говорит об ученых книгах и умных людях, которых называют «личностями», и имеет собственного денщика, с которым собирается установить особые, «не рутинно-начальственные» отношения.

Янковский был, правда, первым учеником в нашей гимназии, но... мы никогда не преклонялись перед первыми учениками и медалистами. Теперь он студент, «подающий блестящие надежды». «Голова,— говорил о нем капитан почтительно.— Будущий Пирогов, по меньшей мере».

У капитана были три дочери, две из них уже невесты. Старшая — веселая, недурная собой хохотушка, хорошо играла на фортепиано и любила танцы. Средняя — смуглая, некрасивая, с большими задумчивыми и печальными глазами. Женских гимназий тогда почти не было, и девушки учились у гувернанток чему-нибудь и как-нибудь. Теперь молодежь принялась их «развивать». Со старшей дело шло не особенно успешно; средняя жадно накинулась на новые книги, которые, впрочем, бедняжка без подготовки понимала с трудом. Студент обратил на нее особенное внимание. Нередко их можно было видеть вдвоем. Студент поучал, девушка слушала. Иногда студент шагал вокруг клумбы перед домом и, держа в руках свежесорванный цветок, объяснял его устройство с важным спокойствием молодого профессора. Если бы это сделал кто-нибудь другой, капитан поднял бы целую бурю. Студент безжалостно вытаскивал с корнями лучшие цветы, и капитан только провожал их невольными вздохами. Однажды на деревне пришлось сделать перевязку запущенной раны на руке жницы. Студент промывал и перевязывал, девушка благоговейно подавала бинты и корпии. Когда то же самое делал фельдшер,— и, вероятно, делал лучше,— это выходило далеко не так интересно. У студента было интересно. Походило даже на священнодействие.

У капитана была давняя слабость к «науке» и «литературе». Теперь он гордился, что под соломенной крышей его усадьбы есть и «литература» (мой брат), и «наука» (студент), и вообще — умная новая молодежь. Его огорчало только, что умная молодежь как будто не признает его и жизнь ее идет особой струей, к которой ему трудно примкнуть.

Правда, его рассказы о гарнолужском панстве пользовались успехом и вызывали комментарии об «отжившем сословии». Но вот однажды после анекдотов о панах последовал веселый рассказ о мужике.

Относился он ко времени «эмансипации». Крестьян только что освободили. Был праздник. Мужики нарядными толпами шли из церкви и с базара; много было пьяных. Капитан с женой и детьми в коляске возвращался из костела. Вдруг лошади стали... Что такое? Оказалось, что на дороге, раскинувшись поперек в самой беспечной позе, лежал один из новых «свободных граждан». Кучер кричит: «Пошел с дороги, такой-сякой! Паны едут». Свободный гражданин приподнимает

пьяную голову и отвечает, что теперь воля, что он хочет вот так себе лежать на дороге, а на панов ему... И он выразился самым дерзким и неприличным образом.

Капитана это, разумеется, взорвало, но вдруг его мысли приняли юмористическое направление. А! Дорога для всех! Теперь воля! Хорошо! Пусть так. Он приказал жене и дочерям отвернуться и, став над пьяным, проделал то, что некогда Гулливер проделал над лилипутами. «Панская шутка» вызвала веселье среди празднично настроенного народа, собравшегося вокруг этой сценки и ожидавшего, как-то пан выйдет из щекотливого положения. «Свободный гражданин», озадаченный и огорченный, только поворачивал лицо, сплевывал и говорил с укоризной заплетающимся языком:

— Э! Пане, пане! Не робить бо кепства...[1]

И затем, вдруг собравшись с силами, быстро пополз под общий хохот с дороги в канаву.

Этот рассказ мы слышали много раз, и каждый раз он казался нам очень смешным. Теперь, еще не досказав до конца, капитан почувствовал, что не попадает в настроение. Закончил он уже, видимо, не в ударе. Все молчали. Сын, весь покраснев и виновато глядя на студента, сказал:

— Папа... Ведь это... поругание личности.

— Д-да,— прибавил «редактор»,— унижение человеческого достоинства.

Студент, молча, с обычным серьезным видом и сжатыми губами глядевший в синие очки, не сказал ни слова, но... встал и вышел из комнаты.

Это было внушительнее всякого осуждения.

В комнате водворилось неловкое, тягостное молчание. Жена капитана смотрела на него испуганным взглядом. Дочери сидели, потупясь и ожидая грозы. Капитан тоже встал, хлопнул дверью, и через минуту со двора донесся его звонкий голос: он неистово ругал первого попавшего на глаза работника.

Скоро, однако, умный и лукавый старик нашел средство примириться с «новым направлением». Начались религиозные споры, и в капитанской усадьбе резко обозначились два настроения. Женщины — моя мать и жена капитана — были на одной стороне, мой старший брат, офицер и студент — на другой.

---

[1] Кепство — глупость *(укр.)*.— *Ред.*

Я решительно примкнул к женщинам; младшие братья и сестры составляли публику.

Особенно памятен мне один такой спор. Речь коснулась знаменитой в свое время полемики между Пуше и Пастером. Первый отстаивал самозарождение микроорганизмов, второй критиковал и опровергал его опыты. Писарев со своим молодым задором накинулся на Пастера. Самозарождение было нужно: оно кидало мост между миром организмов и мертвой природой, расширяло пределы эволюционной теории и, как тогда казалось, доставляло победу материализму.

Писарева я тогда еще не читал, о Дарвине у меня почти только и было воспоминание из разговоров отца: старый чудак, которому почему-то хочется доказать, что человек произошел от обезьяны. И оба теперь стучались в дверь, которую я еще в детстве запер наглухо своим обетом: никогда не отступать от «веры». Спор велся шумно и страстно. Ну хорошо: микроорганизмы зародились в воде или, по Геккелю, на неизмеримой глубине океана. А вода, а океан откуда? Из облаков? А облака? Из водорода и кислорода. А водород и кислород?

В середине спора со двора вошел капитан. Некоторое время он молча слушал, затем... неожиданно для обеих сторон — примкнул к «материалистам».

— Га!— сказал он решительно.— Я давно говорю, что пора бросить эти бабьи сказки. Философия и наука что-нибудь значат... А Священное писание? Его писали люди, не имевшие понятия о науке. Вот, например, Иисус Навин... «Стой, солнце, и не движись, луна»...

Я вдруг вспомнил далекий день моего детства... Капитан опять стоял среди комнаты, высокий, седой, красивый в своем одушевлении, и развивал те же соображения о мирах, солнцах, планетах, «круговращении естества» и пылинке Навине, который, не зная астрономии, останавливает все мироздание... Я вспомнил также отца с его уверенностью и смехом...

Молодежь радостно встретила нового союзника. Артиллерист прибавил, что ядро, остановленное в своем полете, развивает огромную теплоту. При остановке земли даже алмазы мгновенно обратились бы в пары... Мир с треском распылился бы в междупланетном пространстве... И все из-за слова одного человека в незаметном уголке мира...

Вечер закончился торжеством «материализма». Капитан затронул воображение. Сбитые с позиции, мы молчали, а старик, довольный тем, что его приняла философия и наука,— изощрялся в сарказмах и анекдотах...

Было поздно, когда студент стал прощаться. Молодежь с девицами его провожала. Они удалились веселой гурьбой по переулку, смеясь, перебивая друг друга, делясь новыми аргументами, радостно упраздняя бога и бессмертие. И долго этот шумливый комок двигался, удаляясь по спящей улице, сопровождаемый лаем деревенских собак.

Я не пошел с ними. Мое самолюбие было оскорблено: меня третировали, как мальчика. Кроме того, я был взволнован и задет самой сущностью спора и теперь, расхаживая вокруг клумбы, на которой чуть светились цветы ранней осени, вспоминал аргументы отца и придумывал новые.

Ночь была тихая, звездная. Из-за старого «магазина» еще не поднялась луна, но очертания остроконечной крыши и силуэты тополей, казалось, плавали в загорающемся сиянии. Младший брат и Саня уже спали на сеновале. Я прошел туда же, нашел в темноте лестницу и поднялся к ним, стараясь потише шуршать душистым сеном. Было темно, только в одном месте свет вливался через прореху в соломенной крыше. Я улегся под ней, уставившись в клок ночного неба, усеянного звездами. Одна из них, самая большая, пока я думал, передвинулась с одной стороны прорехи к другой, точно проплыла по синему пруду. И я ясно представил себе огромный свод, тоже тихо совершающий свое вращательное движение... Вернее, это движется земля... Одну землю остановить легче, чем весь этот свод. Но... все-таки трудно. Правда, бог всемогущ. Он мог остановить землю и приказать, чтобы не было от этого дурных последствий. И даже еще иначе. Солнце зашло, а в вышине все еще играют его лучи... Если светлое облако, как экран, отразило эти лучи на землю, Иисусу Навину было светло еще час-другой... И, значит, цель молитвы достигнута...

А в прорехе появлялись новые звезды и опять проплывали, точно по синему пруду... Я вспомнил звездную ночь, когда я просил себе крыльев... Вспомнил также спокойную веру отца... Мой мир в этот вечер все-таки остался на своих устоях, но теперешнее мое звездное

небо было уже не то, что в тот вечер. Воображение охватывало его теперь иначе. А воображение и творит, и подтачивает веру часто гораздо сильнее, чем логика...

Тем не менее на следующий день я кинулся в полемику уже с космографическими соображениями, и споры закипели с новою силой...

Так шло дело до конца каникул. Капитан оставался верным союзником «материалистов», и порой его кощунственные шутки заходили довольно далеко. Однако по мере того как вечера становились дольше и темнее, его задор несколько остывал.

Однажды засиделись поздно. Снаружи в открытые окна глядела темная мглистая ночь, в которой шелестела листва, и чувствовалось на небе бесформенное движение облаков. В комнате тревожно и часто звонил невидимый сверчок.

В этот вечер капитан несколько перехватил в своем острословии. Жена была им недовольна; кажется, и он был недоволен собою. Лицо его как-то увяло, усы опустились книзу.

— Ну, будет,— сказала тетка.— Пора спать.

Капитан тяжело поднялся с места и, окинув взглядом своих союзников, сказал неожиданно:

— Э! Так-то оно так. И наука, и все такое... А всетаки, знаете, стану ложиться в постель — перекрещусь на всякий случай. Как-то спокойнее... Что нет там ничего — это верно... Ну, а вдруг *оно* есть...

Под конец он спохватился и придал голосу полуюмористическую нотку. Но жена простодушно пояснила:

— Эх, старый! Кощунствует целый вечер, а потом крестится, вздыхает, боится темноты и будит меня, чтобы я его перекрестила...

— Ну, ну!— остановил ее недовольный муж.

Этот маленький эпизод доставил мне минуту иронического торжества, восстановив воспоминание о вере отца и легкомысленном отрицании капитана. Но все же основы моего мировоззрения вздрагивали. И не столько от прямой полемики, сколько под косвенным влиянием какого-то особого веяния от нового миросозерцания.

Я все еще не знал ни Писарева, ни Дарвина, ни физиологии и ловил только отрывки, вылетавшие, как искры, из рассуждений и споров старшей молодежи. Борьба за свободу ирландцев против англичан не имела успеха потому, что ирландцы питаются картофелем,

а англичане — ростбифами... Это из Бокля. Между тем мешок картофеля прибавляет меньше крови, чем один фунт мяса. Это, кажется, из Бюхнера. Тэн объясняет сильные страсти шекспировских героев, их пламенные монологи и неистово грубые ругательства тем, что предки Шекспира — англосаксы — набивали животы сырыми ростбифами и пивом... «Мысль,— говорит Фохт,— есть выделение мозга, как желчь есть выделение печени». «Материя» и «сила», простейший атом и его механические свойства, слагаясь, дают все, что мы чувствуем как душевные процессы. Разложите на составные части вдохновенный порыв — останется такое-то количество атомов с их тяготением, и ничего больше... Человек — машина и химический препарат вместе. Так его и следует изучать. «Дана нервная дама»,— говорит Сеченов в одном этюде — и рассматривает ее как простой препарат...

Все это на меня производило впечатление блестящих холодных снежинок, падающих на голое тело. Я чувствовал, что эти отдельные блестки, разрозненные, случайно вырывавшиеся в жару случайных споров,— светятся каким-то особенным светом, резким, холодным, но идущим из общего источника...

XXXI

ПОТЕРЯННЫЙ АРГУМЕНТ

Мы вернулись в Ровно; в гимназии давно шли уроки, но гимназическая жизнь отступила для меня на второй план. На первом было два мотива. Я был влюблен и отстаивал свою веру. Ложась спать, в те промежуточные часы перед сном, которые прежде я отдавал буйному полету фантазии в страны рыцарей и казачества,— теперь я вспоминал милые черты или продолжал гарнолужские споры, подыскивая аргументы в пользу бессмертия души. Иисус Навин и формальная сторона религии незаметно теряли для меня прежнее значение...

Юная особа, пленившая впервые мое сердце, каждый день ездила с сестрой и братом в маленькой таратайке на уроки. Я отлично изучил время их проезда, стук колес по шоссе и звякание бубенцов. К тому времени, когда им предстояло возвращаться, я, будто случайно, выходил к своим воротам или на мост. Когда мне удавалось увидеть розовое личико с каштановым локоном,

выбивающимся из-под шляпки, уловить взгляд, поклон, благосклонную улыбку, это разливало радостное сияние на весь мой остальной день.

Однажды бубенчики прогремели в необычное время. Таратайка промелькнула мимо наших ворот так быстро, что я не разглядел издали фигуры сидевших, но по знакомому сладкому замиранию сердца был убежден, что это проехала *она*. Вскоре тележка вернулась пустая. Это значило, что сестры остались где-нибудь на вечере и будут возвращаться обратно часов в десять.

После девяти часов я вышел из дому и стал прохаживаться. Была поздняя осень. Вода в прудах отяжелела и потемнела, точно в ожидании морозов. Ночь была ясная, свежая, прохладный воздух звонок и чуток. Я был весь охвачен своим чувством и своими мыслями. Чувство летело навстречу знакомой маленькой тележке, а мысль искала доказательств бытия божия и бессмертия души.

Время шло; сказывалась усталость. Последние лавки были заперты, уличное движение стихало. Таратайка с долговязым кучером давно проехала по направлению к предместью Воле, но назад еще не возвращалась. Я ходил вдоль речки, не удаляясь от моста, по которому она должна была проехать. Потом остановился и стал глядеть на темную речку. По ней тихо проплывали какие-то белые птицы — не то гуси, не то молодые лебеди,— обмениваясь осторожным, невнятным клектанием, и мои мысли шли, как эти темные струи с белыми птицами... Казалось, вот-вот я найду то, что мне нужно...

Вдруг до моего сознания долетел чуть внятный звук, будто где-то далеко ударили ложечкой по стакану. Я знал его: это — отголосок бубенчиков. *Она* уже выехала, но еще далеко: таратайка пробирается сетью узеньких переулков в предместии. Я успею дойти до моста, перейти его и стать в тени угловой лавки. А пока... еще немного додумать.

Мысль, точно под влиянием толчка, заработала вдруг ярко, быстро и сильно. Я остановился, прислушиваясь к внутренней работе мозга. Да, несомненно, это складывается «неопровержимое» доказательство бессмертия. Аргументы стройно вытягивались, положение за положением, неразрывною цепью. Еще немного, и материализм (каким я знал его в нашей полемике) — рушится. Меня охватывала радость первого самостоя-

тельного творчества и открытия. Надо остановиться, уйти куда-нибудь подальше, в ту сторону, куда поплыли птицы, белевшие на повороте между ивами, и додумать до конца. Но ноги сами собой торопливо несли меня вдоль речки, к шоссе и к мосту. Звон бубенцов уже вылился на шоссе и приближался с неожиданной быстротой, заполняя своими растущими трелями чуткий воздух ночи... Успею или не успею? Я торопился, ловя слухом тарахтение колес, а мыслью — свои доказательства... Через минуту я был на мосту, но тележка уже гремела по деревянной настилке. Обе сестры с удивлением оглянулись на одинокую и, вероятно, очень глупую фигуру, неизвестно зачем застывшую в лунном свете на середине моста. Они меня не могли не узнать, но я не успел даже поклониться, потому что в это самое мгновение жадно хватал обрывки разлетевшегося силлогизма. Стройный ряд посылок и почти готового заключения снялся, как стая вспугнутых птиц, и улетал в спящий сумрак, вслед за тележкой. Звон бубенцов убежал в конец улицы и остановился в ее перспективе, недалеко от заставы. Две фигурки чуть мелькнули, как тени, у подъезда, и все исчезло. Осталась пустота перед глазами, пустота в сердце, пустота в голове: «неопровержимое доказательство» улетело. Я вернулся на прежнее место, глядел на воду, искал глазами лебедей, но и они уже затерялись где-то в тени, как мои мысли... На душе было ощущение важной утраты, раскаяние, сожаление. И было тускло, как на улице, на которой нечего было ждать в этот вечер...

Ночью я долго искал исчезнувшую мысль, но она не вернулась...

Вероятно, именно в этот период я молился на площади на статую мадонны... Мне все еще казалось, что я остаюсь верен своему давнему обету, но, как это часто бывает, самыми сильными аргументами являлись не те, которые выступали в полемике в качестве прямых возражений. Гораздо сильнее, хотя незаметно, действовало изменение умственного горизонта, занимаемого шаг за шагом как будто нейтральными фактами, образами, приемами мысли. Потом приходило воображение, охватывало их, и состав моего мира изменялся. Наивный ужас перед Дарвином испарился как-то незаметно, положения эволюционной теории так же незаметно врастали в понятия. Как-то в это время случилось мне прочитать «Подводный камень» забытого теперь рома-

ниста Авдеева. Почему-то я прочел его не весь, и содержание его вспоминается мне тускло. Но одно место осталось в памяти. Жена хорошего человека заинтересовывается приятелем мужа, атеистом. И муж, и она — люди верующие. Простая, искренняя вера освещает их жизненную дорогу, утешает, побуждает к добру... Но и атеист тоже хороший человек, способный на самопожертвование. Идти суровой дорогой борьбы без надежды на награду в будущей жизни, без опоры в высшей силе, без утешения... с гордой уверенностью в своей правоте... Она не может отказать этому миросозерцанию в своего рода красоте и величии...

Это место романа меня поразило. Значит, можно не верить по-иному, чем капитан, который кощунствует вечером и крестится ночью «на всякий случай»... Что, если бы отец встретился с *таким* человеком. Стал ли бы он смеяться тем же смехом снисходительного превосходства?..

В таком настроении я встретился с Авдиевым. Он никогда не затрагивал религиозных вопросов, но год общения с ним сразу вдвинул в мой ум множество образов и идей... За героем «Подводного камня» пришел тургеневский Базаров. В его «отрицании» мне чуялась уже та самая спокойная непосредственность и уверенность, какие были в вере отца...

И опять новая «веха» отмечает поступательное движение прилива.

XXXII

ОТКЛОНЕННАЯ ИСПОВЕДЬ

Я был, если не ошибаюсь, в шестом классе. В гимназии случилась шалость, помнится, довольно скверная. Сочувствия она ни в ком не вызывала, но виновных, по обыкновению, не выдали. Начальство вдруг сделало распоряжение, чтобы ученики старших классов исповедовались непременно у законоучителя. Это удивило и огорчило многих. Обыкновенно для помощи гимназическому священнику приглашался священник Барановнч, человек глубоко верующий, чистый сердцем и добрый. Гимназисты шли больше к нему, и в то время как около аналоя протоиерея бывало почти пусто, к Барановичу теснились и дожидались очереди...

Теперь выбора не было. Старшим приходилось поневоле идти к законоучителю... Затем случилось, что тотчас после первого дня исповеди виновники шалости были раскрыты. Священник наложил на них епитимью и лишил причастия, но еще до начала службы три ученика были водворены в карцер. Им грозило исключение...

Это произвело в нашей среде сильное впечатление. Явилось подозрение, что законоучитель выдал тайну исповеди.

На следующий день предстояло исповедоваться шестому и седьмому классам. Идя в церковь, я догнал на Гимназической улице рыжего Сучкова.

— Слышал? — спросил он у меня. Он был взволнован, и я сразу понял, что́ так занимает его.

— Да,— ответил я.— Но можно ли быть уверенным, что это именно протоиерей?..

— Положим. А можно ли быть уверенным, что это не он?

Я представил себе непривлекательно-умное лицо священника-обрусителя... Шалость дрянная... Протоиерей больше чиновник и педагог и политик, чем верующий пастырь, для которого святыня таинства стояла бы выше всех соображений... Да, кажется, он *мог бы* это сделать.

— Я... не уверен,— ответил я на вопрос Сучкова.

— Я... тоже. А можно ли раскрывать душу, когда... нет даже такой уверенности? Я не могу.

— Я тоже... Но тогда?

Возникал тяжелый вопрос: в священнике для нас уже не было святыни, и обратить вынужденную исповедь в простую формальность — вроде ответа на уроке — не казалось трудным. Но как же быть с причастием? К этому обряду мы относились хотя и не без сомнений, но с уважением, и нам было больно осквернить его ложью. Между тем не подойти с другими — значило обратить внимание инспектора и надзирателей. Мы решили, однако, пойти на серьезный риск. Это была своеобразная дань недавней святыне...

Никогда, кажется, в жизни я не приступал к исповеди с таким волнением. Это было перед вечерней. В церкви желтые огни свечей как бы спорили с сумерками, расплывавшимися в тонкой мгле от ладана. Справа за аналоем сидел отец Крюковский. У него была больная печень, и желчное страдание виднелось во взгляде его

маленьких глаз, которыми он внимательно окидывал подходивших. А невдалеке, высокий и бледный, с добрым скуластым лицом, на котором теплилось простодушное умиление, другой священник, Баранович, принимал малышей, накрывая их епитрахилью, и тотчас же наклонялся с видом торжественного и доброго внимания.

Как я завидовал в эту минуту малышам и как мне хотелось подойти к этому доброму великану и излить перед ним все настроение данной минуты, вплоть до своего намерения солгать на исповеди.

Но меня уже ждал законоучитель. Он отпустил одного исповедника и смотрел на кучу старших учеников, которые как-то сжимались под его взглядом. Никто не выступал. Глаза его остановились на мне; я вышел из ряда...

Лицо у меня горело, голос дрожал, на глаза просились слезы. Протоиерея удивило это настроение, и он, кажется, приготовился услышать какие-нибудь необыкновенные признания... Когда он накрыл мою склоненную голову, обычное волнение исповеди пробежало в моей душе... «Сказать, признаться?»

Но это было мгновение... Я встретился с его взглядом из-под епитрахили. В нем не было ничего, кроме внимательной настороженности духовного «начальника»... Я отвечал формально на его вопросы, но мое волнение при этих кратких ответах его озадачивало. Он тщательно перебрал весь перечень грехов. Я отвечал по большей части отрицанием: «грехов» оказывалось очень мало, и он решил, что волнение мое объясняется душевным потрясением от благоговения к таинству...

«Разрешение» он произнес смягченным голосом. «Епитимии не налагаю. Помолись по усердию... и за меня грешного»,— прибавил он вдруг, и эта последняя фраза вновь кинула мне краску в лицо и вызвала на глаза слезы от горького сознания вынужденного лицемерия...

На следующий день, когда все подходили к причастию под внимательными взглядами инспектора и надзирателей, мы с Сучковым замешались в толпу, обошли причащавшихся не без опасности быть замеченными и вышли из церкви.

Это было как бы прощание... С этих пор религиозные экстазы сплывали с души, и религиозные вопросы постепенно уступали место другим. Не то чтобы я решил

для себя основные проблемы о существовании бога и о бессмертии. Окончательной формулы я не нашел, но самая проблема теряла свою остроту, и я перестал искать. Мой умственный горизонт заполнялся новыми фактами, понятиями, вопросами реального мира. И все это было так ярко и толпилось так заманчиво и так, по-видимому, бесконечно... И столько в этом было жизни, глубины, наконец, столько неведомого и тайно-манящего, что для других вопросов не оставалось места. Они перекрывались фактами жизни, как небесная синева перекрывается быстро несущимися светлыми, громоздящимися друг на друга облаками, развертывающими все новые образы, комбинации и формы... А высоты, казалось, и в них достаточно...

К концу гимназического курса я опять стоял в раздумии о себе и о мире. И опять мне показалось, что я охватываю взглядом *весь* мой теперешний мир и уже не нахожу в нем места для «пиетизма». Я гордо говорил себе, что никогда ни лицемерие, ни малодушие не заставят меня изменить «твердой правде», не вынудят искать праздных утешений и блуждать во мгле призрачных, не подлежащих решению вопросов...

Это продолжалось многие годы, пока... яркие облака не сдвинулись, вновь изменяя еще раз мировую декорацию, и из-за них не выглянула опять бесконечность, загадочно ровная, заманчивая и дразнящая старыми загадками сфинкса в новых формах... И тогда я убедился, что эти вопросы были только отодвинуты, а не решены в том или другом смысле. . . . .

. . . .

XXXIII
ЧЕМ БЫТЬ?

Я был в последнем классе, когда на квартире, которую содержала моя мать, жили два брата Конахевичи — Людвиг и Игнатий. Они были православные, несмотря на неправославное имя старшего. Не обращая внимания на насмешки священника Крюковского, Конахевич не отказывался от своего имени и на вопросы в классе упрямо отвечал: «Людвиг. Меня так окрестили».

Это был юноша уже на возрасте, запоздавший в гимназии. Небольшого роста, коренастый, с крутым лбом и кривыми ногами, он напоминал гунна, и его порой называли гунном. Меня заинтересовала в нем какая-то особенная манера превосходства, с которой он относился к малышам, товарищам по классу. Кроме того, он говорил намеками, будто храня что-то недосказанное про себя.

Однажды, когда все в квартире улеглись и темнота комнаты наполнилась тихим дыханием сна, я долго не спал и ворочался на своей постели. Я думал о том, куда идти по окончании гимназии. Университет был закрыт, у матери средств не было, чтобы мне готовиться еще год на аттестат зрелости...

— Вы не спите?— тихо окликнул меня Конахевич.

— Не сплю.

— Думаете? О чем?

— У меня есть о чем подумать.

— Да, вы кончаете курс... Выбираете карьеру?..

В его голосе послышалась нотка иронии.

— Да, именно,— ответил я.

Он помолчал с полминуты, как бы прислушиваясь к дыханию спящих товарищей, и потом сказал, понизив голос:

— Счастливый вы человек...

— Это почему?

— У вас маленькие желания и маленькие задачи. Поэтому вы всего достигнете в жизни: окончите курс, поступите на службу, женитесь... И жизнь ваша покатится по ровной, гладкой дороге...

— А ваша?— спросил я, невольно улыбаясь в темноте.

— Моя?— Опять с его кровати пронесся глубокий вздох, бурный и печальный.

— Мне суждена другая доля... Меня манит недостижимое. Жизнь моя пройдет бурно... Уничтожая все на своем пути, принося страдания всем, кого роковая судьба свяжет со мною. И прежде всего тех, кого я люблю.

— Не понимаю,— сказал я наивно.— Зачем же вы выбираете карьеру, связанную с такими неудобствами?..

Конахевич горько усмехнулся и сел на своей кровати.

— Ваш вопрос показывает, что вы, в своем счастливом неведении, не можете даже понять натуры, подоб-

ной моей. Карьера?.. Это только счастливцев, как вы, ждет карьера, вроде гладкого шоссе, обставленного столбами... Мой путь?.. Пустынные скалы... пропасти... обрывы... блудящие огни... Черная туча, в которой ничего не видно, но она несет громы... Вы в бога верите?

Что-то помешало мне пуститься в откровенности, и я ответил кратко:

— Да, верю.

— А я,— мрачно сказал Конахевич,— давно утратил детскую веру...

Мне было интересно узнать, что скрывается в этой мгле с мрачным неверием, бурей и громами... Но в это время на одной из кроватей послышалось движение, и раздался голос младшего Конахевича. Это был мальчик не особенно способный, но усидчивый и серьезный. Старший был прежде его кумиром. Теперь он догнал его, и оба были в одном классе.

— Ах, Людвиг, Людвиг,— сказал он укоризненно.— Опять говоришь глупости, а алгебру на завтра, верно, не выучил... Тучи, громы, а завтра получишь единицу.

— Врешь,— ответил старший сердито.— Знаю лучше тебя...

— Знаешь?— скептически возразил Игнатий.— Когда же ты выучил? В четверти опять будут двойки. Даже неприятно ехать с тобой домой: что скажешь старикам?

Людвиг демонстративно захрапел, а Игнатий продолжал ворочаться на постели и ворчать:

— И насчет бога врешь!.. Вчера стоял на коленях и молился. Думаешь, я не видел?.. О господи! Начитался этого Словацкого. Лучше бы выучил бином.

Потом и он смолк. Тогда Людвиг опять высунул голову из-под одеяла и тихо сказал мне:

— Вы надо мной смеетесь?..

— Чуть-чуть,— ответил я.

— Вы умнее, чем я думал. Я хотел посмеяться над вами...

— Благодарю вас.

Наутро он немного стыдился и косил глаза, но затем скоро вернулся к своему величаво-загадочному, байроническому тону... Он продолжал тяготеть ко мне, и часто мы прогуливались втроем. Третий был некто Кордецкий.

Это был очень красивый юноша с пепельными волосами, матовым лицом и выразительными серыми глазами. Он недавно перешел в нашу гимназию из Белой Церкви, и в своем классе у него товарищей не было. На переменах он ходил одинокий, задумчивый. Брови у него были как-то приподняты, отчего сдвигались скорбные морщины, а на красивом лбу лежал меланхолический нимб...

Не помню, как произошло наше знакомство. Меня он интересовал, как и Конахевич, и вскоре мы стали часто ходить вместе, хотя они оба недолюбливали друг друга...

Вскоре от Кордецкого я тоже услышал туманные намеки. Конахевича угнетало мрачное будущее. Кордецкого томило ужасное прошлое... Если бы я узнал все, то отшатнулся бы от него с отвращением и ужасом. Впрочем, и теперь еще не поздно. Мне следует его оставить на произвол судьбы, хотя я единственный человек, которого он любит...

— Знаете,— сказал он однажды, когда мы были только вдвоем,— я ужасный подлец... последний негодяй... преступник...

Брови его приподнялись, морщина на лбу углубилась, но мне показалось, что слова «подлец» и «преступник» он произносит с каким-то особенным вкусом, как будто смакуя и гордясь этим званием...

Однажды после каникул он явился особенно мрачный и отчасти приподнял завесу над бездной своей порочности: в его угрюмо-покаянных намеках выступало юное существо... дитя природы... девушка из бедной семьи. Обожала его. Он ее погубил... Этим летом, ночью... в глубоком пруду... и т. д.

Я слушал все это совершенно спокойно, главным образом потому, что не верил ни одному слову, а ту долю его меланхолии, которая действительно слышалась в его голосе,— приписывал предстоящей переэкзаменовке по французскому языку...

— Если вдобавок я завтра срежусь,— прибавил он мрачно, отдавая мне запечатанный конверт,— то вы... пошлите это письмо...

— К ней?— спросил я невинно. Он посмотрел на меня быстро и подозрительно и сказал с досадой:

— *Она* — в могиле.

— Почему же вы не пошлете письмо сами?

— Завтра вы узнаете — почему.

Наутро я пошел в гимназию, чтобы узнать об участи Кордецкого. У Конахевича — увы! — тоже была переэкзаменовка по другому предмету. Кордецкий срезался первый. Он вышел из класса и печально пожал мне руку. Выражение его лица было простое и искренно огорченное. Мы вышли из коридора, и во дворе я все-таки не удержался: вынул конверт.

— Посылать?..

Он взял его у меня из рук, швырнул в сторону и сказал, слегка покраснев:

— Я вам вчера показался большим дураком?.. Вам было смешно?

— Было немножко,— ответил я,— хотя дураком вы мне не казались...

— Не глуп... знаю сам. Но черт его знает: неисправимый фразер.

И мне показалось, что слово «фразер» он опять произнес с таким же вкусом и особого рода самоуслаждением, как недавно произносил слово «подлец»...

В это время выходная дверь на блоке хлопнула, и по мосткам застучали частые шаги. Нас нагонял Конахевич, стуча каблуками так энергично, будто каждым ударом мрачный юноша вколачивал что-то в землю. Глаза Кордецкого сверкнули лукавой искоркой.

— Что, батенька? Тоже срезались?

— Срезали, п-подлецы,— сказал Конахевич с натиском.— Но я отомщу... Отомщу ужасно.

Кордецкий насмешливо посмотрел на меня и сказал:

— Ну, Конахевич. Я — фразер, а вы вдесятеро.

— Фразер? Что такое фразер?— спросил Конахевич быстро. Кордецкий усмехнулся и пожал плечами... Он гордился словом, которого Конахевич даже не понимает...

— Я имею перед вами то преимущество,— сказал он, и опять скорбный нимб лег на его челе,— что по крайней мере сознаю, что я такое...

У молодости есть особое, почти прирожденное чувство отталкивания от избитых дорог и застывающих форм. На пороге жизни молодость как будто упирается, колеблясь ступить на проторенные тропинки, как бы жалея расстаться с неосуществленными возможностями. Литература часто раздувает эту искру, как ветер раздувает тлеющий костер. И целые поколения переживают лихорадку отрицания действительной жизни, которая грозит затянуть их и обезличить.

Конахевич читал Словацкого. Кордецкий знал наизусть «Героя нашего времени» и имел некоторое понятие о «Дон Жуане». Оба были романтики. Пусть преступник, но не обыкновенный обыватель. Байроновский Лара тоже преступник. Пусть фразер. Рудин тоже фразер. Это не мешает стоять на некоторой высоте над средой, которая даже не знает, кто такой Лара и что значит фразер.

Но, в сущности, и романтизм и печоринство уже выдохлись в тогдашней молодежи. Ее воображением завладевали образы, выдвигаемые тогдашней «новой» литературой, стремившейся по-своему ответить на действительные вопросы жизни.

У обществ бывают свои настроения и предчувствия. Такое настроение, смутное, но широко охватывающее всех, и дает то, что принято называть «духом времени». В начале шестидесятых годов великая реформа всколыхнула всю жизнь, но волна обновления скоро начала отступать. То, что должно было пасть, не упало окончательно, что должно было возникнуть, не возникло вполне. Жизнь повисла на мертвой точке, и эта неопределенность кидала свою тень на общее настроение. Дорога, на которую страна так радостно выступала в начале десятилетия, упиралась в неопределенность. Невольно чувствовался впереди кризис, неизбежность потрясений и героических усилий.

В наличности не было сил для разрешения кризиса. Оставалась надежда на будущее, на что-то новое, что придет с этим будущим, и прежде всего на «нового человека», которого должны выдвинуть молодые поколения.

Молодежь стала предметом особого внимания и надежд, и вот что покрывало таким свежим, блестящим лаком недавних юнкеров, гимназистов и студентов. Поручик в свеженьком мундире казался много интереснее полковника или генерала, а студент юридического факультета интереснее готового прокурора. Те — люди, уже захваченные колесами старого механизма, а из этих могут еще выйти Гоши или Дантоны. В туманах близкого, как казалось, будущего начинали роиться образы «нового человека», «передового человека», «героя».

В действительной жизни этих необыкновенных героев еще не было: «почувствовать» их, созерцать творческим воображением было невозможно. Приходилось

не воссоздавать, а выдумывать, живость изображения заменять одушевлением ожидания и веры. Поэтому первостепенные художники за эти задачи не брались. Первый план художественной литературы все еще занимали Лаврецкие и Рудины с их меланхолически отрицательным отношением к действительности и туманными предчувствиями. Тургенев в «Накануне» гениально отметил это ожидание, но «героя» все-таки увез за границу. Из русской действительности по-прежнему брались отрицательные типы, и даже Добролюбов только спрашивал с горечью: «Когда же придет настоящий день?..» Зато второй план художественной литературы с половины шестидесятых годов заполняется величаво-мглистыми очертаниями героев-великанов... И это было на обеих сторонах: герои прогрессивной беллетристики несли разрушение старому миру. Художники-консерваторы звали своих героев на его защиту... Будущее кидало впереди себя свою тень, и мглистые образы сражались в воздухе задолго еще до того времени, когда борьба назрела в самой жизни.

Среди этой литературы выделялись «Знамения времени» Мордовцева и «Шаг за шагом» Омулевского («Что делать?» Чернышевского я прочел гораздо позже). Мордовцев был писатель не вполне искренний и сильно «себе на уме». Молодежь восхищалась его «Историческими движениями русского народа», не замечая, что книга кончается чуть не апофеозом государства, у подножия которого, как вокруг могучего утеса, бьются бессильные народные волны. Он приводил в восхищение «областников» и «украинофилов» и мог внезапно разразиться яркой и эффектной статьей, в которой доказывал, что «централизация» — закон жизни, а областная литература обречена на умирание. Свой роман он начал эффектным бредом больного. В картинах этого бреда ловились намеки на казнь Каракозова. Это кидало на весь роман неуловимый для цензора, но ясно ощутимый покров «революционности». Можно было подумать, что автору и его героям выход из современного положения ясен, и если бы не цензура, то они бы его, конечно, указали... Роман имел в то время огромный успех. Его зачитывали, комментировали, разгадывали намеки, которые, наверное, оставались загадкой для самого автора. В качестве грядущей революционной силы в тумане рисовались... какие-то, кажется, уральские артели...

Омулевский был гораздо искреннее и проще. От его романа веяло молодой верой и какой-то особенной бодростью. Слабохарактерный, спившийся, погибавший, он как бы раздваивался в своем произведении: себя он вывел в лице доктора, мрачного меланхолика, страдающего запоем, безнадежно загубленного уже мраком окружающих условий, но благословляющего своего молодого друга Светлова на новую жизнь и борьбу. В Светлове, как об этом свидетельствует уже самая фамилия, воплощена вера в будущее. Он бодр, силен, светел. Все ему удается, все преклоняются перед его знаниями, характером, особенной удачливостью.

Он живет в сибирской глуши (кажется, в ссылке), работает в столичных журналах и в то же время проникает в таинственные глубины народной жизни. Приятели у него — раскольники, умные крестьяне, рабочие. Они понимают его, он понимает их, и из этого союза растет что-то конспиративное и великое. Все, что видно снаружи из его деятельности,— только средство. А цель?..

Об этом спрашивает молодая женщина, «пробужденная им к сознательной жизни». Он все откроет ей, когда придет время... Наконец однажды, прощаясь с нею перед отъездом в столицу, где его уже ждет какое-то важное общественное дело,— он наклоняется к ней и шепотом произносит одно слово... Она бледнеет. Она не в силах вынести гнетущей тайны. Она заболевает и в бреду часто называет его имя, имя героя и будущего мученика.

Слово, которое герои Мордовцева закутывали эзоповскими намеками и шарадами, а Светлов шепнул на ухо любящей женщине,— было, конечно, «революция». Это оно стояло впереди, как туча, издали поблескивая своими молниями, на горизонте общества, вышедшего из крепостного строя и остановленного на пути к всестороннему раскрепощению... Как это будет?.. Когда будет? Это было неясно. Будет как-то... Будет скоро. Сделают это новые люди из «молодежи». А за ними, из неведомых деревень, из лесов, из недр раскола и «общины» двинется загадочный и никому не известный «народ»...

Много в этом было наивного, и революционные планы даже серьезных людей того времени кажутся теперь совершенно ребяческими. Однако «дух времени» шел неуклонно своим путем. Обе стороны литературы ука-

зывали вперед на загадочную тучу: консерваторы — со страхом, прогрессисты — с надеждой. Инстинкт молодежи все больше удерживал ее от проторенных дорог, сопротивление «принятию жизни» росло. Поколение за поколением выходили из «толстовских» гимназий и, точно в кипящий поток, кидались в бурную университетскую полосу. Кто успевал пройти ее, тот более или менее сливался с жизнью. Из недавних протестантов выходили прокуроры, инженеры, управляющие, часто с улыбкой вспоминавшие о своих «молодых увлечениях». А на их месте уже кипели другие, для которых настала своеобразная очередь этой повинности...

С «Знамениями времени» и «Шаг за шагом» я познакомился тоже на каникулах в Гарном Луге. Читали громко, и даже старики — капитан с женой — слушали с некоторым благоговением повествования о «новой молодежи». Так как это отчасти совпало с религиозной полемикой, то сначала я к этой литературе отнесся скептически. Авдиев на мой вопрос о Писареве отозвался как о задорном мальчишке. Белинский и особенно Добролюбов оставались для меня высшими авторитетами, а Тургенева я любил фанатично. Его герои были живые люди, у Мордовцева по сравнению с ними выходили деревяшки. Один из них, носящий кличку «Точеная голова», подает «барышне» стул. Барышня обижается: значит, ее не считают равным человеком. Герой объясняет: его поступок — разумно эгоистичен. Барышня упадет в обморок, и ему же придется возиться с нею. Одна из героинь рекомендует себя: я переросла Веру Павловну (из «Что делать?»). Все это казалось мне неестественно и деланно. Светлов Омулевского с его отвлеченной удачливостью тоже порой напоминал хорошо вычищенный таз, а постоянное любование им автора давало сильный привкус антихудожественности. Вообще, это были не лица, как у Тургенева, Писемского, Гончарова, а личности, с прибавлением ходячего эпитета: «светлые личности».

Они не овладевали поэтому моим воображением, хотя какой-то особый дух, просачивавшийся в этой литературе, все-таки оказывал свое влияние. Положительное было надуманно и туманно. Отрицание — живо и действительно.

Когда вслед за этими романами мы прочли «Один в поле не воин», переведенный Благосветловым в «Деле»,— впечатление было огромное. Вообще, этот

немецкий писатель сразу овладел умами тогдашней молодежи. Его герои были уже «лица», а не «личности», а условия их борьбы взяты из несомненной действительности. И так же, как прежде по русским захолустьям бродили Чайльд-Гарольды, Аммалат-беки и Печорины,— теперь стали десятками появляться шпильгагенские Лео и Рахметовы Чернышевского. Были даже «Лео на рахметовской подкладке»...

К концу гимназического курса в моей душе начало складываться из всего этого брожения некоторое, правда, довольно туманное представление о том, чем мне быть за гранью гимназии и нашего города. Реалистическая литература внесла сюда свою долю: из реакции романтизму я отверг по отношению к себе всякие преувеличенно героические иллюзии. Образ Лео я признал себе не по плечу. Я им восхищался, но моим воображением завладел другой шпильгагенский герой из «Между молотом и наковальней». Он легче мыслился в России... Где-то у нас происходят важные события. В них принимает деятельное участие молодой человек лет двадцати пяти, небольшого роста, с умным выражением лица и твердым взглядом. Он отчасти напоминает меня, но только отчасти (своим лицом я был крайне недоволен и в воображении произвел в нем некоторые поправки). Вследствие неудачи первой любви он отказался от «личного счастья» (правда, не без возможности когданибудь неожиданного счастливого поворота судьбы). Он не герой, широкой известностью не пользуется, но когда он входит в общество людей, преданных важному и опасному делу,— то на вопрос не знающих его знающие отвечают: «Это — NN... человек умный. На него можно положиться...» Порой его положение становится опасно, или он устает от трудной работы. Тогда он исчезает куда-то в глушь. У него, как у шпильгагенского героя, есть какая-то мастерская, которую он предоставил своим «друзьям из народа». Тут он становится за станок наряду с ними, а по вечерам они читают, и он говорит им о том, что затевается там, далеко в столицах. Они этому сочувствуют и, в свою очередь, делятся тем, что зреет в глубине народной мудрости... Лица у них умные, но... национальности у них нет, и, несмотря на усилия моего воображения, они отчасти похожи на немецких рабочих 1848 года...

Туманные образы Аммалат-беков, Чайльд-Гарольдов, Печориных и Демонов были, в сущности, очень

безвредны: непосредственно с таинственно-мрачных высот они поступали на службу. Конахевич стал железнодорожным чиновником, Кордецкий успешно служил по акцизу и из погубителя невинных существ превратился в отличного, несколько даже сентиментального семьянина.

Судьба русских Лео и Рахметовых часто бывала иная... Но я забегаю вперед... Об этом придется еще много говорить в дальнейших очерках «моего современника».

XXXIV

ПОСЛЕДНИЙ ГОД В ГИМНАЗИИ

Этот год прошел для меня в особом настроении.

Каникулы были на исходе, когда «окончившие» уезжали — одни в Киев, другие — в Петербург. Среди них был и Сучков. В Житомире мы учились в одном классе. Потом он обогнал меня на год, и мысль, что и я мог бы уже быть свободным, выступала для меня с какой-то особенной, раздражающей ясностью.

Я проводил его за заставу. В штатском платье, с чемоданом в ногах, с новеньким саквояжем через плечо, он сидел в перекладной, которая уносила его в незнакомую даль. На шоссе за тюрьмой мы расстались, и я долго еще следил за клубком пыли, который катился пятнышком по дороге. Мне страстно хотелось самому на волю... Ехать вот так же, все вперед и вперед, куда-то на простор, к новой жизни. А там что-то неясное, но великолепное. И странно: из всего этого великолепия прежде всего передо мной выступала маленькая комнатка где-то очень высоко... Из окна видны крыши и небо. На полу стоит мой чемодан, на стенке висит такой же, как у Сучкова, новенький саквояж. Это значит, что я приехал и вот-вот уйду куда-то. Куда? В новую жизнь!

Клубок пыли исчез. Я повернулся к городу. Он лежал в своей лощине, тихий, сонный и... ненавистный. Над ним носилась та же легкая пелена из пыли, дыма и тумана, местами сверкали клочки заросшего пруда, и старый инвалид дремал в обычной позе, когда я проходил через заставу. Вдобавок около пруда, на узкой деревянной кладочке, передо мной вдруг выросла огромная фигура Степана Яковлевича, ставшего уже

директором. Он посмотрел на меня с высоты своего роста и сказал сурово:

— Хотите обновить карцер?

Я посмотрел на него с удивлением. Что нужно этому человеку? Страха перед ним давно уже не было в моей душе. Я сознавал, что он вовсе не грозен и не зол, пожалуй, даже, по-своему, добродушен. Но за что же он накинулся?

Толстый палец потянулся к моей груди. Две средних пуговицы мундира не были застегнуты.

«Только-то?» — подумал я и, застегивая пуговицы, невольно повел плечами. Он внимательно и строго посмотрел мне в лицо.

— Откуда вы идете?

— Я... провожал Сучкова...

— Ну... так что же? — спросил он опять не совсем кстати, озадаченный, вероятно, выражением моего лица.

— Ничего, Степан Яковлевич,— ответил я деревянно.

Директор опять посмотрел на меня, как будто подыскивая предлог для вспышки, чтобы встряхнуть мою невосприимчивость к авторитету, но ничего не придумал и пошел своей дорогой.

А я с тоской посмотрел вокруг. Сучков несется уже далеко... Подъезжает к станции. Расписывается в книге: «Студент Технологического института»! Дает на чай ямщику. Садится опять, и колокольчик заводит свою загадочную болтовню... А передо мной все тот же пруд, заросший зеленой ряской... Прогалины знойно и неподвижно отражают небо и солнечный свет... Ряска кое-где шевелится — это под ней проплывают головастики и лягушки... Из камышей выплыл тяжко скучающий лебедь. Баба стучит вальком по мокрому белью... Степан Яковлевич сейчас грозил мне карцером... И все это еще на целый год! Тоска, тоска!..

Год этот тянулся для меня вяло и скучно, и я хорошо понимал брата, который, раз выскочив из этой колеи, не мог и не стремился опять попасть в нее. Передо мной конец близко. Я, конечно, должен кончить во что бы то ни стало...

Директор продолжал присматриваться ко мне подозрительным, но мало понимающим взглядом. Однажды он остановил меня при выходе из церкви.

— Отчего вы не молитесь? — спросил он. — Прежде вы молились. Теперь стоите как столб.

Я поднял на него глаза, и в них, вероятно, опять было озадачившее его выражение. Что мне сказать в ответ? Начать молиться по приказу, под упирающимися в спину начальственными взглядами?

— Не знаю, — ответил я кратко.

На ученической квартире, которую после смерти отца содержала моя мать, я был «старшим». В этот год одну комнату занимал у нас юноша Подгурский, сын богатого помещика, готовившийся к поступлению в один из высших классов. Однажды директор, посетив квартиру, зашел в комнату Подгурского в его отсутствие и повел в воздухе носом.

— Он... курит? — спросил он у меня.

— Не знаю, — ответил я.

— Вы старший?

— Да, но он еще не ученик.

— Это все равно... Вы *должны* узнать. Понимаете?

— Хорошо, Степан Яковлевич, я спрошу у него, — сказал я с невинным видом.

На монументальном лице директора вспыхнул гнев. Он считал, что я, как старший по квартире, обязан секретно оказать ему содействие в надзоре за будущим учеником: выследить, разыскать табак и потом доложить. В моем ответе он увидел насмешку, но, кажется, тут даже и насмешки не было. Просто я мало думал о том, какое действие произведут на него мои слова, и уже *мог быть рассеянным* в присутствии грозного начальства. Это было, пожалуй, инстинктивное неуважение, которое теперь квалифицировали бы как «вредный образ мыслей». Но в то время «чтение в сердцах» еще не было в ходу даже в гимназиях, советы требовали «поступков», а мое настроение было неуловимо.

Я думаю, многие из оканчивавших испытывают и теперь в большей или меньшей степени это настроение «последнего года». Образование должно иметь свой культ, подымающий отдельные знания на высоту общего смысла. Наша система усердно барабанит по отдельным клавишам. Разрозненных звуков до скуки много, общая мелодия отсутствует... Страх, поддерживающий дисциплину, улетучивается с годами и привычкой. Внутренней дисциплины и уважения к школьному строю нет, а жизнь уже заглядывает и манит из-за близкой грани...

Настроение довольно опасное... Один раз оно прорвалось у меня неожиданно и бурно.

Шел какой-то урок, для которого два класса собирались вместе. В классе была тоскливая тишина напряженного полувнимания, в котором чувствуется глухая борьба с одолевающей дремотой,— идеал классной дисциплины. Я сидел ровно, вытянувшись и, по обыкновению, думая о чем-то постороннем, как вдруг сидевший рядом со мной товарищ толкнул меня локтем и указал на дверь. В стекле виднелся поднятый кверху хохолок Дитяткевича. Угадывалась фигура любознательного надзирателя на корточках у замочной скважины. Во мне вдруг завозился какой-то злобный бесенок. Я встал на своем месте, не видном Дидонусу из-за угла классной доски, и попросился выйти. Получив разрешение, я прошел у стены и рванул дверь так резко, что раскрылись сразу обе половинки. Перед восхищенным классом предстала фигура Дитяткевича на корточках, с торчащим кверху хохолком и испуганно выпученными глазами. В классе поднялся смех. Учитель в изумлении оглянулся и тоже засмеялся. А я как ни в чем не бывало прошел в коридор.

Это был пятый урок. Другие классы и учителя разошлись раньше, и в коридорах было почти пусто, когда наш класс тоже шумно двинулся к выходу... Навстречу нам, торопливо ковыляя кривыми ножками, показался Дитяткевич. Бедняга сильно страдал от насмешек: его кок, щегольские галстучки, неудачные ухаживания давали пищу анекдотам — а молодежь в таких случаях безжалостна и жестока... Теперь бедный надзиратель чувствовал себя в экстренно смешном положении. Он был красен. Маленькие глазки тревожно бегали и сверкали. Растолкав учеников, он подошел ко мне и взял за борт шинели.

— Вы остаетесь без обеда.

— По чьему распоряжению?— спросил я довольно спокойно.

Дитяткевич гордо выпрямился и сказал:

— Я оставляю вас собственной властью.

— По правилам, вы на это не имеете права,— возразил я.— Вы можете только пожаловаться инспектору, но... На что же, собственно, вы будете жаловаться?..

— Там уж я знаю на что... А пока оставайтесь.

Я пожал плечами.

— Я вышел из класса с разрешения учителя и... не мог знать, что это будет вам неудобно.

Ученики рассмеялись. Это окончательно вывело беднягу надзирателя из равновесия. Он забылся и, обругавшись, как извозчик, рванул меня за пальто, стараясь силой вывести из кучки товарищей.

Во мне вдруг поднялось что-то неожиданное и захватывающее. Резко оттолкнув его руку, я назвал его шпионом и идиотом. Товарищи вовремя разъединили нас, иначе сцена могла закончиться еще безобразнее. В первый раз в жизни во мне поднялась волна отцовской вспыльчивости, которой я не сознавал в себе до тех пор. В маленькой фигурке с зелеными глазами я будто видел олицетворение всего, что давило и угнетало всех нас в эти годы, и сознание, что мы стоим друг против друга с открытым вызовом, доставляло странно щекочущее наслаждение...

Это столкновение сразу стало гимназическим событием. Матери я ничего не говорил, чтобы не огорчать ее, но чувствовал, что дело может стать серьезным. Вечером ко мне пришел один из товарищей, старший годами, с которым мы были очень близки. Это был превосходный малый, туговатый на ученье, но с большим житейским смыслом. Он сел на кровати и, печально помотав головой, сказал:

— Эх, Карла, Карла (это была моя гимназическая кличка)! Вот до чего доводит остроумие... Я обошел некоторых учителей, чтобы предупредить... Они говорят, что дело твое плохо.

— Ну и пусть,— ответил я упрямо, хотя сердце у меня сжалось при воспоминании о матери. И все же я чувствовал, что, если бы опять Дитяткевич схватил меня за борт, я бы ответил тем же.

Дело кончилось благополучно. Показания учеников были в мою пользу, но особенно поддержал меня сторож Савелий, философски, с колокольчиком под мышкой, наблюдавший всю сцену. Впрочем, он показал только правду: Дитяткевич первый обругал меня и рванул за шинель. Меня посадили в карцер. Дитяткевичу сделали замечание. Тогда еще ученик мог быть более правым, чем «начальство»...

XXXV

ПОСЛЕДНИЙ ЭКЗАМЕН.— СВОБОДА

Часов в пять чудного летнего утра в конце июня 1870 года с книжками филаретовского катехизиса и церковной истории я шел за город к грабовой роще. В этот день был экзамен по «закону божию», и это был уже последний.

Настроение мое было тягостно и неприятно. Я уже устал от экзаменов. Вчера лег поздно, встал сегодня очень рано, еще до восхода солнца. Глаза невольно слипались, мозг дремал, и я пришел сюда в надежде, что чистый утренний ветер на этом холме разгонит дремоту. Взойдя на возвышение, я залюбовался широкой далью. Город лежал внизу как на ладони. По утрам его часто затягивало туманами от прудов, и теперь туманная пелена разрывалась, обнаруживая то крышу, то клок зелени, то белую стену... Статуя мадонны точно плавала в воздухе, а далеко за городом чуть виднелись поля, деревни, полосы лесов... Несколько минут я не мог оторваться от этого зрелища, которому незаметное движение туманов придавало особую жизнь... Мне казалось, что я еще в первый раз настоящим образом вижу природу и начинаю улавливать ее внутреннее содержание, но... глядеть было некогда. Я должен был заучивать сухое перечисление догматов, соборов и ересей, в которых не было даже отдаленной связи с красотой этого изумительного мира... Это делало меня несчастным. Счастье в эту минуту представлялось мне в виде возможности стоять здесь же, на этом холме, с свободным настроением, глядеть на чудную красоту мира, ловить то странное выражение, которое мелькает, как дразнящая тайна природы, в тихом движении ее света и теней.

Я дал себе слово, как только выдержу экзамен, тотчас же прийти опять сюда, стать на этом самом месте, глядеть на этот пейзаж и уловить наконец его выражение... А затем... глубоко заснуть под деревом, которое шумело рядом своей темно-зеленой листвой.

Я еще зубрил «закон божий», когда до меня долетел переливчатый звон гимназического колокола, в последний раз призывавший меня в гимназию. Ну, будь что будет! Книга закрыта, и через четверть часа я входил уже во двор гимназии.

А через час выбежал оттуда, охваченный новым чувством облегчения, свободы, счастья! Как случилось,

что я выдержал, и притом выдержал «отлично», по предмету, о котором, в сущности, не имел понятия,— теперь уже не помню. Знаю только, что, выдержав, как сумасшедший забежал домой, к матери, радостно обнял ее и, швырнув ненужные книги, побежал за город.

Раннее утро кончилось, его свежесть исчезла, тумана не было, только над прудами еще тянулись чуть заметные сизые струйки. Тургенев говорит, что в первый раз уже за границей, где-то под Берлином, он сознательно наслаждался природой и пеньем жаворонка. Это странно, но это правда. Это не значит, что он не чувствовал природу ранее. Но наступает момент, когда это свое чувство человек сознательно наблюдает в себе как особое душевное явление. И это бывает поздно, а у иных людей, быть может, не наступает никогда. В ту минуту я тоже, быть может, в первый раз *так* смотрел на природу и так полно давал себе отчет в своем ощущении. И в первый раз эта заканчивающаяся симфония утра показалась мне стройной, одухотворенной и цельной. Что-то «отходило», как отходит вечерня при пении «Свете тихий». В природе я чувствовал именно «священнодействие», полное гармонии и смысла.

Спать под деревом мне совсем не хотелось. Я опять ринулся, как сумасшедший, с холма и понесся к гимназии, откуда один за другим выходили отэкзаменовавшиеся товарищи. По «закону божию», да еще на последнем экзамене, «резать» было не принято. Выдерживали все, и городишко, казалось, был заполнен нашей опьяняющей радостью. Свобода, свобода!

Это ощущение было так сильно и так странно, что мы просто не знали, что с ним делать и куда его пристроить. Целой группой мы решили снести его к «чехам», в новооткрытую пивную... Крепкое чешское пиво всем нам казалось горько и отвратительно, но... еще вчера мы не имели права входить сюда и потому пошли сегодня. Мы сидели за столами, глубокомысленно тянули из кружек и старались подавить невольные гримасы...

Через несколько дней, получив аттестаты, мы решили сообща отпраздновать нашу свободу. И праздник был опять вроде горького пива. Мы собрались в большой комнате виноторговца Вайнтрауба, куда доступ ученикам был воспрещен под страхом исключения, и пригласили учителей. Учителя «по-товарищески» пили с нами, варили жженку, пьянели, целовались.

Жженка казалась отвратительно крепкой, но... мы пили ее вместе с учителями, хлопая их дружески по плечам, и это было ново, необычно, как будто нужно и приятно... Поздно ночью кто-то потребовал музыку. Юркий фактор-еврей поднял музыкантов, а на рассвете мы ходили по спящему и темному еще городу, сопровождаемые кларнетом, флейтой, двумя-тремя скрипками и турецким барабаном. Музыка тревожила тишь спящих улиц. Мы кричали «ура», качали учителей и... чувствовали, что все это как-то нехорошо, ненастояще и фальшиво.

А между тем что же делать с этим не дающим покоя новым ощущением свободы?

На следующий день с тяжелой головой и с скверным чувством на душе я шел купаться и зашел за одним из товарищей, жившим в казенном здании, соседнем с гимназией. Когда я подымался по лестнице, одна из дверей открылась, и навстречу мне спустился молодой еще человек с умным лицом и окладистой небольшой бородкой... Мне запомнился очень выпуклый лоб и серьезный упорный взгляд. Лицо было новое, очевидно «не ровенское». Когда он сошел с лестницы, дверь вверху открылась, и на площадке показался учитель истории Андрусский. Наклоняясь с перил, он крикнул:

— Драгоманов! Постойте, еще два слова!

Незнакомый господин поднялся наверх, и, когда я спустился с лестницы, незнакомца уже не было.

Драгоманов, Драгоманов! Я вспомнил эту фамилию из сочинений Добролюбова. В полемику по поводу пироговского инцидента вмешался студент Драгоманов, причем в своих статьях, направленных против Добролюбова, довольно бесцеремонно раскрыл его инициалы. Неужели этот господин с крутым лбом и таким умным взглядом — тот самый «студент Драгоманов»?

На полевой дорожке, которая вела к реке, меня обогнал Андрусский. Об этом учителе я говорил: он преподавал сухо и скучновато, но пользовался общим уважением как человек умный, твердый и справедливый. Вчера он только показался в начале нашего вечера, ничего не пил и рано исчез. Теперь он шел с полотенцем через плечо, бодрый, свежо одетый и сам свежий. Я остановился и по-ученически снял перед учителем фуражку, но он подошел ко мне и протянул руку. Я опять почувствовал в этом новую черту моего нового положения.

— Вы купаться?— спросил он.

— Да.

— Идем вместе.

Мы пошли на то самое место, где Дитяткевич устраивал свои засады на учеников. Была своя новая прелесть и в этом обстоятельстве.

— С кем вы разговаривали на лестнице?— решился я спросить дорогой.

— С Драгомановым.

— Это... тот самый?

— Да, писатель и профессор. Мы с ним товарищи по университету.

Он не знал, что для меня «тот самый» значило противник Добролюбова. Я его себе представлял иначе. Этот казался умным и приятным. А то обстоятельство, что человек, о котором (хотя и не особенно лестно) отозвался Добролюбов, теперь появился на нашем горизонте,— казалось мне чудом из того нового мира, куда я готовлюсь вступить. После купанья Андрусский у своих дверей задержал мою руку и сказал:

— У меня самовар и газета с отчетом об интересном деле. Хотите зайти?

Я охотно зашел в холостую квартиру учителя. На столе стоял самовар. Андрусский заварил чай, покрыл чайник чистой салфеткой и протянул мне номер «Голоса».

— Не прочтете ли громко? Вот тут.

Это был отчет по нечаевскому процессу.

Я ничего тогда не знал об этом деле и начал читать довольно безразлично. Но постепенно меня охватило непонятное одушевление. В номере говорилось о типографии Ткачева и Дементьевой и приводилась прокламация Нечаева к студенчеству... «Мы сидели тогда по углам, понурив унылые головы, со скверным выражением на озлобленных лицах...». «Развив наши мозги на деньги народа, вскормленные хлебом, забранным с его поля,— станем ли мы в ряды его гонителей?..» В прокламации развивалась мысль, что интересы учащейся молодежи и народа одни. «У нас есть товарищи, у которых нет прав, положение которых самое худшее в Европе и ожесточение которых тем сильнее, что не имеет исхода...»

Когда я кончил читать, умные глаза Андрусского глядели на меня через стол. Заметив почти опьяняющее впечатление, которое произвело на меня чтение, он просто и очень объективно изложил мне суть дела, идеи

Нечаева, убийство Иванова в Петровском парке... Затем сказал, что в студенческом мире, куда мне придется скоро окунуться, я встречусь с тем же брожением и должен хорошо разбираться во всем...

Все это опять падало на девственную душу, как холодные снежинки на голое тело... Убийство Иванова казалось мне резким диссонансом. «Может быть, неправда?..» Но над всем преобладала мысль: значит, и у нас есть уже *это*... Что именно?.. Студенчество, умное и серьезное, «с озлобленными лицами», думающее тяжкие думы о бесправии всего народа... А при упоминании о «генералах Тимашевых и Треповых» в памяти вставал Безак... . . . .

. . . .

В один из последних вечеров, когда я прогуливался по шоссе, все время нося с собой новое ощущение свободы,— из сумеречной и пыльной мглы, в которой двигались гуляющие обыватели, передо мною вынырнули две фигуры: один из моих товарищей, Леонтович, шел под руку с высоким молодым человеком в синих очках и мягкой широкополой шляпе на длинных волосах. Фигура была, очевидно, не ровенская.

— Киевский студент Пиотровский,— отрекомендовал незнакомца мой товарищ.— А это тоже будущий студент такой-то.

Пиотровский крепко пожал мне руку и пригласил нас обоих к себе в номер гостиницы. В углу этого номера стояли две пачки каких-то бумаг, обвязанных веревками и обернутых газетными листами. Леонтович с почтением взглянул на эти связки и сказал, понизив голос:

— Это... они?

— Да,— с важностью кивнул студент.

— Знаешь... это в углу стояли запрещенные книжки,— сказал мне Леонтович уже на улице.— Пиотровского послали... Понимаешь... Очень опасное поручение...

Это был первый «агитатор», которого я увидел в своей жизни. Он прожил в городе несколько дней, ходил по вечерам гулять на шоссе, привлекая внимание своим студенческим видом, очками, панамой, длинными волосами и пледом. Я иной раз ходил с ним, ожидая откровений. Но студент молчал или говорил глубокомысленные пустяки...

Когда он уехал, в городе осталось несколько таинственно розданных довольно невинных украинских брошюр, а в моей душе — двойственное ощущение. Мне казалось, что Пиотровский малый пустой и надутый ненужною важностью. Но это таилось где-то в глубине моего сознания и робело пробиться наружу, где все-таки царило наивное благоговение: такой важный, в очках, и с таким опасным поручением...

Наконец наступила счастливая минута, когда и я покидал тихий городок, оставшийся позади в своей лощине. А передо мной расстилалась далекая лента шоссе, и на горизонте клубились неясные очертания: полосы лесов, новые дороги, дальние города, неведомая новая жизнь...

КНИГА ВТОРАЯ

ОТ АВТОРА

Много лет прошло с тех пор, как читатель первого тома «Истории моего современника» расстался с его героем, и много событий залегло между этим новым прошлым и настоящим. В этом отдалении от предмета рассказа есть свои неудобства, но есть также и хорошие стороны. В туманных далях исчезает, быть может, много подробностей, которые когда-то выступали на первый план, в более близкой перспективе. Но зато самая перспектива расширяется. То, что сохраняется в памяти, выступает на более широком горизонте, в новых отношениях.

Первый том я закончил в 1905 году, при первых взрывах русской революции. Теперь, когда она достигла своих поворотных пунктов, я с особенным интересом обращаю взгляд воспоминания на далекий путь прошлого, «пыльный и туманный», на котором виднеется фигура «моего современника». Быть может, и читатель захочет взглянуть с некоторым участием на эту уже знакомую фигуру и при этом подумает, сколько было предчувствий у этого поколения, чья сознательная жизнь начиналась среди борьбы с ушедшим наконец строем, а заканчивается среди обломков этого строя, застилающих горизонт будущего. И сколько еще это будущее должно захватить из крушения старых ошибок и трудно искоренимых привычек!

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Первые студенческие годы

I

В РОЗОВОМ ТУМАНЕ

Это настроение началось для меня еще в Ровно, в то утро, когда почталион подал мне пакет со штемпелем Технологического института, адресованный на мое имя. С бьющимся сердцем я вскрыл его и вынул печатный бланк с вписанной наверху моей фамилией. Директор Технологического института Ермаков извещал такого-то, что он принят на первый курс и обязан явиться к пятнадцатому августа.

Когда после этого я оглянулся кругом, то мне показалось, что за эти несколько минут прошли целые сутки: до прихода почталиона было вчера, теперь наступило новое сегодня. Я точно проспал ночь и проснулся не только другим, но немножко и в другом мире... Это ощущение исходило от плотной серой бумаги с печатным текстом и подписью Ермакова. И когда я несся после этого по улицам, то мне казалось, что и дома, и заборы, и встречные обыватели тоже смотрели на меня иначе. Ведь в самом деле и они в первый раз с сотворения мира видят... *студента такого-то.*

С «извещением» я не расставался несколько дней. Порой наедине я вынимал его и перечитывал каждый раз с новым удовольствием, точно это был не сухой официальный бланк, а поэма. И в самом деле — поэма: разрыв со старым миром, призыв к чему-то новому, желанному и светлому... Зовет «директор Ермаков». С этой фамилией связывалось в моем воображении что-то очень твердое, почти гранитное (вероятно, от сибирского Ермака) и вместе — недосягаемо возвышенное и умное. И этот Ермаков ждет меня к пятнадцатому августа. Я нужен ему для выполнения его высокого назначения...

Настроение было глупое, и я, конечно, сознавал, что оно глупо: самая подпись Ермакова была печатная. Та-

кие извещения сам он даже не подписывает, а их сотнями рассылает канцелярия. Я знал это, но это знание не изменяло настроения. *Знал* я по-умному, а *чувствовал* по-глупому. В то самое время как я внушал себе эти трезвые истины, рот у меня невольно раскрывался до ушей. И я должен был отворачиваться, чтобы люди не видели этой идиотской улыбки и не угадали бы по ней, что меня зовет Ермаков, которому я лично необходим к пятнадцатому августа...

С юношеским эгоизмом, я как-то совсем не принимал участия в заботах матери о моем снаряжении. Она закладывала где-то свою пенсионную книжку, продавала какие-то вещи, просила, где могла, взаймы и, наконец, сколотила что-то около двухсот рублей. После этого происходили долгие совещания с портным Шимком.

Портной Шимко был небольшого роста коренастый еврей, с широким лицом, на котором тонкие губы и заостренный нос производили впечатление почти угрюмого комизма. Пока был жив отец, мы всегда смеялись над Шимком, изощряя свое остроумие над его наружностью и его предполагаемыми плутнями. Когда отец умер и мать осталась без средств, он явился к ней, критически обследовал состояние наших костюмов и сказал серьезно:

— Ну, пора шить одну шинель и два мундира.

— Ты знаешь, Шимко, что у меня теперь нет денег, и что еще будет, я не знаю,— грустно ответила мать.

— Ну,— возразил Шимко,— у вас нет денег, но есть дети... Разве это не деньги?..

И он опять работал на нас, не заикаясь о сроках уплаты и никогда не торгуясь, как это бывало прежде.

Теперь он развернул свою деятельность у нас на квартире. Осведомившись, желаю ли я, чтобы он шил «по самой последней моде», и узнав, что последнюю моду я презираю, он даже крякнул от удовольствия и дал полную волю своей творческой фантазии. Он мочил и парил материалы, снимал мерки, кроил, примерял, шил, и наконец из его рук я вышел экипированным не особенно щеголевато, но зато дешево. Он сшил мне летний костюм из какой-то очень прочной и жесткой материи с желтыми миниатюрными букетцами по коричневому полю. Кроме того, он сшил еще пальто. Мне смутно казалось, что прочная материя с букетами дает идею скорее об обивке мебели, чем о костюме для столицы, а пальто походит на испанский плащ или альмавиву...

Но на этот счет я был неприхотлив и беззаботен. Оставив в стороне моду, я чувствовал себя одетым с иголочки, «довольно просто, но со вкусом».

Увы! впоследствии этот полет творческой фантазии честного Шимка доставил мне немало горьких и неприятных минут...

На каникулы приехал Сучков, уже год проживший в столице, и, конечно, я закидал его вопросами. Он почему-то был скуп на рассказы, но все же я узнал, что институт — это совсем не то, что гимназия, профессора нимало не похожи на учителей, а студенты — не гимназисты. Полная свобода... Никто не следит за посещением лекций... И есть среди студентов замечательные личности. Иного примешь за профессора. А какие споры! О каких предметах! Нужно много прочитать и подготовиться, чтобы только понять, о чем идет речь...

Вскользь и как бы мимоходом он сообщил мне, что остался по разным причинам на первом курсе, и, значит, мы опять будем идти вместе.

В середине этих каникул мне исполнилось восемнадцать лет, но мне казалось, что я далеко перерос окружающий меня мирок. Вот он весь тут, точно на плоской тарелке, волнующийся в пределах от тюрьмы до почты, знакомый, прозаический и постылый. В один из последних моих вечеров, когда я прощальным взглядом смотрел на гуляющую по шоссейной улице публику,— передо мной вдруг вынырнуло из сумерек лицо чиновника Михаловского, которого я считал когда-то «известным поэтом». В зубах у него была большая сигара, и ее огонек, вспыхнув, осветил удивительно неинтересное, плоское лицо, с выпуклыми, ничего не выражающими глазами. Как еще недавно этот человек казался мне окруженным поэтическим ореолом. И как много других казались высшими существами только потому, что они были взрослые, а я был мальчик. Теперь я вырос, а тесный мирок сузился и умалился... Прежние умники казались или глупыми, или слишком обыкновенными... Кого теперь поставить на высоту, перед кем или перед чем преклониться? Где здесь люди, которые знают и могут указать высшее в жизни, к чему стремится молодая душа?.. Кто из них хотя бы только думает об этом высшем, ищет его, тоскует, мечтает... Никто, никто!

Во мне сложилось заносчивое убеждение, что я едва ли не самый умный в этом городе. Мерка у меня была

такая: я могу понять всех людей, мелькающих передо мною в этом потоке, колышущемся, как вода в тарелке, от шлагбаума до почты и обратно. Я знаю все, что они знают, из того, что нужно знать всякому. А они и не догадываются, какие мысли о них и какие мечты бродят в моей голове.

Я был глуп. Впоследствии, когда сам я стал умнее, я легко находил людей выше себя в самых глухих закоулках жизни. Но в ту минуту я, кажется, мерял все одною только меркой «литературного развития».

Впрочем, нужно сказать, что по отношению к другому миру, который ждал меня там, за рубежом пятнадцатого августа, я не был заносчив. Наоборот, я готовился к нему с искренним убеждением, что перед ним я мал, тускл и ничтожен. Правда, во мне жила надежда, что и там, в этом светлом потоке могучей и полной жизни, я пойду тоже вперед, выравняюсь с одними, стану обгонять других... Но если бы кто-нибудь пожелал убедить меня, что между этим мирком, который я покидал, и тем заманчивым миром, куда стремился, нет качественного различия, что «великое студенчество» есть только простая сумма из единиц, по большей части таких же тусклых и так же мало интересных, как и я в данную минуту,— я бы не поверил и даже, вероятно, обиделся бы за свою мечту...

II

ДОРОГОЙ Я ЗНАКОМЛЮСЬ С «СВЕТЛОЙ ЛИЧНОСТЬЮ»

Мать и один из ее братьев, живший недалеко, провожали меня до Бердичева, откуда начинался железнодорожный путь. Он лежал на Киев, Курск, Орел, Тулу и Москву.

Третий звонок. Я горячо обнялся с матерью, которая затем спрятала заплаканное лицо на груди дяди, и сел в вагон. Резкий свисток, вспугнувший непривычную публику, потом толчок, от которого в вагоне упало несколько человек. Потом оттолчка, лязг, громыхание (тогда в поездах все еще не было слажено, как теперь) — и вокзал с платформой поплыл назад. Фигуры матери и дяди исчезли. Я сел на свое место и постарался скрыть от соседей невольные слезы...

Прямых сообщений тогда не было, каждая дорога действовала самостоятельно. Поезд из Киева на Курск ушел раньше, чем наш пришел в Киев, и в ожидании следующего мне пришлось переночевать в «Софийском подворье». Наутро я вышел из своего номера и остановился на площади, ошеломленный и растерянный от шума и движения большого города. В таком положении меня застали две ровенские «учительши»: Завилейская и Комарова. Они радушно поздоровались и пригласили меня пройти вместе с ними осмотреть собор, а после того позвали к себе, в номерах того же подворья, пить чай. Мне очень хотелось принять это милое приглашение, но из застенчивости я отказался, о чем очень жалел в то самое время, как отказывался. Прежде чем расстаться со мной, эти молодые дамы осмотрели меня критическим взглядом, и одна сказала:

— Слушайте. Когда приедете в Петербург, закажите себе другой костюм... Этот, знаете, для столицы не годится.

— Да-да,— подхватила другая.— Сшейте себе приличную пару... И тоже пальто. А то у вас какая-то мантилья. Теперь носят узкие, в обтяжку... И много короче.

— Шляпу можете оставить... Она идет к вашим курчавым волосам.

Они ушли, весело переговариваясь и радушно кивая мне головами. А я остался с жуткой тоской одиночества в сердце и неприятным сознанием, что мой «немодный, но простой и изящный» костюм привлекает ироническое внимание...

Следующее утро опять застигло меня в вагоне между Киевом и Курском. С вечера я как-то незаметно заснул, и теперь взгляд мой прежде всего упал на выразительную надпись на стене вагона: «Остерегайтесь воров». О том же предостерегали меня усиленно мать и дядя, и, проснувшись, я прежде всего схватился за сумку. Она была тут, но я сразу почувствовал себя окруженным вероятными заговорщиками, старающимися проникнуть в мою сокровищницу. Я сел на скамейку и оглянулся кругом «пытливо-проницательным» взглядом: конечно, я сразу угадаю, от кого именно следует ждать здесь опасности...

Поезд стоял у какой-то станции и был весь пронизан веселыми лучами солнца. Народу было не очень много, большинство еще спало врастяжку на скамьях, на верхних полках, иные прямо на полу, под скамьями. С од-

ного конца вагона несся живой и нервный говор на еврейском жаргоне. Ближе, у окна, за спинкой следующей скамьи сидели двое молодых людей и о чем-то тихо разговаривали, почти соткнувшись головами...

Один из них был одет в рыжее, полинялое пальто. Когда я зашевелился на своем месте, он повернул в мою сторону лицо, широкое, несколько угреватое, с маленькими зеленоватыми глазами, и потом заговорил с товарищем еще тише. «Вот этого нужно остерегаться»,— решил я про себя и только после того взглянул на своего ближайшего соседа.

Это был господин в сером пальто и клеенчатой фуражке, какие тогда были в большом ходу. Он, кажется, сел на этой станции и, по-видимому, смотрел на меня, пока я просыпался. Возраста он был неопределенного. Сначала показался мне совсем юношей, но затем я увидел, что это впечатление ошибочно: морщины около глаз, желтизна и одутловатость лица говорили не то о солидных годах, не то о преждевременном увядании. Его маленькие карие глазки ходили по всей моей фигуре с выражением вкрадчивой ласки, как будто он собирался сейчас же заговорить со мною и выразить мне чувство невольной симпатии. Я, пожалуй, готов был, с своей стороны, выказать полную взаимность, но в это время взгляд мой остановился на новой и более интересной фигуре.

Это был молодой офицер в золотых очках и в серой шинели из простого солдатского сукна. Солдатские шинели с офицерскими погонами были тогда в ходу у либерально настроенной военной молодежи милютинской школы. Таких фигур с демократически-военным отпечатком было тогда немало, и вообще среди офицерства было более «интеллигенции». В глухих местечках они часто заведовали прекрасно составленными «батальонными библиотеками» и даже «руководили чтением» местной молодежи.

Лицо у офицера было серьезное и симпатичное. На крючке около него висела шашка, а на небольшом чемоданчике лежала пачка газет. Он только что отложил один прочитанный номер и закурил папиросу, пропуская дым в открытое окно...

Около него было свободное место, и я подумал, как хорошо было бы устроиться в близком соседстве с этим приятным офицером. Но мне мешала застенчивость: это

мое внезапное переселение может показаться странным, пожалуй, даже подозрительным.

Пока я колебался, дверь вагона открылась, и к нам вошел новый пассажир. Это был господин средних лет, одетый с изящной простотой, в золотых очках и коричневых перчатках. Живые карие глаза весело и немного насмешливо глядели из золотой оправы. Под русыми мягкими усами ютилась, как у одного из героев Омулевского, особая «интеллигентная складка».

Мне страстно захотелось, чтобы он сел рядом со мною. Но он только скользнул взглядом по моей неинтересной фигуре и тотчас же указал носильщику на угол рядом с офицером. «Родственные интеллигентные натуры»,— формулировал я в уме...

Носильщик поставил чемодан на свободное место. Господин раскрыл кошелек и, вынув пальцами в перчатках маленькую серебряную монетку, подал ее через плечо носильщику. Тот взял, разочарованно посмотрел, хотел что-то сказать, но, видимо, не посмел и вышел. Господин обратился к офицеру:

— Я вас не стесню? Ба! счастливая встреча! Не узнаете?

Офицер повернулся к нему, присмотрелся и сказал:

— Если не ошибаюсь... господин Негри?

— Именно-с. Теодор Михайлович Негри. Артист-декламатор. Встречались в N... Не беспокойтесь, пожалуйста, места довольно. Что это у вас, какая куча газет? А, «Голос»... полный отчет о нечаевском процессе? Да, интересное дельце... Очень интересное...— прибавил он, усаживаясь.— После декабристов, пожалуй, еще первое...

— Были еще петрашевцы...

— Да, но ведь это было раздуто правительством. Невинный кружок... Вы позволите?

— Пожалуйста.

Господин взял номер газеты и, раскрывая ее, сказал через минуту:

— Обратили вы внимание на крылатое слово в речи Спасовича, которым он окрестил нашу братию... ин-тел-ли-гентный про-ле-тариат... Очень метко. Не правда ли?..

Офицер кивнул головой и ответил что-то, улыбнувшись. Я насторожился, ожидая дальнейшего разговора этих двух симпатичных людей, которые так сразу нашли друг друга в безразличной толпе. «Точно члены

одного ордена»,— опять нашел я литературную формулу. Уголок вагона, где они сидели, казался мне освещенным островком среди тусклого, неинтересного, может быть даже враждебного мира. Как хотелось бы мне прибиться и самому к этому островку... Но это, конечно, только несбыточная мечта. Может быть, когда-нибудь, со временем, когда я стану умнее и интереснее, я тоже сумею подходить к таким людям открыто и просто, с первых же слов давать им понять: «Я тоже ваш».

Вагон давно мчался, громыхая на стыках рельсов и лязгая цепями. Господин Негри и офицер молча читали газеты, обмениваясь изредка короткими, тихими замечаниями. Евреи продолжали говорить нервно и быстро на своем жаргоне, а мой сосед в клеенчатом картузе давно познакомился со мною и говорил, говорил долго, мерно, ласково и неинтересно. Я слушал краем уха, боясь проронить что-нибудь из «обмена мыслей» в углу, а мой сосед между тем выражал мне свои симпатии. Я, по-видимому, новичок, не правда ли? Еду из глухого города в столицу? Он советует мне очень остерегаться: вагоны кишат карманщиками, а я, конечно, везу с собой деньги? Вот сам он так ничего не боится. Во-первых, он очень опытен. А во-вторых, у него, кроме билета, только «рупь тридцать копеек»... Вот здесь, в кошельке...

Он, смеясь, раскрывал свой кошелек и выворачивал его наизнанку. Я смотрел с некоторым удивлением на этот прием, который он повторял несколько раз, и мне было совестно, что я как-то не могу уделять его рассказам достаточно внимания... Он казался мне доброжелательным и симпатичным, но удивительно неинтересным... Веки мои тяжелели. Я чувствовал, что его глаза опять с ласковой симпатией заглядывают в мое лицо, но мои глаза невольно слипались, моргали все реже и открывались труднее... Я прислонился спиной к стенке и начинал засыпать, чувствуя в то же время, что мой благорасположенный сосед склоняет голову мне на плечо и тоже доверчиво засыпает у меня на груди...

Через несколько минут я сладко спал, охваченный ощущением греющей тесноты и чьего-то тяжелого благорасположения... А еще через несколько минут проснулся от ощущения какой-то перемены...

Сразу я не мог сообразить, что именно происходит. Мой сосед действительно лежал головой на моей груди в странной и, по-видимому, неудобной для него позе, а прямо против меня на скамейке (я едва мог этому ве-

рить) сидел господин Негри, упершись локтями в коленки и глядя на нас обоих своими живыми, умными и смеющимися глазами. Несколько заинтересованных чем-то пассажиров окружали нас и тоже улыбались...

Я покраснел и двинулся на своем месте, но господин Негри сделал мне знак, чтобы я не шевелился, и, указывая на моего ласкового соседа, продекламировал:

На заре ты ее не буди!
На заре она сладко так спит...

Среди окружавших нас пассажиров послышался смех, и я почувствовал, что греющая тяжесть сразу облегчилась, и хотя ласковый сосед даже всхрапнул в эту минуту довольно натурально, но я сознавал ясно, что он не спит, а только делает вид, что не слышит бесцеремонных насмешек. Мне стало жаль его... В это время послышался заглушенный грохотом свисток, и поезд загромыхал реже, очевидно подходя к станции. Господин в клеенчатой фуражке резко очнулся, протер глаза и встал.

— Станция?— сказал он встревоженно.

— Д-да-с, станция, неизвестно еще какая,— невинно ответил господин Негри.— Но вам, ко-неч-но, здесь выходить? Не правда ли?..

— Да, да, здесь,— забормотал ласковый господин и потянулся за своим тощим узелком...

Поезд жестоко стукал буферами, подползая к дебаркадеру. Господин Негри положил руку на рукав незнакомца и сказал:

— Одну минуточку, господин. Молодой человек,— обратился он ко мне,— все ли у вас в порядке?

Мне все стало ясно, и я схватился за свою сумку так порывисто, что кругом послышался смех. Сумка была тут, и на дне ее лежал кошелек... Я вздохнул с облегчением...

Господин в клеенчатом картузе быстро вышел из вагона, сопровождаемый частью насмешливыми, частью враждебными замечаниями. Когда поезд двинулся дальше, он стоял на краю платформы и, поравнявшись с нами, погрозил в окно кулаком...

Некоторое время после этого в вагоне шли рассказы о разных случаях воровства. Потом пассажиры разошлись по местам, а господин Негри остался со мною.

— Ну, поздравляю вас, юноша,— сказал он мне с усмешкой.— Вы отделались довольно дешево. Вы

имели дело с несомненным профессиональным жуликом. Заметили вы, что он несколько раз показывал вам свой кошелек? Это прием... Такие, извините, пижоны, как вы... то есть я хочу сказать новички, в первый раз едущие по железным дорогам из глубокой провинции,— при каждом напоминании о кошельке сейчас хватаются за сумку или за карман, где у них деньги... Вы, я заметил, брались за сумку... Вот он и прильнул к вам... И если бы я не разбудил вас... Ну, ну, пустяки. За что же тут благодарить?..

Я сильно покраснел, и мне было досадно, что проклятая застенчивость мешала мне как следует выразить мои чувства. Хорошие, настоящие слова в таких случаях приходили мне на ум тогда, когда уже были сказаны другие, сбивчивые, тусклые, ненастоящие... Во всяком случае, мне было необыкновенно приятно чувствовать себя обязанным такому замечательному человеку.

Мечта моя сбылась наяву. Поезд мчался дальше, а я сидел рядом с господином Негри, и мы тихо разговаривали. Он сразу угадал, что я в этом году окончил гимназию и еду в столицу. Куда? В Технологический? Это он одобрил: от прогресса технических знаний зависит будущее страны... Кроме того... рабочий вопрос на очереди. Когда я признался, что в техническое заведение поступаю временно и поневоле, как «реалист», а затем надеюсь перейти в университет, в его глазах проступило насмешливое выражение...

— Сразу, значит, на проторенную дорожку? В чиновники? Нет? А куда же? В адвокаты?.. Гм... Это еще лучше... Куши, значит, хотите огребать?.. Правильно-с, молодой человек, очень правильно. Адвокаты действительно... народ благополучный...

Я попытался оправдаться. Ведь вот Спасович и другие... В нечаевском процессе... И защищали даром.

— А, вот что! Ну, простите, когда так. Если вас влечет эта сторона, дело десятое-с... Только все-таки лучше бросьте эту идею. Оратором вам не сделаться, потому что у вас отвратительный акцент. Не русский и не малорусский, а новороссийский, местечковый... С таким «прононсом» говорить речи и волновать сердца трудно-с...

— А вот опять-таки... Спасович,— защищался я робко.

— Ну, батюшка! То — Спасович. Не всем быть Спасовичами... А впрочем, что ж... давай вам бог...

Поезд летел, быстро пожирая пространство, и мне казалось, что так же быстро он пожирает время. Еще немного, и обаятельная сказка кончится... Мне придется навсегда расстаться с этим человеком, уже завоевавшим мое сердце...

Негри поднялся.

— Ну, юноша, мы еще поговорим с вами,— сказал он.— До Курска еще порядочно.

— Мне только до Ворожбы,— ответил я упавшим голосом.

— Это почему?— спросил он.

— В Сумах у меня дядя, к которому я должен заехать по дороге. В Ворожбе я найму лошадей.

В лице господина Негри мелькнуло оживление. Он опять сел на место, посмотрел на меня с некоторым раздумьем и сказал:

— Знаете... Ведь это счастливое совпадение. Мне ведь тоже нужно в Сумы... Я дам там концерт. Ваш дядя человек с положением? Давно живет в Сумах?

— Судебный следователь... Живет лет пять.

Он опять подумал и сказал:

— Положительно нам по пути. Едем вместе. Кстати, вам и лошади обойдутся дешевле. Но позвольте. Вы мне сказали все о себе, а я вам еще не представился: Теодор Михайлович Негри. Артист-декламатор, прибавлю — довольно известный в провинции... Что? Вы разочарованы? Говорите правду. Думаете: скоморох, балаганщик, кривляющийся на подмостках для потехи публики.

Он ласково положил мягкую ладонь на мою руку и сказал тихо, задушевным голосом:

— Нет, юноша. Вы ошибаетесь. Не скоморох, а артист — и человек идеи! Подмостки для меня — кафедра, декламация — проповедь. Я несу в невежественную массу Никитина, Лермонтова, Кольцова, Некрасова, Петефи, Гюго. Я бужу в толпе чувства, которые без меня спали бы глубоким сном. И когда с высоты подмостков звуки моего голоса... как набатный колокол... кидают их в дрожь... как электрическая искра, зажигают эти нетронутые простые сердца...

Говорил он тихо, задушевно, только для меня, но все же сосед в рыжем пальто повернул к нам свое лицо с любопытными глазами. Негри сразу оборвал речь, помолчал и затем, протягивая мне руку, сказал:

— Итак, значит, едем?

Я ответил ему молчаливым взглядом, в котором, вероятно, он мог прочитать благодарное восхищение. Когда я теперь вспоминаю эту минуту, то мне кажется, что наш вагон несся по каким-то лучезарным полям, залитым ярким светом, а кругом меня стоял золотистый туман, и в нем плавал восхитительный образ Теодора Негри, артиста-декламатора... проповедника... «нового человека»...

— Станция Ворожба... Десять минут...

Я захватил свой чемоданчик. Негри попрощался с офицером. Пассажир в рыжем пальто с утиным носом хотел что-то сказать мне, но я, подхваченный вихрем восторга, не обратил на него внимания и выскочил из вагона. Негри в сопровождении носильщика вышел вслед за мною, кивнул носильщику на мой чемодан и, взяв меня под руку, повел в зал 1-го класса. Мне было неловко, но он усадил меня за стол так мягко и так властно, что я не посмел сопротивляться.

— Карту,— сказал он лакею.

Я почувствовал себя в затруднении, когда лакей во фраке и нитяных перчатках подал карту. Трата «на обед в первом классе» казалась мне непростительной роскошью. Впрочем, глаза мои уткнулись в «борщ — 30 копеек». Это было сносно. Негри велел себе подать рюмку водки, рюмку коньяку и третью рюмку пустую. Затем икры и осетрины... В пустой рюмке он смешал коньяк с водкой и аппетитно выпил.

Публика прошумела около буфета и схлынула. Поезд свистнул, громыхнул и умчался. Остался пустой зал с скромным буфетом, и мы двое. В открытую дверь виднелся немощеный дворик, скромные железнодорожные постройки и поля с новым заманчивым простором. Слышался звон бубенцов, и виднелись костистые лошади, запряженные по-русски.

Негри обтер усы салфеткой и поманил лакея. Боясь, чтобы он не заплатил и моих тридцати копеек, я торопливо схватился за кошелек. Негри, улыбаясь, посмотрел на меня и сказал:

— Вы хотите? Ну что ж, хорошо... В Сумах сочтемся. Лучше всего, когда в дороге ведет расход кто-нибудь один. Приучайтесь, юноша, приучайтесь... За меня рупь пятьдесят, ваших тридцать... Гривенник ему на чай. Позови, братец, ямщика.

Вошел ямщик в кафтане с очень короткой талией и в очень грязных сапогах и почтительно остановился.

Негри посмотрел на него смеющимися глазами и сказал:

— Здравствуй, друг Павло. Как поживаешь?

— Я Герасим,— ответил ямщик с удивлением.

— Да, да, Герасим... Я забыл. Павло другой.

— Вы меня знаете, ваше благородие?— спросил ямщик простодушно.

— Конечно, знаю. И знаю, у кого ты служишь.

И, повернувшись ко мне, он сказал, весело играя карими глазами:

— Хозяин его — человек популярный, но...— прибавил он тише,— страшный кулак. Это ведь про вашего хозяина есть стихи:

Чи рыба, чи рак —
Кандыба дурак.
Чи рак, чи рыба,
Все дурень Кандыба.
Чи так, чи сяк,
Все Кандыба дурак.

Что? Неправда?— повернулся он к ямщику.

— В аккурат,— ответил тот с простодушным удивлением и растерянно оглянулся на лакеев и буфетчиков. Те смеялись выходкам затейливого господина.

— Ну, Герасим, поедем в Сумы. Что возьмешь?

— Цена известная. Три целковых.

— Два с полтиной, двадцать на чай. Хозяину скажи: вез господина Негри, артиста. Он знает. Ну, бери чемоданы.

Ямщик опять беспомощно оглянулся и покорно взял наши вещи...

Минут через двадцать крыша вокзала и верхушка водокачки едва виднелись за неровностью степи, а где-то очень далеко над горизонтом бежал клубок белого пара. Негри с наслаждением вдохнул свежий воздух и сказал:

— Спасибо, сторона родная, за твой врачующий простор!.. Вы, конечно, этого еще не понимаете? Вам врачующий простор не нужен. А Некрасова любите?

— Очень.

— И знаете?

— Знаю из Некрасова много...

— Прочтите-ка что-нибудь.

Я оглянулся кругом. Поля были почти убраны, но кое-где лежали еще кресты снопов, розовели загоны гречи и по дороге ползли нагруженные возы. Из-за буг-

ра выделялись соломенные крыши деревеньки. Я начал читать:

Меж высоких хлебов затерялося
Небогатое наше село...

Негри сначала легко поморщился, но потом стал внимательно слушать. Последнюю строфу он вдруг выхватил у меня и закончил сам. Мне показалось это так, точно он схватил всю тихую поэзию этих полей, и шорохи ветра в жнивьях, и звон где-то в лощине оттачиваемой косы — и перевел все это в задушевную гармонию некрасовского стиха. От ощущения щемящей, счастливой грусти на глазах у меня проступили слезы.

Он взглянул искоса и сказал:

— А у вас есть чувство. Читаете вы, положим, еще неважно. Но можете, пожалуй, при некоторой выучке прочесть прилично. А Шевченко?

— Еще хуже,— ответил я.

— Попробуйте.

Я прочел что-то неуверенно и сбиваясь, так как совсем не владел украинским выговором. Он опять поморщился и сказал:

— Н-да... Это уж совсем плохо... А Некрасова вы чувствуете. Да, да... С Некрасовым могло бы сойти,— прибавил он про себя.

Стало темнеть. Над полями стояли тишина и угасание. Незаметно зажигались одна за другой яркие звезды. На горизонте долго лежала светлая полоса, потом и она расплылась. Мы ехали молча. Скоро приедем и расстанемся. Мне было жаль терять время на молчание...

— Скажите, пожалуйста,— заговорил я робко...

— Что такое, юноша?

— Вы вот разговаривали с этим молодым офицером о нечаевском процессе...

— Да, да... Вы слушали?

— Слышал кое-что. И мне хочется спросить: зачем они убили Иванова?

— Так было нужно,— сказал Негри жестко.

— Но ведь Иванов был честный человек... все говорят, что он не был доносчиком.

— Да... и хороший был... а так было нужно,— отрезал Негри категорично и смолк.

«Он, вероятно, знает больше, чем напечатано в газетах... Может быть, он тоже участвовал в этих делах... И он, и тот молодой офицер...»

Ночь наполнялась для меня туманными и таинственными образами. Хотя я все-таки не понимал, зачем «это» было нужно, и не мог согласиться, что это могло быть нужно, но расспрашивать дальше не посмел.

Где-то вдали замелькали неясные огоньки. Должно быть, город. Еще полчаса, и конец пути. Мне это было так неприятно, точно я ехал с любимой девушкой... Негри, как бы угадав мои мысли, повернулся ко мне и сказал:

— Слушайте, юноша! Вы не могли бы остаться в Сумах на несколько дней?

И, не ожидая ответа, сказал живо:

— Знаете, мы бы с вами вместе выступили в концерте...

Я удивился, почти испугался. Я? В концерте, перед публикой на подмостках... Это невозможно! Но Негри находил, что это пустяки. Он все обдумал. В моем чтении есть все-таки чувство. Дня в два, пока напечатают афиши, он меня «поставит». Фрак для меня можно достать напрокат. Мой дядя постарается заинтересовать публику, раздаст между судейскими билеты... Ведь это будет чудесно.

Не знаю, что бы из этого вышло и сумел ли бы я при других обстоятельствах отказать этому «замечательному человеку», сильно овладевшему моей волей, но у меня было мало времени: пятнадцатое близко, а мне еще нужно остановиться в Москве, чтобы повидаться с сестрой, нанять в Петербурге комнату...

— Жаль, жаль,— сказал Негри разочарованно.— Ну а в том, что я у вас теперь попрошу, вы уже мне наверное не откажете?..

— Что только могу,— ответил я горячо.

— Это вы можете: ночь мы переночуем вместе в гостинице, а дядю вы разыщете завтра утром. Скажу вам правду: мне просто жаль расставаться с вами...

— О, конечно...— заговорил я, сбиваясь...— Я тоже... Вы не знаете... я... мне...

Я окончательно сконфузился и смолк.

В Сумы мы приехали поздно и остановились в плохонькой «гостинице с номерами». Я кое-как устроился на стульях, которые несколько раз разъезжались подо мною. Но и сон, и частое просыпание от беспокойного

ложа были приятны. Я проектировал в уме письмо к матери: она может быть спокойна на мой счет. Я сумею найти то, что мне нужно. Мне везет: вот я уже познакомился с замечательным, необыкновенным человеком!

Когда я проснулся, Негри, умытый и свежий, сидел за столом и что-то писал.

— А, вы проснулись!.. Ну вставайте, будем пить чай. А я пока вот тут окончу маленькое дело.

Я живо умылся и был готов в пять минут. Негри позвонил. Вошел какой-то человек и остановился у двери.

— На вот, братец, и скажи, чтобы поскорее прислали корректуру. Понял?

— Так точно... Приказали, чтобы задаток.

— Ступай! — сказал Негри повелительно и обратился ко мне: — Ну-с. Я узнал, где живет ваш дядя. Недалеко. Сколько времени вы у него пробудете?

— Не более двух дней.

— Так. Ну, мы, конечно, еще увидимся... Сегодняшний день вы проведете в родственных объятиях, а завтра утром заходите сюда. Непременно! Тогда мы сведем с вами и наши маленькие счеты. Ты все еще здесь? — повернулся он к типографскому рассыльному, который неподвижно стоял у дверной притолки.

— Так точно... Приказали, чтобы задаток...— повторил он тоном автомата.

По лицу Негри прошла красивая нервная гримаса.

— Вот, не угодно ли! — сказал он брезгливо,— вечная прелюдия ко всякому концерту... Изнанка жизни бродячего артиста. Знаете что... Я хочу взять с вас маленький залог в удостоверение, что вы еще меня навестите: вы там платили в буфете... и потом за лошадей. Продолжим до завтра эти наши общие расходы. Дайте вот этому разбойнику два рубля.

Я торопливо отдал деньги.

— Спасибо. А теперь ступайте к дяде, а я пойду по делам. Нужен зал... полицейское разрешение, ну и так далее... Неужто вы не останетесь хотя бы для того, чтобы послушать вашего приятеля, артиста Теодора Негри? Нельзя? Ну, бог с вами, бог с вами... Итак — до завтра!

Дядя ждал меня еще вчера, по письму матери, и несколько беспокоился. Выслушав мой рассказ о счастливой встрече, он комически приподнял брови и сказал:

— Денег взаймы просил?

Я покраснел от обиды за моего нового друга.

— Дядя! — сказал я с упреком, — вы не знаете, что это за человек... Артист, проповедник... Это единственная у нас форма общественной проповеди...

— Сколько занял? — спросил он опять, но, заметив мое огорчение, сказал: — Ну, ну... Бог с тобой. Послушаем твоего артиста...

Этот мой дядя был когда-то весельчак и остроумец. Теперь он был в чахотке, но в глазах его все еще по временам загорался огонек юмора. Я очень любил его, но все-таки он был только мой дядя, а Теодор Негри, артист-декламатор и проповедник, стоял неизмеримо выше его суда и его насмешек.

На следующее утро я побежал в номера, точно на любовное свидание. В коридоре впереди меня шел мальчишка-половой, неся в обеих руках подносы с графинами, рюмками и закусками. Остановившись около одного номера, он осторожно отдавил ногой дверь, и я увидел внутренность комнаты. Сквозь густые клубы табачного дыма виднелась за столом какая-то веселая компания. Особенно бросилась мне в глаза фигура какого-то молодого богатыря с широким лицом, красным, как сырое мясо, в шелковой косоворотке, с массивной золотой цепочкой поперек груди, от одного кармана косоворотки к другому. Из закуренного номера несся шумный и, кажется, пьяный говор, крики, смех. По-видимому, компания заканчивала поздним утром ночь, проведенную за картами.

Господина Негри в нашем общем номере не было. Половой мальчишка, увидев меня в открытую дверь, вошел в комнату, махнул зачем-то салфеткой по столу и сказал:

— Чичас доложу. Они у акцизного. Приказали, чтобы вам непременно дожидаться, не уходить.

И скрылся.

Через минуту дверь отворилась, и вошел господин Негри. Лицо у него было не то несколько помятое, не то печальное. Он молча подошел ко мне, сильно и как-то многозначительно сжал мою руку и несколько секунд пытливо глядел мне в лицо. Потом, оставив мою руку, сделал два, три шага и сел к столу, положив голову на руки. Меня охватило непонятное волнение... В напряженную и торжественную тишину этой минуты ворвался шум из соседнего номера... Там смеялись... Стучали, звали кого-то...

Лицо господина Негри повернулось ко мне с выражением сарказма и душевной боли...

— Хороши?— спросил он.

Я ничего не ответил: я не думал об этой компании и не составил о ней определенного мнения, очевидно, от недостатка наблюдательности. А господин Негри думал и составил.

— Что делают?— спросил он с сдержанным гневом и печалью. И тотчас ответил коротко и выразительно:

— Гррра-бят...

Последовала пауза, полная для меня жуткого, электризующего напряжения.

Затем господин Негри стал ронять в тишину фразу за фразой, отчетливые, тихие, точно раскаленные...

— И вот! Они веселятся. Пируют... Слышите? Слышите вы?..

— ...А я!..

— ...За мою проповедь... За мою ччестную проповедь... О!..

Он глухо застонал и, резко повернувшись ко мне, заговорил еще тише и еще отчетливее, как будто стремясь запечатлеть во мне важную и горькую тайну:

— Зачем скрывать истину? Знаете ли вы, мой милый, чистый юноша, в каком я положении? Денег — ни гроша! Кредит!.. Боже! Какой кредит странствующему проповеднику на Руси?.. За афиши, которые я заказал тогда при вас... надо заплатить вперед; иначе типографщик... кул-лак и эксплу-ататор... их не выпустит. Значит, концерта моего не будет. Завтра меня, артиста-проповедника, вышвырнут из этого жалкого номера, как саб-баку... А вы... вы еще...

Сердце у меня упало. Все кругом так ужасно и так преступно. Еще секунда, и я узнаю о своей доле участия в этом общем преступлении...

Но глаза господина Негри смотрели на меня из золотой оправы с мягкой лаской.

— Вы вчера спрашивали: «З-зачем? И нужно ли было это делать?» (Я понял, что речь шла о Нечаеве и Иванове.) Да! Нужно!.. Все, понимаете: *все* можно и *все* нужно в этой стране, где такие вот субъ-ек-ты (большим пальцем он ткнул назад через плечо) хохочут сытым, утробным смехом, а таким, как мы с вами, остается только плакать... да, плакать крровавыми слезами.

Он опять уронил голову на руки и смолк. Плечи его чуть-чуть вздрагивали... Неужели он... господин Негри,

которого вчера я видел таким великолепным,— плачет? Я стоял, затаив дыхание, потрясенный, ошеломленный. А из-за двери «грабителей» действительно слышались опять крики и смех...

Я робко подошел к господину Негри и сказал:

— Теодор Михайлович. Я... простите меня, но я... не могу... Если бы вы согласились взять у меня сколько нужно на эти афиши и прочее... Вот тут... у меня...

И я протянул ему свой тощий кошелек.

Негри поднял голову и снизу вверх посмотрел на меня влажным, растроганным взглядом.

— Вы... вы сделаете это?.. Но нет, нет... Я не могу, не должен...

Кошелек был у него в руках. Он раскрыл и стал перечислять его содержимое таким тоном, точно читал трогательную надгробную надпись:

— Багажная квитанция... Записка с адресом, вероятно, товарищей в Петербурге... десять... двадцать... тридцать пять, пятьдесят...

Он вопросительно посмотрел на меня и продолжал тем же умиленным тоном, не спуская глаз с моего лица:

— Где-нибудь еще... вероятно... любящая рука матери зашила в сумочку сотню-другую рублей... И это все... И все-таки этот юноша, сам пролетарий, протягивает руку помощи такому же пролетарию-артисту... О, спасибо, спасибо вам!.. Не за деньги, конечно, я еще не знаю, смогу ли их взять, а за ту чистую веру в человека, которая...

Он заморгал глазами и вытер что-то под золотыми очками кончиком тонкого платка. Затем, переменив тон, сказал:

— Однако постойте... Если уже вы хотите, то... денежные дела так не делаются. Садитесь. Вот так. Давайте выясним: сколько же у вас всех денег?

Я покраснел почти до боли в лице, чувствуя себя так, как будто я обманул доверившегося мне замечательного человека.

— Тут... все,— сказал я с усилием.

В глазах господина Негри мелькнуло быстрое и сложное выражение разочарования, мгновение холодного блеска, как будто он действительно рассердился, потом — юмористическое удивление, потом просто недоумение...

— Все?— переспросил он.— И с этим вы едете в столицу? Значит, вам пришлют туда? Правда?

— Я найду уроки,— пробормотал я совсем виноватым голосом...

Он засмеялся.

— Ну, это дело нелегкое. Вам придется испить горькую чашу... Ну, ничего, не краснейте, юноша. Я вижу, что ваши средства несколько не соответствуют вашему доброму желанию... Тем более спасибо... Но, конечно, нам нужно рассчитать... Постойте: до Курска... до Тулы... до Москвы... до Петербурга... Я, значит, возьму у вас десять рублей на афиши... и потом еще... Ну, хорошо, хорошо: еще пять рублей... Вы все-таки меня спасаете... Концерт состоится. Деньги у меня будут. Ваш петербургский адрес?.. Впрочем, что ж я. Конечно, можно адресовать в институт. Я даже сам, вероятно, скоро буду в Петербурге и разыщу вас, мой милый юноша. И тогда, быть может, вы, в свою очередь, не оттолкнете руку помощи скромного бродяги-артиста... Да? Ведь правда: вы мне не откажете в этом?.. Ну, а пока...

Он встал со стула и взял мою руку. Не выпуская ее, он отклонился несколько назад, смотря мне в лицо с какой-то внезапно явившейся мыслью, и сказал:

— Еще, дорогой мой, маленькая просьба: своему дяде вы лучше не говорите ничего о... о наших отношениях. Эти люди с сердцем, охлажденным житейской прозой... Поймут ли они...

— Конечно,— сказал я с убеждением.

— Ну вот.

Дверь нашего номера скрипнула. В ней показалась глупая рожа полового.

— Господин акцизный...— начал он, но Негри сделал болезненную гримасу и сказал гневно-страдающим голосом:

— Знаю, зна-аю... Провалитесь вы все с вашими акцизными...

Малый исчез, а господин Негри опять обратился ко мне и заговорил тоном, который так легко проникал в мою душу:

— Ну, пора расстаться... Но поверьте мне, юноша... Да, да, я знаю: вы мне поверите... Теодор Негри вечный жид, цыган, бродяга. Но он не забудет, что на его пути, на суровом пути странствующего проповедника, судьба послала ему встречу с чистым юношей... доверчивым... с неохлажденной, отзывчивой душой. Прощайте же... прощайте!

Господин Негри крепко обнял меня. Я почувствовал прикосновение его мягких усов, а затем его губы прижались к моей щеке. Я не успел ответить на это объятие, как он меня выпустил и быстро исчез, оставив одного в пустом номере. Было тихо. Только из комнаты «грабителей» вырвалась, будто в мгновенно открытую дверь, волна особенно шумного ликования, хохота, криков...

На улицах малознакомого города было серо и скучно. Печально моросил дождик, по небу ползли серые клочья тумана, мостовая облипла жидкою, скользкою грязью. Но на душе у меня как будто играла музыка, немного печальная, но еще более торжественная... Какой замечательный человек!.. «Что делают?.. Грррабят!» О, как он сказал это! И как одной фразой охарактеризовал эту пошлую компанию, которую я видел в накуренном грязном номере, среди табачного дыма... Этот молодой человек с самодовольною, красною рожей... Вероятно, это и есть акцизный? Конечно... вчера половой говорил, что занят только один номер, и именно господином акцизным... И сегодня он опять приходил от господина акцизного... Зачем? Что общего у этого пошляка с странствующим проповедником? Совершенно понятна болезненная гримаса господина Негри при одном упоминании об этом субъекте. Наверное, берет взятки... И щеголяет в золотой цепи... «А я за мою проповедь... за мою честную проповедь...» Куда он ушел, попрощавшись со мною? С кем теперь говорит?.. Кого это «грабители» встретили таким ликованием после того, как мы распрощались?.. «На моем пути, на суровом пути странствующего проповедника... судьба послала мне чистого юношу»... Неужели он говорил это обо мне? Что я такое для него?.. Неинтересный, мало развитой, в смешной альмавиве... И на меня же глядели его умные глаза, глядели *снизу вверх* с такой глубокой печалью... О господин Негри, милый, красивый, умный господин Негри! Артист, декламатор, интеллигентный пролетарий, странствующий проповедник... Неужели, о, неужели я никогда не увижу вас более!

При этой мысли глаза мои становились влажны...

А между тем, если читатель подумает, что мой современник был так безнадежно глуп, как может показаться по описанному здесь его настроению, то он, пожалуй, ошибется. Этот застенчивый молодой человек не был лишен даже в эти минуты некоторой наблюдатель-

ности... В то самое время, когда в душе его звучала торжественная симфония, он все-таки замечал, что на улицах грязно и скучно, а по мостовой дребезжит какая-то обмызганная пролетка. Правда, образ господина Негри плавал перед ним в золотистом тумане, обаятельный и блестящий, властно занимая солнечную сторону его сознания. Но наряду с ним в серой и скучной тени выступал и другой образ, тусклый, но все же довольно отчетливый. Стоило только выпустить его на солнечную сторону, и он обрисовался бы не менее рельефно, чем его великолепный двойник. *Этот* господин Негри ехал в Курск, вероятно после каких-то неудач, с неопределенными планами. Он свернул в Сумы, собственно, для меня... Я платил за его обед, за лошадей, за номер, за афиши. В его глазах мелькнуло разочарование при подсчете моих капиталов... Он думал, что у меня больше. Он «нарочно» говорил, что *надо было* убить Иванова. Сам он ничего об этом не знает... Наконец... положительно *он* вышел ко мне из номера «грабителей» и опять ушел к ним. И, может быть, продолжает теперь игру на взятые у меня деньги и спустит их этому молодцу с красной рожей до последней копейки... А у меня едва ли останется десять рублей, когда я приеду в Петербург...

Но я слишком грубо и резко обрисовал этот второй образ. Тогда он только пытался возникнуть в моем сознании — легкий, воздушный и такой робкий, что исчезал при каждом движении своего великолепного двойника. Когда же он делал попытки перейти из тени на солнечную сторону, то мне делалось обидно и больно. Я только что расстался с живым господином Негри... Неужели придется расстаться и с воспоминанием?.. Нет, нет! Тут великолепный господин Негри произносил для меня одну из своих фраз, от которых жутко замирало сердце,— и презренный двойник расплывался в тумане.

Одним словом, я и тут *знал* господина Негри по-умному, но *чувствовал* его по-глупому, с преклонением, с желанием *только такого* господина Негри... И он оставался для меня именно таким... И *такой* он продолжал владеть мною. И если бы судьба вскоре опять свела нас вместе, и он опять сказал бы несколько таких же потрясающих фраз и опять посмотрел бы снизу вверх страдающими печальными глазами,— я, вероятно, пошел бы

за ним всюду, куда бы он позвал меня, не слушая робкого, предостерегающего шепота его двойника.

И долго потом, уже в Петербурге, в тяжелые минуты жизни, печальные и тусклые, как эта уличная слякоть,— образ великолепного господина Негри, артиста-декламатора, выплывал передо мною из розового тумана во всем своем обаянии. Мне казалось, что он откроет дверь, войдет, посмотрит сквозь золотые очки своими живыми глазами и скажет:

— Вот и я. Бродяга и цыган... Разыскал вас, зная, что вам очень трудно. А вы, признайтесь, юноша, сомневались?..

Дядя опять стал расспрашивать «о моем артисте», но, заметив мое настроение, оставил эту тему. Вместо того он произвел основательную ревизию моим денежным и иным ресурсам. Результаты оказались довольно печальными. Сам он был небогат и болен. В его когда-то веселых черных глазах отражалась теперь неустанная и тяжелая забота о детях. Тем не менее он пополнил брешь, нанесенную декламатором в моих финансах, и, кроме того, снабдил еще меня своею черною парой. Он был очень высок, и его сюртук полами покрывал мои пятки. Дядя расхохотался и сказал:

— Ничего, ничего... В Петербурге позовешь портного и переделаешь. А то ты черт знает на что похож в этом своем костюме.

Под вечер, когда я уезжал из города на лошадях Кандыбы, над Сумами опять ползли облака, поливая мелким дождиком скучные, грязные улицы. На столбах и заборах мелькали большие листы, на которых я мог разобрать крупные надписи:

Теодор Негри. Артист-декламатор.

Их поливал мелкий дождь, и я с грустью думал, что погода помешает концерту моего замечательного друга.

III

Я ПОПАДАЮ В РАЗБОЙНИЧИЙ ВЕРТЕП

И в дороге, под шарканье бубенцов, и в поезде до Курска мне было очень скучно.

В Курске в вагон, где я уселся, вошли двое знакомых уже мне пассажиров: господин с утиным носом и его товарищ. Они прямо направились ко мне и поздорова-

лись, назвав себя. Господин с утиным носом оказался Зубаревским, студентом-технологом третьего курса (наружность и фамилия другого как-то совсем исчезли из моей памяти). Они провели эти два или три дня по делам в Курске... Остановятся еще в Москве. Я сделал вид, что верю всему, но, в сущности, мне казалось невероятным, чтобы человек с такой незамечательной наружностью и так одетый мог быть действительно студентом. Впрочем, я теперь человек опытный, и меня провести нелегко. На предложение остановиться в Москве вместе в Кокоревской гостинице я ответил вежливым отказом: мне нужно остановиться где-нибудь около Екатерининского института. Там у меня сестра...

На старом Курском вокзале в Москве я пожалел об этом. Когда с чемоданчиком в руках я очутился на дебаркадере, вокруг меня образовался сразу вихрь криков, нахальных рож, приподнятых фуражек, звонких зазываний. Хватили за полы моей злополучной мантильи, вырывали из рук чемодан, заглядывали в глаза, дышали в лицо разными, преимущественно винными, запахами, кажется — насмехались... Где-то вдали мелькнула фигура Зубаревского и его товарища. Они казались мне теперь приятными. У Зубаревского, в сущности, добрые глаза и лицо очень неглупое. Пожалуй, он, может быть, и студент. И уж во всяком случае, не грабитель. Я рванулся за ним, но его уже не было. А над самым моим ухом слышался сиповатый, мягкий голос:

— Домниковские номера-с... Всего сорок копеек. Извозчика не требуется. Вещи донесу сам...

Я устал бороться и отдался на волю судьбы.

Чернобородый субъект довольно мрачного полумонашеского вида взял у меня чемодан, взвалил себе на плечи и пошел вперед, энергично прокладывая путь в толпе. Он двинулся так быстро, что я сразу отстал и уже прощался со своим чемоданом; но на подъезде черномазый ожидал меня, и мы пошли рядом по улицам Москвы.

Шли довольно долго. Прошли «Балкан», потом углубились в какие-то переулки. Я уже думал взять первого попавшегося извозчика и ехать в Кокоревские номера, как мой провожатый остановился перед двухэтажным домом. Переулок был узкий и грязный. Вверху сумрачное небо, внизу мокрая мостовая. На стене дома большими буквами было написано: «Домников-

ские номера для приезжающих». Надпись была, кажется, сделана сажей и потекла от дождя, разведя по грязной стене траурные полосы. Хотя было еще рано, но ворота оказались запертыми. Провожатый дернул ручку звонка. Раздался дребезжащий, унылый звон и вслед за ним хриплый собачий лай. Толстая баба отперла калитку, впустила нас и тотчас же заперла опять.

В маленьком квадратном дворике было грязно и печально. Я еще первый раз в жизни очутился в таком дворе, и мне казалось, что я действительно на дне колодца. На одной стене опять виднелась расплывшаяся надпись — «номера», и мы вошли в низкую дверь, показавшуюся мне входом в пещеру. Ход был через кухню. Небольшим коридорчиком чернобородый провел меня в заднюю комнату и сказал:

— Здеся. Сорок копеек в сутки. Прикажете самоварчик?

Когда он вышел, я оглянулся в своем новом помещении. Комната была узкая, с одним окном, засиженным мухами. Темный потолок, темные обои, темное небо, на дворе сумерки. Окно было низко. Я подошел и попробовал тихонько открыть его. Тотчас же из какой-то темной сарайной двери показалась собачья морда и раздался лай, хриплый и сердитый.

Итак, решил я про себя, похоже, что я в ловушке. Двор заперт, у окна собака. Да если бы и удалось вырваться на двор — все равно идти некуда. Подслепые окна глядели со стен в этот колодец таинственно и зловеще...

В коридоре послышалась возня, заставившая меня насторожиться. Кто-то рвался куда-то, кто-то другой не пускал. Жидкая переборка шаталась и вздрагивала.

— П-пусти... Тебе гов-во-рят!— с усилием говорил сиплый мужской голос.— Агафья... Агаш... кто здесь хозяин?.. Одолели вы меня с Ермишкой, с разбойником... душегубы, анафемы!

Он рванулся, и неровные быстрые шаги застучали по коридору. Моя дверь внезапно раскрылась, и на пороге появился мужчина лет за пятьдесят, в расстегнутом меховом полукафтанчике и разорванной косоворотке. Нанковые легкие штаны и опорки на босу ногу дополняли костюм незнакомца. Глаза у него были дикие, бегающие, как будто испуганные, седоватые жидкие волосы торчали врозь, борода сбилась в одну сторону. Он схватился за косяк двери, чтобы не упасть, и, тяжело пере-

валившись в мою комнату, подошел ко мне вплоть и заговорил, дыша запахом перегара и горячки:

— Слышал ты?.. Будь свидетель. Не пущают... Разбойники, душегубы они с Ермишкой. Не-ет, врешь... мамонишь, концы хоронишь...

Он прищурил один глаз, лукаво мигнул мне и сказал:

— Я сам с усам... Я им, душегубам, не потатчик... Я... до сам-мого царя...

В коридоре стукнула дверь. Должно быть, на помощь баба призвала Ермишку. Пьяный насторожился и, наклонясь ко мне, заговорил таинственно, торопливо и тихо:

— Молчи ужо. Дай мне скорея двугривенной, хорошо будет небось... А с их, подлецов, вычти потом. Я хозяин, в обиду не дам. Э-эх ты, мил-л-ай! Молоденький какой...

Поддавшись его испуганной торопливости, я наскоро дал ему двугривенный. Он жадно схватил его и сунул в рот. Как раз вовремя, потому что в комнату уже входил чернобородый и толстая баба. Незнакомец не оказывал теперь сопротивления и только с порога кивнул мне многозначительно и обещающе... Скоро возня стихла где-то в дальнем конце. Слышались только неразборчивое ворчание, вздохи... чей-то плач...

Чернобородый с сурово-угрюмым видом внес сначала поднос с чайником и стаканом, потом небольшой самовар и тарелку с французской булкой. Все это он делал молча, не глядя на меня, и так же молча вышел.

Мое положение стало передо мной с ужасающей ясностью. Можно ли сомневаться? Я попал в один из вертепов, вроде притона «на бойком месте» в драме Островского. Только не в лесу, а на каком-то московском «Балкане», хуже всякого леса. Они, очевидно, только затем и выходят на вокзалы, чтобы заманивать неопытных юношей, одетых так выразительно, как меня нарядил портной Шимко. Квартиры кругом, очевидно, нежилые... Только в одном окне движется тусклый огонек... Там, вероятно, члены той же шайки. У окна сторожит свирепый цербер. Ворота на запоре...

Воображение мое разрабатывало дальше эту мрачную тему. В одном из членов шайки, очевидно, не погасла еще искра совести... Но он заливает ее вином и только в пьяном виде грозит товарищам разоблачениями и старается предупредить несчастные жертвы... Он

так таинственно порывался что-то сказать мне, так многозначительно мигал от порога. Обещал что-то?.. Ясно: он обещал мне помощь. Может быть, этому доброму, раскаявшемуся преступнику удастся как-нибудь обмануть их бдительность, привести людей и спасти меня в последнюю роковую минуту... Это иногда бывало... Но... удастся ли?..

Мне только казалось странно, что и чернобородый разбойник, и толстая мегера, увидя пьяного, как будто плакали. Да, положительно я помню заплаканное бабье лицо. Что ж. И это легко объяснить. Она — женщина... Ей, может быть, стало жаль моей молодости. У нее, вероятно, был сын... Он умер, но теперь был бы моих лет. Такая чувствительность у закоренелых разбойниц тоже бывает. Я, кажется, читал об этом в каком-то страшном рассказе... Но это, в конце концов, не помогает невинным жертвам. Такие счастливые развязки бывают только в романах... а меня окружает теперь суровая действительность...

На столе стоит самовар и лежит пятикопеечная булка. Чай, конечно, отравлен сонным порошком. Я снял чайник, вылил содержимое в грязное ведро, всполоснул несколько раз и заварил своего чая. На блюдце лежало несколько кусочков сахару. Я лизнул опять языком: вкус странный, как будто металлический. Мышьяк ведь тоже похож на сахар. Ну хорошо, пусть думают, что я усыплен или отравлен. А я между тем напьюсь крепкого чаю и не засну всю ночь... Может быть, найду какое-нибудь средство спасения... И, во всяком случае, дорого отдам свою жизнь...

Не надо сидеть спиной к двери. Я попробовал перейти на другой стул, у стены, но он сразу подогнулся подо мной: одна ножка была отломана. Я по-прежнему приставил его к стене и пересел со своим стаканом на кровать.

Я был сильно голоден. Чай показался мне превосходным, булка тоже. «Может, в последний раз в жизни»,— подумал я печально и налил другой стакан. Хорошо бы еще одну булку... Я постучал.

Вошла мегера. Глаза у нее все были заплаканы. От угрызений своей мрачной совести она, по-видимому, не могла глядеть на меня и отворачивала лицо. Я попросил принести еще хлеба, она ушла, не сказав ни слова, и так же молча принесла через несколько минут две булки. За ними она, кажется, выходила со двора.

Вскоре после ее ухода сильно лаяла собака и металась, лязгая цепью...

Напившись чаю, я попробовал запереть дверь, но задвижка не входила во втулку.

Время тянулось медленно. Самовар допел свою жалобную песенку и смолк. Где-то, в другом конце квартиры, шел тревожный разговор, раза два хлопали двери, один раз опять сильно лаяла собака. Потом все стихло...

Я решил, что можно немного прилечь. Ведь прилечь не значит еще заснуть. Наоборот, в таком положении воображение работает еще лучше. Я придумаю какой-нибудь выход.

Что-то жесткое сразу проступило из-под тонкого тюфяка. Засунув руку, я нащупал... ту самую ножку, которой недоставало у стула. Очевидно, кто-то здесь уже переживал те же чувства, что и я, и, вероятно, вооружился ножкой для защиты. Какая судьба постигла этого моего предшественника? Может быть, та же самая, которая ждет и меня через два-три часа... Когда *это* случится? Конечно, перед утром, когда бывает самый крепкий сон... Во всяком случае, я благодарен неведомому товарищу за его предсмертную выдумку... Вместе с клопами, которые сразу произвели на меня жесточайшую атаку, это жесткое орудие защиты, конечно, не даст мне заснуть...

Свечу я не гасил. Она нагорала и потрескивала жалобно и печально. Было тихо. Где-то тут за стенами катится шумная жизнь столицы, гремят извозчики, снует публика... Отдаленный свисток — точно из другого мира. Это на Курском вокзале. Пришел поезд, валит приезжая толпа... Разъезжаются по гостиницам... В Кокоревском подворье, куда звал меня студент Зубаревский и где теперь он спит на хорошей постели, без клопов, без ножки под тюфяком, в безопасности и комфорте. А где-то еще ближе (мне сказал это чернобородый) большое здание института... В дортуаре ряды чистых кроватей. В одной спит моя сестренка... Чувствует ли она, что я тут, близко, в этом вертепе, в смертельной опасности? Может быть, чувствует и мечется по своей подушке и всхлипывает во сне, произнося мое имя... На глаза у меня просятся слезы...

Ужасно неудобно с этой ножкой, но — пусть! Не время думать об удобствах... Рахметов спал на поленьях дров... Кто-то еще — не помню, кто именно... Спать я ни в каком случае не стану... При первом подозри-

тельном шорохе в коридоре я схвачу эту ножку вот так и удержу ее около себя... Они войдут вон там, в эту дверь... Я вижу их отлично. Впереди — зловещая физиономия чернобородого. Из-за его плеч — другая, незнакомая, еще мрачнее... Они думают, что я усыплен, но я гляжу сквозь прищуренные ресницы и крепко сжимаю ножку в руке... Подходят, трусливо крадучись. Я сразу вскакиваю на ноги. А, не ожидали? Быстрый, как молния, удар... Чернобородый падает... Борьба... долгая, глухая, неясная... я, кажется, обессиливаю... навалились какие-то рожи... Но тут приходит помощь... Раскаявшийся пьяница вваливается со светом, с шумом, с людьми... Я спасен. Ужасная ночь миновала... Свет дня и солнца. Полиция, протоколы, любопытные люди расспрашивают меня... Да, это я раскрыл разбойничий вертеп, в котором погибло уже много наивных провинциалов.

В темном подвале, охраняемом злющим цербером, находят груду человеческих костей... Ужасаются, мотают головами... пишут в газетах. Сестра, мать, Теодор Негри читают. Сначала пугаются, потом, конечно,— радость... Все хорошо. Мне наперебой предлагают работу. Три часа в день. Сорок пять рублей в месяц. Я богат, могу еще посылать матери. Перехожу с курса на курс... В Технологическом... в университете... еще где-то. Вообще — все отлично...

Все так отлично, что я сладко сплю, несмотря на клопов и на деревянную ножку под боком, одетый, в разбойничьем вертепе...

Когда я проснулся, точно от внезапного толчка, первой моей мыслью было: жив ли я.

Я был жив, ночь уже прошла. В комнате было светло. Луч солнца, перебравшись через крыши, заиграл вверху по стене, и желтоватые рассеянные лучи попали на дно двора-колодца. У стола стоял чернобородый, позванивая убираемой посудой.

— Так и спали ночь, не раздемши,— сказал он печально и прибавил, потупясь:— Побеспокоили вас вчерась... Извините...

— Кто это был, пьяный?— спросил я, резво подымаясь на ноги с ощущением необыкновенного благополучия...

Чернобородый глубоко вздохнул.

— Грехи! И сказать стыдно. *Сам* это, хозяин здешний. Закрутил, что станешь делать. Запираем, да нешто

углядишь. Вчерась вот вышел я. Хозяйку вы за булкой послали. Думали, спит он. Сама в ворота, а он тихонечко за нею... Собака взлаяла. Оглянулась она, а он — что ты думаешь: дерет по улице, не догонишь... И опять пьяной... Господи, помилуй нас грешных. И откуль денег добыл, удивительное дело.

Я вспомнил свой двугривенный и покраснел. Чернобородый уставил посуду на подносе и опять обратил ко мне унылое лицо.

— А я вот купеческий брат считаюсь. Хозяин, значит, брат мне приходится. Ну, теперича хожу у них за номерного. Что станешь делать. Кабы достатки. А то сами, чай, видите: нешто это номера! Ведешь хорошего господина с вокзалу — самому совестно в глаза поглядеть.

Он скорбно помотал головой и прибавил:

— А ведь жили-то как в своем месте! Купцы были настоящие. Сама-то Агафья Парфеновна пойдет, бывало, в бархатном салопе в церковь — прямо графиня! Теперь слезой вся изошла. И я с нею. Чего ни делали: свечи угодникам ставили, молебствовали... А что?— спросил он вдруг, меняя тон,— вам самоварчик-то нужно?

— Пожалуйста.

— А то, извините, может, с нами бы попили. Дешевле, а самовар горячий. Сама пьет.

Мне было так совестно перед этими добрыми людьми, что я охотно согласился. Хозяйка сидела за самоваром в маленькой, тесно заставленной спаленке. У киота печально теплилась лампадка, из-за полога слышался храп и кошмарное бормотание запойного хозяина. Глаза у женщины были красны, но лицо ее сегодня показалось мне совсем другим. Оно еще носило следы былой красоты, и держалась она с таким достоинством, что, когда подавала мне налитый стакан, я чувствовал потребность привстать и конфузливо раскланивался.

Чернобородый пил чай отдельно в кухонке, но это было так близко, что разговор у нас шел общий. И когда они опять рассказали мне историю хозяйского запоя и разорения, мне стало так жаль их обоих, что я принялся утешать их и наговорил много глупостей. Конечно, ни иконы, ни знахари из Замоскворечья тут не помогут. Поможет только наука. Я читал где-то, что теперь есть лечебницы для алкоголиков... Я еду в Петербург,

узнаю все это обстоятельно и непременно им напишу... Наука, о, наука одна теперь делает чудеса...

— Ну, дай тебе, господи, за доброту за твою,— сказала бедная женщина, прощаясь со мной. Не знаю, поверила ли она в спасительную силу науки, но мне так хотелось оказать им эту маленькую услугу, что говорил я с искренним увлечением и верой.

Чернобородому нужно было опять идти к поезду, и он взялся указать мне дорогу к институту. Был праздник. Гудели колокола — протяжно, низко, печально... И мне казалось, что вся Москва похожа на заплаканную разорившуюся хозяйку моих номеров и что она этими колоколами вопит, разливаясь слезами о каких-то лучших днях, когда она ходила в бархатных салопах...

Короткое свидание с сестрой не рассеяло этого впечатления.

Мы сидели в огромном зале с колоннами. Я чувствовал, как что-то рвется навстречу этой родной маленькой фигурке в институтском платье и что-то другое сдерживает и холодит эти порывы... Сестру скоро позвали, а когда я вышел из института, то к печально перекликающемуся хору колоколов присоединился еще Иван Великий... Он бухал с размеренно-важною скорбью, и казалось, какая-то неизбывная печаль кружит и плавает над Москвой...

От всего этого веяло такой тоской, что я остановился на Самотеке, совершенно не зная, что мне с собой делать. К счастью, мне вспомнились мои спутники — Зубаревский с товарищем. Времени до поезда оставалось еще довольно. Я пошел по улицам, расспрашивая дорогу, и вскоре был у Кокоревского подворья.

Оба студента были в номере, где-то очень высоко, чуть не на чердаке. Когда я вошел, они немного смешались; они были заняты упаковкой в чемодан каких-то книг. Увидев меня, Зубаревский радушно протянул руку.

— Отлично, что зашли. Хотите чаю? Вот самовар на столе, наливайте сами... Мы тут, как видите, разбираемся с кое-какой литературой. С этим вот вы незнакомы?

Он протянул мне книгу, кажется «Азбуку социальных наук» Флеровского. Я не имел о ней понятия.

— А Лассаля знаете? Нет? Значит, у вас там еще и не слыхали о социализме.

Это слово я слышал в первый раз. Одно мне теперь было совершенно ясно: как я был непроницателен и глуп, сомневаясь в Зубаревском. Теперь, наоборот, все в нем казалось мне необыкновенно привлекательным: и некрасивое лицо, и беспечные манеры добродушного русского бурша, и даже рыжий сюртук из толстого грубого трико... Оба студента долго, с товарищеским участием, рассказывали мне о Петербурге и давали советы, где остановиться на первое время. Потом мы распрощались, как добрые знакомые, и я вышел ободренный, хотя московские колокола продолжали вызванивать свою тягучую, неизбывную печаль...

IV
В ПЕТЕРБУРГЕ!

Странно: в течение этих двух-трех дней я несколько раз имел случай убедиться в своей глупости. Меня чуть не обокрал субъект в клеенчатой фуражке в то самое время, как я подозревал и остерегался Зубаревского... Господин Негри... впрочем, и теперь фигура господина Негри стояла в памяти во всем обаятельном блеске, оттесняя своего тусклого реального двойника, и я ловил себя на том, что порой мои губы невольно складываются в «интеллигентную складку»... Затем, добродушнейшие простые люди из Домниковского переулка показались мне бандитами. Наконец, считая себя в опасной ловушке, я позорно заснул...

Все это, по-видимому, должно было сильно сбавить у меня самоуверенности. Но вышло наоборот. Отправляясь опять на вокзал, я чувствовал себя так, как будто действительно пережил все эти опасности и вышел победителем единственно благодаря своей опытности и необыкновенной находчивости.

На вокзале среди толкотни, криков и движения я опять ходил в розовом тумане. У кассы мне попался, между прочим, один из товарищей-ровенцев. Корженевский. Он окончил годом раньше, был на кондиции и теперь ехал с заработанными деньгами в Петербург. Бедняга совершенно растерялся в сутолоке, пугливо оглядывался по сторонам, и его левая рука судорожно держалась за сумку.

«Господи! — подумал я, — ведь и я был такой еще два-три дня назад...» И я тотчас взял его под свое покровительство, отдал его вещи на хранение провожав-

шему меня «купеческому брату», пока мы ждали очереди у кассы, и вообще держал себя так уверенно и развязно, что бедняга ни на шаг не отставал от меня, держась за мое пальто, как за якорь спасения. С «купеческим братом» я попрощался за руку, как со старым знакомым, а когда затем мы уселись в плотно набитом вагоне, я чувствовал себя так, точно Корженевский — еще недавний *я* в вагоне под Киевом, а *я* — его великодушный покровитель вроде великолепного господина Негри...

Тогда пассажирские поезда из Москвы в Петербург ходили ровно сутки, и, выехав из Москвы под вечер, в сумерки следующего дня мы с Корженевским вышли из вокзала на Николаевскую площадь.

Сердце у меня затрепетало от радости. Петербург! Здесь сосредоточено все, что я считал лучшим в жизни, потому что отсюда исходила вся русская литература, настоящая родина моей души... Это было время, когда лето недавно еще уступило место осени. На неопределенно светлом вечернем фоне неба грузно и как-то мечтательно рисовались массивы домов, а внизу уже бежали, как светлые четки, ряды фонарных огоньков, которые в это время обыкновенно начинают опять зажигать после летних ночей... Они кажутся такими яркими, свежими, молодыми. Точно после каникул впервые выходят на работу, еще не особенно нужную, потому что воздух еще полон мечтательными отблесками, бьющими кверху откуда-то из-за горизонта... И этот веселый блеск фонарей под свежим блистанием неба, и грохот, и звон конки, и где-то потухающая заря, и особенный крепкий запах моря, несшийся на площадь с западным ветром,— все это удивительно гармонировало с моим настроением.

Мы стояли на главном подъезде, выжидая, пока разредится беспорядочная туча экипажей, и я всем существом впивал в себя ощущение Петербурга. Итак, я — тот самый, что когда-то в первый раз с замирающим сердцем подходил «один» к воротам пансиона,— теперь стою у порога великого города. Вон там, налево,— устье широкой, как река, улицы...

Это, конечно, Невский... Я знал это, так как все подробно расспросил у Сучкова и много раз представлял себе первую минуту, когда его увижу. Вот, значит, где гулял когда-то гоголевский поручик Пирогов... А где-то еще, в этой спутанной громаде домов, жил Белинский,

думал и работал Добролюбов. Здесь коченеющей рукой он написал: «Милый друг, я умираю, оттого что был я честен»... Здесь и теперь живет Некрасов, и, значит, я дышу с ним одним воздухом. Здесь, наконец, ждет меня директор Ермаков и новая, совсем новая заманчивая жизнь студента. Все это было красиво, мечтательно, свежо и, как ряды этих фонарей, уходило в таинственно мерцающую перспективу, наполненную неведомой, неясной, кипучей жизнью... И фонари, вздрагивая огоньками под ветром, казалось, жили и играли и говорили мне что-то обаятельно-ласковое, обещающее...

Я останавливаюсь на этой минуте с такой подробностью потому, во-первых, что она навеки запечатлелась в моей памяти, как одна из вех, отличающих уходящие дали жизни. А во-вторых, еще и потому, что те же фонари впоследствии заговорили моей душе другим языком и даже... этой же мечтательной игрой своих огоньков впоследствии погнали меня из Петербурга...

В ту минуту я был счастлив сознанием молодости, здоровья, силы и ожиданий. Когда извозчики разъезжались, я пустился по площади в сопровождении скромного прислужника из номеров в доме Фредерикса [1], который нес наши чемоданы и Корженевского, который буквально держался за мой рукав.

Только небольшой и, в сущности, совершенно незначительный случай несколько нарушил мое восторженное настроение. У самого подъезда скромных номеров, приютившихся на задах великолепной «Северной гостиницы», я увидел в окне подвальной лавочки аппетитные караваи свежего хлеба. Спустившись туда, я спросил... французскую булку. Бородатый широкомордый пекарь, отрезавший кому-то полкаравая, смерил меня холодно-насмешливым взглядом и сказал:

— Французских булочек не имеем-с... Продаем ррусский хлебец...

И он сам, и два его молодца при этом посмотрели на меня так насмешливо, что... я сразу почувствовал себя точно выкинутым из Петербурга в далекий глухой городишко с заплесневевшими прудами... И ярче всего мне припомнился портной Шимко, так как несомненно, что отчасти его творчеству я был обязан этими удивленно-насмешливыми взглядами...

Но это такой пустяк!.. Как бы то ни было, я — в Петербурге!..

[1] Кажется, впрочем, тогда он назывался иначе.

V

Я КИДАЮ ЯКОРЬ В СЕМЕНОВСКОМ ПОЛКУ

Я проснулся рано, кажется от нестерпимого восторга. Мой спутник еще спал. Я подошел босиком к окну и выглянул на улицу. Лиговка тогда представляла еще канал, или, вернее, гнилую канаву, через которую на близких расстояниях были кинуты мостики. Небо было пасмурное, серое. Так и надо: недаром же его сравнивают с серой солдатской шинелью... Вот оно. Действительно похоже. На верхушку Знаменской церкви надвигалась от Невского ползучая мгла. Превосходно. Ведь это опять много раз описанные «петербургские туманы». Все так! Я, несомненно, в Петербурге.

На столике в нашем номере лежала небольшая книжонка с планом города. Я жадно схватил ее и, неодетый, стал изучать улицы, по которым нам нужно будет идти, чтобы разыскать ровенских товарищей: Семеновский полк, Малый Царскосельский проспект, д. № 4, кв. 8. Когда Корженевский встал и мы напились чаю, я очень уверенно повел его по Невскому проспекту. Он удивлялся, не доверял мне и все останавливался, боясь «заблудиться».

— Послушайте, вот вы говорили — будет Аничков мост с лошадьми. Где же они? Никаких лошадей нет.

— Вот и лошади, а это вот Александринский театр. Видите? А за ним мы свернем налево, по Садовой... Вот это Публичная библиотека.

— Послушайте,— опять сомневался он,— вот вы говорите — будет Сенная площадь... Идем, идем, а площади нету.

Но и площадь оказалась на месте, что, правду сказать, и во мне вызывало некоторое радостное удивление. В начале Обуховского проспекта, на Сенной, стоял вагон конки. Он только что пришел, и кучер переводил лошадей с заднего конца на передний. Во мне созрела дерзновенная решимость сесть на верхушку. Не столько от того, что мои провинциальные ноги уже чувствовали непривычную каменную мостовую, сколько для познания всякого рода петербургских вещей, как сказал Павел Иванович Чичиков. Корженевский опять усомнился.

— Послушайте, что вы! Посмотрите: никто не садится...— говорил он тихо, останавливая меня за паль-

то. Но я отчаянно отмахнулся и стал подыматься по лесенке.

Оба мы в эту минуту немного напоминали господина Голядкина из «Двойника» Достоевского, когда этот бедняга подымался на лестницу доктора Крестьяна Ивановича Рутеншпица. Корженевский был Голядкин, робкий и сомневающийся в своем праве, а я — Голядкин горделивый, уверявший себя, что мы, «как и все», не лишены права ехать на империале этой великолепной конки.

Вагон тронулся. Направо — надпись: «Институт инженеров путей сообщения». Кто туда поступил из наших? Кажется — никто. Мост. Фонтанка. Мы оба привстали и, вытягивая шеи, следим за невиданным зрелищем: под мост втягивалась барка, груженная дровами. Дальше — длинное здание «Константиновского военного училища». Сюда поступили два брата Заботины и Завердяев... А вот налево длинное здание с красновато-желтыми стенами. Сидевший с нами рядом молодой человек в синей блузе, очках, высоких сапогах и шапке с зеленым околышем поднялся и быстро сошел по лесенке. «Смотрите, смотрите! Это Технологический институт...» Широкий фасад на углу двух улиц. Положительно здания имеют свою физиономию. Какая умная физиономия! Похожа... на что?.. На то, как я представлял себе директора Ермакова. Величаво и серьезно. У подъезда виднелись входящие, выходящие, останавливающиеся фигуры. Наш недавний сосед шел, точно домой, здороваясь и весело переговариваясь на ходу.

— Вот типичный студент,— сказал я Корженевскому.— И какая умная физиономия.

Впоследствии я с ним познакомился. Увы! еще раз пришлось убедиться в своей непроницательности. Юноша действительно был очень типичен и очень недалек.

Однако, оглядываясь на институт и пяля глаза по сторонам, я зазевался. Вагон, тихо погромыхивая, миновал роту за ротой и поравнялся с небольшой часовенкой на углу двух улиц... Я поднялся.

— Господин кондуктор, это не Малый Царскосельский?— спросил я с тревогой.

— Он самый.

Я как сумасшедший кинулся вниз, увлекая встревоженного Корженевского... Часовенка осталась уже на-

зади... Повернувшись к ней лицом, я соскочил с площадки вагона. Кто-то будто прихватил меня за пятки и кинул на грязную мостовую. А вагон уплывал дальше, точно корабль, с которого человек упал в море, и на задней площадке я видел испуганное лицо моего спутника...

Кондуктор позвонил и спустил беднягу не особенно любезно, пояснив, что прыгать надо вперед.

Итак — вот это угол Малого и Большого Царскосельских [1]. Часовня. Так. Она прописана в записке. Дом номер второй... Мелочная лавочка... Дом четвертый. Все так. Квартира 8, по этой вот лестнице...

— Ну что! Видите, привел!— похвастался я перед Корженевским, который все-таки имел такой вид, точно не верил, что все это предприятие может кончиться благополучно. Правду сказать, и мне казалось все это маленьким чудом: недели три назад в Ровно, на мосту, Сучков набросал в моей записной книжечке несколько линий и цифр. И теперь это все разворачивалось с такой точностью вот в эту часовенку, лавочку, дома с теми самыми номерами... И через минуту у нас окажется свой человек, земляк и товарищ среди этого шумно грохочущего человеческого океана... А что, если мы позвоним, откроется дверь, и чужие люди скажут нам, что мы ошиблись? Никакого Гриневецкого нет. А есть только все чужое, равнодушное, незнакомое. Вот только дернуть за звонок... Пожалуй, еще рассердятся...

Дверь открылась. Молодая горничная, которую мы приняли за «барышню», не рассердилась и не удивилась, а равнодушно ответила, что Гриневецкий Мирослав Иванович живет здесь, но его нету дома. «Войдите, может, скоро будут».

В просторной, но очень беспорядочно обставленной комнате, куда мы вошли, было двое молодых людей. Один сидел на стуле. Далеко протянув ноги и закинув голову так, что виднелся конец носа, он беспорядочно и неумело тренькал на гитаре. Другой у окна крутил папиросу, кося глаза на какую-то толстую книгу.

Наш приход не произвел на них особого впечатления. Гитарист еще некоторое время перебирал струны, потом поднялся.

---

[1] Теперь Забалканский проспект.

— Вы, верно, Мирочке будете ты-ываришши?— спросил он. Лицо у него было медно-красное, не совсем чистое, и говорил он с каким-то своеобразным акцентом на *ы*, точно выдавливая слова.

— Да, мы из Ровно.

— Гы-ыварил он. Ды вот укрутило ево. Сами ждем.

— Шата-атся... долго что-то,— буркнул читающий и опять уткнулся в книгу. Лицо последнего показалось мне необыкновенно интеллигентным и серьезным: крупные черты, тонкие усики над полными губами, раздвоенная бородка и темные густые волосы, закрывавшие лицо, когда он наклонялся над книгой. Тогда дым папиросы проходил через эти волосы, и мне почему-то вспомнилось некрасовское: «Студент не будет посыпать твоих листов золой табачной».—«Настоящий, серьезный»,— подумал я почтительно.

— Будем знькомы,— сказал молодой человек, тренькавший на гитаре.— Никулин Ардальон. Студент-технолог.

— Веселитский,— сказал приятной грудной октавой другой.

Раздался опять звонок, и в комнату вошел Гриневецкий. Это был высокий красавец, с золотисто-русыми волосами, падавшими ему на плечи, и большими серыми глазами. В белой ризе он мог бы сойти за архангела в какой-нибудь мистерии. Таким, как теперь, в пледе, небрежно кинутом на плечи, он походил на немецкого художника времен романтизма. В гимназии он шел двумя классами впереди меня и считался звездой. Я смотрел на него снизу вверх, и теперь меня тронуло открытое радушие, с каким он нас встретил. Впрочем, радостное оживление тотчас же сошло с его лица, и на нем проступила забота. Скинув плед, он швырнул на постель какой-то сверток и зашагал по комнате. Ступал он тихо, не стуча, а как-то шлепая по полу пятками. Приглядевшись, я убедился в печальной истине: каблуков в сапогах вовсе не было, и на полу оставались сырые следы.

— Ну-с, сле-ды-вательно, Мирочка?— протянул Ардальон Никулин, глядя на Гриневецкого вопросительно.

— Следовательно, ни черта!— сердито ответил Гриневецкий.

— Ы-ыд-нако?

— Полтора, вот тебе и однако.

Ардальон громко и язвительно фыркнул.

— Пх-хы-ы... исто-ория. Да ты ба, чудак, объяснил ему: ведь только весной выкупили за восемь...

— Он говорит: поносите еще лето, и полтинника не дам.

— Резон,— спокойно сказал Веселитский. Он все читал, как будто не интересуясь ни разговором, ни последствиями неудачи. А я почтительно догадывался, что Гриневецкий, наверное, ходил в кассу ссуд, носил что-нибудь закладывать. Ожидания обмануты, и теперь они в безвыходном положении. Конечно. Может ли быть иначе: студенты, интеллигентные пролетарии! Еще это, кажется, называется «богема»... В Париже есть Латинский квартал... Там тоже наука и нищета живут, как родные сестры... Что, если бы...

Я посмотрел на моих новых знакомых. Сносно одет был только Никулин. Веселитский был без сюртука, один рукав рубахи не застегнут, карманы широких брюк надорвались и оттопырились. Я подумал, что с моей стороны, может быть, не было бы дерзостью мечтать о том, чтобы примкнуть к их коммуне.

Дело это сладилось как-то само собой, легко и просто. Компания действительно переживала кризис. В комнате им уже отказали. Она была для них слишком дорога и роскошна. В том же доме освободилось под самой крышей помещение как раз для четверых, и оно может быть названо великолепным литературным словом «мансарда». За прежнюю квартиру осталось четыре рубля, а у компании ни копейки, ни чаю, ни сахару. Гриневецкий заходил к Сучкову на его прежнюю квартиру, в Четвертую роту, но он еще не приехал.

Мои семнадцать рублей оказались целым богатством. Через полчаса у них весело кипел самовар, на столе был белый хлеб и колбаса, а под вечер мы перевезли наши чемоданы прямо в «мансарду». Корженевский к нам не примкнул. Победив свою робость и расспросив, как это делается, он пустился по Семеновскому полку, читал билетики, осторожно подымался по лестницам, робко звонил, вежливо торговался и к вечеру уже нанял себе дешевую и удобную комнату.

— Ы-ыста-рожный молодой человек,— сказал Ардальон,— блы-ыгаразумный. Уклонился от зла и сотворил благо...

— Што ш,— серьезно подчеркнул Веселитский.— И верно... С нами тут тоже, братец... добра не наживешь.

И он махнул рукой. Мне очень понравилась эта самообличительная фраза и серьезный тон, каким она была сказана... Но, по существу, я, конечно, был с нею не согласен и чувствовал себя совершенно счастливым. Можно ли так сразу устроиться лучше.

Низкая комната, разделенная надвое деревянной переборкой. Небольшие квадратные окна. Угол потолка скошен, так как комната под крышей.

Мои новые товарищи давно легли, а я стоял у окна и смотрел... Таинственная мутная тьма. Беспорядочные огни, где-то над высокой трубой красный огонь, где-то свисток паровоза, и цепочка огней бежит по равнине... Что окажется днем в этом туманном хаосе из темноты, огней и тумана? Конечно, что-то превосходное, необычайное, неожиданное.

Спать мне опять не хотелось. Сон вытеснялся почти восторженной радостью. Я в Петербурге, в Семеновском полку, в «мансарде» под крышей, с тремя товарищами-студентами... Я подсел к деревянному простому столу и стал писать письмо брату. Мне хотелось отсюда, с этой великолепной «мансарды», закинуть в далекий бедный городишко переполнявшие меня чувства. «Да, мне везет необычайно. Сразу же я успел устроиться среди интеллигентных пролетариев, живущих, как птицы небесные. Мои новые товарищи — народ великолепный. Гриневецкого ты помнишь, только между теперешним Гриневецким и тем, какого мы знали в Ровно, отношение такое же, как между скромным гимназистом и типичным студентом. Он возмужал и развернулся. Никулин — не особенно привлекателен по наружности, но очень своеобразен. Превосходный знаток философии. Цитирует Льюиса, а перед Куно Фишером преклоняется. Но, кажется, самый замечательный из этой компании — Василий Иванович Веселитский. Он костромич, сын священника, из семинаров. В нем чувствуется разночинец, тип Помяловского, только без болезненной рефлексии, уравновешенный, спокойный, уверенный. Говорит мало, с костромским акцентом на а (ша̀та-атся, гуля-ат), серьезно и веско. Другие называют его Васькой и слегка над ним посмеиваются. Он относится к этому философски, и мне чувствуется в нем еще невысказавшаяся, крупная сила, которой суждено когда-нибудь проявиться чем-

нибудь поразительным. Он постоянно читает, почти не отрываясь от книги. Когда мы переносились в свою новую комнату, он предоставил нам все хлопоты, а сам захватил только книги, и мы его застали уже у подоконника опять за чтением. Крутит и муслит папиросу, а глаза скошены на раскрытые страницы. Точно он век живет здесь и читает. И знаешь, что именно он читает так внимательно? Я заглянул, когда он ненадолго вышел в другую комнату. Представь: календарь Германа Гоппе. Раскрыто было на отделе «Статистика. Пространство и народонаселение». И в другой раз: «Санитарные условия Петербурга». Тут же лежит толстая книга «Уложение о наказаниях». Почитает одну, отодвинет, заглянет в другую. Углубится, обдумает что-то и опять придвинет первую. Очевидно, находит какие-то непонятные связи между санитарным состоянием Петербурга и уложением о наказаниях. И, конечно, такие связи есть. Очевидно, этот своеобразный ум идет какими-то своими, оригинальными путями...»

Кончил я поздно. И когда потушил свечу, то долго еще улыбался в темноте под храп товарищей. Громче всех храпел Ардальон. За ним Веселитский подхрапывал как-то особенно солидно, приятно.

Утро было только продолжением того же восторженного настроения. В квадратные окошки искоса и игриво заглядывало солнце, и улица вся оглашалась разнообразными и очень музыкальными криками. Тогда петербургские улицы были гораздо певучее, чем теперь. Звонкий женский голос пел: «Клюква, ягода, клюква!» Мужской баритон: «То-очить ножи, ножницы, бритвы править!» Солидная низкая октава тянула что-то длинное и как будто печальное, кончавшееся словами: «Щ-отки, половые». Наконец горловой голос татарина кидал кверху, точно орлиный клекот: «Хал-лят, хал-лят!»

А когда по улице громоздко проезжали тяжелые возы, то наш дом весь вздрагивал мелкою дрожью, и чуть-чуть позванивали стекла. Я знаю: ведь это Петербург, город, построенный на зыбких болотах.

Из окна характерный вид петербургской окраины — крыши, пустыри, дворы, заводские трубы. Над деревянными домишками высились каменные громады, виднелись полукруглые резервуары газового завода, скучные фасады фабрик. Далее у горизонта лежала полоса деревьев, и на солнце среди них сверкали стены церквей. Это было Волково кладбище.

Мне казалось, что все это — и певучие крики разносчиков, и заводские гудки, и торопливые свистки паровозов на ветке, соединяющей Николаевскую дорогу с Царскосельской,— имеет какое-то отношение к моему приезду... Все как будто радуется вместе со мною.

VI

Я УВЛЕКАЮСЬ ТЕХНОЛОГИЕЙ

Здание института кишело, как муравейник, хотя лекции еще не начинались.

В то время выпуск за выпуском кончали реалисты, и все это хлынуло в технические заведения. Центр тяжести студенческой жизни заметно перетягивался с Васильевского острова к Измайловскому и Семеновскому полкам. В один Технологический институт в тот год поступило на первый курс полторы тысячи человек, и вся эта масса еще до пятнадцатого августа наполнила коридоры, канцелярии, чертежные. Земляки назначали здесь первые свидания, встречались после каникул прежние товарищи, получали письма, записывали адреса, брали в канцелярии виды на жительство, занимали места в чертежных.

Студенческая толпа того времени совершенно не походила на нынешнюю. Формы не было. Костюмы были самые разнообразные, но преобладали высокие сапоги и серые или синие блузы с ременными кушаками. Блузы бывали щегольские, с расшитыми карманами, в которых утопали золотые цепочки, и их перехватывали широкие спортсменские пояса. Но большей частью это были блузы простые, покупаемые по шестьдесят или семьдесят пять копеек в Александровском рынке, подпоясанные узкими ремешками. Так как институт был в ведомстве государственных имуществ, то к этому костюму студенты прибавляли порой фуражки с зелеными околышами.

Но и без этой фуражки студента-технолога можно было узнать на улице. Общий вид этой студенческой толпы был демократический. Много длинных шевелюр, очков и пледов. Над всей этой пестротой лиц, фигур, костюмов зарисовывался как будто общий тип, и я с радостью ловил в нем странно-знакомые черты... Крепкий и грубоватый заводской рабочий, с интеллигентным лицом и «печатью мысли». Тот самый идеальный молодой

человек, какого я выдумал после чтения Шпильгагена. Герой из «Между молотом и наковальней», с высот культуры сходящий в рабочую среду... Связь двух миров, рабочий интеллигент или интеллигентный рабочий.

Я шел с Гриневецким по коридору, и глаза у меня разбегались, восторженно ловя детали этого нового мира. Гриневецкого окликнули. Ему протягивал руку высокий блондин с крупными чертами лица и с ухватками добродушного медведя; его серая блуза носила следы замытых масляных пятен. Он крепко потряс руку Гриневецкого и сказал:

— Здравствуйте... Ну что, как живется? Что делали на каникулах?

Гриневецкий слегка покраснел. Они были вместе на первом курсе. Теперь этот русый богатырь перешел уже на третий.

— Ничего...— ответил Гриневецкий и спросил, в свою очередь:— А вы?

— Я ездил на паровозе в Полесье с балластными поездами... Для практики.

— Трудно?

— Ничего. Я здоров. Сначала кочегаром, потом помощником машиниста. Интересно.

Около нас образовался кружок. Другие тоже были на разных «практиках»: простыми рабочими, табельщиками, монтерами. «Хождения в народ» с политическими целями тогда еще не было. Студентов принимали охотно, покровительствовали им, ничтожные жалованья увеличивали умеренными «наградами». Возвращались студенты с большим запасом впечатлений и с небольшими деньгами на первое время. Я жадно прислушивался к этим рассказам, от которых на меня веяло трезвою бодростью и вместе — отголосками моей мечты.

Все огромное здание казалось приспособленным к выработке именно этого интеллектуального типа, создавало его атмосферу и обстановку. На стенах таблицы с чертежами и элементами машин. Огромные винты, вычерченные по точно вычисленным кривым, рычаги, кривошипы, валы, маховые колеса, эксцентрики. Из цифр рождаются линии, из линий возникают формы. Вот они уже окрашиваются в цвета чугуна, железа и меди, облекаются своей металлической плотью, выстраиваются молчаливыми моделями... Воображение невольно бежит дальше, туда, где они грохочут на фаб-

риках, летят по рельсам. Тяжко и размеренно дышат паровики, взад и вперед движутся поршни, дребезжат зубчатки, ветер летит от маховых колес, поезда мчатся по бесконечным равнинам... И около этой стихии движутся люди — сотни тысяч, огромный неведомый рабочий народ, загадочным обликом которого заинтересована вся литература...

Все это, конечно, не в таких точных понятиях, обще и смутно, но сильно овладевало моим воображением. Огромное здание, наполненное говором и шумом, смехом и гулом разговоров, казалось мне тоже чем-то вроде интеллектуальной фабрики, вырабатывающей нового человека для новой жизни. Образ адвоката на кафедре, в черном фраке, с выразительными жестами обращающегося к судьям, как-то сразу побледнел в моих глазах по сравнению с колоритной фигурой «технолога». Почему в самом деле мне стать непременно адвокатом? Разве все, что я здесь вижу, чувствую, угадываю,— не интереснее? Разве не поэма — этот переход отвлеченной математической формулы в тяжелую машину, покорную движению человеческой воли?.. Тяжкая работа скованной металлом стихии... Власть ума над бессмысленной силой природы и... неясное, но заманчивое участие в стихийной жизни миллионной рабочей массы.

Ни «хождения в народ», ни готовых народнических программ тогда еще не было. Это стихийно носилось в воздухе, возникая из общей интеллектуальной атмосферы того поколения.

По коридорам, а затем через дворик, где дымила труба и бойко вылетали шипящие струйки белого пара, Гриневецкий провел меня в мастерские. Здесь работали студенты и простые рабочие под руководством мастеров. Студенты выбирали места и записывались, переговариваясь с знакомыми по прошлому году соседями. Пахло машинным маслом, вертелись валы, волнуясь, бежали в воздухе бесконечные ремни, легко повизгивал суппорт токарного станка. В тисках виднелись красиво выпиливаемые гайки, металлические формы, возникающие из бесформенных обрубков.

Гриневецкий и тут встретил знакомых. Пока он разговаривал с ними, я стоял в мастерской, следя за ее своеобразной жизнью. Под слитное жужжание шкивов и движение ремней мое подвижное воображение уносилось далеко от данной минуты... Еще несколько лет... Я овладею техникой, выработаюсь в такого же умного

и крепкого рабочего, как этот полесский практикант. Живу в рабочей казарме среди простых, суровых, но добрых людей. В свободные часы читаю им умные книги, говорю о науке, о каком-то, теперь еще и для меня неясном, но лучшем устройстве жизни. Все должны быть равны, все — братья... Подходит моя рабочая очередь. Я надеваю кожаную куртку и становлюсь на площадку паровоза. Перевожу рычаг. Клокочет пар, стучат и лязгают буфера, тяжело ворочаются колеса. Быстрее, быстрее. Огромный тяжкий поезд с сотнями людей, везущих куда-то свои радости и горе, свои надежды и стремления, летит навстречу буйному ветру, поглощая пространство... Гулкий свисток кричит «прочь с дороги» всему, что может быть еще там впереди... Мелькают мимо разноцветные сигнальные огоньки, столбы, мостики, будки... Деревья, точно скошенные, валятся назад, огоньки деревень вспыхивают по сторонам и проваливаются в сумеречную тьму...

Маленькая станция. Остановка. Дебаркадер, освещенный фонарями. Машинист заботливо осматривает паровоз, смотрит манометр, пробует рычаги. Публика прохаживается в ожидании звонка. К паровозу подходит нарядная дама об руку с важным господином. Это, конечно, она, пренебрегшая тихой, но глубокой любовью скромного гимназиста. С выражением праздного мимолетного интереса она заглядывает в будку паровоза... Что-то в лице загорелого человека в кожаной куртке привлекает внимание дамы, будит неясные воспоминания... Но приглядываться некогда. Звонок. Они уходят. Поезд опять ныряет в темноту ночи. Из окна первого класса задумчиво смотрит женское лицо. *Она* и не подозревает, что их жизнь, надежды, счастие — в руках этого человека в кожаной куртке, там, в голове поезда, у пышущей огнем топки паровоза. Она может спать спокойно. Машинист зорко смотрит вперед, на далекие сигнальные огни, и твердой рукой держит рычаг. Вон впереди туманное зарево. Огни... Какой-то город. Тут их дороги расходятся. Она пойдет своим широким путем, к светлым вершинам жизни. Его путь не туда... Он понесется дальше, в тьму и ненастье, все вперед и вперед, навстречу неведомой новой жизни... И светят ему там, впереди, лишь скромные огоньки убогих изб, где живут в нужде и горе простые и темные люди...

Гриневецкому пришлось сильно дернуть меня за рукав, чтобы вернуть к действительности из дальнего пу-

тешествия на паровозе. Когда мы вернулись опять в главный корпус, в одном из музеев меня поразила новая сцена. Высокий молодой человек, в черном сюртуке и золотых очках, стоял среди группы заинтересованных студентов и, держа руку на головке какого-то цилиндрического чугунного сооружения, рассказывал об его устройстве и действии. Вид у него был совершенно профессорский, и я очень удивился, узнав, что это только студент четвертого курса. Он изобрел какую-то печку с специальными техническими целями. Модель ее была изготовлена в мастерских, и вскоре предстояла демонстрация нового изобретения...

— Первый пояс,— говорил молодой ученый, глядя бесстрастным взглядом куда-то поверх голов своих слушателей,— соответствует зоне подготовления в доменной печи... Он доходит от колосников вот сюда, приблизительно до одной трети. Второй — зона восстановления. Здесь, как известно, углекислота, действуя на раскаленный уголь...

Я ничего не понимал в этой лекции, но красивая, чисто интеллигентная фигура лектора, с тонкими чертами и необыкновенно выразительными черными глазами на бледном лице, в свою очередь завладела моим воображением. В идеальном образе моего современника наскоро производились некоторые усовершенствования по новому плану. Что, если бы через несколько лет он... вот так же, как этот молодой человек с одухотворенным лицом творца-изобретателя... Но дальнейший полет фантазии наткнулся тотчас же на явную несообразность. Через несколько лет... Точнее — через четыре года... Нет, совершенно невероятно. Такие люди, очевидно, созданы из другого теста. А мы в своей гимназии над гниющими прудами учились кое-как, без одушевления, без искреннего стремления к знанию... Я опять казался себе таким маленьким и тусклым...

Уходил я в этот первый день из института с самым возвышенным представлением о студенчестве и с самым печальным о себе. У самого выхода я столкнулся с юношей моего возраста, очевидно тоже новичком. Он был моего роста, безусый и одет смешно, как и я. На нем была серая шинель, на которой гимназические пуговицы были спороты и заменены черными кожаными. Наши взгляды как-то значительно встретились. Казалось, мы оба, как в зеркале, увидели друг в друге свое отражение, и оно нам обоим не нравилось. «И этот тоже... сту-

дент!» — прочитал я собственную мысль в его недружелюбном взгляде.

«Нет, никогда, мне, кажется, не сделаться настоящим студентом»,— думал я уныло. Гриневецкий тоже как-то померк: встречи с бывшими товарищами напомнили ему о двух напрасно ушедших годах. На улице моросил тонкий пронизывающий дождик. Утром было тепло, и я вышел без пальто, в одном летнем костюме работы почтенного ровенского Шимка. Пиджачок букетиками промок и облип на мне, как тряпка. Я проклинал его. Мне вспомнились патетические слова Гейне о нанковых панталонах... «Молодой человек сидит и спокойно пьет кофе, а между тем в широком, отдаленном Китае растет и цветет его гибель. Там она прядется и ткется и, несмотря на высокую стену, находит дорогу к молодому человеку. Он принимает ее за пару нанковых панталон, беззаботно надевает и делается несчастным». Так и я беззаботно надел в Ровно этот костюм, и с тех пор все замечают прежде всего, что я смешон. Точно он сшит с заклятием: делать из своего обладателя мокрую курицу, мешать превращению жалкого ровенского гимназиста во взрослого и «типичного» петербургского студента...

В этот или один из ближайших дней мы с Гриневецким шли в Александровский рынок за какими-то покупками. Теплый дождь опять поливал нас на Первой роте, на Фонтанке, на Вознесенском. Я опять чувствовал себя мокрой курицей, когда навстречу нам попался Зубаревский. Я полюбил эту фигуру и встречал его, точно родного. Он был все в том же заношенном, рыжем пальтишке. Оно тоже обмокло и тоже облипло на плечах, а с некрасиво обвисших полей его шляпенки стекали капли дождя. Но он не замечал этого. Он весь был поглощен разговором с каким-то товарищем, и оба они шли под дождем так царственно-беззаботно, точно не было ни дождя, ни шлепающих луж, ни облипших пальтишек, ни смешных промокших шляпенок. Я радостно поздоровался с ним и некоторое время с восхищением смотрел ему вслед... Ведь вот и он плохо одет и нисколько не подходит к эстетическому типу студента, но, очевидно, совершенно свободен от угнетающего меня чувства. Почему это? Потому, что он совсем не думает о внешности, а думает о другом, о внутреннем, о важном... Значит, и мне нужно забыть о внешности

и думать только о важном, добиваться того, что составляет лучшую сущность этой новой жизни.

Около одной лавчонки или даже, кажется, лотка Гриневецкий остановился и сказал:

— Знаешь что: купи себе технологическую фуражку.

Мы купили ее за полтинник. Торговец завернул в бумагу мою мокрую шляпу, а я надел на голову фуражку с зеленым околышем. «Не надо бы и этого»,— подумал я про себя, но не устоял против соблазна: видно все-таки, что и я принадлежу к великой корпорации, а там — как кому угодно. Потом мы купили еще удобную и дешевую серую блузу, кажется, за семьдесят пять копеек. После этого я уже не помню, чтобы меня тяготил вопрос о костюме...

VII

ЛЕГКОЕ УВЛЕЧЕНИЕ В СТОРОНУ

До начала серьезных занятий приезжая молодежь целыми стадами бродила по Петербургу. Знакомились со столицей, разыскивали товарищей, причем каждая встреча за гранью привычной жизни казалась особенно интересной и значительной... Заходили во дворы-колодцы, поднимались по лестницам, врывались в меблированные комнаты, наполняя их шумом и преувеличенной развязностью новичков, подражающих опытным старожилам. Толкались по панелям освещенных улиц, завязывали случайные знакомства, кое-где нарывались на легкие скандалы и с гордостью рассказывали об этом друг другу...

Однажды громким стуком в двери запертого номера (в знаменитом доме Яковлева на Садовой), где жил товарищ Заруцкий, мы заставили открыть их. Заруцкий открыл, неодетый, немного сконфуженный и испуганный. Потом все дружно расхохотались: у ширмы, загораживавшей постель, стояла пара женских ботинок... Через четверть часа номерной подал самовар, принес булок, и вся компания, шумно переговариваясь, пила чай, который разливала наскоро одевшаяся случайная хозяйка с улицы...

Это была грязь и бесстыдство, но бесстыдство какое-то непосредственное, открытое, почти безгрешное. В нем не было еще рефлексии, оно скользило, не затрагивая

совести. Тогда не было, или почти не было, ни так называемого «полового вопроса» в литературе, ни анкет по этому вопросу среди учащейся молодежи. Взрослые по большей части говорили с юношами об этих предметах просто, как об обычных житейских делах, а некоторые учителя совершали с только что окончившими гимназистами самые рискованные экскурсии. Еще недавно этим юношам нельзя было курить. Это воспрещалось гимназическими правилами. Теперь учитель либерально протягивал юноше портсигар... Гимназическое правило исчезло. Другого в глазах «среднего мужчины» не было... И юноши спешили пользоваться свободой... Самое большее, что у нас было,— это инстинктивная стыдливость, бессознательный остаток семейных влияний...

Только впоследствии, когда в студенческую среду хлынуло так называемое «движение», оно наряду с общественной нравственностью затронуло и расшевелило смежные вопросы личной морали.

Роковой вопрос не решен, конечно, и теперь. Но он поставлен. Явился стыд, рефлексия, сомнение в праве. И это, конечно, большой шаг вперед...

. . . .

В один из ближайших вечеров целой компанией мы отправились в танцкласс господина Марцинкевича. Это почтенное учреждение, хотя под другим названием, существует, кажется, и в настоящее время на том же месте, на углу Гороховой и Фонтанки. Подъезд его, освещенный электричеством, так же торжественно обтянут полосатым тиком.

За вход брали тогда дешево, что-то около тридцати копеек, но тщательно следили, чтобы костюмы «гостей» были приличны. Впрочем, приличие понималось довольно широко. Для студентов делалось исключение. Не допускали, помнится, только высоких сапог...

Мы пришли еще сравнительно рано. По ярко освещенным залам бродили великолепные, как мне показалось, дамы, и я был очень удивлен, когда одна из них без церемонии уселась на колени к незнакомому Гриневецкому. Это была совсем еще молоденькая блондинка, с шрамом на лице, который придавал странную оригинальность ее почти детским чертам.

Манеры у нее были точно у красиво-ласковой кошечки, она слегка картавила и без церемонии звала «красавчика студента» к себе на Большую Гребецкую.

Гости начинали съезжаться, становилось шумнее. К нам подошел и, поздоровавшись с Гриневецким, уселся рядом на стуле молодой человек, одетый с небрежным изяществом. С Гриневецким он заговорил по-польски, с певучим варшавским акцентом. В те годы в Технологическом институте было много студентов-варшавян. В аудиториях то и дело перелетали звонкие польские фразы, выделявшиеся на фоне русского говора, как и «культурные» фигуры поляков на сером фоне русского студенчества. Они лучше одевались, и в их манерах сквозил особенный варшавский шик, пренебрежительный и щеголеватый. Подошедший к нам студент являлся даже несколько преувеличенным выражением этого варшавского типа. У него была ленивая походка, черные волосы с пробором à la Capoul красивыми кольцами спускались на лоб. Легкая полупрезрительная улыбка как будто застыла на губах, в уголке которых он держал большую сильно обкуренную сигару... Он тотчас заговорил с девушкой. Сам не сказав ни одного грубого слова, он очень комично вызывал ее на двусмысленности и даже не смеялся, а только поощрял ее с ласковым пренебрежением. От нечего делать он играл с нею, как с занятной кошкой или комнатной собачонкой. Но вдруг среди разговора вскинул пенсне и заинтересованно повернулся к дверям.

В зал входила новая пара. Какой-то плотный господин в штатском вел под руку молоденькую девушку. В нем можно было угадать не то крупного коммерсанта, не то видного чиновника, привыкшего властвовать и приказывать. Лысый череп, крупная нижняя челюсть, толстая красная шея, сильно нафабренные усы и выражение грубой надменности в лице придавали этой крупной банальной фигуре что-то неприятное, но вместе делали ее раздражающе заметной. Его дама была одета с бьющей в глаза роскошью. На ней было светло-розовое шелковое платье с белой меховой оторочкой кругом глубокого декольте. Прекрасное лицо полуребенка, каштановые волнистые волосы, слегка надменное выражение — все показалось мне обаятельно чистым, свежим и невинным. В груди шевельнулось что-то — смутное сходство, волнующее воспоминание. Я наклонился к Гриневецкому и сказал тихо:

— Послушай, Мирочка... Здесь, значит, бывают и порядочные женщины?

Поляк, сидевший по другую сторону Гриневецкого, поправил пенсне и комично приподнял бровь.

— Неофит? — тихо спросил он у Гриневецкого.— A to dopiero smieszny facetus z tego pana (какой смешной господин).

Но тотчас же, очень вежливо повернувшись прямо ко мне, сказал:

— Это, если вам угодно знать, Галька из Влодавы. Я знал ее еще в крулевстве. Галька, Галечка, Галина!

И, глядя в упор на подходившую к нам пару, он сказал, не повышая и не понижая голоса:

— Знаете, зачем она сюда явилась? Чтобы показать своего... вот этого... И чтобы вот такие бедняжки (он с презрительной бесцеремонностью взял за подбородок свою молоденькую собеседницу) завидовали ее шелковому платью... А? Что, неправду я говорю?..

— Ишь... фигуряет,— с нескрываемой завистью сказала девушка...

Господин сделал вид, что не слышит. Красивая головка его дамы вскинулась еще надменнее...

И они прошли дальше, привлекая общее внимание...

В этом внимании, по-видимому, было что-то особенное, вызывавшее легкое беспокойство. Господин, поворачивая назад, что-то шепнул своей даме. Она покраснела и чуть заметно кивнула головой... По-видимому, они решили уехать...

Когда они поравнялись опять с нашими стульями, студент вынул изо рта сигару, посмотрел на нее как будто с сожалением и вдруг неожиданным движением бросил перед собой, как бы не замечая проходящих. Дама испуганно вскрикнула. Мелькнув в воздухе, сигара ударилась в приподнятый веер. Горячая зола просыпалась на обнаженное плечо и за корсаж. Дама выдернула свою руку из-под руки кавалера и побежала в уборную.

Все это сделалось так быстро, что ее кавалер не сразу сообразил, в чем дело. Он оглянулся с недоумением на смеющихся кругом гостей и потом повернулся к студенту... Молодой человек сидел как ни в чем не бывало, все в той же позе, с протянутыми вперед ногами и даже заложив руки в карманы. Господин посмотрел на него с тупо-недоумелым бешенством... Мгновение казалось, что этот грузный человек обрушится на своего изящного

некрупного противника. Но вдруг он повернулся и пошел навстречу даме, которая вышла из уборной, закрывая платком заплаканное лицо. Он подал ей руку, и они прошли по залу среди наглого хохота, свиста, циничных замечаний и ругательств... В залу вбежал полный господин во фраке, сам Марцинкевич или его управляющий, и, тревожно оглядываясь, говорил:

— Господа, господа... Пожалуйста, у нас приличное заведение... Скандалов делать нельзя... Господа, прошу покорно...

С эстрады по его знаку грянул ритурнель... Танцоры кинулись приглашать дам и занимать места. Публика отхлынула к танцующим, и через минуту в зале начался бешеный, невообразимый шабаш. Наемные канканеры сразу и, вероятно, нарочно взяли самый разнузданный темп. Взлетали кверху ноги, извивались туловища, подымались кверху и веяли в воздухе юбки. Мужчины, нарумяненные женщины, красивые девушки, почти подростки, бешено кружились, налетали друг на друга с циническим хохотом. Хлестали по воздуху отвратительные взвизгивания, дрожало пламя ламп, звенели стеклянные подвески канделябр, оркестр скакал в исступленном бешенстве, подхлестывая исступленных людей. С лестницы входили полицейские, встреченные хохотом, свистками, мяуканием. Оскорбленный студентом господин шел вместе с ними, оглядываясь по сторонам и впиваясь в толпу гневно выпученными глазами. Между тем в соседней зале закипал новый скандал. Какой-то невзрачный господин, похожий на простого русского приказчика, выпивший и верткий, как обезьяна, кинул несколько медных монет в цилиндр высокого, прямого, как палка, господина, который одиноко фланировал по залам, держа цилиндр назади. Монеты громко звякнули, а когда господин резко повернулся, они покатились по полу. Для господина Марцинкевича выдался тревожный вечер. Опять смех, крики, свистки...

Мы, несколько новичков, инстинктивно собрались около Гриневецкого, который оглядывался с характерной озабоченностью в выразительно выпуклых глазах.

— Пойдем, господа... Будет огромный скандал. А этот франт, Лазовский, черт бы его побрал, сидел с нами...

Мы торопливо спустились вниз, когда наверху появилась фигура Лазовского. Там, в залах, его разыскивали, а он стоял на площадке такой же щеголеватый

и презрительно спокойный. Не торопясь, он раскуривал сигару от спички, которую ему почтительно подал официант. Закурив, он стал тихо спускаться по ступеням, между тем как швейцар торопливо снимал с вешалки его пальто.

Бесконечный дождь тихо моросил с мутного неба, закрытого мглистым заревом фонарей. К освещенному подъезду подкатывали рысаки и извозчики. Щеголеватые господа подавали руки дамам, которые, поддерживая шлейфы, соскакивали с пролеток и быстро вбегали в переднюю. Подходили студенты, мелкие чиновники, приказчики, девушки с улицы. Все поглощались освещенным вестибюлем и подымалось на лестницу в зал, где гремела музыка, чтобы заглушить и потопить разыгравшиеся скандалы.

Для меня на первое время все это было слишком сильно. В душе стояла какая-то муть. Наглая музыка. Обилие женщин. Их цинизм и открытая доступность. Вихрь канкана... Жуть смутного воспоминания, печаль о женском образе, застилаемая ядовитой мглой чувственных впечатлений,— все это еще кружилось в душе, как темный ил на дне омута... Потом всего яснее и устойчивее стал выделяться из этого хаоса образ Лазовского, с его красиво-сдержанной наглостью и спокойным цинизмом. Лицо с черными кудрями на лбу и холодным взглядом будто вырезалось среди слякотной тьмы, и предательское воображение уже пыталось накинуть на него покров идеализирующего романтизма... Конечно, это было жестоко. В моей памяти встало на мгновение молодое женское лицо, искаженное стыдом, обидой и физической болью... Но почему он сделал это? Где-то там, у себя, он встречал эту девушку. Был влюблен... Мечтал? Расстался, мечтая? И теперь встречает ее под руку с этим наглецом, русским чиновником. Вот почему он бросил сигару. Любовь, выродившаяся в гневное презрение. И как удивительно красиво он это сделал! Без преднамеренности, без приготовления, без размышления. Мысль как молния, и движение как молния. И что за самообладание, когда этот сильный человек повернулся к нему. Ни одного жеста, ни движения бровью. Спокойная внутренняя сила, не нуждающаяся во внешнем проявлении. Почему этот человек его не ударил? Легко мог ударить, смять, исковеркать. Но студент был уверен, что не ударит, и этой уверенностью окружил себя, точно магическим кругом...

И... нужно признаться. Это было недолго, но все же было, воображением моего современника овладел на время образ танцклассного Мефистофеля, с такой красивой небрежностью устраивающего скандалы. Разумеется, не просто скандалы, а скандалы с романической или тенденциозной подкладкой...

Мой современник стоял на раздорожье с воображением, богатым от природы и развитым преждевременным чтением. Никто еще, кажется, не обращал достаточно внимания на это влияние литературы. Своей критикой и своими летучими образами она разрушает в поколениях душевную цельность, созданную в данных условиях. И, лишенные старой цельности, молодые души ищут другой, новой, стремятся сложиться по новому, еще только угадываемому будущему типу. А в это время молодая душа легко порывается вслед за всякой поражающей ее чужой непосредственностью и силой...

Впрочем, это маленькое отвлечение в сторону было не особенно опасно. Оно держалось на расстоянии от Семеновского моста до Малого Царскосельского проспекта. На чердачке номер 12 оно погасло. Мой современник не горд. Он не приписывает этого ни своей добродетели, ни твердости нравственных правил. Обстоятельства, в которых он начинал свою столичную жизнь, уже сами по себе были неблагоприятны для мелькнувшего перед ним «типа». И среди них, кто знает, не следует ли поставить на первом плане не раз уже упомянутое искусство ровенского портного. Чем-чем, а психологией танцклассного Чайльд-Гарольда очень трудно было проникнуться, чувствуя себя в костюме такого замечательного покроя...

VIII

ЧЕРДАК № 12, ЕГО ХОЗЯЕВА И ЖИЛЬЦЫ

Впоследствии, когда розовый туман, застилавший мои глупые глаза, рассеялся, сменившись ощущением разочарования и безвкусицы, несколько прочных симпатичных образов все-таки остались в памяти от этого года. В числе их я храню благодарное воспоминание о нашей мансарде вообще и об ее хозяевах: Федоре Максимовиче и Мавре Максимовне Цывенках в частности.

Он был типичный николаевский солдат с характерными николаевскими усами, переходившими у самых ушей в бакены. Когда, собираясь на ежедневную службу в «ланбарт» на Казанской, он надевал свой долгополый мундир с тугим воротником, то лицо его краснело, а усы щетинились необыкновенно сердито, даже грозно. Но это впечатление было обманчиво. В сущности, это был молчаливый добряк, совершенно подчинившийся своей супруге.

Мавра Максимовна была «из шпитонок». В раннем детстве, из воспитательного дома она была отдана в финскую деревню, в которой и усвоила на всю жизнь характерный русско-финский жаргон. Федор Максимович у нее каждый день уходил*а* в должность, а кошка лака*л* молоко и выскакива*л* на крышу. Это придавало ее речи наивно-детский оттенок, да и вся она была похожа на толстого, крупного ребенка. Человек служивый и пенсионер, Федор Максимович, будучи уже в почтенном возрасте, взял безродную сиротку «за красоту», и жизнь их текла необыкновенно мирно. Он называл ее не иначе как Мавра Максимовна, и обращался на *вы*, а она звала его попросту Цывенко или «мой Цывенко» и говорила ему *ты*. Он с утра наряжался, принимал строгий вид и уходил на службу, а она приступала к стряпне. Стряпня, впрочем, не занимала много времени: Мавра Максимовна раза два в неделю варила в большом горшке кусок мяса с костью, и этот навар служил на несколько дней, превращаясь то в щи, то в суп, то в лапшовник. От него в квартире стоял густой характерный запах капусты и свечного сала. Затем в маленькой комнатке хозяев начинала стучать машинка. И стучала долго, ровно, с короткими перерывами, в течение целых часов. Это Мавра Максимовна прирабатывала вдобавок к пенсии и жалованью мужа шитьем больничных балахонов по 6 копеек за штуку. В середине дня по всей квартире разносился запах цикорного кофе; заходила какая-нибудь соседка, чтобы за чашкой сообщить последние новости нашей лестницы. Потом опять начинался стук машинки. Часов в шесть Мавра Максимовна откладывала работу и собирала обед в той же комнате. Когда раздавался звонок, ее круглое лицо озарялось такой радостью, точно ее Цывенко возвращался из опасного далекого путешествия. Они обедали, отдыхали полчаса за пологом, а потом садились за работу уже вместе. Она продолжала сметывать балахоны,

а он, вооружив вздернутый кверху нос роговыми очками, ковырял толстой иглой штаны из необыкновенно грубого богаделенного сукна... Потом пили чай и играли в дурачки. В это только время мы и слышали иногда голос Цывенка: это бывало какое-то радостное курлыкание, когда ему удавалось выиграть. Но он больше проигрывал, и потому чаще слышались звонкие, наивно-радостные восклицания Мавры Максимовны. Мы смеялись, что Цывенко все еще влюблен в свою моложавую толстуху. Фактически он подчинялся ей вполне и беспрекословно, как послушный ребенок, но она с бессознательным женским лукавством делала вид, что он ее грозный повелитель и что она его боится.

— Вот, ужо... как прикажет мой Цывенко,— говаривала она совершенно серьезно...

Детей у них не было, и это являлось постоянным источником общей их печали. Неизрасходованный запас материнства светился на лице Мавры Максимовны трогательным выражением жалости и грусти. Она изливала его на мужа, на кота Ваську и даже на нас, ее случайных жильцов. Порой у Мавры Максимовны бывали заплаканы глаза, а у Федора Максимовича сдвигались необыкновенно длинные и густые брови. Мы знали, что это значит: мы долго не платим денег за квартиру, и супруг-повелитель находил, что нам надо бы отказать. Зато когда при первой возможности мы уплачивали все или хоть часть долга, лицо Мавры Максимовны озарялось гордым торжеством, а Цывенко несколько дней сконфуженно и виновато косил глаза.

Ход в нашу комнату был через кухню и маленькую спаленку хозяев, служившую и столовой, и мастерской, и гостиной. Ложились они рано, а мы часто приходили и уходили поздно. На звонок подымался Федор Максимович. Кажется, даже не давая себе труда проснуться, он отодвигал задвижку входных дверей и ложился опять. Пробравшись через темную и тесно заставленную кухонку, мы проходили затем мимо спящих супругов. У большого киота теплилась лампадка, кидая свет на широкое супружеское ложе, задернутое занавеской, так что были видны только головы. С краю виднелось щетинистое лицо Цывенка, дальше улыбалось во сне круглое, как луна, лицо Мавры Максимовны... И мне всегда казалось, что это действительно лежат два ребенка, чистые сердцем и совершенно чуждые шумно-грохочущей и сложной жизни большого города.

Иной раз входная дверь в кухонку при открывании оказывала некоторое сопротивление. Приходилось открывать ее с усилием и постепенно, чтобы не нанести увечья еще одному жильцу Цывенков. Это был «художник» Кузьма Иванович, тоже из «шпитонцев», существо очень жалкое, тщедушное, с разбитой грудью и слезящимися глазами. Он жил, собственно, на большом сундуке, помещавшемся между печкой и дверью, и иногда раскидавшись, упирался ногами в дверь. На сундуке он ночью спал, а днем устраивал мастерскую. Работа его состояла в раскрашивании ламповых абажуров. Для этого он разводил на блюдечке акварельные краски, брал левой рукой абажур и механически поворачивал его около оси. А правая рука так же механически кидала в разных местах мазки кисти. Так он последовательно брал на кисть розовую, красную, потом зеленую и коричневую краски, и в несколько оборотов на абажуре из беспорядочных пятен образовывался красивый веночек. Кузьма Иванович отодвигал абажур, смотрел на него слезящимися слабеющими глазами, и на его желтом лице мелькало мгновенное выражение художественного удовлетворения... Затем он брал другой абажур и задумывался: какой теперь пустить колер и какие вывести цветы — опять розу или пустить незабудочек с фиалкой...

Когда я порой следил за его работой и удивлялся ее быстроте и точности, на лице Кузьмы Ивановича являлась улыбка тихого довольства.

— Нет... что же-с, помилуйте,— говорил он скромно,— так ли еще мы работали-с?.. Глаза слабеют-с. Слеза бьет.

Он был тоже из «шпитонцев», и Мавре Максимовне приходился «молочным братом», а такое братство у этого своеобразного петербургского сословия заменяет всякие иные степени родства. Жилец он, конечно, был не особенно выгодный, и его держали именно «по-родственному». Считалось, что он платит только «за угол», но Мавра Максимовна понемногу прикармливала его, как будто тайно от Цывенка. Последний делал вид, что этого не замечает.

Иной раз в праздник Цывенки устраивали игру «в короли», в которой порой участвовал я или Васька Веселитский. Приглашали также и Кузьму Ивановича. Он покорно выползал из своего угла с видом человека, стыдящегося собственного существования, запахивался,

извинялся, брал дрожащими руками карты. Но игра, видимо, доставляла ему только страдание. Особенно когда ему начинало везти... Однажды, сделавшись «королем», он сконфузился так сильно и мучительно, что Мавра Максимовна его пожалела:

— Эх ты, бедовая... Ну иди, иди, бог с тобой: король! Пропустите его, Каролин Иванович. Видишь: стыдится она.

Каролином Ивановичем добрая женщина прозвала меня после напрасных попыток заучить мое трудное имя и отчество... Я посторонился, и злополучный «король» проскользнул в свой уголок...

— А какой человек была!— с бесцеремонной жалостью произнесла Мавра Максимовна.— Все водочка-матушка... Все он, проклятый... Ну давайте теперь в свои козыри... Никуда ты, Кузя, не годишься. Даже в карты играть.

Мне этот бедняга казался интересным. От него веяло Достоевским. Мне казалось, что если бы Кузьму Ивановича вызвать на откровенность, то он мог бы рассказать что-то глубоко печальное и значительное. Но он сообщал только отрывочные сведения, лишенные всякой связи и значения...

— А у нас,— говорил он, поворачивая в руках абажур,— на такой-то мануфактуре мастер был... Так у него, позвольте сказать, нос был красный... Вот до какой степени: кармин с баканом-с... Ей-богу, не вру-с... хе-хе-хе... с добавлением берлинской лазури...

Он начинал тихо смеяться, но даже смеяться не умел. Смех переходил в хрипоту и кашель...

— Эх, Кузя, Кузя,— говорила иногда Мавра Максимовна,— где пропадал три дня?

— На Петербургской стороне-с,— покорно отвечал Кузя, откашлявшись.

— В части небось ночевал?

— В части-с, Мавра Максимовна. На другой день отпустили-с... Меня потому что знают-с...

Однажды, придя с лекций, я застал Кузьму Ивановича в необычном настроении. Он был «выпивши», держался развязно и с каким-то особенным самодовольством. Говорил много, не кашляя и не запахивая сюртучишка, хвастая своими талантами и успехами. Цывенка снисходительно хлопал по плечу, но не скрывал от него, что он «Мавруше не пара». Около Мавры Максимовны ходил петушком, подбоченясь и многозначительно под-

мигивая. Цывенко немного хмурился, но не говорил ничего. Мавра Максимовна покатывалась от смеха...

Вечером того же дня я возвращался от Сучкова. Было темно и ненастно. Фонари стояли в мглистых нимбах, лужи шевелились на свету, как живые, от капель дождя. Самой серединой нашей улицы шел пьяный человек, пел какую-то финскую песню... Я узнал в нем нашего Кузьму Ивановича...

Сзади послышался грохот колес. Кучер рявкнул «берегись», но пьяненький Кузьма Иванович только откачнулся и, став в позу, громко на всю улицу продекламировал:

Дур-рак едет на скотине —
Умница пешком идет...

«Дурак, ехавший на скотине», тотчас соскочил с пролетки и, схватив художника за шиворот, крикнул городового. Напрасно я и еще какой-то проходивший студент просили этого господина отпустить беднягу, указывая, что ведь он пьян и не знал, кого оскорбляет. Господин не отвечал, даже не глядел на нас. От часовенки бежал, придерживая саблю, полицейский, явились два дворника.

Господин дал свою карточку (при виде которой полицейский вытянулся, точно в столбняке) и сел на лихача. Скоро грохот колес затих в конце переулка, а Кузьму Ивановича повлекли, несмотря на наше заступничество, в участок.

С этих пор художника мы уже более не видели... Мавра Максимовна плакала и посылала Цывенка за справками... После многих хлопот и вечерних хождений по разным местам Цывенко принес печальное известие: художник от неизвестной причины в участке умер и уже похоронен в безыменной могиле на Волковом...

— Били его, верно, не иначе,— всхлипывая, говорила Мавра Максимовна,— они ведь, полицейские, известно, дураки... непонимающие... А ему, Кузе, много ли и надо. Слабая была... чисто цыпленок...

И она по-детски утирала слезы оборотными сторонами своих пухлых рук... Цывенко снес в магазин несколько оставшихся абажуров, и на полученные деньги супруги заказали панихиду в соседней церкви Мирония на Обводном.

«Угол» опустел. Но тень художника, казалось, еще некоторое время витала в квартирке, и по вечерам я так

же осторожно открывал дверь, чтобы не задеть Кузьму Ивановича на его сундуке... К моим воспоминаниям о нем присоединялось что-то вроде угрызений совести... Я не сделал чего-то, что нужно было сделать. Перебирая с Веселитским весь этот эпизод, мы пришли к заключению, что ничего я сделать не мог. Но что-то все-таки оставалось... Чего-то хотелось задним числом. В воображении рисовалась кучка молодежи, вроде тех киевских студентов, громивших полицию, о которых ходили легендарные рассказы еще у нас, в гимназии. Хотелось силы... Свистки, тревога, свалка, заступничество, победа... И в этом опять участвует знакомая фигура моего современника, усовершенствованная еще в новом жанре...

Была в нашей квартирке, кроме злополучного художника, и еще одна тень, принимавшая для меня живые, почти ощутительные формы. Года за два до нас половину нашей комнаты за перегородкой занимал какой-то рабочий. От него Цывенкам осталась клетка с канарейкой. Канарейка у них издохла, а клетка висела над окном, и каждый раз, когда Мавра Максимовна замечала ее, она сообщала что-нибудь о бывшем жильце...

— Чюдачок тоже была,— говорила она с тихой улыбкой, как и при воспоминании о Кузе.— Ну, не пьяница. Нет. Капли в рот не брала... И не буянила она, как покойник Кузя, царство небесное... Только и знала: придет с работы, сейчас кинареечку кормить... Клеточку чистить...— И вот чюдное дело, Каролин Иваныч, как эта кинареечка его знал: свистнет он, дверку откроет, она ему на плечо... Чивик, чивик... Через книжки пропала она...

— Как через книжки, Мавра Максимовна?

— Книжки много читал.

— Так что же. С ума, что ли, сошел?

— Не-ет... Глупый я баба. Не умею рассказать тебе. Цывенко у меня умный, на войне была... А тоже этого дела не понимает: за что пропала наш Павла Карпович... А только верно, что за книжки.

— Почему же вы так думаете, Мавра Максимовна? Ведь вот и у нас книжки.

— То у вас. Ваша служба такой. Вы студенты. А его служба: работал бы на заводе, жалование хорошее получал... Пришел домой, выспался... Как другие из ихнего брата. Ну, правда: пьют они, заводские все, шибко. Ругаются, дерутся...

— Вот видите. Разве это лучше книжек?

— Поди ты... Да... Читала все... Товарищей таких же нашел. Придут, начнут читать. Потом спорить, кричать... «Что вы, я им говорю, кричите все вдруг? Нехорошо это. Еще драка выйдет...» Смеются... «Не выйдет у нас драка... Мы это об том, чтобы всем жить в согласии... И чтобы, говорит, не было богатых и бедных. Всех, говорит, надо поравнять...» — «Эко! я ей говорю: умные вы. Как же вы поравняете? Это вот у моего Цывенка есть шуба хорошая. В ланбарте по случаю куплена, а все три красных отдана. Легкое дело! А у тебя вон пальтишка, ветром подбитая. Ты у моего Цывенка шубу-то и отнимешь?..» — «Зачем, говорит, отнимать, когда у всех шубы будут... Кому надо — бери...» — «Откуль возьмете вы?» — «На казенный счет, говорит...» — «Да вы, я говорю, сейчас все растащите...»

Она заливается таким веселым смехом, что на щеках у нее проступают ямки и все грузное тело ходит ходуном...

— Ну а он что же? — спрашиваю я, глубоко заинтересованный простодушным рассказом.

— Да что ж она... Ничего не понимает, как все одно ребенок... «Когда все будет обчее, говорит, никто воровать не станет. Зачем свое воровать?..» Вот видишь ты: свое! А откуль оно свое-то возьмется у вас?.. Читала, читала и дочитался...

Она понижает голос и говорит с выражением наивного испуга:

— Взяли его на заводе... Домой зайти не дозволили. Пришли сюда, на квартиру. Испугался я до смерти. Цывенко на службу ушла. Одна я... Рылись, рылись, все в книжки смотрели... Одежа, брюки, сапоги двое — это им не надо, а все книжки смотрел... Так и не видели мы больше нашего Павлушу. Посылала я Цывенку своего: поди, Цывенко, опроси... Потом уж сама не рада...

— Что же — сказали?

— Что вы, говорят, господин Цывенко... верный слуга, а об таких людях интересуетесь... Такого человека надо в каменный столб замуровать, раз в неделю спрашивать: живой ли еще... Вот, Каролин Иванович, за книжки-то что бывает...

Этот простодушный рассказ произвел на меня яркое впечатление. Я, конечно, знал кое-что об учениях утопистов, но отрывочно и неточно. Формулы Фурье и Сен-Симона были только формулы, которые я путал в памя-

ти. Но вот здесь, в этой самой комнате, жил простой рабочий, который обсуждал эти же вопросы с такими же простыми рабочими. Значит, это не в одних книжках.

Мавра Максимовна смеется по глупости, а в сущности, неведомый рабочий-философ прав. Это так просто: если бы сделать все богатства общими, конечно, никто бы воровать не стал... И эти вопросы обсуждаются уже даже в среде рабочих...

Я, конечно, не верил, что его замуровали живьем... Сослали куда-нибудь... Ну что ж... Где-нибудь в ссылке он, может быть, в эту самую минуту обсуждает те же вопросы... Как жаль, что я не застал его здесь...

Но — все это еще впереди, и мне предстоит еще много подобных встреч... Ведь я — в Петербурге!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Студенческие годы

I

БОГЕМА

Читатель уже, вероятно, заметил из предыдущего, что мой современник был особенно восприимчив к воздействию литературных мотивов и типов. Жизнь маленького городишка, будничная, однообразная, не подходившая под литературные категории, казалась ему чем-то случайным, «не настоящим». Зато все имевшее отношение к миру, освещаемому литературой, облекалось в его глазах несколько фантастическим и потому заманчивым светом.

Розовый туман продолжал заволакивать мои первые петербургские впечатления. Мне здесь нравилось все — даже петербургское небо, потому что я заранее знал его по описаниям, даже скучные кирпичные стены, загораживавшие это небо, потому что они были знакомы по Достоевскому... Мне нравилась даже необеспеченность и перспектива голода... Это ведь тоже встречается в описаниях студенческой жизни, а я глядел на жизнь сквозь призму литературы.

Читатель помнит, вероятно, эффектную фигуру Теодора Негри, артиста-декламатора, который на пути к Петербургу сумел отчеканить фразу: «Что делают?.. грра-бят!» — так выразительно и сильно, что кошелек моего современника сразу значительно облегчился в его пользу. Этот эпизод явился как бы некоторым предзнаменованием: реальная жизнь по-своему отвечала на мои литературные представления о ней, и мне, конечно, предстояли разочарования...

Наша маленькая компания, поселившаяся в мансарде № 4 по Малому Царскосельскому проспекту, составилась окончательно из трех человек: я, Гриневецкий и Веселитский. Прежний их сожитель, Никулин, счел более благоразумным от нас отделиться, продолжая, впрочем, часто посещать наш чердачок, а мы

втроем составили нечто вроде дружеской артели «нищих студентов».

В отношении занятий вначале мы с Гриневецким были одушевлены самыми лучшими намерениями и усердно посещали лекции. Во мне что-то дрогнуло, когда на кафедре перед огромной затихшей аудиторией, среди которой затерялась и моя скромная фигура, появился в первый раз человек в черном сюртуке. «Профессор, профессор...» Это был Макаров, читавший начертательную геометрию. Небольшая сухощавая фигура, с тонким нервным лицом и сосредоточенным взглядом. Читал он стоя, к доске подходил лишь в случаях, когда требовался более или менее сложный чертеж. По большей части он довольствовался движением рук в пространстве. Большим и указательным пальцем левой руки он держал как бы крепко зажатую «математическую точку», а правой проводил от нее мысленные линии, проектируя их на воображаемые плоскости. О нем говорили, будто он вымерил циркулем фигуру своей жены и «по эпюрам» скроил ей бальное платье, которое первые петербургские портные признали образцовым произведением. Этот анекдот меня заинтересовал. Если, думал я, посредством этих проекций и вычислений можно воссоздать такую тонкую вещь, как изящная фигура прекрасной женщины, то, очевидно, математические науки не так уж сухи и отвлеченны, как казались мне в гимназии, и я жадно следил за тонкими пальцами Макарова и за полетами воображаемой точки. Казалось, я вижу в воздухе даже ее следы, как тончайшие паутинки...

Уже из этого читатель может заключить, что «технология» не была моим призванием. Чистая математика давалась мне с трудом, и мне приходилось принуждать себя к вниманию. Зато с истинным увлечением я посещал чертежную... Здесь, рядом со мною, на том же столе положил свою доску юноша в сером пальто с черными пуговицами, которого я сразу невзлюбил за то, что он показался мне моим собственным отражением — такой же волосатый, и такой же, казалось мне, малоинтересный. Обнаружилась еще одна черта сходства; оба мы чертили усердно, быстро и красиво, и к обоим с одинаковым удовольствием подходил благообразный седой преподаватель черчения.

Как бы то ни было, пока все нравилось мне и в институте, и на нашем чердаке, и я долго мирился даже

с голоданием. День мы с Гриневецким начинали лекциями, добросовестно следя и записывая. На второй и третьей перемене мы сходили в швейцарскую, куда к этому времени приносили почту. Мелькала слабая надежда: нет ли кому повестки? Но швейцар, толстый и равнодушный, произносил неизменно:

— Вам, господин Гриневецкий, ничего... И вам тоже-с...

— Может, Веселитскому?

— Тоже ничего-с.

Гриневецкий вздыхал, шел в раздевальную и с задумчивым видом натягивал пальто. Забота о дневном пропитании как-то просто, точно по уговору, легла на его плечи. У него были обширные знакомства в известной части студенчества. Все это был народ несколько беспечный относительно науки и собственного будущего, сменявший хронические голодовки широким размахом хоть раз в месяц, при получении из дому денег. Многих из этих «отличных малых» не знали в лицо институтские швейцары, но зато любой маркер в пределах Семеновского и Измайловского полков мог дать точнейшие сведения, кто из них, где и с кем кутит в данное время.

— Господин Симанский сыграли у нас двенадцать партий, пили пиво, разорвали сукно... Ныне они при деньгах... Отправились отсюда в «Белую лебедь» с компанией...

Гриневецкий меланхолически шагал в «Белую лебедь», где его появление встречалось шумным восторгом. Его обнимали, угощали пивом, которого он не любил, и предлагали сыграть партию на бильярде. Он отвечал на приветствия, обменивался остротами, ходил вокруг бильярда с длинным кием на плече и высматривал своими красивыми глазами навыкате, какого шара следует уложить в среднюю или угол. Высокий, красивый, с беспечно заломленной технологической фуражкой, он имел вид беззаботного бурша. Но мысль о товарищах, голодающих в мансарде на Малом Царскосельском проспекте, ни на минуту не покидала его. Какие бы заманчивые перспективы ни предлагали ему в кутящей компании, он все отклонял самым решительным образом, брал взаймы два-три двугривенных и усталыми длинными ногами шагал на наш чердачок, где в сумерках мы с Веселитским томились в голодном ожидании. Мы уже знали его звонок. Он входил в комнату,

снимал плед и молча кидал на стол монету. Лицо у него было усталое и недовольное: еще ушел бестолковый день, еще пропало несколько лекций, а «новая жизнь», которую он должен непременно начать, отодвигалась вдаль. Болели ноги от ходьбы по трактирам и кружения вокруг бильярда. Выпито несколько стаканов пива, но голоден он был так же, как и мы.

Я весело вскакивал с кровати, накидывал плед и бежал в знакомую колбасную на Клинском проспекте.

Здесь, уже не спрашивая, мне отвешивали какой-то сомнительной колбасы с чесноком на четырнадцать копеек. Мы подозревали, что она делается из конины и потому дешевле всех остальных сортов. Но это нас не смущало. На шесть копеек я брал в соседней пекарне четыре фунта самого черного кислого хлеба. Это был наш обычный обед. Если что оставалось от Мирочкиной добычи, то на остаток мы покупали щепотку скверного лавочного чаю с запахом веника и четвертку сахара, который употребляли, конечно, вприкуску. Если перепадал случайный заработок в виде, например, переписки лекций и у нас заводилось несколько рублей, режим все-таки не менялся. Отдавали два-три рубля за квартиру, остальное уходило на товарищескую взаимность. Кто-нибудь из недавних кредиторов Гриневецкого забегал на наш чердачок, озабоченно оглядывался и говорил:

— Здравствуйте, господа. А где же Гриневецкий? Нету? А, черт возьми! Понимаете: второй день не обедаю... Ну, прощайте.

И у Мирочки к повседневной заботе о нашей маленькой артели присоединялась новая забота: он принимал экстренные меры, пускал в ход порой самые неожиданные финансовые комбинации, приводил недавних богачей к себе, поил лавочным чаем, кормил четырнадцатикопеечной колбасой и порой даже, для утешения в горестях, ухитрялся еще свести бедствующих в «Белую лебедь». Это был небольшой деревянный трактирчик в соседнем с нами безымянном переулке — заведение самого скромного вида, с измызганными обоями, насквозь пропахшее пивом. Один бильярд помещался в мезонине. Сукно его, многократно разорванное и тщательно заштопанное, придавало ему вид уважающей себя «опрятной бедности».

Все это вначале казалось мне интересным: походило на жизнь «студенческой богемы»... Но... нас начинало

втягивать и кружить особое течение студенческой жизни. В этой добродушной компании всегда легче было «сыграть партию» и выпить пива, чем пообедать или достать лекции. Про каждого из участников с одинаковым правом можно было сказать, что его «увлекают дурные товарищи». Иванов радостно врывался к Сидорову как раз в такую минуту, когда тот с серьезными намерениями раскрывал записки по механике или химии. Оказывалось, что «старики» прислали наконец Иванову деньги и потому вполне своевременно идти в «Золотой якорь». В свою очередь, Сидоров звал туда же Иванова как раз в ту минуту, когда тот решился «начать новую жизнь». Никто тут друг с другом строго не считался, угощал тот, кто в данную минуту был при деньгах... Это был истинный коммунизм веселого безделья.

В конце концов, кто находил силы, тот после года или двух с ужасом вырывался из этого заколдованного круга, переезжал в другую часть города, переводился в другое заведение. За иными приезжали из провинции родители и увозили сынков в Москву, Киев или Варшаву, только бы подальше от «Золотого якоря», «Белой лебеди» и превосходных товарищей. Кто не находил для этого силы или у кого не было провидения в виде заботливых родителей, тот кружился до конца, порой очень печального...

Неудобства этого строя жизни я стал чувствовать лишь постепенно. Нужно было время, чтобы розовый туман рассеялся... А когда это случилось, печальная истина выступила ясно: год был потерян...

II

МОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ ДРУГ

Но пока все эти разочарования были еще впереди, а сейчас ново и прекрасно в моей жизни было то, что я студент, хотя и не «настоящий»... В моем воображении роились неясные образы... Среди них, понятно, первое место занимал идеальный образ «настоящего студента»... Я жадно вглядывался в кипучую молодую среду.

В первом томе я уже говорил о близком моем товарище Сучкове... Он уехал в Петербург годом раньше меня, и я ждал, что этот год произведет в нем огромную

перемену... Но этого не оказалось... Он был тот же добрый малый, которого я просто любил с детства. Гриневецкий был старше нас обоих и в Петербурге жил уже третий год. С своей эффектной наружностью и пледом он показался мне сначала настоящим буршем. Скоро, однако, я разглядел в нем знакомые черты нашего «ровенца» и тоже привязался к нему, но без иллюзий, попросту, так сказать, «на равной ноге».

Еще меньше импонировал мне Ардалион Никулин... Он держал себя важно и считал себя знатоком философии, но все движение человеческой мысли представлялось ему в довольно своеобразном виде. Каждый последующий мыслитель заушал и ниспровергал всех предыдущих, и в этом своеобразном спорте для Ардалиона заключалась вся история философии и литературы... Я как-то упомянул о Белинском, Ардалион только фыркнул... Что такое Белинский? Он преклонялся перед Пушкиным. Но Писарев вот как разделал Пушкина... По башке, и к черту (он говорил «пы башке»). Этим самым он ниспроверг и Белинского. Долгое время Ардалион считал величайшим философом Куно Фишера. Но настал день, когда он принес в нашу мансарду поразительное известие: явился новый мыслитель, немец Иоганн Шерр, написавший «Комедию всемирной истории».

— Понимаете, все эти основатели религий, реформаторы, благодетели человечества, революционеры, ученые, философы... Все, понимаете,— комедианты, больше ничего...

— А как же Куно Фишер? — спросил кто-то лукаво...

— Да что там!.. Самого Куно Фишера пы башке!..

И он сделал выразительный жест.

Из всей нашей ближайшей компании один Василий Иванович Веселитский продолжал занимать мое воображение. Все в нем мне нравилось и импонировало: длинные волосы, острая бородка, обрамлявшая полные щеки, чуть заметная улыбка превосходства, подергивавшая под тонкими усами красивые полные губы, и особенно молчаливая сдержанность, полная, как мне казалось, особенно глубокого смысла. Я уже говорил, как он сосредоточенно и углубленно штудировал статистическую часть календаря Гоппе параллельно с уложением о наказаниях. Однажды, в первый месяц нашего сожительства, возвратившись домой, мы с Гриневец-

ким и Никулиным застали Веселитского склонившимся над книгой. Сквозь опустившиеся густые волосы проходил дым папиросы, но Василий Иванович был так погружен в чтение, что не слышал, как мы вошли... Будь я художник, я непременно попытался бы взять эту великолепную фигуру моделью для картины «Занимающийся студент». Но Ардалион прыснул, ударил себя об полу и сказал с сиплым смехом:

— Васька!.. Да ведь он, братцы, ей-богу, дрыхнет... И папиросу не потушил... Васька, сгоришь, смотри!..

Веселитский поднял голову, посмотрел на него с видом презрительного спокойствия, а я решил, что Ардалион просто циник, не способный понять Веселитского...

И я немного гордился, что я-то его понимаю.

Петербургские сумерки... Мелкий дождик или туман с моря застилает куполы церквей, расползается по улицам, поглощая тусклые огоньки фонарей. Я быстро бегу из института или из Публичной библиотеки, куда устал усердно ходить с некоторых пор, совершенно забываясь под шипение газа и шелест переворачиваемых страниц... Когда закрывали библиотеку, я отправлялся домой, меряя быстрыми шагами Садовую, Обуховский и Царскосельский. Вагон конно-железной дороги или дребезжащая щапинская каретка были для нас недоступной роскошью. Шел я быстро и одним духом взлетал по грязной и вонючей лестнице... Дверь, обитая черной клеенкой. Тусклый фонарик освещает медную дощечку с надписью «Федор Максимович Цывенко». Я дома. В нашей комнате темно, Мирочки нет. Веселитский из экономии не зажигает огня. В темной комнате стоит тихий рокот гитары и светятся два кошачьих глаза. Кот Мавры Максимовны очень любит музыку. Веселитский наигрывает персидский марш, арию из «Травиаты», какую-нибудь заунывную волжскую песню. Из-за стены несется приглушенный говор и пьяное пение. В соседней квартире поселился недавно студент-костромич Ванька Рогов, товарищ Веселитского. Он интересен тем, что состоит корректором типографии «Русского мира», газеты Комарова и Черняева. Однажды, зайдя к нему, я увидел тайну изготовления книги: Ванька Рогов, рябой, в красной косоворотке и очках, над корректурным листом, казался мне чуть не Гутенбергом. Каждые две недели, в дни получения жалованья, у него происходили пирушки — шум, крики, пьяные песни. Однажды Веселитский вернулся оттуда несколько по-

мятый. Заметив мой вопросительный и удивленный взгляд, он улыбнулся и сказал:

— Пропадают ребята... Обратился с словом убеждения.— Он опять улыбнулся и махнул рукой.— Куда тут!.. Чуть шею не накостыляли... Главное дело, Пашку мне жалко, Горицкого... Звезда нашей семинарии... Гениальная, брат, голова пропадает...

Он ложился рядом со мной на постели и начинал рассказывать о нравах духовной среды, о гибнущих силах... Я слушал с затаенным дыханием: все это для меня ново, и все из литературы — отголоски «Бурсы». Печаль Васьки о Пашке Горицком еще глубже привязывает меня к моему сожителю и другу.

III

ДЕВИЦА НАСТЯ.— ИДЕАЛЬНЫЙ ДРУГ ПАДАЕТ С ПЬЕДЕСТАЛА

На третий, кажется, месяц Василий Иванович разбогател. Ему прислали, во-первых, совершенно новую черную пару, сшитую костромским портным, и несколько пар белья, а через несколько дней толстый швейцар Технологического института с благосклонной улыбкой подал Гриневецкому повестку:

— Василию Ивановичу Веселитскому. Возьмете?

Лицо Мирочки просияло — повестка была на семьдесят пять рублей, целое богатство! Наша мансарда точно просветлела. В последнее время Мавра Максимовна часто плакала. Мы задолжали за квартиру, и между супругами происходила драма: Цывенко опять настаивал на строгих мерах, а доброй женщине было жалко прогонять нашу бедствующую компанию. Теперь Василий Иванович стал сразу героем дня. Узнав об этом, Ардалион фыркнул по-своему и сказал:

— Ну, братцы, теперь смотрите... Идите кто-нибудь с ним в почтамт... А то стреканет к приятелю на Бронницкую — только его и видели. Я его знаю...

Веселитский ответил молчаливо-презрительным взглядом, а во мне закипело прямо негодование. На следующее утро, когда Гриневецкий заговорил об этом предостережении Никулина, я восстал против недоверия к товарищу с таким негодованием, что Мирочка, хотя и с колебанием, уступил. Василий Иванович, тор-

жественно облачившись в новую черную пару, отправился в почтамт один, унося с собой наше доверие и наши надежды. Мирочка ушел в институт, а я на этот раз остался дома за чтением Флеровского, принесенного мне Зубаревским.

Я просидел, таким образом, часа полтора, когда раздался звонок. Но вместо Василия Ивановича Мавра Максимовна впустила в комнату незнакомую мне особу женского пола. Это была девушка лет около тридцати, с очень живыми черными глазами и заметными усиками. Одета она была с некоторым щегольством профессиональной модистки, и манеры у нее были очень бойкие. Оглядев комнату, она сказала:

— Что? Еще не пришел?

— Кого вам угодно? — спросил я, сразу сконфузившись.

Она сняла шляпу, положила ее на стол, заперла нашу дверь перед самым носом заинтересованной Мавры Максимовны и уселась бесцеремонно на стул.

— Мне Василия Ивановича... Я подожду...

В нашей комнате наступило молчание. Я старался читать, но это удавалось мне плохо. Все время я чувствовал на себе взгляд черных бойких глаз незнакомки. Самая тишина комнаты меня томила. Тикали часы, из кухни несся стук горшков и возня хозяйки.

— Ах ты господи, тоска какая,— сказала вдруг незнакомка. Я густо покраснел. Я почувствовал в этом восклицании упрек: если бы я был «настоящим студентом», а не мальчиком, то сумел бы занять гостью, и нам обоим было бы интересно... Но я не знал, что сказать, и краска заливала мое лицо.

Вдруг девушка поднялась, прошла легкими шагами через комнату, и я ощутил с изумлением и испугом, что ее руки ерошат мои волосы, а колени касаются моих колен.

— Какой кудрявенький,— сказала она.— Мой Знаменский такой же был. Я — Настя. Слыхали про меня небось. Меня технологи знают... Да что вы, так все и будете читать?

И, взяв у меня из рук книгу, она швырнула ее на кушетку.

— Давайте разговаривать! Да вы не робейте. Что это у вас... Карандаш и бумага? Хорошо. Я вам сейчас напишу записку. Я ведь тоже умею писать. Недаром со студентом четыре года жила.

Она взяла карандаш, помуслила его, придвинула к себе бумагу и наклонилась над ней, забавно сморщив свои густые черные брови.

Я ранее слышал кое-что про эту Настю. Она жила со студентом Знаменским на правах «свободной любви». В прошлом году Знаменский окончил курс, получил место и уехал, бросив Настю так же беззаботно, как и сошелся с ней. Говорили, что она теперь свободна, и многие не прочь были занять место Знаменского, тем более что Настя ему «почти ничего не стоила». Она была прекрасная работница-портниха, и они жили с Знаменским по-товарищески. Теперь эта интересная особа сидела рядом, комично наморщив брови, и писала мне какую-то записку...

Я был, конечно, заинтересован... Но вот после значительных усилий девушка кончила и протянула листок, устремив на меня лукавый взгляд живых черных глаз.

Я взял и прямо оторопел: на листке неровным неумелым почерком, почти каракулями, но все-таки довольно разборчиво была написана откровенно скабрезная фраза. Очевидно, за четыре года беспечный студент только этому и постарался выучить свою сожительницу... Это уже совершенно не соответствовало моим литературным представлениям, и вид у меня был, вероятно, очень глупый. Настя захохотала, откинув голову, вырвала из моих рук листок, разорвала его и бросила в угол, сказав серьезно:

— Прочитает еще кто-нибудь, нехорошо...

В это время опять раздался звонок, и в комнату вошел Гриневецкий. Настя свободно поздоровалась с ним и сказала:

— Здравствуйте! Я вас знаю, вы Гриневецкий. Я пришла к Василию Ивановичу. Мы встретились с ним у Тарасовского переулка. Он обещал одолжить мне денег... Срок за квартиру, а у меня нет... Как вы думаете — не обманет?

Гриневецкий с озабоченным видом почесал в затылке.

— В почтамте давно уже выдача кончилась,— сказал он.— А его что-то нет...

Новый звонок. Вошли Ардалион, Сучков и сожитель Сучкова — Кулешевич, молодой человек, служивший на Варшавской железной дороге. Узнав, что Васьки нет, Ардалион так и покатился:

— Эх вы! Головы с мозгом! Отпустили одного. Болва-ны. Дубье стоеросовое. А все, верно, этот птенец зеленый...

Он грубо смазал меня рукой по лицу.

— Ну, да авось ничего! Я знаю, где его искать... На Бронницкой, у приятеля-чиновника... Пойдем, что ли, со мной.

И они все ушли, а я остался опять с Настей. Прошло около часу томительного ожидания. Неужели Ардалион окажется прав? Не может быть, думал я... Вдруг опять раздался звонок, и в нашу комнату ввалилась шумная ватага. Впереди, подталкиваемый Ардалионом, шел Василий Иванович. Он, видимо, был сконфужен и отчасти пьян. Под мышками и в карманах его пальто виднелись бутылки и свертки.

— Получите вот,— хохотал Ардалион.— На Бронницкой у портерной и поймали дружка...

Увидев Настю, Веселитский немного сконфузился, но тотчас же подтянулся.

— А, Настасья Ивановна... Ну вот отлично... Давайте закусим, самоварчик попросим... Кутить так кутить. А ты, братец,— повернулся он ко мне,— сбегай, пожалуйста, за хорошим чаем к Шлякову... Ничего, что далеко...

Я побежал в магазин за чаем, которого у нас не было. Вернувшись, я застал Настю и Веселитского вдвоем, остальные ушли в «Белую лебедь» сыграть на бильярде. Настасья Ивановна показалась мне навеселе: глаза ее подернулись влагой, щеки разрумянились, она покачивалась и пела какую-то деревенскую песню. Веселитский отвел меня в сторону и сказал, подавая кредитку:

— Сделай одолжение, братец... Ступай тоже в «Белую лебедь».

Там, однако, я не мог избавиться от чувства неловкости, и, поговорив с Гриневецким, мы решили прекратить игру и вернуться всей компанией домой к самовару...

Тут я сразу заметил, что в нашей мансарде произошло что-то нехорошее: Настасья Ивановна сидела в отдаленном конце стола, а Васька помещался на стуле, на почтительном расстоянии, и глядел на нее злобным и язвительным взглядом. Он опьянел совсем, весь как-то опустился, лицо одряблело. Настя, наоборот, казалась в эту минуту совсем отрезвевшей. Она встретила

нас пристальным горячим взглядом из-под сдвинутых черных бровей.

— А, здравствуйте, господа студенты! Изволили вернуться наконец? Что ж так скоро?

Она вдруг резко поднялась и, опершись на стол одной рукой в энергичной и красивой позе, продолжала:

— Устроили засаду девушке. Подлецы вы подлецы, а не студенты!

Губы ее с черными усиками как-то жалко, по-детски дрогнули. И вдруг ее глаза остановились на мне.

— А, и этот кудрявенький здесь. Тоже ловкий мальчик... Я и не оглянулась, как и он тоже исчез. Знает, что нужно приятелю... Ах, какие подлецы, какие вы все подлецы...

Ее голова упала на руки, и плечи вздрагивали от рыданий... Я повернулся к тому месту, где сидел Веселитский. На этом месте его уже не было: захватив пальто и фуражку, он быстро прошел через комнаты хозяев и исчез. Ардалион бросился за ним.

Не давая себе еще полного отчета в том, что произошло, я, в свою очередь, спустился с лестницы и вышел на улицу. Фигура Ардалиона быстро исчезала в тумане по направлению к Бронницкой, но Васька оказался гораздо ближе: в нашем доме был грязный темный кабачок. Случайно заглянув в его окно, я увидел за прилавком женщину с ребенком на руках, и тут же на стуле, свесив голову, сидел Васька. Я толкнул дверь. Раздался дребезжащий звонок. Женщина со страхом подняла на меня глаза и, когда я подошел, сказала:

— Я думала, хозяин вернулся... Товарищ вам это, что ли?.. Боюсь я его... Вишь, ввалился... Лыка не вяжет, а требует: наливай ему... Говорит несообразно...

Васька поднял голову и сказал с выражением необыкновенной язвительности в голосе:

— Па-а-звольте. Кто дал вам право рассуждать подобным образом?.. Ни-и капли логики...

Он попытался встать, но качнулся и опустился на грязный пол.

В это время вошел и хозяин, дюжий мужчина мрачного вида. Окинув всю сцену привычным взглядом, он сразу сориентировался в положении и, не обращая на меня ни малейшего внимания, сильной рукой поднял Ваську с пола, подвел к порогу и вытолкнул на улицу. Я поспел как раз вовремя, чтобы Васька не расшиб го-

лову о фонарный столб, и повел его к нашей лестнице. Он шел очень нетвердо, и при тусклом свете фонаря лицо его подергивалось жалкими всхлипываниями. Вести пьяного мне было трудно, но в это время подоспел Ардалион. Прыснув, по своему обыкновению, он подхватил Ваську под другую руку, и мы доставили его наверх, где он тотчас же свалился и захрапел.

Настя все еще была у нас и мирно разговаривала с Сучковым и Гриневецким. Теперь она попросила когонибудь проводить ее. Мы с Сучковым оделись и вышли.

Был поздний вечер. Огни фонарей тускло мигали сквозь сетку дождя, который становился все сильнее.

Настасья Ивановна жила довольно близко вместе с матерью, но она не решалась идти домой. Было поздно. Кроме того, на воздухе она вдруг опьянела еще более и боялась прийти в таком виде.

— Проводите меня лучше в Тарасовский переулок, к подруге,— попросила она.

Под густым мелким дождем мы пришли в Тарасовский переулок. Здесь, у первого дома налево, Настя остановила нас и, взойдя на две-три ступеньки подъезда с навесом, повернулась к нам и протянула руку.

— Ну, теперь спасибо. Прощайте, господа. Не взыщите, что давеча обругала вас нехорошими словами. Товарищ ваш крепко меня обидел...

Я попытался подняться на ступеньки, чтобы позвонить, но она помешала мне и, смеясь, оттолкнула назад.

— Я и сама сумею позвонить... А вы идите, идите, идите! Увидят меня с вами, нехорошо. Подумают, бог знает где гуляла... Идите, идите,— повторяла она, пока мы не вышли из ворот и повернули за близкий угол. Однако, пройдя некоторое расстояние, мы оба остановились и повернули назад: поведение Насти нам показалось странным. Дождь лил густо, шумя по водосточным трубам. Тускло светил фонарь. На подъезде виднелась одиноко сидящая женская фигура. Склонив голову на руки, Настя тихо плакала.

— Настасья Ивановна, голубушка. Да что с вами? Почему вы не звоните? Неужто хотите ночевать на подъезде?

Она подняла лицо. Оно показалось мне жалким лицом обиженного ребенка.

— Не могу... Стыдно... Она тоже с матерью живет, со старухой... Как тут придешь, гадкая, пьяная...— И она заплакала еще сильнее.

Обсудив положение, мы решили предложить Настасье Ивановне переночевать в номере гостиницы.

— Только одну не пустят,— сказала она.— Вдвоем тоже зазорно. Пойдем уже втроем, если вы такие добренькие...

Так как у нас денег было мало, то, условившись встретиться на углу Четвертой роты, у «Золотого орла», я быстро побежал домой. Васька спал, Гриневецкий тоже. Растолкав его, я объяснил, в чем дело, и мы вдвоем произвели ревизию Васькиных капиталов. Результат оказался плачевный. Из семидесяти пяти рублей осталось тридцать пять. Гриневецкий отделил часть за квартиру Цывенкам, а часть я взял для уплаты за номер.

На условленном месте я застал Настю и Сучкова. Заспанный половой равнодушно открыл перед нами дверь и, все не просыпаясь, подал самовар. Что он думал при этом о нашей компании — неизвестно. Вернее всего, что ничего не думал. Дело привычное. Несомненно, однако, что редко в этом номере ночь проходила так безгрешно. Настя оказалась очень милой хозяйкой за чайным столом. Она почти протрезвилась, и мы с Сучковым от души хохотали, когда она изображала в лицах любезные подходы пьяного Василия Ивановича... Заснули мы часа в четыре, а наутро расстались с нашей гостьей добрыми приятелями. Помню, что, проснувшись, я торопливо обулся, чтобы Настасья Ивановна не застала меня без сапог.

Я шел домой с совершенно новым представлением. Такую девушку я видел еще в первый раз... Несомненно, что она написала мне скабрезную фразу. Когда мы оставались одни в комнате, она бесцеремонно ерошила мои волосы, прикасаясь своими коленями к моим... После этого с нею как будто все дозволено. И вдруг — она же кидает нам в лицо название подлецов, а мы стоим пристыженные, как школьники... Потом — эта трогательная одинокая фигура на подъезде, эти слезы от стыда и обиды... И, наконец, ночь в номере гостиницы с двумя молодыми людьми в самой предосудительной обстановке... Но здесь она сразу ставит себя так, что у нас не прорывается вольного слова или жеста, точно мы в обществе самой «приличной» из наших знакомых ровенских дам...

Да, все относительно в этом мире! И нравственность тоже относительна. Бедная, милая Настенька. Четы-

рехлетнее общение со студентом дало ей лишь настолько грамотности, чтобы написать скабрезную фразу... Круг нравственных понятий, в котором вращалась эта модистка, был довольно широк: в него вошло многое, что я привык до сих пор считать недозволительным для «порядочной женщины». Но она обвела себе этот круг твердой рукой и держалась в нем прочнее, чем многие приличные дамы держатся в своем... Во всяком случае, оба мы чувствовали, что она нравственнее и чище нас всех...

— Славная Настенька — так обобщили мы, расставаясь с Сучковым, свои впечатления от этой необычной ночи.

Мне предстояло, однако, разобраться в другом, тоже неожиданном впечатлении. Дома я не застал Василия Ивановича. Гриневецкий еще спал, когда Васька исчез, оставив записку на мое имя. В ней он писал, что я обманул его лучшие чувства, став на сторону какой-то шлюхи... Поэтому он прощается со мной навсегда...

Я не мог теперь собрать в одно целое своих впечатлений... Настю я понял, и название «шлюха» меня прямо оскорбило. Но что же такое теперь сам Василий Иванович, перед которым я преклонялся?.. Никулин, предупреждая нас, был, значит, прав?.. Васька просто пьяница, обманувший товарищей, заманивший недостойным образом девушку... Вместо сдержанного, молчаливого, глубокомысленного Василия Ивановича, читавшего календарь и уложение, теперь передо мной выступало дряблое, пьяное лицо Васьки, которого Ардалион ловит у одной портерной, а сиделец выталкивает из другой...

Ах, читатель, я знаю: вам покажется мой глубокомысленный друг совершенно неинтересным и не заслуживающим столь значительного места в моих воспоминаниях... Но эта фигура сыграла значительную роль в моем настроении того времени... Образ великолепного Василия Ивановича с трудом уходил из моей души, оставляя болящее пустое место, а от «циничного» хохота Ардалиона мне было больно до слез.

Через несколько дней Василий Иванович явился в самом странном виде. На нем не было ни пальто, ни присланного из Костромы нового платья. Все это они вдвоем с чиновником успели спустить. По какой-то странной пьяной фантазии Василий Иванович выкупил черную пару моего дяди и теперь явился в ней: он был

не выше меня ростом, и потому жилет спускался значительно ниже талии, а фалды сюртука били по пятам. В таком виде, очевидно рассорившись по пьяному делу с чиновником, он пришел к нам с Бронницкой и тотчас же завалился спать...

Я в сумерках вернулся к себе и услышал несшееся из-за перегородки сопение. Я догадался. Пройдя к себе, я зажег лампу и в ожидании Гриневецкого сел за книгу. Через некоторое время сопение затихло, а вскоре затем послышались глухие стоны... Я некоторое время старался не обращать на них внимания, но затем не выдержал и вошел с лампой за перегородку. Василий Иванович сидел на кровати, запустив руки в волосы, и глухо стонал...

Через полчаса состоялось примирение... Конечно — прежнего великолепного Василия Ивановича, предмета моего поклонения, не стало... Передо мной был теперь слабый человек, жертва «бурсы» и духовного быта, но... я все еще любил его. И опять мы лежали рядом на кровати, и опять несколько осипшим с перепоя, но приятно рокочущим голосом он рассказывал мне печальную историю. Да, он тоже заражен этим ужасным бытовым пороком своей среды... Он борется, ему нужна нравственная поддержка (тут он горячо обнял меня)... Ему случалось уже допиваться до чертиков... «Маленькие, понима-ашь,— говорил он своим костромским говором, протягивая окончания,— маленькие, ухастые... Ну, да это наплевать... Бывает страшнее...»

Голос его стал глуше, мне показалось даже, что лицо побледнело.

— Быва-ат, снится: иду будто по лестнице. Лестница широкая, освещенная, всякую пылинку видно... Подымаюсь с трудом, потому знаю: на верхней площадке ждет меня *он*... Бледный, глаза как угли, и... понима-ашь, как две капли похож на меня...

— Ну, и что же?..

— Ну, иду... Рад бы не идти, да *он* стоит на последней ступеньке и тянет к себе глазищами, дожида-атся. Подхожу вплоть, глаза в глаза... И понима-ашь: вхожу я будто в *него*, или *он* в меня входит... Такой это ужас, что кажется, с ума сойдешь...

Мне становится жутко. Лампа притушена... В сумерках мне чудится страшно бледное лицо Васьки или его двойника, и меня охватывает страх за моего друга,

упавшего в моем мнении, слабого, но все же как-то жутко дорогого мне. Этот новый образ, уже без ореола, долго еще держится в моем обманчивом воображении.

IV
ГОЛОД

Компания наша бедствовала. Незаметно, постепенно голод сказывался истощением: ноги ныли, лица бледнели, движения становились порой вялы, на лекциях внимание притуплялось, над мозгом точно нависала какая-то завеса.

Мы с Гриневецким пытались еще не отставать от курса, и все-таки отстали... За этот год нам довелось пообедать в кухмистерской только пять раз. Сначала самый запах горячих блюд, несшийся из трактиров и кухмистерских, страшно раздражал обоняние и вызывал аппетит. Но со временем это прошло, и запах жареного мяса или жирных щей стал вызывать прямо отвращение. Возвращаясь после голодного дня из чертежной или Публичной библиотеки, я мечтал уже только о нашей колбасе с Клинского проспекта. Именно о ней и о черном полуторакопеечном хлебе. Когда однажды по какому-то случаю нам удалось после долгого промежутка пообедать в кухмистерской Елены Павловны, то в ту же ночь с нами случилось что-то вроде припадка холеры. В это время меня уже соблазняли только витрины кондитерских с выставкой конфет и пирожных. В сущности, это было медленное умирание с голоду, только растянутое на долгое время.

Но мы были молоды, обладали железным здоровьем. Хотя все впечатления божьего мира мы воспринимали теперь точно сквозь какую-то тусклую дымку, но все же это не мешало порой прорываться вспышкам яркого оживления, которые потом сменялись реакцией и угнетением.

Вспоминаю один случай. Я вышел из Публичной библиотеки и направился домой. Мне предстояло пройти Садовую, Обуховский и Царскосельский проспекты. Обыкновенно этот конец я проходил незаметно, но на этот раз почувствовал приступ слабости. Я вспомнил, что с Гриневецким однажды случилось то же: он зашел далеко и ослабел. В кармане у него находилась случайно почтовая марка. Он беззаботно вошел в первую ме-

лочную лавку и, смеясь, предложил купить у него марку. Лавочник оценил ее в пять копеек и отвесил на эту сумму белого хлеба. У меня в этот день оказалась тоже семикопеечная марка, и я решил поступить как Гриневецкий. Но у меня не было ни располагающей наружности Мирочки, ни его открытой веселой натуры. Поэтому когда я вошел в лавочку на Садовой и застенчиво предложил толстому купчине купить у меня марку, он сначала смерил меня с ног до головы презрительно-испытующим взглядом, а потом, помолчав еще несколько времени, сказал самым уничтожающим тоном:

— Не надо-с, не требуется, господин студент. Мы марочки покупаем в государственном почтамте-с, а отнюдь не у голодных студентов.

Из лавочки я уходил опутанный, точно сетями, взглядами приказчиков и публики, и в моей памяти всплыла прочитанная где-то пламенная, полная ненависти цитата из Фурье о хищном пауке-торгаше... Ненависть к этому «пауку» так воодушевила меня, что я и не заметил, как прошел длинный путь до нашей мансарды.

V

ПАВЕЛ ГОРИЦКИЙ — НИГИЛИСТ

Я успел познакомиться с компанией Рогова. Это были всё Васькины земляки, костромские бурсаки, и все сплошь горькие пьяницы. Среди них мне бросились в глаза две оригинальные фигуры: Иван Колосов и Пашка Горицкий.

О Пашке много рассказывал мне Веселитский. Это была звезда костромской семинарии, и его прочили в академию. Но в последнем классе он написал какое-то сочинение, блестящее по изложению, но проникнутое таким «духом», что о посылке в академию на казенный счет нельзя было и думать. Однако Горицкий решил все-таки попасть в академию. По словам Веселитского, он пешком добрался до Киева, блестяще выдержал экзамен и был принят в академию. Тогда он еще не пил, был верующим и опять обратил на себя внимание как будущая звезда духовного просвещения. Но затем увлекся современными «светскими идеями», стал запоем читать журналы, изучил немецкий язык, чтобы читать в подлиннике немецких философов Штрауса, Шлейермахера и Гегеля. Еще немного, и он стал «ниги-

листом»... Кипучее вино отрицания легко и весело бродило в головах среди остановившейся на переломе русской интеллигенции, в том числе и духовной, а с тем вместе забурлило вино и в прямом смысле. В то время и в литературе, и в интеллигентных кругах было в ходу выражение: «Пили, как боги»...

— Понима-ашь, братец,— повествовал мне Веселитский,— отрешился наш Пашенька от всего: сжег все, чему поклонялся... Усумнился, понятно, и в бытии божием... На диспутах выступал, как некий демон отрицания: и се не бе, и се не бе... Ну, понима-ашь, духовные отцы живо выкурили. Им таких не надо.

После этого Горицкий попал сначала в московский, потом в петербургский университет. В это время он уже пил горькую.

В Москве он попал на урок к какому-то высокопоставленному лицу. Барин был либеральный генерал, жена «эсприфорка» [1], и сначала все шло хорошо. Оригинальный семинар-студент, с лицом Мефистофеля и дьявольским остроумием, нравился и доставлял развлечение. Но однажды, когда явился в генеральское общество сильно навеселе и направил свое ядовитое остроумие против всей высокопоставленной компании, которую созвали, чтобы показать интересного нигилиста, вышел скандал такой громкий, что Горицкому пришлось уехать из Москвы.

Колосов, его неразлучный спутник, был прямая противоположность Горицкому: добродушнейший великан, внушавший, однако, невольное почтение и страх одним своим видом и богатырским сложением, он был необыкновенно молчалив и, казалось, ставил задачей своей жизни оберегать приятеля Пашку от последствий его остроумия. Рассказывали, что однажды «для познания всякого рода вещей» приятели забрались в вертепы знаменитой тогда «Вяземской лавры», находившейся на углу Сенной площади и Обуховского проспекта. Горицкий вступил в беседу с какой-то воровской компанией. За беседой подвыпили, и скоро язвительные выходки Горицкого вызвали столкновение. Только громадная сила Колосова спасла Пашку от крупных неприятностей. Приятели едва убрались из «лавры» подобру-поздорову...

---

[1] Вольнодумка (от *фр.* esprit fort).— *Ред.*

Как-то после одной «получки» по случаю именин Рогова наши соседи кутили всю ночь. В середине следующего дня в нашу комнату вошел Горицкий, которого я уже видел мельком несколько раз. Это был блондин небольшого роста, с бледным лицом, острыми чертами, горбатым носом и торчащей вперед рыжеватой бородкой. Я сидел за столом и с увлечением читал Шпильгагена. Он подошел ко мне, посмотрел заглавие и сказал:

— А, Шпильгаген!.. Читай, младой вьюнош, читай. Хар-р-о-шая книга. Возвышает душу... Есть еще писатель Авербах (он так и произнес: «Авербах» на чисто великорусский лад), так тот, братец, еще занятнее: у него все короли на высотах целуются.

Он выразился гораздо грубее и резче. Я покраснел от неожиданности и обиды за Шпильгагена.

— Ну, ну, вьюнош, не обижайся, я ведь любя... Такой же когда-то был... А ты, может, бог даст, будешь такой же, как я. Недаром с Васькой спознался да еще, говорят, преклоняешься... Брось, брат, не стоит: пустой малый, хоть и земляк мне. Положим, юности свойственно преклонение, и даже в Священном писании сказано: кому преклонюся?.. А ты ответствуй: никому же... Нестоящее дело!.. Знаешь: спереди блажен муж, а сзади вскую шаташеся... Так ты, братец, на всех сразу заглядывай с изнанки. И увидишь, что Васька большой ахтерщик...

В тоне его мне послышалась под конец какая-то благожелательная, почти нежная нота. С этого дня Горицкий стал часто заходить к нам. Раз даже после какой-то пьяной свалки у Рогова он и Колосов попросились к нам ночевать. У нас была широкая двуспальная кровать, на которой мы спали вместе с Гриневецким, приставляя стулья. Теперь мы улеглись на ней вчетвером поперек. Я лежал рядом с Горицким. Под утро со мной случился кошмар: я почувствовал, что какая-то тонкая сухая рука крепко сжимает мое горло, а над самым моим лицом склонилось чье-то бледное лицо и горящие глаза. Мне не стоило большого труда скинуть с себя пьяного Горицкого.

— Что вы это, Горицкий? Образумьтесь.

— Да ты-то кто? — спросил он сдавленным голосом.

Я назвал себя.

— Фу ты, наваждение!.. Да воскреснет бог... А ведь я подумал — Сашка это Белавин.

Проснулись другие, в том числе и Колосов.

— Все вот эдак,— зевая, сказал последний своим густым, спокойным басом.— И ведь заметьте, братцы: Белавин первый приятель, пока тверезы оба. А как который выпьет, так и ищет другого, чтобы непременно истребить. И я-то, дурак пьяный: положил черта с младенцем. Сем-ка я рядом лягу. Меня небось не задушит.

— Ну прости, пожалуйста...— сказал Горицкий и, придвинувшись ко мне, так что на меня пахнуло горячечным перегаром, вдруг нежно поцеловал меня.

Эта фигура возбудила во мне особенный живой интерес... Горицкий не подходил ни под одну известную мне литературную категорию, но от него веяло настоящим неподдельным трагизмом. В этот год он должен был сдать последние экзамены по юридическому факультету. Когда подошло это время, Горицкий вдруг исчез и не являлся на обычные попойки у Рогова. На мои вопросы о нем, мне сказали, что «Пашка дьявольски зубрит, чтобы сдать экзамен у Редкина». Редкин был превосходный профессор, но пользовался репутацией большого чудака и самодура. Рассказывали, например, что он очень не любил армян и всегда уменьшал им отметки.

— Господин профессор, ей-богу, я не армянин,— сказал, отэкзаменовавшись, какой-то кавказец. Редкин поднял глаза от журнала, где уже готов был поставить отметку, и, ткнув пальцем по направлению к носу студента, спросил совершенно серьезно:

— А это что?

— Грузын, ей-богу, грузын.

— А, это другое дело.

И Редкин поставил в журнале «удовлетворительно».

Во время каких-то бесед у Горицкого произошли с ним оригинальные пререкания, о которых одно время много рассказывали в студенческих кружках, передавая речения Редкина и язвительные реплики Горицкого. Редкин был заинтересован, а это, говорили, тоже опасно: таких студентов он экзаменовал особенно внимательно и беспощадно. Горицкий не хотел ударить в грязь лицом, перестал пить, и они втроем с Колосовым и Белавиным занимались дни и ночи. На беду, в это время из Костромы приехал старый товарищ по бурсе, оставшийся на родине сельским попом. Приятели «разрешили вина и елея». Попик приехал с деньгами, и закутили так, что Горицкий на экзамене с похмелья стоял столбом и не ответил ни на один вопрос.

После этого он явился к нам неестественно возбужденный и веселый. Плясал, сыпал каламбурами и остротами, довел Ардалиона до белого каленья разговорами о философах, спроваживающих друг друга «пы башке», а простодушную Мавру Максимовну привел в восторг душеспасительными разговорами...

Не помню, в этот ли, или в другой раз он опять провел ночь в нашей мансарде... К Гриневецкому приехал знакомый с родины, и он ночевал с ним в гостинице. Васьки тоже не было — опять сбежал на Бронницкую,— и мы с Горицким ночевали вдвоем. Среди глубокой ночи, проснувшись, я увидел, что место Горицкого пусто. Ночь была светлая... Низкие и широкие окна нашего чердака рисовались на темной стене светлыми квадратами. Помнится, в то время на небе стояла комета, и мы вечерами подолгу смотрели на нее. Теперь ее не было видно, но окно было залито туманным блеском луны. Оглядевшись, я увидел на этом светлом четырехугольнике характерный силуэт Горицкого с его горбатым носом и острой бородкой. Опершись подбородком на руки, он сидел неподвижно и глядел вдаль, туда, где за редкими домами, фабричными трубами и пустырями грузной полосой темнели деревья Волкова кладбища. Мне стало отчего-то жутко. Поднявшись с постели, я подошел к окну и тихо положил ему руку на плечо. Он вздрогнул.

— А, это ты? Погляди-ка, брат: э-вон, там, на кладбище... мои косточки на месяце белеются...

Я взглянул: среди темных куп деревьев в двух-трех местах на лунном свете фосфорически ярко сверкали белые пятнышки... Были ли это стены церквей и колоколен, были ли это часовенки над могилами, но под влиянием слов Горицкого, сказанных с выражением глубокой печали, эта даль показалась мне фантастическим темным полем с белеющими кое-где костями. Сердце мое сжалось глубокой тоской и жалостью. Я сел рядом, опершись тоже на подоконник, и мы с Горицким долго сидели так, глядя на смутную ночную даль, и разговаривали... О чем — я не помню. Помню только, что мне от всей души хотелось сказать Горицкому что-то ласковое и утешительное. Но что же я, юноша, почти мальчик, мог сказать этому почти уже сгоревшему на жизненном огне человеку... И он, по-видимому, тоже хотел сказать мальчику что-то доброе, предостерегающее. Но тоже не находил ничего убедительного...

Только долго спустя я осмыслил себе душевную трагедию этого погибшего хорошего и даровитого человека и его поколения. Жизнь была пересмотрена вся и вся отвергнута. Это было сначала ново и интересно, но скоро интерес этого отрицания был исчерпан до дна. Одним отрицанием, одною злобою против жизни —

...сердце питаться устало,
Много в ней правды, да радости мало...

Тогда Некрасов уже написал эти строки, подслушав их в жизни «нигилистического поколения»... Молодые души искали чего-нибудь, что могло примирить с жизнью — если не с действительностью, так хоть с ее возможностями... С трагедией Базарова Тургенев прикончил случайною смертью. В своей трагической предсмертной исповеди Базаров изливает весь яд безнадежного скептицизма, с которым жить все равно было нельзя. Какое-то бездорожье залегло перед этим поколением «мыслящих реалистов», мечтавших о разуме, свободе и полноте личности среди неразумной и несвободной жизни.

Все это я передумал и осмыслил позже, познакомившись с другими «старыми студентами» того же поколения.

А в ту лунную ночь, с бродившей где-то кометой и с галлюцинацией погибающего человека, мое сердце горело лишь жутким сочувствием и глубокой тоской... Я пытался говорить, что не все еще потеряно, что он, конечно, выдержит экзамен в будущем году, и тому подобные пустяки.

— Нет, братец... Брось эту словесность... Тянуть еще год?.. Зачем? И главное, пойми, дружок: все, все это зачем? все вообще?.. Соломон был умный человек: суета суетствий и всяческая суета!.. А тут еще вдобавок — и суета-то пьяная... Так к чему тянуть лямку?

Понятно, что на этот вопрос, предложенный мальчику зрелым человеком, у мальчика не было готового ответа.

Вскоре Горицкий уехал из Петербурга, и я потерял его из виду. Впоследствии я пытался узнать у костромичей, с которыми меня сводила судьба, о дальнейшей участи Горицкого. Сведения были неопределенны и смутны. Вспоминали какого-то Горицкого, бывшего письмоводителем у одного из нотариусов, своего товарища и приятеля (может быть, того же верного Колосо-

ва)... Говорили еще, что это был человек очень способный и дьявольски остроумный, но горький пьяница...

И ничего больше я о Горицком, которого здесь называю настоящей фамилией, не узнал...

VI

ПРИКЛЮЧЕНИЕ С ИКОНОЙ.— МЫ РАССТАЕМСЯ С ВЕСЕЛИТСКИМ

Как-то ночью в нашей маленькой квартирке случилось необыкновенное происшествие. Часов около трех на половине хозяев, в спаленке, прилегавшей к нашей комнате, раздался страшный грохот, а затем послышались странные звуки, точно плач испуганного ребенка. Проснувшись и наскоро натянув на себя кое-какую одежду, я выскочил в комнату хозяев и сразу понял все.

Первое место среди незатейливой обстановки Цывенков принадлежало грузному большому киоту с иконой богоматери в тяжелой кованой ризе за стеклом. Перед этой иконой горела неугасимая лампадка, и Мавра Максимовна никогда не забывала купить для нее масла. Теперь этот киот лежал на полу с разбитым вдребезги стеклом. Лампадка упала, масло разлилось, и вздрагивающий огонек непогасшего фитиля кидал еще на эту картину разрушения дрожащие и неверные отблески.

Цывенко зажег лампу. Он был в одном белье, но не забыл надеть на нос толстые роговые очки. Курносое лицо с толстыми усами и николаевскими бакенами было печально и мрачно, а из-за занавески на двуспальной кровати виднелось круглое детское лицо Мавры Максимовны. Оно было искажено страхом. Почти истерически всхлипывая, она говорила что-то торопливо, прерывисто и невнятно, и в этом испуганном лепете я разобрал, что для обоих супругов это было не простое падение киота, а указующее знамение со стороны владычицы.

— Смерть это, смерть... Каролин Иванович,— голубчик, родная моя!.. Вы ученые, знаете: хорошо, как это мне померети... А как Цывенку моему, не дай бог... Что я тогда буду делать, сирота безродная, на белом свете?.. Ох, смерть моя... Духу, духу нет!

И она судорожно хваталась за рубашку на груди...

Цывенко, молча убиравший осколки стекла, вдруг заворчал из-под нависших усов:

— А мне что одному делать на свете?.. Не желаю я, не согласен... Никаким родом...

Он протестовал против кого-то угрюмо и дерзко, точно возражая на неправильное распоряжение начальства. Мне вспомнились Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна, и я понял, что это потрясение, в особенности при сырой комплексии Мавры Максимовны и ее детском суеверии, прямо опасно. Подойдя к киоту, я стал с деловым видом рассматривать веревку. Она была тонка, вся обволочена паутиной и, очевидно, сгнила. Мавра Максимовна со страхом следила за мной...

— Послушайте, Федор Максимович,— сказал я уверенно.— Ну как вам не стыдно? Давно ли вы меняли веревку?

— Да не меняли вовсе,— угрюмо ответил он.— Как киоту купил, с тех пор на ней и висит.

— Ну а в углу сыро, веревка и сгнила. Было бы настоящее чудо, если бы такой тяжелый киот держался дольше на такой дрянной веревочке. Посмотрите сами...

Лицо бравого Цывенка несколько разгладилось, но толстуха по-прежнему нервно всхлипывала и хваталась за грудь. В это время вышел и Гриневецкий. Мавра Максимовна очень благоволила к нему... Она тоже была женщина, а у Мирочки было открытое лицо и светлые кудри херувима. Он принес стакан воды, сел на край постели и стал шутливо и ласково говорить с ней... Если бы владычица захотела дать знамение, то она оставила бы целыми и крючок, и веревку и все-таки бы упала... Вот тогда было бы действительно чудо...

Цывенко совершенно убедился и, наклонив киот, показал супруге тонкую гнилую веревку. Взяв в другом месте, он оторвал еще кусок и покачал головой,

— Грехи наши... Не догадались... Как еще держалась, в самом деле, удивительное дело! Милость владычицы, что не зашибла никого...

Это естественное объяснение разгоняло страх. Мавра Максимовна перестала всхлипывать, задыхаться и хвататься за грудь.

— Вот спасибо вам... Вы люди ученые, авось лучше знаете...— заговорила она, просветлев.— Цывеночка мой, может, и вправду помилует владычица? А?

Ночные страхи улетали из спаленки этих простодушных людей, и я уже праздновал победу, как вдруг дверь от нашей комнаты внезапно раскрылась, и в тем-

ном четырехугольнике появилась мрачная фигура Василия Ивановича.

Нужно сказать, что к этому времени Василий Иванович даже для меня окончательно определился, и я нашел, что самая «циничная» характеристика Ардалиона — только горькая правда. Между прочим, он еще два раза ухитрялся получать деньги без нашего ведома и каждый раз прокучивал их с приятелем чиновником, после чего приходил делить с нами нашу нужду.

В это утро он как раз пришел после такого случая. Пытался вновь разыграть драму, но даже и я отнесся к этой попытке более чем холодно.

«Ахтерщик»,— припомнилось мне замечание Горицкого, и я весь день не обращал ни малейшего внимания на глупые стоны похмельного Васьки. Васька отсыпался весь день, был в Katzenjammer'e [1] и дулся на своей постели, порой язвительно ворча про себя какие-то ехидные замечания по нашему адресу. Теперь он стоял в темном четырехугольнике двери, освещенный лампой. Он был в одном белье и в туфлях на босу ногу, задрапированный, как в мантию, в пестрое лоскутное одеяло. Казалось, он нарочно принимает величаво-зловещую позу. Лицо у него было дряблое, измятое, нос обвис, углы губ мрачно опущены книзу.

— Нет... Што уж тут обольщаться,— заговорил он замогильным голосом, точно тень отца Гамлета,— у нас в семье был такой же случай: так же вот в полночь как гр-ро-мыхнет, знаете ли, семейный киот, а наутро хозяйка приказала долго жить... Бывают, я вам скажу, бывают таинственные предзнаменования... Много есть на свете, друг Горацио... Конешно, есть люди, которые и в бога не верят...— прибавил он, очевидно приноровляясь к Цывенкам...

Мавра Максимовна испуганно подняла брови и вдруг опять схватилась за грудь. Я задрожал от гнева и крикнул своему бывшему кумиру:

— Замолчи, болван!..

Васька с удивлением взглянул на меня, но тотчас же повел плечом, задрапировался плотнее в свою мантию и сказал:

— Што ж, ругательство — не доказательство. Хотите, Мавра Максимовна, верьте, хотите нет, а я вам говорю: не к добру это, нет-с, не к добру, не к добру...

---

[1] С похмелья *(нем.)*.— *Ред.*

И, театрально повернувшись, он вышел, волоча за собой длинное одеяло. Гриневецкий весело захохотал, и этот смех рассеял опять испуг Мавры Максимовны. Она повернулась к двери и запальчиво сказала вдогонку:

— Не верю я тебе, Василий Иванович... Неправда. Они больше тебя знают... Аны, вишь, ходят, учатся... А ты все дома отлеживаешься да Ваську мово мучаешь...

И, повернувшись к нам, она заговорила горячо:

— Злой он, нехороший... Приучил Ваську мово гитару слушать. А теперь гляжу — что такое: как гитару заслышит, так куда попало и порскнет: намедни в форточку выскочил... А это он, Василий Иванович, забавляется, Васеньку мово мучит: зажмет голову, да и щиплет... Что, скажешь, не правда, что ли?

Цывенко повернулся к двери, и усы его свирепо ощетинились. Но через минуту-другую из нашей комнаты послышался храп Васьки... А скоро и все успокоилось на нашем чердаке.

Я долго не мог заснуть. Мне было горько и обидно: как я мог так долго обольщаться! В сущности, я был юноша неглупый и не лишенный наблюдательности, но мое воображение легко подкупалось предвзятыми представлениями... Как прежде — в случае с Теодором Негри,— образ Васьки для меня раздвоился. Где-то на заднем фоне сознания рисовался Васька пьяница и сознательный обманщик, бесчестно заманивший Настю, но я *не хотел,* чтобы этот образ выступил на первый план, потому что полюбил создание моего воображения... А Васька по какому-то инстинкту актера угадывал мое настроение и играл соответственную роль. Только в последние недели стал явно сбиваться с тона: то щеголял кощунством, называя бога Тамерланом, то теперь говорил о «знамениях»...

На следующий день произошла тяжелая сцена. Васька, засунув руки в карманы, ходил размеренными шагами из угла в угол нашей комнаты, а я сидел за столом и высказывал ему горькую правду, мстя за свои прежние увлечения.

— Ты с первого дня играл роль,— говорил я.— Ты только прикидывался, что сопоставляешь статистику населения с законами... Ты лгал всем: и словами, и молчанием... Ты совсем не жалел Горицкого, не обращался с словом убеждения к роговской компании, а на-

прашивался на выпивку, и тебя поделом прогнали в шею...

Васька продолжал невозмутимо шагать из угла в угол и с поражавшим меня самодовольством подавал реплики:

— Ну што ж... Пусть актер... Все люди до известной степени актеры... Не обольщаюсь: не больно и умен... Сократ сказал: «Я знаю только то, что ничего не знаю». Не считаю себя умнее Сократа...

Эта неуязвимость совершенно вывела меня из себя, и я запальчиво продолжал:

— И никогда ты не напивался до чертиков, и никогда тебе не являлся твой двойник с бледным лицом...

Тут Васька вдруг повернулся и посмотрел на меня, как будто хотел что-то сказать... Теперь я думаю, что зеленых ухастых чертиков он действительно видел и что двойник с горящими глазами ему действительно являлся. Но тогда я и этому уже не хотел верить, так как отрицал прежнего Ваську всего без остатка...

После этого, очевидно, дальше жить вместе стало невозможно. И действительно, вернувшись из института, мы уже не застали Ваську. Увязав в узел подушку, лоскутное одеяло, календарь Гоппе и гитару, он переселился на Бронницкую.

После этого мы видали его только издали на Малом Царскосельском, порой с сожительницей чиновника, женщиной довольно пошлого вида. Он помогал ей тащить какие-то кульки и как-то удивительно быстро окрасился в тон новой среды.

Помнится, пасха в этот год была довольно поздняя. Мы с Сучковым решили обойти в пасхальную ночь несколько церквей. Побывали у Исаакия, потом пошли на окраины, к Миронию, и уже под утро возвращались к себе. На углу Большого и Малого Царскосельского проспектов у нашей часовенки вдоль высоких тротуаров расположились целой вереницей обыватели и обывательницы, выжидавшие конца молебна и освящения пасхальных яств. Мы шли вдоль тротуара, присматриваясь к группам и прислушиваясь к разговорам. Тут была простая публика нашей окраины: с рот, от Московской заставы, с Обводного,— больше женщины: лавочницы, кухарки, дворничихи, жены фабричных и мастеровых. Вдруг Сучков дернул меня за руку.

— Посмотри,— сказал он.

У тумбочки, на откосе тротуара, рядом с какой-то старой салопницей сидел Васька. Я едва узнал его: он как-то сгорбился, имел смиренный и благочестивый вид. По-видимому, бедняга страдал флюсом: щека у него была подвязана, и концы платка смешно торчали за ушами. Он вел тихую, очевидно, поучительную беседу с соседями. Я расслышал какой-то текст из Писания.

— Здравствуйте, Василий Иванович,— сказал я громко, остановившись у этой группы. Васька вздрогнул и, повернувшись через плечо, не ответил на приветствие, по-видимому заметив в моем тоне насмешку. Наклонясь к своим собеседницам, он заговорил, понизив голос, но так, что мы могли слышать:

— Ноньче, матушки мои, развелось много такого народу, что уж не верят в бога и смеются над обрядами святой православной церкви...

Новую роль, в зависимости от новой среды, Васька выдерживал великолепно. Трудно было поверить, что перед нами — недавний студент, щеголявший кощунством и называвший бога «каким-то Тамерланом» — фраза, выхваченная из какой-то запрещенной книжки.

В это утро я видел Василия Ивановича Веселитского в последний раз.

VII

Я РАЗОЧАРОВЫВАЮСЬ В ЕРМАКОВЕ И ПОСЕЩАЮ ПЕРВОЕ «ТАЙНОЕ СОБРАНИЕ»

Дела наши не поправлялись, настроение все больше тускнело. Розовый туман сползал со всего окружающего, обнажая действительность, прозаическую и серую. Гриневецкий тоже загрустил: третий год грозил уйти за первыми двумя, тогда как родители его были уверены, что сын уже на третьем курсе.

Приближался первый экзамен по высшей алгебре. Гриневецкому он был не труден: математика давалась ему легко. Мне было гораздо труднее. Вдобавок изъяны в одежде не позволяли мне аккуратно посещать институт, и я пропустил один срок чертежей. Мы решили с Гриневецким обратиться за пособием в кассу помощи студентам. Исправив с помощью Сучкова или Ардалиона недостатки своего костюма и написав прошение, я отправился в институт.

В этот день просителей принимал сам Ермаков. Это был человек довольно высокого роста, с крупными выразительными чертами и бледным лицом нездорового цвета, напоминавший описание Сперанского в «Войне и мире». Лицо его показалось мне несколько печальным и как будто разочарованным. Между ним и стоявшей за низким барьером тесной группой студентов залегла как будто легкая тень взаимного нерасположения. Принимая прошения, он делал вскользь короткие угрюмые замечания. Наконец наступила моя очередь. Я стоял перед тем самым человеком, чье короткое извещение, полученное в маленьком городишке месяцев десять назад, так радужно осветило тогда мою жизнь. Взяв прошение, он окинул меня пытливым взглядом и спросил:

— Чертежи все сданы?

Я смутился и ответил:

— Не все.

— Так и знал,— произнес Ермаков, кивнув головой, как бы подчеркивая свою проницательность. Я хотел сказать, что не сдал только за один срок и что пособие мне нужно именно затем, чтобы наверстать потерянное время. Но я не сказал ничего. Ермаков уже обратился к другому, а я ушел оскорбленный. «Так и знал»... Почему же он знал?.. Потому, что я плохо одет, бледен и желт от голода?..

На душе залег горький осадок нового разочарования. Я поднялся в чертежную. За нашим столом мой двойник заканчивал великолепный чертеж. Моей доски за этим столом уже не было. Институт был переполнен, и сторожа убрали мою доску, очистив место другому.

Значит, и они формально зачислили меня в разряд «плохих студентов». Понурив голову, я прошел вниз. Здесь я заметил, что студенты разных курсов входят в какую-то аудиторию. Я последовал за течением. В аудитории шла сходка. На столе стоял студент в блузе — фигура демократическая и угловатая — и делал доклад о результатах депутации к Ермакову. Речь шла, помнится, о требовании передать кассу помощи в руки самих студентов, так как теперь истинно нуждающимся получить трудно: пособиями пользуются «покорные телята», часто богатые барчуки. Докладчик говорил, упирая на *о*, с простонародными оборотами, и в аудитории то и дело раздавались сочувственные восклицания: «Правда, правда». Между тем Ермаков наотрез отказался отстаивать в совете требование студентов.

— Он перестал понимать молодежь,— закончил оратор.

— Правда, правда!— шумно подтвердила аудитория.— Нужно искать другие пути!..

Я, конечно, примыкал всей душой к этому решению и жадно ловил отголоски своего настроения в шуме и восклицаниях студенческой массы.

Под конец сходки ко мне подошел Зубаревский. Со времени нашей встречи на железной дороге и после — на Вознесенском проспекте — я всякий раз встречал его с каким-то особенным душевным облегчением. Было что-то простое, хорошее и душевное в этой невзрачной фигуре с скуластым лицом и утиным носом. Я не подводил его ни под какую литературную категорию, а просто радовался при встречах с ним.

— Ну что, как живется?— спросил он.— Вы что-то нос повесили... В чем дело?

— Вообще, плохо,— ответил я, отворачиваясь.— Тоска!..

Он задержал мою руку, о чем-то подумал и затем сказал:

— Вы бывали на каких-нибудь собраниях?

— Да вот сейчас...— ответил я.

— Нет, я говорю не о сходках... А бывали ли вы в кружках? Нет?.. Хотите побывать? Образуется тут один кружок, люди хорошие. Согласны? Ну постойте немного, я вот тут переговорю.

Он кинулся вдогонку за каким-то студентом и, взяв его под руку, стал ходить в стороне взад и вперед по аудитории, о чем-то разговаривая. Оба при этом посматривали на меня. Я с некоторым волнением ждал результата: захотят ли они, умные, серьезные, принять меня?.. Я еще ощущал на себе пренебрежительный взгляд Ермакова... Вот и мою доску убрали из чертежной... Я чувствовал себя выбитым из колеи и несчастным... Но собеседник Зубаревского, очевидно куда-то очень торопившийся, попрощался с ним и приветливо кивнул мне головой через поредевшую толпу. Зубаревский вернулся ко мне.

— Дело устроено,— сказал он.— Приходите в воскресенье в Тринадцатую роту Измайловского полка, дом номер сто шестьдесят третий, квартира такая-то. Когда вам отворят, спросите меня или такого-то (он назвал, кажется, Эндаурова). Если нас и не будет — все

равно вас пустят... Сходите, сходите... Народ будет хороший.

Я радостно направился домой. Была уже весна, сквозь быстро бегущие белые облака то и дело мелькали большие полосы яркого синего неба, в воздухе чувствовалась свежесть и особенное весеннее оживление. Но я все эти дни был во власти той особенной весенней тоски, с которой молодое сознание будто провожает напрасно пролетающую жизнь. Эта тоска пришла со мною в институт и с особенной силой захватила в чертежной. Кто-то открыл там два или три окна, и с улицы неслось дребезжание экипажей, певучие крики разносчиков, суетливый шум быстро несущейся столичной жизни... А моя жизнь остановилась в каком-то мрачном углу... Вот и моя доска убрана со стола...

Сначала сходка, потом приглашение на собрание несколько рассеяли это настроение. Я предчувствовал что-то новое. Это будет не пьянство у Рогова, не бильярд в «Белой лебеди», не нигилистическая тоска Горицкого. Что-то новое, точно предчувствие нового откровения...

Под вечер в воскресение я отправился в Тринадцатую роту. Идти пришлось далеко. С моря надвинулись густые облака, моросил дождик, огни тусклых (кажется, тогда еще масляных) фонарей трепетали на подвижной поверхности тонких лужиц. При свете одного из таких фонарей я нашел дом № 163. Это был огромный невзрачный домина, нелепо и грузно возвышавшийся над небольшими домишками в глухой улице, населенной служащими варшавской и петергофской дорог, мастеровыми с заводов и студентами.

Я вошел в ворота, поднялся на лестницу направо, на самый верх, в пятый или шестой этаж, и дернул звонок. За дверью послышались шаги, потом какой-то разговор... В дверях осторожно приоткрылась щелка, мелькнули два молодых глаза, и девичий голос спросил:

— Кого нужно?

— Зубаревского,— ответил я.

— Его нет.

— Ну, так Эндаурова...

— Тоже нет.

— Постойте, постойте,— торопливо перебил другой женский голос.— Как вас зовут? А, ну войдите, пожалуйста...— И дверь открылась.

Я вошел в переднюю, скинул пальто на кучу других и не без смущения вошел в большую комнату.

— Это, господа, такой-то,— сказала впустившая меня молодая девушка.— Рекомендация Зубаревского и Эндаурова. Садитесь, пожалуйста.

Я пробрался в дальний угол и осмотрел собрание. Здесь было десятка полтора молодых людей и девушек, но колокольчик дребезжал то и дело, и входили новые лица. По тому, как они входили, раскланивались, занимали места, было заметно, что собравшиеся не были еще тесно сплоченным обществом. Замечалось стеснение и неловкость. Увидя знакомое лицо среди сидевших под стенками молодых людей, новоприбывшие радостно кидались туда, девушки обнимались и начинали шушукаться. Общего разговора не было. В открытую дверь виднелась другая комната, поменьше, со столом посредине и висячей лампой. За столом сидели несколько студентов и среди них три-четыре женские фигуры. Я догадался, что это хозяева или устроители собрания и еще — что они в затруднении, не знают, что с нами делать, и как будто ждут еще кого-то.

Раздался звонок... Вошел технолог большого роста в блузе и очках. По наружности и приемам он напомнил мне оратора на сходке, но фигура была культурнее. Он стал что-то рассказывать сидевшим за столом, и потом они заговорили тише, как будто совещались...

Между тем в нашей комнате стояло все то же напряжение. Не было чего-то, что объединило бы собравшихся.

Я с любопытством стал рассматривать девушек. Учащиеся женщины были для меня совершенной новостью. Тогда в нашем городе не было еще женской гимназии, и первая гимназистка из Житомира, Долинская, приехавшая на каникулы к матери в своем форменном коричневом платье, привлекала общее внимание. К Ваське раза два приходила какая-то Екатерина Григорьевна, женщина лет за тридцать. У нее были курчавые стриженые волосы, перехваченные круглой гребенкой, и пенсне на носу. В зубах, больших и некрасивых, вечно торчала папироса. В первый раз она явилась к нам еще в то время, когда Васька не спустился для меня со своей высоты, и помню, что в тот же вечер я написал брату восторженное глупое письмо, где описывал первую увиденную мною «нигилистку». Помню, однако, что на заднем фоне и этого «литературного впечатления» стояло смутное реальное представление о жалком

пошловатом существе с остатками институтских манер и нездоровой страстностью во взгляде.

Теперь передо мною были скромные на вид девушки, смущенные, как и я, и, как я, ждущие чего-то.

Мне показалось, что в дальнем углу я заметил своего двойника... Мне хотелось подойти к нему, но нужно было перейти через всю большую комнату... Да я не был уверен по близорукости, что это он.

В дальнейших моих воспоминаниях об этом вечере — какое-то тусклое пятно, без ярких фигур и эпизодов. Заговорил серьезный студент, пришедший последним. Не помню, что именно он говорил, помню только, что и говоривший, и слушатели чувствовали, что что-то не удается, что в напряженную атмосферу пытается пробиться какая-то простая «настоящая» нота, но пробиться не может. Говорилось, помнится, о том, что, кроме специальных знаний, нужно еще искреннее желание обратить их на пользу родного народа. Это была как будто и правда, но пока эта правда вот здесь, сейчас, нас не объединяла.

Стало немного легче, когда пригласили в соседнюю комнату, где уже кипел самовар. У одной стены стояла простенькая кровать, покрытая белым пологом. На стене висел портрет Чернышевского и Михаила Илларионовича Михайлова... Хозяйка, молодая женщина лет двадцати пяти, разливала чай. Другая, курчавая девушка-брюнетка, как кошечка, ластилась к ней, и обе они показались мне такими чистыми, красивыми и хорошими, что мне вспомнилась родная семья... Хоть когда-нибудь, хоть раз в неделю, даже раз в месяц прийти вот в такую квартиру, посидеть вечер в разумном и чистом женском обществе — казалось мне недосягаемым блаженством.

Но общий непринужденный разговор не наладился и тут; уходили в другую комнату, сбивались знакомыми кучками, говорили вполголоса. Потом стали расходиться, решив, что о дне следующего собрания участники будут извещены особо в институте и на женских курсах.

Я вышел в числе последних. В квадратный двор, обнесенный высокими стенами, моросил, как в колодезь, мелкий дождик. У ворот сидел неподвижный дворник, около него стояли две-три каких-то штатских фигуры. На улице тускло мерцали фонари с теми же отражениями на трепетных лужицах. В душе у меня было тоже

тусклое разочарование. Вот я выхожу из этого дома, куда часа три назад входил с такой надеждой... Образ хозяйки и кудрявой девушки залег в памяти ласкающим мягким обаянием. Но я чувствовал, что это красивое пятно не имеет никакого отношения к моим надеждам. Остальное смутно и неопределенно, и мне невольно приходило в голову — какие язвительные словечки отпустил бы Паша Горицкий по поводу этого неудавшегося собрания.

На углу Тринадцатой роты и какого-то переулка меня обогнал мой двойник. У фонаря он посмотрел на меня, и я посмотрел на него... Да, это был он. До сих пор взгляды, которыми мы обменивались, были скорее взглядами нерасположения. Теперь мне опять захотелось остановить его, заговорить. В его глазах мелькнуло как будто то же желание. Но он шел быстро и, точно по инерции, прошел мимо. Я тоже его не окликнул, и он скоро свернул за угол. Когда я дошел до этого угла, какая-то фигура еще маячила в слякотном сумраке... Догнать его, поговорить по душе о том, что мы оба тут искали и чего не нашли, и почему это «не вышло»... Но когда я догнал шедшего впереди, то оказалось, что на нем обыкновенное черное пальто, а не серая шинель со споротыми гимназическими пуговицами...

Так я не догнал моего двойника, не знаю его фамилии, и никогда уже мы не встретились в жизни.

Гриневецкий уже спал, когда я вернулся на наш чердачок...

— Ну, что там было? — спросил он, проснувшись.— Стоило ходить?

— Ничего интересного,— ответил я и стал без увлечения рассказывать о скучном собрании. Он зевнул, потянулся и скоро заснул.

На следующий день меня опять охватила весенняя тоска. Весь день я не находил себе места и принял вместе с Гриневецким приглашение в компанию студентов-химиков, которые занимались в это время в лаборатории перегонкой спирта. Попутно они изготовили несколько бутылок «ликера» и позвали целую компанию для торжественной пробы своего производства. Пили, пели песни, обнимались и в конце концов легли тут же вповалку, отравившись сивушным маслом. На следующий день, поздно, с болью в головах и с безвкусицей на душе, вернулись мы с Гриневецким на свой чердачок. Здесь испуганная Мавра Максимовна встре-

тила нас новостью: приходила полиция. Ввалилось сразу трое и перепугали бедную женщину до смерти.

— Как в тот раз, когда взяли нашего жильца... Спрашивали про вас: где были вечером третьего дня и поздно ли вернулись? Я уже хватила греха на душу: сказала — весь вечер дома сидели... «Мои, говорю, смирные... Все учатся». А вы вот какие смирные... Совсем дома не ночевали... Наживете вы беды...

Несколько дней после этого в институте, в строительном училище, в Семеновском и Измайловском полках, по ротам, проспектам и переулкам только и было разговоров, что о нашем тайном собрании. Я вспомнил, что, отойдя три-четыре квартала по Тринадцатой роте и случайно оглянувшись, я видел какое-то движение около большого дома. Путались какие-то неясные тени, происходила какая-то возня, как будто слышались даже свистки. Я тогда не обратил на это внимания. Оказалось, что полиция поздно узнала о «тайном собрании» и явилась к концу его, когда из ворот выходили последние его участники. Среди них был некто, помнится, Крестовоздвиженский, технолог вроде Колосова, огромный и молчаливый. Весь вечер он просидел в хозяйской комнате, не проронив ни слова. Но когда при выходе несколько штатских субъектов, которых я видел стоящими рядом с дворником, попытались задержать последних выходивших, то этот молчаливый силач вдруг развернулся, явил чудеса храбрости, обратил сыщиков в паническое бегство, после чего бесследно исчез. Наше неудавшееся «тайное собрание» выросло в целое событие. Полиция ходила из дома в дом, шли расспросы, ходили фантастические рассказы о собрании «тайного общества», о необыкновенной силе таинственного студента. Даже в моих глазах этот эпизод стал принимать другую окраску. Произошло что-то, чего «правительство боится». Значит, есть тут что-то нарастающее и важное.

— Правда, что и вы были там? — спрашивали у меня студенты шепотом, и у меня уже не хватало духу ответить, как я ответил Гриневецкому: ничего интересного, одна скука.

Впоследствии много раз мне вспоминался этот эпизод. Кто знает, разрослось ли бы движение молодежи так быстро и так бурно, если бы правительство было умнее и спокойнее и не так нервно пускало бы в ход грубый и неуклюжий аппарат произвольной власти.

Теперь уже ясно, что так называемое «хождение в народ» было наивной попыткой с негодными средствами. Но правительство само вызвало грозный призрак террора... Таинственный молчаливый студент, внезапно разгромивший полицию после невиннейшего «тайного собрания», часто каким-то предзнаменованием встает в моей памяти...

VIII

Я НАХОЖУ РАБОТУ И ПРИОБРЕТАЮ ЗНАКОМСТВА.— ПИСАТЕЛЬ НАУМОВ

Становилось ясно: этот год для всей нашей компании был уже потерян. К этому времени в моей жизни произошло два события: я нашел работу и меня разыскали родственники.

На Офицерской улице, далеко за Литовским замком и Демидовым садом, жил учитель второй, кажется, гимназии, Животовский. Он занимался, кроме преподавания, еще изданием демонстративных классных таблиц и ботанических атласов. Я узнал, что ему нужен рисовальщик, и предложил свои услуги. Для пробы он дал мне раскрасить ботанический атлас, состоявший из девятнадцати рисунков. Они были выпущены из типографии в черных чертах, и только листья были ровно покрыты масляной типографской краской. Мне предстояло докрашивать остальное.

Этот первый атлас я раскрашивал в течение целой недели. Типографская краска мешала, отказываясь принимать акварельные тени. Наконец через неделю я снес свою работу на Офицерскую. Животовский остался ею очень доволен, дал мне вновь пять атласов и один рубль за работу. Эта оценка недельного труда привела всю нашу компанию в большое уныние. Но... рубль — это все-таки пять наших обычных обедов. Кроме того, я надеялся работать со временем быстрее. И действительно, уже следующий атлас отнял у меня только три дня, а затем Гриневецкий придумал смачивать проклятую типографскую краску водой при помощи зубной щеточки, и это так облегчало работу, что я мог делать по атласу в день. Я разводил сначала зеленую краску. Гриневецкий подкладывал мне лист за листом, и я все их механически отделывал зеленью. Тем

же порядком все девятнадцать рисунков проходили через кармин, оранжевую, сурик, вермильон и т. д. Через некоторое время, работая, правда, целые дни, я мог бы уже заработать до пятидесяти-шестидесяти рублей в месяц, если бы Животовский не положил предел моему любостяжанию. Бедняга с семьей существовал только жалованьем, а атласы шли не так быстро. Мы оставались довольны друг другом, но Животовский ограничил размеры работы двадцатью атласами в месяц.

Как бы то ни было, у нас оказался с этих пор «постоянный заработок», и часть забот о нашем пропитании была снята с бедного Гриневецкого.

Однажды, когда я находился в разгаре своего производства и был весь измазан красками, к нам неожиданно вошел чрезвычайно приличный господин, с интеллигентным лицом, в золотых очках, и, окинув взглядом нашу компанию, спросил:

— Я имею удовольствие видеть?..— И он назвал мою фамилию, обратившись прежде всего к самому представительному из нас, Гриневецкому. Таким же образом он обратился затем к Сучкову и уже наконец ко мне. Это оказался Бирюков, муж моей двоюродной сестры, преподаватель или инспектор петербургского коммерческого училища (в Чернышевом переулке). Мы познакомились, и с этих пор по субботам я проводил вечера в хорошей родственной семье.

Это был маленький интеллигентный салон. Бывали педагоги, художники, студенты. Где-то на заднем фоне заманчиво носилась передо мной возможность встречи даже с Д. Л. Мордовцевым, который был дружен с Бирюковыми. В это время он жил в Саратове, но должен был приехать в Петербург, так как ему предстоял суд за «Исторические движения русского народа». Но это светило так и не появилось на нашем горизонте. Зато каждую субботу я неизменно встречал у Бирюковых малоизвестного писателя Александра Михайловича Наумова. Это был не Наумов-беллетрист, довольно известный в тех годах, а скромный публицист, написавший около этого времени несколько статей в «Отечественных записках» о Всероссийской выставке в Москве.

Это была фигура очень характерная для 70-х годов. Совсем не крайних убеждений — что видно уже из того, что он был постоянным сотрудником «Русского мира»,— он был все-таки коренной отрицатель. Тогда это было разлито в воздухе. Маленький, подвижной, с го-

лым черепом и черными, необыкновенно живыми глазами, он вечно кипятился, проклинал «наши порядки» и ругал всех и вся. Однажды он вызвал взрыв хохота во всей компании, наивно и с увлечением повторив совершенно искренно известную собакевичевскую фразу:

— Во всей России сплошь все подлецы и негодяи... Я знаю одного только порядочного человека... Да, одного на всю Россию! Это Иван Васильевич Вернадский... Да и тот, если разобрать хорошенько, настоящая скотина...

Удивленный взрывом общего хохота, он продолжал с яростным увлечением:

— Да, да, да!.. Я это утверждаю положительно: скотина, скотина, ничего больше-с!.. Судите сами...

И он, горячо жестикулируя, стал передавать какой-то эпизод в Вольно-экономическом обществе, когда И. В. Вернадский, возражая тогдашнему председателю общества Киттары и еще рядом сидевшему с ним «генералу», повернулся к ним лицом, а спиной к публике... Наумов представлял этот эпизод так подчеркнуто, став спиной к дамам и даже подняв фалдочки сюртука, что его среди общего хохота мужчины насильно усадили на стул... Наумов сразу уселся в кресло и, поняв причину смеха, сказал меланхолично:

— Да, в сущности, все мы, русские, или Собакевичи, или Маниловы... Никого — во всей России, кроме Собакевичей и Маниловых... Все, все... И я первый...

Действительно, переходы от Собакевича к Манилову были у него неожиданны и внезапны. Он был сын путейского генерала, получил домашнее аристократическое образование, посещал первые курсы университета под руководством студента-гувернера, кончил по «камеральному факультету», готовившему главным образом чиновников, и за все это в совокупности ругательски ругал отца.

— Чиновник, чинодрал, чинуша и, как все чиновники,— негодяй! Нет подлости, на которую не был бы способен подобный тип... Не нужна мне его любовь!.. Не хочу ни одной копейки из его награбленных денег...

— Я слышал, что генерал нездоров,— сказал кто-то...

Лицо Наумова вдруг стало печальным.

— Да,— сказал он.— На этот раз ничего — поправился... Но кончится это все-таки плохо. Ах, право, если случится что-нибудь со стариком, я этого не переживу...

И черные глазки его затуманились слезой.

Моя кузина была очень красивая, статная блондинка и превосходная музыкантша. Наумов, как я уже сказал, был маленький брюнет, фигура некрасивая и смешная. Это не помешало ему влюбиться в мою сестру. Как человек без предрассудков, живший среди таких же «разумных людей», он не считал нужным особенно скрывать этого, но вместе с тем, как «реалист», не мог довольствоваться безнадежным обожанием. Подобно Кирсанову в «Что делать?», он решил сочетаться «гражданским браком» с падшей девушкой. Выполняя программу, он на свои скудные средства завел для нее скромную модную мастерскую, о чем довел до сведения Бирюковых. Так как Елизавета Ивановна «стала на трудовой путь», то он надеется, что его друзья не закроют дверей перед его гражданской женой.

Позволение было дано, хотя не без некоторых сомнений; можно было предполагать какую-нибудь неожиданность. Для меня это было еще одно отражение литературы в жизни. Я ждал увидеть скромную женщину, в темном платье, с застенчивым и благодарным взглядом. Наумов, конечно, поступил благородно, по-некрасовски: «И в дом мой смело и свободно хозяйкой полною войди...» Он вводил ее не только в свой дом, но и в свое общество. Конечно, нужно много такта, чтобы с первых же шагов, не вспоминая о прошлом, принять ее просто и цельно в свою среду... Однако на красивом и умном лице сестры бродила чуть заметная скептическая улыбка.

Я знал, что в такой-то вечер к Бирюковым придет Елизавета Ивановна, и шел в Чернышев переулок с особенным интересом. Впечатление оказалось неожиданным и очень ярким. Явилась дама лет под тридцать, смуглая, с заметными усиками, недурная собой, но необыкновенно вульгарная. В ней не было ни одной черты, которая бы говорила о грешнице, пережившей обновление. Очевидно, идя сюда, она была озабочена одним: чтобы «эти барыни не зазнавались перед ней». Поэтому она вела себя слишком развязно и без церемоний... Увидев раскрытое фортепьяно, она без приглашения уселась за него и, аккомпанируя себе одним пальцем, спела резким голосом что-то совершенно неожиданное. Один из гостей, приезжий из Одессы, родственник Бирюкова, взглянул на хозяйку, с отличием окончившую консерваторию, и залился неудержимым

хохотом. Для кузины это было действительно большим испытанием... Она, впрочем, перенесла его с большим достоинством. Наумов ничего не замечал и, уводя Елизавету Ивановну с этого первого ее выхода, говорил в передней:

— Ну вот видишь, Лиза... Вечер прошел прекрасно. Я говорил тебе: люди простые и хорошие.

Посещение, впрочем, не повторилось. На следующие вечера Наумов приходил один, а вскоре мы узнали, что гражданские супруги «не сошлись характерами». Мастерская осталась без хозяйки. Эту новость первая сообщила сама Елизавета Ивановна. Встретившись с моей кузиной на Загородном проспекте, она поздоровалась как добрая знакомая и сказала развязно:

— А я, послушайте, Сашку своего уже побоку... Зазнайка. Задается очень!.. Мастерскую тоже завел!.. Очень нужно... мне плевать, что он писатель! Свистнуть только, двадцать таких найдется... Еще получше...

Наумов был грустен и о своем неудачном «браке» не заговаривал. Но в коллекции моего скептического опыта прибавилась еще одна изнанка идеального «литературного мотива». Я питал после этого к Наумову сложное чувство. С одной стороны, «настоящий» писатель должен быть как будто иной. Но, может быть, «настоящего идеального писателя» совсем нет, как нет и «настоящего студента». Наумов немного смешон, но и трогателен. В нем было что-то детски наивное и привлекательное... Но, очевидно, и в литературе не святые горшки лепят...

Однажды он с обычной решительностью сообщил мне, что в настоящее время в «Русском мире» нужен обозреватель провинциальной жизни. Работа легкая — составлять обозрения по корреспонденциям... Насколько он успел узнать меня, он ручается, что я с нею справлюсь. Я колебался, но он настаивал и взял с меня слово, что я непременно дня через два схожу в редакцию, а он завтра же предупредит обо мне Комарова.

Я всю эту ночь не спал. Выйдя из Чернышева переулка, я пошел бродить по улицам, охваченный особым настроением... С раннего возраста я мечтал о литературе... Каждое заметное впечатление, каждый поразивший меня образ я пытался облечь в подходящее слово и не успокаивался до тех пор, пока не находил наиболее

подходящего выражения. Даже сны чередовались у меня то в виде сменяющихся картин, то в виде рассказа о них. Несколько раз мне случалось просыпаться в каком-то восторженном состоянии. Я будто написал превосходный рассказ или поэму. Обрывки последних картин, последние строки стихотворений еще горели в мозгу, быстро исчезая, как след дыхания на хрустальном стекле. Только, увы, я не мог вспомнить содержания написанного, а если вспоминал несколько последних стихов звучной поэмы, то при ближайшем рассмотрении в них не оказывалось ни размера, ни рифмы.

Предложение Наумова казалось мне сначала невозможным: неужели я стану писателем, хотя бы и газетным? И то, что я напишу, будут набирать и печатать?.. И Рогов будет это корректировать... И тысячи людей будут читать... Невероятно, но мне хотелось верить в невероятное... И я верил всю эту ночь...

Весенние ночи уже белели... Вечерняя заря еще не совсем встречалась с утренней, но и та и другая стояли, смутно сливались где-то в высоте, ближе к северной стороне неба. Я бродил по каналам и улицам, присматриваясь к ночным группам, прислушиваясь к смутному говору в сумерках, заходя в поздние кабачки, восприимчиво ловя эти проявления ночной жизни столицы. И мне казалось, что весь Петербург под покровом этой ночи, озаряемой откуда-то сверху мечтательным светом, живет, и рокочет, и движется, и шевелится в сумраке лишь для того, чтобы я научился разгадывать его и передавать тайны на страницах «Русского мира». Какое это отношение может иметь к провинциальному обозрению — этим вопросом я не задавался.

Разумеется, этой глупой мечте суждено было разлететься прахом, как только я робко явился в редакцию. Какие-то два господина с ножницами в руках и с перьями за ухом выслушали мои объяснения, как люди очень занятые, которым некогда.

— Вы говорите, Наумов писал? Погодите минутку — может быть, письмо у Комарова...

Он вошел в соседнюю комнату и через минуту вышел оттуда, слегка пожимая плечами.

— Письмо получено, но... Что же вам сказать? Напишите что-нибудь... Если пригодится, будет напечатано...

Это как раз то самое, что впоследствии и мне приходилось много раз отвечать застенчивым юношам, приходящим в редакцию с такими же наивными предложениями сотрудничества. Может быть, и они тоже слышат невнятные призывы зовущей белой ночи и верят в невероятное и уходят разочарованные. Все это старо, и все понятно, но вместе с тем так огорчительно... Мечта за мечтой уносятся ветром...

IX
ДЯДЯ ПОДВОДИТ ИТОГИ МОЕГО ПЕРВОГО ГОДА: «ОН СТАЛ ХУЖЕ»

Под конец этого первого моего петербургского года наша компания внезапно разбогатела. В последние годы в гимназии после смерти отца я и мой брат были зачислены «стипендиатами его величества». Теперь мать писала мне, что благодаря стараниям друга моего отца, местного священника Барановича, знакомого с графиней Блудовой, эта стипендия может быть продолжена и в высшем учебном заведении. Мне нужно сходить к графине Блудовой в Зимний дворец, а она уже укажет, куда следует обратиться дальше. Она, наверное, все уже сделала... «Смотри же, непременно сходи!» — прибавляла мать.

Года два спустя я, не колеблясь, отверг бы этот проект. Но в то время мои политические понятия были так же смутны и непоследовательны, как и литературные... Я готов был работать в газете Комарова, хотя сочувствовал Добролюбову, и я не видел ничего предосудительного в стипендии его величества, хотя мечтал о республике... Мать писала, что сходить к Блудовой прямо необходимо. Мне очень не хотелось, но я пошел. Товарищи общими усилиями снарядили меня в приличный сборный костюм, и, не веря себе, я вошел с одного из маленьких подъездов со стороны Невы внутрь Зимнего дворца. Широкие лестницы с коврами, лакеи в дворцовых ливреях и гвардейские солдаты, то и дело откидывающие от плеча ружья, приставленные прикладом к ноге. Графиня, маленькая, полная женщина, довольно некрасивая, встретила меня очень добродушно, сказала, что она получила все сведения от Барановича и кое-что

уже сделала. Мне следует отправиться с ее карточкой к князю Голицыну, в канцелярию прошений, подаваемых на высочайшее имя. Это был как раз приемный час, и князь Голицын принимал. Он уже знал о моем деле и очень ласково объяснил мне, что стипендию сейчас выдать нельзя. Суммы исчерпаны.

— Но,— продолжал князь,— мы, несколько добрых знакомых графини, узнав о заслугах вашего отца и о положении семьи, позволили себе (он так и сказал) выразить свое сочувствие и участие сбором некоторой суммы, которую вы можете получить сейчас.

Дежурный чиновник подал князю конверт, который тот протянул мне.

Кровь бросилась мне в лицо. Отдернув руку, я сказал с волнением, что я не просил и не рассчитывал на милостыню, а только на официальную стипендию, налагающую известные обязательства по будущей службе. Наскоро откланявшись, я ушел с некоторым облегчением... «Ну вот — побывал и с чистой совестью напишу матери, что дело кончено...»

Но через несколько дней в нашу квартирку позвонился дворцовый курьер и подал официальное приглашение — явиться в такой-то день и час в ту же комиссию. Там опять встретил меня князь Голицын. Это был очень красивый высокий блондин, с мягкими чертами и мягкими манерами. На этот раз вид у него был официальный и несколько суровый. Он тут же усадил меня за стол, продиктовал текст прошения, под которым следовало подписаться: «Вашего величества верноподданный студент такой-то», и сказал официально:

— Ваше прошение удовлетворено, и вот за полугодие... Выдайте, Иван Иванович, а вы распишитесь.

Я расписался в получении ста семидесяти пяти рублей.

Никогда еще в жизни у меня сразу не было таких огромных денег. По пути домой я зашел на Малой Морской в кондитерскую и купил целую кучу сладостей.

Благополучие это пришло для нас слишком поздно: год все равно был потерян. Мы только исправили изъяны наших костюмов, расплатились с Цывенками, с некоторыми другими долгами и... совершили несколько экскурсий увеселительного характера, впрочем, довольно невинного свойства, а затем все уехали на каникулы.

Таким образом, первый год моей петербургской жизни закончился.

Чем и как?..

По дороге домой я опять заехал к дяде в Сумы, и дальше мы поехали вместе. За этот год он сильно исхудал, огромные глаза его горели зловещим лихорадочным огнем. Он очень любил меня с детства и теперь опять встретил радостно, но через несколько времени я заметил, что его печальные глаза все чаще останавливаются на мне пытливо и тревожно.

— Ты изменился за это время,— говорил он.

Да, я изменился. Я был уже не тот, который год назад так глупо загорался от декламации Теодора Негри. Теперь я не дурак, меня этим не проведешь! Я многое увидел в жизни, розовый туман передо мной рассеялся. Я узнал, что под самой умной наружностью «настоящего студента» может скрываться Васька Веселитский, что в «Отечественных записках» может писать бедняга Наумов, а «извлеченные из мрака заблуждения» девицы оказываются наумовскими Лизочками... Столичная жизнь за этот год не подняла меня к себе. Наоборот — мне казалось, что она опустилась до моего уровня. Я тускл и неинтересен... И она тоже... Пусть... Я как будто гордился этим своим теперешним «умом»... «Настоящих», «идеальных» нет совсем, и я не хуже, а может, и умнее многих...

Однажды, уже в деревне, в саду я случайно услышал обрывок разговора дяди с матерью.

— Да, это правда,— говорил дядя,— он возмужал, стал развязнее, пожалуй, остроумнее... Не краснеет при каждом слове, как прежде. Но, как хочешь, прежде он мне нравился гораздо больше... Теперь он стал хуже...

Мне стало больно от этих слов. Я очень любил этого своего дядю и сознавал с печалью, что он прав: я был лучше, когда жизнь для меня была в розовом тумане. Еще на днях мы с Сучковым съездили на несколько дней в деревню к Гриневецкому и в качестве петербургских студентов вели себя там такими развязными дураками — может быть, именно от природной застенчивости,— что еще теперь, спустя более сорока лет, мне становится стыдно при этом воспоминании. И вот теперь этот отзыв дяди, печально суровый и правдивый...

«Ну ничего,— сказал я себе, тряхнув головой.— Будущий год все это поправит».

X

КОРРЕКТУРНОЕ БЮРО СТУДЕНСКОГО.— Я ПРИНИМАЮ ВНЕЗАПНОЕ РЕШЕНИЕ

Ни следующий, ни начало третьего года ничего не поправили. В этот год вся наша семья переехала на север. Мы были очень дружны с моим двоюродным братом, сыном того самого капитана, о котором я так много говорил в первом томе этой правдивой истории.

Этот двоюродный брат, артиллерийский офицер, долго жил в нашей семье, и теперь его перевели в Кронштадтскую крепостную артиллерию. Мой старший брат решил тоже переехать в Питер, а затем и мать, чтобы быть ближе к нам, решилась поселиться вместе с племянником в Кронштадте. Младший брат поступил в Петербурге в реальное училище.

Приходилось думать о заработке. Я продолжал рисовать атласы, брал еще чертежи, рисовал географические карты для печати, вместе с старшим братом переводил для Окрейца романы по семи рублей с печатного листа и вообще занимался подобной черной работой. Раз в неделю для отдыха мы с братьями садились на кронштадтский пароход и воскресенье проводили у матери.

Так прошел второй год, так же начинался третий.

Осень этого года застала меня в «корректурном бюро» некоего Студенского. Это было для меня самое тяжелое время. Мой старший брат, кажется, первым пристроился к корректуре, стал работать у Демакова, а затем поступил на постоянную работу к Студенскому.

Это была фигура оригинальная, в чисто диккенсовском роде. Высокий, худой, желтый, лицо почти безусое и дряблое, все в мелких складках и морщинках, светлые, неопределенного цвета глаза, производившие впечатление мутных льдинок, и при этом — прекрасные волнистые светло-каштановые кудри, в рамке которых странно выступала эта безжизненная маска.

Он предложил брату постоянное жалованье и комнату. Брат принял предложение, а затем Студенский предложил то же и мне. Для первого знакомства он поднес нам свое литературное произведение. Это была небольшая брошюрка с очень длинным заглавием: думаю, что память мне не изменяет,— оно было следующее:

ЦИТАЦИЯ И ТОМИЗАЦИЯ ЗАКОНОВ
В ПРИМЕНЕНИИ К ТИПОГРАФСКОМУ ИСКУССТВУ

а равно

*Произведение это предлагает
новое расположение светил небесных
и букв в азбуке*

Другое его произведение носило не менее оригинальное заглавие:

ФИЛОСОФ, КОКЕТКА

и упраздненный третий

Что касается содержания обоих этих творений, изложенных безукоризненно в грамматическом и корректурном смысле, то это было какое-то запутанное словоизвитие, лишенное всяких признаков здравого смысла.

— Изволили прочитать? — спросил он меня на следующий день.

Я прочитал, заинтересованный заглавием, но затруднился дать какой-либо отзыв.

— Да, это требует некоторой философской подготовки, — самодовольно заметил автор.

Вначале я просто подумал, что имею дело с сумасшедшим маниаком, и на меня напала легкая жуть. В особенности когда он сообщил, что, кроме полистной работы, у нас будет еще особая работа по часам над некоторым его личным учено-литературным начинанием.

— Я осуществляю оригинальнейшую мысль, — говорил он своим тусклым, мертвым голосом, — издаю русско-французский словарь, в котором слова будут расположены не по начальным буквам, а по окончаниям.

Однако оказалось, что этот человек с такими фантастическими идеями отлично устраивал свои практические дела. Он основал бюро, в котором сосредоточил корректуру нескольких более или менее крупных предприятий. Он корректировал «Родник», «Неделю», «Французско-русский словарь» Макарова, какой-то научный еженедельник, все, что печаталось в огромной типографии Демакова и еще в нескольких маленьких типографиях. Сам он был корректор превосходный, очень быстро применялся к индивидуальным корректурным требованиям каждого издания и каждого от-

дельного автора. Но работал он чрезвычайно медленно и, конечно, не мог бы справиться с такой массой работы. Поэтому он раздавал ее по рукам нуждающимся молодым людям и девицам, причем отлично оценивал ту степень горькой нужды, которая отдавала их в его руки. Редко он платил им половину того, что получал сам.

Не могу вспомнить без содрогания об этих двух-трех месяцах моей жизни, когда мы с братом жили у Студенского. Квартира его помещалась в узком Демидовском переулке, почти против пересыльной тюрьмы. Под нею в подвальном этаже находилась шоколадная фабрика. Из нее несся вместе с пряным удушливым запахом постоянный глухой гул машины, от которого слегка вздрагивали полы и окна. Когда мы открывали окна, выходившие в Демидовский переулок, волны пряного пара врывались порой в комнату. Отделывая квартиру по своему странному вкусу, Студенский распорядился оклеить ее темно-синими обоями. Двери и карнизы были черные, даже потолок довольно темного цвета. В общем, комната напоминала гроб. От времени до времени черная дверь приоткрывалась, в ней показывалось лицо-маска, и длинная сухая рука Студенского протягивала в щель большой корректурный лист, резко и траурно белевший на темном фоне... На меня нападала невольная оторопь.

За вычетом довольно высокой платы за комнату, мы зарабатывали с братом рублей по пятидесяти. Но для этого приходилось работать с раннего утра до поздней ночи, едва урывая час, чтобы наскоро пообедать в какой-нибудь дешевой кухмистерской и пробежать там номер газеты. Если выдавались какие-нибудь промежутки в основной работе, Студенский тотчас же старался заполнить их работой «по часам». Это значило, что он снимал со стены длинные полосы «словаря по окончаниям», и нам приходилось тянуть эту бесконечную и бессмысленную канитель. Это была работа «хозяйская», очень дешевая (что-то копеек по шести в час) и совершенно бессмысленная, а потому особенно тяжелая. Человек с мертвой маской вместо лица и с тусклыми ледяными глазами держал нас все это время в цепких костлявых руках, точно фантастический вампир. Оказалось вдобавок, что сердце его доступно обычным человеческим слабостям. Поэтому он иногда прикомандировывал к нам в качестве «чтицы» некую барышню, совершенно не способную даже к этой нехитрой работе.

Мы становились под влиянием обстановки болезненно-нервными, а брат, обладавший вообще нетерпеливым темпераментом, часто выходил из себя.

— Тут не так,— говорил он, пока еще сдержанно, ожидая, что «чтица» поправит неправильность по рукописи. Но бедная помощница давно потеряла текст и теперь тщетно старалась найти требуемое место. Брат начинал терять терпение:

— Я жду,— говорил он, уже волнуясь, но помощница, потеряв всякую надежду найти в рукописи требуемое место, вдруг подымала глазки к потолку и с наивно-любознательным видом произносила:

— Вот что. Я давно хотела спросить вас: что такое «скваттер» и «фермер»?

Брат окончательно терял терпение, хватался за голову, начинал топать ногами и произносил с бешенством:

— К черту скваттеров!.. К дьяволу фермеров!.. Ко всем чертям всех вместе!.. Давайте рукопись и сидите молча... Я буду читать один...

Глаза бедной барышни расширялись от испуга, и на них появлялись слезы...

— Погодите, она разовьется,— говорил Студенский, до слуха которого доходили эти вспышки...

Вскоре в этой обстановке и в этой тяжелой атмосфере, насыщенной глухим вздрагивающим гулом и удушливыми парами, у меня повторились припадки нервной астмы, которой я был подвержен с детства. Она всегда повторялась в периоды тяжелой жизни, исчезая с переменой настроения...

Подошла ясная, теплая осень, тот период, когда на петербургских улицах в полусумраке увеличивающихся вечеров начинают зажигать фонари. Однажды в такой сумеречный час я только что вернулся из кухмистерской. Брата не было, на столе еще не лежала корректура. Открыв окно, я лег на подоконнике и высунулся в переулок. Было свежо и приятно. Резкий ветер от взморья освежил воздух, дышалось легко. Мимо нашего окна быстро пробежал фонарщик с лестницей на плече, и вскоре две цепочки огоньков протянулись в светлом сумраке...

Я почувствовал, как внезапная, острая и явно о чем-то напоминающая тоска сжала мне грудь. Она повторя-

лась в эти часы ежедневно, и я невольно спросил себя, откуда она приходит. В ресторане я прочитывал номера «Русского мира», в котором в это время печатался фельетоном рассказ Лескова «Очарованный странник». От него веяло на меня своеобразным простором степей и причудливыми приключениями стихийно бродячей русской натуры. Может быть, от этого рассказа, от противоположности его с моею жизнью в этом гробу — веет на меня этой тоской и дразнящими призывами?

Я взглянул вдоль переулка. Цепь огоньков закончилась. Они теперь загорались дальше, наперерез по Мойке и Малой Морской. Я вдруг понял: моя тоска от этих огней, так поразивших меня после приезда в Петербург. Тогда были такие же вечера, и такие же огни вспыхивали среди петербургских сумерек. С внезапной силой во мне ожило настроение тогдашней веры в просторы жизни и тогдашних ожиданий. А затем быстро пронеслись в памяти эти два года: мансарда на Малом Царскосельском, голод, бессмысленная работа над атласами, Веселитский, Паша Горицкий, чертежная доска в институте, Ермаков, целый ряд разочарований... И вот теперь этот гроб...

Тихо скрипнула дверь, показалось мертвое лицо Студенского, и сухая рука протянула полосы словаря. Я подошел к дверям и как-то неожиданно для себя сказал:

— Я прошу вас рассчитать меня: через несколько дней я уезжаю в Москву.

Наша компания первого года вся рассеялась. Гриневецкий перешел в Горный институт, поселился в самых дальних линиях Васильевского острова, не показывался оттуда к прежним товарищам и упорно занимался, вновь получая деньги от родителей. Сучков уехал в Москву, где поступил в Петровскую академию. Там же было в это время еще несколько земляков, в том числе Мочальский, один из лучших моих товарищей. Получив как-то мое грустное письмо, он предложил бросить все в Петербурге и приехать в академию. Меня примут, хотя год уже начался. На первое время я поселюсь с земляками, а там, наверное, со своим рисованием опять найду работу.

Сначала мне это показалось совершенно невыполнимым, но теперь эта острая тоска по чему-то дорогому,

потерянному, странный язык этого полусумрачного вечера с огоньками фонарей — сказали другое. Через неделю, получив у Студенского несколько десятков рублей, я съездил в Кронштадт, чтобы попрощаться с матерью. Она даже обрадовалась моему проекту. Впереди ей рисовалась для меня карьера лесничего, скромный лесной домик, в котором под ее крылышком вновь соберется наша семья...

Через несколько дней я был уже в Петровской академии.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

В Петровской академии

I

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

В этом месте моих воспоминаний на меня точно веет струя свежего воздуха, и прежде всего в прямом, не переносном смысле. Уже от Москвы дорога пролегла лесными аллеями с запахом свежего снега и сосны. Пустые дачки среди леса, потом красивое здание академии, церковка, парк, плотина, пруд под снегом в одну сторону, открытые дали в другую и своеобразный поселок с двухэтажными Ололыкинскими номерами (незадолго перед тем переименованными в номера Благосклонного). Всюду только фигуры крестьян и студентов. Понятно, как все это подействовало на меня после Демидовского переулка, комнаты с темными обоями и черными дверьми и «корректурного бюро Студенского». С этого времени начинается для меня новый период жизни и новое настроение...

Петровская академия была открыта 21 ноября 1865 года во дворце, принадлежавшем когда-то Разумовскому. Ровесница крестьянской реформы, академия отразила на первом уставе своем веяния того времени. По этом уставу никаких предварительных испытаний или аттестатов для поступления не требовалось. Лекции мог слушать каждый по желанию — какие и сколько угодно. Кроме постоянных слушателей, допускались и посторонние с платою по шестнадцати копеек за лекцию. Первые три лекции, если разрешал профессор, могли быть и бесплатными. Переходных курсовых испытаний не полагалось, а были лишь окончательные экзамены для лиц, желавших получить диплом. Курс был трехгодичный, но экзамены можно было сдавать в какие угодно сроки... Группа студентов заявляла о своем желании, и профессор назначал день экзамена. По выдержании экзаменов по всем предметам выдавался диплом на степень кандидата. На слушателей смот-

рели «как на граждан, сознательно избирающих круг деятельности и не нуждающихся в ежедневном надзоре».

Все надежды, оживлявшие интеллигенцию освободительного периода, отразились в этом уставе, нашли в нем свое выражение. Свобода изучения и вера в молодые годы обновляющейся страны — таковы были основания устава. Наука не искала усердия по принуждению. Развертывая перед жаждущими все свои средства, она с достоинством ждала всего от любви к знанию и верила в эту любовь, не гоняясь за нею с контролем и регламентацией... Таинственное покрывало Изиды, делающее из науки что-то вроде профессиональной тайны для посвященных, снималось. Все призваны, и каждому предоставляется судить о своей пригодности. Дипломы не дают знания, а истинное знание найдет себе применение и без казенного диплома.

Таковы были основные идеи этого устава, который просуществовал только семь лет. В 1872 году последовало преобразование, приблизившее академию к обычному типу высших учебных заведений. «Слишком либеральный устав» не выдержал испытания...

Один мой земляк, студент Петербургского университета Гродский, нарочно пришел ко мне, чтобы рассказать о Петровской академии. Он был много старше меня, учился ранее в Московском университете и хорошо знал нравы петровцев. Он был юморист, и рассказы его были проникнуты насмешкой над либеральным уставом. В академию налетели отовсюду лентяи, не одолевшие в гимназии бездны премудрости, помещичьи сынки, выгнанные из низших классов, которым родители пожелали наиболее легким способом дать звание студента. Вообще, по словам Гродского, академия представляла из себя что-то вроде студенческой казачьей вольницы... Рассказчик с большим юмором рисовал картины «вольной жизни» петровцев. В роще, в парке, по уединенным дачам в лесу, над прудами, в весенние и летние ночи от зари и до зари гремели песни, шли попойки, и Москва была полна рассказами о необыкновенных выходках петровских студентов, вроде, например, внезапного появления перед публикой, гуляющей по главной аллее парка, какого-нибудь гуляки, выходящего из пруда в костюме Аполлона Бельведерского. Отсутствие контроля и принуждения повело к тому, что некоторые студенты экзаменовались много раз, зная

лишь часть курса, в надежде на то, что наконец попадется счастливый билет... Гродский с большим юмором рассказывал о каком-то казаке, который на вопрос о центре тяжести задумался, потом хватил себя по лбу и радостно воскликнул:

— А, знаю, знаю... Центр тяжести... это если тело повесить на нитке...

На недоуменное замечание профессора — он подтвердил безапелляционно:

— Не говорите мне... Я теперь верно вспомнил: если тело повесить на нитке, то это и будет центр тяжести. Посмотрите сами у Гано!..

Другой сообщал, что клеточки размножаются при помощи яйцекладов, а насекомые — посредством самозарождения от нечистоты и т. д. Гродский рассказывал и о том, как «Московские ведомости» вели против академии систематическую кампанию, а идеалисты профессора, участвовавшие в создании устава, не находили теперь аргументов в его защиту...

Еще недавно тон Гродского мне бы очень не понравился, и я бы назвал его «циником», каким считал когда-то Ардалиона Никулина. Теперь два года петербургской жизни оставили в моей душе скептический осадок... Либеральный устав был, очевидно, основан на вере в «настоящего студента». А я знал, что такого идеального студента нет на свете, а есть только Васьки Веселитские или такие малоинтересные молодые люди, как я сам.

Теперь устав изменен, и отлично. Я поеду туда в качестве скромного ученика, буду аккуратно посещать лекции, получу диплом, поступлю на службу... Конец романтическим мечтам!.. И только еще где-то в дальнем уголке души таилась надежда: в лесном домике я напишу повесть... А там... В этом сосредоточились и притаились мои отдаленные мечты, а пока я наслаждался новыми впечатлениями и радостью встречи с товарищами.

Прошение мое о приеме в число студентов академии я послал еще из Петербурга. Если бы мне отказали, то я решил приготовиться в полгода и держать на второй курс. Но меня приняли. Товарищи сказали, что мне нужно сходить к директору Филиппу Николаевичу Королеву. В директорском кабинете меня принял седой старик небольшого роста, с большой головой, крупными чертами лица и суровым выражением. До получения

этой должности он был директором одной из московских гимназий, известной своей дисциплиной. Кажется, ему покровительствовал Катков, как человеку, который способен «подтянуть академию». Он встретил меня совершенно по-директорски. Сурово и сухо он сообщил мне, что совет согласился зачислить меня в середине учебного года условно: если я не перейду на второй курс, меня исключат. Я поклонился и вышел, чувствуя себя вновь точно гимназистом.

Когда вместе с одним из товарищей я вышел на расчищенную дорожку в парк, нам навстречу попалась компания: в центре ее обращал внимание старик с седыми пышными кудрями и моложавым лицом. Товарищ поклонился, и старик ответил, скользнув по нас взглядом живых печальных глаз.

— Это профессор земледельческой химии, Ильенков,— сказал товарищ.— Один из творцов прежнего устава.

Я с любопытством оглянулся на эту фигуру типичного шестидесятника, и мне невольно вспомнился Ермаков. И действительно, в отношениях Ильенкова к студенчеству, вежливых и холодных, чувствовалось какое-то отчуждение, и, идя к нему впоследствии на экзамен, я боялся: вдруг он взглянет по-ермаковски и скажет: «Так и знал»...

Я все-таки был очень доволен, что меня приняли. За эти годы я стосковался по правильным занятиям, и мне было приятно опять аккуратно посещать лекции, составлять записки, «подзубривать», чувствовать себя наконец неплохим студентом.

Вся обстановка академической жизни приводила меня прямо в восторг. Все кругом было своеобразно и интересно, и особенно интересно было соседство этого студенческого быта с простой жизнью Выселок. Тотчас же за плотиной находилось большое двухэтажное строение, номера Благосклонного. Это было довольно дряхлое здание, стены которого как будто навсегда пропахли табаком и пивом. В нем было два коридора (вверху и внизу), в которые выходили двери отдельных номеров. Акустика была такая, что слово, сказанное громко в одной комнате, отдавалось всюду. Кроме этих номеров, студенты ютились также в маленьких «дачках», и вся жизнь студенчества, как и жизнь «выселковцев», шли параллельно, были на виду.

II
СТАРЫЕ СТУДЕНТЫ

Я приехал к концу рождественских каникул, и некоторое время мне оставалось только жадно наблюдать новую обстановку. Улицы, дворики, крыши были покрыты снегом, и товарищи посоветовали прежде всего заказать себе длинные сапоги. Мерку пришел снимать молодой сапожник, бледный чахоточный крестьянин. Поздоровавшись со мной за руку, он наморщил брови и важно спросил:

— Вельфис ур ис ес? [1]

На мой удивленный взгляд товарищи, смеясь, объяснили, что это он говорит по-немецки.

— Шпрехен зи дейч? [2] — все так же важно пояснил он и, вынув часы, прибавил: — Ес ис дрей ур...[3]

— Это его обучили старые студенты — для шутки,— пояснили после товарищи. Молодой сапожник любил щеголять знакомством с прежними студентами, а к новым относился пренебрежительно. «Измельчал народ,— говорил он,— нет теперь настоящего студента. Вот Иван Семенович был... Кулаком двери в один раз вышибал... Собаку, бывало, за хвост поймает, сейчас на древо зашвырнуть норовит... Теперь таких уже и нет...»

Действительно, новый устав резко изменил и возрастной состав, и физиономию петровского студенчества. От прежних осталась только небольшая группа, которую так и называли — «старые студенты».

Через несколько дней после моего приезда в номерах происходила пирушка этих старых студентов. Они пили, пели песни и шумно спорили. Часам к десяти вечера этот шум достиг необычных размеров, а через некоторое время послышалась возня.

— Гонят Орехова,— пояснил пришедший к нам сосед, смеясь.— Теперь начнется история.

В этой компании были два приятеля, отношения которых странным образом напоминали отношения Горицкого и его друга-врага Белавина. Вольфрам с Ореховым были оба кавказцы, гимназические товарищи. Большие друзья в трезвом виде, они становились врагами, как только напьются... Начинал обыкновенно Орехов, который по мере опьянения становился язвительно

---

[1] Который час? *(искажен. нем.:* Wieviel Uhr ist es?) — *Ред.*

[2] Говорите ли вы по-немецки? *(нем.:* Sprechen Sie deutsch?) — *Ред.*

[3] Три часа... *(нем.:* Es ist drei Uhr...*) — Ред.*

остроумен и придирчив. Вольфрам сначала уступал, а потом лез в драку... Товарищи знали, что Орехов необыкновенно силен, а пьяный вдобавок свирепеет, и вступались общими силами за Вольфрама. На этот раз тоже кончилось тем, что Орехов общими силами был извергнут из номера.

— Теперь пойдет по Выселкам и будет искать, с кем подраться,— пояснил тот же наш сосед.

Мне нужно было за чем-то в лавочку, и я вышел в коридор. Внизу горела тусклая лампочка. Едва я сошел вниз, ко мне из-под лестницы внезапно выбежал рослый красавец Орехов. Он был строен, необыкновенно широкоплеч и тонок в стане. Выскочив из темного угла, он вдруг схватил меня за плечи, но затем, вглядевшись в мое лицо черными глазами, горевшими на бледном лице, сказал:

— Вы кто такой?.. Вы не от них?.. Нет?.. А, это новичок!.. Ну, извините... У меня нет с вами никаких счетов...

И, выйдя вслед за мной, он скоро исчез в снежной зимней тьме... На следующий день стало известно, что он учинил большую драку в фабричном поселке, верстах в двух от Выселок.

А пирушка продолжалась долго за полночь... Под утро я проснулся от разговора в соседнем номере. Надежда Ивановна, сожительница Вольфрама, укладывала его в постель. Он плакал и говорил, что ему надо идти разыскать Орехова... Орехов оскорбил ее, Надежду Ивановну, а он, Вольфрам, не позволит никому оскорблять ее. Правда, он сам по отношению к ней — неблагодарное животное... В этом году кончает курс и бросит ее... Откровенно говорит, что бросит... Ему нужно начать новую жизнь... Совсем новую... иначе и он погибнет, и она с ним... Но все-таки он — скверное животное... Впрочем, все люди животные, и Надежда Ивановна тоже... И не то что животные, а просто машины... Конечно, машины... А вы этого и не знали?.. Думали: душа и прочее... Пустяки... Человек — машина, и кончено!.. И вы машина... О, да какая вы умная машина вдобавок... Успела уже стащить сапоги...

И долго еще он говорил что-то, куда-то порывался, и порой ему отвечал женский голос, кроткий и печальный. Вскоре, очень заинтересованный, я познакомился с Вольфрамом и Надеждой Ивановной, а потом и с Ореховым. Вся компания напомнила мне петербургских

знакомых-костромичей, и особенно Пашу Горицкого. Это были последние могикане прежней академии. В их лице сходило со сцены целое поколение нигилистического периода.

III
РАЗРУШИТЕЛЬ ЭДЕМСКИЙ

Была и еще одна чрезвычайно характерная фигура из этих старых студентов. Это был некто Эдемский. Он поступил еще при старом уставе, потом был исключен, как привлеченный к нечаевскому делу, отбыл ссылку и поступил вторично при новом уставе. О своем «нечаевском» прошлом он говорить не любил. В академии вообще мало говорили об этой истории, хотя в мое время еще существовали развалины «Ивановского грота» и были люди, которые знали действующих лиц этой трагедии. По всем рассказам, которые мне пришлось слышать, Иванов, убитый нечаевцами, был прекрасный человек, и не могло быть никакого сомнения, что он не собирался донести о заговоре, как в этом уверял Нечаев. Он просто разглядел приемы Нечаева и решил уйти из организации, а Нечаев, в свою очередь, решил убить его, чтобы «скрепить кровью» свою первую конспиративную ячейку. Он думал, что можно всю Россию охватить сетью таких отдельных конспиративных кружков, связанных железной дисциплиной, хотя бы цементом явился только обман...

Каждый член кружка обязуется основать такой же кружок. Таким образом, «революция» растет в геометрической прогрессии. В известный день приказом сверху, от центрального кружка,— в России объявляется свободный строй. Приказ идет от кружка к кружку, не знающих даже друг друга, и страна вдруг узнает, что она чуть не вся революционна и свободна... Впоследствии, уже в Сибири, мне довелось встретиться с людьми, которыми этот человек успел овладеть теми же приемами, то есть обманом и кровью. Но об этом мне придется говорить в другом месте, а пока скажу лишь, что нечаевское дело было характерно для нигилистического периода. Никакой веры, на которую могло бы опереться это поколение,— как последующее, например, верило в народ... У них был только крайний рацио-

нализм и «математический расчет», более наивный, чем любая, самая наивная вера.

Эдемский был великоросс и, кажется, бывший семинар. У него было лицо дегенерата, с резко выдающейся нижней челюстью и черными, горящими глубокой страстью глазами. Он ходил в каком-то охабне вместо пальто, с суковатой палкой. В обыкновенное время молчаливый и угрюмо-сдержанный, он дружил только с двумя-тремя товарищами много моложе себя. По временам он напивался и тогда становился страшен. У него являлось странное красноречие, и он с пламенным пафосом произносил речи о необходимости всеобщего разрушения. При этом он ломал попадавшиеся ему под руку картины, фотографии, зеркала. Однажды, навязав на кнут камень, он пошел бить выпуклые стекла в здании академии. В другой раз, наготовив кучу ядер из снега, он сделал вечером засаду и с диким криком засыпал ими подъезжавшего на извозчике студента, ничего дурного ему не сделавшего. Однажды он рвался пьяный к приятелю с ружьем в руках и, наверное, застрелил бы его, если бы его не схватили сзади. Любимой темой его мрачных разговоров была необходимость кровавого террора и «миллиона голов».

По этому поводу рассказывали, что однажды удивленный собеседник заметил:

— Слушай, Эдемский, пожалуй, ты уничтожишь все человечество и останешься один...

Эдемский мрачно сверкнул глазами и, разбив об стол пивную бутылку, ответил:

— Уничтожу подлое человечество!.. Один останусь, черт возьми, и новый человеческий род произведу!..

К счастью, несмотря на устрашающий вид и неразлучную суковатую палку, он был слаб, как куренок, и все его разрушительные попытки усмирять было нетрудно. Однажды, именно в тот раз, когда он разбушевался с ружьем, кто-то пригласил ночного сторожа, и Эдемского связали. После этого дня два он ходил такой мрачный, что приятелю, позвавшему сторожа, советовали остерегаться. Казалось, это может кончиться убийством, но кончилось благополучно. Эдемский потребовал третейского суда, явился на него очень торжественно и прочел длинное пламенное заявление, написанное с присущим ему мрачным пафосом.

Он начал с самообвинения... Да, он признает себя виновным: к лучшему другу он, в увлечении принци-

пиальным спором, рвался с ружьем и хотел его убить. Он признает, что заслужил какой угодно отпор, более того: если бы его убили, застрелили из его собственного ружья, размозжили ему голову каблуками, он не сказал бы ни слова. Но с ним поступили гораздо хуже: призвали подлого альгвазила, представителя грубой силы, слугу деспотического порядка, представителя власти — той самой, которая...

За этим следовало несколько страниц, на которых с тем же мрачным красноречием излагались все преступления русского правительства, начиная чуть ли не с Иоанна Грозного.

Третейские судьи переглядывались с недоумением, но приговора, кажется, даже не потребовалось: изложив с большим волнением и искренностью обуревавшие его чувства, Эдемский как будто истощил при этом весь запас гнева и всю жажду мести. Он заплакал и протянул руку бывшему другу.

Забегая вперед, скажу, что этот странный человек кончил тоже довольно странно. В ссылке, где-то в Архангельской губернии, он женился на простой необразованной девушке, и у него пошли дети. По окончании срока он поселился в Нижнем Новгороде и по нужде поступил на место ярмарочного смотрителя с ничтожным жалованьем.

— Конечно, при этом бывают сторонние доходы от купечества,— простодушно пояснил мне человек, передавший эти сведения.

Я собирался посетить бывшего товарища, но через некоторое время узнал, что он умер.

IV

НОВЫЕ СТУДЕНТЫ.— ГРИГОРЬЕВ И ВЕРНЕР

Вскоре я, конечно, перезнакомился со своими сверстниками и товарищами. Жизнь петровского студенчества и теперь резко отличалась от жизни других заведений... Через некоторое время мы переселились из Выселок на шоссе, наняв втроем комнату на так называемой «архиерейской даче». Прямо против ее ворот стоял густой сосновый бор, и однажды волк нагло утащил у нас собаку. Самая дача, собственно, была нежилая зимой и страшно холодная. Мы покрывались всем, чем могли, и все-таки страшно зябли. Такие же дачи,

только лучше приспособленные для зимы, были раскиданы и в других местах в стороне от шоссе и в лесу. На Выселках жили два жандарма, но, разумеется, никакой возможности уследить за этими уединенными дачками у них не было, и сходки происходили часто. Помню, как в первый раз я с интересом пробирался по запорошенной свежим снегом тропинке. Огонек светил сквозь стволы деревьев, и в замерзшие окна все-таки были видны очертания многочисленных фигур. Никто не боялся выслеживания: забраться сюда сыщикам было бы небезопасно. Помню, как меня в этот первый раз поразила на сходке живописная фигура студента семинара Владимирова, который явился с револьвером на красной перевязи и, кажется, еще с кинжалом. На первый взгляд — длинные лохматые волосы, борода, высокие сапоги и это оружие придавали ему вид настоящего разбойника, но, в сущности, это был самый добродушный человек, впоследствии с честью занимавший видное место в лесном департаменте. Сам он, кажется, относился шутливо к своему воинственному виду, и, когда у него спрашивали, зачем он это делает, он отвечал, улыбаясь, цитатами о карбонарах, приходивших на лесные сходки «вооруженными до зубов». У него была необыкновенная библиографическая память, и даже спорил он не иначе, как цитатами...

Вообще, ничего серьезного на этих сходках не происходило. На этот раз говорили о том, что Королев старается ввести школьническую дисциплину и относится к студентам как к ученикам той гимназии, где он был директором. Некоторые «ораторы» призывали к протесту, но все понимали, что это не серьезно, как не серьезен револьвер Владимирова, которым стрелять, наверное, не придется...

На пирушках громко пели революционную «Дубинушку»:

Чтобы барка шла ходчее,
Надо гнать царя в три шеи...
Эй, дубинушка, ухнем,
Эй, зеленая, сама пойдет,
Пой-де-ет...

Или:

Отречемся от старого мира,
Отрясем его прах с наших ног...

Песня разносилась далеко, отдаваясь в парке... Ходили по рукам революционные издания вроде «Отщепенцев» Соколова и «Анархии по Прудону» Бакунина. Многое тут было очень «крайне» и даже свирепо. Бакунин прямо предлагал соединиться с «ворами и разбойниками русской земли», как с элементом инстинктивно революционным и анархическим... Мне кажется теперь, что это являлось тоже остатком прежнего нигилистического периода и совершенно не имело почвы в психологии новой молодежи. Студенты читали книжки об анархии, пели революционную «Дубинушку», произносили общезажигательные речи, потом получали дипломы и сливались со средой, как будто все это ни к чему их не обязывало. И сходка в занесенной снегом даче не произвела на меня большего впечатления, чем в свое время тайное собрание в Измайловском полку.

Правда, еще в Петербурге, уже во второй год моего пребывания в Технологическом институте, в редкие дни, когда я заходил на лекции, я не мог не заметить некоторого особенного оживления в студенческой среде. Между прочим, оно сказывалось на своеобразной литературе объявлений в рекреационной зале. Среди обычных объявлений о подписке на лекции, «ищут сожителя в удобной комнате» и т. д., теперь замелькали рассуждения, обличения, даже полемика. Помню, например, «вопрос о зеленых околышах». Формы тогда у технологов не было. «Но мы так пропитаны казенщиной,— писали какие-то обличители,— что не можем обойтись хотя бы без околыша. Такого-то числа компания молодых интеллигентных саврасов устроила грандиозный скандал в таком-то ресторане, причем была оскорблена женщина... Как вы думаете, товарищи: не было ли там зеленых околышей?» и т. д.

К этой литературе начальство сначала относилось снисходительно. Но вот однажды я увидел около одного листка густую толпу, сквозь которую старался пробиться кто-то из академической администрации с двумя педелями. Я тоже пробился к стене и увидел стихотворение, озаглавленное, кажется, «К бою». Оно призывало к открытому, громкому протесту против деспотизма и кончалось следующим четырехстишием:

И если деспот мощною рукою
Тебя за горло схватит наконец
И ты не в силах будешь кликнуть к бою,
То молча плюнь в лицо ему, боец.

Стихотворение быстро разошлось по рукам. Я тогда уже был в своем скептическом периоде, и на меня оно не произвело впечатления. Через несколько дней я зашел к одному из своих земляков-ровенцев. Этот бедняга попал в полосу вроде нашей, но вдобавок не отличался ни выносливостью, ни энергией. Вскоре он совершенно оголодал, позеленел и даже распух от постоянного лежания в кровати. Но у него были тоже фантазии. Поднявшись и став в позу, он неожиданно задекламировал «К бою», и это окончательно убило стихотворение в моих глазах...

В Петровской академии в этот первый год у меня продолжалось то же настроение. Я ожил, поздоровел, повеселел, но на всю массу студенчества смотрел уже без прежнего интереса и прежних ожиданий. Старые студенты будили во мне хотя бы художественное любопытство. Их фигуры были колоритнее, и у них чувствовался некоторый драматизм. В новом студенчестве я не видел и не хотел видеть даже этого.

Год подошел к концу, и весь наш ровенский кружок, в том числе и Сучков, потерявший, как и я, время в Технологическом институте, отлично выдержали экзамены. Я не только перешел на второй курс, но и получил стипендию (которых тогда было много) и собирался съездить в Кронштадт к матери. Но ранее отъезда у меня произошла одна встреча, которая имела самое решительное влияние на мое настроение и послужила началом горячей дружбы, оставшейся на всю жизнь.

Как-то в жаркий день начала лета, проходя по площадке мимо академии, я увидел молодого офицера, шедшего под руку с маленькой старушкой. Он только что вышел из канцелярии и теперь оглядывался как человек, совершенно незнакомый с местностью. Увидев меня, он вежливо поклонился и спросил, можно ли теперь осмотреть академию. Мне делать было нечего, и я предложил пойти с ними. Я провел их обоих по пустым аудиториям и кабинетам, а затем предложил осмотреть и парк. В парке тоже было почти пусто, и мы разговорились. Оказалось, что его зовут Василий Николаевич Григорьев, а старушка — его мать. Он офицер инженерной академии, второго курса, но сейчас подал прошение о приеме его в Петровскую академию. С ним поступает также его товарищ, Константин Антонович Вернер.

Это вызвало во мне внезапный интерес и глубокую симпатию. Эти офицеры не удовлетворены своей обстановкой и ищут чего-то, как и я искал когда-то. Найдут ли?.. И меня точно вдруг прорвало. Мы подошли в это время к Ивановскому гроту... Теперь это была только развалина. Вершина холма обрушила потолок, и часть грота засыпало. Место было глухое, в стороне от больших аллей. Поблизости сочился ручеек и шумели деревья. Каждый раз, когда я заходил сюда, меня охватывало чувство какой-то особенной тоски. Под шорох деревьев и тихое журчанье ручья я старался угадать значение мрачной драмы. При этом личность погибшего Иванова будила во мне странную симпатию. Может быть, он изверился, как и я...

Это ощущение нахлынуло на меня и теперь, и вот перед этим незнакомым человеком, возбудившим во мне внезапную симпатию, я неожиданно для себя излил всю горечь, накопившуюся за эти годы. Я рассказал ему о старых студентах с их драмой, и о Паше Горицком, и о нашем поколении, которое казалось мне таким мелким и неинтересным...

Григорьев слушал внимательно, и в его серых глазах, глядевших на меня из-под крутого лба, я видел глубокий интерес и участие. Но мне казалось, что этот интерес вызывается не столько самым содержанием рассказа, сколько моим настроением. Я чувствовал, что все, что я рассказывал, не ново для этого молодого офицера, что он меня понимает, но что у него есть уже на все это какой-то свой ответ. Я, в свою очередь, перешел к вопросам, но Григорьев был очень сдержан. Он рассказал только, что, окончив инженерное училище, несколько лет служил в армии. Служба его не удовлетворила. Поступил в инженерную академию, но пришел к заключению, что и это не его дорога... И вот — поступает к нам...

Было что-то в этом новом знакомом, что меня влекло к нему и вместе импонировало. Несмотря на минувшие уже двадцать лет, я совсем еще и не видел жизни и порой чувствовал себя мальчиком. А передо мной был человек, немногим старше, но уже повидавший жизнь. Я угадывал в нем свое настроение, только... Он как будто видел еще что-то, чего я не вижу. И это-то придает такую твердость и определенность взгляду его серых глаз.

В одну из последующих встреч Григорьев по какому-то поводу процитировал из Писарева: «Скептицизм, переходящий за известные пределы, становится подлостью». У Писарева это сказано несколько иначе, но мысль та же, и именно в этой форме в устах Григорьева она произвела на меня сильное и неизгладимое впечатление. И мне показалось, что я слишком самонадеянно стал преподавать ему уроки своего скороспелого разочарования.

Григорьев поступил в академию, и, так как я отправился в Петербург и Кронштадт, он просил меня непременно побывать у его друга, К. А. Вернера, и передать ему программу и письмо. Вернера я разыскал в мансарде на Пушкинской улице. Это был молодой офицер в форме инженерной академии, в обтрепанном мундирчике с талией, короткой не по росту, с буйными волосами и вообще совершенно не военного вида. Мне показалось, что, прочитав письмо, он с любопытством взглянул на меня. Мне он понравился.

Вернер также поступил в академию, и, вернувшись с каникул, я близко сошелся с обоими, особенно с Григорьевым. С этих пор многое, что происходило выдающегося в дальнейшем, мы переживали уже вместе.

Этот второй академический год отмечен для меня близким участием в студенческой жизни. В академию поступило несколько архангельцев, в том числе два брата Пругавины и Личков. В Архангельске жил в эти годы в ссылке Василий Васильевич Берви (Флеровский), в доме которого бывало много молодежи, и архангельцы явились с значительным «настроением». Кроме того, у Григорьева была особенная способность сходиться с людьми, и через некоторое время он сообщил мне, что среди наших студентов он встретил несколько человек очень интересных. И он рассказал, что именно в них интересно. Я их не заметил ранее вследствие своего предубежденного взгляда, и теперь те же люди представились мне уже в другом свете. Поэтому и интерес к студенческой жизни возрастал. Я бывал на сходках, которые продолжались по-прежнему, но дело теперь пошло гораздо живее. Взносы в студенческую кассу утроились, а неофициально существовавшая библиотека значительно обогатилась. На сходках обсуждались конкретные вопросы быта, и это придало им живой интерес, привлекший значительные круги прежде равнодушного студенчества. Но этим не ограничилось.

V

СТАТЬЯ ТКАЧЕВА И «ВПЕРЕД»

Однажды Григорьев дал мне прочитать номер нелегальной заграничной газеты (кажется, «Набат») со статьей Ткачева. Ткачев был довольно известный писатель, работавший в благосветловском «Деле», и эмигрировал после нечаевского процесса, к которому привлекался вместе с своей «гражданской женой», Дементьевой. В нечаевском процессе оба они занимали особое место, и тогда много говорили по их поводу, между прочим и о «гражданском браке». Статья Ткачева, которую дал мне Григорьев, была полемическая и была направлена против Лаврова, который тоже бежал из ссылки (в Вологодской губ.) и основал за границей журнал «Вперед». Я знал Лаврова по его «Историческим письмам», печатавшимся в «Неделе» и потом вышедшим отдельной книгой, которая была изъята цензурой (в нашей неофициальной библиотеке она вся была сброшюрована по номерам «Недели»). Ткачев полемизировал против программы Лаврова, звавшего молодежь «в народ» для пропаганды социалистических идей. При этом он ставил пропагандистам требования предварительной умственной подготовки, требовавшей значительного труда и времени. Ткачев считал это лишним. Его точка зрения была другая. Он звал тоже в народ, но звал идти в революционном порыве для проповеди немедленного восстания. В центре своей статьи, написанной очень красиво и страстно, он поставил образ народа-страдальца, распятого на кресте. И вот, писал он, нам предлагают изучить химию, чтобы исследовать химический состав креста, ботанику, чтобы определить породу дерева, анатомию, чтобы определить, какие ткани повреждены гвоздями. Нет, мы не в состоянии исследовать... Мы охвачены одним страстным желанием — снять жертву с креста сейчас, немедленно, без предварительных и ненужных изысканий.

Я цитирую на память и не могу, конечно, передать горячего пафоса Ткачева. Помню, что сначала статья произвела на меня впечатление именно этим своим пафосом. Мне казалось, что так должен говорить истинный революционер. Григорьев ничего не возразил, но вскоре дал мне «Вперед», в котором была программа и еще статья Лаврова: «Разговор последовательных». Я про-

чел все это залпом и был совершенно захвачен стройной системой революционного народничества. Небольшая статейка Ткачева нравилась мне просто как красивое литературное произведение. Программа и статьи «Вперед» сразу всколыхнули глубоко слагавшиеся в уме мысли и чувства, которые отлагались из всех непосредственных впечатлений жизни и литературы.

Я не стану много распространяться о народничестве... Теперь нетрудно подвести итоги и той моральной правде, которую, впрочем, многие склонны теперь отрицать, и ошибкам этого направления. Среди последних, конечно, главнейшая — это наивное представление о «народе» (под этим словом в то время еще разумели преимущественно крестьянство), о его потенциальной, так сказать, мудрости, которая дремлет в его сознании и ждет только окончательной формулы, чтобы проявлять себя и скристаллизовать по своему подобию всю жизнь...

Представление о «народе» со времени освобождения занимало огромное место в настроении всего русского общества. Он как туча лежал на нашем горизонте, в него вглядывались, старались уловить формы, роившиеся в этой туманной громаде, разглядеть или угадать их. При этом разные направления видели разное, но все вглядывались с интересом и тревогой и все апеллировали к «народной мудрости». Не говоря о славянофилах, в системе которых народ занимал такое огромное место, но даже Катков и консерваторы указывали на «мудрость народа», который, по их мнению, вполне сознательно поддерживает устои существующего строя... Для Достоевского народ был «богоносец», а Иван Аксаков еще в восьмидесятых годах любил в своей газете прибегать по разным поводам к речениям «русских мужичков», хотя бы эти «мужички» были, в сущности, толстосумы из крестьян, давно и с большим успехом перешедшие в купеческое звание. Это все равно. Уже самое происхождение из народа давало своего рода патент на обладание истинно народной мудростью. В одном рассказе Златовратского («Золотые сердца») выведен интеллигент из крестьян, медик Башкирцев. Он говорит почти нечленораздельно, но все чувствуют, что он знает что-то не известное мятущимся интеллигентам, и когда заговорит в нужную минуту, то скажет какое-то новое настоящее слово.

Невольно напрашивается сближение между этим героем довольно слабой народнической повести и Каратаевым из «Войны и мира», одного из величайших произведений русской литературы. Каратаев тоже не может связать правильного предложения, но его краткие изречения Пьер Безухов вспоминает всю жизнь, стараясь истолковать их в каком-то таинственном и почти мистическом смысле. Это же отношение к каратаевщине, несомненно, было присуще и самому Толстому, а с ним чуть не всем русским критикам, касавшимся «Войны и мира».

Вот почему система революционного народничества так быстро и всецело овладела умами нашего поколения. В социальной жизни есть свои предчувствия. Туча действительно лежала на горизонте нашей жизни с самого освобождения. Она еще не шевелилась. В ней одно время не видно было даже зарниц и не слышно даже отдаленных раскатов, но загадочная тень уже ложилась на все предметы еще светящейся и сверкающей жизни, и взгляды невольно обращались в ее сторону. Молодежь, наиболее впечатлительная и чуткая часть общества, сделала свои выводы.

Социальная несправедливость была фактом, бьющим в глаза. От нее наиболее страдают те, кто наиболее тяжко трудится. И все, без различия направлений, признают, что в этих же массах зреет, или уже созрело, какое-то слово, которое разрешает все сомнения.

Вот что тогда было широко разлито в сознании всего русского общества и из чего наше поколение — в семидесятых годах подходившее к своему жизненному распутью — сделало только наиболее последовательные и наиболее честные выводы. Если общая посылка правильна, то вывод действительно ясен: нужно «отрешиться от старого мира», нужно «от ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови», уходить туда, где «работают грубые руки» и где, кроме того, зреет какая-то формула новой жизни.

Это было наивно? Да, но эту наивность разделяли наименее романтические представители русского культурного общества того времени. Часть литературы легальной и вся нелегальная сделала из этого логические, нравственно наиболее честные выводы. А молодежь внесла присущий ей энтузиазм. И вот «революционное народничество» готово. Старик Лавров и совсем еще молодой Михайловский нашли для этого настроения яс-

ные формулы. «О, если бы я мог,— писал в семидесятых годах Михайловский,— утонуть, расплыться в этой серой, грубой массе народа, утонуть бесповоротно, но сохранив тот светоч истины и идеала, какой мне удалось добыть насчет того же народа... О, если бы и вы все, читатели, пришли к такому же решению, в особенности те, у кого светоч горит ярче моего... Какая бы это вышла иллюминация и какой великий исторический праздник она отметила бы собою. Нет равного ему в истории...»

В этой пламенной тираде — все настроение того поколения и вся теория «хождения в народ», которую «Отечественные записки» проводили в легальной литературе, а «Вперед» приносил нелегальными путями изза границы. Через некоторое время я весь был захвачен последовательностью, стройностью этой программы, которая вносила порядок во все жизненные и литературные мои впечатления. Народничество внесло в наше поколение то, чего недоставало «мыслящим реалистам» предыдущего: оно вносило *веру* не в одни формулы, не в одни отвлеченности. Оно давало стремлениям некоторую широкую, жизненную основу.

В Москве и в академии собирались теперь кружки, горячо обсуждавшие лавровскую программу. В это же время я увлекся статьями Михайловского и пропагандировал их между товарищами, указывая на прямую непосредственную связь его мыслей с тем, что мы обсуждали только на тайных сходках... Теперь я нашел то, чего напрасно искал в Петербурге: в наших тайных собраниях мы дружески и просто говорили о том, как нам жить честно и что надо делать. Я уже не искал настоящего «идеального студента». Этот неуловимый образ заменился более широким и более заманчивым образом великого, таинственного в своей мудрости народа, предмета новых исканий и, может быть, новых иллюзий... Наряду с этим я нашел многое, чего искал ранее в студенческой среде, только пришло оно проще и поиному.

VI

ГОРТЫНСКИЙ

Мне вспоминается, между прочим, один случай. В то время я был библиотекарем, и у меня в номере так называемых казенных номеров в широком шкафу поме-

щалась вся наша нелегальная библиотека. Однажды ко мне пришел студент одного из младших классов, Гортынский, и спросил какую-то книгу славянофильского направления, кажется Страхова. Выдавая ее, я не удержался от замечания, что эта книга «односторонняя». «Вот затем я и беру ее, чтобы не быть односторонним»,— ответил он.

Я с любопытством посмотрел на него. Он был одет с каким-то странным щегольством, в новенькой кургузой тужурке. Усы у него были подвиты в концах, держался он с почти военной выправкой и вообще по наружности мне не понравился. На щеках горел подозрительный румянец.

Когда я сказал Григорьеву о его замечании, тот заинтересовался, а через некоторое время, вернувшись из Москвы, рассказал мне эпизод, который, как это бывает порой, сразу запал в мою память как нечто важное и определяющее.

На небольшой сходке в частной квартире обсуждались нравственные вопросы в связи с растущим революционным настроением. Поставили вопрос, может ли цель оправдывать средства. По этому поводу говорилось тогда много, в том числе много пустяков, но это все-таки не было пустым разговором. Между прочим, в тот раз кто-то поставил вопрос конкретно: предстоит, скажем, украсть «для дела». Можно это или нельзя? Сразу общее настроение выразилось ясно: красть для доброго дела не следует, даже с утилитарной точки зрения. Кража раскроется, и тому самому делу, для которого она предпринята, будет нанесен огромный нравственный удар. Один из присутствовавших, человек последовательный, привыкший додумываться до конца, тотчас же постарался лишить собеседников этого легкого аргумента. Допустим, что кража никогда не откроется, и в этом существует полная уверенность. Например, слабоумный Плюшкин, не знающий счета собственным деньгам, раскидал на столе свои сокровища при внуке, которому вполне доверяет. Он выходит на время из комнаты, и внуку, настроенному радикально, представляется дилемма: взять для дела, которому как раз в это время нужны деньги до зарезу,— или воздержаться... Дед даже не узнает о пропаже. Никто не страдает. А для дела так нужно!

После некоторого молчания стали «подавать голоса». Один за другим, одни легко, другие с некоторым усилием отвечали:

— Взял бы... Взял бы... Взял бы...

Когда очередь дошла до Гортынского, румянец на его щеках загорелся сильнее. Он подумал еще и сказал:

— Да, вижу: надо бы взять... Но лично про себя скажу: не смог бы. Рука бы не поднялась.

На меня этот ответ и тогда произвел сильное впечатление, и впоследствии его «рука не поднимается» вспоминалось много раз. Россия должна была пережить свою революцию, и для этого нужно было и базаровское бесстрашие в пересмотре традиций, и бесстрашие перед многими выводами. Но мне часто приходило в голову, что очень многое было бы у нас иначе, если бы было больше той бессознательной, нелогичной, но глубоко вкорененной нравственной культуры, которая не позволяет некоторым чувствам слишком легко, почти без сопротивления, следовать за «раскольниковскими» формулами. Это «рука не поднимается» сыграло впоследствии важную роль в некоторых случаях моих колебаний... Да, русские руки часто слишком уж легко подымались и теперь подымаются на многое, на что бы не следовало.

Я припомнил свое первое впечатление от Гортынского и устыдился. Это все еще были поиски идеального студента. Идеал — значит, уж во всем, до костюма и усов... И вот человек в куцей тужурке и с подкрученными усами говорит такое слово, которое драгоценным камнем падает в душу и остается в ней навсегда...

Гортынский умер рано от чахотки...

VII

МИНИСТР И СТУДЕНТЫ

Среди описанного настроения кончился второй год моего пребывания в академии. Я перешел на третий курс. Сходки на лесных дачках продолжались. Кроме того, происходили порой собрания в Москве с техниками и студентами университета. Сказывалось ощутительно движение «в народ». То и дело кто-нибудь оставлял академию и исчезал. То и дело появлялись приезжие из Петербурга, собирали небольшие собрания в Москве или академии, звали с собой и «устанавливали

связи». Однажды в Москве я увидел знакомого медика Харизоменова. Он шел с двумя рабочими в картузе и поддевке и, остановясь, усердно крестился на церковь. Он сделал знак, и я не узнал его. Вместе с этим усилились аресты и параллельно возникло какое-то особенное беспокойство в студенческой среде.

Как-то в начале летних каникул академию вдруг посетил министр П. А. Валуев.

Мы имели уже удовольствие и честь видеть у себя этого знаменитого государственного деятеля. Однажды во время экзаменов случилась неожиданность: профессор Ильенков, экзаменовавший нас по земледельческой химии, прервал экзамен и вдруг прочитал лекцию о каком-то новом способе пудлингования стали, недавно примененном на уральских заводах. Мы переглядывались: специальные способы пудлингования стали не имели никакого отношения ни к земледельческой химии, ни к нашей будущей деятельности как агрономов или лесоводов... Ильенков, не пускаясь в разъяснения, попросил нас просто запомнить то, что он говорит, и приступил к продолжению экзаменов.

Вскоре дверь химической аудитории раскрылась, и в нее в сопровождении академической администрации и своих чиновников вошел Валуев. Высокий, сухой, важный и даже несколько напыщенный, он уселся за профессорским столом, провожатые расселись на скамейках, и экзамен пошел обычным порядком. Но вдруг Валуев вежливо попросил у Ильенкова позволения, с своей стороны, предложить несколько вопросов. Ильенков поклонился. На серьезном лице профессора промелькнула чуть заметная ироническая улыбка. Загадка странной лекции для нас объяснилась. Его превосходительство сразу заинтересовался вопросом: известны ли студентам обычные способы пудлингования стали? Обычные способы оказались известными. А не известны ли вдобавок новейшие способы, применяемые на уральских заводах? Студент повторил то, что сейчас слышал от Ильенкова, и при этом сделал некоторые ошибки. Это доставило видимое удовольствие министру. Он авторитетно исправил ошибки и ушел, видимо удовлетворенный, после чего Ильенков стал продолжать экзамен. Мне казалось, что старому профессору несколько совестно глядеть на своих молодых слушателей.

Посещения Валуева заканчивались порой и менее благополучно. Он явился как-то на экзамен физики

к профессору Цветкову. Яков Яковлевич Цветков был человек чрезвычайно оригинальный. Одновременно с профессорством в академии он исполнял обязанности тутора катковского лицея и на лекции в академию (за десять верст) ходил всегда пешком, невзирая на погоду. В записках какого-то туриста, напечатанных со временем в «Неделе», была отмечена встреча с Цветковым за границей. Там он тоже путешествовал пешком, и так же у него были загрязнены и обтерханы нижние края брюк. Его считали страшно скупым, но когда он умер, то узнали, что свои средства он расходовал на стипендии. Так вот, на экзамене этого оригинала Валуев тоже вдруг предложил студенту какой-то вопрос. Студент молчит. Валуев предлагает тот же вопрос в новой форме. То же недоуменное молчание. Министр поворачивается к профессору с видимым ожиданием, что тот какими-нибудь наводящими вопросами выведет студента из затруднения. Но птичья физиономия Цветкова с длинным носом, напоминавшая несколько профиль молодой галки, на которую бы надели очки, сохраняет бесстрастное молчание. Положение становится неловким.

— Студентам это неизвестно?— произносит наконец министр, глядя в упор на Цветкова.

Тот пожимает плечами и говорит бесцеремонно:

— Мне тоже неизвестно. Если известно вашему превосходительству — просим...

Министр, не считая нужным скрывать обиды, поднялся и вышел из аудитории.

Теперь Валуев явился к нам в неурочное время. Экзамены были уже закончены, и большая часть студентов разъехалась на каникулы. Остались только те, кто совсем не уезжал домой и у кого были практические работы. Академические сторожа бегали по полям, паркам и дачам, приглашая студентов явиться поскорей в рекреационную залу. В высоких сапогах, в блузах, как были на работах, мы явились в академию. Через некоторое время дверь раскрылась. Вошел Валуев. За министром, как-то боком, точно маленькая лодочка, зачаленная к кораблю, перегнув стан в направлении его высокопревосходительства, шел чиновник особых поручений, а за ним в мундире и при шпаге — Ф. Н. Королев и инспектора. Валуев шел прямо, величавой поступью и, не дойдя шага на четыре, остановился перед толпой студентов. Затем, повернувшись пренебрежительно к директору и администрации, сказал:

— Господа, прошу оставить меня наедине со студентами.

Ф. Н. Королев, почтенный на вид старик с белой бородой, почтительно, даже робко, на цыпочках удалился с инспекторами. Затянутая в вицмундир фигура министерского чиновника приняла совершенно балетную позу: верхняя часть корпуса устремлялась к министру, ноги готовы были унести его вслед за директором. Это было так комично, что среди непочтительной молодежи пронесся волной легкий смешок. Валуев, вероятно, отнес этот смех к нашему начальству. Своему чиновнику он милостиво кивнул головой и сказал:

— Вы останьтесь...

Фигура чиновника застыла в том же грациозном перегибе. На лице его выразилось восторженное внимание. Он кинул на нас взгляд, который, казалось, говорил: «Мы присутствуем при историческом событии...»

Министр начал... Он нарочно удалил наше начальство, чтобы иметь возможность свободно говорить с нами. Он понимает молодежь и надеется, что и мы тоже поймем его. В последнее время ему сообщают о прискорбных событиях в жизни академии. Для него не тайна, что академия в этом отношении не составляет исключения: среди учащейся молодежи вообще распространилось антиправительственное направление, и это ведет к самым прискорбным результатам. Студентов арестуют, ссылают... Карьера прерывается или даже гибнет... Государство лишается полезных работников... Вот он и приехал нарочно, чтобы, «просто, по-дружески» поговорить с нами об этих явлениях.

Голос у Валуева был густой, сочный и проникнутый самодовольством. Он видимо любовался собою и кокетничал своим ораторским искусством. Ему, привыкшему говорить перед царями, задача на этот раз казалась легкой. Он продолжал:

— Господа... Вы видите, борода моя поседела в трудах, которые, поверьте, далеко не всегда были мне приятны...

Тут случилась маленькая заминка: высокопоставленный оратор в этом месте речи поднес руку к предполагаемой бороде. Оказалось, что она свеже и гладко выбрита. Из толпы студентов опять послышался легкий смешок. На лице чиновника проступило выражение испуга, негодования, ужаса... Министр продолжал.

Он не станет говорить нам о том, что, получая образование в учреждениях, содержимых правительством, мы обязаны благодарностью царю как его главе... Мы можем возразить ему, что средства на учебные заведения дает русский народ и, значит, мы обязаны благодарностью только ему, а не правительству...

Он не станет также говорить о тех ожиданиях, которые наши родители, воспитатели, опекуны возлагают на наше учение, на тот диплом, который является формальной целью окончания курса. Опять мы можем возразить, что служить народу можно не только на поприще, которое требует дипломов. Далее.

Речь оратора журчала плавно, сочно и неудержимо. Но от того ли, что до его слуха все-таки доносились те маленькие смешки, которые уже два раза пробегали среди малопочтительной аудитории, или просто он, как соловей, слишком заслушался собственного пения, только фигура отрицания увлекла его слишком далеко. Он отрицал один аргумент за другим, кокетничая «знакомством с нашей точкой зрения» и подготовляя какой-то последний непобедимый довод. Но когда наконец ему пришлось перейти к положительной части аргументации и нанести нам этот последний удар, то оказалось, что он неосторожно исчерпал все свои аргументы и все опроверг «с нашей точки зрения». Для положительной части не осталось ничего. Оратор остановился в видимом затруднении. На выразительном лице его чиновника проступило страдание.

Прошла четверть минуты томительного молчания, и оратор понял, что ему, привыкшему говорить в высоких учреждениях,— на этот раз трудно выбраться с честью, а главное, нельзя закончить в том же либеральном тоне... Поэтому он вдруг заговорил с каким-то суровым ожесточением:

— Я все-таки должен вам сказать, господа, что так как вы воспитываетесь в заведении, обязанном своим существованием государю императору, то уже одно это обязывает вас уважать его правительство и подчиняться ему.

Легкий холодный поклон, и министр величаво удалился. Слушатели, несомненно, не были на этот раз расположены ни к какой демонстрации, но ироническое движение заметной волной пробежало опять по молодой аудитории. Министр был уже за порогом, но грациозный чиновник оставался и кинул порицающий и даже

враждебный взгляд. Он, без сомнения, увозил с собою в Петербург самое ужасное представление об этих блузах, высоких сапогах и об этой ужасной непочтительности...

Я нарочно восстановил в такой подробности этот небольшой эпизод, перед тем как говорить о разразившихся вскоре студенческих беспорядках, хотя он к ним не имел прямого отношения. Как-то, года через два после этого, мне случилось прочитать в газете отзыв одного англичанина о начавшейся в России волне студенческих беспорядков. «У нас,— говорил этот англичанин,— молодежь не вмешивается в политику. Она молчит и ждет своей очереди, предоставляя говорить Гладстонам и Дизраэли»...

Это мне тогда же показалось очень метким. Полное отсутствие уважения к официальным представителям политической власти, распространенное в русском обществе, играло, конечно, большую роль в волнениях молодежи. В первом томе я рассказал небольшой эпизод, когда среди взрослых я, тогда еще гимназист младших классов, услышал впервые осуждение царя Александра II за «классическую систему». Такими разговорами была полна наша повседневная жизнь. Все, в сущности, порицали правительство; поводы для этого встречались на каждом шагу. Молодежь только экспансивнее отзывалась на это настроение. И вот — перед нами наш российский Гладстон, приехавший убеждать нас. Мы не знали его как государственного человека. Слышали неопределенно и глухо, что с вступлением Валуева, заменившего Ланского, началась в России реакция... Его личные выступления у нас, это явное и легковесное кокетство ни в каком случае, конечно, не могло содействовать престижу власти среди молодежи...

VIII

ВОЛНЕНИЯ В ПЕТРОВСКОЙ АКАДЕМИИ

Может быть, под влиянием приезда министра Королев решил принять меры против растущего настроения молодежи. Меры эти он понимал в смысле чисто гимназической дисциплины: при объяснениях со студентами в канцелярии или при встречах в парке, на ферме или опытном поле он чаще делал студентам замечания за неостриженные волосы, за беспорядок в костюме, за

непочтительную позу при разговоре с начальством. Это было самое плохое, что можно было сделать в его положении. Эти придирки способны были волновать и нейтральную в остальных отношениях массу студенчества. Помню одну сходку, на которой студент по фамилии Бердников рассказал об одном из таких столкновений с директором. Многочисленная сходка волновалась и шумела. Между тем студент Бердников, упитанный и самодовольный юноша, с румянцем во все пухлые щеки, был существом самым безобидным, и впоследствии, наверное, из него вышел очень исполнительный чиновник.

Таких раздражающих мелочей, объединявших студенческую массу на вопросах школьного самолюбия и товарищества, набиралось много. Сторож казенных номеров довольно грубо остановил у входа даму, приехавшую к родственнику-студенту: женщины не допускались в номера, а только в общую приемную, и нам, в том нашем настроении, это казалось обидно: мы были уверены, что сами сумеем не допустить безобразий в своей среде... Некоторые студенты в тех же номерах стали замечать, что в их отсутствие кто-то обыскивает их вещи. Инспектора стали следить за аккуратным посещением лекций, в чем, в сущности, не было надобности. Наконец произошло событие, взволновавшее ту часть студенчества, которая была глубже затронута движением.

Некоторые из разыскиваемых студентов жили в Москве без прописки. И вот в академической прихожей стали появляться облыжные извещения о получении на имя этих скрывающихся денег или посылок. Когда они являлись, администрация задерживала их и передавала в руки жандармов. Один случай такого ареста в конторе произошел успешно и довольно тихо. В другом случае студент (кажется, Воинов), заподозрив ловушку, успел вовремя выскочить из канцелярии и побежал через двор к парку. За ним выскочил несчастный долговязый старик инспектор и бежал по двору, сзывая сторожей. Картина вышла жалкая и отвратительная. Помню, что на меня рассказ очевидцев об этом происшествии произвел впечатление, перед которым совершенно померкли чисто школьные вопросы о стрижке волос, о выговорах Королева, о недопущении родственниц в номера и о столовой, которую студенты требовали передать в их заведование.

Начались беспрерывные сходки. Собирались довольно откровенно в казенных номерах. Когда однажды явился субинспектор с сторожами, перед ним забаррикадировали дверь.

Составлялся коллективный адрес с протестом. История уже длилась около двух недель: все не могли выработать текста этого адреса. У всех была потребность заявить, что отношения с академической администрацией вызывают негодование. При этом только чисто школьные вопросы объединяли огромное большинство. Наш кружок этим не удовлетворился. Мы требовали также заявления о сыскной роли инспекции, а большинство на это не шло.

Дело томительно затягивалось; занятия не шли на ум, нужно было как-нибудь решить кризис. После одной бурной сходки мы с Григорьевым заявили, что мы более в прениях не участвуем, составим свой адрес и подадим его, хотя бы на нем были только две наши подписи. Нужно, чтобы кто-нибудь сказал правду. После этого мы удалились в мой номер, где я сгоряча составил заявление и подписал его. Григорьев, видимо, не придавая значения тонкостям (что впоследствии причинило нам некоторые неприятности), совершенно одобрил основной мотив: отношения между администрацией и студентами основаны на взаимном неуважении, а в последнее время приняли совершенно недостойные формы: инцидент с попыткой ареста студента такого-то заставляет нас смотреть на контору академии как на отделение Московского жандармского управления, а на представителей академической администрации как на его послушных агентов.

Подписав заявление, мы вдвоем объявили, что без дальнейших прений приглашаем подписываться всех, кто согласен с его содержанием, но подадим его, во всяком случае, при любом числе подписавшихся. Лист стал покрываться подписями. Первыми примкнули члены нашего кружка — архангельцы братья Пругавины, Алексей и Виктор, Никольский и Личков. Вернер, живший в Москве, приехал нарочно, чтобы присоединить и свою подпись. Вскоре набралось девяносто шесть подписей, и на этом дело остановилось. Большинство, находившее, что упоминание об арестах вводит опасные «политические» мотивы, сразу отшатнулось. Подписавшие выбрали Григорьева, Вернера и меня в качестве де-

путатов для представления адреса. Сходки прекратились. В академии наступила тишина...

Мы втроем отправились к директору. Он встретил нас серьезно и сухо, взял бумагу и стал читать ее с несколько пренебрежительным видом, в некоторых местах пожимая плечами. Но когда он дочитал до инцидента с арестами, на его бледном старческом лице вспыхнул вдруг густой румянец, который резко отграниченной полосой залил лоб и стал быстро подыматься по высокому черепу. Я даже испугался, опасаясь, что с ним может случиться удар. Но он овладел собой и сказал угрюмо:

— Вы задеваете такие мотивы, которых я с вами обсуждать не вправе... Ваше заявление будет передано в совет.

Мы откланялись и вышли.

В академии занятия пошли своим чередом; аудитории опять наполнились, но студенческая среда жужжала, как растревоженный улей. В академии было тогда около двухсот пятидесяти студентов. Значит, не подписалось и половины. Некоторые ожесточенно нападали на нас; говорили даже о каком-то контрзаявлении, которое собирался будто бы подать с кружком единомышленников тот самый студент Бердников, который так взволновал сходку рассказом о своем чисто школьном столкновении с Королевым. Многие останавливали нас при встречах и в аудиториях, горячо оспаривая адрес. Помню особенно студента Аршеневского. Это был сын очень богатого помещика, толстяк, весельчак, отличный товарищ, бурш, кутила и довольно усердный студент. Горячо соглашаясь с чисто школьным протестом, он так же горячо восстал против «введения политики». Мы с Григорьевым возражали, что это те же школьные мотивы, только на более глубокой нравственной почве. На Западе университеты неприкосновенны для полиции, а у нас инспектора собственноручно ловят своих питомцев для передачи жандармам.

Прошло недели две. Поздним вечером академический сторож принес мне официальную бумагу, в которой значилось, что товарищ министра государственных имуществ, светлейший князь Ливен, вызывает студента такого-то для объяснений. Явиться — завтра же, в восемь часов утра, в гостиницу такую-то на Лубянской площади. Такую же бумагу получили Григорьев и Вернер, живший в то время в Москве.

Вызов произвел среди студентов большое волнение. Несмотря на позднее время, товарищи прибегали ко мне с расспросами и рассказами. Слышно было от профессоров, что Ливен приехал в этот день и уже совещался с генерал-губернатором. Назавтра его ждут в академию. Так как я был довольно беспечен насчет костюма, то товарищи принесли мне ночью черную пару с иголочки. Я надел рубашку с крахмальным воротничком, щегольской галстук и лоснящиеся ботинки; все это сборное. Меня снарядили точно на праздник, и в шесть часов утра следующего дня мы с Григорьевым отправились на выселковском извозчике, носившем шутливое название фиакра, в Москву. К назначенному часу мы входили в подъезд гостиницы, а через несколько минут после нас подъехал и Вернер.

Несмотря на ранний час, князя в гостинице уже не было. Швейцар указал нам его комнату и предложил подождать. Мы ждали час. На улицах уже разгорелось полное движение, а князь не приезжал. Тогда Григорьев предложил написать на лежавшем тут же листке бумаги, что студенты такие-то являлись по приглашению в назначенное время, но, не застав никого, кроме швейцаров, и прождав более часу, уезжают. Мы поставили свои подписи и вернулись в академию. Впоследствии рассказывали, будто вскоре после нашего отъезда Ливен вернулся и, прочитав оставленную нами своеобразную визитную карточку, отправился к генерал-губернатору Долгорукову с заявлением, что из дерзкого поступка студенческих депутатов видит, что в академии готов вспыхнуть бунт. Поэтому разнервничавшийся светлейший князь требует войск для усмирения... Его успели успокоить.

Между тем в академии уже было получено распоряжение собрать всех студентов в актовом зале. Распространился слух, что мы арестованы, и это обстоятельство могло оказать плохую услугу делу успокоения студентов. Неизвестность о нашей участи чрезвычайно нервировала массу, напрягая до крайних пределов живучее и великодушное чувство товарищества. Когда мы на извозчике подъехали к академическому крыльцу, студенты высыпали из здания и встретили нас прямо восторженно. Нам пожимали руки, нас обнимали, расспрашивали наперебой. Толстяк Аршеневский, выслушав наш рассказ, горячо обнял меня и сказал:

— Превосходно. Так и надо: вы поддержали честь студенчества. Теперь мы все с вами.

Оказалось, что в часы этой томительной неизвестности кем-то предложен лист для дополнительных подписей. Теперь этот лист заполнился: к нашему заявлению присоединилась, за небольшим исключением, вся академия.

Часов около двенадцати нас всех пригласили в рекреационную залу. К директорскому подъезду подкатила коляска. Первыми вызвали нас троих как депутатов. Князь Ливен принял нас в директорском кабинете в присутствии Королева, кажется, декана, профессора Собичевского, и своего чиновника. Он заявил нам, что командирован по высочайшему повелению. Государь чрезвычайно огорчен нашим коллективным заявлением. Нам должно быть известно, что по нашим уставам студенчество не составляет корпорации. Коллективное заявление само по себе составляет преступление. Он требует, чтобы прежде всего мы принесли извинение в этом незаконном поступке. Он уверен, что остальная студенческая масса лишь слепо пошла за вожаками и от нас зависит теперь вернуть ее на путь законности.

Затем он обратился к каждому из нас в отдельности, требуя ответа.

Общее настроение студентов, сказавшееся при нашей встрече, воодушевляло нас так радостно и внушило нам такую уверенность в полном единодушии, что мы, не задумываясь, ответили с искренней уверенностью: мы являемся не вожаками, а лишь выразителями мнений и чувств всех товарищей. Я прибавил к этому, что отрицать корпоративное чувство студенчества — большая ошибка: где есть известная масса людей, объединенных общими интересами, идейными и бытовыми, там, несомненно, есть и корпорация. Это жизненный факт — признается ли он уставами или нет. Ливен сделал вид, что приходит в ужас от этого крамольного заявления, и, слегка повернувшись к Королеву, сказал:

— Если действительно таков дух, господствующий среди студентов, то я уже не знаю, как я осмелюсь доложить об этом его величеству... Академию останется только закрыть.

— Но пока,— прибавил он, опять поворачиваясь к нам, он надеется, что мы честно дадим ему возможность удостовериться в том, что наши товарищи действуют вполне сознательно, а не слепо следуют за нами.

Поэтому он ждет от нас честного слова, что мы, хотя отнюдь не арестованные, подчеркнул он, останемся в течение переговоров со студентами в директорской квартире, не стараясь каким бы то ни было образом влиять на товарищей.

Мы охотно дали требуемое честное слово. Помню, что в эти минуты я горячо любил всю эту молодую взволнованную массу товарищей, стоявших за нами. Я любил их всех вместе, любил и уважал теперь коллективное существо, называемое «петровский студент», «петровец». Мы глубоко верили в искренность и глубину общего порыва. Поэтому мы охотно обещали не пытаться влиять на решение остальных товарищей.

После этого нас удалили в особую комнату и приставили к ней какой-то караул. Вскоре у наших запертых дверей послышался взволнованный голос профессора Климента Аркадьевича Тимирязева:

— Вы не смеете не пропустить меня: я профессор и иду к своим студентам...

Дверь раскрылась, и Тимирязев быстро вошел к нам. Торопливо пожимая нам руки, он заговорил сразу:

— Знаете, господа, я не могу согласиться в вашем заявлении со многим...

Высокий, худощавый блондин с прекрасными большими глазами, еще молодой, подвижный и нервный, он был как-то по-своему изящен во всем. Свои опыты над хлорофиллом, доставившие ему европейскую известность, он даже с внешней стороны обставлял с художественным вкусом. Говорил он сначала неважно, порой тянул и заикался. Но когда воодушевлялся, что случалось особенно на лекциях по физиологии растений, то все недостатки речи исчезали, и он совершенно овладевал аудиторией. Я рисовал для его лекций демонстративные таблицы и каждый раз приходил к нему в деревянный домик, у самого въезда в академическую усадьбу, с таким же чувством, как когда-то к Авдиеву в Ровно. У Тимирязева были особенные симпатические нити, соединявшие его со студентами, хотя очень часто разговоры его вне лекций переходили в споры по предметам «вне специальности». Мы чувствовали, что вопросы, занимавшие нас, интересуют и его. Кроме того, в его нервной речи слышалась искренняя горячая вера. Она относилась к науке и культуре, которые он отстаивал от охватывавшей нас волны «опростительства», и в этой вере было много возвышенной искренности. Мо-

лодежь это ценила. Кроме того, мы были уверены, что его не менее нас возмущала сыскная роль инспекции... Поэтому мы с интересом приготовились выслушать его замечания, но беседа была прервана в самом начале. Следом за Тимирязевым торопливо вбежал субинспектор и сообщил, что собрался совет и что его ждут в директорском кабинете. Кажется, его свидание с нами возбуждало некоторую тревогу в близорукой администрации — хотя, конечно, если что-нибудь способно было пошатнуть нашу уверенность, то это могли быть слова Тимирязева. Но его точка зрения совпадала с казенной... Впоследствии мы узнали, что Тимирязев резко протестовал против того, что Ливен опрашивает администрацию и даже полицейских, не имеющих никакого отношения к академии, ранее чем обратиться к совету. Вскоре началось заседание, и по временам до нас доносился звонкий голос Тимирязева, хотя слов разобрать было невозможно.

Когда Тимирязев ушел, дверь к нам опять открылась. Вошел местный исправник, по фамилии, если не ошибаюсь, Ржевский. Это был пожилой мужчина, белокурый, с проседью, вообще какой-то белесый, что придавало ему добродушный вид. Войдя к нам, он отстегнул саблю и распустил пуговицы мундира, отчего вид у него стал еще добродушнее. Затем он попросил позволения присесть с нами и тотчас же вступил в разговор с видом снисходительного дядюшки, беседующего с племянниками:

— Ох-о-хо... Устал я с вами... Что делать... Сам был молод, сам когда-то учился и увлекался.

И из уст его полились бесконечные рассказы. Все они велись в тоне балагура, много видавшего в жизни, старого воробья, которого не проведешь на мякине.

— Вот вы, господа, увлекаетесь Щедриным. Конечно, остроумный старик, громит чиновников и помещиков. А вам это и любо... Ну а сам?.. Сам не что иное, как бывший советник вятского губернского правления... В Тверской губернии у него имение, и мне лично пришлось по долгу службы усмирять крестьян в его имении.

Он рассказал какую-то историю, в которой М. Е. Салтыков фигурировал якобы в роли крепостника. За этим рассказом последовал другой, третий, и все они были в том же роде, раскрывали некрасивую изнанку каких-нибудь «популярных деятелей». Через некоторое

время он заболтался до того, что рассказ о Салтыкове повторил уже относительно Тургенева: ему приходилось усмирять крестьян в Спасском-Лутовинове. Григорьев, с присущей ему прямотой, дал ему почувствовать, что он завирается, и исправник стушевался.

Между тем в академии события шли своим чередом. После совета все начальство прошло в актовую залу, и здесь Ливен обратился к студентам с небольшой речью, в которой сказал то же, что говорил нам, погрозил закрытием академии, предложил принести от всех курсов извинение и удалился, предоставив дальнейшие убеждения профессорам. Нас опять вызвали к нему, и он потребовал продолжения нашего обязательства до завтрашнего дня. Ему, конечно, не приходит и мысли об аресте. Если бы мы, например, согласились на сегодня удалиться в Москву и не вступать ни прямо, ни косвенно ни в какие сношения с товарищами до двух часов завтрашнего дня, то этого будет совершенно достаточно. Он поверит нашему рыцарскому слову и просит утром явиться к нему на квартиру его родственников, туда-то. Мы согласились, и нам подали извозчика. Когда мы садились, кучка студентов выбежала из здания и окружила нас. Подумали, что нас арестуют. Если бы это было так, то, без сомнения, товарищеское чувство вспыхнуло бы, как порох, и нас бы непременно отбили. Мы объяснили, в чем дело: мы не арестованы, а только отпущены на честное слово до завтрашнего дня. Студенты расступились, и мы уехали.

В Москве в этот день только и говорили в интеллигентных кругах об истории в Петровской академии. Стало уже известно к вечеру, что студенты приносят извинение, причем главным мотивом служит забота о нашей участи: мы серьезно пострадаем, если беспорядки будут продолжаться. Помню, как огорчило нас это известие. Мы как-то совсем не считались с последствиями для себя. Мы считали, что сказали правду, и нам хотелось устоять на ней до конца. Нам было обидно, что соображения лично о нас могли нарушить товарищеское единодушие и испортить моральное значение всей этой истории.

К двенадцати часам следующего дня мы были у Ливена. На этот раз он принял нас тотчас же в скромном кабинете своего родственника. Обращение его было чрезвычайно радушно и мягко. Впоследствии мы поня-

ли, что тогда он нас боялся: мы могли еще и теперь испортить все дело...

Он сказал нам, что огромное большинство студентов уже поняли незаконность своего поступка и он уверен, что все кончится для академии благополучно. Нас он просил только продолжить еще на сутки данное слово и оставаться в Москве. Григорьев ответил на это решительным отказом.

— Если, конечно, мы не будем арестованы...— начал он, но Ливен живо перебил его:

— Неужели вы думаете, что я приехал сюда с такими полицейскими мерами? Поверьте, ни о каком аресте не может быть речи...— Затем, взяв меня за руку (я сидел к нему ближе других), он стал говорить почти растроганным голосом, что встретил в нас противников, но противников честных: мы рыцарски сдержали слово, и ему не приходится раскаиваться, что он доверился нашей чести...

— Это дает нам основание рассчитывать, что и в вашем лице мы имеем дело с таким же противником,— сказал Григорьев.

Князь повернулся к нему и ответил торопливо, с оттенком как будто некоторого удивления перед смелостью студента:

— О конечно, конечно!.. Итак, что же: вы согласны остаться еще сутки в Москве? Где вы будете в это время? На тех же квартирах?

Первым ответил опять Григорьев:

— Срок моего обязательства истекает в два часа. После этого я вернусь в академию.

Мы с Вернером ответили то же, после чего откланялись и вышли.

— Нас непременно арестуют до двух часов,— уверенно сказал Григорьев.

Вернер, мягкий, благодушный, доверчивый, упрекнул его:

— Ты всегда не доверяешь людям...

Через два часа нас действительно всех арестовали и препроводили в Басманную часть, за Красными воротами. Везли нас на двух извозчиках, причем Григорьев приехал значительно раньше нас с Вернером. Мы застали его в канцелярии части. С своей обычной открытой манерой он спрашивал у пристава: по чьему распоряжению мы арестованы? Нельзя ли посмотреть приказ?

— Это я не вправе сделать,— ответил пристав.

— Ну так скажите по крайней мере, кем подписан этот приказ?

— Обер-полицеймейстером.

— И только?

Пристав взглянул на бумагу, привезенную арестовавшими нас полицейскими, и, понизив голос, сказал:

— По распоряжению высочайше командированного светлейшего князя Ливена.

Помню, что это открытие доставило мне нечто вроде сознания моральной победы: «правительство» в лице Ливена унизилось до хитрости и лукавого обмана... Ливен разыгрывал перед нами роль.

Провожатые получили расписки и уехали. Нас препроводили в камеру. Пристав извинялся, что вынужден бывшим офицерам (он говорил о Григорьеве и Вернере) отвести камеру в подвальном этаже: наверху все занято. Через несколько минут мы очутились в зловонном коридоре подвального этажа Басманной части...

Из нас троих Вернер раз уже испытал прелести ареста в московских частях и, как человек бывалый, старался «приготовить нас к худшему». Но когда нас ввели в камеру с сырыми стенами и с маленьким оконцем вверху вровень с землей, то оказалось, что из нас троих он поражен больше всех. С его слов мы «приготовились к худшему», для него же самого этот подвал оказался самым худшим сюрпризом. Вдоль стены под окном были нары, на которых лежали три грязных узких тюфяка, набитых соломой. Тюфяки были покрыты толстыми простынями из мешочного холста. Но что привело Вернера прямо в содрогание, так это одеяла из серого арестантского сукна, по которым ползали огромные участковые вши, сразу кидавшиеся в глаза на темно-сером фоне одеял. Отодвинув эти постели, мы устроились на краях нар и стали пить чай из принесенных городовым оловянных кружек.

Так мы просидели довольно долго, прислушиваясь к разнородным звукам, несшимся из соседних камер. Тут были пьяные песни, крики, ругательства... С улицы то и дело приводили пьяных. Приводимые сначала шумели и сопротивлялись. Тогда городовые принимались их бить смертным боем. В коридоре раздавались пронзительные крики, сменявшиеся вскоре тихими жалобными стонами. Тогда дверь отворялась и усмиренного кидали в какую-нибудь общую камеру. Впоследствии

я много раз писал об убийствах, совершаемых повсеместно в наших участках. И каждый раз мне вспоминался этот первый вечер моего первого ареста.

Усталость этих двух дней с их волнующими впечатлениями брала свое. Глаза у нас начинали слипаться. Наконец Григорьев первый решился: расправив свою «постель», он перекрестился шутливо три раза и кинулся на свое ложе, точно в холодную воду. Я последовал его примеру. Только злополучный чистеха Вернер долго сидел на краю нар, опершись плечом о стенку, и клевал носом, не решаясь на этот героический подвиг.

Так прошла моя первая арестантская ночь.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Вологда, Кронштадт, Петербург

I
ВЫСЫЛКА.— Я СТАНОВЛЮСЬ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРЕСТУПНИКОМ

Дня через два меня первого потребовали в канцелярию части.

Поставив столик на нары и поднявшись таким образом к окну, мы могли видеть, что делается во дворе. Я как раз смотрел в окно, когда во двор части с грохотом въехала карета, из которой вышли два жандарма. Из этого мы поняли, что означает мой вызов. Высылают!.. Благодаря «открытому образу действия» Ливена мы совсем не были приготовлены к этому: приходилось уезжать без денег, без белья. На мне был чужой сборный костюм и легкое пальто, а туго накрахмаленный воротничок неприятно подпирал мою шею.

Сборы не заняли много времени. Мы крепко обнялись, и через полчаса жандармы доставили меня на Ярославский вокзал. Я не рассчитывал на такую стремительность, и мне было особенно грустно уезжать, не попрощавшись с сестрой в институте.

Меня ввели в битком набитый вагон третьего класса. В самом углу, у стенки, тоже между двух жандармов, сидел человек небольшого роста, с длинной черной бородой, напомнивший мне сказочного Черномора. Мы познакомились. Господин оказался Бочкаревым, земским деятелем из кружка И. И. Петрункевича. Перед самым отходом поезда на платформе произошел некоторый шум. Оказалось, что несколько петровских студентов, карауливших в Басманной части, попытались войти в наш вагон, но их не пустили. Я видел, как мимо окон пронеслась фигура Эдемского, в его оригинальном охабне, высокой барашковой шапке, с большой дубиной в руках. Вероятно, именно эта живописная фигура обратила внимание сыщиков. Поезд вскоре тронулся.

Во время краткой остановки на станции Пушкино к нашему окну подошла молодая красивая брюнетка с выразительным, даже драматическим лицом. Остано-

вясь против нашего окна, она уставилась глазами в Бочкарева, точно на икону. Разговаривать через двойные окна было нельзя, и она простояла неподвижно, с трагическим выражением в лице, пока поезд не двинулся. Бочкарев раскланялся с нею и вздохнул.

Среди ночи я вдруг проснулся точно от толчка и долго не мог сообразить окружающих меня обстоятельств. Мне приснилась мать, и острая тоска о ней теперь сжимала мое сердце. В вагоне было накурено и душно. Волны дыма застилали тусклый свет фонаря. Напротив меня и рядом клевали носом четыре жандарма. Я наконец сообразил свое положение, и мысль о матери ясно встала в уме. Все это время я мало думал о ней. Она больна, и как-то она встретит известие о моей ссылке, если оно появится в газетах. Нервная усталость этих дней сказалась: я почувствовал, что на глаза просятся слезы... Скорей на место, чтобы написать ей что-нибудь определенное... А пока незачем поддаваться малодушию: другие мысли сменили и вытеснили тоску. Я не раскаивался. Несмотря на исполнившиеся двадцать два года, я испытывал мальчишеское чувство гордости: в Басманной части мне объявили формально, что я высылаюсь «по высочайшему повелению» в Усть-Сысольск, Вологодской губернии... Мне вспомнилось первое «тайное собрание» в Измайловском полку. Тогда были мобилизованы полицейские силы одной полицейской части. Теперь против меня приведен в движение аппарат самой верховной власти...

Не помню точно, где мы расстались с Бочкаревым. На прощание мы горячо обнялись, точно члены братского ордена, объединенные общим преследованием. Меня жандармы привезли с вокзала в ярославское полицейское управление, окна которого выходили на Волгу. По реке медленно двигались широкие льдины начавшегося ледохода. Все население полицейского управления собралось у окон: следили за тем, как бравый прокурор, председатель общества спасания на водах, переправляет почту из Вологды на спасательной лодке. Когда переправа благополучно закончилась, помощник полицеймейстера, старик добродушного вида, принял меня от жандармов, и от него я впервые узнал, что я «государственный преступник».

— Вы ошибаетесь,— сказал я.— Я только студент и высылаюсь за коллективное заявление своему начальству.

— Ну, ну,— ответил он с положительной уверенностью.— Это самое и есть... «По высочайшему повелению», батюшка!.. Как же не государственный преступник...

И опять должен признаться: что-то при этом слегка пощекотало мое самолюбие.

Вскоре пришел полицеймейстер, человек черноволосый, военного вида, с повелительными манерами. Он успел сходить к губернатору и принес распоряжение его превосходительства: отправить меня в тюрьму. Я предъявил убедительнейшую просьбу не задерживать меня в пути и послать по возможности сегодня же дальше. Мысль о матери опять захватила меня, и опять при этом глаза что-то щекотало. «Государственный преступник», вероятно, имел довольно жалостный вид, и полицеймейстер отнесся к моей просьбе с видимым участием. Он осмотрел мой парадный костюм, заметил полное отсутствие какого бы то ни было багажа и понял, что задерживать меня действительно не следует.

— Если вы не побоитесь ледохода,— сказал он,— то я похлопочу у прокурора, чтобы вас переправили завтра с почтой. А пока — что делать? Придется переночевать в тюрьме... Дайте провожатого поприличней,— обратился он к одному из подчиненных.

Явился провожатый городовой, но он оказался как раз совершенно «неприличным». Тогда в губернских городах полицейские еще не успели принять щеголеватого вида, и явившийся городовой напоминал одного из подчиненных гоголевского Держиморды: его шинель была вся в отрепьях с разноцветными заплатами, а сабля висела просто на старой веревке.

— Уберите его. Прислать другого, поприличней,— сказал брезгливо полицеймейстер.

Пришел другой. У этого заплаты были того же цвета, что и шинель, а сабля висела частью на ремне и только частью на веревке. Полицеймейстер посмотрел и махнул рукой.

— Ну, не взыщите... Чем богаты, тем и рады... Что делать.

Я поблагодарил его за добрые намерения и пешком через весь город отправился в тюрьму. Нас было четверо: забракованный городовой провожал какого-то злополучного субъекта в короткой арестантской куртке с бубновым тузом на спине. Дорогой я услыхал, что этот субъект о чем-то препирается со своим провожатым,

и, оглянувшись, увидел, что городовой, схватив его за широкую мотню арестантских шаровар, старается осадить назад.

— В чем дело? — спросил я.

— Известно, невежество...— пояснил мой городовой.— Видите, он хочет идти рядом с вами. Говорит: мы товарищи.

Воспользовавшись остановкой, субъект выскочил вперед и бойко спросил у меня:

— Вы высылаетесь?

— Высылаюсь.

— На подзор полиции?

— Вероятно.

Он с торжествующим видом повернулся к своему провожатому и сказал:

— Ну, и я тоже на подзор полиции. Как же не товарищи!

Дальше мы уже шли рядом — я в легком чужом, но все-таки парадном костюме со стоячим крахмальным воротничком и в круглой шляпе, а он в арестантском бушлате с бубновым тузом на спине. Городовые шли сзади. Проходящая публика оглядывалась с ироническим любопытством.

Ярославская тюрьма была первая, с которой мне пришлось познакомиться. Меня ввели в камеру и оставили ее незапертой. Вскоре ко мне вошел арестант невысокого роста, в очках и с эспаньолкой. Это был мой сосед, уголовный из «привилегированных». Оказалось, что меня посадили в дворянский коридор. Отрекомендовавшись, он спросил:

— Вы, вероятно, по делу Иванчин-Писарева и графини Потоцкой?

Фамилию Иванчин-Писарева я тогда слышал в первый раз. Новый знакомый рассказал мне, что в Ярославской губернии раскрыт кружок революционеров, в центре которого стоял Иванчин-Писарев. Многие арестованы, некоторые сидят теперь в этой же тюрьме. Иванчин скрылся. Арестант часто упоминал фамилию графини Потоцкой, намекая на свое знакомство с нею и предлагая, если мне угодно, передать ей записку. Мне нечего было сообщить графине Потоцкой, и я отказался, к явному разочарованию любезного соседа.

Был, помнится, какой-то праздник, и после арестантского обеда староста, благообразный нестарый арестант, принес мне в камеру кружку чаю и целую груду

калачей и булок. Меня поразил их вид: тут были куски французской булки, куски ситного хлеба, маленький ломтик пирога и полбублика, воткнутого в ситный.

— Нынче было подаяние,— пояснил староста,— кушайте на здоровье.

Дворянский коридор был почти пуст. Я рано ушел в свою камеру и проспал почти весь день и ночь. Утром в шесть часов меня разбудили. Полицеймейстер исполнил обещание: на берегу Волги меня ждала уже спасательная лодка, переправлявшая почту на Вологду. Вместе с провожатым полицейским и почтальоном мы уселись в лодку на полозьях, стоявшую на берегу. Подвижки льда прекратились, и только на средине тихо плыли, сталкиваясь и шурша, то мелкие льдины, то широкие ледяные поля. По льду лодку тащили на полозьях, потом, раскатившись, она погружалась в воду и плыла среди ледяного «сала», пока, разогнавшись на веслах, не вкатывалась опять на большую льдину. Эта переправа не была лишена довольно сильных ощущений. Затем мы тихо покатились по узкоколейной вологодской дороге.

II

В ВОЛОГДЕ.— ЧЕРТЫ ТОГДАШНЕЙ ССЫЛКИ

В Вологде губернатором в то время был старик поляк Хоминский, человек довольно либеральный и очень добродушный. Поэтому, вероятно, меня поместили не в тюрьме, а в дежурной комнате при полицейском управлении. Дело было на страстной неделе, и на мою просьбу отправить меня немедленно далее — полицеймейстер ответил, что меня отправят на третий или четвертый день праздника.

Полицеймейстер оказался человеком тоже благодушным; он предложил мне расположиться в дежурной комнате, «как у себя дома», и спросил, не желаю ли я отправиться в баню. Я отказался: у меня не было чистого белья. К вечеру он прислал мне смену белья, предложив отдать мое для стирки. Его обращение произвело на меня впечатление самое благоприятное. Но, увы, я должен сказать, что в своей ссыльной карьере я ближе встречался таким образом с тремя очень ра-

душными полицеймейстерами, и все они, по странной случайности, попадали под суд.

В первый день пасхи меня неожиданно посетил губернатор Хоминский. Оказалось, что его сыновья, студенты Института путей сообщения в Петербурге, получив сведения от товарищей-петровцев, успели телеграфировать отцу, и добродушный старик пришел, чтобы ободрить меня и спросить, не нуждаюсь ли я в чем-нибудь. Вскоре после него пришел также делопроизводитель его канцелярии, молодой еще человек огромного роста. Он сидел у меня около часу и рассказывал о громкой истории расхищения северных лесов. Об ней тогда много писали в газетах. Молодой чиновник возмущался стачкой чиновников лесного ведомства с какой-то иностранной компанией. Работает экстренная следственная комиссия, но едва ли ей удастся раскрыть все: замешаны очень сильные лица и огромные иностранные капиталы.

Посещение губернатора и его чиновника, очевидно, произвело сильное впечатление на личный штат полицейского управления, начиная с николаевского кавалера сторожа и дежурных чиновников и кончая самим полицеймейстером. Придя ко мне и похристосовавшись в первый день праздника, он предложил мне прогуляться по городу.

— Вероятно, с провожатыми? — спросил я.

— Со мной, если ничего не имеете против.

Я ничего не имел против, и мы пошли.

— Не хотите ли посмотреть наш арестный дом? — сказал он и, не дожидаясь ответа, поднялся по лестнице в здание под каланчой. Меня несколько удивило то обстоятельство, что здесь уже нас как будто ждали. Коридоры были чисто выметены, и воздух проветрен. Пройдя со мной по коридору и предложив взглянуть в камеры через глазок, он неожиданно сказал ключнику:

— Есть свободная камера?

— Так точно: номер девятый.

— Отопри... Не угодно ли вам взглянуть внутри? — И он сделал жест любезного хозяина, пропускающего вперед гостя.

Мне вспомнилась сцена между городничим и Хлестаковым, и я, как Иван Александрович, не прочь был отказаться от любезного приглашения. Но скрепя сердце переступил через порог и спустя некоторое время благополучно вышел из камеры. Очевидно, полицей-

мейстер имел в виду только похвастать чистотой помещения.

Удивление мое еще усилилось, когда, выйдя на крыльцо, я увидел во дворе выстроившуюся в порядке пожарную команду.

— Где-нибудь пожар? — спросил я.

— Нет, это я нарочно: может быть, вам интересно взглянуть на наши новые машины?

Он сделал знак, и команда тронулась со двора. Сытые лошади рвались вперед, звенели колокольчики, развевался пожарный флаг, сверкали новенькие насосы, окрашенные ярким суриком, блестели медные каски пожарных, я с полицеймейстером стоял на крыльце, краснея и чувствуя себя действительно в положении Хлестакова: для меня столько людей и лошадей потревожили в такой большой праздник...

Да, это был странный период российской ссылки, вскоре прекратившийся. В ссыльных захолустьях жили еще, очевидно, смутные воспоминания о тех временах, когда люди попадали в ссылку, чтобы потом, при перемене обстоятельств, сугубо возвыситься. Телеграмма губернаторских сыновей, посещение самого губернатора вызвали, очевидно, в голове благодушного полицеймейстера ту же идею, и на всякий случай он нашел не лишним показать свое хозяйство в образцовом порядке...

Когда мы возвращались с прогулки вдоль лицевого фасада полицейского управления, случилась маленькая неожиданность: одна из дверей внезапно приоткрылась, и из нее показалась небольшая фигура мещанского вида. Чья-то рука крепко держала ее за шиворот и затем сильным толчком кинула вниз с невысокой лестницы. Неизвестному грозило довольно неприятное падение, если бы, размахивая руками и шатаясь из стороны в сторону, он не ударился головой в живот полицеймейстера. Последний схватил его сверху за шиворот, сердито встряхнул раза два и, установив прочно на ногах, спросил довольно грозно:

— Это что такое? Ты пьян?

Мещанин действительно был пьян, но все-таки пытался оправдать себя: он пришел в полицейское управление за справкой, а они вот какую справку выдали: по шее да с лестницы!..

И, внезапно вдохновившись, он воскликнул с настоящим пафосом:

— Ваше высокоблагородие... Что ж это у нас за порядки? Республика, что ли?..

— Ну, ну, ступай. За справкой придешь в будни и трезвый.— И, улыбнувшись с грустной снисходительностью, он повернулся ко мне и сказал: — Вот, не угодно ли,— какое понятие о республике!..

Можно было догадаться, что собственные его понятия о республике — другие. В общем, повторяю, у меня осталось приятное воспоминание о добродушии этого человека, и мне хотелось бы думать, что служебные неприятности, его постигшие через некоторое время, не имели особенно предосудительного характера.

III

МОЙ ПРОВОЖАТЫЙ.— ОСТАНОВКА В ТОТЬМЕ.— ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА

Вскоре мне пришлось тронуться в дальнейший путь. Весна быстро надвигалась с юга. В Ярославле Волга уже трогалась, но Северная Двина лежала еще подо льдом. Снега были глубоки, но дни стояли теплые, и всюду под снегом журчали весенние ручьи. Ехали мы быстро, но все же подъехали к Тотьме по совершенно рыхлой дороге, а местами прямо и по грязи.

Судьба послала мне в провожатые человека очень оригинального. Это был городовой по фамилии, кажется, Федоров (точно не помню), очень малого роста, плотный, с шарообразной головой и пухлыми щеками, среди которых совершенно утопал маленький нос. Настоящий Квазимодо по безобразию, он оказался человеком благодушным и разговорчивым. Между прочим, он питал почему-то пламенную ненависть к жандармам...

— Терпеть не люблю,— говорил он.— Жандарма есть самый последний человек: ябедники, доносчики, фискалы. Не то что на товарища — на отца родного донесет.

В этом неодобрении мы с ним сходились, хотя по разным причинам.

В Тотьме на почтовой станции мне сказали, что меня к себе приглашает исправник. Он сообщил мне, что утром получена телеграмма от губернатора: предложить студенту Короленко на выбор — следовать далее в Усть-Сысольск или же под надзор полиции на родину.

Подумав немного, я написал, что предпочитаю отбыть ссылку «в г. Кронштадте, где живет моя мать». На родине, в Житомире, у меня никого уже не было. Кроме того, я еще живо помнил, как рвался из своих мест, и потому решил написать наудачу: авось попаду в Кронштадт. Исправник принял бумагу и дал тут же полицейскому предписание везти меня обратно в Вологду...

Лошадей на станции не было — недавно прошла почта на Архангельск. Пришлось ожидать. Мы дружелюбно сидели на крылечке почтовой станции, беседуя с моим Квазимодо, как вдруг лицо его нахмурилось.

— Смотрите, смотрите: жандарма идет... Шнырит чего-нибудь, подлец... Непременно об вас пронюхал. Смотрите, будто и не видит нас, а сейчас остановится... Вот увидите...

По другой стороне улицы, представлявшей море жидкой грязи, шел жандарм. В шинели нараспашку, с заломленной фуражкой, он имел вид праздного фланера и беспечно глядел по верхам. Но вдруг взор его как будто случайно упал на нас. Он остановился, приятно пораженный.

— Ба, господа проезжающие! У нас такая редкость заезжие люди... Позвольте побеседовать. Откуда будете? Из Москвы?

Он оглянулся направо и налево, но нигде не было перехода. Тогда он решился и пошел вброд по глубокой грязи, с трудом вытаскивая ноги.

— Так изволите ехать из Москвы? Студент? Петровской академии? Скажите... Как это приятно... У меня там землячок, даже, признаться, родственник: Суровцева не изволите знать? Здоров ли? Что-то давно не пишет.

Мой провожатый делал мне какие-то знаки. Суровцев в это время скрывался, и жандарм «разведывал». Я ответил спокойно:

— Суровцева знаю. Товарищи. Видел его перед самым отъездом. Здоров. Просил кланяться родственникам, если встречу.

— Да не может быть...— изумился жандарм, и глаза его забегали.— Где же он проживает, если вам известно?

— Конечно, известно: проживает в академии, на Выселках, где жил и прежде...

— Обрадовали вы меня... Пойти сейчас жене сказать... Честь имею кланяться.— И он быстро ушел...

— Эх вы-ы! — сказал мой провожатый с выражением крайнего порицания.— Зачем сказали? Суровцева-то ищут! На телеграф теперь побежал, телеграмму даст непременно.

Я засмеялся и сказал, что пошутил: Суровцев скрывается, и адрес его неизвестен. Городового охватил бурный восторг, лицо его исказилось невероятными гримасами, и он так судорожно качался из стороны в сторону от хохота, что я думал — он упадет с крыльца.

В ожидании лошадей я получил неожиданное приглашение: в городе жил чиновник лесного ведомства, бывший студент Петербургского лесного института. Считает меня, как петровца, своим товарищем и просит прийти к нему попить чаю. Я охотно согласился, провожатый не возражал.

Пригласивший меня оказался лесным таксатором с семинарской фамилией Успенский или Предтеченский — теперь не помню. Это оказался человек симпатичной, но чрезвычайно унылой, даже мрачной наружности. Жил он в холостой, неуютной обстановке вместе с сожителем, лесным кондуктором. По случаю праздничного времени оба были в легком подпитии, которое действовало на них противоположно: таксатор был, по-видимому, угнетен и уныл сверх меры, кондуктор весел, развязен и говорлив. Тотчас после моего прихода Успенский отвел в сторону кондуктора и стал что-то шептать ему. Тот с самодовольным видом ответил:

— Ну что ж. Нам наплевать,— и тотчас же, демонстративно вынув кошелек, отправился «распорядиться».

Смуглое лицо Успенского (я буду так называть его), казалось, потемнело еще больше. Видя, что секрет его разоблачен, он потупился и сказал:

— Добрый малый... И товарищ... Но взяточник и потому вполне благополучен. А я, видите ли, старых идей держусь, студенческих. Противлюсь взяточничеству. Поэтому придираются ко мне... Вот сделали начет... Третий месяц получаю только треть жалованья.

И он рассказал мне, что не согласился подписать какую-то сделку и за это ему мстит непосредственное начальство.

— И дурак, ха-ха-ха,— с неприятной развязностью сказал вошедший на эти слова кондуктор.— Ну кого

ты, скажи пожалуйста, своею честностью удивить хочешь? В нашем деле, я вам скажу, господин, главное, уметь неправильность соблюсти... Тогда, ха-ха-ха, жить можно...

Лицо Успенского передернулось страдальческой гримасой.

— Замолчи. Ты пьян,— сказал он.

— Ты больно трезв... Только я пьян на свои, а ты в долг,— ответил развязный молодой человек.

Через час к квартире таксатора подали почтовую тройку. Мои хозяева, захватив несколько бутылок, уселись со мной в просторные почтовые сани и поехали провожать меня до следующей станции. Дорогой они продолжали пить. При этом Успенский все глубже увязал в меланхолии, а его сожитель становился все веселей и развязнее. Он кидал в проезжих мужиков пустыми бутылками, заливался громким хохотом, горланил песни, вообще становился несносен. В одном месте он вдруг остановил ямщика. У дороги лежали штабели свежесрубленного хорошего строевого леса. Несмотря на опьянение, он живо, хотя и пошатываясь, прошел по глубокому снегу, что-то посмотрел и, вынув записную книжку, с веселым видом стал делать в ней какие-то отметки.

— Комлями в разные стороны... Не по правилам — штраф с подрядчика, или откупайся, голубчик!..— говорил он весело, взобравшись опять в сани.

— Постыдился бы человека,— с печальной укоризной произнес Успенский...

На следующей станции мы расстались. Успенский горячо обнял меня и заплакал:

— Завидую вам... Избрали благую часть...— говорил он слегка заплетающимся языком,— а я погибаю вот тут... Видите: торжествующая свинья, а мне товарищ...

— Ну, ты не очень. Чего лаешься? Кто виноват, что сам глуп, не умеешь неправильность соблюсти.

И он тоже полез целоваться со мной. Дальше я поехал один, унося с собой резкое и глубокое впечатление.

Юность склонна к быстрым обобщениям. Назади я оставил светлейшего князя Ливена, высшего представителя ведомства, в котором я собирался служить. В то время, после коварного поступка с нами, он казался мне совершенным негодяем. Потом — рассказы губернаторского чиновника о грандиозных хищениях лесного ве-

домства, охвативших чуть не весь север, с которыми бессильно справиться правосудие. И вот, наконец, эта яркая иллюстрация уныло страдающей добродетели в лице Успенского и торжествующего порока в лице этого маленького взяточника — все это складывалось для меня в яркое и цельное настроение. Мои еще недавние намерения и мечты матери, связанные с дипломом, разлетелись прахом... И пусть... Нет, я уже не пойду на службу к этому государству с Ливенами и Валуевыми вверху, с сетью мелкого неодолимого хищничества внизу. Это — разлагающееся прошлое. А я пойду навстречу неведомому будущему...

IV

ЛЕСНЫМИ ДОРОГАМИ.— РАССКАЗЫ О СКИТНИКАХ.— ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ МИНУТА ЖИЗНИ

Все эти мысли роем неслись за мной по дороге под скрип полозьев и звон колокольчика. Под вечер мы ехали меж двух стен дремучих темных лесов. Они тянулись по обеим сторонам дороги, молчаливые и таинственные, а мой разговорчивый провожатый рассказывал мне о том, как он, когда был помоложе, ходил в команде с исправником по этим лесам и разорял кельи лесных скитников. Ходили на лыжах, проникали в глухие трущобы, где находили избушки на курьих ножках, из которых хозяева по большей части успевали скрыться. Порой у иконы еще теплились лампадки. Избушку разоряли, из бревен складывали костер, кидали туда же всю утварь, иконы и лампадку, костер зажигали, а сами уходили.

— А что же хозяева,— спросил я,— как же они?

— А уж это как бог... Иной добредет до деревни или жительства — ну, тот счастлив. А который не успеет, захватит его мороз в лесу или пурга в поле, так и замерзнет. Нашли такого одного: сидит старче под деревом, закуржавел весь. Глаза открыты, и на глазах снег. А пальцы сложены двуперстием...

— И вы не чувствовали, что это грех?— спросил я, взволнованный этим рассказом.

Рассказчик слегка вздохнул.

— По приказу начальства... Конечно, может, и грех. С начальства и взыщется... Ну, и начальству тоже не-

льзя иначе. Тоже и им приказывают — потому много и из скитников этих беспаспортных бродяг, беглых солдат, даже так, что и разбойников с каторги.

Мы ехали дальше. Опять скрипели полозья, звенел колокольчик, глухо шумели отодвигавшиеся назад леса, давно утонувшие в ночном сумраке. А в голове, такие же сумрачные и значительные, плыли мысли. Может быть, и теперь в этих чащах теплятся огоньки перед иконами, и таинственные старцы, удалившиеся от грешного мира, молятся, вздыхая о правде. Замечание рассказчика о том, что среди них бывают бродяги и даже разбойники, как-то проскользнуло мимо моего внимания, как когда-то проскальзывали «циничные» замечания Ардалиона о Веселитском... Темный умом, преданный суеверию, но светлый духом — таким рисовался мне образ лесного скитника. И душой я был с ним против гонителей, в том числе и таких, как мой провожатый, не ведающий, что творит...

Мы ехали всю ночь, чтобы захватить еще остатки разрушающейся дороги. На следующий день, выехав с одной из почтовых станций, мы вскоре остановились в большой деревне. Тут жила семья везшего нас с этой станции ямщика, и он на минуту забежал в свою избу. День был яркий, солнечный и теплый. Вдоль широкой и длинной улицы стояли просторные, по большей части двухэтажные, избы. На них лежал еще снег, но кое-где чернели уже темные пятна тесовых крыш, и вдоль всей улицы, прохваченной горячими весенними лучами, сверкала веселая живая капель. Нигде ни садика, ни длинного забора. Мне вспомнилось, что природу нашего севера назвал кто-то золотушной.

Из избы, куда за ямщиком ушел мой провожатый, вышел хозяин, вероятно отец ямщика. Он был высок и моложав. У него были светлые рыжеватые волосы, такие же небольшие рыжеватые усы и бородка. Он был широкоплеч и, по-видимому, силен, с большими рабочими руками, но грудь у него была впалая, и вся фигура странно гармонировала с этой кипящей жизнью, но все-таки золотушной, северной природой. Он был без полушубка и без шапки и в руках нес большой жбан... Подойдя к саням, он поклонился мне с какой-то истовой и важной ласковостью.

— Испей, приятель, не побрезгуй: на праздник варили...— И он подал мне жбан с брагой.

Я выпил и от души поблагодарил его. Когда он ушел, меня вдруг охватило какое-то особое ощущение, теплой и сильной волной прилившее к сердцу, ощущение глубокой нежности и любви к этому человеку, нет, ко всем этим людям, ко всей деревне с растрепанными под снегом крышами, ко всей этой северной бедной природе, с ее белыми полями и темными лесами, с сумрачным холодом зимы, с живой весенней капелью, с затаенной думой ее необъятных просторов... Судьба моя сложилась так, что это захватывающее чувство мне пришлось пережить на севере. Случись такая же минута и при таких же обстоятельствах на моей родине, в Волыни или на Украине, может быть, я бы почувствовал себя более украинцем. Но и впоследствии такие определяющие минуты связывались с великорусскими или сибирскими впечатлениями...

Теперь все, что я читал у Некрасова, у Тургенева, во всей народнической литературе, внезапно вспыхнуло и осветило ощущение этих дней и особенно этой дороги между двумя стенами дремучего леса, под рассказы о пустынных скитах и их разорителях. И над всем как будто поднялся облик этого высокого, но точно изможденного богатыря, подходящего с величавым поклоном и приветливым словом к незнакомому гонимому человеку...

V
ЦАРСКАЯ МИЛОСТЬ.— ВСТРЕЧА С ТОВАРИЩАМИ-ПЕТРОВЦАМИ.— СТАТЬЯ ИСПРАВНИКА В «ГОЛОСЕ»

Мы приехали в Вологду.

Опять та же дежурная комната в полицейском управлении и тот же радушный полицеймейстер. Приехал я к вечеру, а ночью ко мне неожиданно ворвался мой брат. Узнав о беспорядках в академии и о том, что я был депутатом, он тотчас же бросился в Москву. Товарищи в академии дали ему указания, и он поехал в Вологду. Здесь он сделал такой стремительный натиск на дежурного чиновника, что тот растерялся, и я неожиданно проснулся в объятиях брата. Мы оба хохотали, когда наутро этот чиновник, небольшой субъект с круглым лицом и усами, как у таракана, успевший уже зарядиться, по случаю праздника или для храбрости, говорил мне:

— Напугал меня, знаете ли, ваш любезный братец, знаете ли!.. Ворвался, знаете ли: где, говорит, мой брат? Я уже думал: не мазурик ли, знаете ли? А это, оказывается, не мазурик, а ваш любезный братец...

Явившийся утром полицеймейстер только головой покачал, узнав об этом неожиданном вторжении. Это было тоже проявление сравнительно благодушных нравов тогдашней ссылки, совершенно невозможное впоследствии...

В тот же день ко мне вторично явился губернатор Хоминский с моим заявлением о желании вернуться в Кронштадт в руках.

— Но разве Кронштадт ваша родина? — спросил он.

Я ответил откровенно, почему написал о Кронштадте. Если туда нельзя, то я предпочитаю Усть-Сысольск. Хоминский подумал и махнул рукой.

— Хорошо, я удовлетворюсь вашим ответом и препровожу вас в Петербург. Но согласятся ли там — это вопрос. Вас все-таки могут отправить в Волынскую губернию...

Дня через два мы отправились в обратный путь по узкоколейной вологодской линии в сопровождении прилично снаряженного, даже щеголеватого городового. Брат, конечно, ехал со мной в том же вагоне.

В Москву мы приехали утром. Поезд на Петербург отправлялся, кажется, часа в четыре, и мы уже условились с моим благодушным провожатым, что я поеду повидаться с сестрой в институт, а он тоже повидает в Москве каких-то своих родственников и затем явится на вокзал. Мы так и сделали, но, по-видимому, у полицейского явились все-таки некоторые сомнения, и вместо вокзала он приехал за мной ранее в институт. Его появление и мой уход в сопровождении полицейского произвел в институте настоящую сенсацию. В окнах мелькали любопытные юные лица, а почтенный швейцар провожал меня изумленным и как будто шокированным взглядом. Это был, вероятно, в летописях института первый случай такого посещения.

Брат присоединился ко мне уже в поезде, при остановке у платформы Петровской академии, в двенадцати верстах от Москвы. Вместе с ним в вагон ввалилась гурьба студентов-петровцев, узнавших о моем проезде. Мы горячо обнялись, но я заметил какое-то облако в их настроении. Помню, тут был, между прочим, поляк Керсновский. У него были прекрасные волнистые воло-

сы. Теперь он был низко острижен. На мое шутливое замечание по этому поводу он угрюмо отвернул голову, и густой румянец показался на его тонком и нервном лице.

— Надо было совсем обрить голову,— сказал он.— Дались в обман, как последние идиоты.

Они рассказали мне о том, что происходило в академии после нашего отъезда из Москвы. Профессора убеждали студентов подчиниться. Особенно горячо говорили профессор богословия священник Головин, известный в Москве красноречивый проповедник, а также профессор Иванюков. Видя, что со всей массой справиться трудно, так как некоторые курсы влияют на остальных, администрация потребовала, чтобы студенты разошлись и решали по курсам отдельно.

На этом одно время сосредоточилась вся борьба. Несколько раз начинали уже расходиться, но каждый раз это течение останавливал Эдемский. Стоя на окне большого рекреационного зала, возбужденный, с мрачно сверкающими глазами, он несколькими окриками удерживал уходящих, и толпа шарахалась назад. Она была охвачена невероятным возбуждением. Богослов-священник произнес горячую речь, в заключение которой заплакал. Слово его произвело некоторое впечатление, но в это время из рядов выбежал маленький белобрысый студентик, бывший семинарист. Это было незаметное, бледное, тщедушное существо. Он жил как-то уединенно, ни с кем не сходясь. Вероятно, в какой-нибудь отдаленной бурсе он много натерпелся от духовного начальства, и в его сердце накипела болезненная ненависть. Выбежав вперед, он истерическим голосом выкрикнул, в свою очередь, какой-то текст из пророка и продолжал:

— А, вы почувствовали, что пришел конец вашему царству, царству Велияла... Да, пришел, пришел конец!

И он как сумасшедший выбежал из рекреационного зала. Одним из главных аргументов сторонников подчинения было соображение о судьбе депутатов. Аргумент был хорошо рассчитан, и толпа наконец подалась, сначала разошлась по курсам, а затем один курс за другим стал посылать к Ливену депутации с повинной.

Результат был достигнут, но какой ценой? Когда нас все-таки выслали, вся эта молодежь почувствовала себя обманутой, а представители того государства, которому

они скоро будут служить, явились в ее глазах обманщиками.

Студенты провожали меня на протяжении двух-трех станций. Если я был «вредным смутьяном», то в этой встрече, в горячих чувствах, ею вызванных, сказалось несомненное моральное торжество «смуты» над официальным «порядком».

И сколько поколений русской молодежи проходило и ранее, и после этой истории через ту же волну горячечного подъема. Глубокая моральная болезнь существующего порядка сказывалась в этом. Не вопросы о столовых или землячествах, не частные вопросы академического быта, а полное отсутствие уважения к основам строя — вот что периодически потрясает нашу молодежь. Молодость бескорыстна и великодушна. Еще не связанная путами житейской практики и личными интересами, становясь у порога жизни, она колеблется отдать свои силы на службу тому строю, в основании которого она чувствует неправду. И вот в первом порыве, по любому поводу, в наиболее доступной ей форме она готова открыто высказать эти свои чувства. Силой, непомерными репрессиями или лукавством и хитростью, как в нашем случае, достигается формальное подчинение «порядку». А потом, пережив этот опасный период,— молодежь втягивается в служебную лямку, из которой ей нет уже выхода. Но входит она туда часто с глубоким надломом. Поговорите с любым состарившимся на службе чиновником, и в минуту откровенности вы непременно откроете в его душе уголок, своего рода часовенку, где, как некие реликвии, он хранит воспоминания о том, что «и мы были молоды, и мы увлекались». И это прошлое, когда он стоял еще на рубеже жизни и чувствовал себя противником строя, которому теперь служит, он, наверное, считает лучшим периодом своей жизни...

Товарищи передали мне, что Вернер выслан в Глазов, Вятской губернии, а Григорьев — в Пудож, Олонецкой. Кажется, смягчая мою участь, государь (Александр II) захотел отметить разницу между ими и мною: как бывшие офицеры, они должны были нести более суровое наказание. Этим я и был обязан предложением отбыть ссылку на родине.

Поезд, с которым я ехал, был какой-то медленный, и в Петербург, в здание градоначальства, меня привезли довольно поздно. В канцелярии давно уже никого не

было, и меня провели какими-то ходами в комнату в нижнем этаже. Здесь мне пришлось дожидаться довольно долго, пока мою бумагу носили к секретарю градоначальства, если не ошибаюсь, Фурсову.

Брат мой был юноша предприимчивый: прямо с вокзала он отправился к одному из наших близких товарищей, земляку Бржозовскому, и оба они по свежим следам отправились в градоначальство. Здесь, не знаю уже каким путем, им удалось проникнуть в ту комнату, где я дожидался, и мы дружески беседовали втроем, когда неожиданно входная дверь открылась и в комнату вошел секретарь. Это был мужчина высокого роста, одетый в штатское, с большими пушистыми усами. Видно было, что его подняли с постели, что он недоволен, даже сердит. Войдя, он остановился в изумлении.

— Эт-то что еще за компания? Как вы сюда попали, кто вас сюда пустил? Я вас сейчас арестую.

Он быстро открыл дверь, чтобы позвать кого-нибудь, а я в это время в другую дверь выпроводил брата и Бржозовского. Когда Фурсов вернулся с каким-то полицейским, их и след простыл. Он накинулся на моего вологодского провожатого, но тот мог только сказать, что один из посетителей мой брат и приехал вместе со мной, а другого он не знает. На гневный вопрос, обращенный ко мне, я ответил спокойно, что не вижу никакой надобности называть ему моего товарища.

Это привело его в совершенную ярость. Пробежав бумагу от вологодского губернатора, он сказал:

— Ну, это дудки-с! Что за место ссылки Кронштадт! Нет-с, батюшка! Ваша родина Волынская губерния?.. Ну так вот, сейчас же в пересыльную и в Житомир.

Он поднялся по узкой винтовой лестнице наверх.

— К Трепову пошел,— прошептал полицейский, которого Фурсов привел с собой, чтобы арестовать моих посетителей.— Плохо ваше дело: разбудит... Генерал осердится... Не иначе, в пересыльную отправит...

Однако через полчаса сердитый господин спустился по той же лестнице и, проходя через комнату, обронил, пожимая плечами:

— Странно. Генерал находит возможным... Кронштадтский пароход отходит завтра, в девять часов утра, но раньше идет поезд на Ораниенбаум. Выбирайте. А ты,— обратился он к вологодскому полицейскому,—

повезешь до места и сдашь кронштадтскому полицеймейстеру. Сейчас получишь бумагу.

Я решил ехать на Ораниенбаум, и мы отправились на вокзал дожидаться поезда. Ранним утром с ораниенбаумским пароходом мы высадились на кронштадтской пристани.

Таким образом, мой первый ссыльный путь был кончен.

Чтобы покончить также и с нашей академической историей, мне приходится сказать еще несколько слов. После известных крупных студенческих беспорядков в конце 60-х годов и после нечаевского процесса заметные движения среди молодежи стихли, студенческих беспорядков не было... Начиналось что-то в Медико-хирургической академии, но быстро стихло. Среди этого затишья наша, в сущности, незначительная история разразилась, как гром среди ясного неба. О ней много говорили в обществе, но не решались писать в газетах. Появились только самые краткие сообщения с упоминанием трех наших фамилий. Газеты ждали, вероятно, правительственного сообщения, но его тоже не было. Наконец «Голос» Краевского решился напечатать заметку об этом деле, вероятно, потому, что она исходила из самого «благонадежного» источника: ее прислал знакомый уже нам старый балагур, исправник Ржевский. Он изложил ее по-своему. Студенты подали ребяческое заявление, в котором, между прочим, «требовали себе женщин». Они волновались и не хотели принести извинения, но, к счастью, тут случился местный исправник, человек опытный и знакомый с нравами молодежи. И вот достаточно было нескольких простых и сердечных слов, сказанных этим стариком, любящим молодежь и любимым ею, чтобы беспорядки сразу стихли.

Брат доставил мне эту заметку уже в Кронштадте. Он и еще несколько студентов являлись в редакцию для объяснения, и там им сообщили, что заметка напечатана именно потому, что написана исправником. В обществе ходят толки и слухи, а печатать ничего нельзя. Газета поэтому «рискнула» поместить сообщение из «благонадежного источника». Так как при этом были упомянуты фамилии депутатов, в том числе и моя, то я счел своим формальным правом послать «письмо в редакцию», в котором с юным негодованием опровергал измышление исправника. Но мне ответили, что по-

следовало положительное запрещение касаться этой истории.

Этот эпизод оставил во мне накипь презрительного негодования к «либеральной» газете Краевского. Я написал новое письмо, хотя уже не для печати, в котором говорил, что газета, поместившая «гнусную клевету из полицейского источника», нравственно обязана снять ее, не считаясь с запрещением...

Разумеется, ответа не последовало.

VI

В КРОНШТАДТЕ.— ПОЛИЦЕЙМЕЙСТЕР ГОЛОВАЧЕВ

Кронштадт и тогда был на особом положении: управляли им моряки. Полицеймейстером был капитан Головачев, а комендантом, вроде губернатора, адмирал Козакевич. Головачева прозывали в городе Капитаном Носом, так как нос его заканчивался большими синими желваками. Это был нестарый человек, в морском мундире, с кортиком, подвижной, деятельный, экспансивный и предприимчивый до такой степени, что в скором времени попал под суд по обвинению зараз в тридцати двух преступлениях. Одно из них состояло в том, что, выйдя на базар за пять минут до окончания церковной службы и увидя, что торговцы вопреки приказу поторопились открыть уже свои лавки, он стал среди площади и крикнул зычным голосом:

— Братцы матросики... Грабь их в мою голову. Чтобы помнили закон...

Толпа не заставила повторить себе этот приказ. Матросы разных наций кинулись на лари с криком: «Ура! Капитан Нос приказал»,— и, кажется, еще до конца службы базар был разграблен.

Это было уже слишком громко, и решительный полицеймейстер был наконец отдан под суд. Но в то время, когда я прибыл в Кронштадт, он был еще в полной силе, и его темперамент совершенно соответствовал взглядам высшей морской администрации.

Моряки были тогда народ либеральный. Пробежав бумагу, Головачев галантно пожал мне руку и сказал:

— А, знаю. Ваша фамилия упоминалась в газетах... Ну что ж, добро пожаловать... Сейчас мы отправимся к адмиралу.

Моего провожатого отпустили, а мы с полицеймейстером отправились на его лошадях в адмиральский дворец. Было еще довольно рано, и мне пришлось дожидаться в гостиной, где мебель была покрыта чехлами. Наконец адмирал вышел вместе с Головачевым. Последний имел такой вид, как будто привез к начальнику некоторую редкость, которая должна ему доставить удовольствие. Адмирал, по-видимому поднятый с постели, имел вид несколько заспанный, но встретил меня радушно.

— Добро пожаловать,— сказал и он.— Очень рад с вами познакомиться... Жалею, что знакомство произошло при таких обстоятельствах. Ну, да авось недолго. Надеюсь, мы с вами ссориться не будем. Теперь вы свободны.

Выбежав из дворца, я нанял извозчика и поехал на квартиру двоюродного брата.

Мать была нездорова и лежала в постели. Болезнь ее была чисто нервная, а в последние дни она замечала, что от нее что-то скрывают, и догадывалась, что это относится ко мне. Она широко открыла глаза, когда я в сопровождении двоюродного брата и его жены вбежал в ее комнату и обнял ее, весело смеясь. Она удивилась и обрадовалась. Пользуясь этим моментом радостного возбуждения, я сразу сообщил ей, что ее мечты о хозяйстве в лесном домике разлетелись прахом, но зато мы будем жить вместе. Она смеялась и плакала в одно и то же время.

Итак, я зажил «на подзоре», по выражению моего ярославского тюремного товарища, в Кронштадте. Сестра моя кончила институт, и мы решили поселиться отдельно от двоюродного брата на своем хозяйстве. Младший брат в это время поступил вольнослушателем в строительное училище и жил в Петербурге. Старший продолжал работать в корректуре, но уже самостоятельно. Он тоже вырвался из цепких когтей Студенского. Младшая сестра жила с матерью. Мне пришлось искать работу в Кронштадте, и я сделал объявление в местном «Вестнике», что «студент ищет занятий». При этом я перечислил: уроки, чертежи, рисунки и... корректуру.

В тот же день я получил экстренное приглашение к Головачеву.

— Батюшка... Что же вы это со мной делаете?— И он указал на объявление. Я удивился, что же именно

приводит его в такое негодование — уроки, чертежи, корректура?

— Вот, вот, она самая. Уроки — ничего, но кор-рек-тура!.. Это невозможно! Вот чертежи другое дело. Можете ли вы, кстати, начертить нам для полицейского управления пожарный обоз нового образца?.. Да чтобы краски как в натуре... Можете?.. Превосходно. Едем сейчас же в часть...

И стремительный полицеймейстер повез меня в одну из частей, где стоял пожарный обоз нового образца, какой один раз мне уже был продемонстрирован в Вологде. Я его зачертил, вымерил, и через неделю весь обоз, с бочками, насосами, телегой для пожарной лестницы и багров, ярко раскрашенный суриком и синею краскою, был доставлен Головачеву, а еще через неделю, вставленный в изящные рамы, он украсил стены полицеймейстерского кабинета в управлении.

— Вот это так,— говорил Головачев в восторге,— это не кор-рек-тура-с. Этим занимайтесь сколько угодно... А можете вы составить план спасательной станции?

— Это уже не по моей части,— сказал я.— Я не архитектор.

— Ну, пустяки... Съездите в Ораниенбаум, срисуйте там спасательную станцию, как вы срисовали обоз, и дело в шляпе.

— Но ведь с меня взята подписка о невыезде за черту города.

— Наплевать! Ездите сколько угодно, только не попадите в какую-нибудь историю. Скандальчик какой-нибудь, знаете, с протоколом или что-нибудь в этом роде — тогда, конечно, неприятность. А сейчас поедем посмотреть выбранное мною место. Я уже его и огородил... Думские подлецы подали ябеду за самовольный захват. Крючкотворы!..— Он вздохнул.— Думаете, мы не боремся? Боремся, батюшка, не хуже вашего.

На этот раз «думские крючкотворы» восторжествовали, и наша станция не состоялась.

Однажды Головачев опять пригласил меня и сказал:

— Есть у меня приятель, начальник минного офицерского класса, Владимир Павлович Верховский. Я ему говорил об вас и показывал рисунки пожарного обоза: хотите поступить в минный класс чертежником?

Я несколько удивился неожиданному предложению: Головачева испугала корректура, и он же предлагает

работу в таком учреждении. Впрочем, может быть, я удивляюсь задним числом: тогда террор еще не разгорелся, химия и взрывчатые вещества не играли никакой роли в революции, и вскоре я стал проводить утренние часы за чертежной доской в минном офицерском классе.

VII

СРЕДИ МОРЯКОВ.— В. П. ВЕРХОВСКИЙ И ДЕЛОВАЯ ФИЛОСОФИЯ.— АДМИРАЛ ПОПОВ

И учреждение, и его работа, и начальник его представляли много интересного. В моем столе хранились чертежи всех мин, не исключая и чуда тогдашнего минного искусства — мины Уайтхеда, которая, получив приказание, могла идти со скоростью тридцати верст в час на любой глубине под водой, взорвать подводную часть корабля, а в случае неудачи вернуться обратно. В той же комнате, где я работал, офицеры читали матросам лекции, а в соседней, где находился большой бетонированный бассейн-колодезь, производились опыты небольших взрывов под водой. Там же готовились взрывчатые патроны с говардовой ртутью. Однажды в той комнате вдруг раздался взрыв. Оказалось, что у одного минера оторвало кисть руки. Его увезли в больницу, а офицер тотчас же собрал минеров и прочел им лекцию об изготовлении патронов. Он перечислил все предосторожности и закончил:

— Но так как все-таки, несмотря на все предосторожности, говардова ртуть взрывается иногда от неизвестной причины, то каждый работающий минер не должен иметь ее в данное время более чем на тридцать патронов. Тогда в случае взрыва погибнет минер, пострадает, может быть, комната, но здание останется цело.

Из этого я вывел приятное заключение, что и я работаю рядом с такими сюрпризами. Беспечен русский человек. Проходя ежедневно купаться по одной из дамб, выдававшейся далеко в море, у откоса которой была построена избушка для сушки пироксилина, я не раз имел случай наблюдать, как матросы набивали цилиндрические мины пироксилином, держа в то же время горящие трубки в зубах.

— Никто как бог,— уверенно ответил на мое замечание матрос.

И эта теория получила вскоре блестящее подтверждение: пироксилин как-то пересушили, и он вспыхнул. Надо заметить, что взрыв и простое сгорание пироксилина дают различные результаты. На этот раз он просто сгорел. Домик все-таки разнесло от напора быстро развившихся газов, но матроса, стоявшего в это время у открытого окна (может быть, того самого, который изрек эту философскую сентенцию), только выкинуло саженей на двадцать в море, причем он отделался простым испугом и купаньем.

Я попал в новую среду — моряков, и с любопытством присматривался к ней. Заведующий минным офицерским классом В. П. Верховский казался мне человеком замечательным: небольшого роста, полный, отчасти напоминающий Наполеона лицом и шевелюрой, он был замечательный математик и прекрасный администратор. Распоряжения его всегда были быстры, точны, отчетливы. Мне казалось, что ему предстоит большое будущее. Но... он все-таки был русский человек и жил в русских условиях, которые напомнили мне Тотьму, унылого таксатора Успенского и его веселого сожителя взяточника...

Однажды Верховский заказал мне небольшой чертеж антресолей для склада мин. Я выполнил эту работу, причем спроектировал два окна, так как считал освещение недостаточным, лестницу с балюстрадой и такие же перила вдоль антресолей. Верховский остался очень недоволен.

— Эх,— сказал он с досадой,— ведь строить-то будем не мы, а военно-инженерное ведомство. Ну, они нам каждую балясину вгонят в десятки рублей... Мы это сделаем все своими средствами, без плана.— И мне пришлось переделать чертеж.

Через некоторое время явился военный инженер в сопровождении подрядчика Кузьмы. Инженер был чрезвычайно благообразный старичок с лицом сладким почти до святости. Посмотрев на чертеж, он сказал, обращаясь ко мне:

— Вы не знаете своего дела, молодой человек: свету мало, перил нигде нет.

Я усмехнулся и промолчал. Верховский одобрительно посмотрел на меня и тоже смолчал. Святой старичок, казалось, понял и проследовал дальше, а подрядчик Кузьма остался. Молодые офицеры окружили его и стали смеяться.

— Что, Кузьма, на этот раз не выкусите?

Кузьма, кажется, рязанский мужичок, в синем армяке, с окладистой бородой, с скуластым умным и хитрым лицом, стал огрызаться:

— Да много ли тут и всего-то, если бы были перила и окна? На все ведь справочные цены.

— Ну уж, чтобы вы не нашли, с вашим инженером, на чем украсть? — сказал, помнится, Перелешин, впоследствии погибший на «Весте».

Кузьма посмотрел на него заискрившимся лукавым взглядом и сказал с удивившей меня откровенностью:

— Ну уж, не найти!.. Чай, у нас головы-то не опилками набиты. Найде-ем. Теперь-то мы вашего капитана еще пуще того прижмем... Не мудри он!

Кузьма смеялся, офицеры тоже смеялись, и только мне с непривычки казалась поразительной эта циническая откровенность. В Тотьме — кондуктор. Здесь — Кузьма со своим инженером. «Всюду гниль и разложение»,— думал я среди общего смеха и шуток военной молодежи.

В другой раз Верховский поручил мне расчертить все отдельные части медной цилиндрической мины, чтобы сдать крупный заказ артиллерийскому заводу в том же Кронштадте. Чертежи вернулись с завода с расценкой. Взглянув на них, я был прямо поражен явным и ни с чем не сообразным хищничеством: простые медные дюймовые винтики были оценены по семи рублей. Я был молод и наивен. Верховский мне казался очень порядочным человеком, и я не удержался от выражения удивления. Лицо его слегка вспыхнуло, и он тотчас же послал матроса за мастером, делавшим расценку. Явился субъект в мундире чиновника военного ведомства, с лицом еврейского типа. Я слышал из-за дверей, как Верховский кричал и горячился: «Я вас под суд отдам! Лично поеду к генерал-адмиралу. Это грабеж...»

Субъект возражал что-то слегка визгливым и смиренным голосом. Когда он вышел из кабинета, лицо его было красно и все в поту, но губы передергивала ироническая и, как мне казалось, все-таки торжествующая улыбка. Через день или два расценки вернулись исправленными, но исправления были таковы, что казались просто насмешкой. Вероятно, в моем взгляде Верховский опять заметил недоумение. Он понял настрое-

ние «неопытного студента» и, глядя на меня своим умным и твердым взглядом, сказал:

— Я мог бы уже десять раз отдать этого мерзавца под суд. Но ведь я знаю: на его место будет назначен такой-то, фаворит генерала NN, русский, но вор в десять раз загребистее. С тем будет еще труднее. Ну, а мне,— закончил он, твердо отчеканивая слова,— нужно, чтобы шла моя деловая работа... Бороться с общими порядками мне некогда. Я человек деловой.

Вся атмосфера Кронштадта была проникнута той же «деловой» философией. Она побеждала и затягивала даже честных людей. В то время много говорили о следующей истории. На одно военное судно был назначен новый командир. Это был человек молодой, талантливый, отличный служака, обожаемый командой и очень честный. На первых же порах он отказался принять большую партию угля, совершенно не соответствовавшего кондициям. Подрядчик представлял большую силу в ведомстве, и среди офицеров, не в одних морских кругах, с интересом ждали, чем кончится это столкновение заведомо честного человека с заведомым вором.

Кончилось оно неожиданно: в один прекрасный день на судно явился генерал-адмирал великий князь Константин Николаевич (как известно, либерал и сторонник реформ). На судне все оказалось в образцовом порядке. Обойдя корабль от палубы до трюма с сдержанным видом, великий князь сказал на прощанье:

— Хорошо... Но, говорят, вы притесняете подрядчика. Это не надо...

Офицеру оставалось сделать шаг чисто революционный: выйти в отставку в виде протеста или подчиниться... Кажется, офицер подчинился установленному «порядку».

В морской среде ко мне, «высланному студенту», относились вообще хорошо.

Однажды в чертежную, где я работал, растянувшись над большой чертежной доской, неожиданно вошла гурьба офицеров. Впереди шел в сопровождении Верховского старый адмирал небольшого роста, очень полный, с грубым, невыразительным лицом. Я встал навстречу вошедшим, поздоровался с знакомыми, а затем опять принялся за работу в прежней позе. По-видимому, это было нарушением привычной для адмирала почтительности: чертежник должен бы стоять все время, пока он в комнате. Это был знаменитый в те времена

всесильный в морском ведомстве Попов, строитель не менее знаменитых «поповок», оказавшихся на деле совсем негодными. Попов был известен как грубый самодур. Если не ошибаюсь, его вывел впоследствии Станюкович в рассказе под названием «Грозный адмирал».

Вся компания остановилась в той же комнате у цилиндрической уайтхедовской мины, но, прежде чем приступить к осмотру, адмирал обратил внимание на непочтительного чертежника.

— Кто?— кинул он громко, кивнув головой в мою сторону.

— Чертежник, студент,— ответил Верховский и прибавил тише несколько слов.

— А...— И грозный адмирал успокоился. Они осмотрели устройство мины и ушли дальше.

Через некоторое время Верховский прибежал ко мне из другой комнаты и, торопливо набросав эскиз, попросил меня сделать чертеж сооружения вроде железной короткой и широкой лестницы. Это были так называемые кринолины, изобретение Попова, которыми он предполагал ограждать на ходу броненосцы от вражеских мин. Верховский горячо восставал против этого проекта, доказывая, что кринолины страшно замедлят ход. Через месяц производилось испытание их на Севастопольском рейде, и Верховский поделился со мной его результатами.

Они оказались блестящими; последовал крупный заказ кринолинов. Но в письме, присланном Верховскому одним из товарищей, говорилось, что результат испытания просто раболепная подделка: судно с кринолинами шло якобы очень быстро, пока на нем находился адмирал Попов. Но стоило ему сойти с палубы, броненосец не только не облегчился, но сразу пошел почти вдвое тише. «Гниль и разложение,— констатировал я еще раз про себя.— Ложь сверху донизу».

Чтобы покончить с воспоминаниями о минном офицерском классе, скажу, что впоследствии я с участием следил, не всплывет ли среди событий имя Верховского, которого я считал выдающимся человеком. И оно действительно всплыло. Раз или два оно было упомянуто в связи с каким-то молебном при участии Иоанна Кронштадтского. Я вспомнил, что Верховский был набожен и крестился каждый раз, проходя мимо креста на церкви штурманского училища, рядом с минным классом. Мне это тогда в нем нравилось, как черта характерная.

«Кто на море не бывал, тот богу не маливался»,— вспомнил он раз при мне. Но вот во время русско-японской войны какой-то юродивый или просто шарлатан нашел явленную икону, причем некий благолепный старец, явившийся ему в тонцем сне, предсказал победу и одоление российскому воинству, как только икона сия будет доставлена на театр военных действий. Икона торжественно препровождена в Маньчжурию, никакого одоления, разумеется, не последовало, и я с некоторою грустью прочитал, что это шутовство произошло при посредстве В. П. Верховского. К тому времени он был известен в морских кругах как владелец завода, исполнявшего военные заказы...

Так заглохла среди казенщины и рутины эта крупная сила. Очевидно, размышления юного «ссыльного студента» о «гнили и разложении» строя были не так уж наивны...

VIII

ВОЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ.— ЧИЖОВ И ДЕГАЕВ

Из первого тома этой «Истории» читатель вспомнит моего двоюродного брата, артиллериста. Он был настроен тоже довольно радикально. Много читал, увлекался Боклем, Белинским, Добролюбовым и Писаревым, вообще был проникнут новыми идеями, гуманно обращался с солдатами и водил знакомства с людьми того же настроения. Когда он переехал в Кронштадт, у него бывала преимущественно интеллигентная военная молодежь.

Когда-то Иван Аксаков писал отцу и брату о настроении тогдашнего общества: если нужно найти в провинции честного человека, то следует искать его среди поклонников Белинского. «У человека, способного сострадать несчастиям угнетенных, у честного доктора, честного следователя, готового на борьбу»,— вы нашли бы непременно портрет Белинского, а также, наверное, письмо его к Гоголю. То же, конечно, можно было сказать о следующем поколении, воспитавшемся на Добролюбове и Чернышевском.

Реформаторская деятельность Александра II вызвала к жизни лучшие стремления во всей стране, выдвинула много свежих сил, которые стремились к дальнейшему обновлению жизни. Можно сказать без преувели-

чения, что готовность на борьбу с простыми злоупотреблениями была в это время связана с представлением о Белинском, Добролюбове, Чернышевском и становилась неблагонадежной. И наоборот — официальная благонамеренность была связана с старыми традициями взяток и злоупотреблений или по крайней мере с терпимостью к ним. В очень нашумевшем в свое время романе «Марево» (Клюшникова) это было подчеркнуто с наивной откровенностью: герою, которого автор рисует самыми идеальными чертами, его подчиненный, взяточник, говорит прямо: «Вот вы оказались хорошим человеком. А уж как мы вас боялись, когда узнали о вашем назначении». «Хорошим человеком» он оказался потому, что не считает себя праведником, не вступает в «ненужную и заносчивую борьбу» с бытом и сливается с затягивающим общим тоном жизни.

Если бы было понято в свое время это трагическое противоречие, этот голос простейшей правды, требовавшей хотя бы постепенного, но твердого дальнейшего обновления жизни, то царствование Александра II закончилось бы тем, чем началось, и могло бы стать одним из славнейших в истории. Но для этого нужен был более крупный ум и характер, которого у Александра II не было. И вот почему, начав великим призывом своего народа к свободе, он закончил комически жалкими наставлениями «с высоты престола»: «Домовладельцы, смотрите за своими дворниками».

Вообще то время представляется мне точно взморье во время начавшегося прилива, когда по всему простору кипят и пенятся набегающие и попятные волны. Благонамеренность в конце концов победила в официальной России, и роковым образом с нею воскресали дореформенные нравы, взяточничество и хищение. Элементарная честность становится «неблагонадежной». И вот почему самые крайние революционные акты встречали в то время такое широкое сочувствие в образованном обществе...

То же происходило и в военной среде. Из милютинских военных гимназий в армию хлынула масса молодежи, хорошо знакомой с Белинским и Добролюбовым. А в казармах она встречалась с застаревшими или воскресшими вновь дореформенными злоупотреблениями, на помощь которым шла военная дисциплина и благонамеренная традиция. Эти два течения ужиться не могли, и милютинская реформа была устранена.

Когда через некоторое время после моего приезда сестра моя окончила институт и мы решили поселиться отдельно от двоюродного брата, то его товарищи, молодые офицеры, стали посещать нас и на новом месте. Трое из них впоследствии примкнули к революционной деятельности. Один, Васильев кажется, эмигрировал, другой, Чижов, попал в Восточную Сибирь, третьему суждено было приобрести громкую, но печальную известность: это был Дегаев, ярый революционер, террорист, потом предатель, выдавший, между прочим, Веру Фигнер и, наконец, в довершение всего устроивший убийство Судейкина, который втянул его в предательство.

В нашей маленькой квартирке, состоявшей, собственно, из одной большой комнаты с перегородкой, где жил я с матерью и двумя сестрами, вечера часто проходили в оживленных разговорах. Отчасти эту молодежь привлекала к нам моя старшая сестра — живая, хорошенькая и умная.

Самой яркой фигурой этого кружка был, несомненно, Дегаев. Маленький ростом, широкоплечий, с тонким станом, очень подвижной и нервный, он был склонен к парадоксам и легко загорался. Гораздо менее эффектна была фигура Чижова. Большой, несколько неуклюжий, с плохой военной выправкой, он был не блестящ, но искренен и серьезен. С Дегаевым он был приятель, но у них постоянно происходили идейные столкновения. Чижов был назначен ротным командиром и сразу наткнулся на целую сеть хозяйственных злоупотреблений. Он тотчас же затеял борьбу с хищниками, заставлявшую говорить о себе в военных кругах. Дегаев насмехался над этим «донкихотством» и резко высмеивал «борьбу с ветряными мельницами». Чижов защищался просто и неэффектно. Моя сестра горячо приняла сторону Чижова... Дегаев скоро вспыхнул и в полемическом увлечении прибег к следующему соображению: армия — главное орудие порабощения. Кто держит Россию под властью тиранов?.. Солдатчина. Поэтому — чем более морят этих скотов воры каптенармусы и иные хищники — тем лучше. Сестра возмутилась этой теорией, и спор принял довольно резкий оборот. На следующий день, к удивлению людей, знавших Дегаева, он прислал сестре письмо, в котором извинялся за излишнюю страстность спора и, «по зрелом размышлении», признавал себя неправым по существу.

Еще через месяц я встретил его в ораниенбаумском поезде. Он, по-видимому, только что прочитал или перечитал статью Добролюбова о Кавуре, и ему показалось, что она имеет отношение к его спору с Чижовым. Чижова он причислял к людям кавуровского типа, себя — к типу Гарибальди. Это вновь укрепило его на прежней точке зрения. Впоследствии мне часто вспоминались эти колебания Дегаева, когда я узнал о парадоксальной карьере этого человека.

Вспоминаю еще факт, характерный для тогдашней военной среды. Один из сослуживцев моего двоюродного брата, артиллерийский офицер, по фамилии Франк, задумал перейти на жандармскую службу. Для этого ему пришлось просить об отставке и об отзыве для представления новому начальству. Военная молодежь отнеслась к этому с нескрываемым негодованием. Офицеры постарше не были так решительны, но, в общем, разделяли взгляд молодежи. Франк вдруг был вызван к начальнику артиллерии петербургского военного округа, по фамилии, помнится, Баранцов. Когда Франк явился, генерал быстро вышел из своего кабинета в приемную, подошел вплотную к Франку, смерил его взглядом с ног до головы и сказал:

— Я вызвал вас, чтобы посмотреть на офицера, который решается променять честный артиллерийский мундир на мундир шпиона.— Затем, резко отвернувшись и не кивнув головой на прощанье, ушел. Многие офицеры перестали подавать Франку руку. Говорили даже, что ему предложено было старшинами морского клуба, в который принимались и артиллеристы, выйти из состава членов.

IX
В ПЕТЕРБУРГЕ.— ПОХОРОНЫ ЧЕРНЫШОВА И «ПРОЦЕСС 193-х»

Через год срок нашей ссылки (моей, Григорьева и Вернера) кончался, и я первый напомнил об этом в министерстве внутренних дел. Это напоминание имело успех. Тогда моему примеру последовал Григорьев. Вернер еще раньше подал заявление о желании поступить в армию. Он был отослан офицером на Кавказ, отличился в русско-турецкой войне, а после войны вернулся в Россию свободным человеком и опять поступил в академию, где впоследствии стал профессором.

Помню один из последних вечеров в Кронштадте. Я вышел из библиотеки морского клуба, где в последний раз сдал книги. Меня охватило сознание, что беззаботная жизнь в кронштадтской ссылке кончается и на меня ложится ответственность за будущее семьи. Был тихий летний вечер, над деревьями бульвара стояла яркая луна. Я сел на скамью и просидел так часа два. Много мыслей тогда прошло в моей голове. Приходилось совместить одновременно серьезные семейные обязанности, совершенно определенные и ясные, с мечтами об общественной работе, манящими, но неясными и неопределенными. Домой я пришел поздно, удивив мать долгим отсутствием. Никакого ясного решения я с собой не принес. В конце концов мы переехали в Петербург, я выдержал конкурсный экзамен в Горный институт и стал искать работу.

Устроились мы на Фонтанке, где-то недалеко от Измайловского моста, купив самую дешевую мебель и обстановку. Однажды брат прибежал сообщить, что он купил мимоходом на Сенной отличную кушетку, но что ее сейчас же нужно взять. Мы побежали на Сенную и вдвоем принесли кушетку, возбудив удивленные и презрительные взгляды дворника.

Пришлось обратиться опять к корректуре. В это время Иван Васильевич Вернадский, известный когда-то издатель «Экономиста», полемизировавшего с Чернышевским, решил издавать новый еженедельный «Экономический указатель». Это был небольшой, довольно жалкий листок, выходивший четыре раза в месяц, наполненный цифрами. Для него потребовалась корректура, и мы с братом взяли ее на себя. Заработок был ничтожный, что-то около двадцати рублей в месяц, а работа трудная, всё цифры. Но это была своего рода точка опоры: «Указатель» печатался в собственной типографии Вернадского, носившей название «Славянская книгопечатня» и помещавшейся на Гороховой, между Садовой и Фонтанкой. В типографии могли встретиться другие работы. И действительно, вскоре я был приглашен вторым корректором в газету «Новости», в которой работал до новой своей высылки из Петербурга. Работа была ночная и не мешала мне днями посещать Горный институт.

Должен, однако, сказать, что на этот раз я опять не стал хорошим студентом. В Петербурге закипало движение. Судились участники Казанской демонстрации.

Несколько наших знакомых были привлечены, а младший брат выступал в качестве свидетеля. При этом обвинитель, анализируя его показания, заметил язвительно, что этому свидетелю лишь по оплошности следствия пришлось сидеть на скамье свидетелей, тогда как его настоящее место рядом с подсудимыми. Я был на счету бывшего ссыльного. Полиция сразу стала следить за нами.

Потом пошел памятный «процесс 193-х». Это были жертвы первой волны так называемого «хождения в народ». Теперь все это движение достаточно освещено воспоминаниями многих участников. Основанное на совершенно иллюзорном представлении о «перманентной революционности» народа, об его постоянной готовности к ниспровержению существующего строя и созданию нового на самых идеальных началах, движение это, в сущности, не было опасно. У революционной интеллигенции и у народа не было ни общего языка, ни взаимного понимания. Но, как всегда, царское правительство перепугалось насмерть. Тревога пошла по всей России: хватали направо и налево заподозренных в «сочувствии» и неблагонадежности, свозили их в Петербург и держали в доме предварительного заключения или в Петропавловской крепости по три и по четыре года. Во время суда обвинитель Желеховский сказал с идиотской откровенностью, что громадное большинство подсудимых посажены на скамью подсудимых только «для фона», на котором должны выступать фигуры главных злоумышленников. И действительно, по приговору суда некоторые из этих молодых людей и девушек были приговорены на один-два месяца заключения, после того как они «для фона» просидели по четыре года.

Все это дело задолго до суда глухо волновало молодежь. На этой почве произошла неожиданная и небывалая еще в таких размерах демонстрация.

В марте 1876 года умер студент Чернышов. Это была одна из жертв большого процесса. Его тоже держали «для фона», и в доме предварительного заключения он заболел чахоткой. Его перевели в клинику, где он и умер.

Тридцатого марта к выносу тела явились студенты сначала в небольшом количестве, но затем, по мере движения по улицам, толпа росла. На углу Шпалерной и Литейного, у дома предварительного заключения,

гроб остановили и, подняв над головами, отслужили литию. Демонстрация была организована так удачно, что даже после этого полиция не спохватилась, и огромная толпа беспрепятственно дошла до кладбища, попутно разъясняя заинтересованной публике значение демонстрации. Только когда начались над могилой откровенно революционные речи, местная полиция спохватилась, но ничего не могла сделать. Я в то время жил еще в Кронштадте и на похоронах не был. Но брат, как очевидец, рассказывал о трагикомическом положении какого-то бедняги квартального, который увидел себя совершенно бессильным в самом центре несомненной политической демонстрации. Он метался и порывался к ораторам, но молодежь тесно окружила его, и он сам увидел себя в положении арестованного. Вдобавок, когда главные речи кончились, какой-то подвыпивший студентик взобрался на могильную ограду и, картавя, произнес краткую импровизацию:

— И кгоме того, дадим тогжественное обещание бить вот этакие полицейские могды...

И он указал на квартального. Тот отчаянно рванулся к нему.

— Нет, господа, это невозможно. Этого я уже должен арестовать!..

Студент тоже рвался к квартальному, но окружающие, смеясь, развели их. Когда подоспели отряды полиции и конные жандармы, все уже было кончено, и даже арестовать никого не пришлось.

Все это будоражило общественное мнение, и в Петербурге много говорили о предстоявшем большом процессе. Сначала предполагалось судить всех вместе, но затем испугались этой толпы подсудимых, озлобленных многолетним сидением и явной неправдой «правосудия». Решили разбить массу подсудимых на отдельные группы. Когда им об этом объявили, то в особом присутствии сената произошли бурные сцены. Подсудимые сопротивлялись уводу и произносили страстные протестующие речи. Публика допускалась в очень ограниченном количестве, газетные отчеты строго цензуровались, но все же каждый день Петербург молнией облетали известия о происходящем. Рассказывали, что Рогачев, бывший офицер, богатырского сложения, привел в ужас сенаторов, прорвавшись к решетке и потрясая ее руками. Мышкин, не вполне уравновешенный, фанатичный и страстный, обладавший незаурядным оратор-

ским талантом, произнес речь, в которой сравнил сенаторов-судей с публичными женщинами: «Там бедные женщины из нужды продают свое тело, а вы продаете душу за чины и ордена». Эффект этой речи усиливался оттого, что она была закончена среди борьбы между оратором, кинувшимися выводить его жандармами и другими подсудимыми...

Все это жадно ловилось на лету. Когда я приезжал в это время в Кронштадт, знакомые офицеры и их дамы сходились к двоюродному брату, чтобы выслушать последние известия. Я передавал, что знал сам. Даже военное общество негодовало, дамы плакали. Идеалы социализма в общих формулах привлекали горячее сочувствие, особенно женщин. Один офицер, большой скептик, сделал как-то практический вывод:

— Но ведь тогда, сударыня, все будут равны...

— Ну что ж. Это так прекрасно,— перебили его женские голоса.

— Виноват, я не кончил... Тогда, значит, не будет, например, ни кухарок, ни горничных...

Дамские лица вытянулись.

— Да-а-а... Это в самом деле на практике неудобно...

Суд ходатайствовал о значительном смягчении участи всех подсудимых, но Александр II не только не смягчил приговора, но еще для некоторых подсудимых усилил его, вследствие чего многие, уже отпущенные в ожидании смягченной конфирмации, были вновь арестованы и посажены в тюрьму. Это произвело самое невыгодное для царя впечатление.

Впоследствии мне довелось слышать от Николая Федоровича Анненского следующее интересное сопоставление:

— В большом процессе наивные идеалисты и мечтатели ругались, потрясали решетками, наводили ужас на судей. Это было в семьдесят восьмом году. А через два-три года перед теми же сенаторами, безупречно одетые в черные пары и в крахмальных воротничках, Александр Квятковский и потом Желябов давали в корректнейшей форме показания:

«Я уже имел честь объяснить суду, что бомба, назначенная для покушения на императора, была приготовлена там-то и состояла из следующих частей...»

X

ПОХОРОНЫ НЕКРАСОВА И РЕЧЬ ДОСТОЕВСКОГО НА ЕГО МОГИЛЕ

В конце 1877 года умер Некрасов. Он хворал давно, а зимой того года он уже прямо угасал. Но и в эти последние месяцы в «Отечественных записках» появлялись его стихотворения. Достоевский в своем «Дневнике писателя» говорит, что эти последние стихотворения не уступают произведениям лучшей поры некрасовского творчества. Легко представить себе, как они действовали на молодежь. Все знали, что дни поэта сочтены, и к Некрасову неслись выражения искреннего и глубокого сочувствия со всех сторон.

Был у меня в то время приятель, студент Горного института, очень радикальный, очень добродушный и комически-наивный в своем радикализме. Он передавал мне, будто собираются подписи под адресом Некрасову студентов всех учебных заведений. Смысл адреса он на своем выразительно-наивном языке кратко резюмировал так:

— Слушай, брат Некрасов. Тебе все равно скоро помирать. Так напиши ты этим подлецам всю правду, а уж мы, будь благонадежен, распространим ее по всей России.

Я только засмеялся, и, конечно, адрес, с которым студенты обратились к больному поэту, был написан умно, тепло и хорошо. Говорили, что Некрасов был им очень растроган.

Когда он умер (27 декабря 1877 года), то, разумеется, его похороны не могли пройти без внушительной демонстрации. В этом случае чувства молодежи совпадали с чувствами всего образованного общества, и Петербург еще никогда не видел ничего подобного. Вынос начался в 9 часов утра, а с Новодевичьего кладбища огромная толпа разошлась только в сумерки. Полиция, конечно, была очень озабочена. Пушкин в «Поездке в Эрзерум» рассказывал, как на какой-то дороге, на границе Грузии и Армении, он встретил простую телегу, на которой лежал деревянный гроб. «Грибоеда везем»,— пояснили ему возчики-грузины. Тело самого Пушкина, как известно, было выволочено из Петербурга подобным же образом, бесчестно и тайно. Эти времена давно прошли, и власти были уже не в силах удержать проявление общественных симпатий. Некрасова

хоронили очень торжественно и на могиле говорили много речей. Помню стихи, прочитанные Панютиным, потом говорил Засодимский и еще несколько человек, но настоящим событием была речь Достоевского.

Мне с двумя-тремя товарищами удалось пробраться по верхушке каменной ограды почти к самой могиле. Я стоял на остроконечной жестяной крыше ограды, держась за ветки какого-то дерева, и слышал все. Достоевский говорил тихо, но очень выразительно и проникновенно. Его речь вызвала потом много шума в печати. Когда он поставил имя Некрасова вслед за Пушкиным и Лермонтовым, кое-кому из присутствующих это показалось умалением Некрасова.

— Он выше их!..— крикнул кто-то, и два-три голоса поддержали его.

— Да, выше... Они только байронисты.

Скабичевский со своей простоватой прямолинейностью объявил в «Биржевых ведомостях», что «молодежь тысячами голосов провозгласила первенство Некрасова». Достоевский отвечал на это в «Дневнике писателя». Но когда впоследствии я перечитывал по «Дневнику» эту полемику, я не встретил в ней того, что на меня и многих моих сверстников произвело впечатление гораздо более сильное, чем спор о первенстве, которого многие тогда и не заметили. Это было именно то место, когда Достоевский своим проникновенно-пророческим, как мне казалось, голосом назвал Некрасова последним великим поэтом «из господ». Придет время, и оно уже близко, когда новый поэт, равный Пушкину, Лермонтову, Некрасову, явится из самого народа...

— Правда, правда!— восторженно кричали мы Достоевскому, и при этом я чуть не свалился с ограды.

Да, это казалось нам таким радостным и таким близким... Вся нынешняя культура направлена ложно. Она достигает порой величайших *степеней* развития, но *тип* ее, теперь односторонний и узкий, только с пришествием народа станет неизмеримо полнее и потому выше.

Достоевский, разумеется, расходился в очень многом и очень важном со своими восторженными слушателями. Впоследствии он говорил о том, что народ признает *своим* только такого поэта, который почтит то же, что чтит народ, то есть, конечно, самодержавие и официальную церковь. Но это уже были комментарии. Мне долго потом вспоминались слова Достоевского, именно

как предсказание близости глубокого социального переворота, как своего рода пророчество о народе, грядущем на арену истории.

В эти годы померкла даже моя давняя мечта стать писателем. Стоит ли, в самом деле, если даже Пушкины, Лермонтовы, Некрасовы знаменуют собою только крупные маяки на старом пройденном пути. Я никогда не увлекался писаревщиной до отрицания Пушкина и помнил, что Некрасов как поэт значительно ниже и Пушкина, и Лермонтова, но... придет время, и оно, казалось, близко, когда станет «новое небо и новая земля», другие Пушкины и другие Некрасовы... Содействовать наступлению этого пришествия — вот что предстоит нашему поколению, а не повторять односторонность старой культуры, достигшей пышного, но одностороннего расцвета на почве несправедливости и рабства.

Я писал как-то о том, что у меня с юности была привычка облекать в слова свои впечатления, подыскивая для них наилучшую форму, не успокаиваясь, пока не находил ее. В этот период моей жизни привычка эта если не исчезла, то ослабела. Господствующей основной мыслью, своего рода фоном, на котором я воспринимал и выделял явления, стала мысль о грядущем перевороте, которому надо уготовить путь...

Около этого времени среди моих земляков случилась одна трагедия. Был у нас товарищ, Гунько, юноша очень способный, шедший первым учеником в гимназии. Он был товарищ младшего брата и Бржозовского. Вначале они продолжали дружить, но тут вскоре началось идейное расхождение. Они увлеклись народническим движением, к которому Гунько относился холодно и насмешливо: он отошел от кружка, нашел новых товарищей, «путейцев», и вот однажды бросился с шестого этажа на мостовую...

Причины этого самоубийства остались для нас неясными. Новые его товарищи не могли объяснить ничего. Может быть, тут была замешана любовь. Но мне казалось тогда, что не может быть иного объяснения этой гибели молодой жизни, как отсутствие у погибшего нашей тогдашней веры. «Если бы он не оторвался от этого захватывающего общего настроения,— думал я,— он бы этого не сделал... Он исцелился бы так же, как и я исцелился от надлома моих неудачных годов». И другие товарищи Гунька думали то же...

XI
ГАЗЕТА «НОВОСТИ» И ЕЕ ИЗДАТЕЛЬ НОТОВИЧ

Газета «Новости» печаталась в «Славянской книгопечатне». Корректором в ней был Ф. К. Долинин, пописывавший также статьи. Одного корректора оказалось недостаточно, и Нотович пригласил меня работать вторым корректором. Мы чередовались через день, и, таким образом, времени у меня оставалось достаточно.

Газета шла довольно плохо, и деньги мне приходилось получать с некоторым трудом и по частям, по мере поступления в кассу. Для этого приходилось ходить в редакцию и контору два-три раза в неделю. Кассир каждый раз посылал меня к Нотовичу. Нотович старался отвлечь внимание от разговора о деньгах, ожидая, пока в кассе наберутся десятка два-три рублей, и, таким образом, я провел много часов за разговорами с редактором «Новостей».

Это был человек еще молодой, с тонкими еврейско-аристократическими чертами лица, юрист по образованию. Он издал популярное изложение книги Бокля, которым очень гордился, уверяя, что он только «выжал из Бокля воду». У него была особая редакторская способность: несколько сокращений, несколько поправок — и часто совершенно неграмотная рукопись приобретала вполне литературный вид. С замечательным искусством умел он использовать всякий клочок исписанной бумаги, попавший в редакцию, а делать это приходилось тем усерднее, что за корреспонденции он совсем не платил.

По этому поводу в печати был оглашен следующий маленький курьез: в «Новостях» печатались одно время очень живые и бойкие статейки из Саратова С. Гусева, впоследствии приобретшего широкую известность под псевдонимом Слово-Глаголя. Тогда он только что начинал литературную карьеру. Нотович быстро оценил молодого «начинающего» и охотно печатал все им присылаемое, но систематически не платил ни копейки. Злополучный автор после настойчивых требований, потеряв терпение, прислал редактору очень страстное и выразительно написанное ругательное письмо, в котором изображал трудное положение провинциального работника, а Нотовича называл пауком, жадным эксплуататором и другими эпитетами в том же роде.

Нотович и здесь выдержал характер: сразу оценив литературное достоинство ругательного письма, он озаглавил его: «Провинциальные корреспонденты и столичные издатели», очень ловко заменил в тексте обращение к себе изложением в третьем лице, и в «Новостях» появилась яркая заметка, за которую автор все-таки не получил ни копейки [1].

Нужно сказать, впрочем, что положение газеты в это время было чрезвычайно трудно. Объявлений было очень мало. Чтобы скрыть это печальное обстоятельство, неблагоприятно отражающееся на притоке новых объявлений, газета прибегала к хитрости: она стала перепечатывать объявления из других газет. Казалось, заказчикам это только выгодно: объявление, данное в одну газету, бесплатно повторяется в другой. Но однажды, придя, по обыкновению, за получением хоть части своего корректорского жалованья, я застал в редакции следы большой суматохи. Какой-то спортсмен, кажется из остзейских баронов, поместил объявление о продаже скаковой лошади. На скачках к нему подошел другой спортсмен и сказал, что он читал в «Новостях» его объявление.

— Вы не могли его читать в *«Новостях»*,— сказал первый спортсмен. Второй настаивал.— Угодно пари?— предложил тот.— Сделайте одолжение.

Пари состоялось на довольно крупную сумму. Первый спортсмен проиграл: «Новости» перепечатали его объявление. Разъяренный барон ворвался в редакцию с требованием вернуть ему проигрыш. Нотович настаивал на своем праве перепечаток в законных пределах. Вышел горячий спор, и барон стал гоняться с палкой за бегавшим вокруг стола редактором.

Другая история имела несколько элегический характер. «Солидный пожилой вдовец» пожелал найти компаньонку средних лет, по возможности приятной наружности, и сдал объявление в этом смысле в «Новое время». «Новости» услужливо перепечатали объявление. Дело вдовца устроилось, компаньонка удовлетворительной наружности была найдена, и жизнь пожилого господина вошла в семейную колею. Но вдруг — опять звонки, и опять туча претенденток средних лет и приятной наружности начинают слетаться в квартиру

---

[1] Факт этот оглашен в книжке Н. Ф. Хованского «Очерки из истории г. Саратова и Саратовской губ.», в биографии С. С. Гусева.

вдовца... Оказалось, что метранпаж «Новостей» за недостатком объявлений вытащил завалявшееся старое клише, и объявление вновь появилось в «Новостях». Злополучный вдовец не дрался, а только слезно просил прекратить печатание его объявления. Нотович великодушно обещал.

У него было, между прочим, какое-то особое чутье той среднеобывательской пошлости, которая может создать своеобразный успех среди уличной публики, поддерживающей розницу. В Петербурге как-то шел грандиозный процесс Юханцева, кассира одного из банков, совершившего крупное хищение. В Петербурге в это время жил некто Гиллин, американец. Он издал небольшую книжку плохоньких рассказов и в предисловии выражал надежду, что «русская публика поддержит молодого американца, посвятившего свое перо русской литературе». Этот Гиллин предложил Нотовичу за дешевую цену написать сенсационный роман на тему громкого процесса. Нотович ухватился за эту идею и несколько раз присылал справиться в типографию, не прислано ли начало романа. Наконец я прочел первую корректуру начальных глав. Это была невероятно грубая и пошлая мазня, и я подумал об огорчении Нотовича по поводу обманутых ожиданий. Поздно ночью Нотович пришел в типографию.

— Ну что? — спросил он живо.

— Неужели вы напечатаете эту пошлость? — спросил я.— Ведь это совсем не литература.

Лицо Нотовича омрачилось, и он стал с озабоченным видом просматривать корректуру. Но по мере чтения выражение его лица менялось: оно озарилось улыбкой одобрения, которая не сходила до конца. Прочитав, он поднялся с видимым удовольствием.

— Вы ничего не понимаете,— сказал он.— Превосходная вещь!

А через несколько дней он с торжеством сказал мне:

— Ну, господин строгий критик, кто же из нас прав? Газетные разносчики спрашивают: «Есть ли Гиллин? Тогда давайте пятьдесят номеров...» Без Гиллина — вдвое меньше.

Я понял, что это не была только издательская точка зрения: он сам разделял вкусы толпы, для которой издавал газету.

Он был человек с университетским образованием (юрист), но меня поражало его глубочайшее невежество

в других областях. Однажды в яркий весенний день я зашел к нему. По обыкновению, речь шла о моем корректорском жалованье, которое он выплачивал по частям.

— А, вы все о том же?— сказал он с шутливой досадой.— Какие вы, нынешняя молодежь, все материалисты: как будто не о чем больше думать, как о деньгах... Посмотрите сюда...

И он подвел меня к окну. Редакция помещалась тогда прямо против Юсупова сада, темные ветви которого в это утро вдруг зазеленели распускающимися почками.

— Посмотрите. Великая тайна совершается у нас на глазах: вчера еще все это было темно и мертво. И вот... заметьте: глубокою ночью, точно затем, чтобы ничей глаз не мог подсмотреть ее тайны, природа совершает свою работу, и наутро вы видите: она является, как юная невеста. Что же значат все эти ваши натуралисты... Как бессильна их наука! Ни один из них ни разу не сумел подсмотреть этого решительного творческого момента.

Случайно я только что купил учебник ботаники Томме. Там в рисунках была изображена почка и ее эволюция с начала и до момента, когда листок расправляется, разорвав почелистики.

— Это какое-нибудь последнее исследование?— спросил Нотович. Вместо ответа я указал на обертку учебника.

Тема о жалком ничтожестве точных наук была постоянным коньком Нотовича. В течение нескольких недель в воскресном прибавлении к «Новостям» он печатал фельетоны (кажется, написанные Гиероглифовым), в которых доказывалось, что наше юношество в школах пичкают под видом, например, физики всякими предрассудками. Один из таких предрассудков состоит в том, будто... воздух имеет вес! Автор изощрялся в остроумии, анализируя и опровергая эту, по его словам, явную нелепость.

— А ведь ловко, не правда ли? Какой, в самом деле, чушью набивают головы наших детей эти естественники и физики,— сказал Нотович с таким же самодовольством, с каким читал роман Гиллина.

Я сказал ему, что вся эта «критика» основана на полнейшем незнакомстве с теми учебниками, которые автор старается опровергнуть, и тут же доказал это на нескольких убедительных примерах.

— Ну что ж...— согласился Нотович.— Все-таки это остроумно, это будит мысль...

— Да,— ответил я,— но если это подхватят в фельетоне «Биржевых ведомостей», то-то достанется вам...

Это соображение произвело очевидное действие: Нотович сел к столу и приписал в выноске: «Ответственность за аргументацию редакция возлагает на автора». Эти курьезные фельетоны и эту приписку редакции любознательный библиограф может, вероятно, найти и теперь в публичной библиотеке.

XII

ВЫСТРЕЛ ЗАСУЛИЧ.— НАСТРОЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ И ПЕЧАТИ

24 января 1878 года я сел в линейку, которая ходила от Горного института, кажется, к Исаакиевской площади, перевозя через Неву профессоров и студентов. Среди других пассажиров прямо против меня уселся директор Горного института, профессор Бек. Он знал меня в лицо, так как после приема меня в институт вызвал для сепаратного разговора по поводу петровской истории. Теперь, ответив на мой поклон, он сказал:

— Вы знаете? Трепов убит. Какая-то девушка, говорят, писаная красавица... Конечно, арестовали...

Вся публика в линейке была заинтересована. В июле 1877 года Трепов велел наказать розгами осужденного за демонстрацию на Казанской площади Боголюбова. Говорили, что во время прогулки, проходя мимо градоначальника, Боголюбов не снял шапку.

Это был первый случай телесного наказания политического заключенного. Он произвел огромное впечатление. В обществе все были возмущены, а в доме предварительного заключения произошли крупные беспорядки с избиением и карцерами. Родилось то особое настроение, разлитое одинаково в обществе и в революционных кругах, которое насыщает воздух общим ожиданием: даром это не пройдет.

Прошло, однако, полгода. Впоследствии стало известно, что из провинции то и дело приезжали в Петербург лица, предлагавшие убить Трепова. Но «процесс 193-х» еще не был кончен. Центральные революционные круги удерживали мстителей, боясь, чтобы покушение не отразилось на судьбе массы подсудимых.

В обществе поэтому стали забывать о боголюбовской истории, когда выстрел Засулич грянул первым террористическим актом в ответ на первое телесное наказание.

История эта всем еще памятна. О ней много писалось, и я не стану приводить здесь подробностей дела Засулич. Скажу лишь, что она сразу стала героиней. Уже в том, что ее дело было отдано суду присяжных, сказалось, несомненно, отношение к Трепову и к Засулич правящих сфер. 31 марта Засулич судили в окружном суде с присяжными. Председателем был Анатолий Федорович Кони, произнесший резюме, на некоторое время приостановившее течение его блестящей юридической карьеры. Присяжные после недолгого совещания вынесли оправдательный приговор.

Это было так неожиданно, что не успели даже дать приказ об административном задержании Засулич на случай оправдания. Поэтому Кони объявил ее свободной, а смотритель дома предварительного заключения не задержал, и Засулич вышла на волю. Между тем у окружного суда и у дома предварительного заключения собралась с одной стороны довольно значительная толпа, чтобы приветствовать оправданную, а с другой — двигался уже небольшой отряд жандармов, чтобы арестовать ее. Произошло столкновение. Толпа не допустила ареста, но при этом оказался один убитый — Сидорацкий. Сначала все были уверены в Петербурге, что Сидорацкий был убит выстрелом жандарма, но впоследствии явились большие сомнения. Один мой знакомый рассказывал мне, что он был очевидцем, как во время демонстрации и вызванной ею суматохи какой-то молодой человек выбежал на тротуар в нескольких шагах от него, приложил револьвер к виску и выстрелил. Других убитых не было, значит, это и был Сидорацкий. Говорили, будто, когда жандармы остановили карету, Сидорацкий выстрелил в них, но так неудачно, что легко ранил кого-то из сидевших в карете или на козлах. Кто-то крикнул, что ранена Засулич, и это было причиной самоубийства...

Впечатление оправдательного приговора было по своей неожиданности еще сильнее, чем самый выстрел Засулич. У меня был в то время в Петербурге дядя однофамилец, Евграф Максимович. Я встречался с ним еще прежде на журфиксах у своей двоюродной сестры, но тогда он относился ко мне, как к мальчику. После

петровской истории и моей первой ссылки он изменил это отношение и однажды стал журить меня за то, что я не бываю у моего дальнего родственника Ивана Васильевича Вернадского. При этом он открыл мне, что около бывшего издателя «Экономиста» группируется кружок влиятельных петербургских либералов-конституционалистов, к которому принадлежит даже бывший петербургский губернатор Лутковский.

— У нас связи вверху, у вас молодость и энергия. Нам следует сговориться,— говорил старик.

Правду сказать, я ничего не ждал от этого союза. Евграф Максимович был уже очень стар, хотя кипел какой-то особенной экспансивностью. Когда он говорил, горячась (а горячился он всегда, особенно во время споров), лицо его становилось багровым, так что внушало опасения удара. Старик был очень интересен, умен и оригинален, но спорить с ним и даже выражать при нем несогласное мнение было невозможно, а значит, невозможны были и соглашения. Вернадский в то время представлял почти развалину. Он перенес один удар и даже говорил невнятно. Мы с братом все-таки пошли на один журфикс. Это было после покушения Засулич, но еще до суда. Помню, что все солидное общество, собравшееся у Вернадского, было проникнуто сочувствием к Засулич, начиная с самого Вернадского и Евграфа Максимовича и кончая сотрудничавшим в «Новом времени» историком Беляевым. Здесь тоже повторялась сказочная версия о необыкновенной красоте Засулич и передавались фантастические подробности, делавшие обстановку выстрела особенно эффектной.

Передавали, между прочим, что, когда царь приехал к раненому Трепову, тот просил «не оставить его сирот». Когда обнаружилось, что градоначальник оставил сиротам по завещанию несколько миллионов, Александр II очень охладел к нему.

Оправдательный вердикт присяжных довел общий восторг до кипения. Казалось, начинается какое-то слияние революционных течений с широкими стремлениями общества. В «Славянской книгопечатне», кроме «Новостей», печаталась еще газета «Северный вестник», издаваемая Е. Коршем, сыном известного писателя, адвокатом. Газета шла плохо и приносила большие убытки. Вероятно, поэтому Корш рискнул и поместил письмо скрывавшейся Засулич. Газету, конечно, закрыли, и я помню, с каким веселым видом издатель встретил

известие о ее прекращении. Номер с письмом рвали нарасхват. Засулич писала в нем, что скрывается не от суда и в случае законной кассации готова вновь предстать перед судом общественной совести. Она скрывается только от бессудной административной расправы.

Выстрел Засулич был одним из таких событий, которые хоть на время изменяют установившееся соотношение сил. Цензура сразу растерялась и ослабела. Преграды ослабли, и общественное мнение прорвалось. В газетах то и дело появлялись панегирики суду, сближения, намеки, а порой и прямые похвалы героическому поступку Засулич. Особенно смелые статьи печатались в коршевском «Северном вестнике», и это подзадоривало Нотовича. Он тоже написал большую статью. Она начиналась очень патетично восклицанием: «Читатель, Вера Засулич оправдана!..» И далее следовали периоды в самом приподнятом тоне. Но когда «Северный вестник» потерпел крушение, а в типографию стали то и дело заглядывать инспектора, то на редактора «Новостей» напала робость. Красноречивый фельетон был отложен в дальний стол. Однако Нотович потребовал, чтобы статью все-таки не разбирали.

— Авось еще пригодится,— говорил он.

И статья действительно пригодилась. Через несколько месяцев после дела Засулич разбирался процесс Енкуватова, кажется в Одессе, очень характерный для того времени. Енкуватов женился по любви на девушке, которая его тоже любила. На несчастье, брат Енкуватова тоже страстно полюбил свою невестку. Драма происходила в среде радикальной молодежи. Один из братьев (или даже оба) были в ссылке. Они горячо любили друг друга. На этой почве между братьями произошло своеобразное соглашение: муж отказался временно от супружеских прав, а его брат становился в положение искателя сердца его жены. Молодая женщина любила мужа и прямо заявила об этом, но до истечения срока своеобразного соглашения ее положение стало невыносимым. Безумно влюбленный старший брат перешел за пределы соглашения. Однажды ночью муж, спавший в «нейтральной комнате», услышал, как брат прошел в спальню его жены, и затем раздались крики о помощи. Это превысило меру всякого «идейного» долготерпения. Муж вбежал в спальню и — застрелил соперника-брата. Присяжные его оправдали.

Отчет о процессе печатался во всех газетах, в том числе и в «Новостях». Когда была получена телеграмма об оправдании, я был приятно удивлен встречей со старым знакомцем: отложенный фельетон Нотовича появился из-под спуда. Он начинался так же патетично: «Читатель, Енкуватов оправдан!..» И затем следовали те же красноречивые периоды с заменой только фамилии Засулич фамилией Енкуватова.

XIII

БУНТ В АПРАКСИНОМ ПЕРЕУЛКЕ И МОИ ПЕРВЫЕ ПЕЧАТНЫЕ СТРОКИ

Расставаясь на этом маленьком эпизоде с «Новостями» и их редактором, я должен прибавить, что при своем особом чисто издательском таланте Нотович сумел и меня однажды запрячь в свою колесницу в качестве дарового сотрудника. У него в газете и появились мои первые печатные строки.

Это случилось в первых числах июня 1878 года. Под вечер я шел по Садовой с товарищем Мамиконианом. Около Сенной мы заметили в уличной толпе какой-то особый интерес, обращенный в сторону к Невскому. Туда многие шли торопливо, расспрашивая встречных. Оказалось, что около Апраксина рынка происходит «бунт». Мы с Мамиконианом тотчас же сели в конку, отправлявшуюся в ту сторону. Мы сошли у Апраксина переулка, где увидели большую толпу, запрудившую вход в переулок. Когда мы стали пробираться сквозь нее, нас останавливали, уверяя, что идти туда опасно, что там происходит настоящий бунт, что прошли войска, которые будут стрелять. Да и самая толпа опасна. В переулке, узком и тесном, живет много чернорабочих и прочего люда, кормящегося при Гостином дворе, и теперь они-то и подняли бунт. В те времена массовых вспышек в России совсем не бывало. Волна крестьянских беспорядков после 1861 года всюду улеглась, а в городах все было спокойно. Нас подстрекнули эти рассказы, и мы проникли в глубь переулка. Здесь, приблизительно около середины переулка, у большого семиэтажного дома № 5, стоял отряд жандармов, державших лошадей в поводах. Какой-то военный генерал выслушивал полицейский доклад. Обстановка напоминала военный бивуак. Ворота дома были заперты. Во

дворе происходило что-то глубоко интересовавшее всю толпу. Порой в этой толпе, отжатой полицией и жандармами от дома с запертыми воротами, раздавались крики «ура». Тогда среди полиции проявлялось беспокойство. Городовые, околоточные, жандармы кидались туда, и крики стихали.

Мы с товарищем проникали всюду в собиравшиеся кучки народа и слушали рассказы. Оказалось, что в доме № 5, сплошь населенном беднотой, восемь дворников, и все татары. В день происшествия они хотели отправить в часть какого-то матроса. Сидевшие напротив в трактире мастеровые выбежали из трактира и не дали матросика в обиду. Дворники вооружились подметельниками и стали бить вступившуюся публику. «Били по чем попало»,— рассказывали в толпе. Толпа освирепела и с криком: «Татары бунтуют!» — кинулась на дворников. Они убежали во двор, кинулись по лестницам и квартирам. Их ловили. Одного кинули с шестого этажа во двор.

— На сцене вопрос национальный,— предположил Мамикониан.

Но тут я увидел несколько человек, стоявших у самых ворот дома № 5. Это, очевидно, были жильцы, которых не пускали во двор. У одного в руках был каравай хлеба и селедка, очевидно купленные в лавочке, после чего он уже не мог попасть к себе. Другие были в том же роде. Я обратился с расспросами к этой кучке, и человек с хлебом рассказал мне всю историю посвоему.

— Дворники сильно притесняют... Придешь попозже — ворота заперты. А станешь стучать — впустят и зададут встряску, особливо если выпивши... Ограбят, да и бока намнут. Жаловались полиции, да что...— Рассказчик только махнул рукой.

— Полиция с ними заодно.— Свой своему поневоле брат.— Делятся, конечно...— возбужденно комментировали другие.

Все это вызывало раздражение. До дворников добирались давно. Случай с матросом послужил сигналом. Первые кинулись на дворников мастеровые, жильцы дома. Быстро собравшаяся у ворот толпа не позволяла полиции заступиться за дворников. Приехавшего пристава схватили за грудь с криками:

— Смотри, тебе то же будет. Вы с ними заодно!

Часов около одиннадцати ночи жандармы сели на лошадей и уехали. Во двор были введены солдаты, которые остались на ночь. Толпа редела... Говорили об одном убитом дворнике и нескольких раненых.

В последующие десятилетия такие явления все учащались, но в те годы они еще были невиданы, и апраксинский погром вызвал интерес тревожный и сильный. На следующий день в газетах ничего не было, но я знал, что на месте с полицейскими присутствовал «корреспондент». По наружности я догадывался, что это Юлий Шрейер, которого тогда называли «королем репортеров». Главным источником сведений служили ему всегда отличные отношения с полицией, которая через него и «освещала события».

Мы с Мамиконианом пробыли до ночи и потом ушли. На следующий день с утра я опять был у Нотовича все за тем же, то есть за деньгами. Я застал его в большом волнении.

— Вот, не угодно ли! Вчера, говорят, был чуть не бунт в Апраксином, а тут ни одного моего репортера не дождешься.

«Мои репортеры» — это было, пожалуй, слишком громко: и для репортажа Нотович тогда пользовался случайным сотрудничеством и перепечатками. Я улыбнулся и сказал, что я вчера был на месте и знаю, что было в Апраксином переулке. Он схватился за меня.

— Голубчик, выручите, напишите!..

— Хорошо, Осип Константинович,— ответил я.— Но только с условием: я знаю, как вы редактируете поступающие к вам заметки. Я напишу с уговором, что вы напечатаете без перемен.

— Что еще за условие? Вот еще Шекспир нашелся!..

— Как хотите.

— Ну, ну, пишите скорее.

Я написал заметку и отдал ему. На следующий день она еще не появилась, хотя была набрана. Ждали первых сообщений Юлия Шрейера. Когда я увиделся с Нотовичем, он был очень недоволен моей заметкой. Прежде всего плохое начало: нужно, чтобы было видно, что у газеты свои репортеры и что они вовремя на месте. А тут какой-то случайный очевидец. Вообще видно, что вы неопытны. Необходимо проредактировать.

Я на это не согласился, и, как ни трудно было Нотовичу удержать свой редакторский карандаш, он все-таки удержал. Затем, 7 июня кажется, заметка моя по-

явилась одновременно с циркулярно разосланным отчетом Юлия Шрейера, отдавшего его сразу в несколько газет. Шрейер изображал вспышку национальной ненависти против татар и вообще сведения сообщал в чисто полицейском освещении.

— Вот что называется репортерским отчетом...— с завистью говорил Нотович, у которого не было средств приобрести для себя «короля репортеров».

Но уже через некоторое время он изменил свое мнение. Оказалось, что заметка «Новостей» (подписанная моими инициалами) обратила внимание.

— Да, да,— говорил после этого Нотович.— Статейка вам удалась. Вот и Суворин опирается на нее в полемике с Полетикой... Наша газета изменила взгляд всей печати и доказала, что апраксинская вспышка вызвана не национальной ненавистью, а притеснениями полиции и дворников... Удачно, удачно...

Я купил номер «Новостей», еще пахнувший типографской краской, и вот при каких условиях я испытал известное авторам ощущение первых печатных строк. Я, конечно, был очень доволен своим «шекспировским условием». Иначе мой отчет стал бы похожим на идеальный отчет «короля репортеров».

При расчете Нотович, разумеется, и не подумал уплатить корректору авторский гонорар за случайную статейку. Да я и не требовал.

XIV

ПАНИХИДА ПО СИДОРАЦКОМ

«Большой процесс» (так называли иначе «процесс 193-х») не только не ослабил движения в народ, но на некоторое время даже усилил его. Это естественно: его прямые, совершенно отрицательные результаты и их уроки не могли обсуждаться широко и свободно, а события самого процесса окружили участников ореолом. Наш тесный петербургский кружок разделял это настроение, и мы с братом, а также Григорьев решили устроить свою дальнейшую жизнь по-новому. Григорьев был свободен от семейных обязанностей, для нас с младшим братом задача сильно усложнялась. Мы были «лавристы» и смотрели на «хождение в народ» не как на революционную экскурсию с временными пропагандистскими целями, а как на изменение всей жиз-

ни. Григорьев не только разделял эти планы, но, быть может, более всех определял их. На ближайшее время мы с братом решили задачу таким образом: если представится случай участвовать в каком-нибудь предприятии, сопряженном с опасностью ареста, то участвует только один, а другой остается «в семейном резерве».

Такой случай представился вскоре после дела Засулич: во Владимирской церкви предполагалась панихида по Сидорацком. Можно было ожидать побоища и арестов. Мы бросили жребий, который выпал брату. Когда он ушел, в нашу квартиру забежал Григорьев и сказал мне:

— Приехала из Москвы Ду́ша Ивановская. Я думал, что вы пойдете на панихиду. Она тоже будет. По очереди пошел брат?.. Ну, делать нечего... Прощайте пока.— И он спешно ушел.

Ивановская была наша общая знакомая. В последний год наш кружок в академии значительно расширился, и у нас происходили регулярные собрания в Петровке, в квартире женатого студента Марковского. Кроме того, мы часто собирались в разных местах в Москве. На одном из таких собраний мне бросилась в глаза высокая девушка, которую знакомые называли просто Ду́шей. В нашем провинциальном городишке мы привыкли к особому тону отношений с девушками: мы сходились для танцев, влюблялись, переживали маленькие сердечные драмы, но девушки являлись нам лишь в известной «обстановке», по большей части среди музыки и цветов. Петербургская жизнь ничего не дала мне в этом отношении, и только здесь, в Москве, я увидел собрания, на которые со студентами приходили и девушки. В собраниях они выступали редко, но в более тесных кружках обсуждали все, о чем говорилось, и мнение многих из них приобретало большой вес в наших глазах.

Я был вообще застенчив, но к тому времени я уже свободно говорил в собраниях студентов, и мое имя, наряду с Григорьевым и Вернером, приобретало некоторую популярность в кружках. Однажды, придя довольно поздно на одно из собраний у Марковского, я поздоровался с двумя-тремя знакомыми и остановился. Недалеко я увидел Ивановскую. Мы бывали вместе на двух-трех собраниях, но нас никто не представлял друг другу, я еще ни разу не говорил с нею и не знал, как держаться. Может быть, заметив мое легкое замеша-

тельство, девушка подошла сама, протянула руку и сказала просто «здравствуйте», назвав меня по фамилии. Это сразу подкупило меня, и мы затем уже встречались запросто. Я узнал, что есть три сестры Ивановские и что брат их, земский врач, носивший в кружках прозвище «Василья Великого», был арестован и убежал из московской Басманной части. Сестры были «на замечании» у полиции, и после нашей встречи Ивановская тоже была арестована. Ходили слухи, что она в заключении заболела. У меня при этих известиях сжималось сердце.

Теперь я узнаю, что она здесь, что я сейчас мог бы ее увидеть, если бы не случайность жребия. Брат с нею не знаком, и я уверен, что, если бы я раньше узнал об ее приезде, он уступил бы мне свою очередь. Но его нет. А между тем бог знает что может случиться после этой панихиды.

Я решил пойти к Владимирской церкви, разыскать брата и смениться с ним очередями. Подходя к церкви, я увидел, как отряд жандармов проехал на рысях по Владимирской и въехал в один из дворов против церкви, после чего ворота наглухо закрылись. В соседних домах ворота тоже были закрыты; можно было предполагать, что и там есть засада. Я решил произвести небольшую рекогносцировку. Местами, подальше от церкви, в соседних переулках, вдоль стен и в проходах под воротами стояли кучки людей в сибирках и высоких сапогах. На некоторых были надеты фартуки, а в руках они держали метлы. Стояли они все точно на каком-то дежурстве. Я понял: полиция узнала о цели панихиды и готовила свой «народ» для расправы с крамольниками в помощь полицейским.

Когда я вошел в переполненную церковь, панихида была уже на исходе. В волнах кадильного дыма и в торжественных звуках прекрасного пения мне чудилось особое настроение: мало кто из этих молодых людей и девушек знал покойного Сидорацкого. Но вот вскоре, быть может, не один и не одна из этой толпы подвергнутся его участи.

Недалеко от входа, у задней церковной стены, я увидел Григорьева, делающего мне знаки, и я пробился к нему через толпу. Рядом с ним стояла приезжая. Так же просто приветливо она поздоровалась со мной и через некоторое время сказала:

— Послушайте, Короленко, так нельзя стоять в церкви.

Я действительно стоял спиной к алтарю, а лицом к ней.

Когда панихида кончилась, толпа повалила из церкви, но остановилась у паперти, очевидно ожидая чего-то. Минута была критическая. Темная кучка людей, человек в пятьсот, казалась такой маленькой на этой площади под величавым порталом церкви. Незнакомцы в передниках и с метлами сбегаются из переулков... А кругом глядят слепые пятна закрытых ворот, скрывающих вооруженную засаду.

Над толпой поднялся молодой человек и начал говорить со ступеней церковного крыльца. Это был Лопатин (не Герман и не Всеволод, имена которых были уже известны в радикальных кружках). Сказав несколько слов о Сидорацком и о значении панихиды, он стал горячо убеждать толпу ограничиться этим мирным выражением своего отношения к погибшей жертве и разойтись по домам без дальнейших демонстраций. Речь была сказана хорошо и оказала действие: после некоторого колебания плотная толпа как будто дрогнула. Ожидали возражений, слышались отдельные недовольные восклицания, но, вероятно, по предварительному плану распорядителей, речей в другом смысле не было. Кучка за кучкой стали отрываться от компактной массы, и вскоре толпа расплылась в разные стороны. До Невского и в начале Литейного она была все-таки довольно густа, но далее стала смешиваться с безразличной толпой, хотя все еще местами привлекала удивленные взгляды встречной публики. В конце Литейного, у самого спуска к реке, произошел небольшой шум. Кто-то заметил или просто только заподозрил шпиона, и кучка студентов делала вид, что хочет бросить его в полынью на Неве у берега. Дело, однако, кончилось благополучно.

Я провожал Ивановскую и здесь попрощался с ней. Пройдя несколько шагов, я оглянулся. Какая-то дама, очень нарядная, только что встретилась с девушкой и тоже оглянулась. На лице ее появилась насмешливая улыбка, значение которой я понял; высокая худощавая фигура девушки была далеко не нарядна: на ней было темное пальто, точно с чужого плеча, а на голове круглая клеенчатая шляпа с лентой, падавшей сзади на плечи вместе с косой.

Читатель вспомнит первую детскую, но довольно продолжительную любовь «моего современника», начавшуюся среди музыки, детской игры и танцев. И вот теперь, в лице этой нарядной красавицы, прошлая любовь как будто смеялась над настоящей. И он подумал:

«Да, эти клеенчатые шляпы ужасны... Но... Как я люблю ее...»

XV
УБИЙСТВО МЕЗЕНЦЕВА.— ВТОРОЙ АРЕСТ.— В ТРЕТЬЕМ ОТДЕЛЕНИИ

«Большой процесс», выстрел Засулич, вызвавший общее и очень широкое сочувствие, ее оправдание, заявление ее об уважении к суду присяжных и готовности ему подчиняться — все это были мотивы, казалось, устанавливающие некоторое взаимодействие между широкими общественными течениями и стремлениями революционной молодежи. Но это длилось недолго. Впечатление дела Засулич постепенно сглаживалось в обществе и прессе, а жестокие репрессии, которыми правительство ответило на наивные попытки народнической молодежи, вызывали ожесточение. Движение начало сворачивать на путь изолированной борьбы революционной интеллигенции, на путь террора.

Вера Засулич не была террористкой в прямом смысле. Ее поступок был непосредственным порывом и оттого, быть может, вызвал такое общее сочувствие. Сама она всю остальную жизнь оставалась принципиальной противницей террора. Но вскоре после ее дела появилась брошюра Кравчинского, в которой последний восторженно приветствовал ее подвиг и звал к его продолжению.

И продолжение не замедлило.

4 августа 1878 года убит шеф жандармов Мезенцев. Во время обычной своей прогулки в сопровождении генерала Макарова он встретился на Михайловской улице с двумя изящно одетыми молодыми людьми, которые отделили его от спутника. Один из встречных прижал Макарова к стене, а другой в это время ударил Мезенцева кинжалом. За неизвестными шагом ехала пролетка, в которую они сели и скрылись бесследно. Это было среди белого дня на одной из центральных улиц столицы.

Исполнителями террористического акта были Кравчинский и Баранников. Лошадью правил Адриан Михайлов. В прокламации, выпущенной по этому поводу, выставлялся мотив, близкий к мотиву Веры Засулич: месть за погубленных товарищей. Кроме того, в стихотворении А. А. Ольхина, самом сильном из всего, что им когда-либо было написано, упоминалось о том, как

Угасает в далекой якутской тайге
Яркий светоч науки опальной...

По закону Н. Г. Чернышевскому, окончившему срок каторжных работ, предстояло выйти на вольное поселение. Но вместо этого он вновь был заключен в особой тюрьме в Вилюйске. И говорили, что это благодаря Мезенцеву.

Вечером в день этого убийства я долго засиделся в типографии. Возвращаясь поздней ночью в свою квартиру (мы жили тогда на углу Подольской улицы и Клинского проспекта), я был поражен обильным ее освещением. Подозревая недоброе, я быстро вбежал по лестнице с тяжелым опасением за мать. Она все была больна сложной нервной болезнью, на почве которой с нею случались тяжелые припадки. Дверь оказалась незапертой, квартира наполнена полицией и понятыми. И первая фигура, которая мне бросилась в глаза, была совершенно спокойная фигура матери. Я кинулся к ней и, обнимая ее, услышал ее шепот: «Пьянков называется так-то... Он сегодня снял у нас комнату».

Пьянков, участник «большого процесса», оправданный по суду, был все-таки сослан по высочайшему повелению в Архангельскую губернию, откуда только что бежал вместе с Павловским, впоследствии известным корреспондентом «Нового времени» из Франции (Яковлев). О том, что в этот день что-то предпринимается, было известно в неблагонадежных кругах, и оба беглеца еще с утра попросили у нас приюта, считая нашу квартиру безопасной. Павловский не явился, а Пьянкова я сразу увидел сидящим на окне.

Ничего предосудительного при обыске найдено не было, но все же я и мой младший брат были арестованы, у остальных, то есть у моего зятя, недавно женившегося на старшей сестре, у его приемного отца, только что приехавшего из Петрозаводска, чтобы познакомиться с женой сына, и, наконец, у Пьянкова были ото-

браны паспорта с обязательством явиться на следующий день в Третье отделение.

Нас с братом доставили в здание у Цепного моста, которое, несмотря на поздний час, было ярко освещено и переполнено движением и суетой. Меня привели в коридор верхнего этажа, ввели в камеру, велели раздеться донага и унесли одежду с собой. Но все-таки я успел припрятать карандаш, обернутый полулистиком почтовой бумаги, засунув его в буйные волосы. Я его оставил потом в наследство своему неведомому преемнику по камере. Через пять минут мне принесли белье, халат из тонкого сукна и туфли вроде больничных. Через десять минут я уже спал как убитый.

Ранним утром служитель принес принадлежности для умыванья. Он был в жандармской тужурке. Тогда жандармы не были еще добровольцами, а назначались в «корпус» прямо из сдаточных, как и в другие роды войск. Поэтому между ними встречалось много простых и добродушных лиц без той особой печати, которая отмечала жандармов-добровольцев. Когда служитель входил за чем-нибудь в камеру, часовой, тоже жандарм, становился у двери почему-то спиной к камере. Умывшись и обтирая лицо, я спросил у служителя, «который теперь час», но в ответ получил громкий и довольно грубый окрик:

— Молчать!.. Не велено разговаривать.— Но тут же он прибавил шепотом: — Девять часов.

Я понял, что ни этого прислужника, ни стоящего у двери с обнаженной шашкой часового мне опасаться нечего, и когда он принес мне завтрак, то я опять спросил его:

— Не знаете ли? Мой брат тут же?— Новый, еще более грозный окрик и тихий ответ: — В таком-то номере, внизу.

В третий раз, когда явился обед, служитель уже сам мигнул мне, чтобы я спросил у него что-нибудь, и после грубейшего окрика ответил шепотом:

— Вашего брата на допрос повели. Кушайте скорее, сейчас позовут и вас.

Мне действительно скоро принесли собственное платье и повели в канцелярию. В коридорах и в комнатах Третьего отделения шла невероятная суета, все было полно жандармами, сыщиками, арестованными и призванными к явке. Проходя через переднюю, я увидел Лошкарева и его приемного отца. Пьянкова хорошо

знали в Третьем отделении, и потому, по общему совету, он не явился.

Меня и брата допросили наскоро, где мы провели первую половину вчерашнего дня, и затем отпустили. Вместе с нами в переднюю вышел молодой жандармский офицер и окликнул:

— Вызванные с Подольской улицы, дом номер такой-то, здесь?

— Точно так, ваше высокоблагородие,— ответил приемный отец Лошкарева, бывший николаевский солдат, и вытянулся в струнку.

Это, по-видимому, спасло наше положение: офицер благосклонно взглянул на эту колоритно-благонадежную фигуру и, не перекликая остальных, отдал ему все паспорта. Таким образом, неявка Пьянкова прошла незамеченной. Мы веселой гурьбой вышли на узкий двор, где навстречу нам попался в парадной форме высокий, полный и красивый жандармский полковник. Нам назвали весьма впоследствии известного телохранителя и личного друга Александра III, генерала Черевина.

XVI

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О МОЕЙ ПРЕСТУПНОСТИ.— ДИЛЕТАНТ РЕВОЛЮЦИИ И ВОЛЬНЫЙ СЫЩИК

Эпизод с арестом по поводу убийства Мезенцева показал нам ясно, что мы признаны уже бесповоротно «подозрительными» и должны ожидать таких же неожиданностей по любому поводу.

Теперь, по прошествии многих лет, оглядываясь на это прошлое, я спрашиваю себя: были ли для этого действительные основания? Был ли я действительно опасным революционером? Конечно, в моей квартире находили приют такие ужасные преступники, как Пьянков или Павловский. Впоследствии, как я уже говорил, Павловский трудился на самом благонамеренном поприще, украшая своими статьями столбцы «Нового времени». Правда, будучи уже эмигрантом, он написал как-то по-французски рассказ «En céllule», где изобразил ощущения политического заключенного в одиночке. Тургенев горячо рекомендовал этот рассказ молодого автора французскому редактору, и это навлекло на зна-

менитого писателя громы и молнии в газете Каткова. Впоследствии, однако, этот рассказ, уже по-русски («В одиночке»), появился в книжке Павловского, вышедшей в России при царском режиме.

Пьянков, сколько мне известно, получив наследство после смерти отца, богатого сибирского виноторговца, тоже стал впоследствии крупным торговцем на Амуре и издавал во время русско-японской войны патриотическую и даже ультрашовинистическую газетку.

Таким образом, то, что я дал приют этим двум беглецам, очевидно, не имело для отечества пагубных последствий. Я сам побывал уже в ссылке и готов был дать приют всякому, уклоняющемуся от административного произвола, не справляясь, конечно, намерен ли он впоследствии работать в «Новом времени» или торговать вином.

Что же еще? Я строил планы переустройства своей жизни, связанные с более или менее туманными планами переустройства всего общества. С этими целями я и Григорьев занялись изучением сапожного ремесла, а мой младший брат завел небольшую слесарную мастерскую. Очень вероятно, что через некоторое время мы с братом кинули бы жребий, и один из нас отправился бы «в народ» — я с Григорьевым в качестве странствующих сапожников, брат — слесарным мастеровым. Это кончилось бы тем же, чем кончались сотни подобных экскурсий, то есть сознанием, что народная жизнь настоящий океан, управлять движениями которого не так легко, как нам казалось. Для меня лично это сопровождалось бы накоплением художественных наблюдений, и, вероятно, я скоро бы понял, что у меня темперамент не активного революционера, а скорее созерцателя и художника. Одним словом, степень тогдашней моей преступности даже у нас, с точки зрения даже наших законов, оставалась самое большее в области намерений и предположений, едва ли караемых.

Я был все-таки неблагонадежен?.. Конечно. И именно в той степени, в какой был неблагонадежен в то время любой представитель среднего русского культурного общества. «Ваше величество,— писал Лавров в своем журнале «Вперед» Александру II.— Вы ходите иногда по улицам. Если навстречу вам попадется образованный молодой человек с умным лицом и открытым

взглядом, знайте: это ваш враг»...[1] И это было очень близко к истине.

Самодержавие это чувствовало. Бороться приходилось с настроением, разлитым в воздухе, а наша власть гонялась за отдельными проявлениями и привыкла стрелять по воробьям из пушек. Самые законы она стала приспособлять к этой пальбе. Видя, что суд все-таки не так легко подчинить временным надобностям устрашения всего общества и что он не может стать достаточно гибким орудием борьбы не с поступками, а с настроением — власти выработали более послушный механизм. Несколькими краткими законами в порядке верховного управления был создан или значительно расширен механизм так называемого «административного порядка». Эти краткие акты верховной власти можно было бы назвать настоящими «законами о беззаконии». Они вскоре получили вдобавок самое распространенное толкование, и с ними царствование Александра II, «творца судебных уставов», вступало на путь азиатского произвола во всем, что хоть отдаленно касалось политических мотивов.

В это время (к концу 1878 года) мы жили в проходном дворе, узком и длинном, выходившем одной стороной на Невский проспект против Александро-Невской части, а другой — на Вторую улицу Песков. С нами жили теперь две сестры Ивановские (Александра и Евдокия Семеновны), отпущенные из Москвы впредь до окончания (административного, разумеется) какого-то их «дела». Времена были патриархальные, и жили они без прописки.

Это был один из лучших периодов моей жизни и — я уверен — также в жизни моей матери и всей семьи. Все мы жили вместе, кроме старшего брата, приходившего к нам раз в неделю. С Ивановскими мы сжились, как с родными. Григорьев называл мать «мамой», и она полюбила его, как сына. Все мы, мужчины (кроме Григорьева), работали по корректуре в разных типографиях, поздно возвращаясь домой. Во втором часу ночи обыкновенно поспевал самовар, мать тоже поднималась к этому времени, и в маленькой кухонке сходилось за чайным столом все население квартирки. Шли разговоры, смех, пока мать, притворно сердясь, но, в сущности, радостная и спокойная, не разгоняла нас по комнатам.

---

[1] Цитирую по памяти.

В этот период даже ее нервная болезнь прошла и припадки не повторялись.

К этому времени я уже бросил мысль о Горном институте, брат оставил строительное училище, и только зять Лошкарев продолжал заниматься в Медико-хирургической академии. По утрам я стал ходить в сапожную мастерскую на Загородном проспекте. И молодой хозяин ее, и все рабочие были финны, уже затронутые «пропагандой», и все очень радушно старались преподать мне тайны своего искусства.

С некоторых пор мы заметили, что за нами установлен систематический надзор тайной полиции. Рядом с нами жили тоже неблагонадежные люди (семья Мурашкинцевых), и для надзора за обеими квартирами были поставлены два шпиона. Лица их нам скоро примелькались. Один был высокий блондин, довольно благообразный, но какой-то тусклый, с вечно подвязанной щекой. Другой — брюнет, невысокого роста, неприятный, с физиономией орангутанга, сильно выдавшейся вперед нижней челюстью и мрачными черными глазами. Они стояли по одному у каждого выхода нашего проходного двора, а иногда устанавливали наблюдательный пост на площадке противоположного дома, откуда можно было заглядывать в наши окна. Стоило кому-нибудь из нас выйти в сторону Невского или Второй улицы Песков, как один из них увязывался за нами. Сказать правду, мы довольно жестоко забавлялись над беднягами. Мне, например, не хотелось, чтобы они знали о моих экскурсиях в сапожную мастерскую, и мы прибегали к военной хитрости: брат выходил с подъезда, тревожно оглядывался и шел к воротам. Шпион тотчас же увязывался за ним. Брат проходил по нескольким улицам в сторону, противоположную той, куда мне следовало идти, заходил даже во дворы, подымался наудачу на лестницы и затем возвращался домой, а я в это время благополучно выходил со двора и шел на Загородный. Филеры сбивались с ног, записывали без толку много дворов и лестниц, но не могли узнать ничего интересного, и, конечно, в них накоплялось против нас понятное озлобление.

Впрочем, гораздо более серьезные последствия имела для нас встреча с двумя сыщиками, о которых мне приходится рассказать подробнее.

Первый из них был некто Глебов. Это был актер-неудачник. Старший мой брат, Юлиан, совершенно

непричастный ни к какой «крамоле», подобрал его в каком-то увеселительном саду в трудную минуту его жизни, когда у него не было даже своей квартиры. Это был молодой человек, обладавший довольно «благородной» сценической наружностью. Высокий, довольно стройный, с роскошной артистической шевелюрой, он, однако, не обладал никаким талантом и потому бедствовал. К брату он переселился с одной только гитарой, на которой аккомпанировал себе, распевая романсы. Пел он сладким голосом, стараясь при этом приятнейшим образом складывать губки ижицей. У брата, как некогда у отца, бывали разные неожиданные фантазии, и когда мы спрашивали, что это у него за жилец и почему он его содержит, брат отвечал совершенно серьезно:

— Это даровитый артист. Он меня учит музыке... Находит, что у меня есть признаки таланта.

Надо заметить, что наша семья не отличалась особенными музыкальными способностями, а старший брат был, можно сказать, самый из нас немузыкальный, и мы все, не исключая его самого, от души хохотали, когда он под гитару «артиста» старательно выводил: «По небу полуночи...» Но «даровитый артист» делал самый серьезный вид.

Однажды этот артист внезапно исчез и не появлялся две недели, что возбудило у брата беспокойство. Это случилось вскоре после того, как уехала за границу госпожа Гольдсмит, жена редактора «Слова». Многим было известно, что она должна увезти с собой какую-то корреспонденцию, назначенную для передачи в редакцию «Вперед» П. Л. Лаврову. Среди ее знакомых был, между прочим, и Глебов. Все обратили внимание, что он явился к проводам уезжавшей на Варшавский вокзал, запыхавшись, перед самым отходом поезда и, прощаясь, странно оглядывался по сторонам. Через две или три станции госпожа Гольдсмит была снята с поезда и обыскана. Оказалось случайно, что она раздумала везти корреспонденцию лично и передала ее более благонадежной особе. Таким образом, по обыску ничего предосудительного найдено не было, госпоже Гольдсмит был выдан за счет Третьего отделения новый билет до Варшавы, а Глебов исчез с нашего горизонта на две или на три недели. Позже говорили, что это был первый его добровольческий подвиг, и за оплошный донос бедняге пришлось высидеть под арестом. Как бы то ни было,

брат после этой безвестной отлучки вновь принял «артиста» с распростертыми объятиями, опять зазвучала гитара, только вместо дуэтов теперь раздавалось трио: во время отсутствия Глебова брат пустил нового сожителя, некоего С-ва, бывшего народного учителя, теперь занимавшегося частными уроками и воображавшего себя отчаянным революционером. Это был человек благодушный, но очень недалекий. Ему предстояло вскоре отправиться с каким-то юным дворянчиком в имение в Харьковскую губернию, и он попросил моего младшего брата достать ему несколько номеров нелегальных изданий, выходивших тогда в Петербурге. Брат удовлетворил его просьбу.

Придя после этого к старшему брату, я застал С-ва за укладкой вещей. В этом ему усердно помогал Глебов, увязавший при мне нелегальные издания в тючок, вверху которого были положены бумаги С-ва. Разговоры об этом велись громко, несмотря на то, что комната брата отделялась только одной дверью от соседней, где жили незнакомые люди. Должен сказать, что я считал С-ва человеком легкомысленным и был против его пропагандистских предприятий. Когда Глебов кончил укладку, быстро собрался и убежал куда-то, сказав, что придет попрощаться на вокзал, мне вспомнились вдруг рассказы о случае с госпожой Гольдсмит, и я стал выговаривать С-ву за его неосторожность:

— Ведь мы совсем не знаем этого Глебова. Смотрите, как бы и вас не остановили на второй или третьей станции. Об нем уже ходят нехорошие слухи...

— Ну, если бы это случилось, тогда дело ясное: значит, Глебов шпион.

— А знаете ли вы,— сказал я, понижая голос,— кто вот тут слышит все наши разговоры в соседней комнате?..

С-в уехал на вокзал. Вагон, куда он вошел, был набит битком. Большой чемодан, бывший с ним, носильщик положил на первое незанятое место на верхней полке, а самому С-ву пришлось усесться в другом конце вагона. К самому отходу поезда опять примчался запыхавшийся Глебов, разыскал С-ва, заботливо посмотрел, удобно ли он устроился, и выйдя в последнюю минуту на платформу, успел снабдить его на дорогу несколькими иудиными поцелуями.

На одной из близких станций С-ва пригласили в жандармскую комнату вместе с вещами. Разумеется,

он захватил только один небольшой чемоданчик, лежавший рядом с ним, а другой чемодан благополучно проследовал дальше. Благодаря этому обстоятельству у С-ва, как и у госпожи Гольдсмит, ничего предосудительного не найдено. Жандармский офицер, добродушный старик, с соболезнованием покачал головой и сказал:

— У вас, господин С-в, есть в Петербурге плохой приятель.

Между тем чемодан с нелегальными изданиями и с бумагами С-ва доехал до Москвы, где и был оставлен в качестве бесхозяйного багажа. Разумеется, С-ву оставалось только явиться к начальнику станции и потребовать свои «забытые вещи». Это была единственная вероятность отделаться благополучно. Но С-в был человек несообразительный и трусливый. Поэтому он предпочел отправиться в Харьковскую губернию и ждать там пассивно до тех пор, пока неизвестно кому принадлежащий чемодан (с бумагами С-ва) не был вскрыт, после чего владелец арестован и доставлен в Петербург.

Между тем Глебов вновь «безвестно отлучился» с квартиры брата, как после прощания с госпожой Гольдсмит. Этому неудачнику-артисту, очевидно, не везло также и на новом поприще, и каждое трогательное прощание на вокзале кончалось для него новым арестом. С-в на вопрос о том, кто ему дал нелегальные издания, сказал прямо, что получил их от Глебова. За этим последовала новая, уже третья, безвестная отлучка Глебова, а С-в был отпущен.

Как-то в разговоре с С-м по поводу сего инцидента я сказал ему, что на его месте я никогда больше не брался бы ни за какие нелегальные предприятия. Ведь нельзя даже быть вполне уверенным, что выдал именно Глебов (как это ни правдоподобно), а не неизвестные соседи за дверью. С-в долго после этого сидел в углу, а затем подошел ко мне и сказал растроганным голосом:

— Знаете, ваши слова смутили мою совесть... Но что же в таком случае мне сказать завтра в Третьем отделении, куда я пойду за получением бумаг? Ведь если снять оговор с Глебова, то придется сказать, что я получил нелегальные издания не от него, а от вашего брата?

Я с удивлением посмотрел на него и сказал:

— Сделайте одолжение... Скажите, что получили их от меня...

Он, видимо, обрадовался, но скоро на его лице показалось смущение.

— А... А что же будет с вами?— спросил он.

— Обо мне не беспокойтесь,— я просто скажу, что С-в известен в нашем кружке как отчаянный лгун: сначала налгал на Глебова, а когда мы стали стыдить его за клевету — он пытается оболгать нас.

Лицо его совсем увяло. Это был дилетант от революции, считавший для себя обязательными откровенные ответы на всякий вопрос начальства. Революционная деятельность представлялась ему делом занимательным и не особенно опасным: раздавать с конспиративным видом подпольные издания юношам и особенно девицам. В случае провала умилостивлять начальство «откровенными показаниями», освобождаться этой ценой и — приниматься за старое уже в звании «пострадавшего». Наивный человек, по-видимому, не видел в этом ничего предосудительного.

— Послушайте, С-в, что я вам скажу,— продолжал я.— Брат не навязывал вам нелегальных изданий. Вы сами выклянчили, чтобы он достал их для вас. Если же вы считаете, что вы вправе после этого донести на него, то нужно предупредить об этом ваших знакомых. Впрочем, успокойтесь насчет Глебова. Конечно, если он не шпион, то вы обязаны снять с него оговор. Но это мы вскоре выясним.

Действительно, мы с братом решили во что бы то ни стало выяснить этот вопрос. Некоторые сомнения еще оставались, и нам казалось, что мы не имеем права при таких условиях называть Глебова шпионом. Поэтому мы своим кружком пригласили «артиста» и попросили разъяснить нам некоторые «сомнительные обстоятельства». Сначала он все отрицал, но потом совершенно запутался и, приняв театральную позу, сказал с пафосом:

— Пусть так... Но имел ли все-таки С-в нравственное право взводить на меня ложное обвинение?

Мы прекратили разговор о «нравственном праве» и указали шпиону на дверь.

Позже этот господин выступал уже официально даже при обысках, а вскоре после нашего с ним объяснения его имя появилось в списке шпионов, напечатанном в нелегальном листке.

В то время когда я пишу эти воспоминания, в «Русском богатстве» оглашены выдержки из некоторых документов, относящихся к моей биографии. В частности,

о причинах последовавшей вскоре после этих событий моей высылки из Петербурга говорится, что я подозревался в покушении на драгоценную жизнь какого-то шпиона. Очевидно, Глебов слишком драматизировал свое «объяснение» с нами.

Впрочем, истории о покушении на его жизнь в Третьем отделении не придали сколько-нибудь серьезного значения (о чем мне впоследствии говорили даже жандармы), так как было совершенно ясно, что по отношению к этому господину мы обнаружили скорее донкихотскую щепетильность, чем свирепость, но все же эти мелкие факты в своем нагромождении все больше сгущали атмосферу неблагонадежности вокруг нашей семьи и ближайших знакомых.

Что касается до С-ва, то его революционный зуд все-таки его не оставил. Вскоре он опять был арестован по новому делу и дал откровенные до гнусности показания, которые закончил следующим патетическим обращением:

— Если эти показания попадутся на глаза моим товарищам — пусть они примут во внимание, что, давая их, я томился в темнице.

XVII

УБИЙСТВО РЕЙНШТЕЙНА.— НОВЫЙ АРЕСТ

В один прекрасный день в нашу квартиру явился молодой человек, одетый в роскошную шубу с собольим воротником, и в такой же шапке, очень радостный и очень благополучный на вид, откормленный, с нежным румянцем на сытом лице. Показалось несколько странным, когда он отрекомендовался простым рабочим, приехавшим из Москвы. Он просил снабдить его петербургскими нелегальными изданиями и особенно настойчиво добивался прямых сношений с редакцией. У него были рекомендации наших знакомых, но мы не могли удовлетворить его просьбу уже потому, что сами таких прямых сношений еще не имели. Он очень просил узнать и сообщить ему в следующий приезд. Это мы, пожалуй, и могли бы сделать, но у нас не было особенного желания хлопотать для этого странного рабочего, явно щеголявшего дорогой шубой, тем более что одна из рекомендаций исходила от описанного выше С-ва. Рейнштейн приезжал несколько раз и каждый раз являлся

к нам со своей просьбой. Случаю было угодно, чтобы один раз он столкнулся в нашей квартире с человеком, близким к редакции нелегального издания. Это был А. А. Остафьев. После крупного разгрома люди, оставшиеся в Петербурге у революционных дел, наружно совершенно преобразились. Остафьев (знакомый младшего брата), еще недавно очень беспечный насчет костюма, теперь явился к нам настоящим денди, в изящном пальто, с портфелем под мышкой, точно важный департаментский чиновник. Рейнштейн, нимало не стесняясь, изложил при нем свою просьбу: он явился делегатом от московских рабочих, для прямых сношений с редакцией «Земли и воли». Для нас самих была неожиданна быстрая готовность Остафьева исполнить это желание незнакомого ему человека. Он назначил Рейнштейну свидание на другой день на углу такой-то и такой-то улицы. Рейнштейн ушел от нас, видимо обрадованный. Мы спросили Остафьева, почему он так легко согласился на просьбу человека, которого не знает даже по фамилии?

— А как его фамилия в самом деле? — спросил Остафьев, и, когда мы назвали Рейнштейна, он схватился за голову: — Батюшки, шпион!.. В следующем номере мы печатаем его фамилию в списке агентов.— И он быстро убежал из нашей квартиры.

На следующий день Рейнштейн пришел к нам огорченный: он напрасно прождал в назначенном месте. Где же ему теперь разыскать вчерашнего господина?

Брат ответил, что адреса вчерашнего господина мы и сами не знаем, так как он конспиративно скрывает свою фамилию и адрес. Рейнштейн после этого уехал в Москву, а через несколько дней стало известно, что он убит революционерами. В Москве он, очевидно, с провокационными целями содержал «конспиративную квартиру», на которой в это время скрывался, между прочим, мой хороший знакомый Петр Зосимович Попов, С-в и еще какой-то московский рабочий, с которым Петя Попов вскоре очень подружился. Рабочий был совершенно легальный, недавно приехал из деревни и жил без прописки только потому, что потерял паспорт и ждал из деревни другого. У Пети Попова сразу завязалась дружба с этим простодушным крестьянином.

Вся эта компания покоилась мирным сном, как вдруг среди глубокой ночи раздался звонок. С-в поднялся и спросил: кто звонит? Отозвался дворник. Когда

дверь была открыта, с дворником вошел какой-то высокий господин, лица которого при тусклом ночнике С-в не разглядел, подал какой-то конверт и тотчас же быстро ушел. С-в, не торопясь, вошел в спальню, зажег лампу и вскрыл конверт. Прочитав записку, он сначала бросился в переднюю и на лестницу, крича, чтобы незнакомец вернулся, но лестница была уже пуста. После этого С-в кинулся на свою кровать, уткнувшись в подушку, и на все вопросы Попова только отчаянно отмахивался руками: «Не спрашивай, ради бога, не спрашивай...» Попов все-таки взял из его рук листок и прочитал его. На нем измененным почерком было написано приблизительно следующее:

«Вы извещаетесь, что ваш квартирохозяин Н. В. Рейнштейн, оказавшийся предателем, казнен по приговору Исполнительного комитета партии «Народной воли». Вы можете принять меры для своей безопасности, но обязуетесь хранить об этом полное молчание под страхом смертной казни».

Легко представить себе, какую ночь провели после этого жильцы конспиративной квартиры. На следующее утро С-в поспешил скрыться. Рабочий скрыться не мог и решил дожидаться заказного письма с паспортом. Петя Попов не хотел его бросить и еще несколько дней прожил с ним в той же квартире.

Все эти подробности я узнал от сестры Попова, Надежды Зосимовны, которая работала в качестве моей помощницы в «Новостях» и была близка с нашей семьей. Она получила с оказией письмо от брата еще в то время, когда об убийстве не было известно официально и труп Рейнштейна лежал в запертом номере гостиницы. Попов был глубоко убежден, что в данном случае произошла роковая ошибка. Сестра его разделяла это убеждение и успела внушить мне это сомнение, хотя впечатление сытенькой фигуры этого рабочего в собольей шапке все-таки оставалось. Мысль, что этот благополучный молодой человек лежит убитым в запертом номере, вызвала во мне содрогание. Я чувствовал, кроме того, что если Рейнштейн действительно предатель, то это еще новое звено в той сети неблагонадежности, которая окружает нашу семью. Еще до этого, если не ошибаюсь, 22 февраля, ко мне подошел дворник и сказал как-то конспиративно:

— Вот что, господин: нет ли у вас в квартире кого-нибудь непрописанного?.. Так чтобы не вышло неприятности...

— А что? — спросил я.

— Да уж так, я вам говорю...

Мы сообразили, что это предостережение недаром, и решили ускорить отъезд сестер Ивановских в Москву. Для меня это был день, полный печали. Неделю назад я снес в редакцию «Отечественных записок» свой первый рассказ, который я незадолго перед тем прочитал в нашем кружке, и в этот день Щедрин мне вернул его в редакции «Отечественных записок». Я болезненно принял эту первую литературную неудачу. А тут еще эти проводы...

Жили мы очень близко от Николаевского вокзала. Прибегнув к обычному маневру, мы отвлекли обоих сыщиков от ворот, а в это время целой гурьбой пошли пешком на вокзал. Гудок поезда долго еще звучал в моих ушах, когда я вернулся в опустевшую, казалось, квартиру, а ночью, когда мы были уже все в сборе, вернувшись с работы, — раздался звонок. Явилась с обыском полиция Александро-Невской части — высокий старик помощник пристава, несколько городовых и понятые, среди которых были, между прочим, и двое наших знакомцев филеров: худосочный блондин с подвязанной щекой и похожий на орангутанга брюнет. По намеку дворника мы, разумеется, были совершенно готовы к этому посещению, и полиция удалилась совершенно ни с чем. Но ровно через неделю, 29 февраля 1879 года, обыск повторился. На этот раз полиция только присутствовала, а распоряжался всем жандармский офицер. Обыск был не особенно тщательный (жандарм держал себя в семейном доме вполне корректно), но два наших знакомца были опять тут и, видимо, были чем-то озабочены...

— Скажите, пожалуйста, кто эти господа? — спросил я у ротмистра. — Вероятно, члены прокуратуры?..

Ротмистр понял насмешку и, брезгливо поморщившись, сказал сыщикам:

— Что вы тут суетесь? Станьте у двери в передней и не отходите ни на шаг. Ну!.. — прикрикнул он, когда один из сыщиков пытался возразить что-то.

Оба филера вынуждены были повиноваться и поневоле стали вроде кариатид у двери в передней. Через некоторое время из кухонки, помещавшейся рядом

с передней, раздался негодующий крик нашей кухарки Пелагеи:

— Что вам надо? Что вы ко мне пристаете? Вот смотри, кочергой съезжу!..

Очевидно, сыщики приставали с какими-то расспросами. Кухарка Пелагея была очень простодушное существо. Она недавно приехала из деревни, жила до нас только на одном месте, где много натерпелась от хозяев, и, попав к нам, привязалась ко всем, точно родная. Порой она тоже поднималась среди ночи, чтобы принять участие в наших ночных разговорах, вставляя в них свои реплики, вызывающие взрывы веселого хохота. Она была юмористка по натуре и отчасти сознавала это. На этот раз сыщики обратились не по адресу. После негодующего окрика Пелагеи офицер без церемонии прогнал их на лестницу.

Позже обнаружилось, что в эту минуту в нашей квартире разыгрывалась маленькая шпионская драма: на следующий день мать и Пелагея, со слезами убирая мою опустевшую кровать, нашли под тюфяком записку. В ней от имени наборщиков «Славянской книгопечатни» я извещался, что у них «все готово» и что они ждут только обещанного мною сигнала. Записка была подписана Кузнецовым, лучшим и наиболее интеллигентным наборщиком «Новостей».

Мать очень испугалась и поспешила уничтожить записку, о чем я очень пожалел, так как это был явный подлог. От кого он исходил, я не знаю. Несомненно, однако, что полиция предвидела жандармский обыск, и записка была подкинута для того, чтобы найти ее при этом обыске. Не думаю, чтобы в этой проделке участвовал добродушный помощник пристава, но, конечно, не ручаюсь за других чинов того же участка. Всего вернее, однако, что филеры, озлобленные нашей издевательской тактикой, придумали это на свой страх. Во время одного обыска они незаметно сунули «документик» и должны были найти его при другом. Можно представить их настроение, когда жандармский офицер так жестоко лишил их этой возможности...

Лет десять спустя, после возвращения из ссылки, проходя мимо Аничкова дворца, где жил Александр III, я неожиданно увидел старого знакомца: у ворот дворца, наблюдая своим мрачным взглядом за проходящей публикой, стоял памятный мне орангутанг. За то время, когда я совершил чуть не кругосветное путе-

шествие, его карьера тоже передвинулась с проходного двора Второй улицы Песков, где ему приходилось иметь дело с шаловливыми студентами,— к воротам царского дворца.

Позднею ночью, почти уже на рассвете, симпатичный дворник, предупредивший меня о возможности обыска, открыл большим ключом выходные ворота на Невский, и целый отряд полиции развез нас по разным частям. Лошкарев попал близко — в Александро-Невскую часть; меня повезли в Спасскую, на Большой Садовой; младшего брата еще куда-то. Кроме нас троих, в ту же ночь были арестованы старший брат на своей квартире и еще младший двоюродный брат, совершенно непричастный ни к какой крамоле, но работавший, как и мы, в типографии. Бедный юноша был неудачник в учении и выбрал себе карьеру наборщика. Он был очень впечатлителен, и арест надолго нарушил его умственное и душевное равновесие.

То обстоятельство, что мы были арестованы все, заставляет предполагать, что при поисках тайной типографии полицейские обратили внимание на «неблагонадежную» семью, все мужчины которой были причастны к типографскому делу. Явилось предположение, что мы, вероятно, доставляем шрифты и можем руководить техникой тайной типографии... Этой гипотезы для полиции было достаточно, хотя, надо сказать, это была совершенная фантазия.

XVIII

В СПАССКОЙ ЧАСТИ

Меня посадили в третьем этаже в камеру, окнами выходившую на двор. Из моего окна была видна стена адресного стола и задняя лестница квартиры его начальника. Взобравшись на стол, стоявший под окном, я мог с некоторым усилием видеть еще часть двора и ворота, мимо которых, звеня, пробегали вагоны конно-железной дороги.

В то же утро рядом со мною послышались вдруг какие-то исступленные крики, прерываемые истерическими рыданиями, и через некоторое время мимо моей камеры два служителя провели какого-то бившегося в их руках и плачущего человека. Это произвело на меня, конечно, очень сильное впечатление. Затем наступила

глубокая тишина, среди которой через некоторое время с другой стороны раздалось тихое постукивание. Я знал, что таким образом заключенные переговариваются, и стал прислушиваться. Походило на частый стук телеграфного аппарата. Я не был знаком с условной азбукой и разобрать ничего не мог. Поэтому я принялся просто выстукивать свою фамилию счетом, начиная с первой буквы и останавливаясь на той, которая была нужна. Сосед снизошел к моей неопытности, и у нас завязался трудный разговор, долго не дававший результатов. Стуки как-то спутывались, становились бессвязными, то прерывались нетерпеливой дробью, то наконец переходили в беспорядочное стучание кулаками. Я совершенно сбился с толку. Раз наконец я разобрал: фамилия соседа — Короленко. Я обрадовался и старательно выстукал: «Это ты, Илларион». Но ответ последовал неожиданный: «Мое имя Дмитрий». В конце концов я совершенно потерялся и решил просто, что ко мне подсадили шпиона, который назвался фамилией брата, но не знает его имени. Значит, мне надо держаться настороже, но все-таки стучать я не перестал.

Наконец я постиг азбуку. Мой сосед стал резко и настойчиво царапать чем-то по стене, проводя продольные и поперечные полосы. Первых я насчитывал каждый раз шесть, вторых семь. Я понял: нужно, значит, разграфить клетками и в каждой клетке поместить букву. В конце концов, кажется уже на второй день, я перестукивался по-новому: азбука состояла из двадцати восьми букв. Сначала выстукивался ряд, потом — которая буква в ряду. Например: один и три означало *в*, два и пять — *к* и т. д. Таким образом я узнал, что моего соседа зовут уже не Короленко, а Виноградов, но его попытка назваться вначале Короленком продолжала мне внушать сильное сомнение, пока и это не разъяснилось: стук шел из двух мест,— в мой разговор с ближайшим соседом то и дело врывалось постукивание менее внятное, как будто снизу, и оно-то порой переходило в неистовую дробь.

Через некоторое время Виноградов сказал мне:

— Сговоритесь как-нибудь с вашим братом, а то он развалит стенку каблуками.

Все стало ясно: этот стукальщик был действительно мой брат, только не младший, Илларион, а старший,

Юлиан, об аресте которого я еще не знал. Сидел он в среднем коридоре, прямо под Виноградовым, и совершенно терял терпение от путаницы наших переговоров. Он был человек нетерпеливый и вспыльчивый, и научить его новой азбуке оказалось совершенно невозможно. Кроме того, его бурные стуки в стену обратили внимание пристава и ему пригрозили карцером. После этого мне не удалось возобновить сношения с ним. Другая камера — рядом, откуда увели больного, была пуста, и мне оставался один Виноградов.

Такие сношения через стенку производят особенное впечатление: не видишь говорящего, не слышишь его голоса, не видишь даже его почерка, как в письме. Звуки, как в телеграфе, складываются в диалоги, остальное приходится дополнять воображением. Со временем приучаешься улавливать некоторые оттенки настроения стучащего, а обманчивое воображение пытается создать произвольный образ — образ непременно приятный, обвеянный сочувствием общего заключения и предполагаемого единомыслия.

— Что вы обыкновенно делаете? — спросил как-то мой сосед.

В это время мне уже доставили книги, и я строго распределил свой день: прогулка по камере до чаю, часа два серьезного чтения, опять прогулка, потом разговор с Виноградовым, обед, после которого я позволял себе прилечь с книгой, но не более как на полчаса или на час. Потом опять чтение за столиком и т. д. Мне говорили как-то опытные люди, что в одиночке всего опаснее распуститься, привыкнуть валяться на кровати, выпустить себя из рук и потерять систему. Когда я сказал или, вернее, выстукал это Виноградову, он простучал в ответ: «Счастливец вы. А я давно распустился... Много сплю, мало читаю и развлекаюсь только у окна. Слышите вы гармонию? Это сынишка помощника... Славный мальчик играет нарочно для меня... Вот взгляните в окно...»

Я открыл свою форточку и посмотрел по направлению звуков: в самом низу напротив, в открытую форточку, по-видимому в кухне помощника, виднелось чудесное личико мальчика лет восьми, игравшего на гармонии. Играл он тихо и задушевно, подняв лицо кверху, и его круглые детские глаза с участием смотрели на окно Виноградова.

— Ну что скажете?— спросил Виноградов, когда кто-то, по-видимому, прогнал мальчишку.— Не правда ли, настоящий ангелочек? Нет ли у вас какой-нибудь монетки?

У меня была мелочь, выданная в качестве кормовых, которых я не тратил, так как младшая сестра и знакомые приносили мне обед. Виноградов научил меня снести монету в известное место и как ее там пристроить. Он пошел в то же место после меня и взял ее с целью передать «ангелочку».

Он придумал целую систему передачи монеты. Ему хотелось, чтобы я мог видеть эту операцию. Для этого он выдернул из проволочной оконной решетки кусок проволоки, загнул ее в конце кольцом, выдернул из казенной простыни длинную нитку, к которой привязал монету. Мы смотрели, как она покачивалась в воздухе, втроем: Виноградов из своего окна, я из соседнего, а мальчик снизу. К сожалению, был еще и четвертый наблюдатель: воробей на ближайшем выступе крыши. Едва только Виноградов выпустил нитку, мошенник воробей порхнул, подхватил ее на лету и скрылся на крыше. Отчаянный стук в мою стенку: «Видели, видели?..»— Виноградов был в совершенном отчаянии.

Вообще окно было для него, кажется, единственным источником радостей и огорчений. То и дело он давал мне сигнал: смотрите в окно. Однажды после этого сигнала я увидел на лестничной площадке довольно приятную молодую полную женщину, по-видимому кухарку или горничную. Она стояла у окна, делала глазки в направлении моего соседа и посылала воздушные поцелуи. Это повторялось в известные часы каждый день, и Виноградов сообщил мне простодушно, что он влюблен и пользуется взаимностью. Это, конечно, значительно сокращало для него долгие дни заключения, но, увы — платонический роман закончился печально. На женскую верность рассчитывать так трудно!.. Опять сигнал —«смотреть в окно», и я увидел истинно потрясающую для моего соседа картину: его красавицу демонстративно обнимал пожарный. Стук в стенку: «Видели? И ведь это нарочно! О, женщины!..» Я простучал несколько шутливых утешений. Мой сосед принял их так же шутливо, но... видимо, был огорчен.

XIX

ЭПИЗОД С БИТМИТОМ.— ПРОЦЕСС КАЧКИ

За камерой Виноградова в нашем коридоре помещался немного знакомый мне человек, которого хорошо знал Григорьев. У Глеба Ивановича Успенского есть рассказ «Три письма». В нем излагается история молодого человека, попавшего учителем в разлагающуюся, испорченную барством дворянскую семью. Учитель задается целью сделать из этих барчуков честных рабочих и с этою целью даже женится на вдове, их матери. Говорили, что это — история Битмита, англичанина по происхождению, но давно сжившегося с Россией и даже принимавшего участие в народническом движении. Два его воспитанника, по фамилии Качка, были теперь уже взрослые молодые люди, производившие очень приятное впечатление. Оба были хорошими рабочими-слесарями и помогали моему брату поставить свою слесарную мастерскую.

Была у них и сестра — Прасковья Качка, которой суждено было вскоре приобрести большую известность. По-видимому, на ней отразились все отрицательные черты вырождения испорченной дворянской семьи. Это была невысокая девушка, блондинка с светло-золотистыми, слегка волнистыми волосами, которые она носила распущенными по плечам. Многие считали ее красивой, но мне не нравился в ней тусклый, не совсем чистый цвет лица и как будто потухающий по временам взгляд. Кроме того, мне казалось, что в ее лице слишком проступают очертания черепа, что давало ощущение чего-то неживого. Эта странная девушка иногда приходила и к нам, разговаривала очень мало, но по временам охотно пела. Пение ее было тоже странное. Особенно любила она бывший тогда в большой моде романс «Нас венчали не в церкви». Это было нечто бурное, говорившее о том, что «венчала нас полночь», причем «столетние дубы валились с похмелья». Бурный романс требовал сильного голоса, а голос Качки был слабый, в нем, как и в ее наружности, было что-то производившее странное, загадочное, дразнящее впечатление. Незадолго до нашего ареста Битмит был тоже арестован, а она уехала в Москву.

В одно утро Виноградов перестукнул мне от Битмита, что если я хочу передать домой записку, то у него

есть случай переслать ее. В это время меня позвали на свидание в контору.

— Знаешь новость?— сказала мне при этом младшая сестра.— Качка в Москве убила своего жениха, Байрашевского. Об этом пишут все газеты...

Мне тотчас же пришло в голову, что, вероятно, Битмит не знает об отъезде Качки в Москву и, может, адресовал ей свою записку, которая, таким образом, непременно попадет в руки властей. Нужно было предупредить это. Закончив наскоро свидание, я вернулся в свою камеру и стал обдумывать. Виноградова в камере почему-то не было. Он уехал, кажется, в баню, а ждать было нельзя. Я постучал в дверь.

В нашем коридоре чередовались двое служителей. Один был низенький, полный чухонец, довольно противный на вид, по фамилии что-то вроде Перкияйнена. Он был попрошайкой и однажды предложил мне написать записочку брату, которую брался передать. На мой вопрос, о чем он хлопочет, он сказал с наивной откровенностью:

— Ви будет давать вацать копек, брат будет давать вацать копек. Перкияйнен будет доход.

Теперь я надеялся, что если ему дать «вацать копек», то он пропустит меня к камере Битмита. Но дверь мне открыл сменивший Перкияйнена другой служитель, человек симпатичной, хотя довольно суровой наружности. Делать было нечего: переступив порог, я, вместо того чтобы двинуться направо, резко кинулся в сторону камеры Битмита. Служитель был человек очень сильный и, схватив меня за плечи, втолкнул назад в камеру. Я успел только поставить ногу между порогом и дверью и, таким образом, помешал закрыть ее. Он больно прижал мне ногу, отчего я слегка вскрикнул. На лице его выразилось тревожное участие. Это подало мне некоторую надежду.

— Что, больно?— спросил он, стараясь говорить тихо.

— Очень больно,— ответил я,— но все равно я не дам вам закрыть. Мне нужно сказать два слова товарищу.

— Это нельзя!— ответил он решительно.

Я посмотрел ему в лицо и сказал:

— Послушайте, мне кажется — вы добрый человек, а мне нужно, понимаете, до зарезу!.. Вы можете разда-

вить мне ногу, но я не дам запереть камеру.— И я опять рванулся в коридор.

Суровое лицо полицейского смягчилось.

— Послушайте и вы меня, барин,— сказал он.— Пустить вас в эту сторону я не могу: тут площадка и лестница. Не дай бог, увидят, особливо Перкияйнен... Ведь я тогда пропаду. Лучше я приведу товарища к вам. Он пойдет в отхожее место, вы не запирайте камеру, а уж я, так и быть, покараулю лестницу.

— Не обманете?

— Вот вам крест...

И он действительно не обманул: через минуту ко мне в камеру вбежал Битмит. Времени терять было нельзя, и я без приготовлений сообщил ему роковую новость:

— Качка в Москве убила жениха и теперь арестована. Не посылайте ей никаких записок.

Битмит даже пошатнулся от неожиданности.

— Какой жених?— сказал он.— У нее никакого жениха не было.

В это время прибежал встревоженный служитель.

— Поднимаются по лестнице,— сказал он с испугом.— Не погубите меня...

Битмиту пришлось уйти, и коридорный запер дверь моей камеры. Я был сильно взволнован всем этим эпизодом, представляя себе, каково теперь настроение бедного Битмита.

Забегая несколько вперед, скажу, что дело Качки было одним из causes célèbres [1] того времени. Защищал ее Плевако, тогда уже большая знаменитость. Дело было обставлено очень эффектно. Качка на суд явилась в глубоком трауре и произнесла длинную сентиментальную речь, которая одним очень понравилась, на других произвела отвратительное впечатление... Она так любила его... Он клялся и изменил клятвам. Она не могла простить этого, не могла отдать его другой... Ее преследовало постоянное видение: белая могила под снегом и над нею в глубоком трауре грустная женская фигура... В могиле он, а над могилой вся в слезах — она. И т. д. Для меня эта зловеще-сентиментальная речь слилась с впечатлением лица Качки, сквозь молодые черты которого проступали очертания черепа, и ее тусклого, но странно дразнящего голоса. Во время самого убийства в числе присутствующих были мои хоро-

---

[1] Знаменитых дел *(фр.)*.— *Ред.*

шие знакомые, и они рассказывали, что вся эта история была сплошная выдумка: Байрашевский не был совсем женихом Качки и, кажется, даже совсем не знал о ее чувствах. Качка в этот вечер была, как всегда, молчалива и, как всегда, пела: «Нас венчали не в церкви». Потом подошла и неожиданно выстрелила молодому человеку в висок.

Качку оправдали. Весной 1885 года на пристани пароходства «Зевеке» в Нижнем Новгороде, где я был с А. С. Ивановской, мы встретили среди пассажиров Качку. Она была нарумянена и напудрена, производила двусмысленное впечатление и держала себя с странной развязностью.

— А моя жизнь с тех пор так полна и разнообразна,— говорила она аффектированно.— Я перехожу от победы к победе...

А. С. холодно распрощалась с ней.

XX

ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР II И КОРИДОРНЫЙ ПЕРКИЯЙНЕН

После этого случая с Битмитом высокий служитель, как это иногда бывает, когда нам случится оказать ближнему услугу, положительно привязался ко мне. В часы своего дежурства он подходил к моей камере, отворял дверь, и подолгу мы вели тихие беседы. Он рассказал мне, кто еще сидит в Спасской части, а также о своих товарищах, других коридорных и о начальстве.

В среднем коридоре молодой барчук, генеральский сын Дорошенко, помешался умом: все служит молебны и ругает царя... Ко мне действительно порой доносился звонкий голос из какой-то камеры в среднем этаже. Начальник Денисюк — человек бы ничего, да очень горяч: в этой камере прежде сидел рабочий Иванайнен. Что-то согрубил начальнику. Тот приказал двум служителям держать его за руки, а сам бил его по щекам. После этого революционеры прислали начальнику письмо с печатью: мертвая голова и два топора. Теперь он страшно трусит и обращается с заключенными мягче... А вот коридорный Перкияйнен — первый доносчик на товарищей. Если бы увидел, как вот мы разговариваем, сейчас бы донес. В настоящее время в нижнем коридоре среди

политических сидит один коридорный. Посажен на неделю по доносу Перкияйнена. Настоящая язва!..

И каждый раз он прибавлял, что служба тут плохая, грешная и что он ее скоро бросит.

Вскоре мне пришлось вступить в маленький конфликт с смотрителем Денисюком. Однажды, войдя ко мне в камеру, он застал меня на столе смотрящим в окошко. При его входе я сошел со стола.

— Я уже говорил вам, что смотреть в окно не полагается!..— сказал он очень грозно.— Вы хотите в карцер?

— А там есть форточка?— спросил я спокойно.

— Есть... Ну так что же?— спросил он с недоумением.

— Ну, так я и там стану смотреть в нее.

Он отчаянно махнул рукой.

— Да, я знаю!.. Вас, революционеров, хоть режь на куски, хоть жги огнем... Вы народ отчаянный, ничего не боитесь... Лишь бы насолить начальству. Вы думаете о благе народа, а я думаю о своей семье. У меня их шестеро... Как вы думаете: если я народил такую ораву — должен я их содержать или нет?

И, внезапно перейдя от грозного тона к плаксивому, он стал изливаться в жалобах на свою участь: под него подкапываются: напротив адресный стол, и начальник мечтает занять его место... То и дело пишет доносы...

Усмехнувшись, я уверил его, что не питаю против него никаких враждебных замыслов, а просто хочу дышать свежим воздухом и поглядеть на кусочек Садовой улицы, видной в ворота. Прекратить это не обещаю, но постараюсь смотреть так, чтобы меня не было видно из адресного стола. На этом мы и помирились. Кажется, его внезапное появление в моей камере было вызвано доносом Перкияйнена.

История моего одиночного заключения в Спасской части приходит к концу. Мне еще остается сказать несколько слов об ее вольных и невольных обитателях. Однажды я писал письмо в конторе, когда к Денисюку пришел высокий старик с благообразным лицом, типа крупного чиновника. Усевшись у круглого стола, они повели тихую беседу, отрывки которой все-таки долетали до меня. Это оказался штатский генерал Дорошенко, отец того юноши, который «помешался в уме». Старик был не то губернатором, не то председателем Казенной палаты в какой-то из юго-западных губерний. Теперь

этот провинциальный туз говорил заискивающим тоном с петербургским приставом.

— Вы сами отец, так поймите сердце отца... Такое горе!..

— Не беспокойтесь... Не будет ни в чем нуждаться,— успокаивал Денисюк.— По болезни, на свои деньги можно даже вино...

— Ну, вино-то, пожалуй, не очень... Поэкономнее, знаете. У меня ведь он не один.— Денисюк сочувственно кивал головой и почтительно пожимал на прощание руки «генерала».

С молодым Дорошенком нам придется еще встретиться впоследствии, а теперь еще несколько слов о коридорном Перкияйнене. В судьбе его произошел через короткое время переворот неожиданный и почти фантастический: из коридорного Спасской части он превратился... в политического ссыльного. Случилось это следующим образом: после меня в том же верхнем коридоре сидел Василий Николаевич Григорьев, арестованный вскоре после нас. Перкияйнен предложил ему свои услуги по части переписки с городом, и он стал довольно часто переписываться с моей матерью и сестрами. Между тем некоторые из записок, посылаемые заключенными из Спасской части, стали уже известны в Третьем отделении. Менее всего подозревали доносчика Перкияйнена, но однажды решили все-таки обыскать и его. Другие товарищи, озлобленные его доносами, искали очень усердно и нашли записку Григорьева к моей матери, искусно зашитую в заплату в нижнем белье. Ничего предосудительного в записке не было, но все же Перкияйнена арестовали и выслали в Восточную Сибирь «по высочайшему повелению».

Много лет спустя однажды при мне Владимир Викторович Лесевич рассказывал о впечатлениях своей высылки в Сибирь. Лесевич был прекрасный рассказчик. Между прочим, с большим юмором он вспоминал своеобразную фигуру одного из шедших с ним в одной партии. Это был простой человек, финн, высылавшийся за что-то по высочайшему повелению. В начале пути он был очень удручен и долго чуждался своих путевых товарищей, но впоследствии привык, и ему даже очень понравилось, что «благородные господа» обращаются с ним как с равным и что ему идут кормовые наравне с ними. Путь на барже по Волге и Каме до Перми привел его в восторг, а на этапах от Перми до Тюмени он

уже совсем вошел в колею, первый кидался занимать лучшие места на нарах и первый же являлся со своей чашкой за обедом. Он очень гордился, между прочим, тем, что его выслал «сам царь Александра», и ему представлялось, что теперь царь только и думает об его ссылке и о нем. Однажды после ужина, сидя на нарах, свесив коротенькие ножки и болтая ими в воздухе, он разразился от полноты душевной целым монологом: вот царь думает теперь, что он совсем пропал, что ему уже нет и житья.

— Александра, Александра! — закончил он при общем хохоте.— Ты думаешь, Перкияйнен лацит, убивается. Дурак ты, Александра. Перкияйнен миётся...

Лесевич забыл было фамилию этого «политического», но с первых черт рассказа я узнал своего знакомца и крикнул:

— Да это Перкияйнен!..[1]

О дальнейшей судьбе его я ничего не знаю.

XXI

ЕДИНСТВЕННЫЙ ДОПРОС.— ПРЕДЧУВСТВИЕ ПРИСТАВА ДЕНИСЮКА

С первых дней ареста я написал прокурору, требуя допроса и освобождения. Некоторое время никакого ответа не было, и Денисюк, через которого пришлось подавать эти заявления, пожал плечами и сказал: «Напрасно! Не вы одни... Всех арестуют так же и держат без допроса».

Но вот через два или три дня меня вызвали в канцелярию. Здесь ждал меня жандармский офицер, который заявил, что он приехал для допроса. После первых формальностей он вынул небольшой продолговатый конверт, на котором неровным почерком было написано: «Здесь. III Отделение канцелярии его величества. Шефу жандармов, генералу Дрентельну».

— Признаете ли вы, что это писано вашим почерком? — спросил меня офицер.

Я успел уже дать письменные ответы на первые формальные вопросы и вместо ответа на этот вопрос предложил ему сличить почерки. Ни малейшего сходства не было.

[1] Теперь, впрочем, не ручаюсь, что называю точно.

Я был разочарован. Я ждал объяснения своего ареста, а вместо этого мне предлагали какой-то фантастический конверт. Я высказал это с таким возмущением и горечью, что офицер несколько сконфузился. Он порылся в портфеле и вынул оттуда бумагу. Это было заключение экспертов, сличавших почерк конверта с почерком одного из взятых у меня при обыске писем. Комиссия состояла из нескольких канцелярских писцов и нескольких учителей чистописания. Сии каллиграфические мудрецы признали, что почерк на конверте старательно изменен, но все же начертание отдельных букв таких-то, а также общий характер письма «дают основание заключить с несомненностью», что адрес на конверте и предъявленное комиссии письмо, подписанное моей фамилией, писаны одной и той же рукой...

Я представил себе, как эти каллиграфы старались угодить начальству своей экспертизой, и сказал:

— А не пробовали ли вы предъявить еще чьи-нибудь письма для сличения другому составу таких же мудрецов?

По-видимому, я угадал, так как офицер странно улыбнулся и на этом кончил допрос. Моих требований объяснить причину ареста он удовлетворить не мог. Помнится, что фамилия этого офицера была Ножин. Он казался несколько сконфуженным и скоро уехал, а я вернулся в свою одиночку.

Разумеется, сейчас же раздался стук в стену: Виноградов интересовался результатами допроса. Когда я выстукал ответ, он простучал:

— Это значит, вероятно, что Дрентельну прислана угроза от революционного комитета и вас подозревают, что вы надписали конверт.

Мне это показалось довольно вероятным. Дрентельн был назначен шефом жандармов на место Мезенцева. Это назначение вызвало много толков и много ожиданий, основанных, между прочим, на том, что Дрентельн — боевой генерал, не имевший до тех пор никаких отношений к полицейской службе. В газете, издаваемой Гирсом, «Русская правда», органе молодых либералов, с демократическим оттенком, появился фельетон Гирса в виде обращения к Дрентельну. В статье автор указывал именно на это отсутствие полицейских традиций в прошлом Дрентельна и выражал надежду, что он сумеет придать новое направление деятельности непопулярного учреждения. «Идите же, прямой и чест-

ный воин, новым путем. Общество, уставшее от этой борьбы с молодежью, ожидает от вас многого» — так приблизительно кончалось это письмо.

О нем много говорили в обществе. Как условно, «по-византийски», ни было оно написано — по тому времени оно должно было считаться смелым уже вследствие заявления о крайней непопулярности Третьего отделения. Все ждали, каков будет ответ правительства на это обращение публициста. Помнится, что первые дни прошли без всякого воздействия. Цензура была как будто озадачена и колебалась. Но через несколько дней ответ последовал: на газету обрушилась кара. Было вероятно, что и с другой стороны может тоже последовать свой ответ.

И вот 13 или 14 марта, после обеда, Виноградов возбужденно забарабанил в мою стенку. Он только что вернулся со свидания и сообщил сенсационную новость: на шефа жандармов генерала Дрентельна произведено покушение. Какой-то молодой человек, верхом на лошади, обогнал коляску Дрентельна, выстрелил в него два или три раза и скрылся. Произошло это среди белого дня на людной улице, и об этом говорит весь город, удивляясь удали неизвестного наездника.

Таким образом наше предположение оказалось правильным. Очевидно, Дрентельн получил предупреждение, но не предполагал, что оно может осуществиться в такой дерзкой форме. Кроме того, для меня стало очевидно, что мне приписывается некоторая роль в этом покушении.

Больше никаких допросов мне уже не производили, несмотря на мои настойчивые требования... Тогда, как, впрочем, и долго спустя и при менявшихся обстоятельствах, это считалось по нашим русским нравам излишней роскошью...

Как-то с утра высокий служитель предупредил меня, чтобы я собирался, так как сегодня мое заключение в Спасской части кончается. Несколько часов после этого я провел в мучительном нетерпении. Можно сказать смело, что эти несколько часов ожидания свободы стоили нескольких дней заключения. Наконец во двор въехала карета, меня позвали в контору, выдали принадлежащие мне вещи и деньги, и я сел в карету. Со мной сел Денисюк. Дорогой он все вздыхал. Я спросил у него, куда мы едем. В ответ последовал вздох еще более глубокий.

— Да о чем вы это, в самом деле, вздыхаете? — спросил я.— Кажется, вздыхать-то следует мне, а не вам.

— Кто знает? — ответил он меланхолично.— Сегодня я везу вас, а через месяц, быть может, вы повезете меня...

Я невольно засмеялся. Говорят, у турок существует какое-то коллективное народное предчувствие, что они когда-нибудь непременно будут изгнаны из Европы. Такое же массовое предчувствие не чуждо было и нашему прежнему строю. Впоследствии мне много раз вспоминалась меланхолическая фраза Денисюка: «Теперь мы вас, а после вы нас...»

Между тем карета неслась дальше, пересекла Фонтанку, обогнула здание Большого театра... Я начал догадываться: впереди направо, за мостиком — здание Литовского замка. Ворота раскрылись. На минуту перед моими глазами мелькнуло огорченное лицо матери, очевидно как-то узнавшей о нашем перемещении, и — через полчаса, переодетый в арестантское платье с буквами Л. Т. З. на спине, я входил в шумный и людный коридор Литовского замка.

XXII

В ЛИТОВСКОМ ЗАМКЕ

Какой-то незнакомый человек встретил меня при самом входе в коридор, где сидели политические, радостным восклицанием:

— А вот и третий! Милости просим. Оба ваши брата ждут вас.

Действительно, я тотчас же попал в объятия братьев, после чего стал знакомиться с остальным обществом. Через некоторое время нас развели по камерам. В одной из них устроились уже оба мои брата, и меня ждала пустая кровать. Кроме нас троих, в ней помещался еще немолодой человек с наружностью «шестидесятника», с длинными седоватыми, закинутыми назад кудрями, умным лицом и насмешливой улыбкой. Короткий арестантский бушлат и серые штаны сидели на нем както особенно изящно, точно по нем и были сшиты. При моем входе он поднялся с постели, сильно пожал мне руку и сказал:

— Грибоедов... А вот это,— указал он на высокого юношу, сидевшего с ним рядом,— Цыбульский, иначе называемый Дитё. Арестован за подозрительную наружность.

Я невольно засмеялся: наружность молодого человека менее всего могла внушать подозрение. Совсем юный, с чуть пробивающимися усиками, с нежным румянцем и почти детским пушком на щеках, он обладал еще простодушными голубыми глазами навыкате.

Скоро я узнал его историю. Цыбульский решительно не знал, за что его арестовали: шел днем, около двенадцати часов, мимо Летнего сада; к нему подошел неизвестный ему человек, пригласил его в здание у Цепного моста, там его обыскали и препроводили в Литовский замок. Юноша был в полном недоумении, клялся, что приехал только в этот год из провинции и, поступив в какое-то высшее учебное заведение, не знал ни о какой революции и водил знакомство только с своими земляками. Но... волосы у него были длинные, и по близорукости он носил очки. Однажды Грибоедов, лежа на кровати и следя глазами за Цыбульским, который ходил по камере, вдруг спросил:

— Слушайте, Цыбульский! Не носили ли вы на воле пледа?

— Носил,— ответил Цыбульский.

— И высокие сапоги носили?

— Носил и высокие сапоги.

— Та-а-ак,— протянул Грибоедов, выпуская струю дыма.— Плед... Высокие сапоги... Длинные волосы... Очки... Дело ясное: вы арестованы за подозрительную наружность... В это время, наверное, царь гулял в Летнем саду...

В камере все расхохотались, до такой степени предположение казалось невероятным. Цыбульский был совершенный ребенок. В нашем коридоре один из прислужников, брюзгливый, но очень добродушный старик, взял его под строгую опеку и считал своею обязанностью смотреть за ним, как нянька за ребенком.

— Остальные как хотят,— говорил он.— Известно, народ отпетый... А ты, Цибульский, еще дитё. По тебе небось матушка плачет... Надевай-ка, надевай бушлатик, нечего. Нонче хоть солнце, а холодно: пойдешь гулять, простудишься.

После этого Цыбульского и прозвали «Дитё». И тем не менее Грибоедов оказался прав: когда через некото-

рое время приехал его отец — помещик, кажется, Ковенской губернии, и явился в Третье отделение, чтобы узнать о причинах ареста сына, там его успокоили: перелистав дело, старик чиновник сказал:

— Сущие пустяки... Не беспокойтесь...

Помещик вспылил:

— Как пустяки? Жена после родов узнала, перепугалась чуть не до смерти... Я оставил ее больную и помчался в Петербург... А вы говорите — пустяки!..

— Маленькое недоразумение,— сказал чиновник благодушно.— Время, знаете ли, тревожное, не успели еще навести справки. Видите ли: сын ваш арестован за... подозрительную наружность.

Через несколько дней после приезда отца Цыбульский был действительно отпущен, проведя месяца два в тюрьме, и взбешенный отец тотчас же увез его из Петербурга.

Но я забежал вперед. Возвращаюсь к перечислению других обитателей Литовского замка и их интересных историй. В нашей же камере находился еще студент-первокурсник, по фамилии, если память мне не изменяет, Якимов. Его отец был гоф-маклером петербургской биржи. Это был человек консервативного образа мыслей и чрезвычайно строгого нрава. Сын признался Грибоедову, что очень боится отца.

— Да ведь вы же говорите, что ни в чем не повинны?..— утешали его слушатели.

— Не поверит!..— горевал юноша.— По его мнению, напрасно не арестуют: «Если взяли, значит что-нибудь да было. И я прямо тебе говорю, если тебя возьмут, то я тебя выпорю...»

— И, пожалуй, выпорет на радостях, когда вас отпустят?— усмехаясь, говорил Грибоедов.

— Пожалуй,— печально соглашался юноша.

А в это время, после покушения на Дрентельна, появился приказ, в котором говорилось, что ввиду распространения крамолы должны быть приняты экстренные меры, и полиция призывалась делать обыски и аресты, «не стесняясь ни званием, ни состоянием подозреваемых лиц».

И вот в одно прекрасное утро, когда жильцы номера пятого только что отпили утренний чай, дверь открылась, и в ней появилась солидная фигура пожилого господина в арестантском костюме. На пороге пожилой господин остановился в нерешительности, и в эту мину-

ту у юноши Якимова вырвалось трагическое восклицание:

— Па-па-а́ша!..

Это был действительно гоф-маклер петербургской биржи, которого арестовали, чтобы показать, что теперь званием и состоянием стесняться не будут. Несколько минут после этой родственной встречи в камере стояла тишина. Отец и сын молча смотрели друг на друга, а Грибоедов, дымя вечной папиросой, лежал на кровати и смотрел на обоих умными насмешливыми глазами.

— Папаша,— заговорил наконец сын,— а помните, что вы мне говорили: если взяли, значит, что-нибудь да было!..

— Ну, ну... Вижу теперь,— угрюмо ответил гоф-маклер, а безжалостный Грибоедов прибавил:

— Кажется, вам папаша говорил и еще что-то?..

— Да, папаша!.. Вы еще говорили: сечь надо.

— Да замолчи ты!..— вырвалось у бедняги гоф-маклера.

Отец, правда, просидел недолго, и я уже застал только сына. Но в те несколько дней пока «недоразумение» разъяснилось, Грибоедов, тоже занимавший довольно видное положение в красном кресте, успел его порядочно помучить. Каждый раз, как запирали камеры, он ложился на свою кровать и, попыхивая папиросой, начинал допрос:

— Ну-с, так как же (имярек), припомните хорошенько: что-нибудь да было?.. И, пожалуй, не мешало бы нас с вами, «не стесняясь званием и состоянием», немножечко того-с... Как щедринского действительного статского...

Это была действительно какая-то оргия доносов, сыска, обысков, арестов и высылок. Самодержавие переживало припадок бурного помешательства, и все русское общество «без различия званий и состояний» было объявлено крамольным и поставлено вне закона. Все петербургские части были переполнены такими же преступниками, как я и мои братья, а истории других заключенных Литовского замка были почти все вроде приключений с Цыбульским или Якимовыми. Между прочим, здесь я встретил целый букет Гордонов и Кайранских, по большей части совершенно не знавших друг друга до ареста. Во главе их, в виде, так сказать, самого махрового цветка, стоял Гордон, секретарь еврейского благотворительного общества. Первые дни с ним в ка-

мере были посажены и его дети, кажется мальчик и совсем маленькая девочка (я уже их не застал).

Это дело вскоре для меня разъяснилось. Одно время в Петербурге говорили о побеге за границу одного из двух участников так называемого чигиринского дела, Дейча или Стефановича. Я слышал даже, что по этому поводу имелось в виду обратиться к Глебову, который уже выразил согласие за вознаграждение взять на свое имя заграничный паспорт. В это время мы уже заподозрили его и успели предупредить хлопотавшее о паспорте лицо (по фамилии, помнится, Житков). После этого поиски были направлены в другую сторону. Согласился, тоже за плату, взять паспорт некто Гордон. Паспорт был взят, передан, и Стефанович (или Дейч) благополучно уехал. Для отклонения от Гордона возможной ответственности было сделано объявление о потере заграничного паспорта. Все сошло бы благополучно, если бы при этом не перехитрили. В объявлении было сказано: нашедшего просят доставить Кайранскому, улица такая-то, дом такой-то. При этом адрес был дан совершенно фантастический, а имя Кайранского переврано, так как, конечно, объявители знали, что никто паспорта не найдет. Полиция почему-то обратила внимание на это объявление... Может быть, она была извещена Глебовым относительно хлопот о заграничном паспорте. Справились о Кайранском, по адресу его не нашли и, не долго думая, распорядились арестовать всех Гордонов и всех Кайранских, какие оказались в Петербурге. На квартирах арестованных установлена трехдневная засада. Еврейское общество как раз в это время выдавало обычные стипендии ученикам консерватории. Выдача производилась в квартире секретаря общества Гордона, и все приходившие за стипендиями в день ареста были тоже арестованы и препровождены в тот же Литовский замок, а на их квартирах тоже устроены засады, и брали все новых и новых...

Вообще таких случайных жертв полицейской бесцеремонности я нашел в Литовском замке десятки. Особенно жалкое и трогательное впечатление производил семидесятилетний старик немец. Он был арестован «за предосудительное знакомство» с другим арестованным. Интересно, что этот другой был... его родной сын, по профессии настройщик, живший на отдельной квартире. Он часто посещал отца, его тоже посещал кто-то по-

дозрительный. Это выследили, и старика арестовали одновременно с сыном.

Сын, кажется тоже ни к чему не причастный, все-таки хоть догадывался о причинах ареста. А старик, седой как лунь, глядел на спрашивающих простодушными круглыми, как у птицы, голубыми глазами и отвечал:

— Нит-шево я не знайт. Ночью приходиль, по всем комнатам и на чердак ходиль... секую бумажку переверниль, мене хваталь, тюрьма садиль... Больше нит-шево.

Эту краткую историю могли бы повторить о себе девять десятых арестованных в то время. Был, например, целый кружок «танцоров», захваченных на какой-то вечеринке. Полиция заподозрила, что танцевали они с какой-то революционной целью. Это была веселая молодежь; даже на прогулку они направлялись парами и вприпрыжку.

Из сидевших в то время в Литовском замке мне приходится упомянуть еще Александра Петровича Чарушникова, известного впоследствии издателя, а также известного ныне окулиста профессора Симановского. Всего интереснее, быть может, было то, что, не разбираясь долго в этой массе арестованных, их просто высылали административно в разные города. Хотя было совершенно ясно, что, например, в деле с заграничным паспортом замешан только один Гордон и один Кайранский,— тем не менее все Гордоны и все Кайранские были разосланы из Петербурга в разные стороны. Секретарь еврейского благотворительного общества попал в Олонецкую губернию, если не ошибаюсь — в Пудож.

Из нас троих только один старший брат избег этой участи, и случилось это до восхитительности просто. Его квартирная хозяйка заявила, что он ее жених и должен вскоре на ней жениться. «Ну что ж, так берите его себе».

И брат был отпущен.

Что касается нас двоих, то никакие обращения не помогали. Я уже сказал, что вскоре после нашего ареста был арестован Григорьев, две сестры Поповы, мой приятель, студент Горного института Мамикониан, и еще некоторые наши знакомые. Арестованы они были за знакомство с нами, и по отношению к Григорьеву так прямо и говорили. А когда один солидный человек (кажется, мой дядя, упоминавшийся выше Евграф Макси-

мович Короленко) обратился с вопросом о нас в градоначальство, то там ему ответили просто:

— Помилуйте! Достаточно одних знакомств: все знакомые этой семьи сидят по тюрьмам!

Это был факт, опровергнуть который было, разумеется, невозможно.

Из квартиры старшего брата Глебов, разумеется, уже исчез. Зато был другой несчастливец, тоже бедствовавший, литератор Линовский, которому брат дал временный приют, кажется, впредь до получения паспорта. Работал он в то время в «благонамеренных изданиях» и даже в «Гражданине», где вел отчаянную полемику с либеральным фельетонистом Градовским (Гаммой). Но у него были два роковых качества: мрачная наружность и чрезвычайно неразборчивый почерк. При обыске была найдена его начатая рукопись, которую разбирать было трудно и некогда. И Линовский попал в Пудож, откуда вернулся далеким от сотрудничества в «Гражданине».

Особенно ярко вспоминается мне еще один арестованный — ученик консерватории. Он был тоже из стипендиатов, захваченных в квартире секретаря еврейского общества в день выдачи стипендий. Это был молодой человек с очень выразительной физиономией артиста. Сидя как-то в нашей камере и сверкая горевшими страстным огнем глазами, он говорил:

— Я не революционер, я артист... Я думаю, что всякое правительство естественным образом борется с революцией. Я был до сих пор на стороне правительства... Пусть установят самые строгие наказания, пусть ссылают на каторгу, пусть в крайнем случае казнят. Но пусть это будет по суду, со всеми законными гарантиями... А так... Нет! Теперь я первый радуюсь, когда в них стреляют, потому что они сами величайшие преступники против всего общества.

Я не помню его фамилии и не знаю, какова его дальнейшая карьера. Но до сих пор в моей памяти звучит его энергичный голос и вспоминаются горящие гневом глаза. Такое настроение разливалось тогда даже в равнодушных к политике кругах общества. А стрельба по воробьям из пушек все возрастала... И вот над головами правящих, над головой самого царя начинали все чаще кружиться зловещие птицы.

Мы сидели еще в Литовском замке, когда, 2 апреля, произошло покушение Соловьева. Впечатление, конеч-

но, было сильное, но можно сказать, что цельно оно было разве только в народе. В обществе симпатии к прежнему «царю-освободителю» давно уже были подорваны его явным сочувствием изуверной реакции...

В тюремной среде, насколько мы могли это заметить, впечатление было равнодушное, и вдобавок оно окрасилось еще маленькой юмористической случайностью. Мы узнали о событии во время прогулки от уголовных арестантов. Во избежание «вредного влияния» мы гуляли обыкновенно в небольшом квадратном загончике, отгороженном от общего двора высокими палями. К этому частоколу часто подходили уголовные, наскоро делившиеся с нами выдающимися новостями дня. В этот день они как раз выходили из тюремной церкви, куда были собраны по случаю благодарственного молебна. При этом, по их рассказам, с тюремным священником произошло неприятное ораторское приключение. Выйдя на амвон, чтобы объяснить повод благодарственного молебна, и вперед настроившись на патетический лад, он начал громко и в приподнятом тоне:

— Дорогие братья! Вот и еще одно священное покушение на злодейскую особу его императорского величества!..

Внезапный припадок кашля со стороны кого-то из тюремной администрации прервал чувствительную речь, и оратору было трудно возобновить ее в том же тоне.

В ясный день начала мая в части двора, видной из нашего коридора, появились две кареты. Население политического отделения взволновалось: кого-то увезут?.. Через несколько минут вызвали нас с младшим братом. Наши сборы были недолги, но выезд оказался очень торжественным: в каждую карету с нами село по два жандарма, трое скакали по сторонам и сзади, шестой сидел на козлах. Это был целый отряд, наводивший панику на прохожих. Когда мы, свернув с Морской, выехали на широкую часть Невского, против Гостиного Двора, рабочие, чинившие мостовую, быстро вскакивали и, отбежав в сторону, снимали картузы и крестились.

Помню, это меня тронуло. Пришел на память Денисюк и его меланхолическое восклицание... Да, когда и как мы вернемся сюда?.. Мне казалось тогда, что это-

го ждать не так уж долго... И, конечно, вернемся мы при другой обстановке, в свободную столицу России!

На вокзале мне бросилась в глаза, во-первых, высокая фигура помощника градоначальника Фурсова. Он, очевидно, ждал нас, встретил и проводил каким-то странным и непонятно для меня враждебным взглядом. А дальше, на дебаркадере, стояла моя мать с заплаканными глазами и сестры. Нам позволили только обнять их и принять несколько денег, а затем — свистнул локомотив, и туманное пятно над Петербургом вскоре исчезло на горизонте...

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Ссыльные скитания

I

ДОРОГОЙ В ГЛАЗОВ

После Спасской одиночной тюрьмы и Литовского замка все казалось мне по дороге замечательным, все вызывало яркие и сильные впечатления. Здесь я не буду воспроизводить всех подробностей. Отмечу лишь некоторые.

При остановке в Москве меня доставили в ту же Басманную часть, где я испытал вместе с Григорьевым и Вернером первое заключение. Только теперь меня посадили не в подвал, а в камеру второго этажа, окнами во двор. Прежнего старика смотрителя уже не было, но нравы были прежние: камеры и коридоры были какие-то обтерханные, стены и печка сплошь исписаны временными жильцами. Караул содержался особой породой полицейских, сохранившихся тогда, кажется, только в Москве и носивших название «мушкатеров». Название это происходило, вероятно, от «мушкетов», старых кремневых ружей, которыми они были вооружены. Большею частью это были инвалиды, пригодные скорее караулить гарнизонные огороды на окраинах, чем арестантов. Не помню уже точно, но кажется мне, что из этой части еще до моего проезда, на глазах у этих храбрых мушкатеров, убежали два или три «червонных валета», за что знакомый мне смотритель и лишился места. Я зарисовал в свою книжечку характерные фигуры этих мушкатеров.

Во время последнего свидания в Литовском замке мать и сестры сообщили мне, что есть надежда на скорое освобождение зятя. Это очень обрадовало нас с братом: в семье останется хоть один работник. Но, увы — занявшись тщательным обозрением стенной литературы в своей камере, я наткнулся на свежую запись: «Николай Лошкарев. Проездом из Петербурга такого-то числа, такого-то года». Итак, еще вчера в этой камере

был для меня близкий человек... Надежды не осталось: семья лишена всех работников; у сестры недавно родился ребенок, другая была еще только подросток. Григорьев, которого мы считали членом нашей семьи, был тоже арестован. Старшего брата мы оставили в Литовском замке (его отпустили недели через две).

Положение семьи было критическое, но в отчаяние я не приходил: в эти последние годы мы жили в особенной атмосфере любви и дружбы, соединявшей весь наш кружок. Кроме того, забота о семьях арестованных захватила тогда широкие круги интеллигенции. Наконец уже после нашего ареста кружок близких знакомых семьи несколько расширился: в него вошел, между прочим, К. М. Панкеев. Это был тогда очень оригинальный юноша: сын миллионера, владельца местечка Каховки на Днепре, он отказался от помощи отца и жил уроками. Сблизившись с Григорьевым, через него он сошелся также с нашей семьей и в трудные дни выказал много горячего дружеского участия. Таким образом, хотя известие о высылке Лошкарева сильно огорчило меня и заставило глубоко задуматься над дальнейшим устройством нашей семьи, но я отложил все эти горькие мысли и заботы до того времени, когда мы с братом будем на месте.

Из Москвы на следующий день нас повезли в Ярославль.

Приехали мы туда утром, и, к моему удовольствию, прямо с вокзала жандармы повезли нас на пристань. Передо мной опять раскинулась Волга. Я видел ее уже во время первой высылки и даже, как читатель помнит, переправлялся через нее на спасательной лодке. Но тогда она была почти вся под льдом и как-то ничего не говорила воображению. Теперь, в ясный весенний день, она кипела своеобразной жизнью. По ней неслись пароходы, плыли вниз баржи, грузчики невдалеке пели «Дубинушку», и мимо нас спускался баркас с бурлаками и работницами. Они тоже налаживали песню, и я ждал услышать что-нибудь вроде:

Мы не воры, не разбойнички,
Стеньки Разина мы работнички...

В это яркое весеннее утро я весь был охвачен особым ощущением волжского романтизма. Для меня Волга — это был Некрасов, исторические предания о движениях русского народа, это были Стенька Разин и Пугачев, это

была волжская вольница и бурлаки Репина, которых я с большой любовью скопировал тушью с гравюры и повесил на стенке своей петербургской комнаты.

Надо заметить, что этот волго-разбойнический романтизм был тогда распространен не только среди радикальной молодежи. Правда, в наших кружках на вечеринках с большим одушевлением пели и тогда волжскую песню «Есть на Волге утес», в которой говорилось о том, как Стенька Разин провел ночь на волжском утесе, думая свою «великую думу» о народной свободе, а наутро решил идти на Москву... Степан погиб, но свои думы заповедал утесу, а утес-великан все, что думал Степан, готов передать неведомому новому герою... Да, мы охотно пели и охотно слушали эту «удалецкую» песню, но... характерно, что написал ее некто Навроцкий, товарищ прокурора, делавший карьеру обвинительными речами в политических процессах, один из редакторов неважного журнальчика «Русская речь», где и была впервые напечатана эта песня.

От Ярославля до Костромы мы поехали на пароходе. Это было нарушение жандармской инструкции, и старший жандарм просил нас не проговориться об этом при случае. Мы обещали, но зато я вытащил свою книжечку и стал свободно записывать свои впечатления. Для них это была значительная экономия на прогонах, для меня — некоторая свобода.

Спускался мягкий ласковый вечер, когда с пристани мы подъехали на двух извозчиках к губернаторскому дому в Костроме. Нас ввели в прихожую и заставили дожидаться его превосходительства. Из окна этой прихожей была видна широкая аллея прекрасного густого сада, а на ней я увидел фигуры двух пожилых мужчин. В аллею проникали еще косые лучи солнца, и оба господина, спокойно и, по-видимому, мечтательно разговаривавшие о чем-то, по временам останавливались, смотрели кверху на белые облака, плывущие по синему небу, и опять тихо двигались по аллее. Обе фигуры были интеллигентные и приятные и напоминали мне почему-то героев Тургенева.

К ним подбежал служитель в длинном сюртуке с медными пуговицами и сказал что-то, вероятно, о нас. Один из собеседников, более высокий и более полный, кивнул головой, и оба они пошли опять в глубь аллеи, не желая, по-видимому, прервать так скоро интересного разговора и мечтательного настроения.

Через четверть часа, однако, дверь из сада открылась, и оба господина вошли в переднюю. Жандармы вытянулись, старший подал бумагу. Господин, которого я мысленно назвал Лаврецким (из «Дворянского гнезда»), небрежно взял ее, небрежно прочел и сказал с выражением равнодушия и скуки:

— Ну что ж!.. Везите в тюрьму...

— Господин губернатор,— выступил я.— Вы отправляете нас в тюрьму... Могу я узнать, на каком законном основании?

Собеседник пониже ростом, которого я мысленно прозвал Михалевичем, с любопытством взглянул на меня, а потом на губернатора. Но тот ответил, пожав плечами:

— На том основании, что вы высылаетесь в административном порядке и должны переночевать в тюрьме, пока мы изготовим нужные бумаги и деньги для дальнейшего пути...

— А за что мы высылаемся? Наказание не может быть без вины.

На лице его превосходительства стояло то же выражение величавой скуки.

— Административная высылка,— сказал он,— не есть наказание. Это только презервативная мера, которую правительство в тревожные времена вынуждено применять в видах общественного спокойствия и удобства... Быть может, даже вашего удобства,— прибавил он, слегка поклонившись, и удалился в комнаты.

Тот, которого я назвал Михалевичем, с любопытством посмотрел на меня и на своего приятеля. И мне показалось, что во взгляде его мелькнула улыбка.

Через четверть часа жандармам вынесли бумагу, и мы вшестером отправились пешком через весь город в тюрьму. Это опять была «экономия». Мы, конечно, могли бы потребовать извозчиков, но закат был чудесный, и мы не прочь были пройтись пешком, сократив таким образом тюремный вечер.

В тюрьме нам отвели большую пустую камеру, в которой почему-то продержали более двух недель. Причины этой задержки я не знаю. Быть может, мечтательный губернатор был слишком занят интересными разговорами с приятелем... Я опять успел с собой пронести карандаш и книжечку, записывал свои впечатления и рисовал виды из окна, причем на первом плане выступала верхушка тюремной стены с целующими на ней

голубями. Но бедняга брат жестоко скучал, пока мы не придумали сделать мяч из мятого хлеба, которым перекидывались из конца в конец камеры. Так и застали нас сидящими на полу и играющими в мяч явившиеся за нами смотритель и караульный офицер. В конторе нас ждали уже новые жандармы.

Нас повезли на северо-восток сначала широкими трактами, обсаженными березками, которые потом, сузившись, потянулись между стенами лесов. Остановившись в одной деревне на ямской станции, я увидел на косяке окна надпись: «Проехали такие-то». Среди фамилий попалась знакомая: Мурашкинцева. Это была молодая девушка, жившая рядом с нами в том же проходном дворе между Невским и Второй улицей. «Значит,— подумал я,— и квартира соседей, за которыми следили тот же орангутанг и подвязанная щека, тоже разгромлена».

Везшие нас и постоянно сменявшиеся вольные ямщики рассказывали нам о компании молодых господ и барышень, которых привезли накануне по тому же вятскому тракту. Особенно часто упоминали про Клавдию Мурашкинцеву, у которой был хороший голос и которая целые дни пела.

— Заливается, что тебе соловей!..— восхищались ямщики.

Погода была чудесная, время праздничное (троица и духов день), и все встречные деревни тоже водили хороводы и звенели песнями. В одной деревне, где мы остановились утром, чтобы напиться чаю, большой хоровод подошел к ямской избе и стал петь перед нашими окнами. Когда мы садились в перекладные, крестьяне окружили крыльцо, делясь впечатлениями. Мы с братом походили друг на друга и были одинаково одеты. «Браты́, видно»,— говорили жалобными голосами женщины, а когда мы уселись, каждый между двумя жандармами, и передняя повозка тронулась — я даже вздрогнул от радостной неожиданности: мне послышалось так ясно, что какая-то высокая, уже немолодая женщина, глядевшая на нас с «болезным» выражением в лице, сказала нараспев:

— Эх, ро-ди-и-мые... Кабы да наша воля!..

Я не вполне уверен, что были сказаны именно эти слова. Быть может, и в них отлило мое воображение все впечатления этих светлых праздничных дней, так обаятельно действовавших после тюрьмы. Несомненно, во

всяком случае, что всюду в празднично настроенных деревнях, в толпах молодежи, водивших хороводы, и среди степенных мужиков и баб, сидевших на завалинках, нас встречали и провожали не враждебные, а скорее любопытно-сочувственные взгляды.

В двух или трех местах на дорогу степенно выходили старики или старухи с ковшами в руках и предлагали деревенское пиво. Ямщики останавливали лошадей.

В Вятке, куда мы приехали утром, нас опять доставили к губернатору, которым тогда был Тройницкий. К нам вышел господин невысокого роста, с румяным самодовольным лицом, которое в рамке темной заросли производило впечатление маски. Я, разумеется, предложил ему тот же вопрос — о причине нашей высылки, и получил тот же сухой ответ: «Политическая неблагонадежность».

— Сколько мне известно,— сказал я,— такого преступления в уложении нет. Она должна была выразиться в определенных поступках.

Маска осталась неподвижна.

— Это государственная тайна,— сказал он глубокомысленно и распорядился отправить нас в тюрьму.

Я опять не стану описывать подробностей пребывания в вятской тюрьме под началом очень добродушного старика смотрителя и под непосредственным надзором вечно пьяного коридорного. Несколько дней заключения, потом опять на почтовых с жандармами, и мы на месте, в уездном городе Глазове, Вятской губернии. Этот город с его тогдашними нравами я описал впоследствии в очерке «Ненастоящий город». Поэтому здесь я коснусь лишь некоторых черт из нашей ссыльной жизни, о которых тогда я не мог говорить по цензурным условиям.

II

ЖИЗНЬ В ГЛАЗОВЕ.— ЛУКА СИДОРОВИЧ, ЦАРСКИЙ АНГЕЛ

В уездном полицейском управлении нас встретил Лука Сидорович, исправник. Это был худощавый старик с совершенно лысым черепом, бритым по-николаевски подбородком и длинными седыми усами. Маленькие глазки бегали, как два зверька, под нависшими седыми бровями. Он предложил нам несколько вопросов и произнес несколько наставлений, из которых мы по-

няли, что он имеет претензию держать нас в некоторой субординации.

В Глазове было тогда пять или шесть политических ссыльных, рабочих из Петербурга, высланных за забастовку. Старше и серьезнее других был Стольберг, финн, женатый, мастер-механик по профессии. Остальные были юнцы-слесаря или токари с разных заводов.

Лука Сидорович сразу запугал эту молодежь и взял ее в ежовые рукавицы. В первый праздник после их приезда он послал к ним городового с приказанием непременно идти в церковь. Стольберг, как иноверец, был освобожден от этой обязательной повинности, но относительно остальных Лука Сидорович тщательно наблюдал за ее исполнением, и зеленая рабочая молодежь повиновалась. Кроме того, Лука Сидорович вообще ввел строгую субординацию и часто делал отеческие выговоры за поведение.

Стольберг пытался съютить из этих рабочих маленькую мастерскую, но инструментов было мало. Брат кое-что привез с собою, а через некоторое время ему прислали из Петербурга всю его мастерскую. Он примкнул к артели и, понятно, вскоре стал видным и деятельным ее членом. Работа закипела. Каждое воскресенье, съезжаясь на базар из деревень, вотяки приносили ружья, самовары, котлы, которые нужно было чинить, запаивать, приделывать курки или ложа. Я решил докончить свое обучение сапожному ремеслу, для чего поселился отдельно от товарищей в так называемой слободке, почти сплошь населенной ремесленниками, преимущественно сапожниками, и стал ежедневно в течение шести-семи часов ходить к Нестору Семеновичу, веселому и добродушному человеку, согласившемуся преподать мне тайны своего нехитрого искусства.

Сначала Лука Сидорович был в восторге.

— Вот каковы «мои ссыльные»,— с гордостью говаривал он обывателям и то и дело посылал в мастерскую заказчиков. Обыватели следовали охотно рекомендации начальства, и скоро мастерская стала чем-то вроде клуба: под стук молотков и визг напильников шли расспросы и разговоры.

Скоро, однако, идиллия была нарушена. С нашим приездом ссыльная молодежь вышла из повиновения, стала манкировать церковные службы, а наставления Луки Сидоровича выслушивала с улыбкой.

— Помните,— внушал Лука Сидорович с самым суровым видом,— на небе — бог. На земле — царь... У бога — ангелы, у царя — исправники. Поэтому вы должны меня слушаться... Я вас худому не научу.

Среди наших рабочих был молодой парень Кузьмин, прекрасный, добродушный малый, очень веселого нрава. С нашим приездом он как-то скорее всех вышел из-под властной руки Луки Сидоровича и при этих словах внезапно фыркнул. Лука Сидорович приписал вредное влияние именно нашему приезду, и в особенности мне. Скоро у меня с ним начались и прямые столкновения, прежде всего опять на «законной» почве.

Наша переписка шла через его руки: ему мы должны были сдавать отсылаемые нами письма незапечатанными, от него же получали распечатанными письма, приходившие к нам... Порой в письмах сестры или матери некоторые фразы оказывались грубо подчеркнутыми, и Лука Сидорович бесцеремонно требовал у меня разъяснений. Его вопросы бывали при этом курьезно глупы, но понятно, как меня бесила эта бесцеремонность. Кроме того, он выдавал их у себя на дому. В первый же раз, как он заставил меня дожидаться его выхода на кухне, я ушел, заявив, что предпочитаю и сдавать, и получать свою корреспонденцию в полицейском присутствии. Маленькие глазки Луки Сидоровича забегали под его седыми нависшими бровями, и с этих пор между нами началась глухая борьба.

Я сказал уже, что поселился отдельно от товарищей в рабочей слободке. Каждый праздник в ней шло сплошное пьянство, захватывающее понедельники, а иногда переходившее в запой. Новые знакомые обижались, что я и сам не угощаю, и не принимаю угощения. Чтобы создать иную почву для общения, я выписал из Петербурга десятка три дешевых изданий. Тогда народные книжки не подвергались еще особой цензуре — можно было издавать для народа все, выдержавшее цензуру общую. Среди выписанных мною книг были, между прочим: «Как мужик двух генералов прокормил» Щедрина, «Сказка о купце Калашникове» Лермонтова, несколько брошюрок Тургенева, Пушкина. Письмо с извещением я получил давно, но самую посылку Лука Сидорович задерживал, несколько раз назначая сроки и заявляя, что еще не просмотрел. Тогда я, в свою очередь, вежливо заявил ему, что и я назна-

чаю последний срок, после которого подам на него жалобу.

Лука Сидорович вспылил.

— Есть у меня время возиться со всякою дрянью! — сказал он сердито.

Я опять вежливо поклонился и в тот же день принес ему для пересылки губернатору жалобу. В ней я просил губернатора освободить мою переписку от цензуры исправника, который мне заявил, что ему некогда возиться со всякой дрянью. «Оставляя в стороне вопрос о том, в какой степени сочинения Лермонтова и Пушкина, Тургенева и Щедрина заслуживают название всякой дряни,— писал я в этой жалобе,— я полагаю, что даже и в административном порядке я не поставлен совершенно вне закона и вправе требовать более внимательного отношения, если уже необходимо затруднять когонибудь прочтением моей переписки».

Когда я подал Луке Сидоровичу этот документ, который теперь, признаюсь, кажется мне некоторым злоупотреблением красотами иронического стиля, то мне припомнился директор Королев: по лысине Луки Сидоровича бежала такая же резко отграниченная красная волна, внушая опасение удара, а руки, в которых он держал бумагу, сильно дрожали. Я понял, что в лице этого «царского ангела» я нажил смертельного врага. Но меня это нимало не смущало.

Это была уже вторая жалоба моя на вятскую администрацию. Первую я послал министру внутренних дел на решение губернатора, который, на просьбу мою о полагавшемся ссыльным ежемесячном пособии, положил резолюцию: «Может получать от родных». Я писал министру Макову, что считаю этот ответ непозволительной насмешкой над моим положением: министру должно быть известно, что без суда и следствия, без доказательства какой-либо вины наше семейное гнездо разорено, все работники-мужчины у семьи отняты, и после этого нам предлагают обращаться за помощью к той же разгромленной семье.

Обе жалобы имели успех: министр впоследствии отменил отказ губернатора, а губернатор, в свою очередь, сделал нахлобучку исправнику. Зато вскоре мне суждено было почувствовать, что значит пользоваться законным правом подавать жалобы, стоя, в сущности, вне закона.

Лука Сидорович тоже скоро понял, что он ошибся, покровительствуя мастерству «своих ссыльных». Ему казалось по простоте, что если «его ссыльные» не пьянствуют, не дебоширят, а занимаются полезным трудом, то исправник за это заслуживает лишь похвалы. Но вот министр Маков рассылает по всей России знаменитый в свое время циркуляр, в котором в прах разбивает это заблуждение. Он разъясняет, что те политические ссыльные, которые не пьянствуют и не дебоширят, а ведут себя по наружности прилично,— они-то и являются особенно опасными, потому что, привлекая симпатии общества, пользуются этим для распространения вредных идей.

Лука Сидорович прозрел. Однажды в базарный день он посетил мастерскую. Она была полна вотяков, приехавших за получением своих заказов и для сдачи новых. И вот один из этих простодушных мужиков, солидный богатый вотяк, подойдя к Луке Сидоровичу, сказал:

— Неладно царь делает... Зачем хороших людей выгонял? Разве ему хороших людей не нужно? Плохой человек ссылать надо, а хороший человек не надо ссылать... Это все есть хороший человек: ружье работает, самовар работает, ведро заливает... Кумышка не пьет...

Я был в то время в мастерской и помню выражение ужаса, появившееся на лице Луки Сидоровича. Он понял циркуляр Макова... Да, он, «царский ангел», служит орудием крамолы. И он принялся разрушать плоды собственной ошибки, внушая обывателям, что ссыльные — люди чрезвычайно опасные. Но было уже поздно: мастерская приобрела известность и вошла в силу. Каждый базарный день ее наполняли мужики, а горожане не хотели уже отказаться от новых знакомых. Более смелые приходили днем, а более робкие прокрадывались темными вечерами, причем просили запирать ставни.

Между тем я закончил курс своего обучения, и мой добродушный учитель объявил, что я теперь знаю столько же, сколько и он. Поэтому я завел себе собственную «правильную доску» и несколько пар колодок... Инструмент мне прислали еще раньше сестры из Петербурга. И вот я наклеил на своем окне изображение сапога, вырезанное из белой сахарной бумаги. Прежде всего, в качестве лучшей вывески, я сшил себе пару

длинных сапог, сразу привлекших завистливые взгляды и в слободке, и в городе.

После этого ко мне стали являться с заказами. Завелись знакомства. У меня охотно брали книжки для чтения, заходили ко мне, и я ходил кое к кому. Вообще, отношения установились недурные, хотя должен сказать, что ни для какой революционной пропаганды в этом глухом захудалом «ненастоящем» городе почвы не было. Мы давали населению то, что оно могло взять от общения с более культурными и более независимыми в отношении к начальству людьми. Несколько раз ко мне заходили из окрестных сел крестьяне с жалобами на притеснения, и я охотно писал эти жалобы. Это, конечно, вызывало переполох в местных административных кругах. Это было хуже всякой революционной пропаганды, и я прослыл беспокойным и вредным человеком, о чем дружески расположенные обыватели предупреждали меня на основании разговоров начальства.

В один прекрасный день ранней осени, когда на полях уже лежал довольно глубокий снег, но быстрая Чепца еще катила свободно свои темные волны, ко мне вдруг пожаловал Лука Сидорович в сопровождении городового, кажется Семенова. Я в то время только что пошабашил и сел обедать. Жил я в маленькой каморке и обед готовил сам. Работая у окна, я мог, не сходя с седухи, достать что угодно из любого угла и следить за печкой. Луке Сидоровичу пришлось сильно нагнуться, чтобы войти в дверь.

— Обедаете-с? — спросил он, и маленькие лукавые глазки его забегали по моей мурье.

В это светлое утро, озарившее даже мою каморку отблесками недавно выпавшего снега, я был настроен весело и благодушно. Поэтому ответил Луке Сидоровичу, улыбаясь:

— Так точно, Лука Сидорович, обедаю... Надеюсь — хоть это занятие не предосудительное. Даже исправники этим занимаются ежедневно.

Старик, к моему удивлению, обиделся.

— Неуместное сравнение-с,— сказал он.— Совершенно неуместное-с! Я подкрепляю свои силы для служения царю, а вы... еще неизвестно зачем-с... Кончайте, я подожду-с.

И он сел в ожидании, пока я кончу, на лавку.

По окончании обеда он дал знак городовому, и через минуту моя комната наполнилась народом.

— По предписанию губернатора я произведу у вас обыск,— сказал исправник официально.

В течение получаса в моей каморке стояла тишина, прерываемая лишь изредка глубокими вздохами кого-либо из добрых соседей-понятых. Городовой Семенов добросовестно шарил в моих вещах. Наконец, вывернув последний карман последних брюк, он сказал: «Ничего, ваше благородие», и при этом посмотрел на меня так, как будто я обязан ему вечной благодарностью, хотя в моих брюках и во всей моей каморке действительно ничего предосудительного не было.

Исправник составил протокол, дал подписать обрадованным понятым, которые затем вышли, а сам обратился ко мне. Глазки его при этом забегали как-то радостно и лукаво.

— Вы кончили?— спросил я холодно.

— Не совсем. Тут вот еще бумажка от губернатора.

В бумажке содержалось предписание: объявить бывшему студенту такому-то, что он высылается на жительство в Березовские Починки.

Старый исправник торжествовал. Я должен был понять, что значит жаловаться губернатору на исправника, а министру на губернатора...

III

НА КРАЙ СВЕТА

Сборы мои опять были недолги. Я попрощался с товарищами, которые пришли провожать меня и упаковать мои инструменты и вещи, и скоро мы все переправились на пароме за реку. Кое-кто из слободских знакомых тоже дружелюбно проводил меня. Некоторые женщины плакали, так как о Березовских Починках шла очень мрачная слава. Особенно тронула меня хозяйка, сдававшая мне комнату. Она положительно разливалась, точно над родным сыном, и по особому женскому праву позволяла себе даже роптать против начальства... Городовой Семенов делал вид, что тоже провожает меня как добрый знакомый, но было видно, что он все мотает на ус для доклада исправнику. Еще несколько горячих объятий с братом и товарищами — и паром отправился назад, к городскому берегу, а наши сани погрузились в сумеречные перелески, направляясь к густой полосе лесов, синевшей на близком горизонте.

Если читатель бросит взгляд на подробную карту Вятской губернии, то он увидит, что Глазовский уезд представляет один из самых северных ее уездов. Линия, проведенная от Глазова на северо-восток, пересечет верховья двух рек — Вятки и Камы — в том месте, где они параллельно друг другу текут прямо на север. Кама тут составляет границу между Глазовским уездом Вятской и Чердынским Пермской губернии. Это как раз граница родины Пилы и Сысойки, а рядом расположена обширная Бисеровская волость, редко населенная, покрытая болотами и сплошными лесами. На крайнем ее северо-востоке находится местность, называемая Березовскими Починками. Ни один губернатор никогда не бывал в этой волости, ни один исправник не бывал в селе Афанасьевском, ближайшем от Березовских Починков, а в самых Починках с самого сотворения мира не бывал даже ни один становой. Никогда починковцы не видели начальства выше урядника. Когда через несколько месяцев я опять очутился в Вятке, то ко мне пришли в тюрьму два чиновника губернаторской канцелярии нарочно для того, чтобы взглянуть на человека, бывшего в Березовских Починках, и расспросить о них.

Незадолго перед описываемыми событиями моей жизни этот уголок земли приобрел широкую, хотя и кратковременную газетную известность. Некто Августовский, кажется, «червонный валет», сосланный по приговору суда сначала в Глазовский уезд, а из Глазова за буйство высланный в Починки, убежал оттуда в Петербург и явился к своей прежней любовнице. Та к этому времени отдала свое сердце другому и донесла на прежнего возлюбленного полиции. Мстя за измену, Августовский нанес ей рану ножом. Его судили с присяжными, и на суде, отчет о котором появился в газетах, он нарисовал такую яркую картину своих страданий в Березовских Починках, что присяжные его оправдали, а Починки одно время стали яркой темой фельетонов.

В этот-то интересный уголок я высылался теперь по распоряжению губернатора Тройницкого и к великому удовольствию исправника Луки Сидоровича. Рядом со мною в санях важно восседала особа в широкой нагольной шубе и в шапке с красным околышем. Личность эта носила звание «заседателя», происходившее, очевидно, от глагола «заседать». Для надобностей уездного полицейского управления соседние вотяцкие села обложены

особой натуральной повинностью: высылать в город по выбору своих мужиков, которые и «заседают» в передней полицейского управления по всегдашней готовности бежать на посылках.

Практикой установлено, что эти «заседатели» сменяются редко, так как полиции удобнее иметь под рукой привычных людей. Та же практика присвоила этим деревенским мужикам, большею частью вотякам, фуражку с красным околышем, вроде тех, какие в других губерниях носят господа дворяне. Жалкие и ничтожные в городе, эти заседатели сразу становятся важными особами, попадая в деревню.

Такой сановник сидел теперь рядом со мной, важно подымая нос кверху.

С тех пор прошло много лет, и мои чувства к Луке Сидоровичу, конечно, сильно смягчились. Я сознаю даже, что был, пожалуй, не прав по отношению к хитрому, но глуповатому служаке, пуская в ход всю силу иронического стиля и обвиняя его в непочтении к корифеям русской литературы. Но в то время в душе моей кипело негодование и гнев. Я чувствовал себя жертвой низкой мести. Поскрипывали полозья, проносились мимо и убегали назад чахлые перелески, за снегами и лесами село солнце, удлиняя густые синие тени. На душе у меня тоже темнело. На моих щеках еще горели горячие поцелуи брата, а в ушах раздавался плач и причитания, точно по покойнику, добродушной моей хозяйки. Воображение невольно переносило меня назад, в Глазов. Скоро в окнах зажгутся огни. Товарищи сидят за самоваром и с грустью вспоминают обо мне. Окно моей каморки темно и пусто. В слободке толкуют вкривь и вкось, за что я выслан. А вот на одной из центральных улиц, в большом деревянном доме тоже светятся окна, и с деревянных кладок, пролегающих мимо, виднеется мирная картина: за самоваром сидит Лука Сидорович в кругу своей семьи. Он доволен... Но если бы мне соскочить сейчас с саней и броситься в лес...

Мое подвижное воображение работало, и в этот сумеречный час, среди темнеющего леса, я, хотя бы только в воображении, переживал ощущения мстителя-террориста.

Перепрягли лошадей и дальше поехали уже в полной темноте. Во время перепряжки в ямской избе мой спутник обратил внимание на мои новые сапоги. Он их

осматривал, ощупывал, сравнивал со своими и наконец предложил:

— Давай менеться!

Я отказался. Выехав после остановки, он вдруг стал очень разговорчив. Он распространялся о тех местах, куда он меня везет... Народ там дикий, разбойник народ!.. Ссыльных то и дело топят в Каме, никто и не знает... Начальство далеко. А вот он, заседатель, может замолвить за меня словечко; его боятся, ему поверят. И тотчас же после этого он опять сказал с наивным нахальством:

— Меней сапоги!

— Убирайся, не стану менять...

Он надулся и смолк, хотя ненадолго. Через несколько времени опять раздался его скрипучий голос:

— Меней, слышь... Сколько возмешь придачи?

На следующий день вечером мы были уже недалеко от реки Вятки. Ямщик попался словоохотливый. Он рассказывал, что лошади у него куплены с завода, и в одном месте указал на дорогу, отходившую в сторону от нашей. Она вела на Омутнинский завод.

— Как доедешь до этого места, лошади непременно сворачивают. Чуть зазевайся, особливо засни, так к заводу и притащат, хоть далеко...

В Глазове один наш добрый знакомый, большой фантазер, рассказывал мне, что на этом заводе живет Петр Иванович Неволин, ссыльный и «отчаянный революционер». Он спропагандировал не только рабочих и администрацию завода, но и все население, которое теперь готово на все по одному его слову. Со временем в Нижнем Новгороде я близко познакомился с П. И. Неволиным, когда он работал в статистике у Анненского. Это оказался прекрасный человек и отличный статистик, но человек совершенно кабинетный и менее всего революционер. Но в то время я верил этим рассказам, и мне невольно приходило в голову, что, быть может, я мог бы добраться к этому могущественному человеку.

Темным вечером мы подъехали к обрывистому берегу реки Вятки. На другой стороне скорее угадывались, чем виднелись, широко и далеко раскинувшиеся темные пятна лесов. Где-то внизу шуршал ледоход, и белые льдины смутно виднелись на темной реке.

— Эк-ка беда!..— сказал ямщик.— Перевозчики-те убрались, видно. Вон и изба стоит без окон. Пойти поискать: нет ли хоть лодьи внизу?

Он стал над обрывом, покричал несколько времени протяжно и громко перевозчиков, и потом фигура его исчезла под обрывом. Лошадей он привязал к выступающему бревну сруба. Мы с «заседателем» остались в санях. Было холодно, темно и тоскливо. По небу передвигались неопределенные громады облаков. Снизу, с северо-востока, от заречных лесов тянуло влажным холодным ветром, и по временам пролетали снежинки. Время тянулось долго.

Наконец откуда-то снизу донесся неясный окрик. «Заседатель» встрепенулся.

— Кричат... С того берега!..— радостно сказал он и, вывалившись из саней, побежал с обрыва с таким проворством, которого я от него не мог ожидать, захватив только мою подушку.

Но раньше он еще раз сказал мне:

— Менеешь, что ли, сапоги-те? Меней, не пожалеешь... Ну, как знаешь.

И я остался один.

Со мной был деревянный ящик с вещами и сапожными инструментами. Я принялся выгружать его с саней, как вдруг внезапная мысль поразила меня. Я здесь один... Лошади знают дорогу к заводу. На заводе могущественный Неволин, владеющий умами населения. Если сейчас подвязать колокольчик, повернуть лошадей и пустить их по дороге, то... То вся моя жизнь пойдет, быть может, по новому пути...

Я поставил на снег свой ящик, сел на него, и — не знаю, сколько времени пробежало над моей головой вместе с холодным ветром и темными облаками. Что было бы, если бы я повиновался первому побуждению? Я не уверен даже, что нашел бы Петра Ивановича Неволина. Он действительно жил тогда на одном из заводов, но я не уверен, что именно на этом. Все остальное было чистой фантазией, и — если бы даже я нашел его, то, несомненно, только напрасно подвел бы и его и себя. И все-таки — если бы я был революционер по темпераменту, а не созерцатель и художник, то, конечно, не пропустил бы этого случая — будь что будет!

Но соблазн длился недолго. Навстречу ему потянулись, как эти туманные облака по небу, новые ряды мыслей. Прежде всего — мысль о матери. Во что обойдется ей этот новый удар?.. И потом — от чего, собственно, я бы убежал? От этих лесов и от этих лесных людей, от того дна народной жизни, которое лежит вон

там, за рекой, раскинувшись без конца и края под моими ногами? Но разве я не стремился именно к этому? Разве не собирался окунуться в море народной жизни анонимно и тайно от властей?.. И вот теперь, когда те же власти сами предоставляют мне возможность стать лицом к лицу с этой народной массой,— я испугаюсь и отступлю?

Когда-то Н. Н. Златовратский написал рассказ «Безумец». В нем идет речь о человеке, отдавшем всю жизнь на поиски таинственного сокровища народной правды. Он отрешился от привычных условий жизни и пошел к народу. Он работал в полях, тянул лямку бурлаком, терялся в глухих лесах, опускался в подземные шахты. И из всех этих странствий вынес на свет божий великое сокровище, волшебную жемчужину — тайну народной мысли.

В чем, собственно, состоит эта тайна, Златовратский не разъяснил ни в этом рассказе, ни во всей своей долгой и страстной литературной работе. Самый рассказ появился несколько лет спустя после описываемых здесь событий и тогда произвел уже на меня впечатление чувствительной бессодержательности. Несомненно, однако, что в то время он был лишь несколько запоздалым, но верным отражением того неопределенного, мистического ожидания, которое влекло к народу тысячи юных сердец моего поколения, которое влекло в эти минуты и меня...

IV

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С БИСЕРОВЦАМИ.— «ЦАРСКАЯ МИЛОСТЬ»

С той стороны реки, откуда-то издалека, снизу и слева послышался неясный зов... На берегу вспыхнул огонек. Это меня звала к себе дикая лесная сторона. Я бодро поднял грузный тяжелый ящик и стал осторожно спускаться по крутой обмерзшей тропинке к реке. Внизу я увидел переброшенный через реку на высоких тонких жердях живой, колеблющийся мостик, узенький, в две доски. Он висел высоко над черной рекой с фосфорически белевшими пятнами. Небольшие льдины быстро, но не густо неслись по течению, то и дело ударяясь о тонкие жерди. Мостик вздрагивал, и мое положение с тяжелым ящиком было довольно затруднительно. Но

переправа совершилась все же благополучно, и, пустившись вдоль берега на огонек, я вскоре очутился в просторной перевозной избе на другом берегу Вятки. Изба была полна народом. Тут были, во-первых, перевозчики, а во-вторых, семь старост во главе с старшиной Бисеровской волости. Они везли в город собранные с волости подати, но мой «заседатель», успевший забраться на печку и свесивший оттуда голову в красной фуражке, упорно твердил:

— Езжай назад, собирай еще!.. Исправник приказал. Бумагу я везу... Писарь будет читать в волости.

Мужики галдели, говорили все разом, спорили, но в конце концов сдались. Старшина, коренастый, невысокий белокурый мужик, выступил вперед и сказал:

— Какая бумага? Может, вот он прочитает?— кивнул он на меня.

«Заседатель» достал из своей кожаной сумки бумагу, я вскрыл конверт и прочитал. В бумаге предписывалось старшине, не ограничиваясь окладом последнего года, зачислить собранные подати за недоимки и приступить вновь к усиленному взысканию недоимок... за десять лет.

Бумага произвела прямо ошеломляющее впечатление. Некоторое время в избе стояло молчание.

— Да ты так ли читаешь-то?— сказал с сомнением в голосе угрюмый рослый мужик, черный, как жук.

— Верно прочитал, правильно!— вмешался «заседатель» с печки.— Я ведь вам баял, я знаю... По всем волостям такая бумага послана. Других старшин из города назад вернули,— пояснил он.

Мужики почесали в головах, поговорили еще, но в конце концов пришли к заключению, что необходимо исполнить приказание начальства.

В пояснение этого циркуляра нужно сказать, что 19 февраля будущего 1880 года наступало двадцатипятилетие вступления на престол Александра II. Предполагалось, по манифесту, сложение недоимок. И вот, не знаю по чьей инициативе, вероятно по приказу из центра, администрация приступила к выколачиванию старых недоимок, чтобы царское великодушие обошлось казне подешевле. Мужики — старшина и семь старост,— считавшие, что сбор податей по волости уже кончен, были угрюмы и сердиты: приходилось возвращаться и начинать сначала. Когда это выяснилось

окончательно, их угрюмое внимание обратилось на меня, сидевшего на лавке рядом с деревянным ящиком.

— А это что же за человек? — спросил старшина, обращаясь к «заседателю». Хитрые маленькие глазки вотяка насмешливо сверкнули на меня, и он ответил:

— Подарок вам!.. Новый ссыльный в Березовские Починки.

В кучке мужиков пошел глухой ропот.

— Еще один!.. Эк-ка беды́, право, до коих пор это? Житья от ссыльных не стало... Починовцы и то стонут. Пакостя́т они, мочи нет!.. Особливо Харла.

— Вот недавно жаловались: поляк Харла деньги сбостил, — энергично вставил старшина. — И, слышь, деньги немалые: семьдесят рублев.

— А лесу десятины две не спалили, что ли? И зимовничек сгорел...

— Беды́ это, право, бедушки!.. — как-то плаксиво и нараспев протянул черный, как жук, лохматый мужик. — Левашов во бумагу добыл, по всей волосте́ теперь на лошадях гоняет, ничего не плотит...

С разных сторон послышались ропот и вздохи.

— Да что вы, мужички, плачетесь тут?.. — заговорил, приближаясь ко мне, старшина. — Ты, чужой человек, не подумай чего! Вы там в городу напрокудите, начальство с вами не справится, так к нам?.. Смотри ты у нас!.. Чуть что, мы вас всех в Каму побросаем!

За старшиной поднялись остальные, и я в своем углу был окружен теперь плотной стеной мужиков. Кроме старшины, это был народ все рослый, плечистый и сильный. Вид у них был какой-то архаический: почти безбородые и безусые, с длинными волосами, ровно подстриженными на лбах, — они напоминали древних славян на старых картинах...

— Да!.. У нас, брат, смотри, поберегайся!..

— Живи смирно, а не то косточки переломаем.

— Выволокем в лес... мать родная костей не сыщет.

Эти речи, видимо, все больше и больше вдохновляли бисеровцев: глаза сверкали, кулаки сжимались... А с высоты большой печи лукаво и злорадно поблескивали из-под красного околыша маленькие глазки «заседателя». «Что, брат, не захотел сменять сапоги!..» — казалось мне, говорил этот взгляд хитрого во́тина.

Я чувствовал, что необходимо разрядить это настроение. Поэтому я ударил кулаком по своему ящику и резко поднялся. Окружавшая меня толпа, к моему

удивлению, шарахнулась от меня, точно испуганные овцы.

— Слушайте теперь, мужики, что я вам скажу,— резко заговорил я, ободренный.— Вот вы говорите, что ссыльные вам пакостят. С вами, видно, и нельзя иначе: вот вы меня не знаете, ничего я вам дурного не сделал, может, и не сделаю, а вы уже накинулись на меня, как волки...

Мужики слушали, отойдя от меня на почтительное расстояние. Крупный мужик, жаловавшийся на какого-то Левашова,— теперь глубоко вздохнул и сказал смиренно:

— Правду бает мужичок... Верно это: мы еще от него худого не видали.

— Вестимо: будешь до нас хорош, и мы до тебя хороши.

— Верно. Вон Плавской в селе живет... Грех сказать, человек смирный, хоть спи с ним, не обидит...

В настроении бисеровцев произошел полный переворот: минуту назад они наступали стеной, пытаясь меня запугать. Теперь голоса их звучали робким заискиванием. Дипломат-«заседатель», глядевший на все это с своей печки, видимо, оценил новое соотношение сил.

— Верно, мужички,— заговорил он,— не такой это человек... Он человек просужий, работной... Гляди, сапоги на нем... Сам ведь сошил. Мастеровой человек: в ящике-те струмент у него...

И он многозначительно посмотрел на меня, отмечая этим взглядом, что он оказывает мне услугу.

В кучке мужиков пронесся ропот одобрения.

— Ой?..— радостно произнес старшина,— да ты, видно, чеботной!.. Поэтому можешь моей бабе чирки изладить?

Он оглянулся на мужиков и сказал, улыбаясь:

— Что ты с бабой поделаешь? Пристает: жить, говорит, не хочу, что чирки не сошьешь...

— Известное дело: муж в старшинах — не любо и ей в лаптях стало.

— Ну, роботному человеку мы рады,— сказал старшина,— мы тебя, когда так, в селе оставим. В Починках тебе делать нечего. А теперь, ребята, айда, видно, назад!.. Давай запрягать лошадей.

Мужики повалили из избы, а «заседатель» слез с печи и тихонько подсел ко мне.

— Видал?..— спросил он, кивнув головой по направлению к двери,— народец-то!.. Известно, лесной народ, зверь!..

И потом, помолчав, прибавил заискивающе:

— Слышал, как я за тебя заступил?.. Сильной рукой!..

И затем, как я и ожидал, прибавил ласково, но, очевидно, без особенной надежды на успех:

— Сапоги-те... Сменеешь, что ли?

Я засмеялся.

Почти уже на рассвете на нескольких санях мы приехали в село Бисерово. Узнав, что здесь невдалеке от волости живет тоже политический ссыльный, поляк Поплавский, о котором говорили мужики, я наскоро умылся и, подождав немного, вышел на улицу. Вместе со мной вышли из правления два или три десятских и пошли в разных направлениях вдоль улиц. Окна всюду уже светились, из труб к синему небу подымался дым. Десятские стучали подожками по ставням, в окнах появлялись мужские или женские лица, и десятские им кричали:

— На сходку, миряна, на сходку! Старшина-те вернулся... Из городу бумага насчет недоимок... На сходку, миряна, на сходку!..

Хозяйка Поплавского уже возилась у печки и удивилась моему появлению.

— Эк-ка бедушки!..— сказала она, слегка вздрогнув.— Опять чужой человек, да такой же бородатый... И что у вас за сторона такая: лицо будто молодое, а бороды-те что у стариков. Иди вон туда, в светелку. Да он, чай, еще спит. Пойти взять самовар: чай, угощать станет приятеля чайком...

Мы вошли в просторную избу, и хозяйка зажгла стоявшую на столе свечу. Большая изба, с лавками кругом стен, полатями и большой русской печью, была полна своеобразного беспорядка: на лавках грудами валялись книги, на столе рядом с самоваром и чайной посудой лежали сапожные щетки и вакса, пара щегольских, уже вычищенных варшавских ботинок стояла тут же. На кровати, укрытый, кроме одеяла, еще шубой лежал молодой человек с бледным лицом, черной бородкой клином и длинными, как у художника, черными волосами. Одеяло и шуба спустились до пояса, и я удивился, увидев, что молодой человек спит одетый, в черном сюртуке, крахмальной рубашке и даже в галстуке.

— Всегда эдак,— сказала хозяйка с добродушной усмешкой.— И в баню-те редко ходит... Спасается, видно.

Молодой человек открыл глаза, смотрел некоторое время не вполне сознательным взглядом, точно видел еще продолжение сна, и затем, быстро сбросив одеяло, торопливо надел ботинки и кинулся порывисто обнимать меня:

— Наверное, новый политический? Как я рад! Самовар, хозяюшка, самовар поскорей!..

Мы познакомились. Поплавский был очень красивый юноша с чрезвычайно тонкими и интеллигентными чертами лица, производившими странное впечатление среди этих деревянных срубов и нагольных овчин. Он был варшавянин, писатель, сотрудник газеты «Przegląd Tygodniowy» («Еженедельное обозрение»), газеты так называвшегося «позитивного» направления, где работали в те времена молодой Сенкевич, Свентоховский, Болеслав Прус. В Варшаве возникло большое политическое дело так называемого «Пролетариата». Официально его вел прокурор варшавской судебной палаты Устимович — человек странный, немного толстовец, издававший впоследствии в Самаре или Саратове какую-то полусектантскую газету. Истинным руководителем и душою следствия был, однако, его помощник Плеве, который с этого дела и начал свою блестящую карьеру. Поплавский являлся одной из первых ласточек этого дела, высланных административно до начала над остальными суда. Он жил здесь, точно на почтовой станции, не пытаясь уже даже как следует разложить свои вещи и устроиться. За самоваром он очень оживился, рассказывая о своем деле, о жизни в партиях в Варшаве. Речь его была интересна, сверкала юмором и парадоксами, но глаза его сразу потухли, когда он перешел к своему теперешнему положению. Ничто в этой дикой стране не вызывало в нем внимания и любопытства. Я приписывал это тому, что поляки вообще не народники: польский мужик со времен Казимира Великого не играет никакой роли в истории — даже той, какую он играл у нас: Польша не знала ни Разиных, ни Пугачевых, а ее казачество было украинское.

Мы заспорили: Поплавский был социал-демократ и националист. За разговорами незаметно пролетели часа два, когда ко мне прибежал так называемый «рассылка», сообщивший, что меня требуют в волость.

Около волости уже шумела густая толпа, обсуждавшая новое распоряжение начальства. Мужики не знали, конечно, что оно вызвано предстоящей «царской милостью». В толпе мелькал красный околыш «заседателя» и коренастая фигура старшины.

В правлении высокий седой старик писарь объяснил со всею вежливостью, что старшина намеревался оставить меня в селе, но бумага от исправника такого рода, что это оказывается невозможным: меня сегодня же отправят дальше, от деревни к деревне и от сотского к сотскому. Это подтвердил и урядник, коренастый мужчина довольно грубого и гнусного вида, происхождением вотяк. Он был очень огорчен. Назначен он недавно и еще не успел обзавестись форменным платьем. Войдя в правление, он тотчас же спросил у «заседателя», не привез ли он ему из города форму, и очень огорчился, когда тот ответил, что не привез. Вóтин-урядник был в простом нагольном полушубке, и это, очевидно, роняло престиж его власти.

Плохие санишки, на которых на соломе лежал уже мой ящик, ожидали меня у правления. Попрощавшись с Поплавским, я тронулся в путь. В ближайшем поселке — новый сотский и перепряжка. Когда мы тронулись с этого поселка, нас обогнали две тройки, на которых я увидел красный околыш «заседателя» и большую волчью шубу старшины. Сельская администрация мчалась в село Афанасьевское, чтобы и там оповестить о предстоящих новых сборах застарелых недоимок. А из Бисерова по узким проселкам в глухие деревеньки разносили ту же весть сотские и десятские в санишках, верхами и пешком.

Вскоре я был уже в селе Афанасьевском, которое кипело таким же оживлением, только здесь, в глубине дикого края, действия администрации были гораздо решительнее: со дворов к сельской управе сгоняли скот, и какие-то солидные мужики, как я узнал после — скупщики, уже слетелись, как воронье, на предстоящую распродажу. Кроме того, здесь же суетился, грубо крича и громко ругаясь, полицейский урядник.

Через несколько лет, когда губернатор Тройницкий не был уже губернатором, а занял пост начальника статистического отделения при министерстве внутренних дел, а на его месте вятской сатрапией правил, если не ошибаюсь, Анастасьев, в газете «Казанский листок» появилась удивительная корреспонденция, написанная

в таком тоне, что по-настоящему место ей в то время могло бы найтись разве в нелегальной прессе. В ней очень картинно и подробно излагались способы сбора податей и недоимок в Вятской губернии. «Точно отряды башибузуков», налетают становые, урядники, толпы сотских и десятских на беззащитную деревеньку, врываются в избы, хватают имущество, самовары, одежду, выгоняют скот... За ними следом тянутся торгаши и прасолы, скупающие все это за бесценок. Прослышав о приближении этих грабителей, население заранее убегает в леса, унося имущество и угоняя скотину, и живет по нескольку суток зимой в лесных чащах.

Я помню, с каким изумлением была встречена эта совершенно правдивая картина в подцензурной газете, притом ретроградного направления, издаваемой господином Ильяшенком (бывшим административно-ссыльным, фигурировавшим впоследствии в качестве явного черносотенца). Объяснялась эта необычайная снисходительность цензуры тем обстоятельством, что... статья была доставлена, а может быть, и написана бывшим губернатором Тройницким, посетившим около этого времени прежнюю свою сатрапию. Я попытался в другой поволжской газете дополнить эту картину напоминанием, что эти приемы в Вятской губернии составляют традицию: я рассказал в самых осторожных чертах, далеко уступавших по яркости выражения произведению господина Тройницкого, о том, что я видел в Бисеровской волости во время губернаторства самого Тройницкого, перед предстоявшей «царской милостью». Но этой моей заметке не суждено было увидеть свет. И немудрено: она была написана не бывшим губернатором.

В селе Афанасьевском мое крамольное сердце порадовалось: село гневно кипело, и в нем царило далеко не покорное настроение: мужики ходили мрачные, бабы вопили, ругались и местами оказывали «сопротивление властям». А через несколько дней уже на месте, в Починках, я узнал, что когда погнали в волость большое стадо, частью уже запроданное скупщикам, мужики огромной толпой сбежались из села, из лесных деревень и поселков, кинулись на отряд сотских, его сопровождавших, со слегами и дрекольем, разогнали его, а скот вернули хозяевам. Это событие уже как бы носилось в воздухе, и настроение мужиков Бисеровской волости в эти дни много способствовало поднятию моего уважения к ним.

V

АФАНАСЬЕВСКИЕ ССЫЛЬНЫЕ И ИХ СВОЕОБРАЗНЫЕ ИСТОРИИ

Пока я ожидал у сотского дальнейшей отправки, мне сообщили, что в Афанасьевском живут тоже несколько ссыльных. Я пошел их разыскивать, и эти розыски привели меня к довольно большой избе мрачного вида, стоявшей на отшибе за околицей. Над крышей этой избы болталась на высоком шесте еловая ветка — ссыльные проводили досуг в кабаке у «Митриенка».

Одного из них я сразу узнал: недель за пять до моей высылки из Глазова через нашу слободку к парому проехала тележка с двумя явно не местного типа фигурами в сопровождении полицейского. Один из них был рыхлый старик с бритым лицом приказного типа. Его-то теперь я и увидел за столиком темного кабака. Против него сидел красивый молодой человек с беспокойными глазами, курчавый и румяный. Когда мы познакомились, я узнал, что этот последний — москвич, купеческий сынок, высланный административно «за беспокойный нрав». Свою высылку он объяснял происками какого-то квартального надзирателя, которого он подозревал в ухаживании за своей молодой женой. Теперь он получил от жены письмо, в котором упоминалось простодушно, что этот квартальный надзиратель порой заходит к ним. Это выводило мужа из терпения: продолжая при мне обсуждение письма, он сверкал глазами, выпивал рюмку за рюмкой и стучал кулаком по столу.

Его собеседник, круглый и рыхлый человек небольшого роста, с нечистым, плохо выбритым лицом, со следами нюхательного табаку над верхней губой и на грязном засаленном пиджаке,— оказался бывшим канцеляристом, уволенным со службы и превратившимся в подпольного ходатая. Он с большим увлечением рассказывал мне довольно длинную историю о тяжбе мужиков с помещиком из-за земли, которую он вел против лучшего местного «ученого адвоката» и выиграл в двух инстанциях.

В этом месте рассказа он так воодушевился, что поднялся с своего места и продолжал рассказ, стоя и оживленно жестикулируя:

— Уж что только они ни делали, какие пружины ни пускали в ход... даже взятки-с... Меня и ласкали, и под-

купали, и грозили... Сам губернатор призывал. Ничего не могли со мной поделать!.. Я законы и сенатские решения знаю, милостивый государь, как никто-с во всей губернии... Смело скажу: поставь против меня сто ученых адвокатов — верьте богу: всех преодолею, а меня никто-с!.. Поэтому, милостивый государь, уповал я на бога и был, можно сказать, беспечен, как младенец...

Лицо его приняло странно-умиленное выражение. Он сложил руки так, как будто держит на руках спеленатого младенца.

— Они меня и так, они меня и эдак... Ничего не опасаюсь, потому все законы, все сенатские решения за меня-с. Дело готово-с... Могу сказать, как облупленное яичко...

Я смотрел на его восторженное лицо, слушал его речи, проникнутые сутяжническим пафосом, и не удержался от вопроса:

— Скажите, пожалуйста: вы кажетесь мне человеком практическим и умным. Что же заставляет вас бороться с сильными людьми и стоять за мужиков?

Он серьезно посмотрел на меня. Я почувствовал по этому взгляду, что он ответит мне искренно.

— Видите ли, милостивый государь: мужик, конечно, сер, можно сказать, в отдельности — полное ничтожество-с. Но ежели его большое количество, то он сила-с... Я, можно сказать, мужиком только и жил. Господа ко мне не обращались. Они больше к ученым адвокатам. А мне, как я питался от мужика, важно было прежде всего-с поддержать репутацию. Да и тяжба была большая-с — несколько сел и деревень с богатейшим лицом тягались. Ежели бы это дело выиграть, я был бы обеспечен до конца моей жизни.

— Ну и что же? — спросил я, захваченный драматизмом и искренностью рассказа. Но тут лицо его, светившееся одушевлением, почти восторгом, внезапно одрябло, распустилось, обмякло, губы стали дергаться судорожной гримасой. Он вдруг упал головой на руки, склонившись к столу, и рыхлое тело его задрожало от рыданий.

Несколько минут в кабаке Митриенка стояло глубокое молчание. Не только мы, оба слушателя, но, по-видимому, и сам сиделец, мужчина мрачно-равнодушного вида с странными мутными глазами, смотрел теперь с каким-то недоуменным участием на этого плачущего

человека. Наконец последний поднял заплаканное лицо, вытер глаза грязным платком и, глядя на меня с выражением беспомощного отчаяния, произнес:

— Жандармский полковник — вот кто погубил меня, милостивый государь!.. Приехали, ворвались, обшарили все... Что ж, сделайте одолжение! Я ведь уже докладывал вам: чист, как младенец... Но... забрали все документы. Скажите, что же это такое?.. Ведь это дневной разбой, беззаконие-с, ведь за это под суд мало!.. Но нет-с!.. Я уже написал в правительствующий сенат, до государя императора дойду!.. Ведь есть же законы в России!..

Мне стало очевидно, что, искушенный и в законах, и в сенатских решениях, он был совершенный младенец в понимании значения «административного порядка». Введенный сначала с определенной целью борьбы с политической крамолой, он стихийно ширился, захватывая произволом и другие области жизни. Передо мною, по-видимому, были жертвы этого нового фактора русской внутренней политики: в их лице административный порядок получал естественное завершение: один был жертвой амурных предприятий какого-то коварного полицейского надзирателя, другой — испытал на себе вмешательство полиции в гражданскую тяжбу.

Я постарался, насколько мог, объяснить этому «законнику», что его обращение в сенат совершенно бесцельно. Сенат — блюститель формального закона, а с формальной точки зрения его враги правы. В последние годы вышли такие, и притом *настоящие* законы, потому что изданы они в порядке верховного управления, которые могут быть названы законами о беззаконии. Они в известных случаях упраздняют силу других, тоже несомненных законов.

Он слушал меня с напряженным вниманием, но под конец моей речи его глаза засверкали каким-то злым, упорным огоньком.

— То, что вы говорите, милостивый государь, не может быть-с!.. Пока у нас еще не республика, как мечтают некоторые... Пока существует власть государя императора, законы Российской империи не могут быть упразднены-с... И вы мне этого, пожалуйста, не рассказывайте.

Забегая несколько вперед, скажу, что месяца через полтора после этого я опять был в Афанасьевском и опять видел обоих ссыльных. Когда я сидел у старого

ходатая, к его избе подъехали сани, из которых вышли два мужика. Оба были с большими бородами и, очевидно, нездешние. Действительно, это оказались мужики из той губернии, откуда он был выслан. Их отрядил тягавшийся с помещиком мир, снабдив деньгами и поручив разыскать мужицкого «аблаката» хотя бы на краю света. Они мне напомнили «ходока» из рассказа Глеба Успенского. Лица у них были сурово-истомленные и скорбные.

Встреча их с мужицким ходатаем носила признаки трогательной радости... Мужики рассказывали, с каким трудом они отыскали его, сколько им стоило задарить в Вятке, а потом в Глазове мелких чиновников, чтобы узнать точно о месте его ссылки...

И подумать только, что к этому делу была тоже примешана высочайшая власть... Самодержавие успешно разрушало в народе мистическую легенду о царской правде, на которой само же покоилось...

Под конец нашей беседы в кабак Митриенка вошел еще один «ссыльный». Это был молодой еврей Цогель, дюжий и рослый, с видом рабочего. Он отрекомендовался, кажется, кузнецом и, если не ошибаюсь, действительно работал в Афанасьевском. За что его выслали, точно теперь не помню. Кажется, правительство решило, что «административный порядок» пригоден также для решения «еврейского вопроса», и стало высылать евреев-ростовщиков. Настоящие ростовщики, разумеется, страдали при этом всего меньше... Между прочим, еще в Глазове я встречал одного такого ссыльного, которого жители слободки называли «жид Морхель». Мне рассказывали, что вначале, попав в эти вятские дебри, хотя и в уездный город, он считал себя погибшим. Но затем освоился с положением, стал понемногу заниматься теми же делишками и оперился настолько, что выписал даже семью. Простодушные слобожане относились к нему довольно благосклонно, и мой учитель, сапожник Нестор Семенович, формулировал это просто и ясно:

— Я считаю, что этот Морхель есть самый добродушный жид. Конечно, берет про́центы. Так это потому, что ихняя вера дозволяет. А вот наша вера и не дозволяет, а наши дерут шкуру в лучшем виде. Куда пойдешь, как притиснет нужда!.. Лучше же я пойду к Морхелю.

Таким образом, административный порядок вступал в конфликт с законами о черте оседлости, и одна бессмыслица ограничивала другую...

Для дополнения этой коллекции мне приходится упомянуть еще об одной своеобразной личности. Это был ссыльный «дворянин Левашов», молодой человек из родовитой дворянской семьи, сосланный... по просьбе отца!.. Если не ошибаюсь, существует в старых законах статья, согласно которой если родители заявляют, что не могут справиться «с беспокойным нравом» сына, то государство приходит на помощь родительской власти, причем ссылка и содержание на месте возлагаются на счет родителей. Самый срок ссылки обусловливается исправным поступлением денег в депозит губернского казначейства той местности, куда сослан непокорный сын.

«Дворянин Левашов» был сослан на основании именно этой статьи. При этом его звание и слухи о родовитости Левашова-родителя до известной степени отражались на его положении. Правда, его услали в дальнюю Бисеровскую волость, чтобы удалить беспокойного молодого человека подальше от уездного начальства, которому справиться с ним было не легче, чем родителю. Но зато здесь, в этих глухих дебрях, изобретательный проказник выкидывал изумительные штуки. Об одной из них я уже слышал в перевозной избе. Както его вызвали в Глазов для каких-то объяснений с начальством. Для проезда «по дворянскому званию» ему выдали бумагу на пару земских лошадей. Левашов съездил и вернулся, но затем бумагу не возвратил и продолжал разъезжать по всей волости, заливаясь колокольчиком. Сельские ямщики сбились с ног, развозя дворянина Левашова из конца в конец по знакомым, в том числе по ссыльным всякого рода, с которыми дворянин Левашов проводил очень весело время. Наконец вопли содержателей станций дошли до Глазова, и становому было предписано отнять у Левашова бумагу.

— Ну погодите,— пригрозил он.— Я достану другую, еще покрепче.

И действительно, вскоре он стал опять разъезжать, показывая огромный плакат с государственным гербом и множеством медалей. Поплавский, смеясь, сообщил мне, что эта «бумага покрепче» была... объявление о продаже чаев «придворных поставщиков К. и С. Поповых».

Дворянин Левашов занимался и судебной защитой в камере мирового судьи.

— Подсудимый, что вы можете сказать в свое оправдание? — спрашивает судья у подсудимого вотяка.

— Мы не можем баять,— отвечает подсудимый,— мы неграмотный... У нас нанят дворянин Левашов, и деньги плочены. Пущай он бает.

Дворянин Левашов встает и произносит кудреватую речь, в которой заявляет, что как честный человек, уважающий законы Российской империи, сам возмущен поступком вотяка, заслуживающего самого тяжкого наказания, и лишь ввиду крайнего его невежества защита допускает смягчение наказания на одну степень.

Вотяк с восторгом слушает патетическую речь, уверенный, что Левашов его защищает, другие слушатели тоже плохо понимают речь, уснащенную литературными оборотами и юридическими терминами. Мировой, удерживая улыбку, постановляет приговор, часто мягче, чем требовал защитник.

Впоследствии, когда я прожил довольно долго в Починках, я был поражен внезапным получением повестки от мирового судьи, которой я вызывался в его камеру в качестве свидетеля по делу об оскорблении «дворянина Левашова» административно-ссыльным, кажется Поповым. Загадка вскоре разрешилась письмом Поплавского. Дворянин Левашов затеял небывалое дело лишь для того, чтобы доставить мне случай повидаться с товарищами и, кстати,— чтобы иметь удовольствие и самому познакомиться со мной.

Мне не пришлось воспользоваться этой своеобразной любезностью, так как ко времени разбирательства меня внезапно увезли из Починок. Так мне и не удалось познакомиться с «дворянином Левашовым», административно сосланным по просьбе родителя...

Увы, мне приходится закончить эту главу еще одной черточкой: впоследствии, когда моя утлая ладья вновь была выхвачена бурным течением из Починок, чтобы умчать меня в далекую Сибирь,— мне передавали, что некоторое касательство к этому имел донос двух афанасьевских ссыльных. Ко дню царского юбилея они подали будто бы слезницу на высочайшее имя, в которой, вперед прославляя царское милосердие и правосудие, бывший ходатай счел нужным упомянуть о том, что я (ссыльный такой-то) говорил им, будто ныне законы,

изданные российскими государями, упразднены, чему они, как верноподданные, отказываются верить, а наоборот — уповают на восстановление своего законного права.

Впрочем, может быть, это и неправда, хотя, вспоминая взгляд ходатая, злобный и негодующий, при моих объяснениях административного порядка, я допускаю, что такая ябеда могла действительно выйти из-под его пера и что при этом он мог быть даже совершенно искренним.

VI

ЛЕСА, ЛЕСА!

На следующий день сотский, снабженный наставлениями урядника, повез меня с моим ящиком из села Афанасьевского по направлению к Березовским Починкам.

Тут уже большой дороги не было. Мы плелись какими-то узкими проселками, то и дело ныряя в леса. За ночь выпал глубокий снег, лошади и сани увязали в нем фута на три, дорога была очень тяжелая, и сотский, который вез, запряг двух лошадей «гусем», то есть одну впереди другой, искусно погоняя их длиннейшим кнутом. Следы других проезжих едва были видны, и мне уже не сосчитать, сколько раз и я, и сотский, и мой ящик с инструментом вываливались с дровнишек в снег. Ехали мы от деревушки к деревушке, каждый раз меняя лошадей и провожатых. В одном месте хозяина-сотского дома не оказалось, и меня повезла девка-подросток, его дочь, которую звали, помнится, Апроськой.

Я невольно задумался о превратностях судьбы: из Петербурга меня вывезли в карете, по бокам которой и сзади скакали жандармы, наводя ужас даже на видавших виды столичных жителей. И вот теперь я сдан под наблюдение девки Апроськи, которая, очевидно, чрезвычайно затруднена этой ответственной задачей и очень боится меня, невиданного чужанина. Сначала еще, когда лошади бежали по ровной дороге, дело шло кое-как, но вот мы выехали на вершину небольшого холма, с которого перед моими глазами внезапно открылся большой спуск к какой-то речке. Далеко внизу, после довольно крутого поворота, едва заметная узкая

дорожка взбегала на мостик, поворачивала вдоль замерзшей речушки и поднималась на гору. Я взглянул, и в душе моей шевельнулось сомнение: совершим ли мы с Апроськой благополучно этот рискованный спуск. Но размышлять было поздно: передняя лошадь уже ступила на спуск, и вскоре наши дровни бешено понеслись вниз. Первая вывалилась Апроська и увязла в снегу, так что над сугробом торчали лишь ее лапти. За нею выскочил мой ящик, а за ним последовал я, кинувшись тотчас же на помощь моей провожатой, между тем как лошади мчали наши дровнишки далеко внизу.

Когда я вытащил девку из сугроба, она была смертельно испугана и плакала, приговаривая сквозь слезы:

— Боюся я, боюся...— И в самом деле: кругом были снега и леса, а она была наедине с безвестным «преступником».

К счастью, лошади и сани на повороте основательно увязли в сугробе. Мы вновь овладели ими и поднялись на гору. На вершине нового холма запыхавшиеся от спуска и подъема лошади остановились, работая вспотевшими боками, а я невольно залюбовался. Далеко, куда хватит глаз, виднелись снега и леса, леса и снега. Леса в этих местах не хвойные, а больше чернолесье, залегающее в долинах, взбегающее на холмы. Под ярким солнцем вблизи и вдали, то густо-синие, туманные, то черные, то сизо-серые, припорошенные снегом,— с бесконечными оттенками, уходили они вдаль. Местами по ним быстро бежали синие пятна облаков, гонимых ветром; местами они отливали солнечным светом. С северо-востока подымался ветер. По одному из недальних склонов, над верхушками покрывавшего его леса неслись три высоких снежных столба и постепенно таяли, оставляя белый след на темной волнистой поверхности леса.

Апрося стала быстро креститься и шептать: «С нами крёсна сила». И потом опять заплакала, как ребенок, приговаривая: «Боюся я, боюся». Я уже знал, что она боится больше всего меня, чужого человека. Кроме того, как оказалось из последующих разговоров, она была убеждена, что там, где виднелись над лесом белые столбы, в глубокой чаще на нас шли три «лешака». Когда снежный тифон рассыпался и исчез, она глубоко вздохнула и успокоилась, а я стоял, точно зачарованный этой картиной, полной сурового молчаливого величия и глубокой таинственной жизни...

И опять, как когда-то в Вологодской губернии, я переживал странную иллюзию. Мне казалось, что над всем этим пейзажем, с его лесными далями и снежными полянами, с его бледным небом и низко бегущими облаками, с далекими избушками, приютившимися под лесом, встает и складывается в моем воображении какой-то до осязательности ощутимый в душе образ — олицетворение северной природы и северного народа... Он был загадочен, немного иконописен, немного архаичен, на старинный славянский лад. Широкие лесные дали, нахлобученные снегом избушки, узкие проселки в густых лесных чащах, угрюмая встреча с бисеровцами в побережной перевозной избушке, угрозы и благодушное примирение, суровое волнение афанасьевского мира, даже эти три «лешака», таинственно бредущие в глубине леса и играющие с снежными вихрями,— все это вместе складывалось в этот образ, все влекло и манило. И мне хотелось скорее опуститься на самое дно этого загадочного края, где ждут меня, быть может, какие-то откровения не испорченного ложной цивилизацией «народного духа».

— Поедем, Апрося!— Отдохнувшие немного лошади бодро побежали с отлогого склона, углубляясь в леса, выбегая на снежные поляны, минуя речки, овраги, засыпанные снегом, и перелески. Девушка совершенно уже освоилась со мной, и теперь порой мы оба хохотали, вываливаясь в снег на узеньких дорожках и поворотах.

В одном месте под самым лесом, рисуясь на его темной стене, стояла одинокая избушка и вился дымок. Апрося, которая к этому времени совершенно освоилась со мною, смотрела на избу и на дымок с непонятным для меня вниманием.

— Ворьской починок это,— сказала она с какой-то осторожной задумчивостью.— Воры эт-то живут.— И она быстрее погнала лошадей.

В полуверсте, в небольшом поселке из десятка домов мы опять остановились для перепряжки. Хозяин, мужик с задумчивым лицом, небольшого роста, кончал обед. Жена, женщина средних лет, с добрым и несколько болезненным лицом, подавала ему, но сама за стол не садилась. Убрав посуду, она тотчас же поставила на стол другую чашку и пригласила пообедать меня и мою провожатую. Я был голоден и охотно принял предложение.

— А воры-те,— сказала Апрося, взяв ложку,— сейчас только затопили... проезжали мы, видели дак...

Это обстоятельство, на которое я не обратил бы внимания, здесь, по-видимому, получало какое-то особое значение.

— Известно, у воров не как у людей,— сказал мрачно хозяин.— Сейчас украли чего-нибудь, вот и затопляют... Ну, дай срок: одного свезли в острог, и старику не миновать. А с парнями, с лешаками, и сами управимся...

Хозяйка, с каким-то особенным выражением прислушивалась к словам мужа, повернулась опять к печке и сказала:

— Чего не управитесь!.. На это вас, мужиков, взять.

— А не воруй они,— сказал мужик, подымаясь с лавки.

Баба что-то сердито передвинула в печке и возразила:

— Ись им нечего, ись!.. Будешь тут воровать, как гладом помирать приходится.

Мужик ничего не ответил и обратился к Апросе:

— Это ты кого привезла мне? Поштó?

Апрося полезла за пазуху и достала запечатанный конверт.

— При гумаге,— сказала она,— в Березовские Починки старосте... Ссыльный, видно.

— А...— протянул мужик,— то-то даве урядник проехал. А сказывали — насчет недоимок...

Он надел полушубок и пошел из избы.

Хозяйка сердито возилась и швыряла у печки, что-то ворча про себя.

— Одно к одному,— расслышал я ее ворчание,— и недоимки и ссыльный... Будь ты проклято, мѐстышко!.. Когда вас, проклянённых, перестанут возить к нам?.. Налить штей еще, что ли?

Я поднялся из-за стола и бросил пятиалтынный.

— Спасибо за угощение,— сказал я,— довольно и этого...

Женщина всплеснула руками и застыла у печки с выражением испуга и изумления.

— Да ты, чужой человек, в уме, что ли?.. И отколь ты? Нешто в вашей стороне за хлеб-соль с проезжего человека деньги берут?

— Бывает,— ответил я,— только в нашей стороне, когда хлебом-солью угощают, так не проклинают.— И я сел в стороне на лавку.

Трудно изобразить выражение горести, которое отразилось на ее лице. Она взяла со стола монету и, подойдя ко мне, низко поклонилась.

— Возьми назад, сделай милость!.. Прости ты меня, глупую бабу, Христа ради... Не осрами!

В ее голосе звучала такая искренность, что я был тронут и взял монету. После этого она успокоилась, и через несколько минут у нас завязался разговор, простой и задушевный. Я расспрашивал о «ворьском починке» и его обитателях, и добрая женщина со слезами в голосе рассказала мне простую и суровую стихийную драму. Подробностей ее я теперь не помню. Этой семье не повезло: один сын умер, другой долго хворал... на скотину пошел мор, остались на зиму без хлеба. В начале зимы в поселке и по соседним починкам стали случаться пропажи. Поймали с поличным недавно выздоровевшего молодого хозяина. Увезли в город, в тюрьму. Остался старик и два подростка. Кражи все продолжались.

— А ранее?— спросил я.

— Ранее-то? Ранее какие хозяева-те были, покуль старший хозяин не пропал!.. С чего им было воровать-то? А теперь поневоле пойдешь, как ись нечего. Не гладом всем помирать, с детьми с малыемя.

Вошел хозяин и предложил ехать. Я попрощался с сердобольной хозяйкой и с Апросей и уселся в легкие дровнишки. Мы еще раз проехали мимо «ворьского починка», и я с интересом взглянул на место этой стихийной драмы... Свалилась беда, и этим людям остается только погибать, как зверям в выжженной пустыне или птицам, отставшим в перелете. Кругом или угрюмое равнодушие, как у этого мужика, или бессильное сожаление, как у его жены.

Подвигался я весь этот день очень тихо от поселка к поселку, от сотского к сотскому, так что вечер опять застал меня в небольшом поселке, кажется Корогове. Здесь в избе десятского на полатях со старухой сидела молодая, довольно красивая баба с ребенком на руках. Лицо ее было истомленное и печальное. Говорила она тихо, подавленным голосом. Так говорит глухое отчаяние, лишенное надежды.

— Ссыльной же, видно,— сказала она, с особым интересом останавливая на мне потухший взгляд своих красивых глаз.

— Да, ссыльный,— ответил я.

— У меня мужик тоже сосланной теперь... И где-йто он, сердечной? Ой-о-о-ой...

Она тихо завыла, потом сдержалась, всхлипнула, высморкалась и стала качать ребенка.

— За что сослан?— спросил я и, предложив вопрос, тотчас догадался: женщина была, очевидно, с «ворьского починка». Она побиралась по соседям, бродя с ребенком на руках по глубоким снегам.

— О-ох... За́ што?— ответила она на мой вопрос.— Ты вот, за̀ што ссылаешься?

— Долго рассказывать, голубушка...

— То-то, что долго... Божья воля. Может, и ни за̀ што...

— Пожалуй что и так...

— Так-то и мой... Божья воля...

Поздно ночью я проснулся... В избе был новый гость. За столом, у светящейся лучины, сидел вотяк-урядник и что-то внушал хозяину. Речь шла обо мне... Называли имена мужиков, очевидно, жителей Починок, и обсуждали что-то.

— Примет ли?— спрашивал урядник.

— Нет, Дурафей Иванович, не примет... Мужик сурьезный.

— Ну, а тот, как бишь его? Давеча ты говорил... Бисеров?..

— Тот посмирняе...

— Скажи: исправник, мол, сам назначил...

— Только вот изба-те у него черная...

— О ч-черт! Ну, да что поделаешь. Волоки к старосте, а тому приказ: к Гавре так к Гавре... А то, может, и сам проеду... Где тут у вас переправа?

— У Бидковой избушки... Да, еще, чай, Кама-те пола̀...

Урядник поднялся, покрестился на икону и уехал. Я успел отдать ему письмецо, которое с вечера написал брату. Он важно взял его, осмотрел со всех сторон и сунул за пазуху...

Хозяин десятский повез урядника и вернулся довольно поздно. Было уже около полудня, когда лошадь его отдохнула, и он повез меня. Около часу ехали мы

темным бором, когда навстречу нам попался мужик с топором. Мой возница остановился.

— Что, дядя... Кама стала ли у Бидковой избушки ай нет?..

— Где поди стала?.. Полà ошшо!

— А то, может, стала?

— А может, и стала...

Мы тронулись на авось. Бор становился выше и гуще, по вершинам тянул протяжный гул. Неожиданно для меня мы выехали на берег реки. Кама лежала среди леса тихая, ровная, белая. Только посредине чернела полоса полой воды. На другой стороне на берегу горел торф. Дым как-то угрюмо и зловеще клубился на фоне темного бора. Повернув вправо, мы проехали берегом с полверсты, пока не нашли места, где узкая река была уже перехвачена сплошным льдом. О переправе с лошадью нечего было и думать: лед сильно трещал под ногами. Мужик отпряг своего мерина и просто отпустил его в лес, а мы, взяв в руки по две жерди из предосторожности, чтобы на случай провала удержаться на поверхности льда, и привязав к оглоблям саней длинные вожжи, перешли сами и перетащили сани на другую сторону.

— Житель тут есть недалече... Лошадь где-нибудь в лесу бродит.— Он ушел в лес и через полчаса привел за челку небольшую лошадку, без церемонии запряг ее в наши дровни, даже не спрашивая у хозяина, и мы двинулись дальше. В бору было тихо и спокойно. Стаи куропаток срывались почти из-под ног лошади и беспечно перепархивали на ближние полянки. То и дело нам приходилось переезжать через речки поменьше с окрепшим уже льдом. Мужик пояснял мне, что это «старицы», прежние русла Камы, которая здесь часто меняет среди песков и болот свое течение, точно тут еще не закончился самый процесс сотворения мира.

Стали появляться отдельные избушки то на самом берегу Камы, то поодаль, на вырубленных местах. В одном месте, на обрывистом берегу, над кручей, стояла небольшая часовенка. Она была заперта наглухо. Окна заколочены досками, крыша провалилась, крест на ее вершине как-то сиротливо погнулся. Невдалеке за нею одиноко стояло у дороги странное дерево: пять ветвей подымалось из ствола, точно пять пальцев протянутой кверху ладони.

— Флор-Лавра часовенка эта у них живет,— пояснил провожатый.— В год раз на Флор-Лавра выезжает к ним из Афанасьевского села поп, молебен правит, с иконой по избам ходит.— Он усмехнулся.— И, слышь ты, чудное дело: мимо этого древа никак не пройдет... непременно тебе остановится, станет петь и кадилом кадит. Пьяненький, конешно... Не знаем мы, почему такое? Черемиця он, из черемисов, значит... так, может, сказывают, от этого. Привыкли они, черемиса-те, на дерёвы молиться... А вон и старостин починок,— сказал он через некоторое время, поворачивая к новой, просторной, отлично огороженной избе, в окнах которой, то слабея, то разгораясь, переливался свет лучины и мелькали фигуры людей.

— Сходка у них,— сказал мужик, вылезая из саней.

Изба старосты действительно была полна народом. Сходка, собранная по приказу недавно проехавшего урядника, кончалась. Обсуждался последний вопрос. Говорил красивый широкоплечий и коренастый мужик средних лет, одетый в хорошую, крытую сукном шубу и в валенках, тогда как остальные были в лаптях.

— Нужно, братцы... бесперечь нужно в часовне крышу еще до весны изладить. Покосилась вся...

— Живет пока...— зевая и подымаясь с места, сказал кто-то.

— Живет, живет, ништó... Ужо летом, как черемице приехать, тогда и изладим...

— А как крест-то вовсе свалится, тогда как?

— Ну-к што, свалится дак? Опять поставим...

— Не ладно, братцы,— громко и оживленно возражал красивый мужик.— Флор-Лавёр как бы не осердился. Поберегает нас старичок, грех пожаловаться... Погляди, у Феклистят да у Гребят кажинный год волки сколь скотины порежут, а у нас небось не трогают... А почему? То-то вот и есть! А вы крышу ему изладить жалеете! Смотри, хуже бы не было, как осердится.

— Верно, верно,— зашумела вся сходка,— старается для нас старичок, ну и мы для него постараемся... Кому тепереча черед это дело делать?

Сходка разошлась. Ко мне подошел староста. Это был худощавый мужик, высокий и широкоплечий, но с впалой грудью, и цвет лица у него был нездоровый. Впалые глаза глядели странно, так что этот взгляд обращал невольное внимание. Он объяснил мне, что мужики, по «приказу господина урядника», порешили по-

ставить меня на квартиру к Гаврюшке Бисерову, куда он, староста, сейчас и поедет со мной. Кстати, они родня: он женат на дочери Гаври, и его семья тоже поедет за нами.

— Только неизвестно еще — согласится ли Гаврюшка? На сходке, вишь, его не было... Кто был — никто не согласился.

Починок Гаври Бисерова был расположен в шести верстах вниз по Каме. Я ехал туда с стесненным сердцем. Путешествие по занесенным снегом дорогам на валких дровнишках сказывалось сильным утомлением. И вот, когда я почти у цели, возникает вопрос — примут ли меня, бесприютного, или мне придется мыкаться дальше, разыскивая пристанище. Кроме того, я чувствовал себя в положении человека, навязываемого жителям по какому-то беззаконному приказу нахала урядника, и сознавал, что они вправе не подчиниться этому приказу.

В избе Гаври Бисерова еще светилась лучина, когда мы подъехали, встреченные дружным лаем и воем нескольких собак. Изба, куда я вошел, была высокая, просторная, но стены ее были черны от сажи, так как она была «курная», как, впрочем, большинство изб той местности. От этого она имела мрачный вид. Свет березовой лучины, вставленной в светце, освещал лишь на близком расстоянии, а дальше терялся во мраке. Староста, войдя в избу, покрестился на иконы и поздоровался, а затем объяснил, что по приказу урядника он привез ссыльного. Две женщины, старуха и молодая, сидевшие с прялками у светца, насупились и что-то тихо заворчали про себя, а откуда-то сверху, с темных, закопченных полатей, раздался резкий, несколько гнусавый голос:

— Не желаю. Не согласен я! Вези куда хочешь.

Староста стал возражать что-то, завязался спор. Голос невидимого хозяина звучал обиженно и строптиво. Я решил объясниться.

— Вот что, хозяин,— сказал я.— Вы можете не согласиться принять меня, и я думаю, что никто не вправе вас принудить взять к себе в дом незнакомого человека. Я только хочу сказать, что даром жить у вас не стану: за хлеб-соль буду платить, сколько назначите.

— Три рубля!..— задорным полувопросом кинул невидимый хозяин, считая как будто, что эта цена равносильна отказу.

— Три так три,— сказал я, а староста прибавил:

— Примай, Гаврило!.. Он, слышь, человек роботный — чеботно́й, мужик просужий.

Еще несколько слабых возражений, и Гавря, очевидно, сдался. Полати заскрипели, послышалось кряхтение, и через минуту предо мной стоял невысокий и невзрачный старик, с редкими волосенками на темени и с жидкой черной бородкой. Подойдя ко мне, он низко поклонился и заговорил очень длинно, очень плавно и складно. К сожалению, я не могу теперь даже приблизительно восстановить эту речь Гаври Бисерова, которою он встретил меня, истомленного странника, принимаемого с этого вечера в дом. Говорил он с каким-то величавым и приветливым видом, а я слушал, точно очарованный. Закончил он словами:

— Добро пожаловать, и будь ты нам отныне не чужчуженин, а родной семьянин.— После этого он низко поклонился и протянул руку, которую я пожал от души.

Затем подъехали сани со стариком Ефимом Молосным, отцом старосты, со старухой, его матерью, и женой, дочерью Гаври. Некоторое время они оставались у Гаври и «бражничали». Оказалось, что в этой семье у старосты жил Попов, тоже политический ссыльный, и оставил по себе хорошие воспоминания. Старуха охотно и много рассказывала о нем: у Попова — то, у Попова — другое... И в голосе ее звучала почти нежность.

Когда они уехали, я зажег привезенную с собой свечу и сел к столу писать письмо матери и сестрам. Рядом со мной жужжали две прялки, с полатей смотрели, свесив головы, глубоко заинтересованные два мальчика-подростка, и сверкали маленькие черненькие глазки старика Гаври Бисерова. Я описывал свое путешествие и с особенным чувством остановился на последнем эпизоде. Речь хозяина, плавная, красивая, колоритная, завершила описание нотой искреннего удовлетворения. Вся семья не спала: все смотрели на невиданное зрелище — на пишущего человека.

Еще не кончив письма, я вышел на крыльцо. Помню, что на чистом небе сверкали яркие звезды; искрились пушистые снега, неопределенными пятнами темнели перелески... Невдалеке за «старицей» виднелся под темной полосой лесов одинокий, то разгорающийся, то угасающий огонек лучины. Влево, в версте или полуто-

рах, мигал другой, и я представлял себе, что там живут такие же простые и добрые люди, умеющие при случае говорить такие хорошие, величавые слова, как Гавря Бисеров.

И вот я лицом к лицу с этим нетронутым, неискаженным и чистым мужицким миром. Душа моя была переполнена особым чувством, и я закончил письмо нотой спокойного и совершенно искреннего удовлетворения. «Только от вас, мои дорогие, еще дальше...» Но это, казалось мне,— ничего!.. Я верил, что мы увидимся в лучшие времена, а пока, как смелый пловец, я бросался на это заманчивое дно народной жизни...

Я улегся внизу на лавке и скоро заснул. А две женщины все еще светили лучину, и их прялки жужжали далеко за полночь.

ПРИМЕЧАНИЯ

К созданию своей итоговой книги Короленко приступил в июле — авг. 1905 г. и работал над ней (со значительными перерывами) почти до самой смерти в 1921 г.

Книга первая. Впервые: Совр. записки. 1906. № 1; Современность. 1906. № 1, 2; Рус. богатство. 1906. № 5; 1907. № 1; 1908. № 2, 3, 8, 10.

Книга вторая. Первые восемь глав впервые: Рус. богатство. 1910. № 1, 2. Готовя Полное собрание сочинений (1914), Короленко переработал эти главы. При подготовке отдельных изданий «Истории моего современника» (Одесса, 1919 и Москва, 1920) Короленко снова несколько переработал их, не учитывая тех изменений, которые были внесены в текст, вошедший в Полное собрание сочинений.

В советское время «История моего современника» издавалась неоднократно. В Полном посмертном собрании сочинений (т. 5) был воссоздан по письмам Короленко и другим материалам процесс создания «Истории моего современника», дана обширная «Биографическая канва жизни и деятельности В. Г. Короленко». Том заключался подробно разработанным именным указателем. Большую часть тома составили «Отрывки и материалы» к автобиографической книге писателя, некоторые из них до сих пор не переиздавались. Включены и четыре автобиографии писателя. В 1930 г. «История моего современника» вышла в издательстве «Academia» под редакцией дочерей писателя — С. В. и Н. В. Короленко — и при участии А. Л. Кривинской. Помимо обширного приложения, включавшего подготовительные материалы и не вошедшие в окончательную редакцию главы и наброски глав, это издание было снабжено подробным реально-историческим комментарием.

Следует выделить и издание итоговой книги Короленко, подготовленное А. В. Храбровицким. Приложение А. В. Храбровицкий дополнил рядом рукописных материалов, включил в него очерк «Ис-

кушение» (но исключил «Мое первое знакомство с Диккенсом»), расширил реально-исторический комментарий, внес некоторые уточнения в текст книги Короленко.

В 1976 г. А. В. Храбровицкий опубликовал статью «О тексте „Истории моего современника“» (Рус. литература. 1976. № 1), справедливо указав на основные проблемы, которые возникают при подготовке текста этого произведения. Во-первых, почему при переработке первых восьми глав второго тома Короленко воспользовался не Полным собранием сочинений (1914), а текстом более ранней журнальной публикации? На этот вопрос А. В. Храбровицкий отвечает, что «о публикации в Собрании сочинений Короленко забыл», подтверждая эту мысль письмом от 10 июля 1919 г., в котором писатель говорит о своей болезни и рассеянности. Возможно, это было и так, однако психологические мотивы — «забывчивость» или «рассеянность» писателя — основание недостаточно убедительное, чтобы нарушить один из основных законов текстологии — печатать текст по последней прижизненной редакции.

В настоящем Собрании сочинений учтен опыт названных выше изданий книги Короленко. Примечания расширены прежде всего за счет новых материалов о жизни и творчестве Короленко и истории народнического движения. В примечания также включены фрагменты из ранних редакций, особенно когда это необходимо для более четкого понимания текста и сущности вносимых в него изменений.

Текст печатается (с некоторыми уточнениями) по изданию: Короленко В. Собр. соч.: В 10 т. М., 1953—1956. Т. 5, 6, 7.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Бялый — Бялый Г. А. В. Г. Короленко. Л., 1983.

ГБЛ — Государственная библиотека имени В. И. Ленина (Москва).

Добролюбов — Добролюбов Н. А. Собр. соч.: В 9 т. Л., 1961—1964.

Достоевский — Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972—1988.

Короленко в восп.— В. Г. Короленко в воспоминаниях современников. М., 1962.

Полн. посм. собр.— Короленко В. Г. Полное посмертное собрание сочинений. Гос. изд-во Украины, 1923—1925.

ПСС (1914) — Короленко В. Г. Полное собрание сочинений: В 9 т. Пг., 1914.

Сибирские страницы...— Сибирские страницы жизни и творчества В. Г. Короленко. Новосибирск, 1987.

Собр. соч.— Короленко В. Г. Собрание сочинений: В 10 т. М., 1953—1956.

Храбровицкий — Храбровицкий А. В. Примечания// Короленко В. Г. История моего современника. М., 1965.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва).

КНИГА ПЕРВАЯ

С. 7. *От автора.*— Написано в конце 1905 г. и в журнальной редакции начиналось так: «Мне теперь пошел уже шестой десяток. Прожито полстолетия, и теперь я (беру образное выражение Гете) оглядываюсь на длинный и туманный путь назади... Сделать это было давней моей мечтой, одной из важнейших литературных задач еще оставшейся мне жизни. Долго я не мог приступить к ней,— мне было трудно оторваться от непосредственных ощущений этой жизни, оглянуться на них спокойным взглядом бытописателя, в их взаимной органической связи и в их целом» (Совр. записки. 1906. № 1. С. 109).

С. 8. *...с ручательством за сходство.*— После этих слов в журнальной редакции следовала следующая фраза: «Здесь я, правда, ничего не выдумываю... Все факты, впечатления, мысли и чувства, изложенные в этих очерках,— суть факты моей жизни, мои мысли, мои впечатления и мои чувства, насколько я в состоянии восстановить их с известной степенью живости и без прибавки позднейших наслоений. Но здесь не все факты, не все мысли, не все движения души, а лишь те, какие я считаю связанными с теми или другими общеинтересными мотивами» (Совр. записки. 1906. № 1. С. 110).

Частично дополняют и поясняют вступление «От автора» следующие строки из письма Короленко к своему брату Иллариону от 13 сент. 1905 г.: «Я теперь по уши влез в «воспоминания», которые начну, вероятно, печатать с января. Начинаю с «первых впечатлений бытия», т. е. с времен отдаленных, а подойду к самым и теперь животрепещущим вопросам. Хотел было, отдавая дань злобе дня, начать с ссылки. Но, во 1-х, жаль цельности работы, а во 2-х, и в цензурном отношении лучше вводить острые мотивы постепенно. Когда уже воспоминания станут литературным явлением, к которому читатель привыкнет, то и коверкать их труднее. Теперь я живу в атмосфере нашего двора в Житомире, среди его обитателей, начиная со старого

Поляновского (которого ты не помнишь?) и кончая паном Уляницким и Мамериком... Подхожу к освобождению крестьян. Работа эта почти беллетристическая, а не сухие воспоминания. Стараюсь ничего не «украшать», но дать свои жизненные впечатления, как они встают, освещаемые воспоминаниями. Сначала было очень трудно. Теперь так втянулся, что порой удивляюсь сам, какие вспоминаются мелочи, когда вглядываешься в туманное прошлое...» (Аверин Б. В. Из неопубликованных писем В. Г. Короленко//Рус. литература. 1973. № 1. С. 106).

С. 14. *Мой отец.*— Галактион Афанасьевич Короленко родился 26 дек. 1810 г. в городе Летичеве Подольской губернии, умер 31 июля 1868 г. в городе Ровно. Подробные сведения о родственниках Короленко содержатся в примечаниях С. В. Короленко к первому тому «Истории моего современника» (Собр. соч. Т. 5. С. 377—379), а также в «Автобиографиях» Короленко и комментариях к ним в т. 5 наст. изд.

С. 15. *«Клейноды»* — знаки отличия в казачьих войсках (знамена, бунчуки, печати и т. д.).

...без всяких реальных связей с дворянской средой...— Характеризуя свое социальное положение, Короленко в 1903 г. писал С. Д. Протопопову: «Собственно, я себя скорее причисляю к разночинцам: дед и отец чиновники, прадед какой-то казачий писарь. Крепостных у нас никогда не было, земельных владений тоже» (Собр. соч. Т. 10. С. 361).

С. 16. *...«послужных списках».*— Хранятся в ГБЛ.

Надворный советник — чин седьмого класса по «Табели о рангах».

...«Суд этот, — пишет князь Васильчиков,— по случаю присоединения к нему магистрата...».— Магистраты, то есть учреждения, ведавшие прежде всего уголовными и гражданскими делами между лицами купеческого и мещанского сословия, упраздненные в 1864 г. во время генерал-губернаторства князя И. И. Васильчикова (1805—1867) во всех городах Юго-Западного края, кроме Киева, были соединены с уездными судами. Письмо И. И. Васильчикова хранится в ГБЛ.

С. 18. *Подлекарь* — фельдшер.

С. 23. *...брак состоялся...*— Брак Г. А. Короленко и Эвелины Иосифовны Скуревич (1833—1903) состоялся в 1847 г.

С. 25. *...аппретур на руках, фонтанелей за ушами.*— Аппретура — смазывание кожи лекарственными веществами. Фонтанели — искусственные нарывы.

Кадуцей — жезл глашатаев у греков и римлян, верхушку которого обвивали две змеи, обращенные друг к другу головами.

Ганеман — С. Х. Ганеман (1755—1843), немецкий врач, основатель гомеопатии.

С. 29. *Двор и улица.*— В этой главе описывается город Житомир, в котором Короленко прожил до 1866 г.

С. 30. *Торговая казнь* — публичное наказание, применявшееся в Русском государстве с XV в., во время которого виновного били кнутом на торговой площади или в других общественных местах. В 1845 г. торговая казнь в России была официально отменена.

С. 40. *Отец ее в старые годы «чумаковал»...*— Чумачество, то есть торгово-перевозной промысел, возникло во второй половине XVI в. в Приднепровье как торговый промысел соли. Позднее чумаки, главным образом казаки, помимо соли, торговали вяленой рыбой, кустарными изделиями, лесом. Из-за угрозы нападения крымских татар до конца XVIII в. чумаки ездили вооруженными обозами в сто и более возов во главе с выборным атаманом.

С. 42. *...она рисуется мне каким-то светлым ангелом...*— Чертами своей матери Короленко наделил Эвелину в повести «Слепой музыкант». Ее образ возникает и в очерке «Парадокс».

С. 44. *Это произведение* («Печерский патерик».— *Б. А.*)... *на всех своих страницах испещрено чертями и чертенятами.*— Патерики (книги «отцов») — дидактические сборники, повествующие о подвигах христианских монахов, или собрание их нравоучительных изречений. Основу Киево-Печерского патерика составили написанные в 20-х гг. XIII в. епископом Симоном и монахом Поликарпом послания и «Слово о первых черноризцах печерских», в которых рассказывалось о печерских подвижниках. В дальнейшем патерик пополнялся другими текстами, составлялись его новые редакции. Рукописные варианты патерика действительно изобиловали изображениями чертей, соблазнявших подвижников; в более поздних изданиях эти рисунки были удалены.

С. 45. *Молитва звездной ночью.*— Этой главе в журнальном варианте было предпослано вступление «От автора» (Современность. 1906. № 1. С. 133—135).

С. 59. *...новая личность.*— 13 сент. 1905 г. Короленко писал своему брату Иллариону: «Помнишь ли ты Славка Лисовского и его смерть? Помнишь ли ты крепостного мальчишку Куриленков, живших в большой «каменице», который фигурял перед нами в ливрее и которого при нас ударил по щеке старший лакей? Мамерика наверное помнишь, как и Петрика, который был у Уляницкого перед ним?» (ГБЛ. Ф. 135. Оп. 5. Ед. хр. 8.)

С. 63. *«Шось буде».*— Эта глава представляет собой переработан-

ный текст из не завершенной писателем повести того же названия. Часть этой автобиографической повести (с подзаголовком «Из незаконченной повести „На заре“») была опубликована в «Киевском сборнике в пользу пострадавших от неурожая» (Киев. 1892. С. 187—196).

...в Житомир приезжал молодой царь Александр II.— В журнальном варианте (Современность. 1906. № 1. С. 154) Короленко сделал примечание: «По Татищеву, это было в октябре 1858 года». Следовательно, Короленко уточнил эту дату по кн.: Татищев С. Император Александр II. Т. 1—2. СПб., 1903.

С. 64. *Ездил белый русский царь...*— Текст этой песни см. в сборнике: «Песни военные, патриотические, народные, хоровые и проч.». СПб., 1864. С. 27—30.

С. 67. *Мара.*— У славянских народов главным олицетворением нечистой силы была Мо(а)рена, или Мо(а)рана (от санскр. mor —умираю) — богиня смерти, зимы и ночи. Имя, родственное со словами «мрак», «морок», «мор» (повальная болезнь), «мора» (тьма, марать), «мара» (призрак, нечистый дух). (Афанасьев А. Н. Древо жизни. М., 1983. С. 48.)

С. 75. *...«зажинки»... «дожинки»...*— Подробнее об обрядовых действиях при зажинках и дожинках и их смысле см.: Пропп В. Я. Русские аграрные праздники. Л., 1963. С. 65—66.

С. 76. *Кармелюк.*— У. Я. Кармелюк (1787—1835), руководитель крестьянских восстаний на Правобережной Украине.

...перешли к чтению неизбежного «Степки-растрепки»...— Оригинал «Степки-растрепки» («Der Struwwelpeter...») написан Генрихом Гофман-Доннером в 1845 г., а затем в переводах широко распространился по всей Европе.

...повесть польского писателя, кажется Коржениовского, «Фомка из Сандомира».— Автор этой повести — польский писатель и журналист Ян Канты Грегорович (1818—1890).

С. 80. *«Сын отечества»* — исторический, политический и литературный журнал, основанный Н. И. Гречем в 1812 г. в Петербурге.

С. 83. *...официальное торжество — не то по поводу освобождения, не то объявление о завоевании Кавказа.*— Торжества по случаю освобождения временнообязанных крестьян Волынской губернии состоялись в авг. 1863 г. О завоевании Кавказа, длившемся несколько десятилетий, было объявлено 12 июля 1864 г. Описание празднеств по этому поводу см.: Голос. 1864. 8, 12 авг.; Рус. инвалид. 1864. 25 авг.; Биржевые ведомости. 1864. 25 сент. Какое из этих торжеств вспоминает Короленко, установить трудно.

С. 84. *...«исторические песни Немцевича».*— Ю. У. Немцевич

(1757—1843) — «один из лучших поэтов Польши», по определению К. Ф. Рылеева, переводчик, мемуарист, историк. В 1794 г. принял участие в национально-освободительном восстании, был адъютантом Т. Костюшко. Его «Исторические песни» (опубликованы в 1816 г.) пользовались большой популярностью, напоминая о временах независимости Польши.

С. 86. *...он казался квадратным и грузным.*— Внешностью Рыхлинского Короленко наделил дядю Максима из повести «Слепой музыкант».

С. 93. *Сестры-бригитки* — монахини, принадлежащие к ордену, основанному шведской святой Бригиттой (1303?—1373).

С. 94. *...но это была уже гимназия, казенное учреждение, в котором веселый Гюгенет тоже стал казенным.*— На вопрос корреспондента «Вестника Волыни», читал ли В. В. Гюгенен «Историю моего современника» и помнит ли он В. Г. Короленко, бывший учитель писателя ответил: «Как же, отлично помню. Я был у него преподавателем в пансионе Рыхлинского. Это был замечательно способный мальчик... Пансион Рыхлинского описан автором с фотографической точностью, но вот история со мной несколько утрирована автором. Я действительно пробегал через монастырь в одежде Адама, но, поскольку мне помнится, монахинь тогда на дворе не было. Что же касается рассказа Короленко о том, что я его не пожелал узнать, ставши преподавателем гимназии, то тут произошла ошибка: Короленко подошел не ко мне, а к преподавателю немецкого языка Зифферману, которого принял за меня и на которого я был очень похож» (Вестник Волыни. 1907. 15 авг.).

С. 96. *...железная рука князя Еремы Вишневецкого...*— Князь Иеремия Вишневецкий (1612—1651) — главный противник Богдана Хмельницкого, распространитель католицизма в Польше.

...униатская... религия, явившаяся результатом малодушного компромисса...— В конце XVI в. в областях, находившихся под управлением Речи Посполитой, православные были присоединены Брестской унией к римско-католической церкви, в соответствии с которой православная церковь признавала главой римского папу, однако сохраняла и некоторые прежние обряды, в том числе допускался брак белого (немонастырского) духовенства и разрешалось богослужение на церковнославянском языке.

Надо держаться веры отцов...— Этот эпизод Короленко использовал в статье «Вера отцов» (Рус. записки. 1916. № 9).

С. 97. *Речь шла о каких-то придворных интригах во время Сигизмунда Третьего...*— Сигизмунд III (1566—1632) — король поль-

ский (1587—1632) и шведский (1592—1604), сын шведского короля Иоанна III и Екатерины Ягеллонки, дочери Сигизмунда Старого. Он ставил своей основной задачей упрочение в Польше католицизма и уничтожение протестантизма и православия.

С. 98. *...два брата Зборовские...*— Самуэль и Кшиштоф, представители одного из самых крупных магнатских родов Малой Польши. Они находились в тайных сношениях с Габсбургами и, выступая против Стефана Батория, готовили переворот в пользу австрийского кандидата на польский престол. С. Зборовский был казнен (1584), а Кшиштоф лишен всех прав и изгнан.

Конецпольский — Станислав Конецпольский (1591—1646), знаменитый польский полководец, получивший в 1632 г. сан великого коронного гетмана.

С. 99. *Доносились уже слухи о каких-то событиях в Варшаве, потом в Вильне...*— 25 февр. 1861 г., в годовщину восстания 1831 г., на улицах Варшавы произошли серьезные столкновения демонстрантов с полицией, которые повторились через два дня, когда пять человек было убито и несколько ранено. 8 апр. состоялась массовая демонстрация, вызванная закрытием земледельческого общества. Против нее также выступили войска и было убито уже более ста человек. В Вильно 8 мая 1861 г. в кафедральном соборе манифестанты исполняли национальный польский гимн, а 6 авг. состоялось массовое шествие, во время которого царские войска напали на демонстрантов.

С. 101. *Не нужно было бунтоваться...*— 27 нояб. 1815 г. Александр I подписал конституцию Королевства Польского, которая провозглашала равенство всех перед законом, неприкосновенность личности и имущества, свободу вероисповедания, печати. Управление Королевством осуществлялось наместником при участии двухпалатного сейма. После восстания 1830—1831 гг. Николай I отменил конституцию, сейм и польскую армию ликвидировал.

С. 102. *...город был поражен неожиданным событием.*— Об этих событиях см.: Общественно-политическое движение на Украине в 1856—1862 годах. Киев, 1963. С. 148—149.

С. 103. *Сакристия* — в католических храмах ризница, помещение, где хранятся церковные облачения, утварь.

...звуки патриотического гимна...— Гимн «В годовщину провозглашения Королевства Польского», слова из которого цитирует Короленко, был написан в 1816 г. польским писателем и ученым, секретарем Т. Костюшко А. Фелиньским (1771—1820).

С. 107. *Банды появились уже и в нашем крае... ушел «до лясу».*— Волнения в Польше против национального гнета начались еще

в 1861 г. В 1862 г. был создан Центральный национальный комитет, который провозгласил 22 янв. 1863 г. борьбу за независимое польское государство в границах 1772 г. Развернулось широкое повстанческое движение. В Юго-Западном крае России восстание имело характер партизанских стычек, отвлекавших царскую армию от подавления восстания в Польше. Восстание поляков в этом районе началось в апр. 1863 г. и было быстро подавлено. Уйти «до лясу», то есть в лес (пол.), иными словами — стать повстанцем.

С. 108. *Говорили о победах, о каком-то Ружицком, который становится во главе волынских отрядов...*— Э. Ружицкий (1827—1893) — полковник Генерального штаба. Принимал участие в подготовке польского восстания, и на декабрьском съезде в Варшаве в 1862 г. ему было поручено руководить восстанием в Юго-Западном крае, где в 1863 г. им был создан большой повстанческий отряд. В мае этого же года отряд был разбит.

...Наполеон пришлет помощь...— Руководители восстания серьезно рассчитывали на помощь западных государств, в первую очередь Франции, император которой Наполеон III действительно в разгар восстания заявил русскому послу о своем желании видеть Польшу независимой. В течение 1863 г. Англия и Франция трижды обращались к царскому правительству с резкими нотами, в которых требовали перенести польский вопрос на рассмотрение европейского конгресса и ставили условия относительно реформ в Польше.

С. 109. *...стало известно, что все три брата* (Рыхлинских.— *Б. А.*) *участвовали в стычке и взяты в плен...*— Это были Феликс Валентинович, за участие в восстании сосланный на каторгу и умерший от раны на этапе, Ксаверий Валентинович, сосланный в Нерчинск и вернувшийся в конце 70-х гг., и Станислав Валентинович, отбывавший каторгу с партией поляков в Нерчинском округе. Текст приговора по делу о Рыхлинских см. в сб.: «Общественно-политическое движение на Украине в 1863—1864 гг.». Киев, 1964. С. 169—177.

С. 110. *Жолкевский.*— С. Жолкевский (1547—1620), польский государственный деятель, канцлер и великий гетман коронный, в 1596 г. подавил казацкое восстание под предводительством Наливайки и Лободы. Погиб во время войны с Турцией.

С. 111. *Жандармы-вешатели* — сотрудники «народной жандармерии», казнившие лиц, которых Центральный национальный комитет считал врагами восстания.

...но когда перед завалами на лесной дороге появились мужики с косами и казаки,— его отряд «накивал конскими хвостами», а его взяли...— События, рассказываемые Стройновским (в действитель-

ности П. Хойновским), в основном совпадают с тем, как они изложены в рапорте житомирского губернатора Друцкого-Соколинского от 24 мая 1863 г.: «В конце прошлого апреля месяца, именно 27 числа, здесь живущее польское население произвело восстание к ниспровержению существующего законного порядка, стало сформировывать вооруженные шайки... Крестьяне из Ивницы отправились в лес для задержания этой шайки, но повстанцы напали на крестьян и убили одного крестьянина на месте, а трех ранили... как оказалось по предварительному дознанию, один только Хойновский оказал упорное сопротивление...» (Русско-польские революционные связи. М., 1963. Т. 1. С. 260).

С. 112. *...я и теперь не знаю, стояла ли подпись отца на приговоре военно-судной комиссии...*— Г. А. Короленко как судебный следователь Житомирского уезда вел следствие по делу П. Хойновского и в связи с этим не мог быть членом военного суда, вынесшего приговор.

С. 113. *...За край, братней кровью залитый...*— Вероятно, Короленко цитирует строки из песни «Do panov» («К панам»), которая была сочинена, как установил Д. Г. Кацнельсон, в начале 30-х гг. XIX в. поэтом Густавом Эрнбергом (Кацнельсон Д. Г. Революционная ситуация в России в 1859—1861 годах. М., 1970. С. 233—234).

Александр Гроза (1807—1875) — польский поэт и прозаик, принадлежал к так называемому украинскому направлению в польской литературе.

...типография... была конфискована.— См.: Общественно-политическое движение на Украине в 1856—1862 гг. Киев, 1963. С. 126.

«Хроника Яна Хризостома Паска» — мемуары Я. Х. Пасека (1636?—1701), охватывающие период с 1656 по 1688 г., дают яркие картины семейной, военной, политической жизни Польши того времени.

Этого свирепого князя (Попеля.— *Б. А.*), *согласно легенде, съели мыши, а простой народ на его место поставил королем крестьянина Пяста.*— В древней легенде рассказывается, что Попель, будучи королем Польши, не оказал гостеприимства двум пришедшим в его замок путникам, а колесник Пяст радушно принял их в своей бедной избе. Вскоре Попель был съеден мышами, а польский народ возвел на престол Пяста, так как явившиеся путники оказались ангелами, пришедшими для испытания гордого Попеля и смиренного Пяста.

«Вестник Юго-Западной и Западной России» — журнал, выходивший в Киеве с 1 июня 1862 г. по авг. 1864 г.

По содержанию это была грубо тенденциозная стряпня.— В журнальном варианте эта мысль имела следующее развитие: «Я, конечно, не мог отнестись вполне сознательно к этой казенной печатной стряпне. Я только инстинктивно чувствовал грубую ложь и пошлость этих рассказов и сопоставлений, тогда как попадавшиеся мне произведения писателей-поляков: «Фома из Сандомира», еще один чисто семейный роман Коржениовского, заглавие которого я теперь забыл, прекрасные задушевные стихи Ленартовича, Сырокомли, наконец, даже «Попель» Александра Грозы — овладевали и умом, и чувством, и воображением» (Современность. 1906. № 2. С. 34). Т. Ленартович (1822—1893) — польский поэт-лирик; В. Сырокомля (псевдоним Л. Кондратовича, 1823—1862) — польский поэт, в творчестве которого сильны социальные и исторические мотивы. Стихи его пользовались широкой известностью в России.

С. 117. *На обложке было заглавие, если не ошибаюсь: «Про Чуприну та Чортовуса»...*— Короленко вспоминает рассказ украинского поэта, беллетриста, историка и первого биографа Гоголя П. А. Кулиша (1818—1897) «Січові гості» (СПб., 1862).

Дворской казак (точнее, надворный) — крестьянин, нанятый для защиты польских имений от гайдамаков.

Гайдамак — участник казацко-крестьянских восстаний против шляхетской Польши на Правобережной Украине в XVIII в. В различные исторические эпохи это слово имело различные значения. См. примеч. к с. 512 т. 1 наст. изд.

С. 120. *...домик на Вильской улице, где... сидела в заключении знаменитая девица Пустовойтова...*— А. Т. Пустовойтова (1843—1881), активная участница польского освободительного движения в 1861—1863 гг. Дочь русского генерала и польской дворянки, окончила Институт благородных девиц. Принимала участие в национальных демонстрациях поляков, за что в авг. 1861 г. сослана в Житомир, где тоже участвовала в национальном движении и была приговорена к заточению в одном из московских монастырей. В период польского восстания была адъютантом командира отряда Д. Чаковского. Взята в плен в 1863 г. и сослана в Вологодскую губернию. В 1867 г. амнистирована. С 1870 г. жила в Париже, сражалась на баррикадах Парижской коммуны. Участие А. Т. Пустовойтовой в операциях повстанческих соединений в Польше широко освещалось европейской прессой в 1863 г.

...«пороть ли розгами ребенка, учить ли грамоте народ».— В статье «Литературные мелочи прошлого года» Н. А. Добролюбов приводит четверостишие:

Мы обсуждали очень тонко
(Хоть не решили в этот год),
Пороть ли розгами ребенка,
Учить ли грамоте народ,—

говоря о том, что этот отрывок из современной песни (Добролюбов. Т. 4. С. 103).

...он (Н. И. Пирогов.— *Б. А.*) *издал ряд блестящих статей о воспитании... Добролюбов горячо приветствовал эти статьи...*— Н. И. Пирогов (1810—1881) — знаменитый врач и педагог. В 1856 г. он опубликовал получившую широкую известность статью «Вопросы жизни», посвященную вопросам воспитания, а в 1858 г.— книгу «Собрание литературных статей». Откликаясь на первую педагогическую статью Н. И. Пирогова, Добролюбов писал, что «она поразила всех: и светлостью взгляда, и благородным направлением мысли, и пламенной, живой диалектикой» (Добролюбов. Т. 1. С. 493). Высоко оценил Н. А. Добролюбов и книгу Н. И. Пирогова.

С. 121. *Добролюбов ответил на появление «правил» резкой статьей...*— В «Журнале для воспитания» (1859. № 11) Н. И. Пирогов опубликовал «Правила о проступках и наказаниях учеников гимназий Киевского учебного округа», которые допускали, хотя и с целым рядом ограничений, сечение детей в гимназиях. Добролюбов откликнулся на эти правила резко полемической статьей «Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами» (1860).

...журналистика разделилась на два лагеря...— В защиту Добролюбова выступили журналы «Современник», «Русское слово». Подробный список отрицательных отзывов приводит Добролюбов в статье «От дождя да в воду» (1861). См.: Добролюбов. Т. 7. С. 135.

С. 122. *«Размышление гимназиста»...*— Точный текст стихотворения Добролюбова «Грустная дума гимназиста лютеранского исповедания и не Киевского округа» см.: Добролюбов. Т. 7. С. 419—420.

С. 123. *...в конце июня 1863 года и я... отправился в первый раз на уроки...*— Короленко был зачислен во второй класс Житомирской гимназии 28 авг. 1864 г. (установлено А. В. Храбровицким).

С. 136. *Каракозов* — Д. В. Каракозов (1840—1866), член революционно-народнического кружка Ишутина, автор прокламации «Друзьям-рабочим». Без ведома организации стрелял в царя у ворот Летнего сада в Петербурге. Повешен 3 сент. 1866 г. на Смоленском поле в Петербурге.

С. 140. *В середине июня...*— в 1886 г.

С. 141. *...базилианского монастыря-школы...*— Базилианские монастыри возникли вследствие преобразования по римско-католическому образцу православных монастырей. При базилианских монастырях имелись школы, причем как монашеские, так и светские.

С. 144. *Эти «заставы», теперь, кажется, исчезнувшие повсеместно...*— Заставы при въезде в города, на которых проверялась личность путешественника, были упразднены в 1857 г.

Иль чума меня подцепит...— неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Дорожные жалобы» (1830).

С. 145. *Факторы-мишуре(и)сы* — служители гостиниц, зазывавшие приезжих.

...дворец князей Любомирских...— Любомирские — польский княжеский род, восходящий к XVI в. В рассказе «В дурном обществе» (1885), в основу которого легли впечатления от жизни в Ровно, есть описание замка Любомирских.

С. 148. *...«двадцатого числа»...*— день выдачи жалованья в государственных учреждениях России.

С. 152. *...с зерцалом на столе.*— Зерцало — символ законности и правосудия самодержавной власти, треугольная призма с гербом Российской империи, помещавшаяся на столе в присутственной комнате во всех административных учреждениях. На трех сторонах призмы были наклеены указы Петра I.

С. 153. *Скиния* — у древних евреев — переносной храм в виде шатра.

С. 154—155. *Реформа Д. А. Толстого, разделившая средние учебные заведения на классические и реальные, еще не была закончена.*— Разделение гимназий было произведено еще по уставу 19 нояб. 1864 г., в соответствии с которым учреждалось три типа средней школы: классическая гимназия с двумя древними языками, классическая — с одним древним языком и реальная — без древних языков. По проекту же Д. А. Толстого (1823—1889), назначенного министром народного просвещения в 1866 г., в гимназиях должна была значительно измениться программа обучения, а выпускникам реальных гимназий окончательно закрыт доступ в университет.

С. 155. *...вскоре должность «городничих» была упразднена...*— Городничий — начальник исполнительной полиции в уездном городе. Эта должность была упразднена уже в 1862 г.

С. 156. *«Сын отечества»* — ежедневная газета, выходившая в Петербурге с 1862 по 1905 г. (с перерывом в 1900—1904 гг.).

...большинством голосов в Государственном совете проект Толстого был отвергнут, но «царь согласился с меньшинством».— 15 мая

1871 г. при голосовании в Государственном совете против проекта Толстого голосовало 29 членов и 19 — за проект. 6 июня Александр II наложил резолюцию: «Исполнить по мнению 19 членов». Результаты реформы так характеризовал Короленко в журнальном варианте своей книги: «...«система» Толстого иссушающую грамматику мертвых языков заменила не менее иссушающим механическим черчением. Эта реформа, несомненно, останется редким памятником систематического опыта отупления целых поколений» (Рус. богатство. 1907. № 1. С. 220).

И все это Катков...— М. Н. Катков (1818—1887), издатель журнала «Русский вестник» и с 1863 г.— газеты «Московские ведомости»; был сторонником и вдохновителем политики правительственных кругов и, в частности, многократно выступал со статьями в своей газете, критикуя реформу учебных заведений 1864 г. и ратуя за «классическое» образование.

С. 158. *...сияло, как фигура Черткова, на пороге объятого трепетом уездного присутствия...*— Перерабатывая журнальный вариант своего произведения, Короленко исключил следующий отрывок: «Первое обстоятельство (болезнь.— *Б. А.*) особенно озабочивало отца в приезд генерал-губернатора Черткова. Он объезжал губернию, и ему предшествовали гроза и трепет» (Рус. богатство. 1907. № 1. С. 210). Из-за того, что этот отрывок был опущен, текст стал малопонятным.

...предметы первой «политической» антипатии...— К этому месту следовало такое примечание Короленко: «Несколько лет назад С. Ю. Витте, тогда министр финансов, счел нужным к всеподданнейшему докладу о росписи прибавить принципиальное восхваление самодержавия. Когда я прочел этот документ, мне сразу вспомнился описанный вечер и разговор благонамеренных чиновников... Самодержавие считают нужным хвалить министры,— дело самодержавия плохо,— подумал я.— Сила его была в недоступности для порицаний и похвал, в недоступности для самой мысли. Оно вынесло смутное нашествие двунадесяти языков, но публичного обсуждения вынести не в состоянии...» (Рус. богатство. 1907. № 1. С. 225).

С. 159. *Каплица* (пол.) — часовня.

С. 161. *...инспектор, Степан Яковлевич Рущевич...*— Подробно об учителях и учениках в гимназии см.: Храбровицкий. С. 940—943.

С. 163. *...покаянная молитва Ефрема Сирина...*— Ефрем Сирин жил в Сирии в IV в. Автор многих духовных гимнов, в том числе и «Великой молитвы», сполняемой в конце великого поста. Вторая часть стихотворения А. С. Пушкина «Отцы пустынники и жены

непорочны...» (1836) представляет собой стихотворное переложение этой молитвы.

С. 164. *«Книга бытия»* — первая книга Ветхого завета, где говорится о сотворении мира.

С. 168. *Песталоцци* — Иоганн Генрих Песталоцци (1746—1827), выдающийся швейцарский педагог.

С. 173. *...как у щедринского прокурора, одно око было дреманое.*— Короленко имеет в виду прокурора Куролесыча из сказки Салтыкова-Щедрина «Недреманое око».

С. 175. *...самые изумительные гипотезы о «диве», о «тропе трояней» и «додонтках».*— Смысл и историю толкования приведенных слов и выражений см. в кн.: Слово о полку Игореве (Б-ка поэта. Большая сер.). 2-е изд. Л., 1967. С. 477, 483, 517.

С. 181. *...она...*— См. главу «Детская любовь» в приложении к этому изданию.

С. 183. *Герб «литовская погоня»* — герб великого княжества Литовского, на котором изображен вооруженный всадник (погон) с поднятым мечом и со щитом.

Пулковская обсерватория была основана в 1839 г. в 19 километрах от Петербурга на Пулковских высотах.

С. 184. *Иисус Навин сказал: стой, солнце, и не движись, луна...*— По библейской легенде, Иисус Навин в битве с аморейскими царями обеспечил победу израильтянам тем, что приказал солнцу и луне остановиться: «И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим» (Книга Иисуса Навина. 10: 12—13).

С. 185. *...и его маленьких столкновений с амалекитянами...*— По Библии, Иисус Навин вел беспрерывные войны с племенами, населявшими Палестину.

С. 193. *Главотяжи, убрусцы* (старослав.) — головные платки.

С. 195. *...осётил своими мрежами...*— то есть поймал в свои сети.

С. 200. *...Стрельников послал на виселицу юношу Разовского, не пожелавшего выдать товарища...*— И. И. Разовский (1860—1880) был арестован в Киеве в 1880 г. с литературой и воззваниями «Народной воли». На допросе он отказался давать какие-либо показания и был повешен в марте этого же года. В. С. Стрельников занимал в это время пост прокурора Киевского суда.

С. 201. *...крики: «Бирка, бирка!» — несутся среди хохота, топота и шума.*— Из окончательной редакции своей книги Короленко исключил следующий эпизод, характеризовавший Самаревича и объяснявший смысл данного ему прозвища: «Однажды он явился

в гимназию в новой шубе и, торжественно передав ее сторожу, сказал, чтобы он берег ее, потому что эта шуба не простая, а дорогая. «Это — бирка» (особая порода овец). С этих пор Самаревича звали биркой и кричали это слово, когда он проходил по коридорам» (Рус. богатство. 1907. № 1. С. 235).

С. 207. *Достоевский в одном из своих «Дневников писателя»...*— См.: Достоевский. Т. 22. С. 28.

С. 208. *Покойный Данилевский в беглом эскизе набросал картину деревни, носившей характерное название Стопановки.*— Короленко имеет в виду очерк русского и украинского писателя, публициста и журналиста Г. П. Данилевского (1829—1890) «Село Сорокапановка», опубликованный в журнале «Современник» (1859, № 4) под псевдонимом «А. Скавронский».

С. 209. *...«застенную шляхту», ярко описанную Мицкевичем в «Пане Тадеуше»...*— В примечаниях к поэме «Пан Тадеуш» (1834) А. Мицкевич пишет, что «околицей», или «застенком», в Литве называют шляхетское селение, чтобы отличить его от собственно крестьянских селений. В действительности шляхетская околица возникала путем оседания пришлой шляхты, а застенок образовывался в результате разрастания одной семьи и последующего разделения владений на несколько самостоятельных хозяйств.

С. 211. *Он служил «панцирным товарищем» в хоругви...*— то есть гусаром в одном из полков.

Конфедерация — в Речи Посполитой — временный политический союз вооруженной шляхты или части ее в XVI—XVIII вв. На сеймах, созывавшихся конфедерацией, вопросы решались большинством голосов. Иногда конфедерация перерастала в восстание шляхты против короля.

С. 212. *...когда на небе сияла хвостатая звезда...*— См.: Евангелие от Матфея. 2: 1—11.

Чамарка — народная мужская верхняя одежда в Польше со шнурками и петлицами спереди.

С. 213. *«Речь Посполита»* — традиционное наименование польского государства, принятое в русской терминологии с конца XV в. Со времени Люблинской унии 1569 до 1795 г.— официальное название объединенного польско-литовского государства — своеобразной дворянской республики.

С. 214. *Постолы* — кожаные лапти.

С. 215. *Калюмния* (пол.) — клевета, напраслина.

С. 217. *...отправился на «отпуст» к чудотворной иконе.*—Отпуст — часть православного богослужения, которой оно заканчивается, и мо-

ляющиеся «отпускаются» из храма. Здесь: вообще помолиться за успешное окончание дела.

С. 220. *Толеранция* (пол.) — терпимость; *импертыненция* (пол.) — нахальство, наглость.

С. 225. *Бугай* — болотная птица семейства цапель.

С. 227. *...мы подъезжаем к скромному дому капитана...*— Продолжение этого абзаца в рукописи и в журнальной редакции было иным: «Каждый раз, попадая в гарнолужские пределы, вместе с обаянием деревенской свободы, воздуха, полей, лесных таинств и просторов,— ощущал также что-то вроде угнетающего стыда... Как будто на все это время в глазах огромного большинства гарнолужского населения,— я становился членом корпорации, безнадежной в нравственном отношении и погибающей. И притом,— я не мог этого не чувствовать,— презираемой справедливо. Мне кажется, что не для меня одного в этом «падении сословия» коренилось отчасти начало «покаяния», классового самоотрицания, с одной стороны, и идеализации мужика, с другой. Это была почва, на которую русская литература бросила впоследствии обильное семя» (ГБЛ. Ф. 135. Оп. 2. Ед. хр. 32. Л. 23).

С. 229. *...панам скоро конец.*— В рукописи далее следовал такой текст: «Все это, разумеется, должно было вызывать тревогу и страх. А страх — самое негуманное из всех человеческих ощущений. За ним почти всегда идет вражда, исступление, месть...

...Если бы современному человеку можно было в волшебной панораме показать будущий общественный строй, где исчезнут все нынешние привилегии, то едва ли нашелся бы самый черствый консерватор, который не вздохнул бы о том, что еще так далеко время, когда будут жить эти новые свободные люди, не рабы и не угнетатели... Создание новых условий для нового человека — в этом весь закон и все пророки движения вперед. Но грубым и темным умам с обеих сторон — угнетенным не реже, чем угнетателям,— процесс представляется только прямым переворотом современного строя наизнанку: общество станет дном кверху, вершиной книзу. Теперешние слуги станут господами (разумеется, карикатурными), а дети господ станут слугами, более несчастными, чем природные рабы. А если так, то, конечно, кто же захочет жертвовать своим положением лишь для того, чтобы водворить ту же несправедливость, только в обратном виде...» (См.: Храбровицкий. С. 906).

С. 231. *Сукмана* (пол.) — суконный кафтан.

С. 232. *«Молитва девы»* — популярная пьеса для фортепиано польского композитора Т. Падоржевской-Барановской (1838—1862).

С. 247. *Вениамин Васильевич Авдиев* (1864—1895) окончил в Харькове гимназию и филологический факультет университета. В 1888 г. получил в Новороссийском университете звание кандидата историко-филологического факультета. Написал статью о творчестве А. Н. Островского (не опубликована; рукопись хранится в архиве Короленко в ГБЛ). Помимо Ровенского реального училища, преподавал в Симферополе и Тифлисе.

С. 254. *Монтепен* — К. де Монтепен (1823—1902), французский писатель, автор многочисленных романов со сложной интригой, убийствами и эротическими сценами; *Габорио* — Э. Габорио (1832—1873), французский писатель, один из родоначальников детективного жанра.

«Воскресный досуг» — иллюстрированный еженедельник, выходивший в Петербурге с 1863 по 1873 г.

«Солдатское чтение» — вероятно, «Солдатская беседа», журнал, основанный А. Ф. Погосским в 1858 г.

«Всемирный путешественник» — иллюстрированный еженедельник, выходивший в Петербурге с 1867 по 1878 г.

...путешествие Ливингстона... путешествие Араго, путешествие Беккера-Паши.— Д. Ливингстон (1813—1873) — английский исследователь Африки; Ж. Араго (1790—1885) — французский писатель и путешественник; С. У. Беккер (1821—1893) — исследователь Африки.

«...под сводами безмолвного храма»...— Короленко вспоминает следующий эпизод из книги «Письма Святогорца к друзьям своим о Святой горе Афонской» (СПб., 1850), написанной С. А. Весниным (1814—1853): «Наравне с этою картиною, если еще не более, занимает воображение первый Вселенский Собор, на котором ревностный по Боге и Православию Св. Николай Мирликийский замахнулся рукой на безумного Ария. Смотря на эту историческую сцену, кажется, таишь дыхание, ждешь — вот раздастся на галерее звук Святительского вразумления заблудшему» (с. 178). Описание бури, о котором вспоминает Короленко выше, приводится в третьем письме.

С. 257. *...Садык-паша Чайковский ищет того же романтического прошлого на Дунае, в Анатолии и в Сирии.*— М. С. Чайковский (1808—1886) — польский писатель и эмигрант, родился на Украине. Участвовал в 1831 г. в польском восстании. После падения Варшавы эмигрировал в Париж. В 1851 г. поступил на турецкую службу, принял ислам и под именем Мохаммеда Садыка участвовал в войне против России (1853—1856). В 1878 г. принял православие и поселился в Киеве. В своих произведениях — «С устьев Дуная», «Кирджали» и др.— склонен был идеализировать казачество и вольный казацкий быт.

С. 258. *«Мардарий Аполлонович Стегунов...».*— Здесь и далее Короленко с незначительными искажениями цитирует рассказ И. С. Тургенева «Два помещика».

С. 259. *...поучениями Мономаха и письмами Заточника...*— Имеются в виду «Поучения» великого князя Киевского Владимира Мономаха (1053—1125) и «Слово Даниила Заточника» — памятник литературы XII в.

С. 262. *Кончается повесть Писемского неожиданной сценкой...*— Повесть А. Ф. Писемского (1821—1881) «М-г. Батманов» (1852) первоначально была опубликована в журнале «Москвитянин», а затем в переработанном виде вышла отдельным изданием (СПб., 1861). Эпизод, который описывает Короленко, хорошо прокомментировал А. Амфитеатров: «Короленко приводит этот эпизод для характеристики любимого своего учителя словесности Авдиева, которого он находит похожим на блестящего Батманова, что тому не весьма льстило... Еще бы! Особенно если вспомнить, что такого конца совсем нет у Писемского. Короленко эту сцену сам сочинил по смутному, приблизительному воспоминанию. А есть у Писемского вот что — вдесятеро злобнее и оскорбительнее: „Года через полтора Батманов сделался коренным сибиряком. Он управляет делами одной пожилой и очень богатой вдовы-купчихи, живет у нее в доме, ходит весь залитой в бриллиантах, носит черкесское платье, ездит по городу на кровных рысаках и поит общество на убой шампанским. Чем, подумаешь, не разрешалось русское разочарование!“» (Амфитеатров А. Заметы сердца. М., [б. г.]. С. 104).

С. 267. *«Гетьмани, гетьмани...».*— Здесь и далее Короленко с некоторыми неточностями цитирует «Гайдамаки» и «Кобзарь» Т. Г. Шевченко.

С. 269. *У Добролюбова я прочел восторженный отзыв об этом произведении...*— Высокую оценку творчества Т. Г. Шевченко Добролюбов дал в рецензии «„Кобзарь“ Тараса Шевченко». Однако приводимых ниже слов в рецензии нет.

С. 270. *Эта часть истории моего современника вызвала оживленные возражения в некоторых органах украинской печати.*— Из окончательной редакции своей книги Короленко исключил следующий отрывок, который дал повод О. Белоусенко и С. Ефремову в своих заметках в киевской газете «Рада» обвинить Короленко в отречении от национальности, а также в том, что он принижает значение творчества Т. Г. Шевченко: «И впоследствии еще не раз волны национального украинского романтизма проносились над душой, как тени облаков проносятся над нивами. Но душа все-таки гораздо обильнее

засевалась впечатлениями передовой русской мысли, не потому, конечно, что она разрешала многое, что даже не было затронуто другими. И если впоследствии я уже сознательно нашел свою родину, то это уже была не Польша, не Украина, не Волынь, не Великороссия — а великая область русской мысли и русской литературы, область, где господствовали Пушкины, Лермонтовы, Белинские, Добролюбовы, Гоголи, Тургеневы, Некрасовы, Салтыковы» (Рус. богатство. 1908. № 2. С. 190).

Лизогуб — Д. А. Лизогуб (1850—1879), участник кружка «чайковцев» и член «Земли и воли». Неоднократно привлекался к дознанию по делу о революционной пропаганде. Будучи богатым землевладельцем, отдал все свое состояние на нужды революции. В 1879 г. Одесским военно-окружным судом был приговорен к смертной казни и повешен.

С. 271. *Говорили, что он* (Антонович.— *Б. А.*) *был когда-то разжалован в солдаты по одному делу с Костомаровым и Шевченком и опять возвысился при Александре II.*— П. А. Антонович (1812—1883) привлекался не по делу «Кирилло-Мефодиевского братства», в котором участвовали Шевченко и Костомаров, а по делу руководителя тайного революционного кружка Н. П. Сунгурова (1805—?; см. о нем: Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. 8. С. 136 и 144—148). В 1833 г. П. А. Антонович был отдан в солдаты и после многолетней службы на Кавказе в 1861 г. произведен в генерал-майоры, а в 1868 г. назначен попечителем Киевского учебного округа.

С. 273. *Через три недели он уехал.*— После отъезда из Ровно В. В. Авдиев преподавал в симферопольской гимназии, где среди его учеников был будущий известный ученый-филолог, автор ряда статей о Короленко и близкий знакомый писателя Д. Н. Овсянико-Куликовский. В письме к Короленко 1918 г., в котором Овсянико-Куликовский дает высокую оценку «Истории моего современника», последний подчеркивал, что приобщением к передовой общественной мысли оба они обязаны В. В. Авдиеву: «...мы с вами... прошли в конце 60-х и начале 70-х годов тот же по духу и характерным признакам «стаж» пробуждения юной мысли — преимущественно «по Добролюбову»... Влияние самого В. В. Авдиева отразилось на Вас и на мне приблизительно одинаковым образом... и даже экземпляр Добролюбова, которым Авдиев просвещал Вас в Ровно, был тот самый, который он дал мне в Симферополе» (ГБЛ. Ф. 135. Карт. 30. Ед. хр. 91).

«Вечный труженик, а мастер никогда!» — Этот отзыв Петра I о поэте и ученом В. К. Тредиаковском (1703—1768) считается недостоверным. А. С. Пушкин приводил его в такой форме: «Петр... уга-

дал в бедном школьнике вечного труженика Тредьяковского». Или: «Всем известны слова Петра Великого, когда представили ему двенадцатилетнего школьника, Василья Тредьяковского: вечный труженик».

С. 276. *В 1888 или 1889 году появился памятный циркуляр «о кухаркиных детях»...*— И. Д. Делянов, будучи на посту министра народного просвещения (1882—1897), стремился закрыть доступ к образованию детям из низших слоев общества. Эту цель и преследовал циркуляр 1887 г., которым предписывалось не принимать в средние учебные заведения «детей кучеров, лакеев, поваров, мелких лавочников и т. п.».

С. 285. *Золя в своих воспоминаниях...*— Источник цитирования установить не удалось.

С. 286. *...принц д'Артуа по рассказу Карлейля...*— См.: Карлейль Т. Французская революция (История). СПб., 1907. С. 24.

Господин Михаловский... Поэт. Знаете?.. В «Деле»...— Д. Л. Михаловский (1828—1905) — известный переводчик Шекспира, Байрона, Лонгфелло. Состоял сотрудником научно-политического журнала «Дело», выходившего в Петербурге с 1866 по 1888 г.

С. 287. *...Арепа... Сотрудник «Искры».*— Сатирический журнал «Искра», основанный поэтом В. С. Курочкиным и карикатуристом Н. А. Степановым, выходил в Петербурге с 1859 по 1873 г. Упоминаемый ниже фельетон был опубликован без подписи в журнале «Искра» за 1870 г. (№ 14).

С. 291. *Женских гимназий тогда почти не было...*— Устав первых женских гимназий в России был утвержден в 1862 г.

С. 293. *Речь коснулась знаменитой в свое время полемики между Пуше и Пастером... Писарев со своим молодым задором накинулся на Пастера.*— Ф. А. Пуше (1800—1872) — французский естествоиспытатель и врач, директор и профессор музея естественной истории в Руане. Особую известность приобрел работами по вопросам самопроизвольного зарождения. Л. Пастер (1822—1895) — французский микробиолог и химик, основоположник современной микробиологии и иммунологии. Полемика между Пуше и Пастером, особенно активная в 1860—1864 гг., была вызвана тем, что Пуше в работе, представленной им в Парижскую академию наук, утверждал возможность самопроизвольного зарождения, а Пастер рядом экспериментов опроверг реальность самозарождения живых существ в изолированном от внешней среды объеме. Писарев в статье «Подвиги европейских авторитетов» (1865) поддерживал точку зрения Пуше.

Геккель — Э. Геккель (1834—1919) — немецкий естествоиспы-

татель, профессор университета в Иене (1862—1909). Последователь Дарвина. Сформулировал в виде биогенетического закона взаимосвязь между индивидуальным развитием особи и развитием ее предков.

С. 296. *...идущим из общего источника.* — Одной из важных проблем материалистического объяснения мира был для молодежи 60-х гг. вопрос о взаимосвязи физиологических и психологических явлений. Поэтому, в частности, особенной популярностью пользовались в это время сочинения следующих упоминаемых здесь Короленко ученых и мыслителей: английского историка и социолога-позитивиста Г. Т. Бокля (1821—1862), важнейший труд которого — «История цивилизации в Англии» — вышел в русском переводе в 1864 г.; немецкого физиолога и вульгарного материалиста Ф. Бюхнера (1824—1899), книга которого «Сила и материя» была переведена в 1860 г.; родоначальника эстетической теории натурализма, философа-позитивиста И. Тэна (1828—1893); немецкого естествоиспытателя и виднейшего представителя материализма К. Фогта (1817—1895), а также работы И. М. Сеченова, в первую очередь его «Рефлексы головного мозга», опубликованная в «Медицинском вестнике» в 1863 г. (№ 47—48).

С. 298—299. *...«Подводный камень»... Авдеева.*— Роман сотрудничавшего в журналах «Современник» и «Дело» М. В. Авдеева (1821—1876) вышел отдельным изданием в 1863 г.

С. 304. *Ю. Словацкий* (1809—1849) — известный польский поэт и драматург. Герой его ранних поэм — разочарованный, одинокий человек.

С. 307. *Л. Гош* (1768—1797) — полководец Великой французской революции. В 1793 г. успешно сражался с английскими интервентами, за что был произведен в генералы в возрасте 25 лет. *Ж. Ж. Дантон* (1759—1794) — один из ведущих деятелей Великой французской революции. В возрасте 33 лет стал министром юстиции.

С. 308. *Будущее кидало впереди себя свою тень...*— Это выражение, часто, но не совсем точно употребляемое Короленко, представляет собой цитату из драмы «Lochiel's Warning» (1801) английского поэта Томаса Кэмпбела (1777—1844): «Caming events cast their shadow before them» («Грядущие события отбрасывают свою тень», то есть: грядущее дает знать о себе заранее), которая стала в Англии пословицей, а затем распространилась и в России. Более правильно она приведена Короленко в рукописи рассказа «Прохор и студенты», где, говоря о вере молодежи в скорое пробуждение народа, Короленко писал: «Кто-то назвал подобное предчувствие тенью, которую будущее кидает от себя на настоящие времена» (рукопись цитируется в кн.: Бялый. С. 87).

...«Знамения времени» Мордовцева...— Роман писателя и историка Д. Л. Мордовцева (1830—1905) впервые был опубликован в журнале «Всемирный труд» (1869. № 1—7). Отдельное издание (СПб., 1870) было запрещено цензурой.

...«Шаг за шагом» Омулевского...— Роман И. В. Омулевского (наст. фамилия Федоров; 1836 или 1837—1884), точное название которого «Светлов, его взгляды, характер и деятельность (Шаг за шагом)», впервые с цензурными изъятиями был опубликован в 1870 г. в журнале «Дело». Отдельным изданием без цензурных искажений вышел в 1871 г. Верно пересказывая ниже основной смысл романа, Короленко допускает некоторые фактические неточности. Автобиографическими чертами автор наделил Светлова, а не одного из героев романа доктора Ельникова, который не «страдает запоем», а болен чахоткой. «Таинственное» слово произносит Светлов героине не прощаясь и не перед отъездом в Петербург, а в середине романа.

Молодежь восхищалась его «Историческими движениями русского народа», не замечая, что книга кончается чуть не апофеозом государства...— В «Политических движениях русского народа» (СПб., 1871. Т. 1, 2). Мордовцев сочувственно изображал народные бунты, гайдаматчину и пугачевщину, но выступал только против «плохой государственности», рассматривая при этом эпоху реформ 1861 г. как период, когда появилась возможность осуществления экономических требований народа и когда для успешного развития самодержавной России необходимы лишь улучшения государственного законодательства.

...областная литература обречена на умирание...— О содержании статьи Мордовцева «Печать в провинции» (Дело. 1875. № 9, 10), в которой автор, проводя параллели между биологической и общественной жизнью, утверждал закон, согласно которому центры неизбежно должны поглотить провинцию, и полемике вокруг нее, см.: ПСС (1914). Т. 2. С. 347—349; Бялый. С. 96—102.

Свой роман он начал эффектным бредом больного. В картинах этого бреда ловились намеки на казнь Каракозова.— Роман начинался так: «Не знаю, за что меня эти злые люди держат под стражею, как преступника. Говорят, будто я сумасшедший. Какие глупые и злые люди! Они называют сумасшествием мою любовь к России. Да разве любовь к России составляет такую болезнь воли, за которую сажают в дом умалишенных? Не понимаю, ничего не понимаю! Что их поражает в этом чувстве? Что в нем находят они преступного и опасного?» Далее больной подробно описывает свое видение казни через

повешение. Это описание и истолковывалось современниками как намек на казнь Каракозова (Мордовцев Д. Л. Знамение времени. М., 1957. С. 3, 6—12). Ниже Короленко с рядом неточностей пересказывает некоторые эпизоды из романа. Главного героя романа Стожарова один из персонажей называет «точеной головой», но такого прозвища у него нет. Сцена, где герой объясняет, почему он подает женщине стул, происходит между другими героями романа — Карамановым и Мариной. То, что она «переросла» Веру Павловну из романа Чернышевского «Что делать?», говорит Варя Бармитинова.

С. 310. *...«Один в поле не воин», переведенный Благосветловым в «Деле»...*— Этот роман немецкого прозаика и драматурга Ф. Шпильгагена (1829—1911) печатался в 1866—1867 гг.

С. 311. *Аммалат-бек* — герой одноименной повести А. А. Бестужева-Марлинского (1797—1837), опубликованной в 1832 г.

...другой шпильгагенский герой из «Между молотом и наковальней»...— Имеется в виду герой романа Георг Гартвиг. Роман печатался в журнале «Дело» в 1868—1869 гг.; отдельное издание вышло в 1869 г.

С. 314. *...«чтение в сердцах» еще не было в ходу...*— В 1878 г. была введена должность полицейских урядников «для усиления средств уездной полиции» и вышла «Инструкция полицейским урядникам». Возможно, что, пародируя именно эту инструкцию, М. Е. Салтыков-Щедрин писал в «Убежище Монрепо» (1879) о полицейском чиновнике: «Что будет, если «он», вместо того чтобы ограждать мои луга от потравы, начнет читать в моем сердце? Прочтет одну страницу, помуслит палец, перевернет, прочтет другую и так далее до конца?» (Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20 т. М., 1972. Т. 13. С. 293).

С. 317. *...в конце июня 1870 года...*— Короленко окончил гимназию (с серебряной медалью) в 1871 г.

...филаретовского катехизиса...— Короленко имеет в виду «Православный катехизис», составленный московским митрополитом Филаретом (М. М. Дроздовым; 1782—1867).

С. 318. *Тургенев говорит, что в первый раз уже за границей, где-то под Берлином, он сознательно наслаждался природой и пеньем жаворонка.*— Источник цитаты установить не удалось.

С. 319. *В полемику по поводу пироговского инцидента вмешался студент Драгоманов...*— Студент Киевского университета (впоследствии украинский историк, фольклорист, публицист, политический деятель) М. П. Драгоманов (1841—1895) выступил против Добролюбова со статьей «По поводу заметки о Н. И. Пирогове в № 4 «Отечест-

венных записок» в 1861 г. „Обед в Киеве“» (Рус. речь. 1861. 6 июля). Добролюбов отвечал ему в статье «От дождя да в воду».

С. 320. *Это был отчет по нечаевскому процессу.*— Первый в России гласный политический процесс над нечаевцами происходил в 1871 г. Материалы процесса публиковались в «Правительственном вестнике», а затем перепечатывались другими газетами. Нечаевцы готовили «всероссийское восстание против царизма» под руководством С. Г. Нечаева (1847—1882), создавшего немногочисленное тайное общество «Народная расправа» преимущественно из студентов Петровской сельскохозяйственной академии. Диктаторские приемы Нечаева, его теория о возможности применения любых средств для достижения революционных целей привели к разногласиям в обществе, для устранения которых С. Г. Нечаевым, П. Г. Успенским, А. К. Кузнецовым, И. Г. Прыжовым, Н. Н. Николаевым был убит студент И. И. Иванов. О личности С. Г. Нечаева и И. И. Иванова см.: Давыдов Ю. В. Герман Лопатин, его друзья и враги. М., 1984. С. 13—33.

...о типографии Ткачева и Дементьевой...— П. Н. Ткачев (1844—1885) — революционер-народник, философ, критик и публицист. После того как в 1869 г. в столице вспыхнули студенческие волнения и начались аресты и исключения из учебных заведений, Ткачев написал воззвание «К обществу» в защиту студентов. Оно было напечатано в типографии его невесты А. Д. Дементьевой (1850—1922) и разослано в редакции газет и журналов, представителям властей, разбросано в учебных заведениях. По делу нечаевцев Ткачев был приговорен к 1 году 4 месяцам тюремного заключения, а затем выслан в Великие Луки под надзор полиции.

...прокламация Нечаева к студенчеству...— Далее Короленко с незначительными неточностями цитирует прокламацию Нечаева «Студентам университета, академии и Технологического института» (Голос. 1871. 10 июля).

С. 321. *...о «генералах Тимашевых и Треповых»...*— А. Е. Тимашев (1818—1893) — начальник штаба корпуса жандармов и управляющий III Отделением, с 1868 по 1878 г.— министр внутренних дел. Ф. Ф. Трепов (1803—1889) — генерал-полицмейстер в Варшаве, а с 1866 г.— градоначальник Петербурга.

КНИГА ВТОРАЯ

С. 323. *Первый том я закончил в 1905 году.*— Первый том был начат в 1905-м, а закончен в 1908 г. «От автора» написано в 1918 г.

С. 329. *...у либерально настроенной военной молодежи милютинской школы.*— Д. А. Милютин (1816—1912) — военный министр с 1861 по 1881 г. Осуществил ряд прогрессивных реформ в армии, в том числе и реформу военного образования. В частности, кадетские корпуса заменил военными гимназиями, в которых значительно расширил курс общеобразовательных дисциплин.

С. 330. *...крылатое слово в речи Спасовича... ин-телли-гент-ный про-ле-тариат...*— В выступлениях на нечаевском процессе выдающегося судебного деятеля, публициста, критика и журналиста В. Д. Спасовича (1829—1906) этих слов нет. Однако другой защитник на этом процессе, А. И. Урусов, в своей речи, за которую он был выслан из Петербурга, употребил следующее, аналогичное по смыслу выражение: «Я перехожу теперь к рассмотрению той среды, тех условий, среди которых возникло преступление... эта среда должна быть названа русским мыслящим пролетариатом» (Голос. 1871. 13 июля). Приведенное выражение стало распространенным в русском обществе после опубликования Д. И. Писаревым статьи «Мыслящий пролетариат» (1865).

С. 336. *Спасибо, сторона родная...*— из стихотворения Некрасова «Тишина» (1856—1857).

С. 338. *...остановиться в Москве, чтобы повидаться с сестрой...*— Короленко встречался со своей сестрой Марией Галактионовной (1856—1917), которая училась в это время в Екатерининском институте.

С. 351. *Рахметов спал на поленьях дров...*— В романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?» об этом написано иначе: «...спина и бока всего белья Рахметова... были облиты кровью, под кроватью была кровь, войлок, на котором он спал, также в крови; в войлоке были натыканы сотни мелких гвоздей шляпками с исподи, остриями вверх... Рахметов лежал на них ночь» (Чернышевский Н. Г. Что делать? (Лит. памятники). Л., 1975. С. 212).

С. 354. *...«Азбуку социальных наук» Флеровского.*— В. В. Берви-Флеровский (наст. фамилия — Берви; 1829—1918) — русский социолог, писатель, публицист, сотрудничал в журналах «Дело» и «Отечественные записки». «Азбука социальных наук» была издана Н. П. Поляковым в Петербурге в 1871 г. без указания издательства и имени автора. Широко распространялась членами кружка «чайков-

цев» среди студенческой молодежи. Подробно об издании этой книги, ее распространении и судебном преследовании см.: Толстяков А. П. Люди мысли и добра... М., 1984. С. 179—184.

Лассаль.— Два тома сочинений Ф. Лассаля (1825—1864), немецкого публициста, философа, критика, основателя Всеобщего германского рабочего союза, были изданы Н. П. Поляковым в Петербурге в 1870 г.

С. 357. *...в доме Фредерикса...*— Министру императорского двора и уделов барону В. Б. Фредериксу принадлежало в Петербурге несколько домов, отдаваемых им внаем. Короленко имеет в виду дом на Знаменской площади (ныне — площадь Восстания).

С. 358. *Лиговка тогда представляла еще канал...*— На месте нынешнего Лиговского проспекта в 1718—1725 гг. был прорыт канал протяженностью более двадцати километров. В 1891 г. канал был заключен в бетонную трубу и засыпан.

...Знаменской церкви.— Речь идет о церкви Знамения Пресвятой Богородицы, находившейся на Знаменской площади на месте нынешней станции метро «Площадь Восстания».

...Семеновский полк, Малый Царскосельский проспект...— Семеновский полк занимал территорию в пределах Загородного пр., Обводного кан., Московского пр. и Звенигородской ул. Малый Царскосельский — ныне Детскосельский пр., проходит от Рузовской ул. до Московского пр.

...для познания всякого рода петербургских вещей, как сказал Павел Иванович Чичиков — неточная цитата из Гоголя. В 5-й главе «Мертвых душ» на предостережение Собакевича не ездить к Плюшкину Чичиков отвечает: «Нет, я спросил не для каких-либо, а потому только, что интересуюсь познанием всякого рода мест».

С. 361. *...«Студент не будет посыпать твоих листов золой табачной»* — из стихотворения Некрасова «Пропала книга!» (1866—1867).

С. 363. *Цитирует Льюиса, а перед Куно Фишером преклоняется.*— Д. Г. Льюис (1817—1878) — английский философ-позитивист и физиолог-дарвинист. Его книга «Физиология обыденной жизни», вызвавшая большой интерес среди русской интеллигенции, была переведена на русский язык в 1861 г. К. Фишер (1824—1907) — немецкий философ, книги которого по истории философии пользовались в России большой популярностью.

С. 364. *...календарь Германа Гоппе.*— Известный петербургский издатель Г. Д. Гоппе (1836—1885) выпускал «Всеобщий календарь» с 1867 по 1885 г.

С. 365. *Центр тяжести студенческой жизни заметно перетяги-*

вался с Васильевского острова к Измайловскому и Семеновскому полкам — то есть от университета к Институту инженеров путей сообщения и Технологическому институту.

С. 370. *«...надевает и делается несчастным».*— См. «Путевые картины» Г. Гейне, гл. 19.

С. 371. *...в знаменитом доме Яковлева на Садовой...*— Это здание, занимавшее большой участок по Садовой ул. от угла ул. Гороховой (ныне Дзержинского) почти до Сенной пл. (ныне пл. Мира) было построено в конце XVIII в. Дом принадлежал известному петербургскому миллионеру Савве Яковлеву, владельцу железных рудников на Урале, откупщику всех русских таможен. Первые этажи дома занимали торговые помещения, в остальных сдавались квартиры.

С. 372. *...танцкласс... Марцинкевича.*— Танцевальный зал Самолетова (бывший Марцинкевича), славившийся в первой половине XIX в. пышными балами, во времена Короленко утратил «внешний блеск обстановки и прежних своих посетителей» (Михневич Вл. Петербург весь на ладони. СПб., 1874. С. 64).

С. 373. *...à la Capoul* — прическа по имени популярного французского тенора Ж. Капуля (1839—1934), который пользовался успехом и как певец, и как законодатель мод.

С. 387. *Макаров* — Н. И. Макаров (1824—1904), профессор математики в Технологическом институте в 1862—1897 гг.

С. 391. *...Иоганн Шерр, написавший «Комедию всемирной истории».*— Книга немецкого историка и литературоведа И. Шерра (1817—1886) «Человеческая трагикомедия» в русском переводе вышла в 1872 г. Его произведения пользовались популярностью в России 60—70-х гг. и преследовались как «проникнутые ненавистью и презрением к христианской религии и к монархическому началу» (Добровольский Л. М. Запрещенная книга в России 1825—1904. М., 1962. С. 77—78, 122—123).

С. 392. *...«Русского мира», газеты Комарова и Черняева.*— Журналист В. В. Комаров (1838—1907) в 1871 г. основал газету «Русский мир», а в 1875 г. она перешла к М. Г. Черняеву (1828—1898), генералу, участнику Крымской войны.

С. 393. *Отголоски «Бурсы»* — то есть «Очерков бурсы» Н. Г. Помяловского (1835—1863).

С. 402. *...в кухмистерской Елены Павловны...*— Великая княгиня Елена Павловна (1806—1873) пользовалась репутацией покровительницы науки и искусства, занималась благотворительной деятельностью — в частности, на свои средства устроила ряд кухмистерских (дешевых столовых).

С. 403. *...полная ненависти цитата из Фурье о хищном пауке-торгаше...*— В 1866 г. в Петербурге вышла книга Н. В. Соколова (1832—1889) «Отщепенцы». Она была запрещена цензурой и вторично издана в 1872 г. в Цюрихе. Книга носила компилятивный характер. Одна из глав посвящена Ш. Фурье, ее и цитирует Короленко. См.: Шестидесятники. М., 1984. С. 284.

С. 404. *...знаменитой тогда «Вяземской лавры»...*— Огромный дом с двумя флигелями, принадлежащий Вяземскому. В нем помещались самые дешевые «трактирные заведения», кабаки, ночлежки. Описан В. Крестовским в «Петербургских трущобах».

С. 405. *Есть еще писатель Авербах... у него все короли на высотах целуются.*— Имеется в виду роман немецкого писателя Б. Ауэрбаха (1812—1882) «На высоте».

С. 406. *«...сдать экзамен у Редкина».*— П. Г. Редкин (1808—1891) был профессором по кафедре энциклопедии права в Петербургском университете с 1869 по 1878 г.

С. 408. *«...Много в ней правды, да радости мало...»* — из поэмы Некрасова «Саша» (1855).

С. 410. *...Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна...*— герои повести Гоголя «Старосветские помещики».

С. 414. *...в последний раз.*— В рукописи эта глава имела следующее продолжение: «Теперь, когда много лет отделяло меня от Паши и от Васьки, от ночи с яркой Венерой и от этого пасхального утра,— в моем воображении стихийно устанавливаются связи, которые я тогда не замечал. Такая параллель чудится мне между Пашей и Васькой. Один погиб среди жгучего отчаяния сильной, но изверившейся души, искавшей и непримиренной. Может быть, умер с циническим богохульством на устах. Другой «смирился» под тихое мерцание свечей с другими смиренными. И если есть именно этот Бог, для которого теплились эти свечи, кого он принял приветливей из этих двух нигилистов: нераскаянного или примирившегося?» (ГБЛ. Ф. 135. Оп. 1. Ед. хр. 24. Л. 18).

С. 416. *Я еще ощущал на себе пренебрежительный взгляд Ермакова...*— В рукописи «Истории моего современника» характеристика Ермакова была иной. Короленко писал о нем как об «умном и доброжелательном», «несомненно честном и даже выдающемся человеке» (ГБЛ. Архив В. Г. Короленко. Ф. 135. Оп. 1. Ед. хр. 24. Л. 39, 45).

...Тринадцатую роту Измайловского полка...— С 1739 г. в Петербурге начали строиться слободы Измайловского и Семеновского полков. Измайловский полк занимал большую территорию от реки Фонтанки до Обводного канала, между нынешними Лермонтовским

и Московским проспектами. Улицы Измайловского полка назывались ротами. Современные названия улиц — Красноармейские.

С. 422. *На Офицерской улице, далеко за Литовским замком и Демидовым садом...*— Офицерская улица — ныне ул. Декабристов. Литовский замок — первоначально казармы Литовского полка, позднее — городская пересыльная тюрьма. Снесена в 1917 г. Демидов сад — сад при Демидовском доме призрения бедных, отличался большим количеством малохудожественных статуй, фонтанов, гротов.

С. 423. *Александр Михайлович Наумов* (1835—1879) — публицист, сотрудник «Русского мира» и «Отечественных записок».

С. 424. *...эпизод в Вольно-экономическом обществе, когда И. В. Вернадский, возражая тогдашнему председателю общества Киттары...*— Вольное экономическое общество — первое в России экономическое общество, учрежденное в Петербурге в 1765 г. и сыгравшее заметную роль в развитии русской науки и экономики. В 1861—1915 гг. в работе общества принимали участие Д. И. Менделеев, В. В. Докучаев, А. М. Бутлеров, А. Н. Бекетов, П. П. Семенов-Тян-Шанский, Е. В. Тарле. В 1915 г. деятельность ВЭО фактически прекратилась, а в 1919 г. оно было ликвидировано. М. Я. Киттары (1825—1880) — профессор технологии сначала в Казанском (1853—1857), а затем в Московском (1857—1879) университетах. Председателем ВЭО не был.

С. 425. *«И в дом мой смело и свободно...»* — из стихотворения Некрасова «Когда из мрака заблужденья...» (1845).

С. 431. *...вся наша семья переехала на север.*— Семья Короленко переехала из Ровно в Кронштадт в 1872 г.

...переводил для Окрейца романы...— С. С. Окрейц (1834—?) — издатель, критик, публицист.

...в «корректурном бюро» некоего Студенского.— В своих «Воспоминаниях» члена «Земли и воли» крупный книгоиздатель Л. Пантелеев дал сходную характеристику родственнику Н. Г. Чернышевского и его секретарю А. О. Студенскому (1837—1877?): «...По целым дням, а нередко и за полночь диктовал он (Н. Г. Чернышевский.— *Б. А.*) свои статьи Алексею Осиповичу Студенскому, кажется бывшему семинаристу из Саратова, фанатически преданному Н. Г. ...Личность крайне оригинальная... Алекс. Осип. был замечательный корректор; издал даже какое-то руководство для корректоров; потом — «Всполохи разума», свидетельствующие о не совсем нормальном душевном состоянии. Умер в больнице душевнобольных» (Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. М., 1958. С. 111). Н. Г. Чернышевский вспоминал о Студенском: «Алексей Осипович был очень благородный

юноша, когда я знал его... Только терпеть я не мог вздорных фантазий. И он даже не говорил мне о них: не я ж учил бы его писать философские трактаты! — какие он печатал» (Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: В 15 т. М., 1950. Т. 15. С. 150).

С. 435. *...рассказ Лескова «Очарованный странник».*— Эта повесть Лескова печаталась в окт.— нояб. 1873 г.

С. 436. *...я был уже в Петровской академии.*— Короленко был принят в академию 1 февр. 1874 г.

С. 437. *...отразила на первом уставе...*— Короленко весьма точно передает особенности устава Петровской земледельческой и лесной академии (ныне Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева), утвержденного 27 окт. 1865 г.

С. 438. *«...не нуждающихся в ежедневном надзоре».*— 25 янв. 1866 г. происходило официальное открытие Петровской академии (занятия начались позже). Выступивший с речью Н. И. Железнов сказал: «Академия должна рассматривать слушателей не как юношей, еще не знающих, к чему они способны, и нуждающихся в ежедневном надзоре, а как людей, сознательно избирающих для себя круг деятельности и вполне знакомых с гражданскими обязанностями» (Сборник сведений о Петровской земледельческой и лесной академии. М., 1887. С. 7).

...покрывало Изиды...— Изображения Изиды — богини плодородия и материнства в древнем Египте — скрывались в храмах под покрывалами, символизирующими недоступность ее тайн.

В 1872 году последовало преобразование...— Первоначальный устав академии был частично изменен в 1872 г., а в 1873 г. академия была преобразована в высшее учебное заведение со строго установленной программой обучения и обязательными экзаменами.

С. 439. *Гано* — А. Гано (1804—1887), один из основателей электромагнитной теории, автор популярного учебника физики.

Филипп Николаевич Королев (1821—1894) — директор Петровской академии с 1870 по 1876 г.

С. 440. *Ильенков* — П. А. Ильенков (1819—1881), профессор Петровской академии с 1865 по 1875 г.; автор «Курса химической технологии» (1851).

С. 445. *Альгвазилы* — испанские судьи и полицейские, в России так иронически называли чиновников судебного и полицейского ведомств.

С. 446. *Чтобы барка шла ходчее...*— Короленко приводит один из вариантов широко распространенного в 70-х гг. стихотворения «Барка», написанного, вероятно, членом кружка «чайковцев» и одним из

редакторов «Земли и воли» Д. А. Клеменцем (1848—1914). Цитируемые Короленко строки в этом стихотворении читались так: «Чтобы барка шла вернее — Надо лоцмана в три шеи!» (Вольная русская поэзия второй половины XIX века (Б-ка поэта. Большая сер.). Л., 1959. С. 256).

«Отречемся от старого мира...» — Из получившего широкое распространение стихотворения П. Л. Лаврова, напечатанного впервые без подписи в № 12 журнала «Вперед!» под названием «Новая песня» (Поэты-демократы 1870—1880-х годов. Л., 1968. С. 66—68).

С. 447. *...«Отщепенцев» Соколова.*— См. примеч. к с. 403.

...«Анархии по Прудону» Бакунина...— «Анархия по Прудону» была написана ближайшим соратником и последователем Бакунина Д. Гийомом (1844—1916) и отпечатана в типографии М. П. Сажина «Русское богатство» в 1874 г.

«И если деспот мощною рукою...» — Короленко почти точно цитирует стихотворение В. Волховского «Кричи!», которое широко распространилось среди студенчества под названием «К бою» еще до опубликования в сборнике «Из-за решетки» (Женева, 1877).

С. 448. *Василий Николаевич Григорьев* (1852—1925) — статистик, публицист. Встреча в Петровской академии и последующая многолетняя дружба с Григорьевым сыграли большую роль в жизни Короленко.

Константин Антонович Вернер (1850—1902) — поступил в Петровскую академию в 1874 г. За подачу коллективного протеста вместе с Короленко и Григорьевым был исключен из академии и выслан в город Глазов Вятской губернии. В 1879 г. снова поступил в Петровскую академию. С 1895 г. до дня смерти был профессором в Московском сельскохозяйственном институте.

С. 450. *У Писарева это сказано несколько иначе...*— Писарев в статье «Наша университетская наука» (1863) писал: «...Скептицизм, проведенный в жизнь с неумолимой логической последовательностью, называется систематической подлостью».

...два брата Пругавины...— А. С. Пругавин (1856—1880) привлекался по обвинению в участии в «Обществе для пропаганды в народе» и в связи с убийством шпиона Рейнштейна; В. С. Пругавин (1858—1896) — статистик и экономист, автор книги «Промыслы Владимирской губернии» (М., 1882—1884), позднее близкий знакомый Короленко.

С. 451. *«Набат»* — журнал, ставший органом «якобинского» направления в народническом движении, который Ткачев стал издавать в Женеве в 1875 г.

Ткачев был довольно известный писатель, работавший в благосветловском «Деле»...— П. Н. Ткачев ежегодно с 1867 по 1880 г. публиковал библиографические заметки, рецензии и статьи в литературно-политическом журнале «Дело», редактором-издателем которого с 1866 по 1880 г. был Г. Е. Благосветлов (1824—1880).

...Лаврова, который тоже бежал из ссылки...— После покушения Каракозова 4 апр. 1866 г. П. Л. Лавров был арестован и сослан в Вологодскую губернию. В февр. 1870 г. при содействии Г. А. Лопатина П. Л. Лавров бежал в Париж.

«Вперед!» — журнал, издававшийся в Цюрихе и Лондоне П. Л. Лавровым в 1873—1877 гг.

...образ народа-страдальца...— Короленко вспоминает следующее место из брошюры Ткачева «Задачи революционной пропаганды в России (Письмо к редактору журнала «Вперед!»)», опубликованной в Лондоне в 1874 г.: «Мы не хотим ждать, пока распятый мученик «поймет и ясно осознает», почему ему неудобно висеть на кресте, почему колются тернии, из чего сделаны те гвозди, которыми прибиты его руки и ноги, и почему они причиняют ему такие страдания. Нет, мы хотим только во что бы то ни стало и как можно скорее свалить крест и снять с него страдальца» (Ткачев П. Н. Соч.: В 2 т. М., 1976. Т. 2: Философское наследие. С. 36).

...программа и еще статья Лаврова: «Разговор последовательных».— Имеются в виду соответственно статья Лаврова «„Вперед!“ — Наша программа» (1873) и «Кому принадлежит будущее? — Разговор последовательных людей» (1874).

С. 452. *Для Достоевского народ был «богоносец»...*— Короленко имеет в виду идею героя романа «Бесы» Шатова, утверждавшего, в частности: «...истина одна, а стало быть, только единый из народов и может иметь бога истинного, хотя бы остальные народы и имели своих особых и великих богов. Единый народ — «богоносец» — это русский народ...» (Достоевский. Т. 10. С. 200).

...Иван Аксаков... в своей газете...— С 1880 по 1885 г. И. С. Аксаков издавал газету «Русь».

...медик Башкирцев.— Короленко имеет в виду героя повести Н. Н. Златовратского (1845—1911) «Золотые сердца» (1877) Башкирцева.

С. 453. *...«от ликующих, праздно болтающих», «...где работают грубые руки»...*— из стихотворений Некрасова «Рыцарь на час» (1860—1862) и «Ночь. Успели мы всем насладиться...» (1858).

С. 454. *«...Нет равного ему в истории...»* — Короленко приводит цитату из цикла статей Н. К. Михайловского «Записки про-

фана» (Михайловский Н. К. Соч.: В 10 т. СПб., 1907. Т. 3. С. 707).

...я увлекся статьями Михайловского и пропагандировал их между товарищами...— Философские, социологические, эстетические взгляды одного из ведущих идеологов народничества, Н. К. Михайловского (1842—1904), оказали большое влияние на мировоззрение и творчество Короленко. В статье «Воспоминания о Чернышевском» (1904) Короленко называет Михайловского «главным представителем» нового литературного направления, сущность его социологических взглядов излагает в статье «Сергей Николаевич Южаков» (1911), развернутую характеристику личности Михайловского дает в воспоминаниях «Николай Константинович Михайловский» (1914). См. также: Бялый Г. А. В. Г. Короленко и Н. К. Михайловский в их переписке//От Грибоедова до Горького: Межвузовский сборник к 100-летию со дня рождения Н. К. Пиксанова. Л., 1979. С. 85—106.

С. 455. *Страхов* — Н. Н. Страхов (1828—1896), публицист, критик, философ.

С. 457. *Министр П. А. Валуев* (1815—1890) — граф, русский государственный деятель. Участвовал в законодательных работах под руководством М. М. Сперанского. В 1858—1861 гг.— директор департамента министерства государственных имуществ, в 1861—1868 гг.— министр внутренних дел, а с 1872 по 1877 г.— министр государственных имуществ.

...новом способе пудлингования стали...— Пудлингование — металлургический процесс передела чугуна в мягкое малоуглеродистое (пудлинговое) железо. Было изобретено в 1789 г. в Англии.

С. 458. *Профессор Цветков* — Я. Я. Цветков, профессор физики в Петровской академии с 1869 по 1885 г.

...тутора катковского лицея...— Катковским лицеем называли «Императорский лицей в память цесаревича Николая», основанный в 1868 г. по инициативе и на средства М. Н. Каткова. Тутор (лат.) — наставник, надзиратель.

С. 463. *После одной бурной сходки мы с Григорьевым заявили, что... составим свой адрес...*— Более подробно о студенческих волнениях в Петровской академии см.: Храбровицкий А. В. Первое общественное выступление В. Г. Короленко // Изв. АН СССР. Отд-ние лит. и яз., 1956. Т. 15. Вып. 4.

С. 464. *Ливен* — князь А. А. Ливен (1839—1913), министр государственных имуществ с 1881 по 1887 г.

С. 467. *...профессора Климента Аркадьевича Тимирязева...*— К. А. Тимирязев преподавал ботанику и физиологию растений в Пет-

ровской академии с 1870 по 1892 г. Взаимное глубокое уважение Короленко и Тимирязев сохранили на протяжении всей жизни. Подробнее о взаимоотношениях и переписке Короленко и Тимирязева см.: Полосатова Е. В. К. А. Тимирязев и В. Г. Короленко // Тр. ин-та естествознания и техники АН СССР, 1955. Т. 4. С. 369—375.

Я рисовал для его лекций демонстративные таблицы...— Одна из этих таблиц изображала метаморфоз растений по Гете. В примечаниях к первой лекции из цикла «Жизнь растения» Тимирязев называет эту таблицу «прекрасной картиной».

С. 472. *...писал об убийствах, совершаемых повсеместно в наших участках.*— Короленко писал об этом в статьях «Прискорбные случаи из области суда» (1896), «Любители пыточной археологии» (1907) и др.

С. 473. *...жандармы доставили меня на Ярославский вокзал.*— Это произошло 23 марта 1876 г.

С. 474. *Усть-Сысольск* — с 1930 г. Сыктывкар.

С. 476. *...по делу Иванчин-Писарева и графини Потоцкой?* — А. И. Иванчин-Писарев (1849—1916), член кружка «чайковцев», после окончания Петербургского университета в 1872 г. поселился в своем имении Потапово, где вначале открыл школу, а затем организовал артельную столярную мастерскую, члены которой под его руководством изучали нелегальную литературу и готовились вести революционную пропаганду. Иванчин-Писарев вместе с Д. Клеменцем привезли в Потапово типографские принадлежности для печатания революционных изданий. После доноса перешел на нелегальное положение и выехал за границу. С деятельностью Иванчина-Писарева была связана пропаганда, которую вели среди крестьян Даниловского уезда Ярославской губернии врач И. И. Добровольский (ок. 1850) и акушерка М. П. Потоцкая (ок. 1851), которая была арестована в 1874 г., но по «процессу 193-х» признана невиновной и выслана под гласный надзор в Нижегородскую губернию.

С. 481. *Суровцев в это время скрывался...*— Д. Я. Суровцев (1852—1925) — член партии «Народная воля». В 1875 г. был исключен из Петровской академии. Выслан в 1877 г. в город Холмогорск, откуда скрылся и перешел на нелегальное положение. Осужден в 1884 г. по делу Веры Фигнер на 15 лет каторжных работ.

С. 486. *...ворвался мой брат* — Илларион Галактионович Короленко.

С. 491. *...мы высадились на кронштадтской пристани.*— 10 апр. 1876 г.

...«Голос» Краевского решился напечатать заметку об этом деле... беспорядки сразу стихли.— Здесь Короленко объединяет содержание двух заметок: газета «Голос» писала, что студенческие волнения в академии имели «исключительно характер школьной выходки» и одним из пунктов их заявления было требование, «чтоб допущено было самое широкое порто-франко по части принимания студентами в своих нумерах женщин» (1876. 30 марта), а в газете «Современные известия» приводился эпизод с исправником, выслушав речь которого студенты якобы «пожали ему руки» (1876. 26 марта).

С. 494. *...начальник минного офицерского класса, Владимир Павлович Верховский.*— Минный офицерский класс был основан в Кронштадте в 1874 г. Организация класса была возложена на контр-адмирала К. П. Пилкина, а его помощником назначен капитан-лейтенант В. П. Верховский (1837—1917), ставший затем начальником класса и одним из лучших специалистов минного дела в русском флоте. Важным экзаменационным предметом в минном офицерском классе было изучение «самодвижущейся мины Уайтхеда» (прообраза современной торпеды), изобретенной Р. Уайтхедом и М. Лупписом в 1866 г., говоря о которой ниже Короленко значительно преувеличивает ее технические данные. В 1896 г. В. П. Верховский был назначен начальником главного управления кораблестроения и, как сообщается в официальной «Военной энциклопедии», «сыграл значительную и неблагоприятную роль в деле упадка нашего флота» (Военная энциклопедия. Пб., 1912. Т. 6. С. 332).

С. 497. *...Перелешин, впоследствии погибший на «Весте».*— Во время войны с Турцией 1872—1878 гг. крейсер «Веста» выдержал бой с турецким броненосцем. Во время боя убито три офицера, один из которых — Михаил Перелешин.

С. 498. *...великий князь Константин Николаевич (как известно, либерал и сторонник реформ).*— Великий князь Константин Николаевич (1827—1892) был председателем «комитета по крестьянскому делу» и принял участие в подготовке отмены крепостного права. В 1862—1863 гг. состоял наместником в Польше, пытаясь проводить примирительную политику. В 1865—1881 гг. был председателем Государственного комитета. После вступления на престол Александра III отказался от всех должностей.

С. 499. *...Попов, строитель не менее знаменитых «поповок»...*— А. А. Попов (1821—1898) — адмирал, участник обороны Севастополя, один из создателей русского броненосного военного флота. «Поповками» называли броненосцы круглой формы, построенные по проекту А. А. Попова. В повести «Беспокойный адмирал» (1894)

К. М. Станюкович изображает Попова умным, благородным, талантливым, но вспыльчивым человеком.

С. 500. *...Иван Аксаков писал отцу и брату о настроении тогдашнего общества...*— Короленко неточно цитирует, но верно передает смысл письма И. С. Аксакова от 9 окт. 1856 г. (Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. М., 1892. Т. 3. С. 291).

С. 501. *В... романе «Марево» (Клюшникова)...*— Роман В. П. Клюшникова (1841—1892) печатался в 1864 г. в «Русском вестнике». Отдельным изданием вышел в Москве в 1865 г. Эпизода, который пересказывает Короленко, в романе нет.

...«Домовладельцы, смотрите за своими дворниками».— Отвечая на поздравления после неудачного покушения Соловьева, Александр II сказал: «Нужно, чтобы домовладельцы смотрели за своими дворниками и жильцами. Вы обязаны помогать полиции и не держать подозрительных людей. Посмотрите, что у нас делается. Скоро честному человеку нельзя будет показаться на улице» (Правит. вестник. 1879. № 77).

С. 502. *...Дегаев, ярый революционер, террорист, потом предатель... и, наконец... устроивший убийство Судейкина...*— С. П. Дегаев был членом военно-революционной организации, тесно связанной с исполнительным комитетом «Народной воли». По поручению Веры Фигнер устроил в Одессе партийную типографию и, будучи в 1882 г. арестован, вошел в соглашение с жандармским полковником Г. П. Судейкиным. После фиктивного побега занимался провокаторской деятельностью, выдал В. Н. Фигнер, всю военно-революционную организацию и ряд других революционеров. В 1883 г. за границей покаялся перед революционерами, и ему было предложено убить Судейкина. В декабре этого же года на квартире Дегаева Стародворским и Конашевичем Судейкин был убит. Подробно о Дегаеве и обстоятельствах убийства см.: Давыдов Ю. Н. Герман Лопатин, его друзья и враги. М., 1984. С. 110—139.

С. 503. *Он... прочитал статью Добролюбова о Кавуре... Чижова он причислял к людям кавуровского типа, себя — к типу Гарибальди.*— Н. А. Добролюбов в статьях «Два графа» (1860), «Из Турина» (1861) и «Жизнь и смерть графа Камилло Бензо Кавура» (1861) писал о государственном деятеле Италии периода ее восстановления К. Б. Кавуре (1810—1861) как о политике, не чуждавшемся весьма сомнительных средств для достижения своих целей. Высоко оценивая деятельность Гарибальди в этих статьях, Добролюбов развернутой характеристики его личности не дает. Сопоставление позиций, занимаемых Кавуром и Гарибальди, а также отрицательную характе-

ристику Кавура дает Н. Г. Чернышевский в статьях «Общий очерк хода событий в Южной и Средней Италии» (1860) и «Граф Кавур» (1861).

Через год срок нашей ссылки... кончался.— Короленко был освобожден из-под надзора 14 мая 1877 г.

С. 504. *В это время Иван Васильевич Вернадский, известный когда-то издатель «Экономиста», полемизировавшего с Чернышевским, решил издавать новый еженедельный «Экономический указатель».*— И. В. Вернадский (1821—1884) — профессор политэкономии Киевского и Московского университетов, а затем Главного педагогического института и Александровского лицея в Петербурге. Издавал журнал «Экономист» (1858—1864) и «Указатель экономический, политический и промышленный» (1857—1861). Чернышевский критически относился к экономическим теориям И. В. Вернадского и неоднократно полемизировал с их автором.

«Новости» — ежедневная газета, издававшаяся в Петербурге с 1877 по 1880 г. журналистом, издателем и драматургом О. К. Нотовичем (1849—1914).

...Судились участники Казанской демонстрации.— 6 дек. 1876 г. на площади перед Казанским собором состоялась демонстрация, во время которой Г. В. Плеханов произнес речь и было развернуто знамя с надписью «Земля и воля». Арестованные участники демонстрации судились в январе 1877 г.

С. 505. *...памятный «процесс 193-х».*— Суд по делу «о революционной пропаганде в империи» над участниками так называемого хождения в народ происходил в присутствии сената с 18 окт. 1877 г. по 23 янв. 1878 г. Четверо подсудимых: С. Ф. Ковалик, П. И. Войнаральский, Д. М. Рогачев и И. Н. Мышкин — привлекались также за организацию «сообщества», ставившего целью ниспровержение существующего строя. 28 подсудимых были приговорены к каторжным работам, 18 — к ссылке в Сибирь, 18 — к высылке в отдаленные губернии и еще более 30 приговоренных — к менее тяжким наказаниям. Остальные — оправданы или освобождены, так как им был зачтен срок предварительного заключения, доходивший у некоторых до четырех лет.

С. 507. *...Александр Квятковский... Желябов...*— А. А. Квятковский (1852—1880) и А. И. Желябов (1851—1881) — виднейшие деятели партии «Народная воля». А. Квятковский за участие во многих террористических актах был казнен в 1880 г. А. Желябов был арестован за два дня до успешного покушения на Александра II и заявил о своей руководящей роли в этом покушении. Казнен 3 апр. 1881 г.

С. 508. *«Грибоеда везем»,— пояснили ему возчики-грузины.—* Короленко не совсем точно цитирует отрывок из второй главы «Путешествия в Арзрум» Пушкина.

С. 509. *Скабичевский со своей простоватой прямолинейностью объявил в «Биржевых ведомостях», что «молодежь тысячами голосов провозгласила первенство Некрасова». Достоевский отвечал на это в «Дневнике писателя».—* Воспоминания Короленко о похоронах Некрасова во многом совпадают и частично дополняют воспоминания Г. В. Плеханова (Похороны Некрасова // Литература и эстетика. М., 1958. Т. 2. С. 206—209), Л. Дейча (Некрасов и семидесятники // Пролетарская революция. 1921—1922. № 3) и Ф. М. Достоевского (Достоевский. Т. 24. С. 111).

Она достигает порой величайших степеней развития, но тип ее...— Короленко пользуется здесь одним из важных пунктов социологической теории Н. К. Михайловского — учением о типах и степенях развития, сформулированным им в первую очередь в статье «Что такое прогресс?» (1869). Насколько эта теория была значима для Короленко в этот период, свидетельствуют воспоминания О. В. Аптекмана: «Спор происходил по поводу церковнославянского языка. Я отнесся отрицательно к этому языку, считая его бедным по сложению и незвучным по форме. Вл. Гал. в этом случае мастерски воспользовался учением Михайловского о типах и ступенях (следует читать «степенях».— *Б. А.*) и убедительно доказал мне ошибочность моего взгляда на церковнославянский язык» (Короленко в восп. С. 62).

С. 511. *...популярное изложение книги Бокля...—* Имеется в виду следующее издание: Г. Т. Бокль. История цивилизации в Англии (два тома), в популярном изложении кандидата юридических наук О. К. Нотовича. СПб., 1876.

С. 513. *...грандиозный процесс Юханцева...—* Юханцев, чиновник по особым поручениям министерства финансов и кассир Петербургского общества взаимного кредита, растратил более двух миллионов рублей. Дело против него было возбуждено в марте 1878 г. и слушалось в янв. 1879 г., вызвав пристальный интерес общественности.

С. 515. *...приезжали в Петербург лица, предлагавшие убить Трепова.—* М. В. Фроленко в статье «Из воспоминаний о Вере Ивановне Засулич» (Каторга и ссылка. 1924. № 3) пишет, что В. А. Соинский, И. Ф. Волошенко и Г. А. Попко в конце 1877 г. начали слежку за Треповым для того, чтобы совершить на него покушение, но В. Засулич их опередила.

С. 516. *...приостановившее течение его блестящей юридической карьеры.*— После оправдания присяжными Веры Засулич А. Ф. Кони вынужден был покинуть должность председателя окружного суда и занялся гражданскими делами в судебной палате. В 1886 г. был назначен обер-прокурором уголовного кассационного департамента сената.

С. 517. *...Корш рискнул и поместил письмо скрывавшейся Засулич. Газету* («Северный вестник».— *Б. А.*), *конечно, закрыли.*— Литературная и политическая газета «Северный вестник» издавалась в Петербурге с мая 1877 г. по апр. 1878 г. Фактическим редактором ее был журналист и историк литературы В. Ф. Корш (1828—1883). Письмо Веры Засулич было напечатано в газете за 5 апр. 1878 г.

С. 519. *...с товарищем Мамиконианом.*— К. Н. Мамиконян (1858—?) был вольнослушателем сначала в Технологическом, а затем в Горном институте, где и познакомился с Короленко. Арестован 22 апр. 1879 г., так как при обыске у него был найден корректурный экземпляр «Земли и воли». Подробнее о нем см.: Литературные связи: Сборник. Ереван, 1973. Т. 1. С. 227—228.

С. 521. *Юлий Шрейер* — Ю. О. Шрейер (1835—1887), редактор-издатель газеты «Новости» (1872—1876) и корреспондент ряда петербургских газет.

С. 521—522. *...заметка моя появилась...*— Заметка Короленко «Драка у Апраксина двора (письмо в редакцию)» была напечатана в газете «Новости» 7 июня 1888 г.

С. 522. *...Суворин опирается на нее в полемике с Полетикой.*— В газете «Новое время» от 11 июня 1878 г. была напечатана статья А. С. Суворина, автор которой полемизировал по поводу происшествия в Апраксином переулке с газетой «Биржевые ведомости», издававшейся В. А. Полетикой. В «Биржевых ведомостях» были помещены две заметки (7 июня и 9 июня), где происшествие в Апраксином дворе объяснялось как вспышка национальной розни.

Мы были «лавристы»...— то есть последователи учения П. Л. Лаврова, признававшего необходимым продолжительную социалистическую пропаганду, для которой революционеры должны пройти длительный период «самоподготовки». В отличие от «лавристов», сторонники теории М. Бакунина («бакунисты») отстаивали «перманентную революционность народа» и требовали агитации «действием», то есть создания в народе «боевых дружин» с целью в самом ближайшем будущем вызвать всеобщее восстание. См. главы «Ми-

хаил Александрович Бакунин и „бакунизм“» и «Петр Лаврович Лавров и „лавризм“»: Богучарский В. Активное народничество семидесятых годов. М., 1912. С. 63—131.

...панихида по Сидорацком.— Панихида состоялась 5 апр. 1878 г.

С. 523. *Дýша Ивановская.*— Евдокия (Авдотья) Семеновна Ивановская (1855—1940) родилась в семье священника в Тульской губернии. Принимала участие в революционном движении, в 1876 г. арестована в Москве, пробыла под стражей более полутора лет. В 1879 г. снова арестована и выслана под гласный надзор сначала в Олонецкую губернию, а затем в Кострому. В 1883 г. освобождена. В 1886 г. вышла замуж за В. Г. Короленко.

С. 524. *...брат их, земский врач, носивший в кружках прозвище «Василья Великого», был арестован и убежал из московской Басманной части.*— В. С. Ивановский (1845—1911), брат А. С. Короленко; участник народнического движения. В 1877 г. бежал из заключения, эмигрировал в Румынию, где сблизился с румынскими социалистами. Короленко посвятил ему статью «Памяти замечательного русского человека» (Рус. ведомости. 1911. № 199).

С. 525. *Это был Лопатин...*— Речь после панихиды произнес студент Николай Лопатин (Былое. 1924. № 23. С. 285).

С. 526. *...появилась брошюра Кравчинского...*— Короленко имеет в виду брошюру Кравчинского «По поводу нового приговора», изданную в Петербурге в мае 1878 г.

С. 527. *Исполнителями террористического акта были Кравчинский и Баранников. Лошадью правил Адриан Михайлов. В прокламации, выпущенной по этому поводу, выставлялся мотив, близкий к мотиву Веры Засулич: месть за погубленных товарищей.*— С. Н. Кравчинский (Степняк, 1851—1895) — инициатор «хождения в народ». В 1873 г., после ареста и побега, скрылся за границу, участвовал в национально-освободительных восстаниях в Герцеговине и Италии. В 1878 г. был одним из организаторов «Земли и воли» и редактором ее печатного органа. После убийства Мезенцева скрылся и жил за границей. Автор очерков «Подпольная Россия» (1882), романа «Андрей Кожухов» (1889), повести «Домик на Волге» (1889). А. И. Баранников (1858—1883) — видный член «Земли и воли» и член исполнительного комитета «Народной воли». Помимо покушения на Мезенцева, участвовал во многих террористических актах (подкоп под Московско-Курскую железную дорогу и подкоп под Малую Садовую с целью убийства царя, попытка освобождения Войнаральского). В 1881 г. приговорен к бессрочной каторге и умер в Петропавловской крепости. А. Ф. Михайлов (1853—1929) принимал учас-

тие в «хождении в народ» и в ряде террористических актов. Один из создателей Петербургской «вольной» типографии, где и была напечатана написанная Кравчинским прокламация «Смерть за смерть!». В прокламации говорилось, что Мезенцев был убит не как шеф жандармов, а как человек, совершивший ряд тяжких преступлений: избиение заключенных в Петропавловской крепости, отказ в ходатайстве о смягчении приговоров по «процессу 193-х», утверждение смертного приговора Ковальскому. В 1880 г. А. Ф. Михайлов был приговорен к смертной казни, замененной двадцатилетней каторгой, которую он отбывал на Каре.

...в стихотворении А. А. Ольхина...— А. А. Ольхин (1839—1897) — популярный адвокат и политический поэт. Выступал в качестве защитника по процессу нечаевцев, «процессу 193-х» и др. Не входя в организацию «Земля и воля», оказал ей ряд услуг. Короленко цитирует строки из стихотворения А. Ольхина «У гроба» (1878). Полный текст см.: Вольная русская поэзия второй половины XIX века. Л., 1959. С. 440—445.

...Пьянков...— И. И. Пьянков (1855—1911), участник «хождения в народ», член организации «Черный передел». В 1880 г. арестован и сослан в Иркутскую губернию.

...моего зятя...— то есть Н. А. Лошкарева (1855—1912), мужа сестры В. Г. Короленко Марии Галактионовны. В 1879 г. Н. А. Лошкарев был сослан в Красноярск.

С. 528. *...Третье отделение... здание у Цепного моста...*— «Собственная Его Императорского Величества Канцелярия» состояла из нескольких отделений. Первое — законодательное, второе занималось соблюдением законов, третье должно было карать тех, кто восставал против самодержавия. Учредил третье отделение в 1826 г. Николай I. Через год был создан корпус жандармов во главе с А. Х. Бенкендорфом как исполнительный отдел этого учреждения. Здание III отделения (с 1880 г. преобразованное в департамент полиции) находилось напротив Пантелеймоновского моста, созданного на месте Цепного моста, построенного в 1820-х гг. (ныне мост Пестеля). Подробнее об этом см.: Тютчев Н. Здание у Цепного моста // Былое. 1918. № 4, 5.

С. 529—530. *Тургенев горячо рекомендовал этот рассказ молодого автора* (И. Я. Павловского.— *Б. А.*) *...и это навлекло на знаменитого писателя громы и молнии в газете Каткова.*— И. Я. Павловский (1852—1924), участник революционного движения, привлекался по «делу 193-х», более двух лет содержался в заключении. В 1878 г. бежал за границу, где написал автобиографический очерк «В оди-

ночном заключении», который был переведен на французский язык с предисловием и послесловием Тургенева и напечатан во французской газете «Le Temps». Это предисловие вызвало резкие нападки со стороны Б. М. Маркевича и М. Н. Каткова, обвинявших Тургенева в том, что он «гнусное дело» нигилистов «признал правым». Подробнее об этом см.: Тургенев И. С. Полн. собр. соч.: В 28 т. М., 1966. Т. 15. С. 353—354, 387—388.

С. 530. *...писал Лавров в своем журнале «Вперед»...* — Короленко не совсем точно цитирует статью Лаврова «Счеты русского народа» (1873).

С. 531. *...расширен механизм так называемого «административного порядка».* — О системе административной ссылки и об усилении административно-полицейских мер в этот период см.: Зайончковский П. А. Кризис самодержавия на рубеже 1870—1880 годов. М., 1964. С. 59—82, 183—186.

...на Вторую улицу Песков. — «Песками» называли район Петербурга от Старо-Невского проспекта до Смольного монастыря. Официальное название — Рождественская часть.

С. 533. *...Гольдсмит, жена редактора «Слова».* — Редактор-издатель журнала народнического направления «Слово» (1878—1881) И. А. Гольдсмит (1845—1890) и его жена С. И. Гольдсмит были причастны к революционному движению. На их квартире, по воспоминаниям В. Н. Фигнер, собирались Ю. Н. Богданович, А. И. Иванчин-Писарев, Н. Н. Драго для разработки программы революционных действий.

С. 536. *...в «Русском богатстве» оглашены выдержки из некоторых документов, относящихся к моей биографии.* — Короленко подразумевает статью В. Евгеньева-Максимова «Из истории „Русского богатства"» (Рус. богатство. 1917. № 11, 12). Более подробно о причинах высылки Короленко из Петербурга говорилось в статье А. Ф. Покровского «В. Г. Короленко под надзором полиции» (Былое. 1918. № 13).

С. 538. *А. А. Остафьев* — А. А. Остафьев (1855—?) принимал участие в издании нелегальных газет «Начало» и «Земля и воля». Во время обыска в февр. 1879 г. у него были обнаружены принадлежности для типографии. Арестован в 1881 г. при переходе через границу и выслан в Нижегородскую губернию.

...с редакцией «Земли и воли». — Редакторами «Земли и воли», органа революционной организации того же названия, были С. Кравчинский, Д. Клеменц, Н. Морозов, Л. Тихомиров, Г. Плеханов. С нояб. 1878 по апр. 1879 г. вышло пять номеров этого издания. Было пре

кращено вследствие распада организации «Земля и воля» на две группы («Народная воля» и «Черный передел»).

Рейнштейн... убит революционерами.— Провокатор Н. В. Рейнштейн, выдавший многих участников, был убит в февр. 1879 г. одним из членов организации «Земля и воля».

Петр Зосимович Попов (1857—1884) — член организации «Земля и воля». В 1879 г. арестован по делу об убийстве Рейнштейна и выслан в Минусинск, где покончил с собой. Подробнее о нем см.: Т. 3. Ч. 2. Гл. 2.

С. 540. *...первый рассказ... Щедрин мне вернул...*— Это был рассказ «Эпизоды из жизни „искателя“». В статье «Николай Константинович Михайловский» Короленко вспоминает, что, возвращая рукопись, Щедрин сказал: «Оно бы ничего... да зелено... зелено очень». Рассказ был напечатан в журнале «Слово» (1879. № 7).

...обыск повторился.— Первый обыск был произведен 28 февр., второй — 4 марта 1879 г.

С. 546. *...рассказ «Три письма»... говорили, что это — история Битмита...*— В основу рассказа Г. И. Успенского «Три письма» (1878) действительно легла история британского подданного Н. Е. Битмита (ок. 1842—1886), товарища Г. И. Успенского по Тульской гимназии, позднее привлекавшегося к дознанию в связи с участием в революционном движении и высланного из России в 1879 г. Подробнее об этом: Успенский Г. И. Полн. собр. соч. М., 1949. Т. 4. С. 661.

С. 549. *К. А. Иванайнен* (1857—1887) работал слесарем на Петербургском патронном заводе. В 1873 г. посещал кружок «чайковцев». В 1874 г. нелегально выехал за границу и жил в Швейцарии. После возвращения участвовал в деятельности «Северного союза русских рабочих». В 1877 г. арестован и выслан в Олонецкую губернию. В 1880 г. поселился в Одессе и вошел в народовольческую группу М. Н. Тригони, был арестован в 1881 г. и приговорен к 15 годам каторги на Каре. Покончил с собой.

С. 551. *...Владимир Викторович Лесевич рассказывал о впечатлениях своей высылки в Сибирь.*— Философ-позитивист В. В. Лесевич (1837—1905) в 1879 г. был арестован по делу о тайной типографии и выслан в Восточную Сибирь, где жил до 1882 г.

С. 553. *В газете, издаваемой Гирсом, «Русская правда»... появился фельетон Гирса...*— Писатель и журналист Д. К. Гирс (1836—1886) издавал газету «Русская правда» с 1878 по 1880 г. Его статья под названием «Воскресные сказки. Открытое письмо к генерал-адъютанту А. Р. Дрентельну» была напечатана 8 окт. 1878 г. Общий смысл

статьи Короленко передает правильно, хотя цитируемых им ниже слов в статье Гирса нет.

С. 554. *...произведено покушение.*— 13 марта 1879 г. Л. Ф. Мирский (ок. 1859—?) верхом на лошади догнал карету Дрентельна и выстрелил в него, но промахнулся.

С. 555. *...коллективное народное предчувствие...*— Это поверие Короленко более подробно излагал в 1918 г.: «Есть, говорят, у турок идущее исстари поверие. У целой нации и особенно у правящих классов существует нечто вроде предчувствия, что османов в конце концов непременно выгонят в Азию, из которой они вышли. Богатые турки предпочитают поэтому, чтобы их хоронили в Скутари, на азиатском берегу. Тогда неверные после своего торжества не оскорбят их праха» (Короленко В. Г. Тургенев и самодержавие/Публ. Л. Назаровой//Рус. литература. 1972. № 2. С. 156).

С. 556. *Грибоедов* — Н. А. Грибоедов (1842—1901) был арестован в 1873 г. по обвинению в распространении революционной литературы. Ездил в Сибирь с целью освобождения Н. Г. Чернышевского, способствовал побегу Г. Лопатина. В 1879 г. был арестован по делу о тайной типографии.

С. 558. *Как щедринского действительного статского...*— Возможно, имеется в виду очерк Щедрина «Он же», вошедший в цикл «Господа ташкентцы», где рассказывалось о том, как ошибочно был высечен статский советник, хотя очерк впервые опубликован в 1880 г., а Короленко и Грибоедов находились в заключении в 1879 г.

С. 559. *...так называемого чигиринского дела, Дейча или Стефановича...*— Л. Г. Дейч (1855—1943), Я. В. Стефанович (1853—1915) и И. В. Бохановский (1848—1917) из крестьян Чигиринского уезда Киевской губернии создали «тайную дружину», предъявив им «царскую грамоту», в которой от имени царя им приказывалось поднять восстание против чиновников и дворян, которые мешают царю дать крестьянам, кроме воли, еще и землю. Будучи арестованы, Стефанович, Дейч и Бохановский 27 мая 1878 г. бежали из Киевского тюремного замка.

С. 560. *А. П. Чарушников* (1852—1913) принимал участие в революционном движении, в 1879 г. был выслан из Петербурга в Глазов, где близко познакомился с Короленко. В 1898 г. совместно с С. П. Дороватовским издал первое двухтомное собрание «Очерков и рассказов» М. Горького.

С. 561. *Г. К. Градовский* (1842—1915; псевдоним — «Гамма») —

публицист, редактор-издатель политической и литературной газеты-журнала «Гражданин»; впоследствии писал в либеральных газетах «Голос», «Молва» и др.

...произошло покушение Соловьева.— А. К. Соловьев (1846—1879) 2 апр. 1879 г. стрелял на Дворцовой площади в Александра II, но промахнулся. 28 мая 1879 г. был повешен.

С. 564. *...убежали два или три «червонных валета»...*— В февр.—марте 1877 г. в Московском суде слушался процесс шайки «червонных валетов», члены которой, в основном прокутившиеся молодые люди из дворян, совершили более пятидесяти дерзких уголовных преступлений. Названием шайки стало заглавие романа П. А. Понсона дю Террайля «Клуб червонных валетов» (1865).

С. 566. *...эту удалецкую песню... написал... Навроцкий...*— А. А. Навроцкий (1839—1914) — прозаик, драматург, поэт. В 1879—1883 гг. издавал журнал «Русская речь». Его стихотворение «Утес Стеньки Разина» (1865), которое пересказывает здесь Короленко, и драматическая хроника «Стенька Разин» (1871) пользовались широкой популярностью среди радикально настроенной молодежи. Стихотворение впервые было напечатано в журнале «Вестник Европы» (1870. № 12).

С. 567. *Михалевич* — персонаж романа Тургенева «Дворянское гнездо» (1859).

С. 569. *...в уездном городе Глазове...*— В. Г. Короленко с братом прибыли в Глазов 3 июня.

...В очерке «Ненастоящий город»...— Этот очерк был написан в 1880 г. и напечатан в журнале «Слово» (1880. № 11).

С. 570. *В Глазове было тогда пять или шесть политических ссыльных, рабочих из Петербурга...*— Подробнее о жизни Короленко в г. Глазове и о ссыльных рабочих К. Стольберге, А. Христофорове, И. Кузьмине см.: Б у н я М. Глазовская ссылка В. Г. Короленко. Ижевск, 1982.

С. 572. *...этот документ...*— В своем заявлении вятскому губернатору от 2 окт. 1879 г. Короленко возражал против задержки его корреспонденции и обвинял исправника в грубости и произволе. (Полный текст заявления см.: К о р о л е н к о В. Г. Письма из тюрем и ссылок. Горький, 1935. С. 58—61.) Исправник сопроводил заявление рапортом, в котором писал о «вредном» влиянии Короленко на молодых политических ссыльных.

Обе жалобы имели успех...— Пособие братья Короленко действительно получили, но рапорт исправника, приложенный ко второй жалобе, послужил причиной перевода в Бисеровскую волость.

С. 573. *...министр Маков рассылает по всей России знаменитый в свое время циркуляр...* — Вероятно, Короленко имеет в виду утвержденную в 1878 г. министром внутренних дел, которым был с 1878 по 1880 г. Л. С. Маков (1830—1883), «Инструкцию полицейским урядникам», состоявшую из 42 параграфов и предписывавшую урядникам «следить негласным образом за неблагонадежными и подозрительными лицами и наблюдать негласно за поведением лиц, водворенных на место жительства под надзор полиции».

Кумышка — мутная перегонная брага.

С. 575. *...я произведу у вас обыск...* — Обыск и высылка Короленко в Березовые Починки состоялись 25 окт. 1879 г.

С. 576. *Пила и Сысойка* — герои повести Ф. М. Решетникова «Подлиповцы» (1864).

С. 578. *Петр Иванович Неволин* (1856—?) — народник, привлекался к «процессу 193-х», был отдан в Вятке под особый надзор полиции.

С. 580. *...Н. Н. Златовратский написал рассказ «Безумец».* — Повесть «Безумец» была написана в 1887 г.

С. 583. *Просужий* — разумный, дельный, толковый.

С. 584. *Поплавский* — Я. Л. Поплавский (1854—1908), был сослан в Вятскую губернию за принадлежность к тайному обществу А. Шиманского.

С. 585. *Свентоховский* — А. Свентоховский (1849—1938), известный польский публицист, драматург, прозаик.

«Пролетариат» — партия, точное название которой «Международная Социально-революционная Партия Пролетариат», была основана в Варшаве в 1882 г. Л. Варыньским (1856—1889).

...Плеве, который с этого дела и начал свою блестящую карьеру. — В. К. Плеве (1846—1904) с 1881 г. занимал пост директора департамента полиции, в 1884—1894 гг. — товарищ министра внутренних дел, в 1902 г. — министр внутренних дел. Убит эсером Сазоновым.

...со времен Казимира Великого... — Казимир III Великий (1310—1370), польский король (1333—1370), боролся за централизацию страны, расширил территорию Польши, основал университет в Кракове (1364).

С. 586. *...удивительная корреспонденция...* — Возможно, Короленко вспоминает корреспонденцию из Казани, опубликованную в газете «Гражданин» (1889. 6 июня). В этой корреспонденции хотя и нет подробного описания сбора податей, но говорится, что в Вятскую гу-

бернию направлен батальон для «усмирения крестьян», которые не в состоянии уплачивать подати.

С. 591. ...*«ходока» из рассказа Глеба Успенского.*— Короленко имеет в виду главу «Воспоминания по случаю странной встречи» (1871) из цикла «Разоренье».

С. 595. *Тифон* — в древнегреческой мифологии стоглавое огнедышащее чудовище. В широком смысле — вихрь, смерч.

С. 604. *«Только от вас, мои дорогие, еще дальше»*...— Короленко цитирует строку из письма к родным от 29 окт. 1879 г. (Собр. соч. Т. 10. С. 30).

Б. Аверин

СОДЕРЖАНИЕ

КНИГА ПЕРВАЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Раннее детство

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Начало учения.— Восстание

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

В уездном городе.— Ученические годы

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

В деревне

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Новые веяния

КНИГА ВТОРАЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Первые студенческие годы

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Студенческие годы

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
В Петровской академии

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Вологда, Кронштадт, Петербург

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Ссыльные скитания

Короленко В.

К 68 Собрание сочинений: В 5 т./Редколл. Г. Бялый, Г. Иванов, В. Туниманов; Сост. Б. Аверин. Т. 4: История моего современника: Кн. 1, 2/Подгот. текста, примеч. Б. Аверина.— Л.: Худож. лит., 1990.— 656 с.

ISBN 5-280-00947-4 (Т.4)
ISBN 5-280-00850-8

В том включены первая и вторая книги «Истории моего современника» (1853—1921), итогового произведения писателя, отразившего социально-политические и нравственные искания его поколения.

К $\frac{4702010101\text{-}071}{028(01)\text{-}90}$ подписное ББК 84.Р1

ВЛАДИМИР ГАЛАКТИОНОВИЧ КОРОЛЕНКО

Собрание сочинений
в пяти томах

Том четвертый

Составитель
Борис Валентинович Аверин

Редактор
Т. Шмакова

Художественный редактор *В. Лужин*

Технический редактор *М. Шафрова*

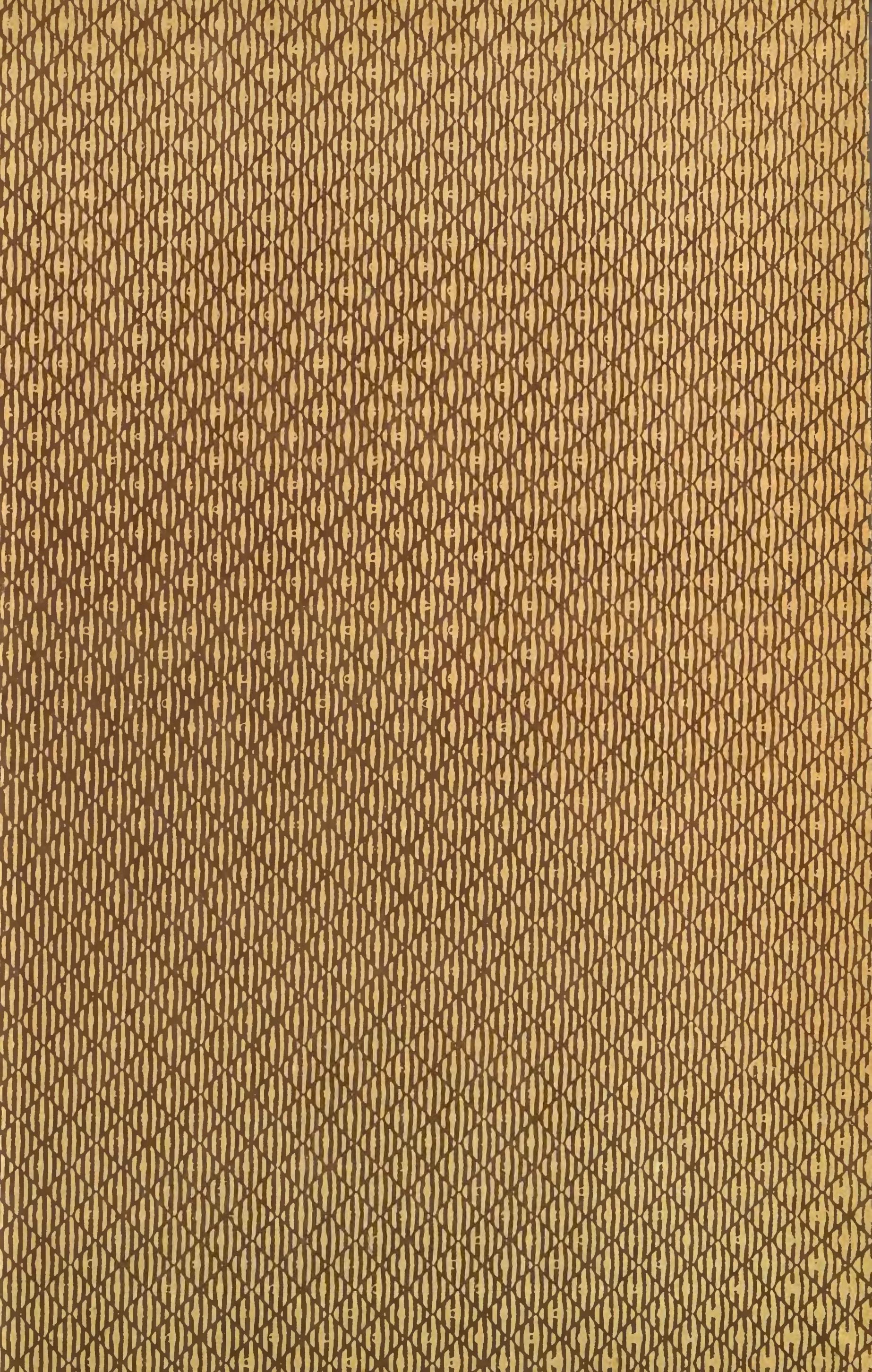
Корректоры *А. Борисенкова, Г. Щеголева*

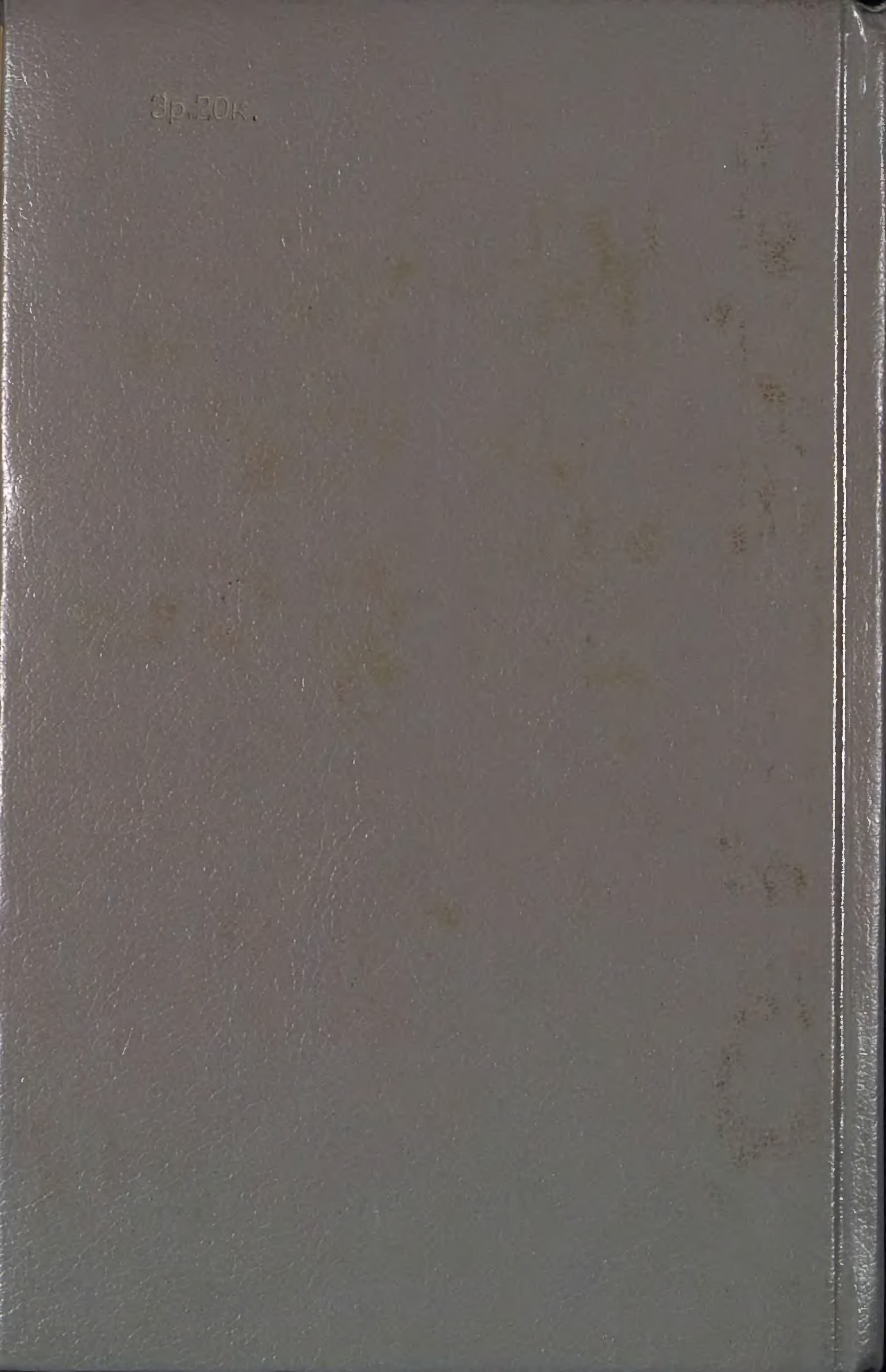
ИБ № 5656

Сдано в набор 30.08.89. Подписано в печать 05.06.90. Формат 84×108 1/32. Бумага кн.-журн. имп. Гарнитура «Школьная». Печать высокая. Усл. печ. л. 34,44. Усл. кр.-отт. 34,86. Уч.-изд. л. 36,31. Тираж 200 000 экз. (2-й завод 100 001—200 000). Изд. № ЛI-244. Заказ № 812. Цена 3 р. 20 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Д-186, Невский пр., 28.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.




3р.20к.